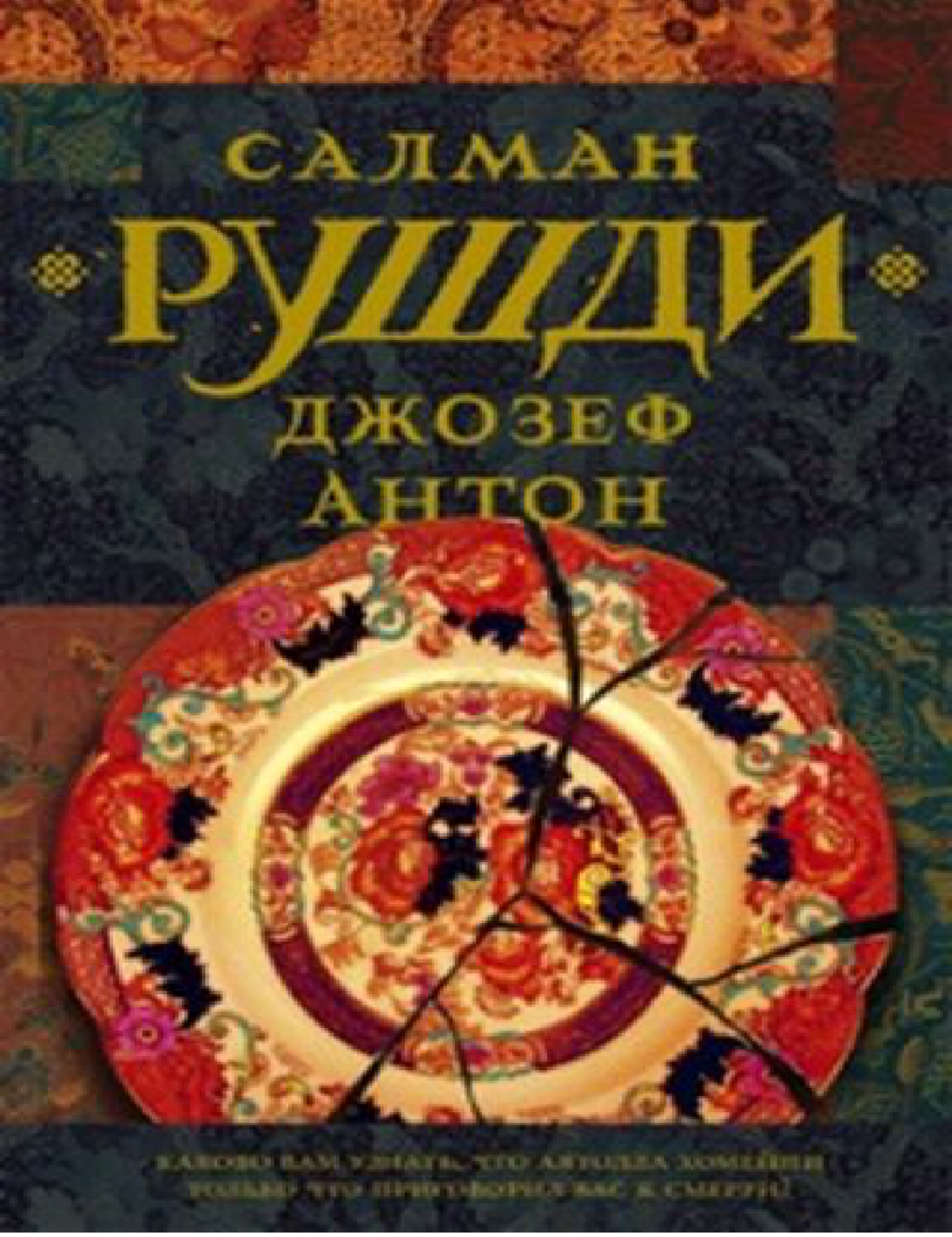
САЛМАН

РУШДИ

ДЖОЗЕФ АНТОН



КАКОВО БЫЛО УЗНАТЬ, ЧТО АВТОРША ЗЛОЙ ШУТКИ ХОЧЕТ ВАС ПРИТВОРИТЬ В СМЕРТЬ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

14 февраля 1989 года, в День святого Валентина, Салману Рушди позвонила репортерша Би-би-си и сообщила, что аятолла Хомейни приговорил его к смерти. Тогда-то писатель и услышал впервые слово «фетва». Обвинили его в том, что его роман «Шайтанские айяты» направлен «против ислама, Пророка и Корана». Так начинается невероятная история о том, как писатель был вынужден скрываться, переезжать из дома в дом, постоянно находясь под охраной сотрудников полиции. Его попросили придумать себе псевдоним, новое имя, которым его могли бы называть в полиции. Он вспомнил о своих любимых писателях, выбрал имена Конрада и Чехова. И на свет появился Джозеф Антон.

* * *

Это удивительно честная и откровенная книга, захватывающая, провокационная, трогательная и исключительно важная. Потому что то, что случилось с Салманом Рушди, оказалось первым актом драмы, которая по сей день разыгрывается в разных уголках Земли.

«Путешествия Гулливера» Свифта, «Кандид» Вольтера, «Тристрам Шенди» Стерна… Салман Рушди со своими книгами стал полноправным членом этой компании.

The New York Times Book Review

* * *

Как писатель и его родные жили те девять лет, когда над Рушди витала угроза смерти? Как ему удавалось продолжать писать? Как он терял и обретал любовь? Рушди впервые подробно рассказывает о своей нелегкой борьбе за свободу слова. Он рассказывает, как жил под охраной, как пытался добиться поддержки и понимания от правительств, спецслужб, издателей, журналистов и братьев-писателей, и о том, как он вновь обрел свободу.

- Салман Рушди
  - Пролог
  - I. Фауст наоборот
  - II. «Рукописи не горят»
  - III. Год Зеро
  - IV. Хочешь быть любимым — попадешь в ловушку
  - V. «Так долго внизу, что низ уже кажется верхом»
  - VI. Почему невозможно сфотографировать пампасы
  - VII. Полный грузовик дерьма

- VIII. Мистер Утро и мистер День
- IX. Его милленаристская иллюзия
- X. В отеле «Хэлсион»
- От автора
- Примечания к электронной версии

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38

- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82

- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126

- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170

- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214

- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258

- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291

Салман Рушди
Джозеф Антон. Мемуары

Моим детям Зафару и Милану, их матерям Клариссе и Элизабет и всем, кто помогал

Прошлое — пролог. Что будет,
Вам совершать и мне.

Уильям Шекспир, «Буря»[1]

Пролог
Первая птица

Потом, когда вокруг него взрывался мир, когда гибельные черные дрозды облепляли каркас для лазанья на школьном дворе, он досадовал на себя, что забыл фамилию репортерши Би-би-си, которая сообщила ему, что старая его жизнь кончена и впереди новое, мрачное существование. Она позвонила ему домой и не стала объяснять, кто ей дал телефонный номер. «Каково вам, — спросила она, — узнать, что аятолла Хомейни только что приговорил вас к смерти?» Лондон, вторник, солнце — но вопрос заставил утренний свет померкнуть. Он ответил, не понимая толком, что́ говорит: «Приятного мало». А подумалось: *я мертвец*. Он задался вопросом, сколько еще дней ему отпущено, и ответом, казалось, должно было послужить однозначное число. Он положил трубку и бросился из своего кабинета на первый этаж узкого дома в Излингтоне, стоявшего впритык к таким же узким домам. Окна гостиной закрывались деревянными ставнями, и он, хоть в этом не было никакого смысла, запахнул их и запер. Потом запер и входную дверь.

Был День святого Валентина, но с женой, американской писательницей Мэриан Уиггинс, отношения у него в последнее время разладились. Хотя с тех пор как они поженились, прошел только год с небольшим, шесть дней назад она сказала ему, что несчастлива с ним, что ей «совсем не так хорошо, как раньше», да и он понимал уже, что их брак — ошибка. Сейчас она смотрела, как он, гальванизированный новостью, словно весь под током, нервно мечется по дому, занавешивает окна, проверяет задвижки и шпингалеты, и ему пришлось объяснить ей, что происходит. Отреагировала она достойно — стала обсуждать с ним, как быть дальше. Использовала слово «мы». Да, это было храбро.

К дому подкатила машина американского телеканала Си-би-эс. У него была договоренность, что он отправится к ним в студию в Найтсбридж, в Боуотер-Хаус, где в прямом эфире выступит в утренней программе, передаваемой через спутник.

— Я не могу это отменить, — сказал он жене. — Прямой эфир. Нельзя просто взять и отказаться.

Позднее в то утро в православной церкви на Москоу-роуд в Бэйсуотере должна была пройти служба в память его друга Брюса Чатвина[2]. Меньше двух лет назад он отпраздновал с Брюсом его сорокалетие в его доме в Хомер-Энде, графство Оксфордшир. И вот Брюс умер от СПИДа, а теперь и в его дверь постучалась

смерть.

— А с церковью как же? — спросила жена. Он не знал, что ответить. Отпер входную дверь, вышел, сел в машину и поехал, не придавая особого значения расставанию с жилищем, не зная, что вернется в этот дом, где обитал пять лет, только через три года, когда дом уже будет не его.

Дети в школьном классе в Бодега-Бэй, штат Калифорния, поют печальную бессмысленную песенку. Раз в год она в руки брала расческу, шуршики-пуршики, мо-мо-мо. *За окнами школы дует холодный ветер. Прилетает один черный дрозд и усаживается на каркас для лазанья на пришкольной площадке. Песенка детей движется по кругу. Она начинается, но конца не имеет. Повторяется и повторяется.* Взъерошит, пригладит, уронит слёзку, шуршики-пуршики, хей-бомбуршики, кричики-крячики, переворачики, тренчики-бренчики, мо-мо-мо. *Вот уже четыре черных дрозда на каркасе, к ним летит пятый. Дети в школе поют и поют. Сотни черных дроздов облепили каркас, в небе их тысячи — казнь египетская. Песня началась, а конца ей не будет.*

Когда на каркас опускается первая птица, она кажется чем-то единичным, частным, особенным. И нет как будто необходимости выводить из ее присутствия общую теорию, включать ее в некую широкую картину. Позднее, когда начинается бедствие, казнь, легко увидеть в этой первой птице предвестье. Но сейчас, когда она только села на каркас, это всего-навсего одна птица.

В последующие годы он будет видеть эту сцену во сне, понимая, что его история — своего рода пролог, повесть о том, как прилетела первая птица. Поначалу это касается только его — единичный, частный, особенный сюжет. Из которого никому не хочется делать далеко идущих выводов. Двенадцать с лишним лет пройдет, прежде чем эта история заполонит собой небо, подобно архангелу Джабраилу, возвышающемуся над горизонтом, подобно двум самолетам, врезающимся в два высоких здания, подобно казни птицами в великом фильме Альфреда Хичкока[3].

В Си-би-эс он почувствовал себя новостью дня. Люди в отделе новостей и те, кто вещал с разнообразных мониторов, уже произносили слово, которое вскоре повиснет у него на шее как жернов. Они произносили его так, словно оно было синонимом «смертного приговора», и ему хотелось возражать, педантично втолковывать им, что оно имеет другой смысл. Но с этого дня для большинства людей на земле оно будет иметь ровно такой смысл, и никакого другого. И для него в том числе.

Фетва.

«Я извещаю неустрашимых мусульман всего мира, что автор книги „Шайтанские аяты“, направленной против ислама, Пророка

и Корана, а также все, кто, зная ее содержание, был причастен к ее публикации, приговариваются к смерти. Призываю мусульман казнить их, где бы они их ни обнаружили». Когда его вели в студию на интервью, кто-то дал ему распечатанный текст. И опять его старому «я» хотелось спорить, на сей раз со словом «приговор». Потому что это не был приговор, вынесенный тем или иным судом — судом, который он бы признавал или который имел бы над ним юрисдикцию. Это был указ, выпущенный жестоким умирающим стариком. И в то же время он понимал, что привычки его старого «я» больше не имеют значения. Он уже был другим человеком. Он был человеком в глазу бури, уже не тем *Салманом*, какого знали его друзья, а *Рушди*, автором книги, которую, исказив название, превратили в книгу «Шайтанских аятов». Он написал роман «Шайтанские аяты»[4], но выходило, будто он — автор неких аятов, продиктованных ему шайтаном, он был теперь «шайтан Рушди», рогатое чудовище на плакатах в руках у демонстрантов на улицах далекого города, повешенный с красным вывалившимся языком на грубых карикатурах, которые они несли. *Повесить шайтана Рушди!* Как легко оказалось стереть прошлую жизнь человека и соорудить новую версию его личности, неодолимую, которую, кажется, не побороть!

Король Карл I заявлял, что суд, вынесший ему смертный приговор, не имел над ним юрисдикции. Это не помешало Оливеру Кромвелю отрубить ему голову.

Он не был королем. Он был автором книги.

Он смотрел на журналистов, смотревших на него, и мелькнула мысль: не так ли разглядывают тех, кого ведут на виселицу, на электрический стул, на гильотину? Одного иностранного корреспондента, который, похоже, проникся к нему дружескими чувствами, он спросил, как ему относиться к заявлению Хомейни. Насколько это серьезно? Пустая пропагандистская угроза или нечто по-настоящему опасное?

— Не придавайте большого значения, — сказал ему журналист. — Президента Соединенных Штатов Хомейни каждую пятницу приговаривает к смерти.

Во время телепередачи, когда его спросили о его реакции на угрозу, он сказал: «Знал бы — написал бы еще более острую книгу». Он гордился этим ответом — и в тот день, и неизменно потом. Это была правда. Он не считал, что очень уж остро критикует в своей книге ислам, но, как он заявил тем утром по американскому телевидению, религия, чьи лидеры так себя ведут, вероятно, заслуживает некоторой критики.

После интервью ему сообщили, что звонила жена. Он перезвонил домой.

— Сюда не возвращайся, — сказала она ему. — Тут тебя поджидают сотни две журналистов.

— Я поеду в агентство, — сказал он. — Собери сумку, и встретимся там.

Его литературное агентство «Уайли, Эйткен и Стоун» располагалось в белом здании с лепниной на Ферншо-роуд в Челси. Журналистов снаружи не было: мировая пресса явно не предполагала, что в такой день он отправится своему агенту, — но, когда он вошел, все телефоны в здании звонили, и все звонки были о нем. Гиллон Эйткен, его британский агент, уставился на него с изумлением. Гиллон разговаривал по телефону с британцем индийского происхождения Китом Вазом, депутатом парламента от Восточного Лестера. Он прикрыл трубку рукой и прошептал:

— Хочешь с ним поговорить?

По телефону Ваз тогда сказал, что случившееся «ужасает, просто ужасает», и пообещал свою «полную поддержку». А через несколько недель он был одним из главных ораторов на демонстрации против «Шайтанских аятов», в которой участвовало более трех тысяч мусульман, и назвал это событие «одним из великих дней в истории ислама и Великобритании».

Он обнаружил, что не в состоянии думать о будущем, что понятия не имеет, какие очертания теперь примет его жизнь, что не может строить планов. Он мог сосредоточиться только на ближайшем, а ближайшим была служба в память Брюса Чатвина. «Ну что, мой милый, — сказал ему Гиллон, — думаешь, тебе стоит ехать?»

Он принял решение. Брюс был его близким другом. «Стоит, не стоит — мне насрать, — сказал он. — Едем».

Появилась Мэриан, глаза блестели слегка безумным блеском, ее вывела из равновесия атака фотографов, налетевших на нее, когда она вышла из дома 41 по Сент-Питерс-стрит. На следующий день этими глазами она будет смотреть с первых страниц всех газет страны. Одна из газет дала ее взгляду название, которое напечатала аршинными буквами: ЛИК СТРАХА. Она была немногословна. Он тоже. Сели в его черный «сааб», и он повел машину через парк в Бэйс-уотер. Гиллон Эйткен с озабоченным лицом, сложив пополам свою длинную томную фигуру, ехал на заднем сиденье.

Его мать и самая младшая из сестер жили в Карачи. Что их теперь ждет? Средняя сестра, давно отколовшаяся от семьи, жила в Беркли, штат Калифорния. Не опасно ли ей там будет? Самин, его сестра-погодок, жила с семьей в северном лондонском пригороде Уэмбли, недалеко от знаменитого стадиона. Как их

защитить? Его сын Зафар, которому было девять лет и восемь месяцев, жил со своей матерью Клариссой в доме 60 по Бермароуд, около Грин-Лейнз и Клиссолд-Парка. Десятый день рождения Зафара казался в тот момент далеким-далеким. «Папа, — спросил его однажды Зафар, — почему ты не пишешь таких книжек, чтобы я мог их читать?» Это заставило его вспомнить строчку из *St. Judy's Comet* — колыбельной песни Пола Саймона для его младшего сына. Если *я не могу моего малыша убаюкать — чего она стоит, вся моя популярность?* «Хороший вопрос, — ответил он Зафару. — Дай только окончить книгу, которую сейчас пишу, и тогда возьмусь за книгу для тебя. Договорились?» — «Договорились». Книгу он окончил, она вышла в свет, но написать новую он вряд ли успеет. *Обещание, данное ребенку, нельзя нарушать*, подумалось ему, и его бурлящий мозг тут же сделал идиотскую добавку: *но смерть автора — случай особый*.

Мысль об убийстве была неотвязна.

Путешествуя пять лет назад с Брюсом Чатвином по «красному центру» Австралии, взяв в Алис-Спрингс на заметку граффити: СДАВАЙСЯ, БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК, ТВОЙ ГОРОД ОКРУЖЕН, он с трудом поднимался на скалу Айерс-Рок, в то время как Брюс, гордый своим недавним восхождением к базовому лагерю на Эвересте, бодро скакал вперед, словно по самому пологому из склонов, а местные проводники рассказывали про так называемое «дело о ребенке и динго»[5]*; в захудалом «Инланд-мотеле», где они остановились, годом раньше тридцатишестилетний водитель-дальнобойщик Дуглас Крабб обиделся на бармена, отказавшегося налить ему еще, потому что он и так уже был хорош, начал грубить, был вышвырнут и тогда, сев за руль своего грузовика, на полном ходу врезался в бар и убил пять человек.*

Крабб как раз давал показания в суде в Алис-Спрингс, и они зашли послушать. Шофер был одет скромно, глаза опущены, говорил тихим, ровным голосом. Он настойчиво утверждал, что он не из тех, кто способен так поступить, и на вопрос, почему он в этом настолько уверен, ответил, что водил грузовики много лет, «ухаживал за ними, как за своими собственными» (на этом месте — секундная пауза, и непроизнесенным словом в ней могло быть «детьми»), и вот так взять и разбить машину — совсем не в его характере. Лица присяжных, когда они это услышали, заметно посуровели, и стало ясно, что на оправдание ему рассчитывать нечего. «Я убежден, — прошептал Брюс, — что он говорит чистую правду».

Бывают убийцы, для которых грузовики ценнее, чем люди. Пять лет спустя, возможно, другие убийцы уже отправились в

путь, чтобы расправиться с писателем за кощунство, и вера — точнее, некое особое ее понимание — была тем грузовиком, который они любили больше, чем человеческую жизнь. Это кощунство, напомнил он себе, у него не первое. Восхождения на Айерс-Рок, вроде того, что совершили они с Брюсом, потом запретили. Скалу, священную для аборигенов, передали им обратно, вернув ей древнее название Улуру, и туристов перестали на нее пускать.

Именно тогда, в 1984 году, в самолете, на обратном пути из Австралии, он начал понимать, как написать «Шайтанские аяты».

Служба в соборе Святой Софии — греческом православном соборе Фиатирской и Великобританской архиепископии, построенном и щедро украшенном 110 лет назад по образцу величественного византийского храма, прошла на звучном, таинственном греческом языке. В ритуалах была византийская пышность. Гур-гур-гур Брюс Чатвин, выводили священнослужители, гур-гур Чатвин гур-гур. Вставали, садились, преклоняли колени, вставали, опять садились. Стояла крепкая вонь от священных каждений. Он вспомнил, как в детстве, когда они жили в Бомбее, отец в мусульманский праздник Ид уль-Фитр повел его молиться. На *идгах* — молитвенном поле — звучал только арабский, коленопреклоненные люди стукались о землю лбами, вставали на ноги, делали перед собой из ладоней подобие раскрытой книжки, бормотали незнакомые слова на непонятном ему языке. «Просто делай как я», — сказал ему отец. Семья была не религиозная, и в таких ритуалах они участвовали крайне редко. Он не выучил никаких молитв и не знал, что они означают. Лишь имитировал, бывало, чужие движения и бормотал, не понимая, заученные фразы. И поэтому бессмыслица церковной службы на Москоу-роуд показалась ему знакомой. Они с Мэриан сидели рядом с Мартином Эмисом[6] и его женой Антонией Филлипс. «Мы за тебя очень беспокоимся», — сказал Мартин, обнимая его. «Я и сам за себя беспокоюсь», — отозвался он. Гур-Чатвин-гур-Брюс-гур. На один ряд дальше от алтаря сидел писатель Пол Теру. «Ну что, Салман, на следующей неделе твоя очередь отпеваться?» — спросил он.

Когда они приехали, у церкви была всего какая-нибудь пара фотографов. Писателей папарацци обычно не слишком жалуют вниманием. Но во время службы журналисты один за другим начали проникать в церковь. Одна непостижимая религия предоставила площадку для новостного сюжета, порожденного непостижимо зверской атакой со стороны другой религии. *Один из худших аспектов случившегося*, — писал он позднее, — *в том, что непостижимое стало постижимым, невообразимое —*

вообразимым.

Служба завершилась, и журналисты стали проталкиваться к нему. Гиллон, Мэриан и Мартин пытались его от них оградить. Один особенно настырный серый субъект (серый костюм, серые волосы, серое лицо, серый голос) протиснулся через толпу, выставил микрофон и принялся задавать очевидные вопросы.

— Извините, — сказал он серому, — но я здесь на церковной службе в память моего друга. Неподходящее место для интервью.

— Вы меня не поняли, — озадаченно проговорил тот. — Я из «Дейли телеграф». Меня послали *специально*.

— Гиллон, выручай, — попросил он.

Огромного роста Гиллон наклонился к репортеру и твердо, своим самым величественным тоном, произнес:

— *А ну пошел в задницу*.

— Вы не имеете права так со мной разговаривать! — возмутился сотрудник «Телеграф». — Я выпускник частной школы.

На этом смешное закончилось. Когда он вышел на Москоуроуд, журналисты роились там, как трутни, осаждающие пчелиную матку, фотографы забирались друг другу на плечи, образуя шаткие конструкции, стреляющие вспышками. На мгновение он растерялся — стоял моргал, не знал, куда двинуться.

Казалось, от них не спастись. Дойти до машины, припаркованной в ста шагах, невозможно было без свиты из людей с фотоаппаратами, людей с микрофонами, выпускников всевозможных школ, посланных специально. Избавителем стал его друг Алан Йентоб, телевизионщик с Би-би-си, с которым он познакомился восемь лет назад, когда Алан сделал документальный фильм для телесериала «Арена» — о молодом писателе, чей недавно опубликованный роман «Дети полуночи» имел успех. У Алана был брат-близнец, но многие говорили: «Салман — вот кто выглядит как твой близнец». Они с Аланом возражали, однако такое мнение бытовало. И в тот день для Алана явно было предпочтительней, чтобы его не принимали за его неродного «близнеца».

Алан в машине Би-би-си подкатил прямо к церкви. «Залезай», — скомандовал он, и они уехали, оставив позади крикливых журналистов. Некоторое время ездили вокруг Ноттинг-Хилла, пока толпа около церкви не рассосалась, потом направились к припаркованному «саабу».

Они с Мэриан сели в его машину — и вдруг оказались одни, тишина тяжко давила на обоих. Радио в машине включать не стали, зная, что новости будут напичканы злобой. «Куда

двинемся?» — спросил он, хотя оба знали куда. Мэриан недавно сняла маленькую полуподвальную квартирку в юго-западном углу площади Лонсдейл-сквер в Излингтоне, недалеко от дома на Сент-Питерс-стрит, — якобы для того, чтобы там работать, но на самом деле из-за нараставшего напряжения между ними. О существовании этой квартиры знали очень немногие. Там они могли укрыться на время, оценить ситуацию и принять какие-то решения. В Излингтон ехали молча. Говорить было не о чем — так казалось.

Мэриан была отличная писательница и красивая женщина, но он порой обнаруживал в ней то, что ему не нравилось.

Переехав к нему, она оставила на автоответчике его друга Билла Бьюфорда, редактора журнала «Гранта», сообщение, что ее телефон изменился. «Мой новый номер тебе, может быть, знаком, — услышал Билл дальше, а затем, после паузы, которая его встревожила, прозвучало: — *Я его захомутала*». Он сделал ей предложение в сумятице чувств из-за смерти отца в ноябре 1987 года, и отношения между ними довольно быстро начали портиться. Все его лучшие друзья — Билл Бьюфорд, Гиллон Эйткен, американский коллега Гиллона по агентству Эндрю Уайли, актриса и писательница из Гайаны Полин Мелвилл — и сестра Самин, которая неизменно была ему ближе, чем кто бы то ни было, в один голос стали признаваться, что никогда не были от нее в восторге. Если у тебя в семье нелады, подобные дружеские признания, конечно, вещь обычная, и он делал на это скидку, — но он сам несколько раз поймал ее на лжи и был этим потрясен. За кого она его держит? Она часто выглядела недовольной и имела привычку, говоря с ним, смотреть куда-то через его плечо, точно обращалась к призраку. Она всегда привлекала его умом, остроумием, и это никуда не исчезло, как и физическое влечение: хороши были ниспадающие волны ее рыжеватых волос, ее полные губы, ее широкая американская улыбка. Но она стала ему непонятна, и он ловил себя на мысли, что женат на незнакомке. На женщине в маске.

Однако в это послеполуденное время их личные затруднения выглядели малозначащими. В этот день по улицам Тегерана шли толпы с плакатами, на которых было его лицо с выколотыми глазами, похожее на лица трупов в «Птицах» с почерневшими, окровавленными, расклеванными глазницами. Вот каким был сюжет дня: несмешная валентинка, полученная им от этих бородатых мужчин, от этих закутанных женщин, от этого умирающего у себя в комнате злобного старика, пожелавшего напоследок увеличить свою особую мрачную, смертоносную славу. Придя к власти, имам уничтожил многих из тех, кто

привел его к ней, он убивал всех, кто ему не нравился. Профсоюзных деятелей, феминисток, социалистов, коммунистов, гомосексуалистов, проституток, а также своих бывших приспешников. В «Шайтанских аятах» был выведен такой имам — имам, ставший чудовищем, чья огромная пасть пожирает его собственную революцию. Реальный имам вовлек свою страну в бессмысленную войну с соседним государством, в которой, пока старик не дал отбой, погибли сотни тысяч его молодых сограждан — целое поколение. Имам заявил, что помириться с Ираком — все равно что принять яд, и он принял-таки его. После этого мертвые возопили против имама, и его революция стала непопулярна. Понадобился способ мобилизовать ее сторонников, и для этого пригодились книжка и ее автор. Книжку объявили дьявольской, автора — дьяволом, и так возник враг, в котором имам нуждался. Этим врагом был писатель, затаившийся в полуподвальной квартире в Излингтоне вместе с женой, с которой они было почти расстались. Вот что представлял собой дьявол, необходимый умирающему имаму.

Школьный день уже кончился, и ему надо было повидаться с Зафаром. Он позвонил Полин Мелвилл и попросил ее побыть с Мэриан, пока он съездит к сыну. В начале восьмидесятых она была его соседкой на Хайбери-Хилле — щедро жестикулирующая, сердечная, смешанного происхождения женщина с блестящими глазами, актриса, готовая бесконечно рассказывать разные разности — про родную Гайану, где один из ее предков Мелвиллов познакомился с писателем Ивлином Во, показывал ему страну и, по ее словам, послужил прототипом мистера Тодда из «Пригоршни праха», старика с причудами, не отпускавшего Томми Ласта из своего домика в джунглях и заставлявшего его без конца читать ему вслух Диккенса; про то, как она вызволила своего мужа Ангуса из Иностранного легиона, стоя у ворот форта и крича, пока его не отпустили; про то, как она играла маму Адриана Эдмондсона в популярном комедийном телесериале «Молодежь». Выступая с комическими номерами на эстраде, она изобрела мужской типаж — субъекта, который «сделался таким опасным и страшным, что пришлось перестать его играть», сказала она. Она записала несколько своих историй про Гайану и показала ему. Получилось очень-очень здорово, и ее первую книгу «Оборотень», в которой они были собраны, приняли весьма благосклонно. Этой твердой, практичной и преданной друзьям женщине он доверял безоговорочно. Она приехала тут же, не говоря ни слова, несмотря на свой день рождения и на то, что была невысокого мнения о Мэриан. Он с облегчением оставил Мэриан в полуподвале на Лонсдейл-сквер и один поехал на

Берма-роуд. Прекрасный день с зимним солнцем, чье изумительное сияние казалось упреком далеко не прекрасным мировым новостям, уже кончился. Февральский Лондон, по которому школьники шли домой, был темен. Когда он подъехал к дому Клариссы и Зафара, полиция была уже там.

— А, вот и вы, — сказал ему полицейский. — Мы тут как раз думали, где вас искать.

— Что происходит, папа?

У сына было такое выражение лица, какого никогда не должно быть у девятилетнего мальчика.

— Я объяснила ему, — бодрым тоном промолвила Кларисса, — что тебя будут хорошенько охранять, пока эта туча не пройдет, а потом будет полный порядок.

Она обняла его, как не обнимала пять лет, с тех пор как они расстались. Она была первой женщиной, которую он любил. Они познакомились 26 декабря 1969 года, за пять дней до конца шестидесятых, когда ему было двадцать два, ей — двадцать один. Кларисса Мэри Луард. У нее были длинные ноги и зеленые глаза, в тот день она надела хипповское замшевое пальто, поверх тугих каштановых кудрей — головная повязка, и от сияния, которое она излучала, светлели все сердца. У нее были друзья в мире поп-музыки, которые прозвали ее Хэппили (это прозвище благополучно — happily — приказало долго жить вместе с шальным десятилетием, которое его породило), и была пьющая мать, а отец, бывший военный летчик, вернувшийся со Второй мировой контуженым, покончил с собой, прыгнув с крыши здания, когда ей было пятнадцать. У нее была гончая по кличке Безделушка, которая мочилась на ее кровать.

Много всякого было заперто в ней под этой лучезарностью; она не хотела, чтобы люди видели набегающие на нее тени, и, когда ей делалось печально, закрывалась у себя в комнате. Может быть, ощущала тогда в себе отцовскую тоску, боялась, что она столкнет ее, как его, с какой-нибудь крыши, и окукливалась, пока не отпускало. Ее звали так же, как трагическую героиню Сэмюэла Ричардсона, а училась она, помимо прочего, в техническом колледже Харлоу. Кларисса из Харлоу — странный отзвук ричардсоновской Клариссы Гарлоу, еще одной самоубийцы в ее окружении, на сей раз литературной; еще одно пугающее эхо, которое прогонял ослепительный свет ее улыбки. У ее матери Лавинии Луард тоже было прозвище, не слишком аппетитное — Лавви-Лу[7], — и она имела обыкновение растворять семейную трагедию в стакане джина и, входя в роль веселой вдовушки, благосклонно отзываться на мужские ухаживания. Вначале был женатый полковник Кен Суитинг, бывший гвардеец, который

приезжал к ней с острова Мэн, но жену так и не оставил, да и не собирался. Позднее, когда она переехала в Андалусию, в городок Михас, один за другим пошли шалопаи-европейцы, которые не прочь были широко пожить за ее счет. Лавинии решительно не понравилось намерение дочери жить, а затем и сочетаться браком со странным длинноволосым писателем-индийцем, непонятно из какой семьи и, похоже, не слишком обеспеченным. Она дружила с супругами Лиуэрди из Уэстера, графство Кент, и рассчитывала, что ее красавица дочь выйдет замуж за бухгалтера Ричарда, их сына, бледного, костлявого парня с белой уорхоловской шевелюрой. Кларисса и Ричард встречались, но тайком она начала встречаться и с длинноволосым писателем-индийцем, и ей понадобилось два года, чтобы сделать окончательный выбор; и вот однажды январским вечером в 1972 году, когда он справлял новоселье в только что снятой квартире на Кембридж-гарденз около Ладброук-Гроув, она пришла с готовым решением, и после этого они были неразлучны. Выбирать — всегда прерогатива женщин, мужчине же остается быть благодарным, если ему повезло и выбор пал на него.

Она обняла его, и все их годы влечения, любви, супружества, родительской заботы, неверности (большей частью с его стороны) и дружбы после развода, — все они выразились в этих объятиях. Произошедшее хлынуло на ту боль, что была между ними, и смыло ее, а под ней обнаружилось что-то неуничтоженное, что-то старое и глубинное. И еще они, разумеется, были родителями этого прекрасного мальчика и как родители всегда были заодно, всегда действовали в согласии. Зафар родился в июне 1979 года, когда он заканчивал «Детей полуночи». «Держи ноги скрещенными[8], — сказал он ей. — Я пишу быстро как только могу». Однажды была ложная тревога, и он подумал: «Ребенок у нас родится в полночь», но этого не случилось, мальчик родил в воскресенье 17 июня в 2.15 дня. Он посвятил свой роман *Зафару Рушди, который, вопреки всем ожиданиям, родился днем*. А сейчас Зафару было девять с половиной, и он с тревогой спросил отца: *что происходит?*

— Мы должны знать ваши ближайшие планы, — сказал полицейский.

Он задумался.

— Вероятно, поеду домой, — проговорил он наконец, и то, какими напряженными сразу стали фигуры людей в форме, подтвердило его подозрения.

— Сэр, я бы этого не советовал.

И тогда — он так и думал, что придется это сделать, — он рассказал им про полуподвал на Лонсдейл-сквер, где его ждала

Мэриан.

— Эта квартира, сэр, мало кому известна как место, где вы бываете?

— Да, мало кому.

— Очень хорошо. Возвращайтесь туда, сэр, и сегодня вечером вам лучше никуда не выходить. Сейчас идут совещания, об их результатах вы узнаете завтра, вас оповестят без промедления. До этого вам надо будет оставаться в помещении.

Он поговорил с сыном, придвинув его близко к себе и решив в ту минуту, что будет рассказывать мальчику так много, как только возможно, в меру своих сил придавая событиям положительную окраску; помочь Зафару справиться со случившимся можно будет, давая ему почувствовать, что он, Зафар, в курсе дела, сообщая ему свою родительскую версию, которой мальчик будет доверять и на которую сможет опираться вопреки бомбардировке другими версиями — на школьной площадке, перед телевизором. Школа, сказала Кларисса, проявила себя с самой лучшей стороны: ни фотографов, ни телевизионщиков, желавших снять сына приговоренного к смерти, к Зафару не подпустили, и все ученики тоже вели себя великолепно. Без лишних слов они сомкнули вокруг Зафара ряды и позволили ему провести школьный день как обычно — или почти как обычно. Родители в подавляющем большинстве тоже проявили понимание, те один-два, которые потребовали, чтобы Зафара забрали из школы, потому что его присутствие может оказаться опасным для их детей, получили от директора достойный отпор и со стыдом ретировались. Отрадно было увидеть в тот день в действии отвагу, солидарность, принципиальность — лучшие людские качества, противостоящие жестокости и фанатизму, всему темному, что свойственно роду человеческому, — увидеть в тот самый час, когда вздымающемуся валу тьмы, казалось, так трудно было сопротивляться. То, что было доселе немыслимым, становилось мыслимым. Но в Хэмпстеде, в школе Холл, сопротивление уже началось.

— А завтра, папа, мы увидимся?

Он покачал головой.

— Но я тебе позвоню, — сказал он. — Буду звонить каждый вечер в семь. Если вы захотите куда-нибудь пойти, — попроси он Клариссу, — пожалуйста, оставляй сообщение на автоответчике, чтобы я знал, когда мне позвонить.

Было начало 1989 года. Такие слова, как *персональный компьютер, ноутбук, сотовый телефон, мобильный телефон, интернет, Wi-Fi, SMS, электронная почта,* либо были еще не известны, либо только-только вошли в обиход. У него не было ни

компьютера, ни мобильного телефона. Зато был свой дом, пусть он и не мог теперь в нем ночевать, а в доме телефон с автоответчиком, и он мог позвонить, *затребовать* (новое значение старого слова) и услышать, нет — *извлечь* оставленные сообщения.

— В семь часов, — повторил он. — Каждый вечер, запомни.

Зафар сумрачно, серьезно кивнул:

— Хорошо, папа.

Он ехал обратно один, и новости по радио были сплошь плохие. Два дня назад в Исламабаде, столице Пакистана, у американского культурного центра произошли «беспорядки из-за Рушди» (почему американцев сочли ответственными за «Шайтанские аяты», непонятно). Полиция открыла по толпе огонь — пять человек убиты, шестьдесят ранены. Демонстранты несли плакаты: РУШДИ, ТЫ ТРУП. Сегодня из-за иранского указа опасность возросла многократно. Аятолла Хомейни был не просто могущественным религиозным лидером. Он был главой государства, и он отдал приказ убить гражданина другого государства, над которым не имел юрисдикции; к его услугам были убийцы, которые и раньше использовались для расправ с «врагами иранской революции», в том числе с жившими за пределами Ирана. Еще одно новое слово пришлось ему выучить. Оно звучало в тот день по радио: *экстратерриториальность*. Иначе говоря — *государственный терроризм*. Вольтер однажды заметил, что писателю имеет смысл жить недалеко от государственной границы, чтобы он, если рассердит власть имущих, мог быстро пересечь границу и спастись. Самому Вольтеру пришлось из-за ссоры с аристократом, шевалье де Роганом, уехать из Франции в Англию, и он пробыл в изгнании семь лет. Но теперь, даже находясь в другой стране, ты не мог чувствовать себя защищенным от преследований. Ты — объект *экстратерриториальных действий*. Иными словами, на тебя объявлена охота.

Ночь на Лонсдейл-сквер была холодной, темной и ясной. На площади дежурили двое полицейских. Когда он вышел из машины, они сделали вид, что не обращают на него внимания. Они патрулировали небольшой участок, шагов по сто от квартиры в ту и другую сторону, и даже в помещении ему было слышно, как они ходят. Под звук их шагов, раздававшихся в тишине, он почувствовал, что больше не понимает свою жизнь, не понимает, во что она может теперь превратиться, и второй раз за день ему пришло в голову, что у него, возможно, очень мало ее осталось впереди, так что понимать особенно и нечего. Полин уехала домой, Мэриан легла рано. Этот день надо было забыть. Этот

день надо было запомнить. Он лег в постель около жены, она повернулась к нему, и они обнялись, скованно, как несчастливая пара, каковой они и были. Потом лежали по отдельности, каждый со своими мыслями в голове, и безуспешно пытались уснуть.

Шаги по мостовой. Зима. Взмахи черного крыла на каркасе для лазанья. *Я извещаю неустрашимых мусульман всего мира, шуршики-пуршики, мо-мо-мо. Казнить их, где бы они их ни обнаружили. Шуршики-пуршики, хей-бомбуршики, кричики-крячики, переворачики, тренчики-бренчики, мо-мо-мо.*

I. Фауст наоборот

Когда он был маленьким, отец рассказывал ему на ночь великие легенды Востока, рассказывал снова и снова, переиначивал и переделывал на собственный лад сказки «Тысячи и одной ночи», сочиненные Шехерезадой ради победы над смертью, ради того, чтобы доказать способность слова обуздать и одолеть даже кровожаднейшего из тиранов; и волшебные повести о животных из «Панчатантры»; и низвергавшиеся водопадом чудесные истории «Катхасаритсагары» — «Океана рек-повестей», берущего исток в древности Кашмира, там же, куда уходил корнями его род; и легенды о могучих героях из «Хамзанаме» и «Похождений Хатима Таи» (об этом Хатиме был еще фильм, в котором к каноническому повествованию добавились новые увлекательные подробности, немало послужившие украшению вечерних отцовских рассказов). С младенчества купаясь в этих сказаниях, он выучил на всю жизнь два урока: первый — что всё в них неправда (ведь «в жизни» не бывает джиннов в бутылках, ковров-самолетов и волшебных ламп), но при всей неправдивости они открывают его чувствам и знанию такую правду, какой не открыли бы самые правдивые рассказы; и второй урок — что эти сказания принадлежат ему так же, как отцу и кому угодно вообще, и что все эти истории, радостные и мрачные, о божественном и о земном, он имеет полное право — такое же, какое имел отец, — как и когда заблагорассудится переделывать и пересочинять по-новому, предавать забвению и извлекать из небытия, смеяться и радоваться им, жить в них, ими и с ними, своею любовью вдыхать в них жизнь и взамен питать ими свою жизнь. Склонность рассказывать делает человека человеком, единственным на свете созданием, рассказывающим себе истории, чтобы понять, что он как создание собой представляет. Рассказывание принадлежит человеку по неотъемлемому праву рождения.

Его матери, Негин, тоже был что порассказать. В девичестве Негин Рушди звалась Зохрой Батт. Став женой Аниса, она поменяла не только фамилию, но и имя, заново себя для него вылепила, оставила в прошлом ту Зохру, о которой ему было неприятно думать, потому что она пылала когда-то любовью к другому мужчине. Он не знал, Зохрой или Негин называет себя мать в потаенной глубине души, потому что она никогда не рассказывала ему о мужчине из прошлого, и вообще перемывать косточки другим ей нравилось гораздо больше, чем делиться собственными секретами. Сплетницей она была непревзойденной,

и, сидя у нее на кровати, навалясь, как ей нравилось, на ее вытянутый ноги, старший ребенок и единственный сын Негин жадно впитывал смачные, а часто и малопристойные соседские слухи — они заполоняли ее голову, подобно лесу исполинских семейных древ, нашептывающих каждое свое, переплетшихся ветвями, усыпанных сочными запретными плодами-сплетнями. Ему очень скоро стало понятно, что чужие тайны тоже принадлежат ему, ибо стоит матери поделиться с ним чужой тайной, та становится достоянием не только ее, говорившей, но и его, выслушавшего. Если что-то следовало сохранить в секрете, достаточно было сказать: *Никому об этом не говори*. Это правило нашло применение и в его взрослой жизни. Когда он вырос и сделался писателем, мать сказала ему: «Я больше не буду тебе ничего рассказывать, потому что ты вставляешь мои рассказы в книги, и от этого у меня неприятности». Она говорила правду, и, возможно, ей следовало бы перестать, но она страдала неодолимой тягой к сплетням, и отказаться от них было бы ей не проще, чем отцу завязать со спиртным.

Из дома на холме — Виндзор-вилла, Уорден-роуд, Бомбей-26 — открывался вид на море и на полоску города между морем и холмом; и да, его отец был богат, но всю свою жизнь только и делал, что проматывал деньги, и умер банкротом, оставив семье неоплаченные долги и заначенную пачку рупий в верхнем левом ящике письменного стола — и больше ни пайса. Анис Ахмед Рушди («Барристер, бакалавр Кембридж. ун-та» гордо сообщала медная табличка на стене у парадного входа Виндзор-виллы), единственный сын текстильного магната, унаследовал состояние отца, спустил его, остался без гроша и умер: за этой скупой канвой могла бы стоять счастливая жизнь, но его жизнь счастливой не была. Дети много чего за ним знали: что по утрам он бывал жизнерадостным, пока не побреется, а после того как лезвие «филишейв» завершит свое дело, становился раздражительным, — и поэтому старались не показываться ему на глаза; что, когда по выходным он возил их на пляж, по дороге туда он много смеялся и весело болтал, а на обратном пути только злился; когда он играл с их матерью в гольф в Уиллингдонском загородном клубе, ей, игравшей лучше, приходилось старательно проигрывать, потому что победить выходило дороже; что пьяным он отвратительно гримасничал, страшно искажал черты лица и очень их этим пугал, но никто, кроме них, этого никогда не видел, и никто их не понимал, когда они говорили, что отец «строит рожи». Но пока дети были маленькими, они засыпали вечером под его рассказы и, если слышали за дверью родительскую перебранку, если слышали, как

плачет мать, ничего не могли с этим поделать. Они залезали с головой под одеяло и смотрели сны.

В январе 1961 года Анис повез тринадцатилетнего сына в Лондон, и там они с неделю, пока не начались занятия в Рагби, жили в гостинце «Камберленд» неподалеку от Мраморной арки. Днем они ходили по магазинам, покупали предписанные школьными правилами предметы туалета: твидовые пиджаки, фланелевые брюки, рубашки «Ван Хьюзен» с полужесткими пристегивающимися воротничками, к которым полагались запонки, — эти воротнички больно впивались в горло и не давали дышать. Пили шоколадные молочные коктейли в Лайонс-Корнер-Хаусе на Ковентри-стрит, а потом шли в кинотеатр «Одеон» у Мраморной арки смотреть какой-нибудь «Сущий ад в школе Святого Триниана»[9], и он тоскливо думал, что у него в школе девушек не будет. Вечером в кафе «Кардома» на Эджвер-роуд отец приобретал навынос курицу-гриль и заставлял его тайком проносить ее в гостиницу под своим двубортным, синего габардина макинтошем. Ночью Анис напивался, перед самым рассветом грубо расталкивал перепуганного сына и обрушивал на него поток брани, настолько похабной, что сыну не верилось, что отец может знать такие слова. Потом они поехали в Рагби, купили кресло с красной обивкой и распрощались. Анис сфотографировал сына на фоне жилого корпуса в бело-голубой, цветов общежитского братства, полосатой шапочке и пропахшем курицей-гриль макинтоше, и если глаза сына на снимке полны тоски, то не потому, что его отдали учиться на чужбину. Просто он не мог дождаться, когда же наконец отец уедет и можно будет попытаться забыть грязную ночную ругань и беспричинные приступы отчаянной ярости. Ему хотелось вступить в будущее, оставив все плохое в прошлом, из чего, видимо, с неизбежностью следовало, что жизнь свою он постарается выстроить на максимально возможном удалении от отца, отгородясь от него океанами. Когда он окончил Кембриджский университет и сказал отцу, сто собирается стать писателем, тот простонал: «И что я теперь скажу друзьям?»

Но девятнадцать лет спустя, на сороковой день рождения сына, Анис Рушди прислал ему собственноручно написанное письмо — и это был самый драгоценный читательский отзыв, равный которому никогда не получал и не получит ни один писатель. Отцу было семьдесят семь, и через пять месяцев он умер от множественной миеломы, рака костного мозга. Из письма явствовало, как внимательно он читал и как глубоко понимал книги сына, с каким нетерпением ждал выхода каждой следующей и как полнила его отеческая любовь, которую ему

полжизни не удавалось выразить. Он успел порадоваться успеху «Детей полуночи» и «Стыда», но книга, более прочих обязанная ему своим появлением на свет, его уже не застала. Быть может, это и к лучшему, потому что не застало его и порожденное книгой безумие; но если сын и был в чем-то абсолютно уверен, так это в том, что в битве вокруг «Шайтанских аятов» отец бы решительно и безоговорочно его поддержал. Если бы не отцовские мысли и не его вдохновляющий пример, роман, возможно, и не был бы написан. *Тебя папа с мамой с панталыку сбили?* Нет, какое там… Хотя, пожалуй что и сбили, но при этом позволили тебе сделаться именно той личностью, именно тем писателем, какими ты должен был стать.

Первым отцовским даром, подобным заключенному в герметичную капсулу посланию потомкам, даром, всю ценность которого он осознал лишь повзрослев, была фамилия. Зваться «Рушди» придумал Анис; его же отец носил неудобопроизносимое староделийское имя Ходжа Мухаммад Дин Халик Дехлави, оно идеально подходило традиционной закалки джентльмену, старательно таращившему глаза с единственного сохранившегося фотоснимка, удачливому фабриканту, баловавшемуся на досуге писательством, обитателю рассыпавшегося от времени особняка-*хавели* в славном старинном квартале Баллимаран, лабиринте кривых улочек в окрестностях рынка Чандни-Чоук, на одной из которых жил Мирза Галиб, великий поэт, писавший на фарси и урду. Мухаммад Дин Халик умер молодым, оставив сыну состояние (которое тот промотал) и имя, с каким непросто было бы жить в современном мире. Анис взял себе фамилию «Рушди» в честь Ибн Рушда, на Западе известного как Аверроэс, — он преклонялся перед арабским философом из Кордовы, достигшим в Севилье высокой должности судьи-*кади*, переводчиком и авторитетным комментатором сочинений Аристотеля. Только прожив с этой фамилией двадцать лет, сын Аниса понял: отец, большой знаток ислама, лишенный при этом даже начатков религиозности, ценил Ибн Рушда за то, что тот в свое время стоял на переднем крае рационалистической полемики с исламским буквализмом; а еще двадцать лет спустя битвой вокруг «Шайтанских аятов» та восьмисотлетней давности полемика срезонировала в двадцатом веке.

«Во всяком случае, — утешал он себя, когда у него над головой разразилась буря, — в эту битву я вступаю с правильны именем». Отец из-за гроба протянул ему знамя, под которым он готов был сражаться, знамя Ибн Рушда, твердо стоявшего за разум, диалог, анализ и прогресс, за свободу философии и образования от оков богословия, за здравый смысл против слепой

веры, бездумной покорности и интеллектуального застоя. Никому не хочется идти на войну, но коль скоро война сама пришла к твоему порогу — хорошо, если она праведная и ведется ради самого главного в жизни, и коль скоро ты решил драться — хорошо, если фамилия у тебя «Рушди» и отец укоренил тебя в традиции великого последователя Аристотеля — Аверроэса, Абуль Валида Мухаммада ибн Ахмада ибн Рушда.

Их с отцом голоса были очень похожи. Когда домой звонили отцовские друзья и он брал трубку, они начинали разговаривать с ним как с Анисом, а он, во избежание неловкости, торопился их остановить. Они с отцом были и внешне похожи, а когда в относительно благостные периоды отцовско-сыновних отношений они теплыми вечерами сиживали на веранде, вдыхая аромат цветущих бугенвиллей и яростно споря о мироустройстве, обоим было ясно: несмотря на множество разногласий, склад ума у них абсолютно одинаковый. И роднило их в первую очередь отсутствие веры.

Анис был безбожником. Американцев такое признание до сих пор шокирует, европейцы не видят в нем ничего экстраординарного, а в большей части остального мира его просто не поймут: есть места, где трудно даже просто сформулировать идею *неверия*. Но таким уж он был — безбожником, который многое знал и много размышлял о Боге. Его завораживали обстоятельства рождения ислама, единственной из мировых религий, возникшей в эпоху письменной истории и основанной не легендарным персонажем, чья жизнь была воссоздана и прославлена «евангелистами» через сотню и больше лет после его смерти, адаптирована для глобального восприятия гениальным проповедником апостолом Павлом, — ее основал реальный человек, чей жизненный путь относительно подробно задокументирован, социальное и имущественное положение на разных этапах биографии хорошо известно, человек, который жил во времена мощного общественного сдвига, из сироты вырос в преуспевающего купца с мистическими наклонностями, и однажды на горе Хира близ Мекки узрел архангела Джабраила, ногами стоящего на земле, а головой достающего до облаков, который велел ему «читать» и таким образом постепенно создать книгу, которая так и назовется *Коран*, то есть «Чтение вслух».

От отца к сыну передалось убеждение, что обстоятельства рождения ислама интересны и увлекательны постольку, поскольку событие это было *историческим* и на него, соответственно, повлияли условия того времени, современные ему события и течения мысли; что единственно возможный

подход к этой теме — поместить ее в исторический контекст, попытаться уяснить, каким образом под воздействием исторических реалий оформилась великая идея; что можно признавать реальность мистика Мухаммада — точно так же, как можно признавать, что Жанна д'Арк действительно слышала руководившие ею голоса, а откровения святого Иоанна Богослова были его «подлинным» душевным опытом, — и при этом не обязательно верить, будто всякий, кто оказался бы в тот день рядом с Пророком на горе Хира, вместе с ним увидел бы архангела. Если рассматривать ниспосланное Пророку откровение как событие субъективное, целиком относящееся к его внутренней жизни, а не к объективной реальности, то и полученный через это откровений текст, наравне с любым другим текстом, открыт изучению критическими, литературоведческими, историческими, психологическими, лингвистическими и социологическими методами. Короче говоря, этот текст следует считать человеческим произведением, подобно всякому человеческом произведению несовершенным и не свободным от ошибок. По знаменитому определению американского литературного критика Рэндалла Джаррелла, роман — это «длинное прозаическое произведение, в котором что-то не так». Анису, как он полагал, было понятно, что не так с Кораном: в него местами закралась путаница.

Как гласит предание, спустившись с горы, Мухаммад начал произносить отрывки текста — сам он, видимо, был неграмотным, — и тот из ближайших сподвижников, кто оказывался поблизости, записывал его изречения на всем, что попадалось под руку (на пергаменте, камне, коже, бумаге и даже, говорят, на костях). Записи складывали в сундук в доме Пророка; когда же он умер, сподвижники собрались, чтобы определить порядок, в каком должно быть изложено откровение; результатом их трудов и стал канонический текст Корана. Для того чтобы признать этот текст «безупречным», читатель должен верить, что: а) архангел, передавая слово Божье, ни разу не ошибся, в чем больших сомнений не возникает, поскольку архангелам, как принято считать, ошибаться несвойственно; б) Пророк, или, как он сам себя называет, Посланник, слово в слово запомнил сказанное архангелом; в) сподвижники, на протяжении двадцати трех лет записывая откровения, всякий раз поспешно, также не наделали ошибок; и, наконец, г) когда они собрались, чтобы придать тексту окончательный вид, коллективная память не подвела их в том, что касается последовательности изложения.

Пункты а), б) и в) Анис Рушди оспаривать не пытался. А вот согласиться с пунктом г) ему было труднее: всякий, кто читал

Коран, легко заметит в нескольких главах, или сурах, явную непоследовательность повествования, когда развитие некоей темы вдруг прерывается, а потом она ни с того ни с сего всплывает в одной из следующих сур, в которой до того момента говорилось совсем о другом. Анис долго вынашивал замысел разобраться со всеми нестыковками и таким образом получить более стройный и удобочитаемый текст. Следует заметить, что замысла своего он ни от кого не скрывал и часто обсуждал его за ужином с приятелями. Ему и в голову не приходило, что его предприятие может быть связано с риском, никакого предвкушения опасности у него не возникало. Видимо, времена тогда были другие и увлечение подобными идеями еще не грозило репрессиями, или просто Анис всецело доверял своему окружению, или был по недомыслию слишком наивен. Но детей своих он приучил самостоятельно искать ответы на интересующие их вопросы, не признавая запретных тем и не считаясь с табу. Приучил к тому, что всё на свете, в том числе и Священное Писание, можно подвергнуть исследованию и, если выйдет, улучшить.

Замысла своего он так и не воплотил. Когда он умер, задуманного текста в его бумагах не было. Последние годы прошли у Аниса под знаком алкоголя и деловых неудач, почти не оставлявших времени и желания впрягаться в углубленные коранические штудии. Но пусть даже планы исправления Корана были всего лишь абстрактной мечтой или же пустым, замешенным на виски бахвальством, они так или иначе оставили след в душе его сына. Вторым великим даром Аниса его детям был бесстрашный скептицизм, сочетавшийся с почти полным отсутствием религиозности, что, впрочем, не мешало соблюдать отдельные формальные предписания культа. В семье Рушди не ели «мяса свиньи», на обеденном столе было не встретить ни запрещенных «обитателей суши и моря, поедающих мертвечину», ни карри с креветками, как его готовят в Гоа. Изредка члены семьи отправлялись в мечеть и, как положено, преклоняли колени. Один-два раза в год они постились во время Рамазана — так, а не Рамаданом, называют этот месяц индийские мусульмане, говорящие не на арабском, а на урду. Однажды совсем ненадолго в доме завелся *мавлави*, ученый-богослов, уменьшенная копия Хо Ши Мина — Негин наняла его обучать безбожных детей начаткам веры. Но когда безбожные дети взбунтовались и принялись так немилосердно изводить *мавлави*, что тот сокрушенно пожаловался родителям на непочтительное отношение их отпрысков к великим святыням, Анис и Негин только посмеялись и встали на сторону детей. *Мавлави* в

результате исчез навсегда, на прощание осыпав глухими проклятиями нечестивцев, чье религиозное образование на этом и прекратилось. Безбожные дети росли законченными безбожниками, что никого, во всяком случае на Виндзор-вилле, не смущало.

Первым что он со всей ясностью осознал, едва в своем габардиновом макинтоше и бело-голубой шапочке общежития Брэдли-Хаус распрощался с отцом и окунулся с головой в английскую жизнь, было то, что за ним числится грех *чужеродности*. До того момента он и не подозревал, что может для кого-то оказаться Другим. Школа Рагби преподала ему урок, которого он с тех пор никогда не забывал и который заключался в том, что всегда найдется кто-нибудь, кто тебя невзлюбит, для этих людей ты будешь чужаком навроде маленьких зеленых человечков или внегалактической мыслящей слизи, и пытаться влиять на их отношение к себе совершенно бессмысленно. Потом он прошел урок отчуждения еще раз, уже при гораздо более драматичных обстоятельствах.

В английской закрытой школе начала 1960-х, быстро обнаружил он, три вещи засчитывались за грубую ошибку, причем совершивший две ошибки из трех мог рассчитывать на прощение. Предосудительным являлось: быть иностранцем, быть умным, посредственно играть во всякие игры. Умные иностранцы прекрасно чувствовали себя в Рагби, если при этом виртуозно орудовали крикетной битой или, например, походили на его однокашника Зия Махмуда, который настолько преуспел в картах, что стал одним из сильнейших в мире игроков в бридж. Мальчикам, не блещущим в спорте, надлежало приложить все усилия, дабы не оказаться слишком умными и, по возможности, слишком уж иностранцами, то есть не допустить третьей, грубейшей ошибки.

Он же — умный неспортивный иностранец — был трижды виноват. По этой причине годы учебы выдались у него довольно безрадостными, хотя науки он постигал весьма споро из Рагби вышел с твердым ощущением, что ему дали превосходное образование, и с той благодарной памятью о выдающихся учителях, которую, если повезет, мы проносим через всю свою жизнь. П. Дж. Льюис привил ему столь пылкую любовь к французскому языку, что за один семестр он выбился из последних в первые ученики; благодаря мудрому попечительству историков Дж. Б. Хоуп-Симпсона и Дж. У. Хила он получил стипендию для обучения истории в бывшей альма-матер отца, кембриджском Кингз-колледже, где он с некоторой разницей во

времени познакомился с Э. М. Форстером и открыл для себя секс. (Несколько, возможно, менее ценной заслугой Хоуп-Симпсона стало то, что именно благодаря ему он прочел «Властелина колец», поразившего его сознание подобно болезни, от которой он так никогда и не сумел исцелиться.) Престарелый преподаватель английской словесности Джеффри Хелливелл на следующий день после той самой *фетвы*, сочувственно покачивая головой, с дурашливым недоумением в голосе вопрошал с британских телеэкранов: «И кто бы мог подумать, что этот милый, скромный мальчик угодит в такую ужасную переделку?»

Никто не заставлял его ехать учиться в Англию. Негин идея отправить единственного сына за моря-океаны не нравилась никогда. Анис предложил ему этот вариант в ряду прочих и посоветовал сдать общий вступительный экзамен, но даже после того как он не без блеска экзамен выдержал и обеспечил себе зачисление в Рагби, решение ехать или остаться было всецело предоставлено его выбору. Годы спустя он сам дивился решению, которое принял в тринадцать лет — мальчишкой, прочно привязанным к родному городу, с кучей друзей, отлично успевающим в школе (если не считать отдельных проблем с языком маратхи), обожаемыми родителями. Почему мальчишка предпочел расстаться со всем этим и отправиться в неизвестность на другой конец света, прочь от всех, кто его любит? Виновата ли в его выборе литература (он, бесспорно, был большим книгочеем)? Если да, то вина, быть может, лежит на горячо им любимых Дживсе и Берти или на лорде Эмсворде и его жирной свинье по кличке Императрица[10]. Или все дело в двусмысленном обаянии мира, созданного Агатой Кристи, манившего его, даже несмотря на то, что мисс Марпл избрала местом жительства первую в Англии по числу убийств деревню, роковую Сэнт-Мэри-Мид? А ведь кроме того были «Ласточки и амазонки» Артура Рэнсома, серия книжек про то, как дети путешествуют на лодках по Озерному краю, а еще гораздо более зловредные похождения «Слепого Сыча» Билли Бантера, жирдяя из выдуманной Фрэнком Ричардсом[11] закрытой школы Грейфрайерз, где вместе с Билли учился как минимум один индиец, Хуррей Джамсет Рам Сингх, «смуглый набоб Бханипура», изъяснявшийся на причудливо высокопарном, синтаксически вывернутом английском («вывернутость его, — как выразился бы смуглый набоб, — достигала размеров ужасающих»). Иными словами, объяснялось ли его решение ребяческим стремлением в воображаемую Англию, существующую только на страницах книг? Или же оно указывало на то, что под внешностью «милого, скромного мальчика» скрывалось существо на редкость авантюрного склада,

которому хватило сообразительности шагнуть в темноту именно потому, что там ждала неизвестность, — скрывался юноша, интуитивно предчувствовавший в себе способность в зрелые годы выживать и даже благоденствовать везде, куда ни заведут его скитания по миру, юноша, который с чрезвычайной легкостью и без всякой жалости последовал за далекой мечтой, отрекся от порядком, конечно, наскучившего очарования «родного дома», почти без сожалений расстался с безутешной матерью и опечаленными сестрами? Доля правды есть и в том, и в другом объяснении. Так или иначе, но он сделал решительный шаг на развилке времени, выбрал западное направление и тем самым отсек для себя возможность превратиться в того, кем бы он вырос, оставшись дома.

В кирпичную Докторскую стенку — она названа так в честь великого директора школы доктора Арнольда[12] — на краю идеально ровного игрового поля вделана памятная доска розового гранита с восславляющей бунт надписью: «Да напоминает сей знак о славном деянии Уильяма Уэбба Эллиса, который элегантно пренебрег футбольными правилами, первым взял мяч в руки и побежал с ним вперед, положив тем самым начало игре в регби». Но и рассказ про Уэбба Эллиса был скорее апокрифическим, и бунтарский дух в Рагби не поощрялся. Там, где получали образование сыновья биржевиков и юрисконсультов, «элегантного пренебрежения правилами» в учебной программе не значилось. Школьные правила запрещали держать руки в карманах и «носиться по коридорам». При этом вполне допускались годковщина — когда младший ученик был вынужден за так прислуживать старшему — и воспитательные побои. Телесные наказания мог назначить не только директор школы, но и староста из числа учеников. В первом семестре его старостой был некий Р. Э. К. Уильямсон, подвесивший стек на всеобщее обозрение над дверью своего кабинета. Стек украшали насечки — по одной на каждый урок, преподанный Уильямсоном однокашникам.

«Милого, скромного мальчика» ни разу не били. Он быстро усвоил школьные правила и тщательнейшим образом их соблюдал. Он выучил местный сленг, на котором вечерняя молитва в дортуаре называлась словом *диц* (от латинского *dicere* — «говорить»), туалет — *топос* (от греческого τόπος, — «место»), а прочие, не имеющие отношения к школе и занятые в основном на производстве цемента жители Рагби высокомерно именовались *плебсом*. Роковых трех ошибок ему так никогда не простили, и тем не менее он вполне в школе освоился. В старших классах его наградили Королевской медалью за сочинение о наполеоновском

министре иностранных дел, колченогом цинике и развратном вольнодумце Талейране, которого он отчаянно защищал. Он занял пост секретаря в школьном дискуссионном клубе и красноречиво выступал в пользу годковщины, запрещенной вскоре после того, как он окончил школу. Как выходец из консервативной индийской семьи он был чужд всякого радикализма, но очень скоро узнал, что такое расизм. Не раз и не два, возвратившись в свою крошечную комнату, он обнаруживал, что кто-то порвал его сочинение и осыпал его красное кресло обрывками. Однажды ему на стене написали: ЧЕРНОТА ВАЛИ ДОМОЙ. Он стискивал зубы, сглатывал обиду и продолжал трудиться. О том, что представляла из себя школа, он рассказал родителям, только после того, как ее окончил (а когда рассказал, родители были потрясены, сколько боли он так долго носил в себе). Мать тяжело переживала разлуку, а отец платил огромные деньги за его учебу, поэтому, убеждал он себя, жаловаться им было бы неправильно. Таким образом, письма домой стали первыми его художественными произведениями, рисующими школьную идиллию — сплошь погожие деньки, коротаемые на крикетной площадке. На самом же деле в крикет он играл плохо, а зимы в Рагби были чрезвычайно холодными, вдвое мучительными для уроженца тропиков, который никогда до том не спал под тяжелым одеялом и с трудом засыпал, придавленный его массой. Если он одеяло сбрасывал, его до костей пробирал холод, так что приходилось привыкать, и он привык. Едва вечером тушили свет, школьники дружно давали выход позывам юной плоти, отчего металлические кровати раскачивались, их удары по протянутым вдоль стен трубам отопления наполняли темный простор дортуара музыкой неизреченной страсти. В этом занятии, как и во всех прочих, он старался не отставать от товарищей, присоединялся к ним. Повторим еще раз: по природному своему складу он не был бунтарем. В те далекие дни «Роллинг стоунз» нравились ему больше «Битлз», но после того как один из наиболее дружелюбно к нему расположенных соседей по общежитию, обстоятельный во всем, пухлый и розовощекий Ричард Ширер заставил его сесть и от начала до конца прослушать пластинку *The freewheelin' Bob Dylan*, он превратился в горячего почитателя Дилана; и тем не менее в душе он был конформистом.

Что не помешало ему взбунтоваться сразу по приезде в Рагби. Администрация школы настаивала, чтобы все ученики вступили в Объединенный кадетский корпус, по средам с ног до головы обряжались в хаки и предавались военным забавам в грязи. Ничего хорошего он в этих забавах не видел — точнее,

воспринимал их как разновидности пытки — и на первой же неделе учебы отправился к старшему воспитателю, доктору Джорджу Дейзли, похожему на классический тип добродушного сумасшедшего ученого, обладателю лучезарной невеселой улыбки, чтобы заявить о нежелании становиться кадетом. Доктор Дейзли сначала напрягся, потом лучезарно улыбнулся и напомнил с минимумом ледяных ноток в голосе, что членство в корпусе обязательно для всех учеников. Мальчик из Бомбея проявил внезапное упрямство и, гордо подняв голову, выдал: «Сэр, поколение моих родителей совсем недавно сражалось за независимость от Британской империи, и по этой причине я не считаю для себя возможным вступать в ее вооружение силы». Неожиданный взрыв антиколониальных чувств обезоружил доктора Дейзли и вынудил его сдаться. «Ладно — сказал он, — можете вместо военных занятий читать у себя в комнате». Перед тем как распрощаться с юным принципиальным отказником, Дейзли указал ему на висящий на стене портрет. «Это майор Уильям Ходсон, — сказал он. — Ходсон из Ходсоновского кавалерийского полка. В годы учебы он жил в Брэдли-Хаусе». Уильям Ходсон был британским офицером, который после подавления восстания сипаев 1857 года (в Рагби это историческое событие называли *Индийским мятежом*) пленил последнего правителя из династии Великих Моголов, поэта Бахадур-шаха II, и убил троих его сыновей — раздев догола, расстрелял, забрал себе все драгоценности, а тела бросил в дорожной пыли у ворот Дели, которые с тех пор зовутся *Клуни Дарваза* — Кровавые ворота. Узнав, что Ходсон тоже жил в Брэдли-Хаусе, юный индийский бунтарь преисполнился еще большей гордостью за свой отказ вступать в армию, где некогда служил палач могольских принцев. Не слишком уверенно доктор Дейзли высказал ошибочную, по всей видимости, догадку, будто Ходсон был одним из прототипов Флэшмена, грозы младшеклассников из романа Томаса Хьюза «Школьные годы Тома Брауна», действие которого происходит в Рагби. На лужайке напротив школьной библиотеки стоял памятник Хьюзу, а в Брэдли-Хаусе выдающийся выпускник, проведший годы учения в стенах этого общежития, слыл прообразом самого злостного мучителя слабых во всей английской литературе, и это считалось в порядке вещей.

Из школы человек выносит не только те уроки, какие она стремится ему преподать.

Следующие четыре года он проводил среды за чтением взятых в городской библиотеке научно-фантастических романов в желтых обложках, под радиоконцерты по заявкам, поглощая сэндвичи с салатом и вареным яйцом, жаренную во фритюре

картошку и кока-колу. Он стал специалистом по золотому веку научной фантастики, жадно впитывая в себя шедевры: сборник Айзека Азимова «Я, робот», где сформулированы Три закона роботехники, эпопею Зенны Хендерсон «Паломничество», невероятные фантазии Лайона Спрэг де Кампа, и прежде всего навеки западающий в душу рассказ Артура Кларка «Девять миллиардов имен Бога», в котором мир тихо и без шума приходит к концу после того, как буддистские монахи с помощью компьютера перечислили все Божественные имена. (Бог завораживая его, как и отца, при том что к религии он был, в сущности, безразличен.) И пусть его одержимость фантастикой, которая длилась четыре с половиной года и подпитывалась закусками из школьного буфета, трудно поставить в один ряд с величайшими в истории революциями, но зрелище усталых, в грязи и ссадинах однокашников, плетущихся с военных игрищ, всякий раз напоминало ему, что иногда очень даже полезно бывает отстоять свои права.

Что касается Бога: последние робкие ростки веры заглохли в его душе под действием острого отвращения, которое внушал ему архитектурный облик школьной капеллы. Много лет спустя, проездом оказавшись в Рагби, он с изумлением обнаружил, что неоготическое творение Герберта Баттерфилда[13]на самом деле невероятно красиво. В школьные годы оно казалось ему уродливым и в свете самозабвенного увлечения научной фантастикой больше всего напоминало замерший на стартовой площадке кирпичный космический корабль. Как-то, сидя на уроке латыни и глядя на капеллу в окно, он задумался: «И какой же Бог согласится поселиться в таком безобразном жилище?» Ответ явился мгновенно: разумеется, ни один уважающий себя Бог там жить не станет — и вообще, разумеется, Бога нет, и даже такого, которому нравилась бы плохая архитектура. К концу урока он сделался несгибаемым атеистом и в подтверждение этого на перемене решительно отправился в буфет и приобрел бутерброд с ветчиной. В тот день мясо свиньи впервые коснулось его нёба, но Всевышний не поразил его за это молнией, и тем самым подтвердилось давнишнее его подозрение: там, наверху, нет никакого метателя молний.

В капелле он репетировал с остальными учениками хор «Аллилуйя», когда в Рагби готовили полную постановку «Мессии» с привлечением профессиональных солистов. Он посещал обязательные для учеников утрени и вечерни — все знали, что в Бомбее он учился в Соборной школе, и ему поэтому нечем было оправдать нежелание бормотать христианские молитвы, да и церковные песнопения ему нравились, музыкой своей возвышенно

волновали сердце. Нравились, конечно, не все; так, например, ему нужды не было *поднимать взор на крест, где Божий сын страдал*, зато, когда случалось исполнять *вокруг ночная мгла и дом мой далеко / веди ж меня к нему*, мучимый одиночеством мальчик бывал тронут до глубины души. Ему нравилось петь «Придите к Младенцу» на латыни — она каким-то образом притупляла религиозность звучания: *venite, venite in Bethleliem*[14]. «Пребудь со мной» он любил за хоровое исполнение стотысячной толпой на стадионе «Уэмбли» перед финалом футбольного Кубка Англии, а, как он называл его про себя, «географический гимн» «День, данный Тобою, Господь, склонился к закату» пробуждал в нем умильную тоску по дому: *Прощаясь с нами на ночь, днéвное светило, / под небо Запада* [*Запада* он менял на *Индии*] *несет зарю*. В смысле словесных средств неверие явно проигрывало вере, но музыка неверия с какого-то момента на равных тягалась с религиозными песнопениями, а по мере того как он взрослел и золотой век рок-н-ролла лил ему в уши все эти свои *I-can't-get-no, hard-rain's-a-gonna-fall, try-to-see-it-my-way*, и *da doo ron ron*[15], церковные гимны становились ему всё безразличнее. Но и тогда в школьной капелле Рагби оставались магниты, не отпускавшие сердце неверующего книгочея, — это были мемориальные доски в честь Мэтью Арнольда с его бьющимися во тьме первозданными силами[16], и Руперта Брука, убитого комариным укусом в сражении как раз с такой силой и лежащего средь поля на чужбине, которая стала навеки Англией[17]; и, конечно же, камень в память о Льюисе Кэрролле, на чьем черно-белом мраморе кружат Тенниелловы[18] силуэты… постойте, постойте… — да, ну разумеется! — они кружат в кадрили. «Не могу я, не хочу я, не пущусь я в пляс, — напевал он про себя. — Не могу я, не хочу я, не пущусь я в пляс»[19]. Это был его личный гимн во славу собственного «я».

Перед самым выпуском из Рагби он совершил чудовищный поступок. Всем тамошним без пяти минут выпускникам разрешалось устроить «академическую распродажу», за скромные деньги пристроить по младшим соученикам свои старые письменные столы, настольные лампы и прочий скопившийся за годы учения хлам. Он повесил на дверь свой комнаты перечень выставленных на аукцион предметов и стал ждать. Все его добро было основательно попользованным, за исключением красного кресла, которое отец купил абсолютно новым. Побывав у единственного владельца, оно для академической распродажи было вещью высококачественной и желанной, поэтому за него пошла серьезная торговля. Активнее других цену набавляли двое: один из его лакеев-младшеклассников, некий П. Э. Ф. Рид-

Герберт, он же Бред Герберт, щуплый очкарик, смотревший на него чуть ли не как на высшее существо, и парень постарше, выходец с населенной сплошь миллионерами Бишопс-авеню в Северном Лондоне, по имени Джон Таллон, который, в принципе, мог позволить себе дать высокую цену.

Когда торговля забуксовала — больше, что-то около пяти фунтов, на тот момент предлагал Рид-Герберт, — у него и родилась нехорошая идея. Он подговорил Джона Таллона разом задрать цену, фунтов этак до *восьми*, пообещав не брать с него денег, если никто заявку не перебьет. После чего во время *дица* с серьезной миной сообщил Бреду Герберту: его богатый соперник Таллон — это известно наверняка — готов дать и больше, не исключено даже целых двадцать фунтов. Убедившись, что прием сработал, что Бред Герберт сразу поник, а лицо у него вытянулось, он закинул удочку: «Ну, если б ты, например, вот прямо сразу согласился, скажем, на десятку, я бы закрыл торги, сказал бы, мол, кресло продано». Бред Герберт напрягся: «Рушди, это ж дорого». — «А ты подумай, — сказал Рушди великодушно, — пока молиться будешь».

Когда *диц* закончился, Бред Герберт был уже на крючке. Бессовестный Рушди одобрительно улыбнулся: «Единственно верное решение, Рид-Герберт». Он и глазом не моргнув заставил школьника заплатить вдвое против предложенной тем цены. Красное кресло обрело нового владельца. Вот что значит к месту помолиться.

Красное кресло было продано в 1965 году. Девять с половиной лет спустя, в октябре 1974-го, в дни предвыборной кампании он включил телевизор и ухватил самый конец выступления кандидата от крайне правого, расистского, фашистского, оголтело антииммигрантского Британского национального фронта. Титры на экране сообщали, что кандидата зовут *Энтони Рид-Герберт*. «Бред Герберт! — воскликнул он, пронзенный ужасной догадкой. — Боже мой, я породил нациста!» В голове у него мгновенно сложилась стройная картинка: Бред Герберт, которого раскрутил на деньги коварный черножопый безбожник, через все свое изъязвленное отрочество к еще более изъязвленной зрелости пронес нежно лелеемую ненависть и сделался политиком-расистом, дабы отыграться на всех черножопых вне зависимости от того, пытаются те или не пытаются впарить кому-нибудь свое красное кресло. (Но точно ли это был то самый Бред Герберт? А вдруг их на свете двое? Нет, наверняка это и есть малютка П. Э. Ф., вряд ли кто еще.) На парламентских выборах 1977 года в избирательном округе Восточного Лестера за Бреда Герберта проголосовали 6 процентов

пришедших на участки, 2967 человек. В августе 1977-го он баллотировался на довыборах в округе Ледивуд Бирмингема и показал третий результат, опередив кандидата от Либеральной партии. После этого, к счастью, на общенациональной политической сцене он больше замечен не был.

Mea culpa, думал продавец красного кресла. *Mea maxima culpa*[20]. Правдивое повествование о его школьных годах немыслимо без изрядной доли одиночества и, чуть меньшей, — тоски. Но столь же неизбежно на его образ ложится пятно потаенного неизгладимого преступления.

Во второй свой день в Кембридже он отправился на собрание первокурсников в столовой Кингз-колледжа, где впервые лицезрел великолепный, достойный гения Брунеллески купол, венчавший главу Ноэля Аннана. Ректор колледжа лорд Аннан, не человек, а раскатистый ренессансный собор, предстал пред ним, сверкая лысиной и ледяным взором. «Вас привели сюда три причины, — провозглашал полногубый ректор, — и причины эти следующие: интеллект, интеллект и еще раз интеллект!» Один за другим упруго выпрямились три пальца, по пальцу на каждую названную причину. Это был не единственный афоризм в запасе у ректора. «Самые важные познания вы вынесете не из лекционных аудиторий, не из библиотек и не из общения с научными руководителями, — с выражением вещал он, — а из поздних ночных посиделок, в ходе которых вы будете взаимно обогащать друг друга».

Из дома в университет он уехал в самый разгар войны, бессмысленного индо-пакистанского конфликта, разразившегося в сентябре 1965 года. Яблоком раздора в очередной раз послужил Кашмир, за него пять недель шли бои, унесшие жизни без малого семи тысяч индийских солдат. В результате Индии достались семьсот квадратных миль пакистанской территории, а Пакистану — двести индийской. (В «Детях полуночи» именно во время этой войны погибла под бомбами почти вся семья Салима Синая.) В Лондоне он несколько дней прожил у дальних родственников в комнате без окон. Дозвониться до отца с матерью не получалось, а телеграммы из дома шли, как ему сказали, по три недели. Так и не дождавшись вестей от родных, он сел в поезд до Кембриджа и постарался заставить себя надеяться на лучшее. В Маркет-Хостел, общежитие первокурсников Королевского колледжа, он водворился с нелегким сердцем и неприятным предчувствием, что университетские годы выдадутся такими же безотрадными, как и проведенные в Рагби. Он умолял отца не посылать его в Кембридж, хотя был уже туда зачислен. Ему не хотелось, говорил

он отцу, снова ехать в Англию, не хотелось провести еще несколько лет жизни в окружении ледяных неприветливых рыб. Ведь можно же — правда? — окончить университет на родине, среди более теплокровных существ. Но Анис, сам выпускник Кингз-колледжа, настоял на своем. И мало того, потом отец попытался заставить его сменить специализацию, поскольку считал, что глупо было бы угрохать три года на изучение истории. Он велел сыну — под угрозой, что иначе не станет платить за обучение, — попросить о переводе на экономический.

Придавленный тройным страхом — перед недружественной английской молодежью, экономической наукой и войной, — в первый свой день в Кингз-колледже он не нашел в себе сил подняться с постели. Он физически ощущал, что тело его отяжелело, будто сама сила земного притяжения стремилась удержать его в кровати. За день он не открыл нескольким визитерам, стучавшимся в дверь его комнаты, обставленной более или менее в духе скандинавского модерна. (В тот год у «Битлз» вышла пластинка *Rubber Soul*, и он целыми днями мурлыкал себе под нос *Norwegian Wood*.) Ближе к вечеру, однако, уж больно настойчивый стук заставил его встать. За дверью, сияя широченной итонской улыбкой и блистая рупертбруковским соломенным чубом, высился бесконечно приветливый «Ян Пилкингтон-Микса — я, знаете ли, наполовину поляк», гостеприимный ангел, отворивший ему врата в будущее и на волне шумного дружелюбия увлекший его к новой жизни.

Ян Пилкингтон-Микса, идеальный образчик выпускника английской привилегированной школы, на вид был неотличим от тварей, отравлявших ему жизнь в Рагби, но при этом показал себя милейшим молодым человеком, посланным в знак того, что отныне все будет складываться по-другому. По-другому оно все и сложилось; Кембридж исцелил большинство полученных в Рагби ран и открыл ему, что существуют разные Англии, в том числе и симпатичные, такие, где можно жить не хуже чем дома.

Так он избавился от первого тяготившего его бремени. Что касается угрозы со стороны экономической науки, то ее отвел от него другой ангел-привратник — заведующий учебной частью доктор Джон Броадбент, безграничного обаяния преподаватель английской литературы, который легко мог бы послужить (но не послужил) прообразом доктора Говарда Кэрка, сверхобщительного и нестрогого в вопросах морали героя романа Малкольма Брэдбери «Историческая личность». Когда он с унылым видом сообщил доктору Броадбенту, что отец требует от него сменить специализацию, тот спросил: «А вам-то самому чего хочется?» Разумеется, заниматься экономикой ему не хотелось; он

хотел изучать историю, и для этой цели ему была даже выделена стипендия. «Я все улажу», — сказал доктор Броадбент и написал Анису Рушди письмо, в котором вежливо, но предельно четко объяснил: с точки зрения администрации, Салман не обладает достаточной подготовкой, чтобы приступить к изучению экономических дисциплин, и в случае, если он продолжит настаивать на своем, ему разумнее будет покинуть университет. Больше о занятиях экономикой Анис Рушди не заикался.

Третье бремя тоже вскоре спало у него с плеч. Война в Индостане закончилась, никто из тех, кто был ему дорог, не пострадал. И у него началась университетская жизнь.

Складывалась она вполне обычно: он завел друзей, потерял девственность, научился загадочной игре со спичками, которой забавлялись герои «Прошлым летом в Мариенбаде», в день смерти Ивлина Во сыграл печальную партию в крокет с Э. М. Форстером[21], мало-помалу понял значение слова «Вьетнам», был избран в члены «Рампы»[22], скромно примкнул к блистательному созвездию посвященных — Клайву Джеймсу, Робу Бакману, Джермейн Грир, смотрел, как на сцене крошечного клуба на улице Петти-Кьюри, в зале под штабом хунвейбинов, где торговали цитатниками председателя Мао, Джермейн исполняет свой коронный «Стриптиз монашки», выдирается, выкручивается из рясы и остается в итоге в полном снаряжении аквалангиста. Еще он курил траву, видел, как приятель из комнаты напротив не пережил плохого кислотного трипа, а другой приятель окончательно спятил от наркотиков, через третьего приятеля познакомился с Капитаном Бифхартом[23] и участниками «Велвет андеграунд» — этот третий приятель умер вскоре после окончания университета; радовался моде на мини-юбки и полупрозрачна блузки; пописывал в студенческую газету «Универ» — недолго, пока редакция не отказалась от его услуг; играл в пьесах Брехта, Ионеско и Бена Джонсона; в компании будущего арт-критика лондонской «Таймс» без приглашения пробрался на Майский бал Тринити-колледжа, чтобы послушать, как Франсуаза Арди[24] споет *Tous les garçons et les filles*, гимн мучительному ожиданию все не приходящей любви.

В послеуниверситетские годы он частенько рассказывал о своем кембриджском счастье, договорившись с самим собой не вспоминать, как часами плакал от невыносимого одиночества у себя в комнате, при том что прямо за окном блистала красотой капелла Кингз-колледжа (дело было в последний университетский год, когда он жил на первом этаже в крыле «S» главного здания колледжа, где из его комнаты открывался идеальный «роскошный вид»: готическая капелла, лужайка, река с

лодками-плоскодонками). В тот последний год он возвратился в Кембридж после каникул в глубоком унынии. Заканчивалось лето 1967 года, Лето любви, когда те, кто отправлялся в Сан-Франциско, непременно должны были украсить волосы цветами. А он все лето проторчал в Лондоне и за все лето так никого и не полюбил. При этом, по чистой случайности, он очутился, как тогда говорили, «там, где все происходило», — поселился в комнатке над самой модной в те дни точкой, бутиком «Бабуля путешествует», который расположился на том конце Кингз-роуд, что ближе к Краю Света[25]. Жена Джона Леннона, Синтия, носила платья от «Бабули».

Мик Джаггер, по слухам, тоже, бывало, надевал эти платья. Кембриджскому студенту и здесь приходилось учиться. Он перестал говорить «потрясный» и «клевый»: в «Бабуле» умеренную степень одобрения принято было выражать словом «красота», а сочтя нечто действительно прекрасным, говорили «неплохо». Он привык много и глубокомысленно кивать головой. Индийское происхождение помогало ему сходить за своего среди модной публики. «До Индии, чувак, — говорили ему, — далеко». — «Да уж», — кивал он. «Махариши, чувак, — говорили ему, — это красиво». — «Рави Шанкар, чувак», — парировал он. Этими именами обычно исчерпывался запас известных собеседникам индийцев, и дальше они лишь кивали с блаженным выражением лица, повторяя: «Как ты прав, чувак, как ты прав».

Еще один, более мудреный, урок преподала ему хозяйка бутика, неземное создание, сидевшее в стильно затемненном, пропахшем пачулевым маслом и наполненном звуками ситара помещении, в лиловом свете которого он не сразу рассмотрел какие-то неподвижные тени. Возможно, это были вешалки с одеждой, возможно, одежда эта продавалась. Он об этом не спрашивал. «Бабуля» нагоняла на него страх. Но однажды он собрался с духом, спустился вниз по лестнице и представился девушке: *Привет, я живу над вами, меня зовут Салман*. Девушка подошла к нему поближе — так, что он увидел, сколько презрения отражается у нее на лице. Потом она замедленно, очень светски пожала плечами и сказала: «Нам с тобой не о чем говорить, чувак».

Взад-вперед по Кингз-роуд со смехом разгуливали отборнейшие, возмутительно раздетые красавицы в сопровождении столь же возмутительно расфуфыренных и тоже смеющихся мужчин в сюртуках со стоячим воротником, рубашках с рюшем, бархатных брюках клеш и ботинках из поддельной змеиной кожи. Казалось, он единственный в мире не знает, что значит быть счастливым.

В Кембридж он приехал с ощущением, что вот ему уже стукнуло двадцать, а жизнь тем временем проходит мимо. (Тоску последнего курса изведал не он один. Даже вечно жизнерадостный Ян Пилкингтон-Микса впал в глубокую депрессию, из которой, впрочем, скоро выбрался и объявил, что решил стать кинорежиссером и сразу после университета ехать на юг Франции, «потому что, — объяснил он легкомысленно, — там, наверно, нужны режиссеры».) Как и в Рагби, спасение он нашел в учебе. *Наш разум вынужден одно из двух избрать: / жизнь совершенную или усердный труд,* писал Йейтс, и раз уж совершенной жизни было не видать как своих ушей, он взялся за труд.

То был год, когда он узнал о существовании шайтанских аятов. Тем, кто собирался в конце года держать экзамен на степень бакалавра с отличием, следовало выбрать три из множества предлагаемых колледжем исторических «спецкурсов». Он решил сосредоточиться на индийской истории периода борьбы с колониализмом, начиная с восстания сипаев 1857 года и заканчивая провозглашением независимого государства в августе 1947-го; на совершенно потрясающем столетии существования Соединенных Штатов, с 1776-го по 1877 год, с Декларации независимости до окончания затеянной после Гражданской войны Реконструкции; третий спецкурс, читавшийся в тот год впервые, назывался «Мухаммад, экспансия ислама и ранний халифат». В 1967 году не многих кембриджских студентов-историков интересовал Пророк, настолько не многих, что заявивший этот курс преподаватель отменил лекции и отказался вести тех нескольких человек, которые на него записались, — им было предложено выбрать какую-нибудь еще из предложенных тем. Все они на это согласились, и только он один проявил свое вечное упрямство. Раз курс заявлен, его нельзя отменить, если нашелся хотя бы один слушатель, — таково правило. Сын своего отца, он был безбожником, которого страшно интересовали боги и пророки. К тому же он в некотором роде имел отношение к давно и прочно укоренившейся в Южной Азии исламской культуре, был наследником богатейшей художественной, литературной и архитектурной традиции моголов и их предшественников. Он твердо вознамерился изучить заявленную в курсе тему. Для этого от него требовалось всего ничего — найти преподавателя, который согласился бы руководить его штудиями.

В то время в Кингз-колледже преподавали три выдающихся историка: Кристофер Моррис, специалист по политической мысли эпохи Тюдоров, церковной истории и философии Просвещения, больше всех из них печатался и имел самую солидную репутацию;

Джон Солтмарш, обладатель буйной седой гривы и роскошных бакенбардов, ходил по университету в сандалиях на босу ногу и с торчащими из-под брюк кальсонами, слыл великим чудаком и был непревзойденным знатоком истории колледжа, его капеллы и, шире, всего региона — его частенько видели шагающим с рюкзаком за плечами по проселкам и тропам в окрестностях Кембриджа. Оба они, Моррис и Солтмарш, учились в свое время у основоположника экономической истории сэра Джона Клэпхема, и оба считали медиевиста Артура Хибберта самым блестящим ученым из троицы историков Кингз-колледжа, гением, который, как рассказывают, сдавая студентом выпускной экзамен по истории, выбрал вопросы, которые знал хуже всего, иначе ему было не уложиться во время, отведенное для ответов. Уладить вопрос с проблемным спецкурсом попросили именно Хибберта, и он с готовностью согласился. «Я не специалист в этой области, — сказал он скромно, — но кое-что знаю. Так что, если вам так угодно, я могу быть вашим научным руководителем».

Упрямый студент с благодарностью принял благородное предложение профессора, стоя у него в кабинете с бокалом шерри в руках. Таково было начало необычного сюжета. Специальный курс, посвященный Мухаммаду, распространению ислама и раннему халифату, был заявлен один-единственный раз, в 1967/68 учебном году, когда на него и записался настойчивый индиец; наследующий год из-за отсутствия интереса к курсу его в программе не заявляли. А для того единственного студента спецкурс воплотил в жизнь отцовскую мечту: биография Пророка и рождение ислама изучались в нем как исторические события, анализировались взвешенно, *должным образом*. То есть так, как если бы спецкурс задумывался специально для него.

В самом начале совместной работы Артур Хибберт дал ему совет, который он запомнил на всю жизнь. «Никогда не пишите историю, — сказал Хибберт, — пока не услышите, как говорят ее герои». Он многие годы размышлял над словами профессора и в конце концов решил, что они полностью применимы и к художественной литературе. Не услышав, как разговаривают люди, невозможно их в достаточной мере понять, а значит, невозможно — *непозволительно* — о них рассказывать. Из того, как человек говорит, короткими ли рублеными фразами или длинными цветистыми периодами, очень многое становится о нем ясно: место рождения, социальный статус семьи, особенности темперамента — спокоен он или вспыльчив, отзывчив или бесчувствен, любит сквернословить или тщательно следит за своей речью, вежлив или груб; а через темперамент раскрывается его подлинная природа — мыслитель он или практик,

прямодушен или лжив и — да-да! — хорош или плох. Ему хватило бы, если бы он получил от Артура Хибберта одно лишь это знание. Но он получил гораздо больше, открыл для себя целый мир. Мир, где зарождалась одна из мировых религий.

Они были кочевниками и только начинали переходить к оседлости. Города у них появились совсем недавно. Мекка была основана всего несколько поколений назад. Ясриб, позднее переименованный в Медину, представлял собой несколько кочевых лагерей, раскинувшихся вокруг оазиса и обнесенных снаружи слабым подобием городской стены. Жить в городе им было неуютно, у многих оседлая жизнь вызывала недовольство.

Кочевое общество было консервативным, в нем действовало множество запретов, коллективное благо ценилось выше личной свободы, зато всякому в таком обществе находилось место. Мир кочевников был царством матриархата. Любой, даже сирота, мог укрыться под сенью большой семьи, никто не чувствовал себя ненужным и одиноким. Оседлость меняла привычный порядок вещей. Матриархат сменялся патриархатом, семьи становились меньше. День ото дня в городе появлялось все больше неустроенного люда, который вел себя все беспокойнее. Но Мекка тем временем процветала на радость правившим ею старейшинам. Наследование с недавних пор стало происходить по мужской линии, и это тоже нравилось стоящим у власти семьям.

У ворот города стояли святилища трех богинь, ал-Лат, Манат и ал-Уззы. Божества эти были крылатыми, наподобие величественных птиц. Или ангелов. Каждый раз когда торговые караваны, благодаря которым в город текли богатства, отправлялись в дальние странствия или, наоборот, возвращались домой, они останавливались у святилищ и совершали жертвоприношения. Или, выражаясь в современных нам понятиях, платили пошлину. Святилища контролировались богатейшими семействами Мекки, которые богатели во многом за счет этих «жертвоприношений». Крылатые богини были средоточием хозяйственной жизни недавно основанного города, нарождавшейся городской цивилизации.

В центре Мекки, в здании, называвшемся Кааба, то есть Куб, стояли изваяния нескольких сотен божеств. Одно из них, далеко не самое почитаемое, изображало божество по имени ал-Лах, означающем *бог*, точно так же как имя ал-Лат означает *богиня*. Среди прочих божеств ал-Лах выделялся тем, что не имел сколько-нибудь определенной сферы ответственности, не был богом дождя, богатства, войны или любви, а считался, этак

неопределенно, просто богом всего на свете. Возможно, отсутствием специализации и объяснялась его сравнительно небольшая популярность. Когда верующие приносили жертву, у них обычно бывала на то конкретная причина: болезнь ребенка, тревога за успех коммерческого предприятия, засуха, ссора, любовь. Поэтому чаще они обращались к богам с четко обозначенной специализацией, а не к разностороннему, не очень понятному божеству. Но со временем ал-Лаху предстояло превзойти славой всех языческих божеств.

Человеком, который извлек ал-Лаха из полунеизвестности и стал его Пророком, который сделал его равным, или, во всяком случае, равноценным, ветхозаветному *Сущему* Богу и Богу-Троице Нового Завета, был Мухаммад ибн Абдаллах из рода Бану-Хашим (в годы его детства переживавшего упадок), сирота, выросший в доме своего дяди Абу Талиба. Подростком он начал сопровождать Абу Талиба в его путешествиях по торговым делам. Вместе с дядей он бывал в Сирии, где почти наверняка встречался с христианами, приверженцами секты несториан, и слушал их рассказы, в которых многие места из Ветхого и Нового Заветов были приспособлены к привычным рассказчикам условиям. Так, например, по несторианской версии, Иисус Христос родился под пальмой в оазисе. В Коране, который передал Мухаммаду архангел Джабраил, одна из *сур* названа именем Майрам, то есть Марии, и в ней говорится, что Иисус явился на свет именно в оазисе, под пальмой.

Мухаммад ибн Абдаллах слыл добродетельным человеком и умелым купцом. Когда ему исполнилось двадцать пять, стать его женой изъявила желание Хадиджа, женщина богаче и старше его. Следующие пятнадцать лет он успешно торговал и наслаждался семейным счастьем. При этом Мухаммад испытывал необходимость иногда побыть наедине с собой. На протяжении многих лет он время от времени восходил на гору Хира и по несколько недель жил там отшельником. Ему было сорок, когда ангел Джабраил нарушил его уединение и велел «читать». Естественно, сначала он решил, что сошел с ума, и бежал от видения. Однако жена и ближайшие друзья убедили Мухаммада вернуться на гору и на всякий случай послушать, что ангел скажет: вдруг действительно к нему через вестника хотел обратиться сам Бог.

Большая часть событий, последовавших за превращением купца в Посланника Божьего, по праву достойна восхищения; преследования в Мекке, заставившие его бежать в Медину, вызывают сочувствие, а то, как быстро он сделался в Ясрибе авторитетным законодателем, мудрым правителем и искусным

полководцем, — внушает уважение. Интересно наблюдать, как непосредственно влияли на содержание откровения мир, которому даровался Коран, и обстоятельства жизни Посланника. Так, когда многие мусульмане пали на поле боя, ангел повелел братьям погибших брать в жены вдов, дабы осиротевшие женщины не порывали с исламом, выходя замуж за иноверцев. Едва пошла молва, будто Аиша, любимая жена Пророка, потерявшись в пустыне, согрешила с неким Сафваном ибн Марваном, как ангел Господень поспешил сообщить от имени Бога, что юная добродетельная особа ничего такого не делала. При более общем взгляде заметно: содержащаяся в Коране система ценностей по сути своей полностью созвучна отмиравшим в те годы законам жизни арабов-кочевников, законам матриархального общества, которое покровительствовало своим членам и не бросало на произвол судьбы сирот — сирот вроде самого Мухаммада, который, добившись уважения и богатства, должен был бы войти в число правителей города, но его в их круг не допускали, поскольку за ним не стояло влиятельной семьи.

Потрясающий парадокс: консервативная в основе своей богословская система, с сочувствием обращенная к уходящему в прошлое укладу, неожиданно оказалась революционной — самыми горячими ее приверженцами стала рассерженная беднота, вытесненная с ростом городов на обочину жизни. Именно поэтому, возможно, правители Мекки посчитали ислам опасным для себя и принялись так ожесточенно преследовать мусульман; и поэтому же, возможно — всего лишь допустим такую вероятность, — попытались нейтрализовать основателя ислама, предложив ему заманчивую сделку.

В большинстве основных сборников *хадисов*, преданий о жизни Пророка — в тех из них, что составлены ибн Исхаком, аль-Вакиди, ибн Саадом, аль-Бухари и ат-Табари, — фигурирует эпизод, получивший позднее известность как «случай с шайтанскими аятами». Как-то раз Пророк спустился с горы и прочитал *суру* (53-ю) под названием «Ан-Наджм», то есть «Звезда». В ней, среди прочих, говорилось: «Видели ли вы ал-Лат, и ал-Уззу, и Манат — третью, иную? Они — величественные птицы, и помощь их весьма нам желанна». Какое-то время спустя — через несколько дней? недель? лет? — он снова побывал на горе и, спустившись, поведал растерянно сподвижникам, что в прошлый раз был обманут: в образе архангела ему тогда явился Дьявол, поэтому переданные в тот раз аяты надо немедленно выкинуть из Корана, поскольку исходят они не от Бога, а от Шайтана. Теперь же ангел принес ему от Бога новые слова, которыми надлежит

заменить в священной книге шайтанские аяты: «Видели ли вы ал-Лат, и ал-Уззу, и Манат — третью, иную? Они — только имена, которыми вы сами назвали, — вы и родители ваши. Неужели у вас — мужчины, а у Него — женщины? Это тогда — разделение обидное!»[26] Шайтанову проделку выкинули из Корана, но вопросы остались: почему Мухаммад поначалу принял первое, «ложное» откровение за подлинное? И что происходило в Мекке в период между двумя откровениями, шайтанским и ангельским?

Вот что нам об этом известно: Мухаммад хотел, чтобы его признали жители Мекки. «Он искал, — пишет ибн Исхак, — путей привлечь их на свою сторону». Весть о том, что он назвал трех крылатых богинь божествами, понравилась народу и быстро распространилась по городу. «Они были очень довольны, — продолжает ибн Исхак, — что он так отозвался об их богах, и радовались, восклицая: „Мухаммад прекрасные слова говорит про наших богов“». Как повествует Аль-Бухари, «Пророк… простерся ниц, произнося „Ан-Наджм“, и вместе с ним пали ниц все мусульмане, все язычники, все джинны и все люди, сколько их было на Земле».

Но почему же в таком случае впоследствии Пророк взял свои слова обратно? Ряд западных историков (в их числе шотландский арабист Монтгомери Уотт и француз-марксист Максим Родинсон) предлагают политическое объяснение интересующего нас эпизода. Святилища крылатых божеств, говорят они, служили источником дохода городской правящей верхушки, в которую Мухаммад не был допущен — как он сам считал, несправедливо. Так что, возможно, ему предложили «сделку» на таких приблизительно условиях: если Мухаммад, или архангел Джабраил, или Аллах позволит последователям ислама почитать трех птицекрылых богинь — разумеется, не наравне с Аллахом, а как духовных существ низшего порядка, как тех же, например, ангелов (кому бы помешало, если бы к ангелам, уже предусмотренным исламским богословием, добавились еще три, любимые горожанами и зарабатывающие городу деньги?), — то преследования мусульман прекратятся, а Мухаммад войдет в число правителей Мекки. Не исключено, что Мухаммад в какой-то момент поддался искушению.

Что же было дальше? Градоправители передумали, рассудив между собой, что заигрыванием с многобожием Мухаммад дискредитировал себя в глазах последователей? Или мусульмане отказались принять откровение о трех богинях? Или сам Мухаммад решил, что негоже изменять идее, уступив соблазну популярности? Никто не знает этого наверняка. Недосказанное в письменных памятниках остается только додумывать. Но ведь в

Коране прямо говорится: через искушения прошли все пророки. «И не посылали Мы до тебя никакого посланника или пророка без того, чтобы, когда он предавался мечтам, сатана не бросил в его мечты чего-либо», — сказано в 22-й суре. И если случай с шайтанскими аятами был таким искушением для Мухаммада, то он, между прочим, с честью вышел из положения: признал, что подвергся соблазну, и решительно этот соблазн поборол. Ат-Табари приводит такие слова Пророка: «Я соделал зло против Бога и вложил в уста Ему речи, коих Он не произносил». Исламский монотеизм прошел испытание огнем, с тех пор его уже не могли поколебать никакие преследования, изгнания и войны, а совсем немного времени спустя Пророк одолел всех своих врагов и новая религия неукротимым пламенем разнеслась по миру.

«Неужели у вас — мужчины, а у Него — женщины? Это тогда — разделение обидное!»

Смысл «подлинных», ангельских или божественных, аятов очевиден: именно женскость крылатых богинь принижала их и делала самозванками, доказывала невозможность признания этих «величественных птиц» такими же детьми Божьими, какими считались ангелы. Бывает так, что при рождении великой идеи многое становится понятным о ее будущем; то, как она входит в мир, позволяет провидеть, что ждет ее на этапе зрелости. Что до идеи, о которой ведется речь, то уже в ее младенчестве женскость исключала всякую претензию на величие.

Интересный сюжет, думал он, читая обо всем этом в книжках. В ту пору он уже мечтал стать писателем и на всякий случай припрятывал интересные сюжеты в закрома памяти. Настоящее понимание того, насколько этот сюжет интересен, пришло к нему через двадцать лет.

JE SUIS MARXISTE, TENDANCE GROUCHO[27], писали на стенах Парижа той революционной весной. Через несколько недель после парижских *évènements*[28] мая 1968 года и за несколько дней до выпускной церемонии какой-то пожелавший остаться неизвестным остроумец, возможно даже из лагеря марксистов-граучианцев, в отсутствие хозяина привнес новизну в декор его буржуазной комнаты в элитарном общежитии, изведя на это чуть ли не ведро мясной подливы с луком, каковой щедро вымазал стены и мебель, а также, разумеется, проигрыватель и одежду. Следуя исстари укоренившейся традиции честности и справедливости, которой так гордятся в Кембридже, администрация Кингз-колледжа немедленно возложила всю вину на него одного и, проигнорировав все возражения, поставила в

известность, что диплом ему вручат только после того, как он возместит ущерб. Так в первый, но, увы, далеко не в последний раз его облыжно обвинили в разбрасывании дерьма.

Он за все заплатил, но из духа противоречия на выпускную церемонию явился в коричневых ботинках. Его мгновенно выдернули из рядов уместно-черноботиночных однокашников и велели пойти сменить обувь. Таинственным образом люди в коричневых ботинках были обречены на печать неуместно одетых, и этот приговор также обжалованию не подлежал. Он и в этот раз уступил, сбегал переобуться и успел в последний момент вернуться в строй. Когда наконец пришла его очередь, он должен был взять за мизинец университетского служителя и чинно проследовать за ним к подножию монументального трона вице-канцлера[29]. Преклонив колена у ног начальственного старца, он в жесте мольбы, лодочкой сложив ладони, воздел над головой руки и на латыни нижайше попросил вручить ему диплом, который — мысль об этом все время крутилась у него в голове — он заслужил тремя годами усердных трудов, а родители оплатили солидной суммой. Руки ему посоветовали держать повыше, чтобы вице-президенту не пришлось слишком низко нагибаться, а то он, не ровен час, мог навернуться со своего массивного трона прямо на спину выпускнику.

Каждый раз, вспоминая об этих событиях, он ужасался собственной покорности, но выбор у него тогда был небольшой. Он мог, конечно, не платить за перемазанную мясной подливой комнату, мог не переобуваться, не вставать на колени перед вице-канцлером. Но он предпочел смириться и спокойно получить свой диплом. Память о том смирении добавила ему упрямства, из-за нее он стал менее охотно идти на компромиссы и мириться с любой несправедливостью, большой или малой. Несправедливость с тех пор прочно ассоциировалась у него с подливой — грязно-бурой, комковатой, густой жижей, омерзительно, до слез воняющей луком. Нечестно — это когда тебя заставляют сломя голову мчаться к себе в комнату, чтобы сменить объявленные вне закона коричневый ботинки, когда приходится коленопреклоненно на мертвом языке вымаливать нечто, что и так тебе по праву принадлежит.

Много лет спустя он рассказал обо всем этом на актовой церемонии в Бард-колледже. «Сегодня я хочу поделиться с вами мудростью, почерпнутой мною из притч о Неизвестном Подливном Вандале, Табуированной Обуви и Шатком-Валком Вице-канцлере, — говорил он погожим днем в Анандейле-на-Гудзоне, штат Нью-Йорк, выпускникам 1996 года. — Первое: если когда-нибудь вас обвинят в тяжком злоупотреблении подливой —

а вас в нем как пить дать обвинят, — при том что подливу вы употребляли исключительно по назначению, не берите вину на себя. Второе: те, кто гонит вас за неправильные ботинки, не стоят того, чтобы с ними считаться. И третье: ни перед кем не опускайтесь на колени, умейте постоять за свои права». Выпускники 1996 года — кто-то босиком, кто-то с цветами в волосах — подходили за дипломами весело и непринужденно, от избытка чувств пританцовывали, потрясали в воздухе кулаками. *Как же это здóрово*, думал он. Происходящее близко не походило на кембриджскую церемониальность и сильно от этого выигрывало.

Родители к нему на выпуск не приехали. Отец сказал, что ему не по карману авиабилеты. Это было неправдой.

В его поколении были романисты — Мартин Эмис, Иэн Макьюэн, — чья писательская карьера стартовала стремительно: едва, так сказать, вылупившись из яйца, они величественными птицами взмыли к небесам. А надежды его ранней юности не оправдались. Какое-то время он жил на чердаке в доме на Акфолд-роуд, что неподалеку от Уондсворт-Бридж-роуд, в том же доме поселились его сестра Самин и трое кембриджских приятелей. Убрав приставную лестницу и закрыв лаз в потолке, он подолгу просиживал в защищенном стропилами мирке и делал вид, будто пишет. Что именно, он и сам не очень понимал. Ничего даже отдаленно похожего на книгу у него не складывалось, душевная сумятица тех дней — он объяснил ее впоследствии растерянностью, неумением понять, что он собой представляет теперь, распрощавшись с родным Бомбеем, — дурно сказывалась на его характере: он часто бывал неоправданно резок, затевал споры из-за ерунды. Ему большого труда стоило скрывать изводившую его неотступную тревогу. За что бы он ни брался, все получалось из рук вон плохо. От тщеты сидения на чердаке он спасался в экспериментальных театральных труппах «Сайдуок» и «Затч», ставивших спектакли на сцене театра «Овал-Хаус» в Кеннингтоне. В длинном черном платье и блондинистом парике, не сбривая усов, он играл ведущую рубрики «Советы мужчинам» в пьесе Дасти Хьюза, такого же, как он сам, выпускника Кембриджа. Еще он участвовал в британской постановке агитпроповского антивоенного мюзикла «Вьет-рок», первоначально поставленного в Нью-Йорке труппой театра «Ла МаМа». И спектакли эти были не то чтобы эпохальными, и, что гораздо неприятнее, денег у него не оставалось ни гроша. Через год после окончания Кембриджа он жил на социальное пособие. «И что я теперь скажу друзьям?» — воскликнул Анис Рушди,

когда сын объявил о намерении стать писателем; стоя в очереди за пособием, он начал осознавать, что не так уж и не прав был отец. Дом на Акфолд-роуд повидал немало юношеских невзгод. Сестра Самин пережила короткий несчастливый роман с его университетским приятелем Стивеном Брэндоном и, когда роману пришел конец, съехала из дома и вернулась на родину. Вместо нее поселилась девушка по имени Фиона Арден; как-то ночью он обнаружил ее в полубессознательном состоянии на полу у подножия лестницы — она выпила целый пузырек снотворного. Фиона вцепилась ему в запястье и не отпускала, пока они вместе ехали на «скорой» в больницу, где ей спасли жизнь, сделав промывание желудка. После этого приключения он оставил свой чердак и долго болтался по коллективно арендуемым квартирам в Челси и Эрлз-Корте. О Фионе он сорок лет ничего не слыхал, а тут узнал, что она, оказывается, баронесса, заседает в палате лордов и пользуется авторитетов в мире бизнеса. Юность частенько бывала нескладной и убогой, молодые люди вдребезги разбивались в мучительных поисках себя, но случалось и так, что вслед за мучительной полосой жизнь менялась к лучшему.

Вскоре после того как он съехал, дом на Акфолд-роуд сгорел — его поджег какой-то соседский придурок.

Дасти Хьюз устроился сочинять рекламные тексты в агентство «Дж. Уолтер Томпсон». Как-то вдруг оказалось, что он получает приличные деньги и делает рекламу шампуней, в которой снимаются роскошные блондинки. «Это как раз для тебя работа, — сказал ему Дасти. — Совсем простая». Сидя как на экзамене в офисе «Дж. Уолтер Томпсон», он сделал «тестовое задание»: написал тексты для рекламы шоколада «Афтер-эйт» и для джингла на мелодию Чака Берри *No Particular Place to Go*, агитирующего радиослушателей пристегиваться в автомобиле, а потом попытался меньше чем в ста словах, как того требовали экзаменаторы, объяснить гостю с Марса, что такое хлеб и как сделать хороший тост. На работу не приняли: с точки зрения рекламного гиганта «Дж. Уолтер Томпсон», у него напрочь отсутствовали литературные задатки. В конце концов его взяли в агентство поменьше и поскромнее — в «Шарп Макманус», обосновавшееся на Олбемарл-стрит. Так началась его трудовая биография. В первый день он получил задание сочинить для журнала скидочных купонов рекламу сигар — их по случаю Рождества продавали упакованными в елочные хлопушки. Ему ничего не приходило в голову. Кончилось тем, что любезный «креативный директор» Оливер Нокс, впоследствии автор нескольких понравившихся публике романов, шепнул ему на ухо: «Пять терпких штучек от „Плейерс“, чтобы не прохлопать даром

Рождество». *Вот это да*, подумал он, чувствуя себя полным дураком.

В агентстве в одном с ним кабинете сидела невероятная красавица-брюнетка Фэй Ковентри, у которой тогда разворачивался роман с директором издательства «Джонатан Кейп»[30] Томом Машлером. По понедельникам она рассказывала ему, как провела очередные выходные в занятной компании «Арнольда» (Уэскера)[31], «Гарольда» (Пинтера) и «Джона» (Фаулза)… Как же чудесны были ее рассказы, как же прекрасна жизнь этих людей! Зависть и обида, отчаяние и неукротимое желание быть на них похожим по очереди владели сердцем юного копирайтера. Вот он, казалось ему, литературный мир — такой близкий и такой ужасающе далекий. Когда Фэй из агентства уволилась, сделавшись сначала женой Машлера, а потом уважаемым ресторанным критиком, у него чуть ли не на душе полегчало: литературный мир, которым она его дразнила, снова отодвинулся на безопасное расстояние.

Университет он окончил в 1968 году, «Дети полуночи» вышли в свет в апреле 1981-го. Почти тринадцать лет понадобилось ему, чтобы по-настоящему начать. За эти годы он выдал неимоверное количество словесного мусора. Под это определение подпадает, например, роман «Западня для пира», который мог выйти неплохим, если бы он сообразил, как правильней эту вещь писать. В романе, действие которого разворачивалось в стране, похожей на Пакистан, рассказывалась история святого человека, по-персидски *пира*, поставленного тремя заговорщиками — военачальником, политиком и капиталистом — во главе переворота, с тем чтобы после победы он занял место номинального лидера, тогда как реальная власть досталась бы им троим. Но пир оказался умнее и решительнее поставивших на него игроков — те слишком поздно поняли, что выпустили на волю неуправляемое чудовище. Писалось это задолго до того, как аятолла Хомейни подмял под себя революцию, которую должен был лишь номинально возглавить. Если бы он не пытался оригинальничать и написал нормальный политический триллер, из романа могло бы еще что-то получиться; но вместо этого он облек повествование в неудобопонятную форму потока сознания нескольких персонажей. Роман никому не понравился. О публикации и речи не шло. Книга получилась мертворожденной.

Но это был еще не предел. Когда Би-би-си понадобился новый сценарист, он послал на объявленный телевизионщиками конкурс пьесу. Она представляла собой диалог двух разбойников, распятых вместе с Христом — пока великий человек еще не взошел на Голгофу, они беседуют в духе беккетовских бродяг

Диди и Гого. Называлась пьеса (ну разумеется) «Перекрестные помехи». Она была до невозможности глупой и на конкурсе не победила. После пьесы он написал еще один текст романного объема, недопинчоновскую чушь под названием «Антагонист», настолько слабую, что он никому ее не показал. На жизнь он зарабатывал рекламой. Называть себя прозаиком не дерзал. Он был копирайтером, который, как все на свете копирайтеры, мечтал стать «настоящим» писателем. И вполне отдавал себе отчет, насколько он пока не настоящий.

Откровенный безбожник парадоксальным образом не оставлял попыток написать про божественное. С верой он давно расстался, но тема религии никуда не делась, по-прежнему упорно подстегивала его воображение. Его ум сформировали метафоры и сам строй религиозных учений (христианского и индуистского в не меньшей мере, чем исламского), их сосредоточенность на главных вопросах бытия — Откуда мы пришли в этот мир? Придя в этот мир, как нам следует жить? — была близка и понятна ему даже при том, что его мысли не требовалось ни одобрения со стороны божественного арбитра, ни, тем более, ограничений и толкований, исходящих от земного священства. Его первый опубликованный роман «Гримус» увидел свет в издательстве «Виктор Голланц» трудами Лиз Колдер, которая тогда еще не ушла в «Джонатан Кейп». В основе романа лежала мистическая поэма «Мантик аль-Таир», или «Беседа птиц», созданная в одиннадцатом веке мусульманским Джоном Баньяном[32], суфием Фаридом ад-Дин Аттаром, родившимся на территории нынешнего Ирана в городе Нишапур четыре года спустя после смерти самого прославленного сына этого города, поэта Омара Хайяма. Поэма — этот «Путь паломника» по-исламски — рассказывает о путешествии тридцати птиц под предводительством удода к горе Каф, обиталищу их бога Симурга. Преодолев семь долин страданий и откровений, они достигают наконец вершины горы и не находят там никакого бога, но узнают, что два слога — «си» и «мург», — составляющие имя «Симург», означают «тридцать птиц». Пройдя через страдания, они сами стали тем богом, к которому стремились.

Гримус — анаграмма «Симурга». В научно-фантазийной переделке Аттаровой притчи индеец, без затей названный Взлетающим Орлом, разыскивает таинственный остров — Каф-айленд. Отзывы на роман были прохладными, а местами даже чуть ли не издевательскими — такой прием чрезвычайно расстроил автора. Дабы не поддаться отчаянию, он в спешном порядке сочинил небольшую сатирическую повесть, в которой карьера премьер-министра Индии Индиры Ганди развивается не

на политической сцене, а в мире бомбейской киноиндустрии. (Отдаленным ориентиром при этом служил роман «Наша банда», сатира Филипа Рота на Ричарда Никсона.) Книжка получилась вульгарной — в одном ее эпизоде, например, кинозвезда Индира увеличивает пенис покойному отцу — и потому сразу же после написания отправилась в корзину. Дальше катиться было некуда.

Шестая долина на пути тридцати птиц из поэмы Аттара была краем потерянности — в том краю птицы решили, будто ничего не знают и не понимают, и впали в тоску и уныние. Седьмой долиной была долина смерти. В середине 1970-х молодой копирайтер и несостоявшийся романист ощущал себя тридцать первой отчаявшейся птицей.

Работа в рекламе слывет занятием тупиковым и бесперспективным, но ему оно пошло скорее на пользу. Из агентства «Шарп Макманус» он перешел в контору покрупнее, в рекламную компанию «Огилви энд Мазер», основанную Дэвидом Огилви, автором знаменитого изречения «Потребители товаров не какие-то там дебилы, а ваши жены». Изредка по ходу работы случались мелкие конфликты, как, например, в тот раз, когда одна американская авиакомпания запретила ему использовать в своей рекламе чернокожих стюардесс, при что их много было в штате компании. «А что, если о вашем запрете узнают в профсоюзе?» — поинтересовался он у представителя авиакомпании. «Но вы ведь, надеюсь, туда не сообщите?» — ответил тот. В другой раз он отказался делать рекламу говяжьей солонины компании «Кэмпбелл», потому что она производилась в ЮАР, а Африканский национальный конгресс тогда как раз призвал бойкотировать южноафриканские товары. Его за это чуть не уволили, но заказчик на его изгнании настаивать не стал, и место осталось за ним. В 1970-е в мире рекламы вольнодумцами и чудаками не разбрасывались, с работы первыми гнали не их, а самоотверженных трудяг, изо всех сил цеплявшихся за рабочие места. Если ты всем своим видом показывал, что работа тебе не так уж нужна, вечно опаздывал и устраивал себе длинные и пьяные обеденные перерывы, тебя повышали в должности, тебе то и дело прибавляли зарплату, а небожители с благосклонной улыбкой взирали на твою созидательную экстравагантность — во всяком случае, пока от тебя был хоть какой-то толк.

Работал он по большей части с людьми, которые ценили и всячески поддерживали его, с талантливыми людьми, для которых, как и для него самого, реклама была площадкой для старта к чему-то большему либо просто служила источником легкого заработка. Он придумал рекламный ролик для скотча-

невидимки, где достоинства незаметной клейкой ленты демонстрировал Джон Клиз («Как видите, ее не видно — в отличие от обычной ленты, которая, как вы видите, видна»), и для краски для седых волос «Нежная забота» компании «Клэрол», снятый Николасом Роугом, прославленным режиссером фильмов «Представление» и «А теперь не смотри». В 1974 году, в эпоху введенной из-за шахтерских забастовок трехдневной рабочей недели с ежедневными отключениями электричества и паническим хаосом в студиях озвучания и дубляжа на Уордор-стрит, он без малого полгода подряд делал для «Дейли миррор» по три рекламных ролика в неделю, и, несмотря на тяжелое время, все они до одного появлялись в эфире. После этого его не пугала и работа в кино. Реклама, кроме того, проложила ему путь в Америку — его отправили в путешествие по стране, чтобы потом написать рекламные брошюры для компании «Ю-Эс трэвел сёрвис», выходившие под общим слоганом «Великое американское приключение» и с фотоиллюстрациями легендарного Эллиота Эрвитта. В аэропорту Сан-Франциско, куда он прилетел усатым и изрядно обросшим, на видном месте висело огромное объявление: НЕСКОЛЬКО ЛИШНИХ МИНУТ НА ТАМОЖНЕ — НЕ БОЛЬШАЯ ЦЕНА ЗА ТО, ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ ОТ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАРАЗЫ. Неправдоподобно классической наружности реднек одобрительно прочел этот текст, а затем, уже с совсем другим выражением лица и явно не видя в своем поведении внутреннего противоречия, посмотрел на волосатого чужестранца — выглядел тот, следует признать, крайне подозрительно и явно прямиком из аэропорта направлялся в Хайт-Эшбери, мировую «контркультурную» столицу секса, наркотиков и рок-н-ролла, — посмотрел на него и сказал: «Жаль мне тебя, дружище, — даже если у тебя с собой ничего, эти что-нибудь да найдут». Но все обошлось, наркотиков молодому сочинителю рекламных текстов не подкинули и позволили вступить в пределы волшебного королевства. Когда он наконец допутешествовал до Нью-Йорка, ему в первый же вечер пришлось облачиться в самую курьезную из возможных униформ, в костюм и галстук, и все ради того, чтобы друзья отвели его выпить в бар «Окно в мир» на крыше Всемирного торгового центра. Оттуда он впервые увидел запечатлевшуюся на всю жизнь картину — могучие здания, словно говорящие хором: *Мы здесь навсегда*.

Сам же он болезненно переживал зыбкость своего положения. Жизнь с Клариссой складывалась у него счастливо, и это счастье худо-бедно сдерживало бушевавшую в душе бурю; любой другой

молодой человек на его месте утешался бы еще и успехами в профессиональной деятельности. Но неустроенность внутренней жизни, постоянные неудачи в стремлении стать нормальным публикующимся прозаиком не давали ему покоя, занимали все его мысли. Он решил не обращать внимания на чужие критические суждения о своем творчестве и вместо этого постарался самостоятельно с ним разобраться. К этому времени он уже начинал догадываться: с писательством у него не складывается ровно потому, что что-то не складывается с осознанием собственного «я». Он толком не понимал, кто он такой, и потому никак не становился тем писателем, каким должен был бы стать. Но постепенно у литератора-неудачника складывалось более-менее внятное представление о своей человеческой сути.

Он был эмигрантом, жизнь занесла его совсем не туда, откуда вынесла. Эмиграция оборвала корни, которыми его личность держалась за родную почву. До того как это произошло, он жил в хорошо ему известном месте среди хорошо его знавших людей, следовал обычаям и традициям, знакомым и понятным ему и его окружению, разговаривал на родном языке с людьми, для которых этот язык такой же родной. Место, окружение, культура и язык — из четырех его корней были оборваны три. Он потерял свой любимый Бомбей; на старости лет родители без долгих разговоров продали дом его детства и из каких-то непостижимых для него соображений перебрались в Пакистан, в Карачи. Там родителям жить не нравилось, и это естественно. В сравнении с Бомбеем, Карачи — что Дулут[33] в сравнении с Нью-Йорком. Их объяснения казались ему абсолютно надуманными. Как мусульмане, они якобы ощущали себя в Индии все большими чужаками. Они-де хотели выдать дочерей за добропорядочных мусульман. У него это не укладывалось в голове. Прожив всю жизнь в счастливой безрелигиозности, родители теперь оправдывали свой выбор религиозными соображениями. Он их доводам не верил. Если отец с матерью скоропалительно продали дом, к которому прикипели душой, и навсегда оставили город, который любили, тому, не сомневался он, должно найтись реалистическое объяснение — вроде проблем с бизнесом или налоговых неприятностей. Что-то тут было нечисто, что-то они от него скрывали. Время от времени он высказывал свои сомнения родителям, но те уходили от разговора. Он так и не разгадал их тайны; отец с матерью умерли, так и не признавшись, что у них имелась потаенная причина для переезда. В Карачи по сравнению с Бомбеем набожности у них не прибавилось, так что любые апелляции к исламу звучали в их устах неуместно и

неправдоподобно.

Ему было тревожно от неумения понять, почему так поменялся облик его жизни. Доходило до того, что она казалась ему лишенной смысла и даже абсурдной. Он был уроженцем Бомбея, живущим в Лондоне среди англичан, однако часто при этом ощущал проклятие двойной бесприютности. Единственный из его корней, языковой, счастливо уцелел, но со временем он все отчетливее понимал, сколь дорого обошлась ему потеря остальных трех и в сколь глубокое замешательство он приходил от своего тогдашнего «я». В век тотальной эмиграции на долю миллионов сорванных с насиженных мест «я» выпадали колоссальные испытания — бездомность, голод, безработица, болезни, гонения, одиночество и страх. Ему повезло гораздо больше других, но одно суровое испытание — испытание поиском нового своего «я» — выпало и на его долю. Личность эмигранта неизбежно превращается из однородной в многосоставную, тяготеющую не к одному месту на Земле, а к нескольким одновременно, скорее многоликую, чем цельную, умеющую вписаться в разные жизненные уклады и сбитую с толку сильнее, чем средняя оседлая личность. Остается ли у такой личности возможность, вместо того чтобы болтаться неукорененной, завести себе сразу несколько корней? Не мучиться их отсутствием, а извлекать выгоду из их избытка? Для этого корни должны быть одной или более-менее равной мощности, между тем его связь с Индией пугающе истончилась. Ему необходимо было восстановить в прежнем объеме индийскую составляющую своего «я», которой иначе он мог лишиться навсегда. Ведь для человеческого «я» равно важны и отправная точка, и пройденный из нее путь.

Дабы осмыслить свой путь, он должен был вернуться к отправной точке и оттуда вдумчиво его повторить.

На этом-то этапе раздумий он и вспомнил про Салима Синая. Этот прото-Салим из Западного Лондона был второстепенным персонажем признанного никуда не годным и заброшенного «Антагониста». Он сконструировал его из дорогих сердцу деталей: Салимом персонаж звался в память об однокласснике по бомбейской школе Салиме Мерчанте (и по созвучию с «Салманом»), а фамилия «Синай» восходила к имени жившего в одиннадцатом веке мусульманского ученого-энциклопедиста Ибн Сины (Авиценны), точно так же как фамилия «Рушди» — к имени «Ибн Рушда». В «Антагонисте» Салим был проходным персонажем, и никто бы не заметил, прошествуй он по своей Лэдброук-Гроув прямиком в небытие, если бы не одно «но»: Салим появился на свет в полночь с 14-го на 15 августа 1947 года,

в «полночь свободы», с которой началась история Индии, освободившейся от британского господства. Все шло к тому, что этот самый бомбейский полуночный Салим заслуживает отдельной книги.

Сам он родился за полтора месяца до провозглашения зависимости от Британской империи. Его отец шутил: «Вот завелся у нас Салман, и через полтора месяца англичане дали деру». В этом смысле Салим смотрелся еще большим героем — англичане бежали в самый момент его рождения.

Создатель Салима появился на свет в «Родильном доме доктора Широдкара» — гинеколога В. Н. Широдкара, именем которого названа операция, проводимая беременным при истмико-цервикальной недостаточности. Этого доктора он оживит под другим именем на страницах своей новой книги. Район Вестфилд-истейт, что над Уорден-роуд (переименованной теперь в Бхулабхай-Десай-роуд[34]), с домами, выкупленными у покидавших Индию англичан и носившими названия королевских резиденций — вилла «Гламз», вилла «Сандрин-хем», вилла «Балморал» и родная его Виндзор-вилла, — возродится в этой книге под именем «Месволд-истейт», а Виндзор-вилла станет в ней виллой «Букингем». Соборная школа для мальчиков, основанная «попечительством Англо-шотландского образовательного общества», появится в романе под настоящим своим названием, большие и малые впечатления детской жизни — отхваченный дверью кончик пальца, смерть товарища прямо во время уроков, Тони Брент, поющий *The Clouds Will Soon Roll By*, джазовые «джем-сейшены» по утрам в воскресенье в районе Колаба, «дело Нанавати», нашумевшая история о том, как высокопоставленный военный моряк убил любовника жены, а ее ранил из пистолета, но не смертельно — войдут в книгу, преображенные фантазией сочинителя. Врата памяти отворились, и в них ринулось прошлое. Оставалось сесть и писать.

Сначала он подумывал писать немудреный роман о детстве, но слишком уж многое вытекало из обстоятельств рождения протагониста. Коль скоро нововообращенный Салим Синай и новорожденная нация оказались близнецами, то и рассказ приходилось вести о них обоих. На страницы книги вторглась история, всеохватная и глубоко личная, созидательная и разрушительная, — и он понял, что произведению потребуется совсем иной масштаб. Великая задача исторической науки — осознать, каким образом под действием неких колоссальных сил формируются отдельные человеческие личности, общности, народы и сословия, которые, в свою очередь, обладают способностью временами менять вектор приложения этих сил; ту

же задачу должна была решить книга, написанная им, историком по образованию. Его охватил творческий азарт. Он нашел точку, где пересекались личное и всеобщее, и решил выстроить на этом перекрестке свою книгу. Политика и частная жизнь не могли в ней существовать вне зависимости одна от другой. Это только в старину для Джейн Остин, писавшей в самый разгар Наполеоновских войн, естественно было ни разу о них не упомянуть и видеть главное назначение британских военных в том, чтобы носить мундиры и украшать своим присутствием рауты. Не могла эта книга и быть написанной хладнокровным, в духе Форстера, языком. Ведь в Индии не холодно, а *жарко*. Жаркая, перенаселенная, сумбурная и шумная страна требовала соразмерного ей языка, и он попытался такой язык найти.

Он отдавал себе отчет, сколь необъятен его замысел, понимал, что ставит на карту последнее в ситуации, когда шансы на проигрыш гораздо выше, чем на победу. Именно так, ловил он себя на мысли, все и должно быть. У него оставалась одна, последняя попытка воплотить в жизнь мечту, и глупо было бы потратить ее на сочинение острожной, благопристойной, проходной вещицы. Нет, он проделает невероятной смелости художественный эксперимент, и плодом его станет роман… Как же его назвать? «Синай»? Нет, так нельзя, а то все решат, что в нем повествуется о Ближневосточном конфликте или о Десяти заповедях. «Полночное дитя»? Но ребенок-то будет не один, сколько их появилось на свет в тот полночный час — несколько сотен? тысяча? или, что было бы совсем прекрасно, тысяча и один? То есть получается «Полночные дети»? Снова нет, название тоскливое и отдает ночным шабашем педофилов… «Дети полуночи»! Да, вот оно!

Его аванс за «Гримуса» составил внушительные 750 фунтов, с учетом проданных во Францию и Израиль прав на перевод выходило 825. Располагая означенной суммой на банковском счете, он набрал побольше воздуха в легкие и высказал Клариссе такую идею: он бросает работу в «Огилви», они отправляются в Индию и живут там, покуда хватает денег, путешествуют с минимальными тратами, погружаются в неисчерпаемую индийскую реальность, он вдоволь пьет из рога изобилия, а потом возвращается и садится писать. «Хорошо», — не задумываясь ответила она. Он обожал это ее безрассудство, которое в свое время подвигло Клариссу броситься к нему в объятья, дав отставку одобренному матерью мистеру Льюорти из городишка Уэстерхем, графство Кент. Да, они шли ва-банк. И она его в этом поддержала, так же как поддерживала до сих пор. Во время своей индийской одиссеи они останавливались в ночлежках, сутки и

более подряд проводили в автобусах, где им на ноги тошнило кур, спорили с аборигенами Кхаджурахо, которые считали скульптурные изображения тантрического секса в их знаменитом храмовом комплексе непотребными и предназначенными лишь для туристов, заново познавали Бомбей и Дели, гостили у старинных друзей его семьи, а однажды и в доме у исключительно негостеприимного дядюшки и его еще более негостеприимной новой жены, перешедшей в ислам австралийки, — от этого дядюшки, делавшего все, лишь бы они поскорее убрались вон, он много лет спустя получил письмо с требованием денег. Он побывал в приюте для вдов в Бенаресе, посетил в Амритсаре парк Джаллианвала-Багх, где в 1919 году учинил бойню генерал Дайер[35]; а потом, по горло сытый Индией, поехал в Англию писать книгу.

Прошло пять лет: они с Клариссой были женаты, у них родился сын Зафар, роман был окончен и даже издан. На одной из встреч, где он читал отрывки из книги, индийская женщина встала и сказала: «Спасибо вам, мистер Рушди, за то, что вы рассказали про мою жизнь». У него комок подступил к горлу. На следующей встрече к нему обратилась другая индийская женщина: «Мистер Рушди, я прочитала ваш роман „Дети полуночи“. Он очень длинный, но это не страшно, я все равно дочитала его до конца. И теперь хочу вас спросить: а что вы, по большому счету, хотели им сказать?» Журналист из Гоа посетовал: «Вам повезло, вы быстрее дописали», — и показал машинопись своего романа про мальчика, родившегося в Гоа в ту же полночь, что и Салим Синай. В «Нью-Йорк таймс бук ревью» написали, что в романе «целый континент обрел, похоже, свой голос», на что множество литературных голосов Южной Азии на несметном числе языков отозвались эхом: «Да неужели?» И еще случилось много всего такого, о чем он и мечтать не смел: пришли премии, первые места в списках бестселлеров и, вообще говоря, популярность. Индия сердечно приняла его книгу и признала своим писателем, вернула себе точно так же, как он надеялся вернуть себе эту страну — лучшей награды не могло присудить ни одно жюри ни одной премии. Опустившись до самого дна, он все-таки отыскал волшебную дверь, выход к сияющим вершинам. Он снова окажется на этом дне после провозглашенной Хомейни фетвы, но и тогда найдет в себе силы не сдаться, ни в чем не изменить своему «я».

После Индии он вернулся к работе копирайтера, выговорив себе сначала у «Огилви», а потом и у другого агентства, «Эйер Баркер Хегеманн», двух-трехдневную рабочую неделю, что

оставляло ему четыре или пять дней для написания книги, будущих «Детей полуночи». Когда роман был опубликован, он решил, что пришло время окончательно расстаться с этой весьма доходной работой. У него на тот момент был маленький ребенок, а уход из рекламного бизнеса сулил немалые денежные затруднения, но для творчества настоятельно требовалась свобода. Он посоветовался с Клариссой. «Нам придется приготовиться к бедности», — сказал он ей. «Хорошо, — уверенно ответила она. — Разумеется, увольняйся». Совершенно неожиданный для них обоих коммерческий успех «Детей полуночи» явился наградой их общей решимости — решимости шагнуть в неизвестность, не цепляться за гарантированный службой доход.

Когда он заявил боссу о желании уйти из агентства, тот решил, что у него требуют прибавки. «Да нет, дело в том что я хочу попробовать заняться исключительно литературой», — объяснил он боссу. А, сказал босс, то есть вы хотите, чтобы вам сразу *много* прибавили. «Нет же, я не торговаться с вами пришел. Просто, как положено, за месяц предупреждаю вас, что увольняюсь. Ровно через тридцать дней я больше на работу не выйду». Ну-у, протянул босс, боюсь, *столько* мы точно вам платить не сможем.

Тридцать один день спустя, летом 1981 года, уже ничто не отрывало его от писательства, которому он отныне целиком себя посвятил. Когда он в последний раз вышел за порог рекламного агентства, его прямо-таки опьянило чувство свободы. Он отбросил рекламную шелуху, как ненужную больше кожу, хотя и продолжал втайне гордиться самым известным своим слоганом «Такие неполезные — с ума сойти!», придуманным для производителя пирожных с кремом. Когда в том же году за «Детей полуночи» ему присудили Букеровскую премию, первая поздравительная телеграмма — в те времена одна из разновидностей посланий, которыми люди обменивались между собой, называлась «телеграмма» — была от того последнего, не сразу понявшего его босса. «Примите поздравления, — говорилось в ней. — Здорово, что наградили одного из нас».

На подходе к Стейшнерз-Холл, где должна была состояться Букеровская церемония, им с Клариссой повстречалась неугомонная Кармен Каллил, австралийка ливанского происхождения, основательница феминистского издательства «Вираго». «Салман, лапушка, — воскликнула она, — ты обязательно победишь!» Он сразу решил, что Кармен его сглазила и теперь ему премии уж точно не видать. Шорт-лист в тот год был

выдающимся: Дорис Лессинг, Мюриэл Спарк, Иэн Макьюэн… Ему ли с ними тягаться! Кроме того, на премию претендовал Д. М. Томас с романом «Белый отель», признанным многими критиками настоящим шедевром. (Это было еще до обвинений в многочисленных заимствованиях из «Бабьего Яра» Анатолия Кузнецова, повредивших репутации книги в глазах некоторой части публики.) Нет, сказал он Клариссе, ты даже не надейся.

Много лет спустя одна из членов тогдашнего букеровского жюри, блестящий автор и ведущая телепрограмм об искусстве Джоан Бейкуэлл, рассказала ему, как боялась, что председательствовавший в жюри Малкольм Брэдбери станет всеми правдами и неправдами проталкивать «Белый отель». Перед финальным голосованием она частным образом встретилась с двумя другими экспертами, литературным критиком Гермионой Ли и профессором Принстонского университета Сэмом Хайнсом, и все трое пообещали друг другу не уступать давлению и отдать свой голос за «Детей полуночи». В результате Брэдбери и пятый член жюри Брайан Олдисс проголосовали за «Белый отель», а роман «Дети полуночи» победил с минимальным перевесом: три голоса против двух.

Д. М. Томас на церемонии награждения не присутствовал, а его редактор Виктория Петри-Хей очень нервничала оттого, что ей, возможно, придется принимать за него премию, и потому пила один бокал за другим. Когда он после награждения снова столкнулся с ней, она, уже в основательном подпитии, призналась, что только рада, что все обошлось и ее не заставили зачитывать благодарственную речь Томаса. Достав из сумочки конверт с текстом речи, она рассеянно помахивала им в воздухе: «И что мне теперь с этим делать, ума не приложу». — «А вы мне отдайте, — сказал он, в расчете сыграть жестокую шутку. — Чтобы не потерялся». Виктория была так пьяна, что безропотно послушалась. Следующие полчаса он проходил с текстом благодарственной речи Д. М. Томаса в кармане. Но в конце концов в нем заговорила совесть, он разыскал совсем к тому времени расклеившуюся редакторшу и вернул нераспечатанный конверт. «Постарайтесь не потерять», — сказал он ей.

Показывая своему редактору Лиз Колдер красивый, переплетенный в кожу наградной экземпляр «Детей полуночи», он раскрыл его на том месте, где помещался экслибрис с надписью ЛАУРЕАТ. Она, не в силах сдержать радость, плеснула на экслибрис шампанским — так сказать, «окрестила» книжку. Видя, как расплываются от шампанского буквы, он в ужасе закричал: «Что вы наделали!» Через пару дней учредители премии прислали новенький чистый экслибрис, но он уже не хотел

расставаться с первым, прошедшим победное крещение. И заменять его на новый не стал.

Так у него начались годы благополучия.

Ему выпало семь благополучных лет — далеко не всем писателям выпадает столько, — и потом в тяжелые времена он вспоминал эти годы с неизменной благодарностью. Через два года после «Детей полуночи» он опубликовал роман «Стыд», вторую часть диптиха, посвященного миру, выходцем из которого он был. Эта вторая книга задумывалась как прямая противоположность первой: действие в ней происходит в основном не в Индии, а в Пакистане, она короче, сюжет закручен крепче, повествование ведется не от первого лица, а от третьего, и в центре его попеременно оказываются разные персонажи, а не один антигерой-рассказчик. В отличие от первой, вторая книга писалась без любви; в его восприятии Пакистан был прежде всего до смешного свирепой страной. Страной, где горстка жуликов правила беспомощным большинством, где продажные политиканы и беспринципные генералы то выступали заодно, а то гнали и казнили друг друга, страной, отдаленно повторяющей Рим эпохи цезарей, в котором буйные тираны спали с родными сестрами, возводили своих коней в сенаторское достоинство и музицировали, глядя на подожженную столицу. Но что бы ни творилось в дворцовых стенах, какое бы кровавое безумие за ними ни происходило, от этого в жизни простых римлян — равно как простых пакистанцев — абсолютно ничего не менялось. Дворец всегда оставался дворцом. Правящая верхушка власть из своих рук не выпускала.

Переехать в Пакистан было со стороны родителей большой ошибкой, нелепым недоразумением, из-за которого он лишился родного дома. И сам Пакистан казался ему историческим недоразумением, *недостаточно продуманной* страной, основанной на ложной презумпции, будто религия способна связать воедино народы — пенджабцев, синдхов, бенгальцев, белуджей и пуштунов, — которых искони разделяли и география, и история, страной, явившейся на свет птицей-уродом, «разделенной тысячью миль на два крыла, у которой вместо тулова — клин чужой и враждебной земли (злее врага не сыскать!) и нет перемычки меж крыльями, разве только Аллах соединяет их»[36], птицей, потерявшей в скором времени свое восточное крыло[37]. Что есть взмах одного крыла? Пакистан — таков ответ на эту вариацию знаменитого дзенского коана. В «Стыде», его пакистанском романе (за книгой закрепилось слишком уж упрощенное определение: на самом деле и в «Детях полуночи» Пакистана хватало, и Индия в «Стыде» вполне себе фигурировала), юмор был чернее, политиканы — кровавее и потешнее, как если бы, объяснял он сам себе, жестокие перипетии «Двенадцати цезарей» или какой-нибудь шекспировской трагедии

взялись представлять фигляры, высокой трагедии недостойные, как если бы «Короля Лира» разыграли цирковые клоуны, скрестив трагедию с балаганом. Роман он написал на удивление быстро: если работа над «Детьми полуночи» заняла у него пять лет, то со «Стыдом» он управился за полтора года. Книгу практически повсеместно встретил радушный прием. В Пакистане она, как и следовало ожидать, была запрещена личным указом диктатора Зия-уль-Хака, который легко узнавался в персонаже по имени Реза Хайдар. Несмотря на запрет, в Пакистан попало немало экземпляров романа, в том числе, как рассказывали ему пакистанские друзья, по каналам дипломатической почты — работники посольств жадно прочитывали книгу и отдавали читать пакистанцам.

Несколько лет спустя он совершенно случайно узнал, что в Иране «Стыд» даже удостоился премии. Роман без ведома автора был опубликован в переводе на фарси, и это санкционированное властями пиратское издание признали затем лучшей переводной книгой года. Мало того что автора никто не удосужился наградить — ему даже не сообщили о присуждении премии. Но интереснее другое: если верить доходившим из Ирана рассказам, когда пятью годами позже увидели свет «Шайтанские аяты», немногочисленные иранские торговцы англоязычной литературой решили, что новая книга писателя, чья предыдущая вещь снискала высочайшее одобрение муллократов, будет неплохо расходиться; поэтому они закупили изрядное количество экземпляров первого, вышедшего в сентябре 1988 года, издания «Шайтанских аятов» и преспокойно, не вызывая ничьего неудовольствия, целых шесть месяцев торговали ими вплоть до провозглашения фетвы в сентябре 1989-го. Он не знал наверняка, правдивы ли эти рассказы, но ему хотелось им верить: они подтверждали, что направленное против книги негодование не возникло в низах, а насаждалось сверху.

Но пока, в середине восьмидесятых, ни о какой фетве и близко речи не шло. Тем временем успех, которым пользовались его книги, оказал благотворное воздействие на его нрав: постоянное внутреннее напряжение спало, он стал веселее, покладистей, проще в общении с людьми. Но в эти благостные времена старшие собратья-писатели почему-то все как один предупреждали его: все хорошее когда-нибудь да кончается. Энгус Уилсон незадолго до своего семидесятилетия пригласил его на ланч в клуб «Атенеум»; слушая ностальгические воспоминания мэтра о «тех днях, когда я был модным писателем», он понимал: создатель «Англосаксонских поз» и «Стариков в зоопарке» ненавязчиво напоминает о непостоянстве удачи, о том, что

вчерашний задиристый юнец назавтра запросто превращается в печального, всеми забытого пенсионера.

В связи с выходом американского издания «Детей полуночи» он поехал в Соединенные Штаты, где снялся у известного фотографа Джил Кременц и познакомился с ее мужем Куртом Воннегутом; новые знакомые пригласили его провести выходные у них в гостях в прибрежной деревушке Сагапонак на Лонг-Айленде. «Писательство — это у вас всерьез?» — ни с того ни с сего спросил Воннегут, когда они сидели вдвоем на солнцепеке и пили пиво. Услышав утвердительный ответ, автор «Бойни номер пять» сказал: «В таком случае приготовьтесь: придет день, когда вам нечего будет писать, а писать все равно придется».

По дороге в Сагапонак он просматривал подборку рецензий, которую прислали ему из выпустившего роман издательства «Альфред Нопф». Анита Десай[38] поместила удивительно теплый отзыв о нем в газете «Вашингтон пост»; если роман ей понравился, думал он, то, может быть, я и впрямь написал что-то стоящее. Положительной была и рецензия в «Чикаго трибюн», подписанная Нельсоном Олгреном… «Человек с золотой рукой», «Прогулка по дикой стороне»… Неужели *тот самый* Нельсон Олгрен? Любовник Симоны де Бовуар и приятель Хемингуэя? Это прямо какое-то благословение из золотого прошлого англоязычной литературы. *Нельсон Олгрен*, не верил он своим глазам, *а я-то думал, его нет в живых*. В Сагапонак он явился раньше, чем рассчитывали хозяева. Чета Воннегутов как раз собиралась навестить только что приехавшего из города друга и соседа… Нельсона Олгрена. Они оценили невероятное совпадение. «Что ж, — сказал Курт, — раз он написал рецензию на вашу книжку, значит, и повидаться с вами не откажется. Пойду позвоню ему, предупрежу, что вы идете с нами». Он исчез в доме, но очень скоро снова появился на пороге с изменившимся, посеревшим лицом. «Нельсон Олгрен только что умер», — проговорил Воннегут. Прежде чем случился сердечный приступ, Олгрен все приготовил для приема гостей. Гости, пришедшие первыми, обнаружили его мертвым на ковре в гостиной. Рецензия на «Детей полуночи» была последним написанным им текстом.

Нельсон Олгрен. А я-то думал, его нет в живых. Смерть Олгрена повергла Воннегута в мрачное расположение духа. Его гость тоже задумался о том, что каждый из нас рано или поздно в не ведомый никому миг так же растянется на ковре.

Успех «Детей полуночи» у американской критики явился неожиданностью для издателей. Автор романа приехал в Нью-Йорк за свой счет просто потому, что ему хотелось

присутствовать при выходе книги в свет; никаких интервью с ним запланировано не было и не последовало даже после появления положительных отзывов в прессе. Книжка вышла небольшим тиражом, потом последовали небольшая допечатка и издание в бумажной обложке, тоже не очень массовое. Зато ему повезло пожать руку самомУ легендарному Альфреду А. Нопфу, пожилому элегантному джентльмену в дорогом пальто и черном берете, которого он встретил у входа в редакцию в доме 201 по Восточной 50-й улице. Кроме того, он познакомился со своим американским редактором, долговязым Робертом Готлибом, личностью тоже вполне легендарной. Боб Готлиб привел его к себе в кабинет, украшенный гирляндами разноцветных флажков и поздравительными открытками к пятидесятилетию. Они успели уже поговорить о том о сем, когда Готлиб вдруг сказал: «Теперь, когда я понял, что вы мне нравитесь, признаюсь: я не ожидал, что так будет». Собеседник был неприятно поражен. «Почему? — Он с трудом подбирал слова. — Вам не понравилась моя книга? Я хотел сказать, если вы издали мой роман…» Боб покачал головой. «Ваш роман ни при чем, — сказал он. — Недавно я прочел по-настоящему великую книгу одного по-настоящему великого писателя и, прочитав, понял, что мусульмане мне нравиться не могут». Это заявление ошарашило его еще больше. «И что же это за великая книга? — спросил он у Готлиба. — И как зовут этого великого писателя?» — «Книга называется „Среди верующих“, ее написал В. С. Найпол». — «Непременно эту книгу прочту», — сказал он главному редактору издательства «Альфред Нопф».

Боб Готлиб, по всей видимости, искренне не понимал, что его слова могли ранить собеседника, и, надо отдать ему должное, оказал исключительно радушный прием писателю, который не должен был бы ему понравиться. Готлиб не раз приглашал его ужинать к себе домой в Тёртл-Бэй, один из самых аристократических районов Манхэттена, где по соседству с ним жили Курт Воннегут, Стивен Сондхайм[39] и Кэтрин Хепберн. (Актриса, которой к тому времени было уже хорошо за семьдесят, как-то после обильного снегопада с лопатой в руках постучалась к Готлибу в дверь и предложила почистить крышу его дома.) Будучи одним из попечителей труппы Джорджа Баланчина «Нью-Йоркский балет», Боб Готлиб пригласил молодого индийского писателя на спектакль — индиец однажды видел в лондонской постановке Мориса Бежара Сюзанн Фарелл, главную любовь в жизни Баланчина, к тому времени порвавшую с русским хореографом. «Я беру вас с собой при условии, — сказал Боб, — что вы забудете о существовании Бежара и признаете Баланчина богом».

Радушен он был и в качестве редактора. После того как в 1987 году Готлиб, расставшись с издательством «Альфред Нопф», сменил Уильяма Шона на посту главного редактора журнала «Нью-Йоркер», августейшее издание открыло наконец двери для автора «Детей полуночи». В эпоху Уильяма Шона эти двери были для него накрепко заперты, поэтому Салман, в отличие от многих, не стал оплакивать окончание его правления, длившегося пятьдесят три года. Боб Готлиб публиковал в «Нью-Йоркере» его прозу и публицистику, показал себя блестящим, вдумчивым и неравнодушным редактором при работе над его большим эссе «Из Канзаса» (1992), посвященном «Волшебнику страны Оз», одному из прекраснейших и сильнейших в мировом кинематографе гимнов дружбе, — с подачи Готтлиба Салман особо подчеркнул эту мысль.

После провозглашения *фетвы* он виделся с Готтлибом лишь однажды. Лиз Колдер и Кармен Каллил вместе праздновали свои дни рождения в клубе «Граучо» в Сохо, и у него выдалась возможность ненадолго там показаться. Когда он поздоровался с Бобом, тот сказал с напором: «Я всегда тебя защищаю, Салман. Объясняю всем, что, если бы ты знал, что из-за твоей книги погибнут люди, ты ни за что бы не стал ее писать». Он медленно досчитал про себя до десяти. Бить пожилого редактора было бы неправильно — лучше извиниться и отойти. Он сделал какой-то бессмысленный поклон и развернулся на каблуках. С той встречи они больше не обмолвились ни словом. Он чувствовал себя очень обязанным Бобу Готлибу, но у него не шла из головы последняя фраза. При этом он не сомневался: точно так же как при первой встрече Готлиб не заметил эффекта, произведенного его высказыванием о книге Найпола, так не видел ничего странного и в словах, произнесенных при последней их встрече. Боб свято верил, что они остаются друзьями.

В 1984 году его брак распался. Они были вместе четырнадцать лет и сами не заметили, как отдалились друг от друга. Кларисса мечтала поселиться за городом, и как-то целое лето они искали жилище к западу от Лондона, пока он наконец не понял, что не выдержит деревенской жизни и попросту сойдет с ума. Он сказал Клариссе, что мыслит себя только в городе, и она ему уступила, но тема переезда не была окончательно закрыта. Они были очень молоды, когда полюбили друг друга, а теперь повзрослели и у каждого появились свои интересы. Так, она была равнодушна ко многому из того, чем он занимался в Лондоне, в частности к его участию в борьбе против расизма. Он довольно долго проработал волонтером в Кэмденской комиссии по

межобщинным отношениям — общественной организации, занятой решением расовых вопросов. Эта работа многое для него значила, она позволила ему увидеть Лондон таким, каким он его до того почти не знал, — городом эмигрантов, чья жизнь протекает среди лишений и окружена предрассудками, *городом видимым, но незримым*, как он позже его назвал. Эмигрантский город существовал у всех на глазах, в Саутхолле, Уэмбли, Брикстоне, в том же Кэмдене, но в те дни о его проблемах англичане вспоминали разве что во время кратких вспышек расовых волнений — им не хотелось замечать этот город, этот мир, признавать его реальность. Посвятив изрядную долю свободного времени проблемам межрасовых отношений, он использовал накопленный опыт в полемическом эссе «Новая империя в Британии», в котором постарался дать картину возникновения нового слоя черно- и темнокожих британцев. С этим эссе он выступил в программе «Мнения» Четвертого общественного телеканала, но Клариссе, совершенно очевидно, дела не было до явленных им чудес красноречия.

Но главное испытание, которому подвергся их брак, было более интимного свойства. После Зафара им — Клариссе сильнее, чем ему, — хотелось завести еще детей, но ничего из этого не получалось: две подряд беременности закончились ранним выкидышем. Один выкидыш был у Клариссы еще до беременности Зафаром. Как потом выяснилось, причиной выкидышей была генетическая аномалия, *простая хромосомная транслокация*, которую он, видимо, унаследовал по мужской линии.

Хромосома — это стержень, несущий наследственную информацию, каждая клетка человеческого организма содержит двадцать две пары таких стержней; двадцать третья пара хромосом определяет его пол. Изредка случается, что фрагмент наследственной информации отделяется от одного стержня и прикрепляется к другому: в результате одна хромосома несет слишком мало информации, а вторая — слишком много. При зачатии ребенка половина отцовских хромосом случайным образом соединяется с половиной материнских, так складывается новый набор хромосомных пар. Если отец является носителем простой хромосомной транслокации и *обе* его дефектные хромосомы достаются плоду, ребенок рождается нормальным, но при этом сам становится носителем мутации. Если плоду не достанется ни одной из претерпевших изменение хромосом, беременность и роды так же будут нормальными, но на сей раз мутация ребенку не передастся. В случае же, если плод получит одну из двух неправильных отцовских хромосом, его развитие будет нарушено и беременность закончится выкидышем.

В такой ситуации зачатие превращается в биологическую рулетку; им с Клариссой в эту рулетку не везло. Стресс после каждого выкидыша, боль обманутых надежд — в конце концов силы у обоих иссякли. Любовью они больше не занимались. Обоим жутко становилось от одной мысли, что за новой попыткой последует новая неудача. Странно было бы, если бы Кларисса не винила его за крушение мечты, в которой она видела себя в окружении множества детей, составляющих весь смысл ее жизни. И ему странно было бы не винить в этом себя.

Любые длительные отношения между мужчиной и женщиной, если из них уходит секс, по всей видимости, обречены. На протяжении тринадцати лет из четырнадцати прожитых совместно он хранил безусловную верность, но на четырнадцатый год узы верности распались или, быть может, просто ослабли, вслед за чем с его стороны последовали мимолетные измены во время писательских поездок в Канаду и Швецию, а затем и затянувшаяся измена в Лондоне — со старинной подругой по Кембриджу, замечательно игравшей на скрипке. (Кларисса изменила ему лишь однажды, было это давно, в 1973 году, когда он еще работал над «Гримусом»; она порывалась даже уйти от него к любовнику, но быстро с тем мужчиной порвала, и они забыли досадный эпизод — ну или почти забыли. Что до него, то он навсегда запомнил, как звали соперника. Эймлер Гриббл, больше такого имени нет, наверно, ни у кого.)

Он долго пребывал в идиотической уверенности, будто ведет себя чрезвычайно осторожно и жена ничего не знает и ни в чем его не подозревает. Потом он сам дивился собственной наивности. Жена, разумеется, обо всем знала.

Как-то он без нее полетел в Австралию, где принял участие в Аделаидском фестивале искусств, а потом в компании Брюса Чатвина отправился в пустыню. Там в книжной лавке городка Эллис-Спрингс ему на глаза попалось дешевое издание книги Робин Дэвидсон «Следы», в которой она рассказывает, как в одиночку пересекла пустыню Гибсона на собственноручно пойманных и выдрессированных верблюдах. Когда «Следы» только вышли, его редактор в издательстве «Джонатан Кейп» Лиз Колдер очень хвалила книгу и ее бесстрашного автора, а он тогда еще бросил презрительно: «Ну и зачем тащиться через пустыню, если можно сесть на самолет?» Теперь, воочию повидав описанные в книге места, он купил ее и с большим удовольствием прочитал. «Когда будешь в Сиднее, тебе обязательно надо с ней познакомиться, — сказал ему Брюс. — Давай ей позвоним. Телефон у меня есть». — «Еще бы не было», — заметил он. У Брюса в его прославленном «молескине» были записаны

телефонные номера абсолютно всех хоть чем-то примечательных обитателей Земли. Если бы вам вдруг понадобилось позвонить английской королеве по ее личному засекреченному телефону, Брюс бы его мигом нашел.

Робин, голубоглазая дерганая блондинка, не вполне вписывающаяся в излюбленный им типаж, пригласила его на ужин в свой крохотный домик в Аннандейле, и тут их обоих словно поразил один удар молнии. Когда Робин пошла достать запеченную курицу из духовки, та оказалась холодной — оттого что мысли хозяйки были заняты совсем другим, она просто-напросто забыла включить плиту. На следующее утро у них начался роман, который продолжался три года и был полной противоположностью неторопливых, ровных и по большей части счастливых отношений с Клариссой. Их непреодолимо тянуло друг к другу, но то в одном, то в другом при этом проявлялась полная их несовместимость. Редкий день обходился у них без шумной ссоры.

Она брала его с собой в австралийский буш, ее умение выживать среди дикой природы внушало ему, существу городскому до мозга костей, трепетное благоговение. Они ночевали под звездным небом, и, несмотря на это, во сне их не убили скорпионы, не съели кенгуру и не растоптала в танце Старая Великанша из Времен Творения. Со «станции» — так в Австралии называют ранчо, — расположенной на северо-западе континента у залива Шарк (в заливе он плавал с дельфинами, а на берегу видел дом, построенный из одних ракушек), они перегоняли ее верблюдов на ферму южнее Перта. По ходу дела он узнал о верблюдах две вещи, ранее ему неизвестные. Во-первых, оказалось, что эти животные не прочь предаться инцесту: единственный детеныш в стаде родился в результате легкомысленного союза между верблюдом-самцом и его матерью. (Дитя кровосмесительной связи назвали в его честь, слегка переиначив имя на австралийский лад: Селман Камель.) Второй доселе неизвестный ему факт заключался в том, что если вывести верблюда из себя, то он, вместо того чтобы испражняться, как всегда, безобидными сухими катышками, выпускает из задницы жидкую, весьма дальнобойную струю дерьма. То есть околачиваться позади рассерженного верблюда настоятельно не рекомендуется. Оба урока, вынесенных из австралийских странствий, он считал важными для себя.

Она поехала за ним в Европу, но жить вместе они не смогли и за последний год их романа расставались раз десять, если не больше. Через два месяца после окончательного разрыва он проснулся посреди ночи у себя в новом доме на Сент-Питерс-

стрит оттого, что почувствовал: в комнате кто-то есть. Он, как был голым, вскочил с кровати. Она открыла своим ключом — замки он менять не стал — и теперь настаивала, что им «непременно надо поговорить». Он говорить не захотел и попытался выскользнуть из комнаты, но она схватила его и больно наступила каблуком ему на босую ногу. С тех пор пальцы на этой ноге полностью потеряли чувствительность. «Если бы я был женщиной, а ты мужчиной — как бы называлось то, что сейчас происходит?» — спросил он. Эти слова на нее подействовали, она ушла. А потом в первом и единственном своем романе «Предки» вывела крайне неприятного американца, садистического любовника главной героини. На вопрос интервьюера газеты «Гардиан», является ли прообразом этого персонажа Салман Рушди, она ответила: «В меньшей мере, чем это было в первой редакции».

В нем зрел роман, о котором ему ничего не было понятно. У него имелись готовые отрывки текста, персонажи и интуитивная уверенность, что, несмотря на пестрый разнобой фрагментов, все они относятся к одной книге. Форма и содержание ее виделись ему очень приблизительно. Книга будет большой — это из того, что он уже знал, — действие ее широко раскинется во времени и пространстве. В ней будут путешествия. Ему казалось, что так надо. Завершив роман «Стыд», он исполнил первую часть своего глобального замысла: со знанием дела описал два мира, выходцем из которых был. Эти оставленные позади миры предстояло увязать с совсем другим миром, где теперь протекала его жизнь. Постепенно у него складывалось понимание, что не Индия и не Пакистан, не политика и не магический реализм будут впредь главной его темой, что до конца своих дней ему предстоит биться над разрешением огромной важности вопроса о том, *каким образом достигается единство мира*, причем не только о том, как Восток перетекает в Запад, а Запад — в Восток, но и как прошлое формирует настоящее, а настоящее изменяет наше представление о прошлом, как содержимое воображаемого мира — сновидения, художественное творчество, полет фантазии и, да-да, вера — просачивается сквозь мембрану, отделяющую этот мир от мира повседневности, от той «реальности», в которой, как ошибочно считается, и существуют люди.

Оттого что наша планета становится меньше, сжимается на глазах, человеческие сообщества и культуры не обитают больше в изолированных отсеках, наглухо отгороженных от всех прочих. В наше время каждый из индивидуальных отсеков сообщается со всеми без исключения остальными, человек нынче может

потерять работу из-за махинаций, совершенных на другом конце света валютными спекулянтами, чьи имена ему ничего не говорят и чьих лиц он никогда не увидит, или, как выражаются сторонники самоновейшей теории хаоса, взмах крыльев бабочки в Бразилии может вызвать торнадо в Техасе. В первоначальном варианте роман «Дети полуночи» открывался словами: «Почти все важное в нашей жизни случается в наше отсутствие», и хотя потом он упрятал эту фразу в глубину текста, сочтя, что с ней зачин получается уж больно толстовским — писал он как-никак «Детей полуночи», а не «Анну Каренину», — заключенная в них мысль по-прежнему не давала ему покоя. Как рассказать о таком мире — о мире, где человек далеко не всегда волен распоряжаться собственной судьбой, где сто участь зависит от выбора, сделанного не им, а неизвестно кем, от экономических передряг или от взрыва бомбы?

Он летел домой из Сиднея переполненный впечатлениями первых невероятных дней с Робин. Чтобы хоть как-то собраться, взять себя в руки, он достал маленький черный блокнот и заставил себя сосредоточиться на недопридуманной книге. На тот момент у него имелась кучка эмигрантов, или, пользуясь официальным языком британских властей, «иммигрантов»; путь каждого из них со старой родины на новую давал ему возможность задуматься над связями и разрывами между «здесь» и «там», «тогда» и «теперь», реальностью и мечтой. Уже прорисовывался образ Салахуддина Чамчавалы, в англизированном варианте звавшегося Саладин Чамча, у которого тяжело складывались отношения с отцом, и он пытался отстраниться от них, обританиваясь. Ему нравилась фамилия «Чамча» — в ее звучании слышались одновременно и бедолага Грегор Замза, превратившийся у Кафки в навозного жука, и Чичиков, гоголевский падальщик, скупщик мертвых душ. Нравилось ему и то, что с хиндустани она буквально переводилась как «ложка», а в разговорной речи то же слово употреблялось в значении «прихлебатель», «лизоблюд». Чамча отказался от своих корней, сбежал от отца и от родной страны, отказался от индийскости ради английскости, которая ему так в полной мере и не далась, стал многоголосым актером, и все у него складывалось хорошо на радио и на озвучании телепрограмм, то есть там, где аудитория не видела его лица, каковое, несмотря на всё англофильство обладателя, «цветом не подходило для экранов цветного телевидения».

Противоположностью Чамче был… скажем так: падший ангел.

В 1982 году актер Амитабх Баччан, величайшая звезда

бомбейского кинематографа, на съемках в Бангалоре неудачно выполнил трюк и заработал разрыв селезенки, едва не стоивший ему жизни. Несколько следующих месяцев отчеты о состоянии его здоровья публиковались на первых полосах газет, у входа в больницу, где он лежал, в ожидании новостей постоянно толпился сочувствующий люд, политики выстраивались в очередь к его палате. Пока он находился при смерти, страна затаила дыхание, а когда пошел на поправку, известие об этом произвело чуть ли не такой же эффект, как весть о воскресении Христа. В Южной Индии и до того бывали случаи, когда актеров, сыгравших индуистских богов в «мифологическом» кино, начинали почитать почти что наравне с божествами. Баччану, чтобы стать полубогом, даже не понадобилось полубога играть. А если представить, что такой полубог-полуактер, пережив страшную катастрофу, в тяжкую минуту воззвал к своему богу и не услышал от него ответа? Что из-за холодящего кровь молчания небес он сначала засомневался, а потом и вовсе утратил веру, служившую ему главной опорой в жизни? Испытав такое потрясение, он ведь наверняка начал терять рассудок? И в безумии устремился на другой конец света, забыв о том, что от себя ему не спрятаться нигде?

И как же назвать эту падшую звезду? Ответ пришел мгновенно, как если бы уже долго поджидал его, зависнув в нужной точке на высоте тридцати пяти тысяч футов над уровнем моря. *Джибрил*. Ангел Джабраил — «Джибрил Фаришта»[40]. Джибрил и Чамча: ангел, от которого отвернулся бог, и псевдоангличанин, бегущий от отца. Две потерянных души под бесконечным небом бездомного бытия — они станут главными героями книги. Это уже было кое-что.

Раз Джибрил ангел — то Чамча, наверное, демон? Или все не так просто и в ангеле бывает нечто демоническое, а демон может порой примерить нимб?

Что до путешествий, то их накапливалось в книге все больше. В ее ткань вплетались сюжеты, на первый взгляд абсолютно посторонние. Так, в феврале 1983 года некий человек по имени Сайад Виллаят Хусейн Шах объявил своим последователям из числа мусульман-шиитов, что Аллах-де по его молитве раздвинет воды Аравийского моря и они смогут совершить паломничество в священный для шиитов иракский город Кербелу, пройдя пешком по дну морскому. Тридцать восемь человек поверили ему и бросились вслед за ним в воду. Многие из них утонули, но интереснее здесь другое: те, кто остался в живых, вопреки всякой очевидности клялись и божились, что чудо таки произошло и они были тому свидетелями. Эта история больше года не выходила у

него из головы. Поскольку ему не хотелось писать ни о Пакистане, ни о шиитах, в его фантазиях паломники превратились в индийских суннитов, а их предводителем стала девушка. Тут ему очень кстати вспомнился исполинский баньян, виденный однажды в Южной Индии неподалеку от Майсура; дерево это столь огромно, что в стволе его устроены хижины и пробиты колодцы, а крону населяют мириады бабочек. Так в его воображении возникла деревня Титлипур, то есть «Город Бабочек», и появилась таинственная девушка, окруженная и облепленная бабочками. Коль скоро ее последователи были суннитами, целью их вместо Кербелы стала Мекка, но тема расступившихся морских вод по-прежнему занимала центральное место в рассказе об их паломничестве.

Многие из громоздившихся один на другом фрагментов книги были посвящены «видимому, но незримому городу», эмигрантскому Лондону эпохи Тэтчер. Реально существующие лондонские районы, где много эмигрантов из Азии — Саутхолл, расположенный на западе города, и Брик-Лейн, расположенный на востоке, — он смешал с южнобережным Брикстоном и получил район Центрального Лондона под названием Брикхол. Там семейство, состоящее из ортодоксальных мусульман-родителей и мятежной дочери-подростка, содержало кафе «Шаандаар» — так он не слишком старательно замаскировал переводом названия на урду действительно имеющееся в Саутхолле «Бриллиант-Кафе». В вымышленном Брикхоле кипели расовые страсти, грозившие в скором времени вылиться в уличные побоища.

А вот вам, пожалуйста, преображенная Кларисса, обзаведшаяся навеянным Ричардсоном именем Памела Лавлейс[41]. А вот аватара Робин, которая из покорительницы пустынь переквалифицировалась в альпинистку, а из христианки превратилась в еврейку Аллилуйю Коэн, или, иначе, Конус. А еще откуда ни возьмись появляется Клариссина бабушка Мэй Джуэлл, достойная пожилая леди, жившая у самого берега моря в городке Певенси-Бэй в графстве Суссекс. Каждому, кто был готов ее выслушать, она сообщала, что в 1066 году норманнские ладьи проплыли ровнехонько через гостиную ее дома — за прошедшие с тех пор девять веков береговая линия, знаете ли, отодвинулась в море на целую милю. У бабушки Мэй в запасе имелось немало историй — она излагала их из раза в раз одними и теми же как святыня затверженными фразами — из времен своего англо-аргентинского прошлого, когда она жила в эстансии[42] Лас-Петакас в обществе рассеянного супруга-филателиста Чарльза «Дон Карлоса» Джуэлла, нескольких сот *чрезвычайно горячих и гордых* гаучо и огромного стада исключительно породистого

аргентинского крупного рогатого скота.

Во времена, когда им принадлежала четвертая часть планеты, британцы растекались со своего промозглого северного островка и на просторе под необъятными небесами Индии и Африки вырастали в живописных романтиков с открытой душой, персонажей гораздо большего масштаба, чем могла вместить их родина. Но потом эпоха империй миновала, и британцы вынуждены были съежиться до своих прежних мелких, холодных, сереньких островных «я». Бабушка Мэй, которая, сидя у себя в домике, похожем на башню береговой батареи, грезила безбрежными пампасами и призовыми быками, на манер единорогов припадавшими головой к ее коленам, была одним из таких персонажей, тем более интересным, что не совсем стандартным, ибо ее история разворачивалась в Аргентине, а не во владениях Британской империи. Он записал в блокнот имя, которое она будет носить в книге: Роза Диамант.

Он летел в небе над Индией и делал заметки в блокнот. Ему вспомнилось, как некий индийский политик рассуждал по телевизору про британского премьер-министра, но все не мог правильно выговорить ее фамилию. «Миссис Торчер[43], — произносил он раз за разом, — миссис Маргарет Торчер». Получалось невыразимо смешно, несмотря на то — или, возможно, *оттого* — что Маргарет Тэтчер, разумеется, никакой мучительницей не была. В книге про Лондон времен миссис Т. наверняка могло найтись место — место *посмешнее* — для такого варианта ее имени.

«Сам по себе факт эмиграции, — записал он, — это перелом в основах существования эмигранта или группы эмигрантов, испытание, ставящее под вопрос всё связанное с его или их самосознанием, индивидуальностью, культурой и верой. Соответственно, роман об эмиграции должен представлять собой акт вопрошания, быть воплощением перелома, о котором в нем повествуется».

Он записал: «Как в мир приходит новое?»

А потом записал: «Шайтанские аяты».

Книг на самом деле могло получиться три. Или семь. Или ни одной. Он даже попытался написать историю жизни Розы Диамант, сделал из нее пьесу и предложил Уолтеру Донохью для постановки на только начинавшем оперяться Четвертом общественном телеканале, но, едва передав Уолтеру первый вариант текста, он затребовал его обратно, поскольку интуиция подсказывала ему, что сюжет и героиня понадобятся ему для романа, хотя он понятия не имел, каким боком их туда

пристроить. Не исключено, что рассказ про «расступившиеся воды Аравийского моря» сильно выиграл бы в виде самостоятельного произведения, а эпизод с шайтанскими аятами выгоднее было бы подать отдельно.

Почему же тогда он с таким упорством упихивал все яйца в одну корзину? По прошествии времени приятно было думать, что ответ пришел ему в голову в небе над Бомбеем. *Всё это*, поймал он себя на мысли, пролетая над своим родным городом, *сцены из жизни архангела Джабраила*. Рассудок у него, как всегда, не ладил с подсознанием, навязывавшим ему ангелов и чудеса, заставлявшим найти им место в его картине мира. Итак, он пишет книгу об ангелах и демонах — но ведь отличить одних от других не всегда просто. Ангелы, бывает, совершают чудовищные вещи во имя священных вроде бы заветов — с другой стороны, очень даже можно посочувствовать Люциферу, мятежному ангелу, восставшему против отупляюще деспотических арфовых наигрышей Божьей воли и обреченному за это, по словам Даниеля Дефо, «бродяжничать и скитаться, не зная ни покоя, ни пристанища… не имея права дать отдых усталым стопам». Бездомный изгнанник, этот Сатана наверняка покровительствует с небес всем бездомным, всем тем, кто был сорван с насиженного места и так никуда не пристал, кому отказано в утешительном для людей оседлых чувстве твердой земли под ногами. Итак, он пишет сцены из жизни архангела и архидемона, причем его личные симпатии скорее на стороне демона — ведь недаром Блейк в свое время сказал про Мильтона, что истинный поэт принадлежит к партии дьявола.

С чего будет начинаться книга, он понял только год спустя. В июне 1985 года авиалайнер «Царь Канишка», выполнявший рейс номер 182 компании «Эйр Индия», был взорван сикхскими террористами, боровшимися за то, чтобы выкроить из индийского штата Пенджаб свое независимое государство под названием Халистан. Лайнер упал в Атлантический океан южнее берегов Ирландии, среди 329 погибших в этом теракте (в основном граждан Индии и канадцев индийского происхождения) была его подруга детства Нилам Натх, она летела с детьми в Бомбей навестить родителей, Дж. В. Натха («Дядюшку Натха») и Лилу, приходившихся ближайшими друзьями его родителям. Вскоре после того как до него дошло известие об этой катастрофе, он написал сцену, в которой Джибрил Фаришта и Саладин Чамча вываливаются из взорванного сикхскими террористами самолета, на котором они летели из Бомбея в Лондон. Джибрилу с Фаришта повезло больше, чем Нилам, — они невредимыми приземлились на пляж Певенси-Бэй неподалеку от дома Розы

Диамант.

Книгу он писал четыре с лишним года. Впоследствии ему хотелось ответить на попытки свести весь его замысел к примитивному «оскорблению»: *Оскорбить кого угодно я сумел бы и быстрее*. Его противники не видели ничего удивительного в том, что серьезный писатель десятую часть своей жизни потратил на создание топорного оскорбительного памфлета. А все потому, что они отказывались признавать в нем серьезного писателя. Дабы создать почву для нападок на него и на его произведение, они рисовали автора негодяем, подлым вероотступником, который сметает все на своем пути в погоне за славой и богатством, беспринципным авантюристом, изготовившим дешевую литературную поделку и ради собственной выгоды «подвергающим ислам нападкам». Такой смысл несла часто повторяемая в его адрес фраза: *Он сделал это намеренно*.

Разумеется, намеренно, а как иначе? Часто люди просто так, с бухты-барахты пишут тексты длиной в четверть миллиона слов? Все зависит от того, как выразился бы на его месте Билл Клинтон, что именно понимать под «этим». Как ни странно, после двух романов, прочно завязанных на общественной истории Индостана, новая книга виделась ему вещью гораздо более личной, в ней он впервые попытался описать и проанализировать собственный опыт эмиграции, связанную с эмиграцией трансформацию своего «я». Ему казалось, что политики в третьей книге значительно меньше, чем в предыдущих. Что касается экскурса в историю возникновения ислама, то роль Пророка в книге ничуть не умаляется и речь о нем ведется в весьма уважительном тоне. Он подан именно так, как сам всегда требовал — человеком («Посланником»), а не воплощением божества (вроде «Сына Божьего» у христиан). Он предстает в книге человеком своего времени, этим временем сформированным, лидером, который, хотя и подвергается искушениям, способен их преодолеть. «Что ты собой представляешь как идея?» — вопрошает роман у молодой религии, изначально исходя из посыла, что идея не гибкая и не способная к компромиссу, как правило, терпит поражение, но затем признавая возможность для подобного рода идей в редких случаях выстоять и в корне переменить мир. Пророк в какой-то момент пошел было на компромисс, но потом решительно его отверг; проповеданная им негибкая идея вошла в силу и повернула ход истории.

Когда его впервые обвинили в оскорблении ислама, он искренне не понял, в чем дело. Он всего-то написал

художественное произведение, в котором коснулся темы божественного откровения — да, с атеистических позиций, но при этом вполне тактично. С какой стати считать это оскорблением? В следующие несколько лет торжества злобной розни он, как и все остальные, получил исчерпывающий ответ на свое недоумение.

Пророка в книге зовут не Мухаммадом, живет он не в Мекке, и основанная им религия называется не исламом, хотя, возможно, и похоже. К тому же фигурирует этот Пророк исключительно в сновидениях персонажа, обезумевшего после утраты веры. С точки зрения автора, перечисленные несовпадения только подчеркивают, что всё написанное им — чистой воды писательская фантазия. Противники же утверждали, что это он так неумело маскируется. «Он прячется, — говорили они, — за художественным вымыслом». Можно подумать, вымысел — это покрывало или настенный гобелен, и всякого, по наивности за ним укрывшегося, легко проткнуть шпагой, как Полония.

Работа над романом была в самом разгаре, когда он получил приглашение провести несколько семинаров для студентов Американского университета в Каире. Деньги университет обещал небольшие, но зато предлагал, если ему будет интересно, организовать экскурсию по Нилу в компании с одним из ведущих египтологов. Ближе познакомиться с Древним Египтом было его давней мечтой, и вот наконец представился случай. «Идеально было бы приехать сразу, только закончу книгу», — не откладывая, ответил он. Книга была окончена, называлась она «Шайтанские аяты», и поездка в Египет стала для него невозможной — ему пришлось смириться, что он так никогда не увидит ни пирамид, ни Мемфиса, ни Луксора, ни Фив, ни Абу-Симбела. И это была лишь одна из уготованных ему потерь.

В январе 1986 года работа у него не ладилась. Получив приглашение в Нью-Йорк на эпохальное писательское сборище — 48-й конгресс Международного ПЕН-клуба, он обрадовался уважительному поводу оторваться от письменного стола. Конгресс был затеян с размахом. Тогдашний президент Американского ПЕН-центра Норман Мейлер, употребив весь свой запас обаяния и все свое умение убеждать, собрал внушительную сумму денег и сумел привезти на Манхэттен больше полусотни лучших писателей со всего мира, чтобы они в компании сотни отборных американских авторов порассуждали на возвышенную тему «Творчество писателя и творчество государства», а также в свое удовольствие поели-попили в самых изысканных и неожиданных местах — вроде Грейси-Мэншна[44] или Дендерского храма в музее «Метрополитан»[45].

Один из самых молодых участников конгресса, он был исполнен благоговения перед теми, с кем очутился в одной компании. Бродский, Грасс, Оз, Шойинка, Варгас Льоса, Беллоу, Карвер, Доктороу, Моррисон, Саид, Стайрон, Апдайк, Воннегут, Бартельми, сам Мейлер — все эти великие читали свои произведения и спорили друг с другом в отелях «Эссекс-Хаус» и «Сент-Моритц», возвышающихся у южного торца Центрального парка. Как-то раз фотограф Том Виктор попросил его попозировать в конном экипаже, на каких катают по парку туристов; забравшись в экипаж, он обнаружил там Сьюзен Сонтаг и Чеслава Милоша. В обычной ситуации он за словом в карман не лез, но за время той прогулки с трудом выдавил из себя всего несколько фраз.

Атмосфера на конгрессе была наэлектризована с самого первого дня. Норман Мейлер вызвал ропот большинства членов ПЕН-клуба тем, что пригласил выступить на церемонии открытия в Нью-Йоркской публичной библиотеке госсекретаря Джорджа Шульца. Южноафриканские писатели Надин Гордимер, Дж. М. Кутзее и Сифо Сепалма встретили появление чиновника громкими криками протеста и обвинениями в поддержке апартеида. Другие участники конгресса, в их числе Э. Л. Доктороу, Грейс Пейли, Элизабет Хардвик и Джон Ирвинг, высказывали недовольство тем, что администрация Рейгана, как выразился Доктороу, «превращает конгресс писателей в свою трибуну».

Синтия Озик распространяла петицию, осуждавшую бывшего австрийского канцлера и участника конгресса еврея Бруно Крайского за то, что он встречался с Каддафи. (Защитники Крайского указывали, что в годы, когда он возглавляя правительство, Австрия приняла больше советских евреев, чем любая другая страна.) Во время одного из «круглых столов» Озик обрушилась на него с нападками, но Крайский очень изящно урегулировал ситуацию, и в результате инцидент был быстро исчерпан.

Многие участницы громко и небезосновательно недоумевали, почему в рабочих группах конгресса так мало женщин. Сонтаг и Гордимер, в рабочие группы входившие, общего возмущения не поддержали. Сонтаг даже высказала соображение, что «литература — это не работодатель, предоставляющий для всех равные возможности». Довод Сонтаг настроения недовольных не улучшил. Как, собственно, и сделанное им замечание, что, мол, худо-бедно несколько женщин в рабочие группы включены, тогда как он один представляет в них Южную Азию, то есть, иначе говоря, шестую часть человечества.

В Нью-Йорке тех дней придавали литературе большое значение, дискуссии между писателями широко освещались в прессе и, судя по всему, кого-то интересовали и за пределами узкого книжного мирка. Джон Апдайк пропел целую хвалебную песнь синим американским почтовым ящикам, повседневным символам свободного обмена мнениями и идеями, чем немало озадачил аудиторию, состоявшую преимущественно из иностранцев. Дональд Бартельми большую часть времени был пьян, а Эдвард Саид — исключительно дружелюбен. На приеме в Дендерском храме Росарио Мурильо, поэтесса и спутница жизни никарагуанского президента Даниеля Ортеги, стоя у стен египетского святилища в плотном кольце невероятно красивых, устрашающего вида сандинистов в темных очках, пригласила молодого индийского писателя (участника британской кампании солидарности с Никарагуа) приехать своими глазами посмотреть на войну с *контрас*.

На одном заседании ему выпало поучаствовать в перепалке между признанными литературными тяжеловесами Солом Беллоу и Гюнтером Грассом. Он сидел рядом с немецким прозаиком, которым всегда искренне восхищался; когда Беллоу, тоже один из любимейших его авторов, свернул в выступлении к излюбленным своим рассуждениям о том, как рост материального благосостояния в стране губительно сказался на духовной жизни американцев, Грасс вышел к микрофону и возразил, что многие из них запросто проваливаются сквозь прорехи в американской мечте, и предложил показать Беллоу настоящую американскую нищету, например в Южном Бронксе. Беллоу, недовольный, резко ему возразил. Когда Грасс вернулся на место, его прямо-таки трясло от злости.

«Скажите ему что-нибудь», — велел создатель «Жестяного барабана» представителю одной шестой человечества. «Это вы мне?» — «Вам. Скажите что-нибудь».

Подойдя к микрофону, он спросил Беллоу, почему многие американские писатели уклоняются — или, выражаясь сильнее, «отрекаются» — от задачи писать об огромном политическом влиянии Соединенных Штатов в современном мире. Беллоу вскинул голову и изрек величественно: «У нас нет задач. У нас только вдохновение».

В 1986 году литературе действительно придавалось большое значение. На излете «холодной войны» было важно и интересно послушать восточноевропейских писателей — Данило Киша, Чеслава Милоша, Дьёрдя Конрада, Рышарда Капущинского, — противопоставлявших свои представления о будущем упершемуся в тупик советскому режиму. Омар Кабесас, тогдашний

заместитель министра внутренних дел Никарагуа, автор воспоминаний о своем участии в партизанской войне, и палестинский поэт Махмуд Дарвиш делились мыслями, которые мало от кого в Америке услышишь; американские писатели вроде Роберта Стоуна и Курта Воннегута высказывали конкретную критику в адрес властей США, тогда как другие, близкие по складу к Беллоу и Апдайку, пытались заглянуть в глубь американской души. В конце концов конгресс запомнился не легкомысленной своей составляющей, а, напротив, тем, что на нем происходило серьезного. Да, в 1986 году писателям еще вполне естественно было претендовать на звание, по словам Шелли, «непризнанных законодателей мира», верить, будто литературное творчество способно выступать противовесом государственной власти, видеть в литературе благородную, наднациональную и надкультурную силу, которая может, как прекрасно выразился Беллоу, «еще немножко приоткрыть Вселенную». По прошествии двадцати лет в оболваненном и напуганном мире ремесленникам пера труднее будет заявлять столь высокие претензии. Труднее, но от этого, наверно, не менее важно.

Дома в Лондоне он вспомнил о приглашении в Никарагуа. Может, правда, пришло ему в голову, полезно было бы отвлечься от мелких литературных неудач и поехать туда, чтобы потом рассказать о людях, преодолевающих реальные трудности. В июле он улетел в Манагуа, а через несколько недель вернулся под столь глубоким впечатлением от увиденного, что не мог ни думать, ни говорить ни о чем другом и любого, кто попадал ему под руку, изводил рассказами про Никарагуа. Существовал единственный способ избавиться от этого навязчивого состояния — и вот в ком-то исступлении он засел за работу и через три недели выдал девяностостраничный текст. По объему вышло ни то ни се — для книги слишком коротко, для статьи слишком длинно. В конечном итоге в переписанном и дополненном виде из рукописи получилась небольшая книжка «Улыбка ягуара». Он снабдил готовую вещь посвящением Робин Дэвидсон (они тогда еще были скорее вместе, чем врозь) и дал ей прочесть. «Я так понимаю, романа мне уже не видать», — сказала она, увидев посвящение, после чего обоим расхотелось продолжать разговор.

Его литературный агент Дебора Роджерс интереса к новой книге не проявила, зато Сонни Мехта в срочном порядке выпустила «Улыбку ягуара» в британском «Пикадоре», а Элизабет Сифтон вскоре вслед за тем — в американском «Вайкинге». Ведущему ток-шоу на одной из радиостанций в Сан-Франциско, в

котором он участвовал во время рекламного турне по Соединенным Штатам, не понравилось, что в книге осуждаются американская экономическая блокада Никарагуа и поддержка администрацией Рейгана противников правительства сандинистов. Ведущий спросил писателя: «Мистер Рушди, в какой мере вы являетесь коммунистической марионеткой?» Своим удивленным смехом — дело было в прямом эфире — он вывел хозяина студии из себя, как не вывел бы никакими словами, если бы они у него нашлись.

Но самые яркие впечатления за все время рекламного турне остались у него от общения с Бьянкой Джаггер, никарагуанкой по рождению, которая интервьюировала его для журнала «Интервью». При упоминании любого сколько-нибудь видного никарагуанского деятеля, не важно, левой или правой ориентации, Бьянка обыденным тоном, чуть рассеянно говорила: «Да-да, знаю такого, мы с ним какое-то время встречались». Ее реакция точно характеризовала Никарагуа, маленькую страну с очень малочисленной элитой. Представители враждующих сторон, члены этой самой элиты, вместе ходили в школу, были знакомы с семьями друг друга, а иногда даже, как в случае расколотого надвое клана Чаморро, происходили из одной семьи; и конечно все когда-то друг с другом встречались. Рассказ Бьянки обо всем этом (так и не написанный) был несравненно интереснее — и уж точно богаче интимными подробностями, — чем то, что написал он.

После выхода в свет «Улыбки ягуара» он вернулся к доставлявшему ему столько хлопот роману и обнаружил, что многих смущавших его прежде затруднений больше не существует. Обычно он писал книги подряд, последовательно продвигаясь от начала к финалу, но на сей раз изменил этому правилу. Вставные эпизоды — рассказ про жителей одной деревни, решивших пешком перейти море, про имама, который сначала возглавил революцию, а потом ее сожрал, и наделавшая впоследствии столько шума череда снов в песчаном городе Джахилия (этим словом по-арабски называются времена «невежества», предшествовавшие возникновению ислама) — были написаны сначала, и он долго не мог придумать, как вплести их в главный, обрамляющий все отступления сюжет, повествование о Саладине и Джибриле. Однако пауза пошла ему на пользу, и он засел за работу. Сорок лет — это серьезно. В сорок мужчина вступает в пору зрелости, к нему приходит ощущение собственной основательности, весомости, силы. В тридцатый свой день рождения он числил себя неудачником и был отчаянно несчастен. А теперь, в сороковой, солнечным июньским днем

дома у Брюса Чатвина в лесистых окрестностях Оксфорда его окружали литературные друзья — Анджела Картер, Нуруддин Фарах, редактор журнала «Гранта»[46] Билл Бьюфорд, его редактор в «Джонатан Кейп» (тогда еще независимом издательстве, не проглоченном «Рэндом хаус») Лиз Колдер и сам Брюс. Он был счастлив. Жизнь вроде бы складывалась наилучшим образом, полным ходом шла работа над самым его смелым — как с композиционной, так и с интеллектуально-содержательной точки зрения — замыслом, последние препятствия в этой работе были наконец преодолены. Будущее представлялось исключительно светлым.

Вскоре после него свою сороковую годовщину — она же «сороковой день рождения Салима» — отмечало Индийское государство. В связи с датой его подруга и одна из гостей на юбилее, телевизионный продюсер Джейн Уэлсли, предложила ему сделать для Четвертого канала полнометражный документальный фильм «о положении в стране». Он не собирался снимать никого, ну или почти никого, из общественных и политических деятелей; для того чтобы создать портрет сорокалетней страны, поразмышлять об «индийской идее», ему нужны были глаза и голоса сорокалетних же индийцев, не обязательно детей полуночи, хотя бы просто родившихся в год обретения независимости. По ходу съемок он совершил самое продолжительное свое индийское путешествие, дольше была только их с Клариссой поездка более чем десятилетней давности. Второе путешествие насытило его не меньше первого. Он снова впитывал и впитывал в себя истории, изливавшиеся из индийского рога изобилия. *Дай мне их больше, чем я смогу вместить*, повторял он про себя, *дай мне умереть от пресыщения*.

В один из первых съемочных дней одно-единственное проявление культурной глухоты чуть было не погубило весь проект. Съемки в тот день шли в доме портного, в бедном квартале Дели. Стояла невыносимая жара, и после двух часов работы был объявлен перерыв. Из фургона съемочной группы принесли прохладительные напитки и раздали их всем, *кроме портного и его семьи*. Он попросил директора группы Джеффа Данлопа выйти на пару слов. Они вдвоем поднялись на плоскую крышу дома, и там он сказал Джеффу, что, если тот немедленно не исправит оплошность, группе сегодня придется продолжать без автора, а если нечто подобное повторится впредь, то, пообещал он, проект будет попросту закрыт. Тут же, на крыше, ему пришло в голову поинтересоваться, сколько портному заплатили за съемки у него дома. Джефф назвал сумму в рупиях, при переводе в фунты это были сущие гроши. «В Англии ты бы платил не

столько, — сказал он. — И сейчас заплати как положено». — «Но ведь для Индии ж это будет целое состояние», — возразил Джефф. «Твое какое дело? Людей надо уважать и здесь, а не только у себя дома». Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. «Ладно», — сказал наконец Джефф и пошел вниз по лестнице. Портному и его родным предложили кока-колы. Оставшиеся на тот день съемки прошли гладко.

В штате Керала он наблюдал, как творит свое волшебство знаменитый народный сказитель. Свое представление сказитель строил с нарушением всех мыслимых правил. «Начинай с начала, — поучал Король Червей заполошного Белого Кролика в „Алисе в Стране чудес“, — и рассказывай, пока не дойдешь до конца; а как дойдешь, остановись». Именно по таким правилам, какой бы король червей их ни изобрел, и полагается вести любой рассказ, но на импровизированных подмостках в Керале все происходило совсем по-другому. Сказитель вплетал одну историю в другую, то и дело отклонялся от основной линии повествования, шутил, пел песни, увязывал злободневные политические сюжеты со старинными легендами, рассказывал анекдоты из своей жизни и вообще творил что бог на душу положит. Но публика его не вставала с мест и не покидала в гневе представление. Она не шикала и не свистела, не кидалась в исполнителя ни тухлыми овощами, ни скамейками. Напротив того, люди то заходились в хохоте, то заливались слезами, с самого начала и до самого конца следили за представлением затая дыхание. Ему хотелось разобраться: сказитель так беспрекословно подчинил себе слушателей несмотря на все свои выкрутасы или же *благодаря им*. Может быть, такая искрометная манера рассказывать гораздо больше увлекает слушателей, чем рекомендованная Королем Червей? А сказание, этот древнейший повествовательный жанр, именно потому и дожил до наших дней, что отказался от последовательного изложения событий в пользу его игровой усложненности? Если так, то можно считать, что все его соображения относительно того, как надо писать, тем теплым вечером в Керале получили убедительное подтверждение.

Стоило дать высказаться простому человеку, лишь слегка настроив его на нужный лад, как в том открывался трогательный источник житейской поэзии. Женщина-мусульманка из бомбейской трущобы-*джхопадпатти* жаловалась, что не уверена, станут ли ее дети в будущем заботиться о ней. «Когда я буду старой, когда буду ходить с клюкой, вот тогда и увижу, станут или нет». На вопрос, что значит для нее быть индианкой, она ответила: «Всю жизнь я прожила в Индии, а когда умру, в ту же Индию меня и закопают». Улыбчивая коммунистка из Кералы весь

день не разгибала спины на рисовом поле, а вечером пришла домой, где на веранде сидел ее престарелый муж и крутил на продажу сигаретки-*биди*. «С тех пор как я вышла замуж, — сказала она, по-прежнему улыбаясь и не смущаясь тем, что ее слышит муж, — с тех пор у меня не было ни одного радостного дня».

Не обошлось и без черной комедии. Среди героев его фильма был один-единственный политик, Чагган Бхуджбал, первый мэр Бомбея и в ту пору член «Шив Сена» — злобной партии националистов-маратхи и индуистских фундаменталистов, во главе которой стоял Бал Такерей, первую известность приобретший как автор политических карикатур. Чагган Бхуджбал и был ходячей политической карикатурой. Он разрешил съемочной группе сопровождать его на ежегодный фестиваль Ганапати в честь слоноголового бога Ганеши — в прошлом всеиндийский праздник, выродившийся в сборище агрессивных неонацистов, исповедующих всеобщее верховенство индуизма. «Можете называть нас фашистами, — говорил Бхуджбал. — Мы и есть фашисты. Можете называть нас расистами, мы и есть расисты». При этом перед ним на столе стоял телефон в форме зеленой пластмассовой лягушки. Блестящий оператор Майк Фокс, не привлекая внимания хозяина кабинета, снял среди прочего и эту лягушку. Но потом, отсматривая снятый материал, они решили ее выкинуть — глядя на человека, с пеной у рта доказывающего что-то лягушке, невозможно было не умилиться. Создатели фильма боялись пробудить в зрителях хотя бы намек на симпатию к этому персонажу, поэтому кадры с лягушкой не пошли дальше монтажной комнаты. Но ничто в жизни не пропадает бесследно. Той самой зеленой лягушке и человеку по имени Мандук (лягушка) нашлось место в романе «Прощальный вздох Мавра».

На Джама-Масджид, главной мечети Старого Дели, были вывешены черные флаги в память о расстрелянных в Мируте мусульманах[47]. А он хотел в этой мечети поснимать и обратился за разрешением к имаму Бухари, своенравному старцу крайне консервативных взглядов. Тот согласился на личную встречу, поскольку ему понравилось, что у просителя мусульманское имя Салман Рушди. Встретились они в огороженном мощными стенами «саду», где из каменистой утоптанной земли не пробивалось ни травинки. Недоброй наружности имам, полный, со щербатым ртом и выкрашенной хною бородой, сидел в кресле, широко раздвинув колени; в подоле у него лежала гора мятых банкнот. Вокруг стояли на страже помощники. Рядом с имамом поставили еще одно кресло с плетенным из тростника сиденьем. За разговором он расправлял бумажки и сворачивал в трубочки,

похожие на *биди*, которые крутил другой старик на веранде своего дома в Керале. Готовые трубочки имам вставлял в отверстия в соседнем плетеном кресле — сиденье быстро заполнялось свернутыми из рупий *биди*, чем выше было достоинство купюры, тем ближе к себе втыкал ее имам. «Да, — сказал он. — Можешь снимать». После *фетвы* Хомейни тот же самый имам Бухари с кафедры той же самой Джама-Масджид обличал автора «Шайтанских аятов», не подозревая, что однажды вполне мирно с ним беседовал. К тому же в обличениях своих он несколько промахнулся: плохо запомнив, как зовут злодея писателя, вместо него обрушил проклятия на видного мусульманского политика Салмана Хуршида. Такая вышла неприятность — и для имама, и для «не того Салмана».

В Кашмире он несколько дней провел с труппой бродячих актеров, представлявших *бханд патхер*, комические пьесы на сюжеты из кашмирской истории и старинных легенд, — одной из последних таких трупп, загнанных в нищету непростой и тяжелой политической обстановкой в Кашмире не без участия кино и телевидения. Актеры выразительно рассказывали о своей жизни и отчаянно поносили деспотические порядки, установленные индийскими военными и органами правопорядка; но стоило включить камеру, они начинали лгать, притворяться. Опасаясь последствий, актеры вещали в микрофон о том, как они любят индийскую армию. Использовать их подлинные рассказы без видеоряда он не мог, поэтому в окончательном варианте фильма кашмирские актеры у него вообще не фигурируют, но сам он никогда не забудет их так и не зафиксированные на пленку истории, никогда не забудет зрелище лесной поляны, на которой кувыркались и ходили по канату десятки детей — это получало профессиональную подготовку следующее поколение комиков, на чью долю может и не достаться зрителей, и тогда они, повзрослев, побросают свои бутафорские мечи и возьмутся вместо них за настоящее смертоносное оружие исламского джихада. Много лет спустя эти люди стали главными героями его «кашмирского романа» «Клоун Шалимар».

Самым пронзительным персонажем его фильма оказалась Р., сикхская женщина из Дели, чьи муж и дети у нее на глазах были растерзаны толпой, подстрекаемой, а может, и непосредственно направляемой лидерами Индийского национального конгресса, которые мстили всей сикхской общине без разбора за убийство Индиры Ганди — 31 октября 1984 года ее расстреляли собственные телохранители-сикхи Беант Сингх и Батвант Сингх, сторонники независимости Халистана, отомстив таким образом за штурм индийской армией главной святыни сикхизма, Золотого

храма, в котором вождь борьбы за сикхскую независимость Джарнаил Сингх Бхиндранвале засел вместе с несколькими сотнями своих вооруженных соратников. Всего через три года после гибели семьи Р. хватило сил и великодушия, чтобы сказать: «Я не хочу мести, не хочу ни жестокостей, ни Халистана. Я хочу справедливости. Больше ничего».

Он очень удивился, когда индийские власти запретили ему снимать вдову Р. и вообще все, хоть как-то связанное с расправами над сикхами. Но он все-таки записал ее свидетельство на магнитофон и в готовом фильме проиллюстрировал его сменяющими одна другую фотографиями сикхских вдов, ее в том числе, и эти портреты производили впечатление сильнее, чем произвела бы на их месте любая движущаяся картинка. Лондонское представительство высокого комиссара Индии предприняло попытку предотвратить показ фильма на Четвертом общественном канале, но он вышел в назначенное время. Поразительным образом, дабы не предавать огласке причастность правящей партии к резне, унесшей жизни нескольких тысяч сикхов, индийское правительство попыталось заткнуть рот не террористу и убийце, а жертве террора; к чести руководства телеканала, ему хватило смелости и принципиальности не уступить необоснованным требованиям индийцев.

Индию он покидал полный идей, тем, образов, звуков, запахов, лиц, историй, чувственности, энергии и любви. Откуда ему было знать, что отъезд станет началом долгого вынужденного расставания. Индия первой запретила «Шайтанские аяты», после чего ему отказали во въездной визе. (Британским подданным для посещения Индии нужна виза.) Долгих двадцать с половиной лет у него не будет возможности возвратиться в страну, *приехать домой*.

Он монтировал фильм, получивший название «Загадка полуночи», когда из Карачи позвонил его зять Сафван, муж самой младшей сестры Набилы (в семье ее звали Гульджум, то есть «лапочка»), и сказал, что у Аниса нашли множественную миелому, рак костного мозга. Его лечили, но надежды уже не оставалось. Одно лекарство, мелфалан, могло продлить ему жизнь на несколько месяцев, а то и на год-другой, но все зависело от того, каков будет ответ организма на препарат. Этого пока никто не знал, соответственно никто не мог сказать, сколько Анису осталось. «Что я должен делать? — спросил он зятя. — Может, мы с Самин станем по очереди летать в Индию, чтобы один из нас всегда был рядом с мамой?» (Самин к тому времени

снова обосновалась в Лондоне, где занималась внешними связями индийский общины.) Помолчав несколько мгновений, Сафван проговорил с расстановкой: «Салман, брат, бросай всё и прилетай. Покупай билет и лети». Джейн Уэлсли и Джефф Данлоп сразу же согласились его отпустить. Через два дня он прилетел в Пакистан и успел застать последние шесть дней жизни отца.

То были дни любви, возвращения к счастливому неведению. Он дал себе согласие распомнить все плохое: родительские ссоры его раннего детства, пьяные издевательства отца в лондонской гостинице «Камберленд» в январе 1961 года и день, когда он врезал Анису в челюсть. Ему было двадцать, когда ему вдруг надоело покорно сносить злобные пьяные выходки отца, тем более что в тот раз жертвой оказалась мать. Он сначала ударил отца и только потом подумал: *Боже мой, он же сейчас даст сдачи*. Анис был невысок ростом, но очень силен, если бы он наподдал ему своей мощной как у мясника рукой, мало бы не показалось. Но драться с сыном Анис не стал, а вместо этого молча отошел в сторону, явно пристыженный. Теперь все это ровно ничего не значило. В Анисе из клиники Университета имени Ага-хана IV в Карачи силы уже не было. Лицо у него осунулось, сам он истощал. На вид он был спокоен и ко всему готов. «Я с самого начала говорил врачам, что у меня рак, — сказал он. — И спрашивал у них, куда девалась из меня вся кровь?» Давным-давно, прочитав «Детей полуночи», Анис рассердился на сына из-за персонажа по имени Ахмед Синай, сильно пьющего отца главного героя. Он тогда заявил, что больше с сыном не разговаривает, и пригрозил развестись с женой, которая их мальчику «всякую дурь вбила в голову». Когда к роману пришла слава и друзья начали звонить с поздравлениями, отец сменил гнев на милость. Он сказал Салману: «Не стоит обижаться на младенца, который обмочил тебе колени». Тогда обиделся сын, и потом в отношениях между ними долго еще присутствовала некоторая напряженность. Теперь и это осталось позади. Держа сына за руку, Анис прошептал: «Я злился потому, что все, что ты писал, было правдой».

В следующие несколько дней они воссоздали взаимную любовь и наслаждались ею, как если бы она никогда никуда не девалась. В своем великом романном цикле Пруст стремится заново пережить прошлое, но не искаженное призмой памяти, а именно *таким, каким оно было*. Им с отцом удалось сделать то же самое с любовью. *L'amour retrouvé*[48]. Как-то он взял электрическую бритву и осторожно сбрил отцу щетину.

Анис очень ослаб и попросился домой. Дом родителей в

Карачи был совсем не похож на бомбейскую Виндзор-виллу и представлял собой двухэтажную постройку в современном стиле. В пустом бассейне, сидя в зеленой тухлой лужице, застоявшейся в дальнем глубоком углу, ночами напролет квакали лягушки. Как-то раз, когда Анис был еще здоров, они своим концертом вывели его из себя, и он, вскочив посреди ночи, отлупил лягушек резиновой ластой. Большинство от этого не сдохли, а просто вырубились. К утру лягушки пришли в себя и упрыгали куда-то от греха подальше. Они явно тоже были резиновые.

Анису уже было не под силу подниматься по лестнице в спальню, поэтому ему устроили постель в кабинете на первом этаже, где он и лежал в окружении книг. Как выяснилось, он был полным банкротом. В верхнем левом ящике письменного стола у него хранилось несколько пачек пятисотрупиевых банкнот, последние его деньги. На банковских счетах значились отрицательные суммы, кроме того, и за дом он окончательно расплатиться не успел.

Однажды за ужином Сафван, муж Гульджум, преуспевающий инженер-электронщик, рассказал странную вещь. По его словам, он лично контрабандой провез в Пакистан мощнейший в мире компьютер компании «Эф-пи-эс» «Флоатинг пойнт системз», способный производить семьдесят шесть миллионов операций в секунду. Для сравнения: человечески мозг делает за секунду максимум восемнадцать операций. «Обычные компьютеры, — сказал Сафван, — производят не больше миллиона операций». Он объяснил, что привезенный им компьютер необходим для создания мусульманской ядерной бомбы. Даже в Соединенных Штатах таких мощных компьютеров всего штук двадцать. «Если бы стало известно, что одна такая машинка работает у нас в Лахоре, — говорил он с улыбкой, — о всякой гуманитарной помощи Пакистану пришлось бы забыть».

В этом был весь Пакистан. В этой стране он жил в замкнутом мире своей семьи и нескольких друзей, которые на самом деле были Саминиными друзьями, а не его. За пределами этого мира раскинулась глубоко ему чуждая страна. Время от времени снаружи приходили известия вроде сообщенного Сафваном, и тогда ему хотелось сесть в первый же самолет, улететь прочь и никогда больше не возвращаться. Такие известия неизменно приносили милейшие люди с улыбкой на лице — в несоответствии между природными достоинствами этих людей и их поступками как раз и крылась шизофрения, разрывавшая Пакистан на части.

Сафван с Гульджум и конце концов развелись, нежная красавица постепенно превратилась в отвратительно толстую

тетку с расстроенной психикой и чрезмерным пристрастием к наркотикам. Ей не было и пятидесяти, когда ее нашли мертвой в своей постели — самая младшая из четырех детей ушла из жизни первой. Въезд в страну был ему к тому времени запрещен, поэтому на похороны ее он не попал, так же как и на похороны матери. После смерти Негин Рушди пакистанские газеты писали, что все, присутствовавшие на ее похоронах, должны молить Аллаха о прощении, ибо новопогребенная была матерью вероотступника. Всё это не прибавило ему любви к Пакистану.

Час Аниса пробил посреди ночи 11 ноября 1987 года, дома после больницы он провел меньше двух дней. Салман отвел его в ванную комнату помыть после приступа кровавого поноса. Там у него началась обильная рвота, они с Самин погрузили его в машину и повезли в университетскую клинику. Потом он понял, что правильнее было бы никуда его не волочь и дать спокойно уйти, но в тот момент они оба внушили себе, будто врачи вытащат его и он еще какое-то время побудет с ними. Правильнее было бы в последние мгновения жизни избавить его от дополнительных мучений, от бессмысленных электрических разрядов. Но врачи над ним повозились, все их усилия были напрасны, Анис умер, и Негин, хотя за долгие годы брака и повидала от него много разного, осела на пол и заголосила: «Он же обещал никогда меня не покидать, и что же мне теперь без него делать?»

Он обнял мать. Она осталась на его попечении.

То, что в клинике Университета имени Ага-хана IV, лучшем лечебном заведении Карачи, исмаилитов[49] пользуют бесплатно, а с остальных берут очень даже немалые деньги, он считал, в принципе, справедливым. Тело отца можно было забрать из морга только после оплаты всех счетов. К счастью, у него была с собой карточка «Американ экспресс», с ее помощью он и выкупил из больницы покойного отца. Когда Аниса принесли домой, простыни на его постели еще хранили отпечаток его тела, на полу у кровати стояли его старые шлепанцы. Дом скоро наполнили мужчины, родственники и друзья — в жарких краях покойных хоронят через несколько часов после смерти. По идее, он должен был взять на себя все похоронные хлопоты, но чувствовал себя абсолютно беспомощным в чужой для него стране, поэтому за дело взялись друзья Самин: они организовали место на кладбище, нашли погребальные носилки и даже договорились с муллой — обойтись без этого было никак нельзя — из ближайшей мечети, похожей по виду на отлитый из бетона геодезический купол Бакминстера Фуллера[50].

Аниса обмыли — он впервые при этом увидел обнаженное

тело отца, — после чего похоронный портной зашил покойника в саван. Идти до кладбища было недалеко, носилки, благоухающие цветами и сандаловой стружкой, донесли до уже готовой могилы. В яме стоял могильщик, он спрыгнул туда же и встал в головах, и они вдвоем опустили в могилу Аниса. Это было сильное переживание — стоять в отцовской могиле и, поддерживая тело усопшего под укутанную саваном голову, опускать его на место последнего упокоения. Ему было грустно оттого, что отец, человек огромной культуры и обширных знаний, увидевший свет в освященной именем Мирзы Галиба *махалле* Баллимаран в Старом Дели, проживший затем несколько счастливых десятилетий в Бомбее, закончил свой путь в таком бездарном, абсолютно ему не подходящем месте. Анис Ахмед Рушди был человеком разочарованным, но хотя бы окончил дни с сознанием, что его любят. Вылезая из могилы, он сковырнул себе ноготь на большом пальце ноги и отправился в расположенную поблизости больницу имени Джинна[51] делать укол от столбняка.

После смерти Анис снился сыну приблизительно раз в месяц. Во сне он бывал неизменно ласковым, остроумным, мудрым, отзывчивым и готовым помочь — словом, идеальным отцом. То есть выходило, что после смерти Аниса отношения между отцом и сыном складывались куда лучше, чем когда он был жив.

У Саладина Чамчи в «Шайтанских аятах» тоже были непростые отношения с отцом, Чангизом Чамчавалой. Первоначально он задумал, что в романе Чангиз тоже умрет, но Саладин опоздает с прилетом в Бомбей и уже не застанет отца в живых, отчего вынужден будет носить в душе груз неразрешенных противоречий. Однако случилось так, что он прилетел из Карачи в Лондон преисполненным счастья от проведенных вместе с отцом последних шести дней его жизни. Под влиянием этих переживаний он принял решение позволить Саладину с Чангизом испытать то же, что происходило между ним и Анисом. Правда, его несколько смущала моральная сторона того, что он собрался делать — писать о только-только случившейся смерти отца. Вдруг у него получится неловко, с неуместным гробокопательским и вампирским душком? Он не понимал. Поэтому решил попробовать, но если вдруг почует в написанном безвкусицу и фальшь, уничтожить неудавшийся кусок и вернуться к первоначальному замыслу.

Он многое позаимствовал из реального своего опыта, вплоть до лекарств, которые давал Анису в те последние дни. «Помимо ежедневных таблеток мелфалана, ему была предписана целая

батарея лекарств, призванных сражаться с пагубными побочными спутниками рака: анемией, повышенной нагрузкой на сердце и тому подобными неприятностями. Изосорбид-динитрат, две таблетки, четыре раза в день; фуросемид, одна таблетка, три раза; преднизолон, шесть таблеток ежедневно, по два раза». И дальше в том же роде: агарол, верошпирон, аллопуринол… ПолкИ чудо-лекарств маршем вошли из реальности в художественную прозу.

Он написал и о том, как брил отца — как Саладин брил Чангиза, — и об отважной безропотности умирающего перед лицом смерти. «*Сначала в тебе оживает любовь к отцу, а потом приходит умение его уважать*». Он написал о кровавом поносе и о рвоте, об ударах электричеством и о простынях, о шлепанцах и о том, как обмывали тело, а потом хоронили его. А еще он написал вот это: «*Он учит меня умирать*, — думал Салахуддин. — *Не отводит глаз, а смотрит смерти прямо в лицо.* И ни разу, умирая, Чангиз Чамчавала не произнес имени Божьего».

Именно так умирал Анис Ахмед Рушди.

Заканчивая эпизод, он не видел в нем ни намека на злоупотребление темой. Она трактовалась у него с должным пиететом. Когда рассказ об отцовской смерти был готов, он понял, что вычеркивать его не станет.

В день, когда он улетал к умирающему отцу, Мэриан нашла в кармане его брюк клочок бумаги, на котором его почерком было написано имя Робин, а рядом строчка из песни «Битлз»: *волнует всех возлюбленных сильней*[52]. Он не мог вспомнить, когда это писал и долго ли бумажка пролежала у него в кармане — с Робин он на тот момент не виделся уже больше года, а записку сунул в карман явно задолго до расставания с ней, — тем не менее с Мэриан случился приступ ревности, и прощание поэтому вышло не самым добрым. Они собирались справить сорокалетие Мэриан в Париже. Болезнь Аниса нарушила их планы.

Не отойдя еще от потрясения, вызванного смертью Аниса, он позвонил ей из Карачи в Лондон и прямо по телефону сделал предложение. Она согласилась за него выйти. 23 января 1988 года они поженились в муниципалитете лондонского района Финсбери, отобедали с друзьями в ресторане «Фредерик» в Излингтоне и провели ночь в отеле «Ритц». Только много лет спустя он узнал, что сестра Самин и ближайшие друзья видели в этой женитьбе дурное предзнаменование, но не знали, как его отговорить.

Через четыре дня после свадьбы он записал в дневнике: «Как же просто уничтожить человека! Придумав себе врага, как легко его раздавить; как быстро он стирается в пыль! Зло: легкость его

искушает». Потом он не мог припомнить, для чего он это писал. Очевидно, запись имела отношение к книге, над которой он тогда работал, но в окончательный текст не попала. А всего год спустя эти слова оказались буквально пророческими.

Еще он писал в дневнике: «Если — вопреки душевному раздраю, разводу, смене жилища, книжке про Никарагуа, фильму про Индию и т. п. — я когда-нибудь закончу „Шайтанские аяты“, это будет означать, что я исполнил „первый пункт повестки дня“, дал имена всем составляющим моего „я“. После этого мне не о чем будет писать; ну разве что о человеческой жизни в целом».

В 16:10 вторника 16 февраля 1988 года он вывел прописными буквами всё в том же дневнике: «Я ДОПИСАЛ». В среду 17 февраля внес в текст незначительные исправления и «объявил книгу завершенной». В четверг ксерокопировал рукопись и разослал литературным агентам. За выходные «Шайтанские аяты» были прочитаны Самин и Полин[53]. В понедельник Самин сказала, что книга ей в основном очень понравилась. Только описание смерти Чангиза вызвало у нее смешанные чувства. «Мне все время хотелось сказать: „Я тоже при этом была. Он это говорил не тебе, а мне. Это я ему сделала, а не ты“. Но мне в твоей версии места не хватило, и теперь все будут думать, что все было именно так, как ты рассказал». Ему нечем был ответить на ее упреки. «Ладно, — сказала она. — Главное было выговориться. А в остальном как-нибудь переживу».

Покинув письменный стол своего создателя, книга меняется. Даже прежде чем кто-нибудь ее прочтет, прежде чем кто-то другой, помимо автора, пробежит взглядом по одной-единственной ее строчке, она становится безвозвратно иной. Становится книгой, которую можно читать, которое не принадлежит более одному только автору. Она, в некотором смысле, обретает свободу воли. С момента, как началось ее путешествие по свету, писатель больше над ней не властен. Отныне, когда собственноручно написанные им слова стали доступны посторонним, он читает их совсем по-другому. Они складываются у него в другие, новые предложения. Книга уходит в мир, и мир переписывает ее.

«Шайтанские аяты» оставили родной дом и при соприкосновении с внешним миром подверглись совсем уж экстремальной метаморфозе.

Все время, пока он писал этот роман, у него над столом, приколотая к стене, висела записка: «Написать книгу — все равно что, подобно Фаусту, заключить договор с дьяволом, но только на противоположных условиях: за бессмертие или, во всяком случае,

за долгую жизнь в памяти потомков у тебя отбирают земную жизнь или просто рушат ее»

II. «Рукописи не горят»

— А скажите, почему Маргарита вас называет мастером? — спросил Воланд.

Тот усмехнулся и сказал:

— Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал.

— О чем роман?

— Роман о Понтии Пилате.

…

— О чем, о чем? О ком? — заговорил Воланд, перестав смеяться. — Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы? Дайте-ка посмотреть. — Воланд протянул руку ладонью кверху.

— Я, к сожалению, не могу этого сделать, — ответил мастер, — потому что я сжег его в печке.

— Простите, не поверю, — ответил Воланд, — этого быть не может. Рукописи не горят. — Он повернулся к Бегемоту и сказал: — Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман.

Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду. Маргарита задрожала и закричала, волнуясь вновь до слез:

— Вот она, рукопись! Вот она!

Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»

(эпизод, в котором дьявол Воланд возвращает мастеру его сожженный роман)

На заре 15 февраля 1989 года он лежал без сна, рядом спала жена. Утром должен был зайти высокий чин подразделения «А»

Особого отдела лондонской полиции, ответственного за личную защиту всех подданных Соединенного Королевства, кому она положена, за исключением членов королевской семьи, которых опекает Специальный отряд королевской охраны. Особый отдел — прямой преемник Особого ирландского отдела, созданного в 1883 году для борьбы с Ирландским республиканским братством; до недавних пор бóльшая часть угроз в адрес охраняемых отделом персон — премьер-министра, министров обороны, иностранных дел и по делам Северной Ирландии, а также самых неугомонных членов парламента — исходила от наследников того самого Братства, Временной Ирландской республиканской армии. Но в наши дни терроризм стал более многоликим, отчего у Особого отдела лондонской полиции появились новые подопечные. Время от времени, после далеко не голословных угроз со стороны мусульман, о защите просили лидеры еврейской общины. А теперь к ним добавился этот писатель, у которого никак не получается уснуть во мраке своей квартиры на Лонсдейл-сквер. Какой-то мулла протянул с другого конца света свои длинные руки и хочет его придушить. А полиции приходится с этим разбираться.

Полицейский из Особого отдела явился в компании сотрудника спецслужб, и вместе они объяснили ему, какие меры безопасности будут предприняты в связи с нависшей над ним угрозой. На языке специалистов, «угроза» и «опасность» — две разные вещи, которые путать не следует. *Уровень угрозы* — понятие общее, а *уровень опасности* — конкретное. Даже при том что уровень угрозы по отношению к тому или иному лицу высок — это решают специально обученные сотрудники спецслужб, — уровень опасности, связанной с теми или иными действиями того или иного лица, может быть гораздо ниже, если, к примеру, никто не знает, что и когда это лицо намерено предпринять. Ему еще предстояло назубок затвердить все эти тонкости, поскольку от оценки угроз и рисков зависела впредь вся его жизнь. Но пока он был мыслями на острове Маврикий.

Через десять дней после того, как он закончил «Шайтанские аяты», его жена Мэриан поставила точку в романе «Джон Доллар», где рассказывается о том, как предавались каннибализму люди, высаженные на необитаемом острове; свою книгу она — с его точки зрения, совершенно напрасно — называла «феминистским „Повелителем мух“[54]». На ужине в честь вручения Букеровской премии 1988 года, которой удостоился роман Питера Кэри «Оскар и Люсинда», лишь с трудом обошедший «Шайтанские аяты», — Мэриан даже поделилась этим своим сравнением с самим Уильямом

Голдингом. Это было уж совсем напрасно. А через два дня после того, как Мэриан дописала «Джона Доллара», они втроем, с дочерью Мэриан Ларой Порзак, третьекурсницей Дартмутского колледжа и многообещающим фотографом, полетели отдыхать на Маврикий. Остров этот, к счастью, вполне обитаемый, и перспективы «человечины-гриль» перед ними не возникало. До того он ни разу не бывал на «райских островах» и теперь с удовольствием предвкушал ленивые радости пляжной жизни — последняя книга вытянула из него больше сил, чем все написанное раньше. Пока он нежился на песке, Эндрю Уайли в Нью-Йорке и Гиллон Эйткен в Лондоне принялись рассылать рукопись «Шайтанских аятов» по редакциям, колеса издательской машины пришли в движение. Он плавал в воде, которая была чуть ли не теплее воздуха, любовался тропическими закатами, пил коктейли с фруктами и воткнутыми в них зонтиками, ел вкуснейшую, выловленную неподалеку от маврикийских берегов рыбу под названием *острозуб* и все представлял себе, как Сонни Мехта в «Нопфе», Питер Майер в «Вайкинге», неизвестные ему редакторы в «Даблдей», «Коллинзе» и прочих издательствах читают его объемное и не самое обычное произведение. Он привез с собой полчемодана книг, чтобы за чтением отвлечься от мыслей о грядущей торговле с издателями. Ее исход был ему далеко не безразличен, но посреди идиллии на берегу ласкового Индийского океана как-то и в голову не приходило, что что-то может всерьез не заладиться.

Тут ему стоило бы вспомнить о птичках, о вымерших нелетающих птицах, легкой добыче для хищников. Ведь Маврикий — это мировая столица, лагерь уничтожения и место массового захоронения исчезнувших с лица планеты нелетающих птиц.

До семнадцатого века *L'île Maurice*[55] был необитаемым, что, вообще говоря, редкость для таких больших островов. Зато на нем жили сорок пять видов птиц, из них многие — рыжий маврикийский пастушок, дронт-отшельник и собственно дронт, «птица-додо» — не умели летать. Потом на Маврикии появились голландцы, они хозяйничали там недолго, с 1638-го по 1710 год, но ко времени их ухода ни одного додо уже не осталось — гибли они, по большей части, от зубов привезенных колонистами собак. В целом же из сорока пяти видов птиц на Маврикии полностью вымерли двадцать четыре, а заодно с ними и водившиеся здесь в изобилии морские черепахи и прочие живые существа. В музее города Порт-Луи выставлен скелет додо. Мясо этой птицы обладало отталкивающим запахом, и люди его не ели, но собаки были менее разборчивыми. Едва завидев беззащитную птицу, они

бросались на нее и рвали на куски. Это были натасканные охотничьи собаки, не ведающие милосердия.

Голландцы, как и сменившие их французы, выращивали на Маврикии сахарный тростник и для обработки плантаций ввозили африканских рабов. С рабами обходились круто, за любую провинность им отрубали конечности, а то и казнили. В 1810 году остров захватили британцы, в 1835-м рабство на нем было запрещено. Почти все получившие свободу рабы сразу же бежали с ненавистного острова. Чтобы было кем заменить их на плантациях, британцы начали тысячами нанимать рабочих в Индии. В 1988 году большинство из живущих на Маврикии индийцев никогда не видели Индии, но многие при этом разговаривали на бходжпури, диалекте хинди, вполне узнаваемом, хотя и подвергшемся за полтора столетия влиянию соседей, и по-прежнему исповедовали кто индуизм, кто ислам. Для местных индийцев встреча с индийцем из Индии, который ходил по улицам настоящих индийских городов, ел не маврикийского острозуба, а настоящего индийского морского леща, который грелся под лучами индийского солнца и мок под струями индийских муссонных дождей, который с индийского берега бросался вплавь в воды Аравийского моря, — для них такая встреча была подлинным чудом. В нем видели пришельца из древней баснословной страны и широко распахивали перед ним двери своих домов. Один из виднейших островных поэтов, пишущих на хинди, недавно впервые в жизни побывавший в Индии, куда его пригласили на большое поэтическое мероприятие, рассказывал, что его чтение собственных стихов озадачило индийскую публику, поскольку читал он, по его словам, «правильно», интонационно подчеркивая смысл, а не декламировал, отрубая строку за строкой, как это принято нынче у поэтов, пишущих на хинди в Индии. Одно из второстепенных последствий эмиграции его предков, незначительное культурно обусловленное расхождение в представлении о том, что есть «правильно», глубоко поразило прекрасного поэта, дало ему понять: несмотря на блестящее владение самым распространенным в стране языком, Индия не считает его в полной мере своим. Индийский писатель-эмигрант, к которому был обращен рассказ, хорошо понимал, насколько вопрос культурно-языковой принадлежности важен и непрост для них обоих. Им приходилось биться над вопросами, которые в принципе не стоят перед писателями, намертво привязанными к одному месту, одному языку и одной культуре, — биться и убеждать себя в том, что добытые ответы верны. Кто они такие, где и среди кого их место? Или же сама по себе идея

привязанности и принадлежности — это ловушка, клетка, из которой им повезло вырваться? Эти вопросы, пришел он к выводу, надо ставить по-другому. Те вопросы, на которые он умел находить ответы, касались не почвы и корней, а любви. *Кого ты любишь? Что можешь перешагнуть, а за что обязательно должен держаться? Где сердце у тебя бьется сильнее?*

Однажды на ужине, устроенном организаторами Челтнемского литературного фестиваля для индийских писателей, которых в тот год съехалось в Челтнем особенно много, романистка Гита Харихаран ни с того ни с сего сказала «Ваша принадлежность к индийской литературе в высшей степени сомнительна». Эти слова ошарашили его и даже немножко обидели. «Что вы говорите?» — не слишком находчиво среагировал он. «О да, — с выражением подтверди она. — *В высшей степени*».

На пляже у самого отеля ему встретился маленький, тщедушный человечек в щегольской соломенной шляпе, как-то особенно рьяно предлагавший пляжникам сувениры. «Добрый день, сэр, купите что-нибудь, пожалуйста, — сказал человечек, широко улыбнулся и добавил: — Меня зовут Боди Билдииг». Не хватало только, чтобы следом появился Микки-Маус и представился Арнольдом Шварценеггером. Писатель покачал головой. «Неправда, — сказал он и перешел на хинди: — У вас должно быть индийское имя». Услышав родную речь, Боди Билдинг буквально ошалел. «Вы, сэр, настоящий индиец! — воскликнул он тоже на хинди. — Из само́й Индии!» Через три дня начинался праздник Холи, весенний фестиваль красок, когда люди по всей Индии — и на Маврикии тоже — поливают друг друга ярко подкрашенной водой и посыпают разноцветной пудрой. «Обязательно приходите к нам праздновать Холи», — уговаривал его Боди Билдинг, и в итоге счастливый смех участников Холи несколько смягчил напряженность, нараставшую в отношениях между ним и его спутницами. То был один из лучших дней за все пять недель брака, уже начавшего давать трещину. Между Мэриан и Ларой, им и Ларой, им и Мэриан уже проскакивали искры враждебности. Эту неприятную правду не могли смыть теплые воды Индийского океана, не могли ее спрятать под собой и яркие краски Холи. «Я попала в твою тень», — сказала Мэриан, и он увидел по ее лицу, что ей это очень обидно. Эндрю Уайли и Гиллон Эйткен были литературными агентами и у нее тоже, но сейчас им хватало забот с правами на «Шайтанские аяты», поэтому ее роман они пока отложили в сторону.

Когда они вернулись к себе в гостиницу с празднования Холи,

мокрые до нитки, с розовыми и зелеными разводами на одежде, его там ждало сообщение от Эндрю. Он спустился в бар и позвонил в Нью-Йорк. На небе полыхали краски праздничного заката. Ставки были сделаны. Они были высоки, так высоки, что цифры едва укладывались в голове; ему предлагали в десять с лишним раз больше самого крупного из полученных им до сих пор авансов. Но просто так большие деньги не приходят. На сей раз они сильно повредили двум старинным дружбам.

Его первый и единственный редактор Лиз Колдер незадолго до описываемых событий уволилась из издательства «Джонатан Кейп» и вошла в число основателей нового издательского дома «Блумсбери». Поскольку они были друзьями, само собой подразумевалось, что «Шайтанские аяты» будут печататься у нее. В то время Эндрю Уайли представлял его интересы только на территории США; его британским агентом была Дебора Роджерс, близкая, как и он сам, подруга Лиз Колдер. Дебора сразу же согласилась с Лиз, что «новый Рушди» должен достаться «Блумсбери» — за небольшую плату, поскольку молодое издательство не имело возможности выплачивать авторам щедрые авансы. Эта полюбовная сделка была в духе британской издательской практики, но ему она не понравилась. Эндрю Уайли объяснил, что, если он согласится на скромный гонорар в Британии, в Соединенных Штатах ему много тоже не заплатят. Поразмыслив, он доверил Эндрю и его английскому партнеру Гиллону Эйткену представлять его интересы по всему миру. Полюбовная сделка не состоялась, Лиз с Деборой были оскорблены до глубины души, а права на роман выставлены на торги. Он попытался было указать Лиз, что, по сути, это *она* бросила *его*, когда ушла из «Джонатана Кейпа» в «Блумсбери», но та к его доводам осталась глуха. А Деборе ему и вовсе нечего было сказать. Она больше не его агент — подсластить эту пилюлю было нечем.

Дружба всегда многое значила для него. Почти всю жизнь он провел вдалеке от родных и в эмоциональном отчуждении от большинства из них. Друзья были семьей, которую он сам себе выбрал. Используя естественнонаучный термин *избирательное сродство*, Гёте уподобляет связующие людей узы любви, брака и дружбы связям, возникающим в результате химической реакции. Люди, между которыми возникает химическое притяжение, образуют либо устойчивое соединение — брачный союз, — либо такое, которое легко распадается под воздействием внешних факторов, когда, например, один из элементов заменяется другим, в результате чего возникает или не возникает новое

соединение. Ему эта химическая метафора не больно-то нравилась, казалась чересчур детерминистской и оставляющей слишком мало места свободе воли. Слово «избирательное» он был склонен принимать в том смысле, что выбор обусловлен сознательным решением индивида, а не биохимическими свойствами организма, от него самого никак не зависящими. В любви тех, кого он избрал своими друзьями, равно как и тех, кто избрал другом его, он черпал силы и поддержку; поступок, которым он причинил боль своим друзьям, хоть и был стопроцентно оправданным с деловой точки зрения, казался ему по-человечески неверным.

С Лиз Колдер его в начале семидесятых познакомила ближайшая подруга Клариссы Розанна Эдж-Партингтон. Мать Клариссы, Лавиния, тогда как раз недавно перебралась на постоянное жительство в городок Михас на юге Испании — генерал Франко считал его самым живописным уголком Андалусии, — который притягивал к себе сторонников крайних консервативных взглядов со всей Европы, а впоследствии в романе «Прощальный вздох Мавра» послужил прототипом города Бененхели. Перед отъездом Лавиния продала принадлежавший ей большой дом на Лоуэр-Белгрейв-стрит, 35, актерской чете Майкла Редгрейва и Рейчел Кемпсон, те же затем неожиданным образом перепродали его жене никарагуанского диктатора Хоуп Сомосе; при этом Лавиния оставила дочери маленькую двухэтажную квартирку с отдельным входом и номером 37а. Кларисса со своим мужем-писателем прожили там три с половиной года, пока не купили себе дом в Кентиш-Тауне, на севере Лондона, по адресу Рейвли-стрит, 19, где он, глядя в окно на свинцовое небо Англии, но грезя при этом выжженным зноем индийским небосводом, писал «Детей полуночи»; практически все эти три с половиной года Лиз прожила у них. Ее бойфренд Джейсон Спендер писал тогда диссертацию в Манчестерском университете, а Лиз работала в отделе рекламы лондонского издательства «Виктор Голланц», постоянно моталась между Лондоном и Манчестером, проводя примерно половину недели в столице, а половину на севере.

Лиз была невероятной красавицей, и поэтому, когда мужчины подвозили ее поздно вечером домой с разнообразных книжно-издательских мероприятий, а делали они это регулярно, он должен был дожидаться их приезда и занимать компанию светской беседой до тех пор, пока ее спутник не убирался вон. «Никогда не оставляй меня с ними один на один», — велела она, как если бы сама не могла с легкостью найти управу на любого зарвавшегося ухажера. Одним из таких ночных спутников-

визитеров оказался писатель Роальд Даль, долговязый неприятный тип с руками профессионального душителя, смотревший на него с такой ненавистью, что он твердо решил не отступать ни на шаг. Закончилось все тем, что Даль хлопнул дверью и исчез в ночи, даже с Лиз толком не попрощавшись. В другой раз в качестве кавалера явился кинокритик журнала «Нью стейтсмен» Джон Коулман, выдававший себя за завязавшего алкоголика; со словами «Это для меня» он извлек из портфеля две крепкоалкогольные бутылки. Коулман засиделся так долго, что он в конце концов не оправдал доверия Лиз и, несмотря на ее уничтожающие взгляды, пошел спать. Наутро Лиз рассказала, что Коулман прямо в гостиной сорвал с себя всю одежду и, голый, умолял ее: «Возьми же меня, я твой!» Лаской и убеждением она заставила именитого критика одеться и проводила его до входной двери.

Лиз рано вышла замуж, пожила со своим мужем Ричардом в Новой Зеландии и Бразилии, родила сына и дочь, поработала моделью, ушла от мужа и уехала в Лондон. Бразилия осталась любовью всей ее жизни, и однажды, когда организаторы «Бразильского бала» объявили главным призом за лучший карнавальный костюм два авиабилета в Рио, она, голая, вымазалась с ног до головы белым кремом для тела и приняла скульптурную позу, а ее новый бойфренд Луис Баум, редактор главного еженедельника издательской индустрии журнала «Букселлер», одетый скульптором, в балахоне и берете и с резцом в руке возил ее на тележке по бальной зале. Разумеется, приз достался ей.

Она ушла из рекламного отдела и стала редактором приблизительно тогда же, когда он закончил «Гримуса». По ночам она спала в комнате, где он работал днем, и тайком заглядывала в его все разраставшуюся рукопись. Когда роман был готов, она его напечатала, и, таким образом, первый законченный им писательский труд стал ее первым редакторским. Когда родился Зафар, они все вместе, двумя парами, с маленьким сыном Луиса Саймоном, поехали отдыхать во Францию. Такую дружбу он порушил ради денег. Ну и кто он после этого?

Отношения с Деборой были не столь долгими, но зато очень близкими. Она была женщиной доброй, заботливой, отзывчивой и великодушной, со своими авторами обращалась как с близкими ей людьми, а не просто партнерами по работе. После выхода «Детей полуночи», но еще задолго до «Букера» и попадания в списки мировых бестселлеров, именно в кабинете Деборы он пришел к выводу, что сможет зарабатывать на жизнь литературным трудом. Дебора его поддержала, благодаря ей ему

достало сил сказать Клариссе, что «придется приготовиться к бедности», а уже благодаря тому, что Кларисса ему поверила, он отбросил сомнения и собрался с духом уволиться из рекламного агентства. Они с Клариссой провели немало счастливых дней в Уэльсе на ферме Мидл-Питтс, принадлежащей мужу Деборы композитору Майклу Беркли. От разрыва с ней у него тоже остался мучительный привкус вины. Когда же над его головой разразилась буря, обе они, Лиз и Дебора, позабыв об обидах, демонстративно встали на его сторону. Лишь благодаря любви и верности друзей, а также, да, их умению прощать ему удалось пережить кошмарные годы.

Лиз при этом вскоре поняла: ей, вообще говоря, повезло. Если бы «Шайтанские аяты» опубликовала она, то все последующие напасти — сообщения о заложенной в редакции бомбе, угрозы убийством, возросшие расходы на безопасность, неоднократная эвакуация здания — и внушаемый ими страх запросто могли пустить ко дну новорожденное издательское предприятие, и тогда «Блумсбери» не выпало бы открыть никому не известную, не опубликовавшую до того ни строчки детскую писательницу Джо Роулинг.

И еще: в сражении за «Шайтанские аяты» Эндрю Уайли и Гиллон Эйткен показали себя идеальными союзниками — мужественными, стойкими и непреклонными. Доверяя им представлять свои интересы, он не подозревал, что в одном строю с ними ему предстоит вступить в бой, они в тот момент тоже не догадывались о том, что ожидает их впереди. Но когда грянул гром, он был рад, что эти двое сражаются на его стороне.

Самую высокую цену за права на «Шайтанские аяты» предложило не «Вайкинг», а другое издательство. Оно давало на целых 100 тысяч долларов больше, однако Эндрю с Гиллоном настоятельно советовали это предложение отклонить. Ему в новинку были такие суммы, отказываться от них ему тоже сих пор не приходилось, поэтому он попросил Эндрю: «Не могли бы вы объяснить причину, по которой мне стоило бы отказаться от лишней сотни тысяч долларов?» Тот был тверд: «Этот издатель вам не подходит». Позже, когда буря уже разразилась, журнал «Нью-Йоркер» напечатал интервью с Рупертом Мердоком, в котором тот категорически утверждал: «Я считаю недопустимым оскорблять чьи бы то ни было религиозные чувства. Поэтому, кстати, я надеюсь, что мои сотрудники никогда бы не стали печатать книгу Салмана Рушди». Руперт Мердок, вполне возможно, и не знал, что кто-то из «его сотрудников» пришел в восторг от романа и с огромным запасом перебил цену

конкурентов, но достанься ему издательские права на «Шайтанские аяты», он, судя по его же словам, изъял бы книгу с рынка при первых же признаках скандала. Совет Уайли оказался на удивление дальновидным: Мердок действительно был неподходящим издателем для его книги.

«Заурядной жизни» не бывает в природе. Ему всегда нравилась идея сюрреалистов, что привычка лишает нас умения видеть необычное в жизни; что мы привыкаем к заведенному ходу вещей, к обыденности, что-то вроде пленки или слоя пыли туманит наше зрение, и поэтому от нашего взора ускользает подлинная, чудесная суть земной жизни. Задача художника в том и состоит, чтобы убрать мутную пелену и вернуть нам способность удивляться. Мысль эта представлялась ему очень правильной; но дело не только в привычке — кроме привычной слепоты людям свойственна еще и слепота добровольная. Они делают вид, будто на свете существует *заурядное* и *нормальное*, и наглухо замыкаются в этой общераспространенной фантазии, по сути своей гораздо более эскапистской, чем любые эскапистские выдумки. Затворяя за собой дверь собственного жилища, человек укрывается в потаенном мире частной, семейной жизни и отвечает оттуда на вопросы любопытствующих посторонних: все у нас идет своим чередом, и рассказывать-то, собственно, не о чем, все, в общем, в порядке. При этом в глубине души каждый понимает: редко за какой дверью царит монотонный покой. Чаще там творится кромешный ад: злобствуют отцы, напиваются матери, дуются друг на друга братья и сестры, сходят с ума тетушки, тонут в разврате дядюшки, рассыпаются на ходу старики. Вопреки распространенному представлению, семья — это не тот прочный фундамент, на котором зиждется общество, а хаотически-темный источник всего, что гнетет и мучит нас на протяжении жизни. Семья не нормальна, а сюрреалистична; не монотонна, а полна событий; не заурядна, а экстравагантна. Он помнит, с каким восторгом лет в двадцать слушал по радио Би-би-си лекции Эдмунда Лича, великого антрополога и специалиста по Леви-Строссу, годом ранее сменившего Ноэля Аннана на посту ректора Кингз-колледжа. «Семья отнюдь не является основой здорового общества, — говорил Лич. — К семье, с ее душной приватностью и безвкусными тайнами, восходит любая наша неудовлетворенность». *Да!* — подумал он. — *Как мне это знакомо!* Семейная жизнь, какой он показывает ее в романах, полна вспышек ярости, оперных поз, размахивания руками, шума и буйства. Читатели, которым его книги не нравятся, будут частенько пенять ему за нереалистичность выдуманных им семей,

за то, что они недостаточно «заурядны». От тех же, кто книги его любит, он слышит то и дело: «Эти ваши семьи в точности похожи на мою».

15 марта 1988 года англоязычные права на «Шайтанские аяты» были приобретены издательством «Вайкинг», 26 сентября роман вышел в Лондоне. Между этими датами уложились последние полгода его «заурядной» жизни, по окончании которых пелена привычки и самообмана была грубо сорвана с его глаз, но увидел он не сюрреалистическую красоту мира, а его гнусную чудовищность. В последующие годы пришлось потратить немало сил на то, чтобы вновь, подобно Красавице, открыть для себя в Чудовище красоту.

Переехав к нему на Сент-Питерс-стрит, Мэриан принялась подыскивать врача, который принимал бы неподалеку. Он предложил ей своего проверенного терапевта. «Нет, — сказала она. — Мне нужна женщина-врач». Он объяснил, что его терапевт как раз и есть женщина. «Все равно не подходит, — настаивала Мэриан. — Я должна найти врача, который понимал бы в лечении, которое я прошла». Она, по ее словам, вылечилась в Канаде от рака прямой кишки с помощью какого-то невероятно передового метода — вполне законного, но в Соединенных Штатах пока не одобренного. «Поэтому я лучше наведу справки среди тех, кто знает о раке не понаслышке». Через пару дней она таки нашла столь необходимого ей врача.

Весной 1988 года они с Мэриан обдумывали планы на будущее. В какой-то момент они решили было купить дом в Нью-Йорке, оставив за собой в Лондоне только небольшую квартиру, но Зафар был еще маленьким, ему тогда не исполнилось и девяти, и он не захотел уезжать так далеко от сына. Они вдвоем посмотрели дома на Кемплей-роуд в Хэмпстеде и на Уиллоу-роуд у са́мого парка Хэмпстед-Хит, а с продавцом дома на Уиллоу-роуд даже сговорились о цене. Но потом он отказался от сделки, объяснив, что не хочет отрываться от работы ради переезда. На самом деле все было хуже: он не хотел покупать дом с Мэриан, так как подозревал, что брак их продлится недолго.

Той же весной она принялась жаловаться, что снова заболела. В продолжение скандала по поводу его негаснущей «одержимости» Робин — одержимость эта была не его, а ее, — она заявила, что все внутри у нее как-то потемнело и постоянно ноет кровь, поэтому ей срочно необходимо посетить врача. У нее, подозревала Мэриан, начинался рак шейки матки. Ему виделась горькая ирония в том, что это происходит как раз тогда, когда они оба закончили каждый свою книгу и обоих ждет впереди

много интересного, что угроза страшной потери сводит на нет их радость. «Ты вечно говоришь о том, как много потерял, — сказала она. — Но ведь очевидно же, что приобрел ты гораздо больше».

Когда ей было отказано в гранте Фонда Гуггенхайма, Мэриан совсем пала духом. Она побывала у врача, и тот сообщил ей нечто неопределенное, но малоутешительное. Но затем, через пару недель, подозрения на рак рассеялись так же внезапно, как до того материализовались. Небо у нее над головой прояснилось. Она была здорова и снова могла думать о будущем.

Откуда у него взялось такое чувство, будто со всей этой историей что-то не так? Точного ответа он не знал. Возможно, к тому времени они уже почти перестали друг другу доверять. Она так и не смогла простить клочка бумаги, обнаруженного у него в кармане. А его решение не покупать дом на Уиллоу-роуд нанесло очередной удар по ее вере в долговечность их брака. У него, впрочем, тоже крутились в голове непростые вопросы.

Отец Клариссы свел счеты с жизнью, выпрыгнув из окна. Мать Робин Дэвидсон повесилась. А теперь он узнал, что и отец Мэриан покончил жизнь самоубийством. То есть все женщины, занимавшие важное место в его жизни, были дочерьми самоубийц. Что бы это могло значить? Он не мог или не хотел найти ответа. Когда по прошествии недолгого времени он познакомился с Элизабет Уэст, которая стала затем его третьей женой и матерью его второго сына, он просто не мог не спросить ее о родителях. С огромным облегчением он узнал, что самоубийц у нее в семье не было. Но зато у нее очень рано умерла мать, и отец — он был намного старше матери — не мог как следует о ней позаботиться, поэтому воспитывалась Элизабет у родственников. И у нее, выходит, зияла прореха в том месте, где должен был бы стоять родитель.

Ему не давал покоя вечный вопрос *Что дальше?* — и он всеми силами искал способ запустить работу воображения. Прочитав «Доверенное лицо» Грэма Грина, он поразился, какими элементарными средствами Грин добивается нужного эффекта. Человек не похож на собственную фотографию в паспорте — одного этого хватает, чтобы под пером Грина, словно по волшебству, возник непредсказуемый и даже зловещий мир. Он перечитал «Крошку Доррит» и, как всегда, с наслаждением отметил умение Диккенса одухотворить неодушевленное: город Марсель смотрит у него на небо, на прохожих, на всех и каждого, смотрит таким безжалостным взглядом, что от него хочется спрятаться за закрытыми ставнями. Он в надцатый раз перечитал

«Герцога», и на сей раз его покоробило пронизывающее роман отношение к женщине. Откуда у Беллоу столько героев, вообразивших, будто жестокость — самый верный путь покорить женщину? От Мозеса Герцога до Кеннета Трахтенберга из романа «Больше умирают от разбитого сердца» — все они пребывают в одинаковом заблуждении. *Мистер Б., у вас видна нижняя юбка*, записал он для себя. Ему понравились «Ключи» Дзюнъитиро Танидзаки, роман о тайных дневниках и сексуальных радостях в древней Японии. Мэриан назвала эту книгу порочной. А он увидел в ней сочинение о том, как эротическое желание подчиняет себе человека. В человеческой душе много темных уголков, и книги иногда проливают в них свет. Но что в его, атеиста, устах означает слово «душа»? Всего лишь поэтическую абстракцию? Или же некую нематериальную сущность, столь же неотъемлемую составляющую нашего «я», как плоть, кровь и скелет, ту сущность, которую Артур Кёстлер называл «духом в машине», предполагая существование в человеке смертной, а не бессмертной, души; духа, заключенного в теле и умирающего вместе со смертью тела. Духа, каковой мы и имеем в виду, говоря *das Ich*, «я».

Дочитав роман Уильяма Кеннеди «Самая крупная игра Билли Фелана», он с восхищением записал, что «уход от общепринятой нормы — не поступок, но момент осознания, из которого уже следуют поступки». От «Краткой истории времени» Стивена Хокинга у него разболелась голова, и хотя он понял лишь малую толику написанного, ему хватило знаний, чтобы не согласиться с этим великим человеком, утверждающим, будто человечество приближается к точке, когда будет познано все, в принципе доступное познанию. Всеобъемлющее знание: только ученому могло хватить безумия или величия, чтобы вообразить, будто оно достижимо.

Зия-уль-Хак погиб в авиакатастрофе: невелика потеря.

У него постепенно оформлялся замысел книги — поначалу он представлял ее себе пьесой, возможно этаким обновленным «Отелло», но через несколько лет она увидела свет в совершенно ином обличье. Но уже с самого начала ему хотелось назвать ее «Прощальный вздох Мавра». Тем временем как-то ему явилась во сне одна индийская знакомая: она прочитала «Шайтанские аяты» и пришла предупредить, что ему за эту книгу «предъявят счет». Лондонские эпизоды романа не произвели на нее особого впечатления, а рассказ о переходе Аравийского моря всего лишь показал ей, «как ты любишь кино». Сон этот пробудил в нем опасения, как бы читатели не восприняли близко к сердцу только те фрагменты романа, которые сочтут относящимися — не важно,

со знаком «плюс» или «минус» — лично к ним, а остальное не прочли бы наискосок.

Как всегда в период после окончания книги и до ее выхода из печати, его охватили сомнения. Временами она казалась ему вещью неуклюжей, или, используя выражение Генри Джеймса, «бессвязным и напыщенным чудовищем»[56]. В другие моменты он убеждался, что все у него получилось и из-под пера его вышло прекрасное произведение. Особенное беспокойство внушали ему аргентинская предыстория Розы Диамант и описание дьявольской метаморфозы Саладина Чамчи сначала в полицейском фургоне, а затем в больнице. Много сомнений возникало в связи с проработанностью главной сюжетной линии и сцен преображения персонажей. Но потом вдруг сомнения исчезли. Роман был написан, и он гордился своей работой.

В мае он на несколько дней слетал в Лиссабон. На протяжении двух-трех лет в конце 1980-х Уитлендский фонд — совместное детище британского издателя Джорджа Уайденфельда и американки Энн Гетти, которую, согласно «Нью-Йорк таймс», «субсидировал» ее муж Гордон Гетти, — щедро финансировал писательские конференции в разных концах света, пока в 1989 году содружество между Гетти с Уайденфельдом не прекратилось, не выдержав, по сообщению все той же «Нью-Йорк таймс», «пятнадцатимиллионных убытков». Сколько-то из этих миллионов было потрачено на конференцию, проходившую в мае 1988 года во дворце Келуш. Больше первоклассных писателей, собравшихся в одном месте, он видел только на нью-йоркском конгрессе ПЕН-клуба в 1986 году. Здесь он встретил Сонтаг, Уолкотта, Табукки, Энценсбергера и много кого еще. Он прилетел из Лондона вместе с Мартином Эмисом и Иэном Макьюэном, на конференции они втроем провели «британскую» групповую дискуссию, по ходу которой итальянцы выражали недовольство тем, что британцы слишком много говорят о политике, тогда как литература — «это про связные последовательности слов», а сэр Уайденфельд — критическими высказываниями в адрес Маргарет Тэтчер, которой он столь многим обязан. Пока автор «Шайтанских аятов» выступал со сцены, замечательный черногорский писатель Данило Киш, оказавшийся к тому же искусным карикатуристом, сделал с него набросок в фирменном блокноте конференции и вручил ему после окончания дискуссии. На нью-йоркском конгрессе ПЕН-клуба Данило, человек яркий и остроумный, отстаивал ту точку зрения, что государство тоже способно к творчеству. «На самом деле, — говорил он, — у него

даже чувство юмора есть, сейчас я приведу вам пример такой государственной шутки». Данило Киш жил в Париже, и в один прекрасный день ему туда пришло письмо от друга из Югославии. На первой странице письма стоял официальный штемпель: ЭТО ПИСЬМО НЕ БЫЛО ПОДВЕРГНУТО ЦЕНЗУРЕ. Видом Данило Киш напоминал Тома Бейкера в «Докторе Кто» и по-английски совсем не говорил. Сербохорватским, кроме него самого, никто из участников конференции не владел, так что дружили они посредством французского языка. Во время лиссабонской конференции Киш был уже тяжело болен — в 1989 году он скончался от рака легких, — болезнь затронула голосовые связки, отчего разговаривать ему было трудно. Карикатурный набросок, который теперь с любовью хранит изображенный на нем персонаж, в какой-то мере заменил им обмен репликами.

Перепалка во время «британской дискуссии» оказалась не более чем *amuse-bouche*[57]. Главным событием конференции стало жесткое противостояние между русскими писателями и теми, кто требовал признания в качестве представителей «Центральной Европы», — в числе этих последних были Данило Киш, венгры Дьёрдь Конрад и Петер Эстерхази, живущий в Канаде чех Йозеф Шкворецкий и великие польские поэты Адам Загаевский и Чеслав Милош. Как раз наступила «гласность». Советы впервые пустили на международный литературный форум не дурилок из писательского союза, а «настоящих» писателей вроде Татьяны Толстой. На конференцию приехали и ведущие писатели русской эмиграции во главе с Иосифом Бродским, таким образом, на ней произошло своего рода воссоединение русской литературы, событие очень трогательное (Бродский, например, отказался выступать на английском, потому что, по его словам, хотел быть русским среди русских). Все эти русские болезненно среагировали, когда центральноевропейские писатели, не разделявшие точку зрения своих итальянских коллег, будто дело литературы — связные последовательности слов, — когда эти писатели дружно принялись обличать гегемонские замашки России. Кое-кто из русских заявлял, что никогда и не слышал о какой-то там самостоятельной центральноевропейской культуре. Толстая добавила, что, если писателей так уж пугает Красная армия, у них всегда остается возможность последовать ее, Толстой, примеру, укрыться в мире собственного воображения и уж там наслаждаться ничем не ограниченной свободой. Предложенный ею выход оппонентам не понравился. Бродский постулировал в выражениях, прозвучавших пародией на фразеологию культурного империализма: Россия в данный момент занята своими внутренними проблемами, и когда она их

разрешит, тем самым будут решены и все центральноевропейские проблемы. (Это был тот самый Бродский, который после фетвы присоединится к партии он-понимал-на-что-идет и он-это-сделал-намеренно.) Чеслав Милош, вскочив с места, начал горячо возражать Бродскому; в результате семьдесят с чем-то собравшихся в зале писателей стали свидетелями ожесточенного поединка двух гигантов, нобелевских лауреатов (и старинных друзей). Картина их поединка не оставляла сомнений, что на Востоке зреют великие перемены. Происходящее было похоже на предварительный просмотр падения коммунизма, на зрелище воплощения в жизнь диалектики истории, разыгранное перед лицом коллег со всего света двумя крупнейшими интеллектуалами региона, где она в жизнь воплощалась, — это представление на всю жизнь запечатлелось в памяти счастливцев-зрителей.

Если принять вслед за Гегелем, что история действительно развивается по законам диалектики, то в таком случае падение коммунизма и расцвет революционного ислама[58] демонстрируют принципиальную ущербность диалектического материализма, учения, полученного Карлом Марксом путем переработки идей Гегеля и Фихте и сводящего всю диалектику истории к борьбе классов. Взгляды собравшихся во дворце Келуш интеллектуалов из Центральной Европы и не имеющая ничего общего с ними, стремительно набирающая влияние философия радикального ислама — оба эти чуждых одно другому мировоззрения не оставляют камня на камне от марксистского положения о том, что экономика первична, что в основе любых исторических перемен лежат экономические конфликты, получающие выражение в классовой борьбе. В современном мире, где историческая диалектика выходит за тесные рамки противостояния между коммунизмом и капитализмом, культура тоже часто оказывается первичной. Центральноевропейская культура, противопоставив себя русскому засилью, способствовала разрушению Советского Союза. А то, что первичной бывает идеология, убедительно показал аятолла Хомейни с его присными. На авансцену истории выходила война между идеологией и культурой. Написанный им роман, на его голову, сделался одним из театров боевых действий.

Его пригласили в радиопрограмму «Пластинки на необитаемом острове»[59] — в Британии это честь почище любой литературной премии. Одной из восьми композиций из тех, что он взял с собой на воображаемый необитаемый остров, была *газель* на языке урду, написанная Фаизом Ахмедом Фаизом,

близким другом его семьи, первым великим писателем, с каким ему довелось познакомиться, автором гражданской лирики — никто лучше его не написал в стихах о разделении страны на Индию и Пакистан — и ценимых многими стихотворений о любви. Фаиз научил его, что писатель должен в равной мере стремиться к публичности и приватности, умению быть арбитром общества и человеческого сердца. Другой выбранной им вещью стала та, что звучит под сурдинку на всем продолжении его нового романа, — песня «Сочувствие дьяволу» группы «Роллинг стоунз».

Он несколько раз навещал смертельно больного Брюса Чатвина. Болезнь, среди прочего, подтачивала понемногу его мозг. Раньше он отказывался даже просто произносить слова «СПИД» и «ВИЧ», а теперь с упорством маньяка твердил, что нашел верное лекарство. Он рассказывал, как звонил богатым друзьям, «Ага-хану, например», и просил у них деньги на исследования, при этом ожидал финансового участия и от коллег-писателей. «Специалисты» из оксфордской больницы Джона Рэдклиффа были якобы «в восторге» и не сомневались, что он «на верном пути». Параллельно Брюс вообразил, что книги его продавались «умопомрачительными тиражами» и он поэтому невероятно разбогател. Однажды он позвонил и похвастался, что прикупил полотно Шагала. У Брюса это была не единственная экстравагантная покупка. Его жене Элизабет приходилось тайком возвращать его приобретения, объясняя при этом, что муж не в себе. В конце концов его отец был вынужден через суд закрепить за собой исключительное право распоряжаться деньгами сына, что вызвало прискорбную размолвку в семье. У Брюса вскоре тоже должна была выйти книга, его последний роман «Уц». Как-то раз он сказал по телефону: «Если нас обоих выдвинут на „Букера“, надо будет объявить, что премию мы поделим. Выиграю я — обязательно поделюсь с тобой, и ты, в случае чего, поступишь так же». В прежние времена Букеровская премия вызывала у него только насмешки.

В заказанной ему газетой «Нью-Йорк таймс» рецензии на «Дорогую Мили», сказку Вильгельма Грима, вышедшую с иллюстрациями Мориса Сендака, он не преминул выразить восхищение большинством работ художника, однако не мог не отметить некоторую вторичность данных иллюстраций по отношению к более ранним произведении великого мастера. После этого Сендак сказал в интервью, что обиднее рецензии не было в его жизни и что он «ненавидит» того, кто ее написал.

(Впоследствии он написал еще две рецензии для британской «Обсервер» и в обеих констатировал, что рецензируемое произведение менее прекрасно, чем прежние произведения того же писателя, и добился тем самым, что авторы «Русского дома» и «Фокуса-покуса», Джон Ле Карре и Курт Воннегут, с которыми он поддерживал до того вполне теплые отношения, объявили его своим врагом. Вот чем чревато сочинение книжных рецензий. Если книга тебе нравится, автор воспринимает похвалы как нечто само собой разумеющееся, а если не нравится, вы с ним становитесь врагами. С тех пор он решил больше рецензий не писать. Пусть, кому надо, ищут других дураков.)

В день, когда ему принесли сброшюрованные сигнальные оттиски «Шайтанских аятов», к нему домой на Сент-Питерс-стрит зашла журналистка еженедельника «Индиа тудей» Мадху Джайн, которую он считал свои другом. Увидев толстый том в темно-синем переплете, прочитав написанное крупными красными буквами название, она прямо-таки загорелась и выпросила один экземпляр, чтобы почитать во время отпуска, который они с мужем планировали провести в Англии. А прочитав книгу, она спросила разрешения взять у него интервью и напечатать в «Индиа тудей» отрывок из романа. Он снова уступил. Та публикация, до сих пор считает он, и послужила спичкой, от которой разгорелся пожар. Как и следовало ожидать, в журнале особо отметили «противоречивость» книги, озаглавили редакционную статью о ней «Недвусмысленная атака на религиозный фундаментализм», что явилось первым из бесчисленных случаев некорректной трактовки содержания романа, а другим заголовком сделали якобы сказанные им слова «Я пишу о фанатизме», чем еще больше извратили суть его книги. Заканчивалась редакционная статья предложением «„Шайтанские аяты“ наверняка вызовут лавину протестов…» — неприкрытым призывом к этим самым протестам оно, собственно, и служило. Статья попалась на глаза депутату индийского парламента, консервативному мусульманину Сайеду Шахабуддину, и тот разразился в ответ «открытым письмом», озаглавленным «Тобой руководил шайтанский умысел, мистер Рушди», и с этого все пошло́. Самый простой и действенный способ разнести в пух и прах книгу — демонизировать ее автора, превратить его в подлую тварь, движимую низменными мотивами и зловредными намерениями. Так явился в мир «Шайтан Рушди», которого станут носить по улицам городов воспламененные святой ненавистью демонстранты, — чучело в кое-как скроенном смокинге, удавленника с вывалившимся красным языком; существо это, как

и настоящий Рушди, родилось в Индии. Его гонители исходили при этом из ложного утверждения, будто любой автор книги, поставивший в заглавие слово «шайтанский», сам автоматически оказывается шайтаном. Это ложное утверждение, как и все подобные ему, так вольготно расплодившиеся в Век Информации (или дезинформации), стало истинным благодаря бесчисленным повторениям. Оболгите человека один раз — и вам мало кто поверит. Повторите ложь миллион раз — и верить перестанут тому человеку, против которого ложь направлена.

По прошествии времени приходит желание простить. Перечитывая много лет спустя, в более спокойные времена ту публикацию в «Индиа тудей», он видел, что текст статьи гораздо беспристрастнее ее заголовка и гораздо взвешеннее, чем последнее ее предложение. Те, кому хотелось почувствовать себя оскорбленными, в любом случае нашли бы повод оскорбиться. Желающие воспламениться праведным гневом раздобыли бы себе огня. Возможно, более всего журнал навредил ему тем, что в нарушение профессиональных традиций и негласных запретов напечатал отрывок из романа и сопроводительную статью за девять дней до выхода книги в свет, когда ни один ее экземпляр еще не добрался до Индии. Это дало свободу действия Саиду Шахабуддину и его коллеге, такому же оппозиционному депутату парламента Хуршиду Алам Хану. Они были вольны говорить о книге все, что взбредет в голову, и никто не мог им возразить, поскольку никто ее не читал. Единственный, впрочем, человек в Индии, прочитавший сигнальный экземпляр, журналист Хушвант Сингх, на страницах «Иллюстрейтед уикли оф Индиа» призвал, кабы чего не вышло, запретить «Шайтанские аяты». Таким образом, он стал первым в примкнувшей к запретителям международной кучке литераторов. Хушвант Сингх потом утверждал, что к нему обращалось за советом издательство «Вайкинг» и что он предупредил редакторов и автора о возможных последствиях публикации романа. Не факт, что он кого-то предупреждал. А если и предупреждал, то так, что никто его не услышал.

Для него стало неприятным сюрпризом, что на личности переходили не только мусульмане. В новорожденной газете «Индепендент» некий Марк Лоусон цитировал, не называя имени, его соученика по Кембриджу, объявившего автора «Шайтанских аятов» «надутым типом», который, что типично для «выпускника привилегированной школы», не желал разговаривать с респондентом Лоусона, поскольку «считал себя самым умным и образованным». То есть какой-то безымянный однокурсник вменял ему в вину годы прозябания в Рагби! Другому «близкому

товарищу», также анонимному, было понятно, отчего он порой производил впечатление человека «угрюмого и заносчивого»: все потому, что он был «шизофреником» и «не дружил с головой»; *он поправлял людей, неправильно произносивших его имя!* — и, что кошмарнее всего, однажды уехал на такси, которое Лоусон заказал для себя, оставив бедного журналиста стоять на тротуаре. И таких мелочных гадостей было еще очень много, в самых разных газетах. «Многие его близкие друзья признают, что человек он малоприятный, — писал Брайан Эпплярд в „Санди таймс“. — Рушди чрезвычайно эгоистичен». (И что это за «близкие друзья», которые отзываются так о своем друге? А те самые, анонимные, которых так ловко раскапывают журналисты.) В «нормальной жизни» все это было бы неприятно, однако не заслуживало бы особого внимания. Но в разыгравшемся вскоре смертельном противостоянии успешные попытки выставить его дурным человеком нанесли ему немалый урон.

Лорду Байрону чрезвычайно не нравились сочинения поэта-лауреата Роберта Саути, поэтому он язвительно высмеивал их в печати. Саути ответил Байрону тем, что причислил его к «сатанинской школе», а поэзию его назвал «сатанинскими стихами».

Британское издание «Шайтанских аятов» поступило в продажу в понедельник 26 сентября 1988 года, и теперь, оглядываясь назад, он даже испытывал ностальгию по тому краткому промежутку времени, когда ничто еще не предвещало беды, когда публикация романа воспринималась исключительно как событие литературной жизни и когда обсуждение его шло на языке литературной критики. Был ли он, как выразилась Виктория Глендиннинг на страницах лондонской «Таймс», «лучше „Детей полуночи“, поскольку получился более сдержанным, но сдержанным исключительно в том смысле, в каком можно говорить о сдержанности Ниагарского водопада»? Или, по словам Анджелы Картер из «Гардиан», представлял собой «эпос, в котором понаделали дырок, чтобы сквозь них виден был… многолюдный, словоохотливый, местами уморительно смешной и невероятно современный роман»? Или же его можно было сравнить, как это сделала в «Индепендент» Клэр Томалин, с «заевшим колесом», а то и назвать вслед за книжным обозревателем газеты «Обсервер» Гермионой Ли романом, «пикирующим в сторону полной нечитабельности»? И насколько, интересно, велик был в случае с «Шайтанскими аятами» пресловутый «Клуб 15-й страницы», куда попадают читатели,

названной страницы так и не преодолевшие?

Очень скоро язык литературной критики стало не слышно за какофонией иных дискурсов — политического, религиозного, социологического, постколониального; на этом фоне любая попытка обсудить художественные достоинства романа выглядела чуть ли не пустой и легкомысленной. Место той книги, которую он написал — про эмиграцию и трансформацию личности, — заняла совсем другая, никогда не существовавшая, книга, в которой *Рушди отзывается о Пророке и о его сподвижниках как о «подонках и бездельниках»* (он этого не делает, однако позволяет вымышленным преследователям вымышленного Пророка использовать в его адрес бранные слова), *Рушди называет жен Пророка шлюхами* (он их так не называет, но при этом шлюхи в борделе вымышленного города Джахилия берут себе имена жен Порока на радость похотливым клиентам; о самих же женах четко сказано, что они хранят целомудрие в стенах гарема), *Рушди злоупотребляет словом* fuck (это да, что есть то есть). Именно на эту книгу-химеру обрушился гнев мусульманского мира, после чего желающих поговорить о книге настоящей почти не осталось, да и те чаще норовили посостязаться в резкости оценок с Гермионой Ли.

На вопросы друзей, как ему помочь, он отвечал: «Защитите мой текст». Нападки на роман носили вполне конкретный характер, а защита тем временем строилась исходя из самых общих соображений с опорой на великий принцип свободы слова. Он очень рассчитывал на более конкретную защиту, хотел, чтобы роман его отстаивали как высококачественное литературное произведение, в том же духе, в каком шла когда-то борьба за другие гонимые книги, вроде «Любовника леди Чаттерлей», «Улисса» и «Лолиты», — ведь враги его обрушились не на роман в целом и не на свободу слова как таковую, а на вполне определенный набор слов и предложений (литература, как напомнили ему итальянские коллеги во дворце Келуш, это (про) связные последовательности слов), на его намерения, добросовестность и профессиональную пригодность как писателя, этот набор составившего. *Он сделал это ради денег. Он сделал это ради славы. Его подговорили на это евреи. Если бы не измывательства над исламом, никто бы и не купил его неудобочитаемое сочинение.* Такова была суть претензий к его книге, которые на долгие годы лишили «Шайтанские аяты» приличествующей роману жизни, сделали из него нечто мелкое и уродливое: оскорбление. В том, что роман об ангельских и дьявольских превращениях превратился в демонизированную версию самого себя, ему виделся своеобразии сюрреалистический

комизм, его даже подмывало мрачно сострить в свой адрес. (Вскоре любители черного юмора уже вовсю упражнялись в остроумии на его счет. *Вы слышали, Рушди новый роман написал? Называется «Жирный ублюдок Будда».*) Но в сложившейся вокруг него обстановке любая юмористическая ремарка прозвучала бы диссонансом, беззаботность оказалась бы полностью неуместной. Поскольку книга его была низведена до оскорбления, к нему самому пристало клеймо обидчика, причем не только в глазах мусульман. Если судить по результатам опросов, проводившихся в связи с «делом Рушди», подавляющее большинство британцев полагали, что ему необходимо извиниться за свою «оскорбительную» книгу. Убедить публику в обратном было непросто.

И тем не менее первые несколько недель после появления на свет осенью 1988 года книга оставалась «просто романом», а он — самим собой. На приеме, устроенном британским отделением издательства «Вайкинг» в честь авторов, чьи книги вышли в свет той осенью, он познакомился с Робертсоном Дэвисом[60] и Элмором Леонардом[61] и весь вечер проговорил с величественными старцами, отойдя с ними сторонку от толпы. Элмор Леонард, среди прочего, рассказал историю, как, едва оправившись после смерти жены, начал размышлять, что бы такого предпринять, дабы найти себе новую спутницу жизни; занятый этими мыслями, он выглянул из окна своего дома в Блумфилде, поселке на окраине Детройта, и увидел внизу женщину. Ее звали Кристина, по профессии она была садовником и регулярно приезжала в Блумфилд ухаживать за садом Леонарда. Не прошло и года, как они с Кристиной поженились. «Я не знал, где искать себе жену, — закончил Элмор Леонард свой рассказ, — а нашел ее у себя под окнами поливающей мои клумбы».

Он объехал всю Британию, встречаясь с читателями — выступал перед ними с чтением отрывков из романа, надписывал им книги. Слетал в Торонто, где выступил на Международном литературном фестивале в Гавани. Вместе с романами Питера Кэри, Брюса Чатвина, Марины Уорнер, Дэвида Лоджа и Пенелопы Фитцджеральд «Шайтанские аяты» попали в шорт-лист «Букера». (Из-за этого он не звонил Брюсу Чатвину, боялся возобновления разговора о дележе премии.) Единственным облачком на ясном горизонте маячил Сайед Шахабуддин; депутат индийского парламента требовал принять меры против «кощунственной» книги, которую он, по его словам, не читал, поскольку, мол, «чтобы знать, что сливают в сточную канаву, не обязательно в нее залезать». До поры до времени можно было запросто не обращать

внимания на это облачко и радоваться публикации романа (хотя, если уж совсем честно, каждый раз, когда у него выходила книга, ему страшно хотелось спрятаться за креслом или под столом). Но в четверг 6 октября 1988 года безобидное доселе облако заслонило собою солнце. В этот день на долю его приятеля Салмана Хайдара, заместителя высокого комиссара Индии в Лондоне, выпала неприятная обязанность сделать ему официальный звонок и от имени индийского правительства уведомить, что отныне в Индии «Шайтанские аяты» находятся под запретом.

Вопреки широко декларируемому секулярному характеру индийского государства, начиная с середины семидесятых — со времен Индиры и Санджая Ганди — правительству страны нередко приходится уступать давлению разных религиозных групп, особенно тех, что могут распорядиться голосами большого числа избирателей. В 1988 году, незадолго до ноябрьских выборов, слабое правительство Раджива Ганди трусливо поддалось на угрозы двух оппозиционных парламентариев-мусульман, которые даже не располагали возможностью «добавить» Индийскому национальному конгрессу мусульманских голосов. Квалифицированная экспертиза книги не проводилась, даже видимости судебной процедуры соблюдено не было.

Удивительным образом запрет провели по линии министерства финансов — ввоз книги на индийскую территорию якобы противоречил статье 11 Закона о таможенных пошлинах. Министерство финансов при этом разродилось пояснением, что, мол, запрет романа «не связан с его литературными и художественными достоинствами». *Хоть на том спасибо*, думал он.

Каким же простодушным, наивным, даже близоруким он был, если запрет стал для него полной неожиданностью. В следующие за тем годы нападки на свободу творчества в Индии заметно участились, их не избежали даже выдающиеся художники вроде живописца Макбула Фида Хусейна, прозаика Рохинтона Мистри, режиссера и сценариста Дипы Мехта. Но в далеком 1988 году еще можно было верить, что Индия — свободная страна, уважающая и охраняющая право художника на самовыражение. Вот он в это и верил. По другую сторону границы, в Пакистане, книги запрещали то и дело, но в Индии такие запреты казались немыслимыми. Джавахарлал Неру писал в 1929 году: «Правительство располагает грозной и опасной властью — правом решать, что людям можно читать, а что нельзя… В Индии этим правом явно станут злоупотреблять». Эти слова молодого

Неру были обращены против книжной цензуры, которую завела в Индии колониальная администрация. Тяжело сознавать, что они не утратили актуальности шесть десятков лет спустя в независимой Индии.

Чтобы быть свободным, надо относиться к свободе как чему-то само собой разумеющемуся. Следующий шаг — принять за данность, что художественные произведения создаются без заднего умысла. Он лично всегда считал себя вправе самостоятельно решать, что и как ему писать, рассчитывая на как минимум добросовестную интерпретацию своих книг; при этом он со всей ясностью понимал, что страны, где писатели таких прав лишены, неизбежно скатываются — если до сих пор не скатились — к авторитаризму и тирании. В несвободных странах запрещенных писателей не только лишают слова, а еще и шельмуют. За исключением периода «чрезвычайного положения» 1974—1977 годов, введенного Индирой Ганди в ответ на обвинения в махинациях с голосами избирателей, в Индии всегда господствовала презумпция интеллектуальной свободы и уважения к творчеству. Он очень гордился такой открытостью своей родины и любил похвастаться ею перед западными знакомыми. Окруженная со всех сторон несвободными государствами — Пакистаном, Китаем, Бирмой, — Индия тем не менее оставалась открытой демократией, страной небезупречной и даже, наверно, полной вопиющих недостатков, однако при всем при том свободной.

Со времени успеха «Детей полуночи» все его творчество встречало в Индии неизменно теплый прием, чем он весьма гордился, и тем болезненнее ударил по нему запрет на ввоз в страну «Шайтанских аятов». Пораженный этим ударом, он написал Радживу Ганди, внуку Джавахарлала Неру, открытое письмо, показавшееся многим излишне агрессивным. В письме он оспаривал обоснованность *профилактического*, как его официально определили, запрета книги: «Власти усмотрели вероятность того, что содержание отдельных страниц может быть превратно понято и вызвать злоупотребления, предположительно, со стороны религиозных фанатиков и им подобных. Указ о запрете книги был издан ради предотвращения таких злоупотреблений. То есть мою книгу никто не объявлял кощунственной или оскорбительной, а запрещена она, так сказать, ради ее же блага!.. Выходит, любого ни в чем не повинного человека можно признать потенциальной жертвой грабителей или насильников и защитить от них, поместив за решетку. Свободному обществу, мистер Ганди, не подобает поступать так со своими членами». Ну и понятно: писателю не

подобает делать выговор премьер-министру. Вести себя так заносчиво и с таким апломбом… Индийская пресса называла запрет «Шайтанских аятов» «мещанской перестраховкой», примером «стеснения интеллектуальной свободы» — и при этом советовала автору тщательнее выбирать выражения.

Но он выражений не выбирал. «Какой Индией вы предпочли бы править? Построенной на принципах свободы или на репрессиях? Большинство людей во всем мире станут судить об этом по вашей реакции на запрет „Шайтанских аятов“». Явно по недомыслию он обвинил Раджива Ганди в следовании законам вендетты: «Я допускаю, что в запрете моего четвертого романа вы усмотрели запоздавшее возмездие за то, как я обошелся с вашей матерью в своей третьей книге. Но уверены ли вы, что доброе имя Индиры Ганди переживет славу „Детей полуночи“?» Да, заносчивости в его словах хоть отбавляй. А также злости, обиды и, разумеется апломба. Ладно, никто этого и не отрицает. Писал он премьеру, защищая от грубого политического произвола самое дорогое в его жизни — литературу. Возможно, не обошлось в письме без толики интеллектуального высокомерия. Но практической цели его защита не преследовала, он не рассчитывал, что, прочтя письмо, адресат передумает и примет нужное ему решение. Он пытался застолбить за культурой господствующую высоту и завершил послание высокопарной апелляцией к потомкам, к тем, чьего мнения не узнает ни Раджив Ганди, ни он сам: «Вам, господин премьер-министр, принадлежит настоящее, но грядущие века принадлежат искусству».

Письмо было опубликовано в воскресенье 9 октября 1988 года одновременно в разных странах. А уже на следующий день в редакцию «Вайкинга» поступила первая угроза убийства. Через день после публикации письма было отменено его выступление в Кембридже — организаторам мероприятия тоже угрожали. Тучи у него над головой начинали сгущаться.

В 1988 году букеровское жюри легко определилось с победителем. Его председатель Майкл Фут, член парламента и бывший лидер Лейбористской партии, верный почитатель Хэзлитта[62] и Свифта, был обеими руками за «Шайтанские аяты». Остальные четверо арбитров бесповоротно подпали под обаяние прекраснейшего романа Питера Кэри «Оскар и Люсинда». Так что обсуждение и голосование не заняли много времени. За три года до того члены жюри зашли в тупик и никак не могли решить, чему отдать предпочтение — великолепному и очень смешному плутовскому роману Кэри «Враждебная громадина» или «Доброму террористу», превосходному роману Дорис Лессинг про

Ирландскую республиканскую армию. В результате премия досталась компромиссному кандидату Кери Хьюму, его наградили за эпическую вещь про маори под названием «Народ кости». На следующий день после букеровской церемонии автор «Шайтанских аятов» сказал за ужином Питеру Кэри, что по справедливости премию должен был получить именно Питер. Тот же принялся рассказывать о романе, который только-только начал писать. В Англию Кэри прилетел не только ради «Букера», но и чтобы вживую познакомится с местом действия некоторых эпизодов будущей книги. Австралийца, в частности, интересовал некий пляж в Девоне, и индийский коллега предложил его туда отвезти. Они провели пять удивительных дней в путешествии в вымышленный городок Хеннакомб, куда Кэри впоследствии поселит в романе маленького Оскара Хопкинса с его суровым отцом Теофилусом и где эти персонажи будут жить так же, как жили в середине девятнадцатого века их всамделишные прообразы, поэт Эдмунд Госс и его отец Филипп, такой же, как Теофилус, натуралист, вдовец и член Плимутского братства[63]. Отыскав тот самый пляж, на который с прибрежного утеса вела лестница в четыреста ступеней, они собирали на нем красивые ракушки и особенные, розово-серые, обкатанные волнами камешки. Потом сытно отобедали в пабе теплым пивом и мясом под бурой подливой. Говорили они весь день только о любви. Он в то время еще оставался с Робин, австралийкой и, соответственно, соотечественницей Кэри, а Питер только недавно женился на режиссере Сиднейского театра Элисон Саммерс и был поэтому полон страсти и восторгов. В Лондон они вернулись близкими друзьями. Он вскоре порвал с Робин, а Питер чуть спустя со скандалом развелся со своей Элисон; но даже если любовь умерла, это не означает, что ее вовсе не было. Когда объявили решение букеровского жюри, он стремительно пересек зал ратуши лондонского Сити, обнял Питера, поздравил и прошептал ему на ухо не без некоторой досады, что, мол, мораль сей истории такова: писателю А. не следовало помогать писателю Б., поскольку, благодаря полученной от писателя А. помощи, писатель Б. обскакал писателя А. в гонке за «Букером».

Выиграть конечно же было бы приятно, но он искренне радовался за Питера, и к тому же, по правде говоря, мысли его были слишком заняты разгоравшимися спорами вокруг выпущенной им книги. Премия пошла бы «Шайтанским аятам» на пользу — благодаря ей центр тяжести дискуссии переместился бы в подобающее литературно-критическое русло. Но сейчас его больше тревожило другое. Вернувшись в 11 вечера домой, он обнаружил запись на автоответчике: звонивший назвался

исламским священнослужителем и попросил срочно перезвонить ему в Южную Африку, даже если будет совсем поздно. Дело в том, что выступавшая за расовое равноправие газета «Уикли мейл» пригласила его в качестве основного докладчика на конференцию по проблемам апартеида и цензуры — приглашение было согласовано с «широкими демократическими кругами», это следовало понимать так, что фактически принимающей стороной выступал Африканский национальный конгресс; в Йоханнесбург он должен был лететь через четыре дня. «Мне необходимо поговорить с вами, пока вы еще в Лондоне», — сообщил ему голос на автоответчике. Настроение у него было не ахти — отчасти из-за семейных неурядиц, отчасти из-за событий того вечера (всего пару часов назад Мэриан поведала Уильяму Голдингу, что написала феминистского «Повелителя мух») — и, поразмыслив какое-то время, он перезвонил. Он сидел у себя в полутемной гостиной и слушал, как человек с другого конца света говорит, что ему лучше не приезжать на конференцию, которую устраивает «Уикли мейл». Собеседник представился человеком свободомыслящим и современным, его звонок, объяснил он, был вызван опасениями за личную безопасность писателя и заботой о благе движения борьбы с апартеидом. Визит писателя в Йоханнесбург в нынешней обстановке вызовет бурную враждебную реакцию мусульманской общины. А это чревато неприятностями и для него лично, и для всего движения. Раздоры в рядах коалиции борцов с апартеидом будут иметь непоправимые последствия и сыграют на руку режиму белого меньшинства. Словом, чтобы не стать катализатором катастрофы, ему следует остаться дома.

Утром он позвонил Надин Гордимер — как патрон Конгресса южноафриканских писателей (КЮАП) она тоже имела отношение к его приглашению на конференцию. Он давно уже дружил с этой хрупкой и невероятно энергичной женщиной, которую безмерно уважал и которой так же безмерно восхищался. Голос ее звучал взволнованно и печально. Южноафриканские мусульмане, обычно громко протестующие против политики апартеида, теперь угрожали священной войной писателю-богохульнику и его книге. Они запросто могли убить его, устроить взрыв в зале, где соберутся участники конференции, напасть на тех, кто писателя пригласил. Полиция либо не хотела, либо не имела возможности что-то противопоставить угрозам мусульман. Возникла опасность раскола в КЮАП: мусульмане пригрозили дружно покинуть ряды писательской организации и, соответственно, прекратить ее материальную поддержку. Вдобавок в газете «Уикли мейл» работали в основном евреи, а в агрессивной мусульманской

риторике всегда хватает досадного антисемитизма. Надин Гордимер лично встречалась с лидерами мусульманской общины и пыталась в диалоге с ними найти выход из сложившегося положения, многие всеми уважаемые борцы с апартеидом призывали экстремистов от ислама успокоиться и уступить, но те упорно стояли на своем. Влиятельная среди интеллектуалов-мусульман профессор Фатима Меер заявила: «В конечном счете Рушди выступает против всего третьего мира». Из давнего убежденного противника колониализма он превратился в угнетателя, «злобно клевещущего на прошлое породившего его народа». Африканский национальный конгресс в этой крайне непростой ситуации хранил выразительное молчание. Попытки умиротворить разошедшихся мусульман предпринимали многие, в том числе Дж. М. Кутзее, Атолл Фугард и Андре Бринк, однако угрозы исламистов изо дня в день раздавались все громче. Гордимер была ошеломлена таким развитием событий, ее тревожила участь, которая могла ждать ее друга. «Я не могу подвергать тебя такой опасности», — сказала она ему.

На той неделе «Шайтанские аяты» были запрещены и в Южной Африке. Составители постановления о запрете романа обзывали его «вещью, неряшливо замаскированной под литературное произведение», осуждали «изобилующее в нем сквернословие» и утверждали, что он «вызывает отвращение не только у мусульман, но и у всякого, для кого приличия и культура не пустой звук». Любопытно, что практически те же выражения содержатся в письме к «братьям-мусульманам» (сестры-мусульманки явно не доросли до того, чтобы к ним обращаться с письмом), обнародованном за несколько дней до того, 28 октября, Британским комитетом действий в защиту ислама. В этом документе мы также встречаем выражение «неряшливо замаскированная под литературное произведение» наряду с обвинениями в сквернословии, безнравственности и т. п. Создается впечатление, будто южноафриканские расисты писали свое постановление под диктовку почтенного Муграма аль-Гамди, чья подпись стоит под письмом Британского комитета действий.

Бесконечные телефонные переговоры с Надин Гордимер и редактором «Уикли мейл» Антоном Харбером закончились тем, что ему сообщили: как бы решительно ни был настроен КЮАП, он рекомендует редакции газеты отозвать приглашение. Его расстроило известие, что рекомендация эта спровоцировала публичную размолвку двух великих южноафриканских писателей. Дж. М. Кутзее возражал против отзыва приглашения и настаивал на том, что решать, ехать ему или нет, должен сам Рушди, и никто кроме него. Надин Гордимер отвечала, что, как это ни

прискорбно, но на первом месте сейчас стоят соображения безопасности. Оба они были правы, но последнее, чего бы ему хотелось, — это чтобы писатели ссорились по его вине. Он согласился, что ехать в Йоханнесбург ему не стоит. В тот же день ему позвонил его редактор из издательства «Вайкинг» Тони Лейси и сообщил по секрету, что «Шайтанским аятам» присуждена Уитбердовская премия в номинации «лучший роман». «Неряшливая маскировка под литературное произведение» явно сработала.

К нему домой начали приходить письма с угрозами. Газета «Ивнинг стандард» сообщала, что мусульмане по всему миру обещают «покончить с „Пенгуином“»[64]. Знаменитый адвокат Дэвид Нейпли требовал подвергнуть его допросу в соответствии с Законом об общественном порядке. А он тем временем вместе с Клариссой повел Зафара в Хайбери-Филдз смотреть фейерверк в честь Ночи Гая Фокса. Всю середину того дня, когда Мэриан исполнился сорок один год, он провел на церемонии вручения Уитбердовской премии. Дома она устроила ему сцену, кричала, что ее совсем не видно в его тени и что это для нее невыносимо. Вечером, не успев отойти от ссоры, они поехали в Национальный театр смотреть «Горский язык» Гарольда Пинтера. После пьесы он вышел с ощущением, что ему, как и персонажам Пинтера, запретили использовать свой язык. Его язык объявили неприличным, даже преступным. Он достоин суда, изгнания из общества, смерти — и все из-за языка, на котором изъясняется. Язык литературы уже сам по себе преступен.

Со смерти его отца прошел год. Он был даже рад, что Анис не видит, что творится с сыном. Он позвонил матери. Негин горячо его поддержала, посетовала на *этих ужасных людей*, но тут же неожиданно вступилась за Бога: «Эти люди могут говорить все, что угодно, Аллах в этом не виноват». Он возразил: что ж это за бог, с которого нельзя спросить за поступки чтящих его? Зачем делать из него дитя малое, говорить, что он не властен над верующими? Негин стояла скалой: «Аллах не виноват». Она сказала, что будет молиться за сына. Он не поверил своим ушам. Семья, в которой он рос, была не такой. Всего год прошел со дня смерти отца, а мать вдруг ни с того ни с сего молится! «Не надо за меня молиться, — сказал он. — Поняла? В нашей семье это не принято». Она засмеялась на всякий случай, чтобы ненароком его не обидеть, но смысл его слов до нее не дошел.

Для южноафриканской проблемы нашлось компромиссное решение: он согласился выступить на конференции «Уикли мейл» по телефону из Лондона. Голос его долетел до Южной Африки, идеи его прозвучали в неведомом зале в Йоханнесбурге, но сам

он при этом остался дома. Вариант не идеальный, но все лучше, чем ничего.

Великий шейх Аль-Азхара, Гад эль-Хак Али Гад эль Хак — имя казалось ему до невозможности допотопным, вышедшим из сказок «Тысячи и одной ночи», из эпохи ковров-самолетов и волшебных ламп. Сей великий шейх, один из столпов исламского богословия, обосновавшийся в каирском университете Аль-Азхар мулла крайне консервативных взглядов, 22 ноября 1988 года разразился проклятиями в адрес кощунственной книги. Он был возмущен тем, что «ложь и плоды бесчестного воображения» подавались в ней под видом правды. Он призвал британских мусульман подавать на ее автора в суд, потребовал дружного выступления со стороны всех сорока шести государств — участников Организации Исламская конференция. Причем чувства его были задеты не только «Шайтанскими аятами» — воспользовавшись случаем, шейх возобновил нападки на лауреата Нобелевской премии египетского писателя Нагиба Махфуза, в чьем давнишнем романе из современной жизни «Дети нашего квартала» он также усматривал кощунство: в сюжете романа, видите ли, аллегорически отражалась история пророков от Ибрахима до Мухаммада. «Нельзя допускать книгу в продажу только потому, что ее автор получил Нобелевскую премию по литературе, — вещал шейх. — Никакая премия не оправдывает распространения лживых идей».

Содержание этих двух книг, а также их авторы, кроме Гад эль-Хака Али Гад эль Хака, оскорбили и Слепого шейха Омара Абдель-Рахмана, впоследствии угодившего в тюрьму за причастность к теракту против нью-йоркского Всемирного торгового центра. Шейх Омар заявил, что если бы Махфуза в свое время подобающим образом наказали за «Детей нашего квартала», то Рушди уже не посмел бы выпускать в свет свои «Шайтанские аяты». В 1994 году преданный последователь шейха, посчитав его заявление равнозначным *фетве*, ударил Нагиба Махфуза ножом в шею. Пожилой писатель лишь по чистой случайности остался тогда в живых. На первых порах после фетвы, вынесенной аятоллой Хомейни, Махфуз выступил в защиту «Шайтанских аятов» и назвал поступок аятоллы «актом интеллектуального терроризма», но потом мало-помалу переместился в неприятельский лагерь и начал произносить такие, например, суждения: «Рушди не имел права ни над чем и ни над кем насмехаться, особенно над пророком и над тем, что считается святыней».

Отныне ему уже никуда было не деться от допотопно-

баснословных имен, от шейхов слепых и великих, от студентов индийского Дар уль-Улюма[65], от ваххабитских мулл из Саудовской Аравии (там его книгу тоже запретили) и от примкнувших к ним вскоре иранских богословов из священного для шиитов Кума. До сих пор он не слишком-то обращал внимание на этих досточтимых особ, они же теперь не забывали о нем ни на минуту. Стремительно и не ведая сомнений, религиозный мир добился того, что противостояние шло по им самим установленным правилам. Мир светский — хуже организованный, не столь сплоченный и в целом более равнодушный — явно ему проигрывал, многие ключевые позиции были сданы им без боя.

Демонстрации верующих становились все многолюднее и производили все больше шума, когда южноафриканский писатель Пол Тревхела выступил со смелым эссе, в котором с левых позиций и в сугубо светских понятиях защищал писателя и его роман, называл развернутую исламистами кампанию «взрывом иррационализма масс»; из этой последней формулировки вытекал интересный и непростой для левака вопрос: как относиться к тому, что массы начинают вести себя иррационально? Или, если совсем просто, может ли «народ» быть не прав? По мысли Тревхелы, красной тряпкой для мусульман послужила «отчетливая светская направленность романа… выраженное в нем стремление (по словам Рушди) „рассказать о Мухаммаде так, как если бы он был обычным человеком“». Он сравнивал «Шайтанские аяты» с тем, что в 1830—1849-е годы делали в Германии младогегельянцы, с их критикой христианства и убежденностью, что — используя формулировку Карла Маркса — «человек создает религию, религия же не создает человека». Тревхела причислял «Шайтанские аяты» к уходящей далеко в прошлое литературы антирелигиозной традиции, ставил в один ряд с произведениями Боккаччо, Чосера, Рабле, Аретино, Бальзака и требовал дать четкий светский ответ на нападки верующих. «Эту книгу не заставят умолкнуть, — писал он. — Мы наблюдаем сейчас, как в муках и крови рождается на свет новая эпоха революционного просвещения».

Многие сторонники левых взглядов — такие как Джермейн Грир, Джон Берджер, Джон Ле Карре — идею о том, что массы могут ошибаться, допускали лишь с великим трудом. И пока либеральное общественное мнение разбиралось с внутренними своими колебаниями и неопределенностями, иррационализм масс становился все иррациональнее и все массовее.

Он был среди участников «Хартии-88», название которой

(некоторые комментаторы консервативного толка находили в нем «тщеславие») стало данью памяти и уважения великой хартии свобод, «Хартии-77», обнародованной чехословацкими диссидентами за одиннадцать лет до того. О создании «Хартии-88», призывавшей к конституциональной реформе в стране, было объявлено в конце ноября на пресс-конференции в палате общин. Из сколько-нибудь заметных британских политиков на ней присутствовал только Робин Кук, будущий министр иностранных дел в правительстве лейбористов. Дело происходило в самый разгар правления Тэтчер, и поэтому лидер Лейбористской партии Нил Киннок в частном порядке отозвался о «Хартии-88» как о кучке «придурков, нытиков и слюнтяев».

Их с Куком политические взгляды были во многом близки, на этой почве между ними завязалось знакомство. Одиннадцать лет спустя оно сыграло определенную роль в разрешении международного кризиса вокруг «Шайтанских аятов». Робин Кук, заняв пост министра иностранных дел в правительстве Тони Блэра, положил немало сил на урегулирование проблемы и, при активном участии своего заместителя Дерека Фатчетта, добился-таки успехов.

Заканчивался год плохо. 2 декабря демонстрация против «Шайтанских аятов» прошла в Брадфорде, городе с самой многочисленной в Британии мусульманской общиной. 3 декабря Клариссе впервые угрожали по телефону. 4 декабря, в день ее сорокалетия, ей снова позвонил неизвестный и сказал в трубку: «Салман Рушди, жди нас сегодня ночью на Бирма-роуд, 60». Это был домашний адрес Клариссы. Она позвонила в полицию, и у нее дома всю ночь дежурили полицейские.

Никто к ней не пришел. Неприятные переживания оставили еще одну царапину у нее на сердце.

28 декабря в редакцию «Вайкинга» снова звонили, пугали заложенной бомбой. Эндрю Уайли сообщил ему об этом по телефону, а затем сказал: «Со страхом теперь приходится считаться».

А потом наступил 1989 год, переменивший всю его жизнь.

В тот день, когда сожгли его книгу, он повез свою американскую жену смотреть Стоунхендж. До него дошли слухи о том, что затевалось в Брадфорде, и какая-то часть его «я» бурно против этого протестовала. Но ему не хотелось просидеть весь день на месте, дожидаясь, пока все кончится, чтобы потом отвечать на предсказуемые вопросы журналистов, не хотелось выставлять себя рабом уродливых обстоятельств. Несмотря на

пасмурную погоду, они отправились к древним камням. Гальфрид Монмутский пишет, что Стоунхендж силой волшебства построил Мерлин. Как источник Гальфрид большого доверия не внушает, но его версия симпатичнее, чем объяснения археологов, которые считают Стоунхендж то ли кладбищем, то ли капищем друидов. Он гнал машину и старался выкинуть из головы мысли о друидах. Всем религиозным культам, большим и малым, место в мусорной корзине истории — вот нашелся бы кто-нибудь, кто отправил бы их туда вместе с остальными детскими пережитками человечества, вроде плоской Земли или, скажем, луны, сделанной из головки сыра.

Мэриан была в полном своем великолепии. В иной день она, бывало, даже пугала его своим выкрученным максимум великолепием. Родом она была из Ланкастера, Пенсильвания, но на тамошних амишей не походила ни капли. Что бы она ни делала, во всем проявлялся ее собственный, вызывающе яркий стиль. Как-то, когда их пригласили в Букингемский дворец на прием на открытом воздухе, она вместо платья надела черную с блеском комбинацию, поверх накинула эффектное болеро, а голову украсила миниатюрной шляпкой. Лифчик она, вопреки настояниям дочери, надевать не стала. Так он и прохаживался по дворцовым лужайкам с женой, облаченной в нижнее белье без лифчика. Особы королевских кровей в уборах чистых основных цветов стояли в окружении обступивших их толпами гостей — как у скаковых лошадей, у каждой особы был свой огороженный загон. Самые большие скопления народа окружали королеву и Чарльза с Дианой, а фан-клуб принцессы Маргарет оказался до обидного жидким. «А вот интересно, — сказала Мэриан, — что там у королевы в сумочке?» Вопрос им обоим показался забавным, и они вдоволь посмеялись, придумывая, что она могла бы туда положить. Скажем, баллончик со слезоточивым газом. Или тампоны. Но только не деньги. Не таскать же с собой свои собственные портреты.

Когда Мэриан бывала в ударе, он с великим удовольствием проводил с ней время. Остроумия и остроты взгляда ей было не занимать. Где бы ни оказалась, она записывала наблюдения в блокнот, причем почерк у нее тоже был выдающийся. Его даже несколько тревожила стремительность, с какой она перелагала впечатления в художественную прозу. Она практически не тратила времени на то, чтобы отрефлексировать пережитое. Тексты изливались из нее сплошным потоком, вчерашний эпизод становился сегодня фрагментом книги. По ее словам, все ее женские персонажи с именем, начинающимся с буквы «М», были воплощениями ее самой. У главной героини ее романа

«Раздельные чеки», написанного за пять лет до «Джона Доллара», на «М» начиналась фамилия: ее звали Эллери Маккуин — в честь известного детективщика Эллери Куина. Но писатель Эллери Куинн на самом деле не один человек, а два: это был коллективный псевдоним двоюродных братьев из Бруклина, писателей Фредерика Даннэя и Манфреда Беннингтона Ли, взявших, в свою очередь, эти псевдонимы, чтобы скрыть под ними свои настоящие имена — Дэниел Натан и Эмануэль Лепофски. Созданная Мэриан героиня, таким образом, носила имя, образованное из псевдонима, общего для двоих писателей, использовавших его, чтобы скрыть каждый свое имя, также являвшееся псевдонимом. В «Раздельных чеках» Эллери Маккуин была пациенткой закрытой психиатрической лечебницы — с рассудком у нее дела обстояли далеко не благополучно.

В Брадфорде толпа собиралась у полицейского участка на площади, на которую выходили фасадами здание суда и ратуша в итальянском стиле. В центре площади бил фонтан, чуть поодаль для всех желающих высказаться был предусмотрен «уголок ораторов». Впрочем, ораторских выступлений демонстранты-мусульмане не планировали. В целом площадь в центре Брадфорда выглядела значительно скромнее, чем берлинская Опернплац 10 мая 1933 года, но и разбираться здесь предстояло с одной-единственной книгой, а не сразу с двадцатью пятью тысячами. Очень мало кто из пришедших на площадь знал о действе, которым пятидесятью пятью годами раньше руководил лично Йозеф Геббельс, выкрикивая в толпу: «Долой декадентство и моральное разложение! Упорядоченному государству — порядочную семью! Я предаю огню сочинения Генриха Манна, Эрнста Глезера и Эриха Кестнера». Еще в тот день жгли книги Бертольда Брехта, Карла Маркса, Томаса Манна и почему-то Эрнеста Хемингуэя. Нет, в массе своей демонстранты понятия не имели ни о той огненной акции, ни о стремлении нацистов «очистить» германскую культуру от «дегенеративных» явлений. Им, вероятно, не знакомо было слово «аутодафе», они не знали ничего о славных делах инквизиции — но для того чтобы поддерживать историческую преемственность, не обязательно себя преемниками сознавать. Так и они в продолжение давней традиции пришли истребить огнем еретический текст.

Он ходил меж камней, расставленных, как хотелось бы ему думать, колдовством Мерлина, и на час абсолютно выпал из реальности. Возможно даже, все это время он держал за руку жену. По пути домой они проезжали Раннимид, заливной луг на берегу Темзы, на котором король Иоанн Безземельный, уступив требованиям дворянства, подписал Великую хартию вольностей.

На этом лугу 774 года назад британцы начали прорубать себе путь от тирании к свободе. Здесь же, на Раннимид, устроен мемориал в честь Джона Ф. Кеннеди; высеченные в камне слова убитого президента имели для него в тот день особое значение. *И пусть любая страна знает, что независимо от ее хорошего или плохого к нам отношения мы заплатим любую цену, вынесем любое бремя, поддержим друга и будем противостоять врагу, дабы обеспечить выживание и торжество свободы.*

Он включил в машине радио — главной новостью шло сожжение его книги в Брадфорде. А дома реальность накрыла его с головой. Телевизор показал ему все то, о чем он целый день старался не думать. На площади собралось около тысячи человек, женщин среди них не было. Лица у всех были озлобленные или, если быть совсем точным, ради телевизионной картинки прилежно изображали озлобленность. Демонстранты видели, что ради них в Брадфорд съехались журналисты со всего мира, и от сознания этого у них горели глаза. Они купались в мощных лучах случайной славы, получая при этом чуть ли не эротический восторг. Они под прицелом камер ступили на красную ковровую дорожку истории, подняв над головой щиты с лозунгами «РУШДИ МРАЗЬ» и «РУШДИ, ВОЗЬМИ СВОИ СЛОВА ОБРАТНО». Они были готовы позировать для крупных планов.

Книгу прибили к деревяшке и подожгли — распяли и принесли в жертву. Это зрелище он не забудет никогда: счастливые злобные лица, упивающиеся разрушительным восторгом, убежденные, что только тупая ярость даст им подняться с колен. А на переднем плане надувает щеки дяденька в фетровой шляпе и усах а-ля Пуаро. Это член брадфордского муниципального совета Мохаммад Аджиб (странным образом, слово *аджиб* означает на урду *странный, чудной*), он объясняет присутствующим, что, дескать, «ислам — это мирная религия».

Глядя, как горит его книга, думал он, разумеется, о Гейне. Для тех надутых и злобных парней и мужчин с брадфордской площади имя это не значило ровным счетом ничего. *Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.* (Там, где жгут книги, будут жечь и людей.) Эти пророческие слова из трагедии «Альманзор», написанные более чем за столетие до разожженных нацистами книжных костров, выбиты на берлинской Опернплац, там, где горели книги. Высекут ли их на тротуаре ратушной площади Бредфорда в память о гораздо более скромном позоре? Нет, скорее всего, не высекут. Даже при том, что у Гейне жгли Коран и делали это члены святой инквизиции.

Гейне был евреем, принявшим лютеранство. Всякяй, кому не претит такой способ выражаться, назовет его вероотступником.

Автора «Шайтанских аятов» тоже обвиняли в вероотступничестве — это вдобавок к богохульству, надругательству над святыней и оскорблению чувств. *Его подговорили евреи*, утверждали обиженные им. *Его издатели-евреи за то именно ему и платят. И женат он на еврейке, она его и подстрекает*. Все это вызывает разве что натужную улыбку. Мэриан не еврейка, и подстрекать его она никогда ни на что не могла — даже на то, чтобы переходить проезжую часть только на зеленый свет. Но вне зависимости от того, что она в отношении его могла или не могла, 14 января 1989 года они держали друг друга за руку.

Незадолго до того неизвестный доброжелатель прислал ему по почте футболку с надписью «БОГОХУЛЬСТВО — ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ЖЕРТВ». Но теперь все шло к тому, что торжество Просвещения было преходящим и обратимым. Слывший мертвым язык ожил, поверженные было идеи жили и побеждали. В Брадфорде они, к примеру, сожгли его книгу.

И это его наконец по-настоящему разозлило.

«Насколько же хрупкая это вещь — цивилизация, — писал он в газете „Обсервер“. — Как легко, как весело горит книга! Внутри ее персонажи моего романа стремятся достичь полноты человечности перед лицом великих данностей: любви, смерти и жизни души (с Богом ли, без него). А снаружи со всех сторон наступает бесчеловечность. „По Индии нынче проходит линия фронта, — говорит один из моих персонажей. — Безбожие противостоит религии, свет — тьме. Так что выбирай, на чьей ты стороне“. Теперь эта война перекинулась и на Британию, остается лишь надеяться, что она уже заранее не проиграна. Нам тоже пришло время выбирать».

Но далеко не все смотрели на происходящее так же, как он. Многие, в частности депутаты парламента от округов со значительным мусульманским населением, старались первым делом никого не обидеть. Избранный от Брадфорда Макс Мэдден и Джек Стро, оба не раз отважно вступавшиеся за свободу слова, на сей раз смиренно приняли сторону мусульман. Так же поступили записные забияки-лейбористы Рой Хаттерсли и Брайан Седжмор. Выступая в защиту пьесы «Вечные муки»[66], Джек Стро писал в сентябре 1988 года: «Идея ее… мне неприятна… но в том и состоит суть демократии, чтобы гарантировать право свободного высказывания даже тому, с кем вы в корне не согласны». Теперь же он примкнул к сторонникам расширения сферы действия закона о богохульстве (до сих пор этот закон защищал от кощунственных выходок только государственную

Англиканскую церковь) и введения наказания за «оскорбление религиозного чувства». (Несмотря на все старания мистера Стро, в 2008 году закон о богохульстве был полностью отменен.) Макс Мэдден «испытывал горечь» оттого, что «Рушди подогревал недовольство „Шайтанскими аятами“, отказывая мусульманам в праве на ответ (я лично предлагал небольшую вставку в текст романа, в которой мусульмане объяснили бы, почему считают эту книгу оскорбительной)». Боб Крайер, как и Мэдден, депутат от Брадфорда, резко осудил демонстрантов-мусульман — и места в парламенте после этого не потерял.

Макс Мэдден утверждал, что автор «Шайтанских аятов» «стесняется» вступать в живой спор со своими оппонентами. Тот сел на поезд и поехал в Бирмингем на съемки дневного ток-шоу Би-би-си, в котором ему предстояло дискутировать с одним из лидеров мусульманской общины Хешамом аль Иссауи. Это был дантист с Харли-стрит, обладатель елейного голоса и манер, человек, по его собственным словам, самых умеренных взглядов, чьим единственным желанием было остудить накалившуюся атмосферу. Пока шел прямой эфир, под окнами студии собралась шумная демонстрация — сквозь дымчатые стеклянные стены ему было хорошо видно, как они выкрикивают угрозы в его адрес. Накалившуюся ситуацию дебаты с дантистом ничуть не остудили.

На следующий день после брадфордского аутодафе крупнейшая в Британии книготорговая сеть «У. Г. Смит» убрала роман с полок всех своих четырехсот тридцати магазинов. Генеральный директор сети Малкольм Филд так прокомментировал данное решение: «Мы ни в коем случае не хотим прослыть сторонниками цензуры. Просто мы стремимся предложить публике все, что пользуется у нее спросом».

Частное лицо по имени «Салман», каковым он сам себя знал, с каждым днем все больше отдалялось от не очень понятной публичной фигуры с фамилией «Рушди». Кто-то из двоих, то ли Салман, то ли Рушди, не на шутку удрученный числом депутатов-лейбористов, поспешивших запрыгнуть в мусульманскую повозку — как-никак за их партию он всю жизнь голосовал, — заметил мрачно, что «в Британии в наши дни все настоящие консерваторы вступили в Лейбористскую партию, а радикалы служат в полиции».

Трудно было не восхититься тем, как поставлено дело у его недругов. Из страны в страну летели факсы и телексы, мечети и разнообразные объединения верующих распространяли одностраничные документы, где все было расписано по пунктам, и очень скоро все дружно запели по одним нотам. Новые

информационные технологии послужили распространению реакционных идей, Средневековье использовало новации против них же самих, поставило на службу идеологии, не приемлющей современность как таковую — мыслящую, практичную, новаторскую, светскую, скептичную, смелую, креативную современность, являющую собой контраст мистической, косной, нетерпимой, отупляющей вере. Сами идеологи бурно растущего исламского радикализма называли это движение «восстанием против истории». Сама по себе история, поступательное развитие народов во времени, была для них врагом почище всяких там богохульников и неверных. Что не мешало использовать новации — рассматриваемые, должно быть, как презренные плоды исторического процесса, — чтобы вернуть былую силу старине.

Параллельно с противниками у него появлялись и союзники. Так, он отобедал с Азизом аль-Азме, сирийцем, профессором-арабистом из Эксетерского университета, который впоследствии выступил с убийственной критикой нападок на «Шайтанские аяты», а также с точки зрения исламской традиции доказал: в романе нет ничего, что могло бы обидеть верующих. Другим союзником стала Гита Сахгал, активистка борьбы за женское равноправие и гражданские права, дочь выдающейся индийской писательницы Найантары Сахгал и внучатая племянница самого Джавахарлала Неру. Гита была в числе создателей «Женщин против фундаментализма», общественной организации, отважно выступившей против призывающих к расправам мусульман. 28 января 1989 года около восьми тысяч мусульман маршем прошли по улицам Лондона до Гайд-парка, где устроили митинг. Гита с единомышленницами попытались провести там же свой контрмитинг, за что мусульмане применили к ним физическое насилие. Женщины были побиты, но решительности у них от этого не убавилось.

18 января Брюс Чатвин умер в Ницце, в доме у своей подруги Ширли Конран.

Близилась дата выхода американского издания «Шайтанских аятов» — ему домой уже принесли красивый сигнальный экземпляр. Американские мусульмане грозились в честь этого события «кое-кого убить и изувечить». Ходили слухи, будто его голову оценили в 50 тысяч долларов. В прессе о нем писали разное, но до поры до времени авторы редакционных материалов в большинстве своем были на его стороне. «Я веду бой не на жизнь, а на смерть, — записал он в те дни в дневнике, — и уже неделю как мне кажется, что я побеждаю. Но страх физической расправы пока не прошел». Читая позже эти слова, он поражался

силе собственного оптимизма. Чуть ли не накануне сокрушительного иранского удара он совсем не предвидел дурного. Пророк из него получился бы неважный.

Он начал вести двойную жизнь: одну в качестве спорной публичной фигуры и другую, прежнюю частную жизнь, от которой у него мало что оставалось. 23 января 1989 года была первая годовщина их с Мэриан свадьбы. Она повела его в оперу на «Мадам Баттерфляй». Места у них были превосходные, в первом ряду ложи бенуара, и когда погас свет, в ложу вошла и села рядом с ним принцесса Диана. Ему любопытно было, что она думает об этой опере, по сюжету которой возлюбленный уезжает от девушки, а затем возвращается, но женатым на другой, чем разбивает несчастной сердце.

На следующий день проходило вручение Уитбредовской премии в номинации «книга года». «Шайтанские аяты» уже были награждены как «лучший роман», и теперь им предстояло состязаться с победившими в четырех других номинациях, в том числе с биографией Льва Толстого Эндрю Уилсона и романом «Прелести безумия», дебютной вещью бывшего санитара психиатрической клиники Пола Сэйера. С Сэйером он случайно повстречался в туалете, тот страшно нервничал и выглядел совершенно больным. Он как мог поддержал соперника, которому через час и присудили премию. Когда на поверхность всплыли некоторые детали, связанные с процессом принятия решения, стало понятно, что двое членов жюри, министр внутренних дел в правительстве тори Дуглас Херд и журналист консервативных взглядов Макс Гастингс, топили «Шайтанские аяты» из соображений, не имеющих ни малейшего отношения к литературе. Иными словами, поднятый демонстрантами шум проник даже в тишину совещательной комнаты.

Он впервые поругался со своими издателями из «Вайкинга», Питером Майером и Питером Карсоном, которые отказывались оспаривать в суде законность запрета книги на территории Индии.

Его пригласил на обед Грэм Грин, которому захотелось поближе познакомиться с живущими в Лондоне писателями-неангличанами. За столом в клубе «Реформ» компанию ему составили Майкл Ондатже, Бен Окри, Ханан аль-Шейх, Уолли Монган Сероте и еще несколько человек, среди которых была и Мэриан. Когда он вошел, долговязый сутулый Грэм Грин утопал в большом кресле, но, завидя его, вскочил на ноги и воскликнул: «Рушди! Садитесь и рассказывайте, как вам удалось угодить в такую переделку! Переделки, в которых побывал я, до вашей даже отдаленно не дотягивают!» У него как-то неожиданно потеплело

на душе. Он понял, какой груз он на себя взвалил и как нужна ему вот такая бодрая поддержка. Он сел рядом с великим человеком и принялся рассказывать, и тот слушал его с огромным вниманием, а когда рассказ закончился, не сказав ничего об услышанном, хлопнул в ладоши и скомандовал: «Пора за стол!» За обедом он почти ничего не ел, зато выпил довольно много вина. «Я и ем только для того, — объяснил он, — чтобы можно было побольше выпить». После обеда они сфотографировались на ступенях клуба: лучезарный Грэм Грин в коротком коричневом пальто стоял в центре кадра, как Гулливер среди лилипутов.

Несколько недель спустя он показал этот снимок приставленному к нему для охраны сотруднику Специального отдела. «Это Грэм Грин, великий английский писатель». — «Ну, да, — произнес задумчиво полицейский. — У нас когда-то служил».

Американская критика приняла книгу на ура, отзывы в прессе не оставляли возможности двоякого толкования — в отличие от слов Мэриан, которая 8 февраля сообщила, что уходит от него, но просит при этом составить компанию на ужине в честь выхода «Джона Доллара». Через четыре дня после того званого ужина наступил конец странной паузе, отделявшей момент выхода книги от вызванной им катастрофы.

Две тысячи демонстрантов — для Пакистана это ничто. Да любому самому никудышному политикану стоит пальцами щелкнуть — и на улицы выйдет гораздо больше народу. Что для штурма американского культурного центра удалось собрать всего пару тысяч «фундаменталистов» — это был в некотором роде хороший признак, свидетельство того, что страсти еще по-настоящему не разгорелись. В тот день премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто не было в стране, она улетела с государственным визитом в Китай. Ходили слухи, что на самом деле беспорядки у культурного центра были устроены, чтобы осложнить жизнь ее правительству. Религиозные экстремисты давно подозревали премьера в равнодушии к вере и ждали случая ее подставить. Это был не последний раз, когда «Шайтанские аяты» использовались в политических играх, к которым ни прямого, ни косвенного отношения не имели.

В охраняющих культурный центр полицейских летели камни и куски кирпича, из толпы выкрикивали про *американских собак* и про *повесить Салмана Рушди*. Ни то ни другое не объясняет поведения полиции, которая открыла огонь по демонстрантам, но не смогла предотвратить их проникновения на территорию охраняемого объекта. В момент, когда был ранен первый человек,

история приняла принципиально новый оборот. В ход пошли автоматы и помповые ружья, противостояние продолжалось три часа, но, несмотря на огневую мощь обороняющихся, несколько человек забрались на крышу здания, а перед ним тем временем жгли американский флаг, чучела абстрактного янки и конкретного зловредного писателя. В любой другой день он с удовольствием вообразил бы себе фабрику, выпускающую те тысячи американских флагов, которые ежегодно сжигаются по всему миру. Но в тот день было бы дико думать о пустяках. И на то была одна причина.

В беспорядках погибли пять человек.

Рушди, ты труп, скандировала толпа, и тут ему впервые пришло в голову, что, может быть, эти люди и правы. Насилие породило насилие. Назавтра беспорядки вспыхнули в Кашмире — в дорогом его сердцу Кашмире, на родине его семьи, — и в ходе их погиб еще один человек.

Ибо кровь за кровь[67], подумал он.

В комнате, куда почти не проникает свет, лежит смертельно больной старец. Рядом сын, он рассказывает старцу, что в Индии и Пакистане убивают мусульман. И виной тому одна книга, говорит сын старику, книга, в которой хулится ислам.

Несколько часов спустя сын заявляется в студию иранского телевидения, у него с собой документ. Обычно фетва — постановление духовного авторитета — бывает оформлена по правилам, с подписями и печатями, а здесь — просто страничка с машинописным текстом. Официального документа, если даже таковой существовал, никто никогда не видел, но сын смертельно больного старца настаивает: такова воля его отца. Спорить с ним никто не берется. Страничку вручают ведущему новостей, и он зачитывает ее в эфире.

Весь мир отмечает День святого Валентина.

III. Год Зеро

Фамилия сотрудника Особого отдела была Уилсон, фамилия сотрудника разведывательной службы — Уилтон, и оба откликались на имя Уилл. Уилл Уилсон и Уилл Уилтон — словно пара комиков в мюзик-холле, только вот день не очень-то располагал к смеху. Они сообщили, что, поскольку угроза ему оценивается как чрезвычайно серьезная — «уровень два», то есть его положение считается в целом более опасным, нежели чье бы то ни было в стране, за исключением разве что королевы, — и исходит от иностранной державы, он имеет право на защиту со стороны британского государства. Защита была официально предложена ему — и принята. Ему будут приданы два телохранители, два шофера и две машины. Вторая машина — на случай, если первая выйдет из строя. Его проинформировали, что из-за необычности задания и непредсказуемости сопряженного с ним риска все, кто будет его защищать, — добровольцы. Никто из них не будет исполнять эту работу против своего желания. Ему представили первую пару телохранителей — их звали Стэнли Долл и Бен Уинтерс. Стэнли слыл одним из лучших теннисистов во всей полиции. Бенни, один немногих чернокожих сотрудников Особого отдела, был одет в шикарную куртку из дубленой кожи. Оба — потрясающе красивые парни, и, конечно, при оружии. В Особом служили лучшие из лучших, элита лондонской полиции, настоящие Джеймсы Бонды. Он никогда раньше не сводил знакомство с теми, у кого была лицензия на убийство, — а теперь Стэн и Бенни имели лицензию на убийство *ради его безопасности*.

Пистолеты у них были прикреплены сзади к брючным ремням. Американские детективы держат их в кобурах под куртками, но, как продемонстрировали Стэн и Бенни, американский способ хуже: когда выхватываешь пистолет из такой кобуры, он, прежде чем будет наведен на цель, должен описать дугу градусов в девяносто. Риск выстрелить чуть раньше или позже и попасть не в того человека довольно велик. А когда поднимаешь оружие от бедра, ствол идет к цели снизу вверх и точность оказывается выше. Зато есть другая опасность. Нажмешь курок слишком рано — прострелишь себе ягодицу.

В отношении текущих событий Бенни и Стэн постарались его подбодрить.

— Непозволительно, — сказал Стэн. — Угрожать британскому гражданину. Недопустимо. За это возьмутся и утрясут. Вам просто надо пересидеть пару дней, пока политики не утрясут это дело.

— Домой, конечно, вам нельзя, — рассуждал Бенни. — Этого вариант отпадает. Может, есть какое-нибудь место, куда бы вы хотели прокатиться на несколько деньков?

— Выберите какой-нибудь приятный уголок, — предложил Стэн, — махнем туда, чуток побудем, а там, глядишь, вас и помилуют.

Ему хотелось верить их оптимистичным прогнозам. Может быть, Котсуолдс[68], сказал он. Куда-нибудь в край пологих холмов и городков с домами из золотистого камня, запечатленный на множестве открыток. В деревне Бродуэй там, он знал, есть знаменитая сельская гостиница «Герб Лайгонов». У него не раз возникало желание поехать туда на уик-энд, но все как-то не получалось. Годится ли «Герб Лайгонов»? Стэн и Бенни переглянулись, без слов обменялись мнениями.

— Почему бы и нет? — сказал Стэн. — Надо выяснить, что там и как.

Бóльшую часть дня они с Мэриан провели в полуподвальной квартире на Лонсдейл-сквер, 38. Бенни оставался с ними, Стэн поехал «выяснять, что там и как». Прежде чем залечь на дно, ему хочется, сказал он охранникам, опять встретиться с сыном, и еще он хотел бы повидаться с сестрой; они предупредили его, что в этих местах его как раз и могут поджидать злоумышленники, но все же согласились «это устроить». Когда стемнело, его повезли на Берма-роуд в бронированном «ягуаре». Из-за очень толстой брони расстояние между головой и потолком было тут гораздо меньше, чем обычно. Долговязым политикам вроде Дугласа Херда было страшно неудобно ездить в таких машинах. Тяжеленные двери могли нанести человеку серьезную травму, если захлопывались неожиданно. Если машина стояла на склоне, притянуть к себе дверь было почти невозможно. Потребление топлива у такого бронированного «ягуара» — примерно галлон на шесть миль. Вес — как у небольшого танка. Обо всем этом ему рассказал его первый шофер из Особого отдела Деннис Шевалье по прозвищу Конь[69] — большой, добродушный, с тяжелым подбородком и толстыми губами, «из старослужащих», по его собственным словам. «Знаете, как нас, шоферов из Особого, называют на профессиональном языке?» — спросил Конь Деннис. Он не знал. «ВХИТ», — сказал Деннис. «А что это означает?» Деннис рассмеялся своим могучим, хриплым, слегка подсвистывающим смехом. «Водилы херовы, и только», — объяснил он.

К полицейскому юмору он еще привыкнет. Другого его шофера прозвали в отделе Королем испанским. Дело в том, что тот однажды, выйдя купить сигарет, оставил свой «ягуар»

незапертым и, вернувшись, обнаружил, что машину угнали. Отсюда прозвище: ведь имя испанского короля — Хуан Калос — созвучно слову *carless* (безмашинный).

На Берма-роуд было спокойно, никаких злоумышленников. Он повторил Зафару и Клариссе то, что сказали охранники: «Все это кончится через несколько дней». Зафар, судя по его лицу, испытал огромное облегчение. Но лицо Клариссы выражало те же самые сомнения, что втайне переживал он сам. Зафар спросил, когда они встретятся в следующий раз, и он не знал ответа. Кларисса сказала, что они, возможно, поедут на уик-энд в Оксфордшир к ее друзьям Хоффманам. Он сказал: «Хорошо, может быть, там и увидимся, если у меня получится».

Он крепко обнял сына и уехал.

(Ни Зафару, ни Клариссе ни разу за все время не предлагали полицейскую охрану. Считалось — так сказали ему полицейские чины, — что им опасность не угрожает. Но это его отнюдь не успокоило, и страх за них мучил его каждый день. Тем не менее Кларисса и он решили, что лучше будет, если Зафар продолжит, насколько возможно, жить нормальной жизнью. Она делала все, чтобы обеспечить ему нормальную жизнь, и это было более чем храбро.)

Он вспомнил, что за весь день ничего не ел. По пути в Уэмбли к Самин они остановились у «Макдоналдса», у окошка для автомобилистов, и он обнаружил, что толстые стекла «ягуара» не опускаются. Бронированные машины других марок — «мерседесы» и «БМВ» — иногда делали на заказ с открывающимися окнами, но они были дороже и не британского производства, поэтому полиция их не использовала. Стэну, сидевшему на переднем пассажирском, пришлось выйти, чтобы сделать заказ, а потом он направился к окну выдачи и получил еду. Когда они поели, «ягуар» не захотел заводиться. Они оставили Коня Денниса орать на свою непослушную тачку и пересели в машину поддержки — в «рейнджровер» по кличке Зверюга, где за рулем сидел еще один симпатичный улыбчивый гигант по имени Микки Крокер — опять-таки «из старослужащих». Зверюга тоже была очень стара, очень тяжела и зверски трудна в управлении. Она то вязла в грязи, то отказывалась подниматься по обледенелому склону. Была середина февраля — самое холодное время в году, когда больше всего льда. «Прошу прощения, друг, — сказал Мик Крокер. — Эта машина не самая лучшая в гараже».

Он сидел на заднем сиденье Зверюги, питая надежду, что его охранники будут работать лучше, чем их машины.

Самин, квалифицированный юрист (хотя уже не

практикующий — она работала теперь в системе образования для взрослых), всегда обладала острым политическим мышлением и могла много чего сказать о текущих событиях. После того как Хомейни пришлось, по его собственным словам, «принять яд» и примириться с безуспешным окончанием войны с Ираком, частью уничтожившей, частью искалечившей целое поколение молодых иранцев, иранская революция неизменно буксовала. С помощью фетвы он рассчитывал придать ей новый политический импульс, подзарядить правоверных. Самин сказала брату, что ему не повезло: умирающий старик выбрал его мишенью для своей последней атаки. Что же касается британских мусульманских «лидеров» — то чьи они лидеры, спрашивается? Это лидеры без последователей, жулики, пытающиеся извлечь карьерные выгоды из неприятностей ее брата. На протяжении целого поколения политическая ориентация этнических меньшинств в Великобритании носила светский и социалистический характер. И вот теперь мусульманское духовенство решило воспользоваться случаем, чтобы переломить эту тенденцию и поставить религию во главу угла. Никогда раньше британские «азиаты» не раскалывались на индуистскую, мусульманскую и сикхскую фракции (хотя расколы иного рода случались: во время войны за независимость Бангладеш возникло жесткое противостояние между пакистанцами и бангладешцами в Великобритании). Кто-то, сказала она, должен громко ответить этим деятелям, вбивающим в сообщество клин межобщинной розни, этим муллам и так называемым «лидерам», кто-то должен назвать их своими именами, разоблачить как лицемеров и оппортунистов. Она была готова взять на себя эту роль, и он это знал, — она прекрасно владела речью, умела бороться за подзащитных и могла бы великолепно действовать от его имени.

Но он попросил ее воздержаться. Ее дочери Майе тогда не было и года. Если бы Самин стала его общественной представительницей, пресса разбила бы лагерь около ее дома, от яркого света публичности спасения бы не было; ее частная жизнь и юная жизнь ее дочери стали бы добычей прожекторов и микрофонов. И кто знает, какие еще опасности это могло бы на нее навлечь? Он не хотел, чтобы она рисковала из-за него. И была еще одна проблема: если бы она стала всем известна как его «голос», охранникам, сказали они, было бы гораздо труднее привозить его к ней домой для встреч. Ему стало ясно, что он должен разделить знакомых и родных на «частный» и «публичный» круг. Она нужнее ему, сказал он ей, как источник личной поддержки, чем как общественный защитник. Неохотно она согласилась.

Одним из непредвиденных последствий этого оказалось вот что: ему по ходу его шумного «дела» приходилось большей частью быть невидимым, ибо полиция убеждала его не накалять ситуацию дальше своими выступлениями, а он слушался — до поры до времени, пока не отказался хранить молчание; между тем в его отсутствие никто из тех, кому он был дорог и с кем он не хотел потерять возможность видеться — ни жена, ни сестра, ни ближайшие друзья, — не выступал от его имени. В прессе возник образ человека, которого никто не любит, но многие ненавидят. «Смерть, пожалуй, слишком легкий выход для него, — заявил мистер Икбал Сакрани из Британского комитета действий по исламским вопросам. — Он должен испытывать душевные муки до конца своих дней, если не испросит прощения у Всемогущего Аллаха». В 2005 году этот самый Сакрани был по рекомендации правительства Блэра удостоен рыцарского звания за усилия по налаживанию межобщинных отношений.

По пути в Котсуолдс они остановились заправиться бензином. Ему понадобилось в уборную, он открыл дверь и вышел из машины. Все до одного, кто был на бензозаправке, одновременно повернули головы и уставились на него. Ведь он красовался на первой странице всех газет — «канул в глубь первой страницы», по памятному выражению Мартина Эмиса, — в мгновение ока стал одним из самых узнаваемых людей страны. Лица были приветливы — один мужчина помахал рукой, другой подбадривающе поднял большие пальцы, — но неуютно было чувствовать себя таким заметным в тот самый момент, когда его попросили поменьше высовываться. На деревенских улочках Бродуэя дела обстояли ровно так же. Одна женщина подошла к нему на улице и пожелала удачи. В гостинице натренированный персонал не мог удержаться, чтобы не пялиться. Он превратился в экспонат из паноптикума, и они с Мэриан испытали большое облегчение, когда смогли уединиться в красивом номере, отделанном под старину. На случай, если его что-нибудь обеспокоит, его снабдили «тревожной кнопкой». Он решил ее проверить. Она не работала.

Еду им приносили в маленькую отдельную комнату. Администрация гостиницы предупредила Стэна и Бенни об одной возможной проблеме. В числе постояльцев был журналист из «Дейли миррор», приехавший с дамой, которая не была его женой, и занявший соседний номер. Проблема, впрочем, оказалась мнимой. Дама явно была чертовски очаровательна: сотрудник «Миррор» не выходил из номера несколько дней, и в тот самый момент, когда таблоиды посылали своих ищеек на

поиски затаившегося автора «Шайтанских аятов», журналист таблоида упустил добычу, находившуюся через стенку от него.

На второй день в «Гербе Лайгонов» Стэн и Бенни пришли к нему с листком бумаги. Президент Ирана Али Хаменеи намекнул, что «этот презренный человек еще может сохранить себе жизнь», если извинится.

— Вам, — сказал Стэн, — надо, они считают, кое-что сделать, чтобы разрядить обстановку.

— Да, — подтвердил Бенни, — такое сложилось мнение. Желательно, чтобы вы выступили с соответствующим заявлением.

Он спросил: кто это — они? У кого «сложилось мнение»?

— Это общее мнение, — неопределенно ответил СтэН, — наверху.

Он спросил: в полиции или в правительстве?

— Они даже текст подготовили — взяли на себя такую смелость, — сказал Стэн. — В любом случае прочтите его.

— Само собой, вы можете внести изменения, если стиль вас не устраивает, — заметил Бен. — Вы — автор.

— Заверяю вас, — сказал Стэн, — что текст был одобрен.

Текст, который они ему дали, был неприемлем: трусливый, самоуничижительный. Подписать его значило сдаться. Неужели ему предлагают такую сделку — правительственная поддержка и полицейская охрана при условии, что он, предав свои принципы и отказавшись защищать свою книгу, униженно упадет на колени? Стэну и Бену, судя по их виду, было чрезвычайно неловко.

— Повторяю, — сказал Бенни, — вы можете вносить изменения.

— И тогда поглядим, как они отреагируют, — сказал Стэн.

А если он решит не делать пока никакого заявления?

— Они считают, это был бы хороший ход, — гнул свое Стэн. — Сейчас о вас идут переговоры на высоком уровне. И не надо забывать про заложников в Ливане и про мистера Роджера Купера в тюрьме в Тегеране. Их положение тяжелей, чем ваше. Вас просят сделать то, что вы можете.

(В 80-е годы ливанская группировка «Хезболла», всецело финансируемая из Тегерана, действуя под разными фальшивыми названиями, взяла в заложники девяносто шесть иностранцев из двадцати одной страны, включая нескольких американцев и британцев. Кроме того, в Иране был схвачен и посажен в тюрьму британский бизнесмен Купер.)

Это была невыполнимая задача: написать нечто такое, что могло быть воспринято как оливковая ветвь мира, и при этом не уступить ни в чем существенном. Заявление, которое в конце

концов получилось, вызывало у него сильнейшее отвращение. «Я, автор „Шайтанских аятов“, сознаю, что мусульмане во многих частях света испытывают неподдельное огорчение из-за публикации моего романа. Я глубоко сожалею о том огорчении, которое причинила эта публикация искренним последователям ислама. Нам, живущим в мире многих вероисповеданий, эта ситуация служит напоминанием о том, что никому не следует забывать о чувствах других людей». Внутренний голос, голос самооправдания, внушал ему, что он извиняется за огорчение — в конце концов, он действительно не хотел никого огорчать, — но не извиняется за саму книгу. И нам действительно не надо забывать о чувствах других людей, но это не значит, что мы должны капитулировать перед этими чувствами. Таков был неуступчивый скрытый подтекст. Но он знал, что текст возымеет эффект лишь в том случае, если будет читаться как прямое извинение. Мысль об этом делала его физически больным.

Жест оказался бесполезным. Он был отвергнут, потом наполовину принят, потом снова отвергнут — как британскими мусульманами, так и руководством Ирана. Сильной позицией был бы отказ вести переговоры с приверженцами нетерпимости. А он занял слабую позицию, и поэтому на него стали смотреть как на слабака. Газета «Обсервер» встала на его защиту — «ни Великобритании, ни автору извиняться не за что», — но его ощущение, что он сделал неверный шаг, допустил серьезную ошибку, вскоре подтвердилось. «Даже если Салман Рушди станет самым благочестивым человеком за все времена, долг каждого мусульманина — употребить все, что у него есть, свою жизнь и свое имущество, для того чтобы отправить этого человека в ад», — заявил умирающий имам. Это казалось низшей точкой. Но напрасно казалось. До низшей точки оставалось еще несколько месяцев.

Охранники сказали ему, что в «Гербе Лайгонов» он может переночевать самое большее два раза. Ему еще повезло, что пресса пока до него не добралась, но еще день-два — и наверняка доберется. И тут он усвоил еще одну суровую истину: искать пристанища он должен будет сам. Совет полицейских, прозвучавший скорее как директива, состоял в том, что домой ему возвращаться не следует, потому что охранять его там будет невозможно (подразумевалось — слишком дорого). Но никаких «конспиративных квартир» предоставлено не будет. Если таковые и имелись, ему не суждено было их увидеть. Под влиянием шпионских романов большинство людей твердо верили в существование конспиративных квартир и предполагали, что его за общественный счет охраняют в одной из таких крепостей. От

недели к неделе критические голоса, говорящие о недопустимых тратах на его охрану, будут звучать все громче и громче — признак сдвига в общественном мнении. Между тем уже на второй день пребывания в «Гербе Лайгонов» ему сказали, что он за двадцать четыре часа должен найти другое место, куда им отправиться.

Он позвонил, как звонил ежедневно, в квартиру Клариссы поговорить с Зафаром, и она предложила ему временное решение. Она работала тогда литературным агентом в агентстве «А. П. Уотт», и старший партнер Хилари Рубинстайн предложил на день-другой свой сельский коттедж в деревушке Тейм в Оксфордшире. Это было первое из многих проявлений сердечности со стороны друзей и знакомых, гостеприимству которых он обязан тем, что не стал бездомным. Коттедж Хилари был невелик и расположен не слишком уединенно — не идеальный вариант, но ему нужно было хоть что-то, и он с благодарностью согласился. Появление отремонтированного «ягуара», Зверюги, теннисиста Стэна, щеголя Бенни, Коня Денниса и громадного Микки К. — плюс Мэриан и человек-невидимка — не могло в крохотной деревушке пройти незамеченным. Он был убежден: все прекрасно понимали, кто поселился в доме Рубинстайна. Но никто не стал ничего вынюхивать. Английское чувство дистанции, английская сдержанность проявились в полной мере. Он даже получил возможность съездить на несколько часов к Зафару в сельский дом Хоффманов. Куда двигаться дальше, но понятия не имел. Звонил всем, кому мог позвонить, но безуспешно. Потом проверил голосовую почту и услышал сообщение от Деборы Роджерс — его бывшего агента, от услуг которой он отказался, предпочтя ей Эндрю Уайли. «Позвоните мне, — сказала она. — Я думаю, мы сможем помочь».

Деб и ее муж, композитор Майкл Беркли, предложили ему свою ферму в Уэльсе. «Если она вам нужна, — сказала она просто, — она ваша». Он был глубоко растроган. «Это отличный вариант, — продолжила она, — ведь все думают, что мы поссорились, никому и в голову не придет, что вы у меня». На следующий день его странный бродячий цирк нагрянул в Миддл-Питтс — так назывался этот уютный фермерский дом в холмистом приграничном районе Уэльса. Низкие облака, дождь — и возобновление прерванной дружбы, все былые несогласия, несущественные на фоне нынешних событий, уничтожены долгими сердечными объятиями. «Живите столько, сколько вам нужно», — сказала Деб, но он знал, что не станет злоупотреблять их с Майклом гостеприимством. Ему надо было снять жилье.

Мэриан согласилась связаться на следующий день с местными агентами по недвижимости и начать смотреть варианты. Все-таки у нее не такое узнаваемое лицо, как у него.

Что до него самого, его не должны были видеть на ферме, иначе ее безопасность окажется «под угрозой». Местный фермер, который приглядывал за овцами Майкла и Деб, в какой-то момент спустился с холма поговорить с Майклом. Когда настолько важна невидимость, даже будничное событие порой чревато опасностью. «Вам лучше спрятаться», — сказал ему Майкл, и он присел за разделочным столом на кухне. Сидя там на корточках и слушая, как Майкл старается поскорее отделаться от гостя, он мучился от стыда. Прятаться таким манером значило лишиться всякого самоуважения. Когда тебе велят спрятаться, это унизительно. Может быть, подумалось ему, такая жизнь окажется хуже смерти. В своем романе «Стыд» он писал о проявлениях мусульманской «культуры чести», в которой два противоположных полюса моральной оси — достоинство и стыд, то есть совсем иное, нежели в христианстве, где все крутится вокруг вины и искупления. Неверующий человек, он тем не менее был воспитан в этой культуре, и вопросы гордости были для него чрезвычайно важны. Красться, прятаться значило вести недостойную жизнь. Очень часто на протяжении этих лет он испытывал глубокий стыд. Его бесчестили за одно, а он стыдил себя за другое.

Редко бывает, чтобы мировая новость так безраздельно основывалась на соображениях о поступках, мотивах поведения, характере и мнимых преступлениях одного-единственного человека. Сам по себе вес событий был неимоверным. Ему представлялась пирамида Хеопса, водруженная на его согнутую шею вершиной вниз. Новости оглушали его ревом. Казалось, у каждого жителя Земли было свое мнение. «Уме-ренный» дантист Хешам аль-Эссауи, выступая по Би-би-си, назвал его продуктом той вседозволенности шестидесятых, «что породила нынешнюю вспышку СПИДа». Члены пакистанского парламента рекомендовали немедленно направить в Великобританию убийц. В Иране Хаменеи и Рафсанджани, самые могущественные духовные лица, вторили имаму. «Черная стрела воздаяния уже выпущена в сердце подлого святотатца», — заявил Хаменеи во время визита в Югославию. Иранский аятолла Хасан Санеи объявил вознаграждение в миллион долларов за голову вероотступника Располагает ли аятолла этой суммой и легко ли будет ее востребовать, было не ясно, но логика в те дни вообще отошла на второй план. Телеэфир был полон бородатых (а также

чисто выбритых) мужчин, оравших о смерти. В библиотеке Британского совета в Карачи — в дремотном, приятном месте, где он часто бывал, — взорвали бомбу.

Его литературная репутация в те ужасные дни, когда вопли неслись со всех сторон, каким-то образом выстояла. Многие британские, американские и индийские комментаторы по-прежнему подчеркивали высокое качество его книг, включая ту, атакованную, но были признаки того, что и это может измениться. Он с ужасом смотрел «Вечернее шоу» Би-би-си, ту программу, когда Иэн Макьюэн, Азиз аль-Азме и храбрая иорданская романистка Фадия Факир, которой тоже угрожали убийством из-за ее книг, пытались защищать его от одного из брадфордских книгосжигателей и от вездесущего дантиста Эссауи. Тон передачи был крайне резким, его оппоненты — невежественные, злобные фанатики — не стеснялись в выражениях. Но сильнее всего ужаснуло его то, что видный интеллектуал Джордж Стайнер — прямая противоположность невежественному фанатику — предпринял в этой передаче мощную литературную атаку на его работу. Вскоре с недоброжелательными комментариями выступили другие известные британской публике фигуры — журналисты Оберон Во, Ричард Инграмз и Бернард Левин. В других газетах, правда, за него заступились Эдвард Саид и Карлос Фуэнтес[70], но общее настроение, он чувствовал, начинало меняться. И его авторское турне по Соединенным Штатам, разумеется, было отменено. Американская пресса большей частью писала о нем в лестном, положительном тоне, но перелететь Атлантику ему доведется теперь не скоро.

Множились книгоиздательские трудности. В офисах издательства «Пенгуин» в Лондоне, а затем и в Нью-Йорке было получено много анонимных звонков с угрозами. Молодые женщины слышали в трубке: «Мы знаем, где ты живешь. Мы знаем, в какую школу ходят твои дети». Было много эвакуаций из-за угрозы взрыва, но, к счастью, ни в одном из его издательств ни разу бомбы не обнаружили — а вот книжный магазин «Коудиз» в Беркли, штат Калифорния, пострадал от трубчатого взрывного устройства. (Через много лет он побывал в «Коудиз», и ему с большой гордостью показали поврежденный, выжженный участок среди стеллажей, который Энди Росс и его персонал решили сохранить в неизменном виде как свидетельство проявленной магазином отваги.) А в одном лондонском дешевом отеле на Сассекс-гарденз около вокзала Паддингтон несостоявшегося террориста, чьей целью, возможно, было издательство «Пенгуин» — хотя, по другой версии, он собирался атаковать израильское

посольство, — случайным взрывом разнесло на куски, так что он, пользуясь жаргоном Особого отдела, «забил гол в свои ворота». После этого в экспедиции издательства можно было видеть специальных собак, вынюхивавших взрывчатку.

Питер Майер, глава компании, заказал лондонской фирме «Контрол рискс информейшн сервисез лимитед» отчет о безопасности с анализом «гола в свои ворота» и угроз, которым компания может подвергаться впоследствии. Копии отчета были посланы Эндрю Уайли и Гиллону Эйткену. Главные участники событий — вероятно, по соображениям безопасности — не фигурировали в нем под своими именами. Взамен им присвоили птичьи имена. Документ был озаглавлен внушительно: «Оценка интенсивности и потенциала протестов ржанки против веретенника голубя полярной крачки и косвенных последствий для золотистой ржанки». Пожалуй, не так уж трудно было понять, что «ржанка» означает «мусульмане», «веретенник» — «публикатор», то есть «Вайкинг — Пенгуин», «голубь» — «Шайтанские аяты», «золотистая ржанка» — «Пирсон груп», материнская компании издательства «Пенгуин». Автор «голубя» был превращен в «полярную крачку».

Питер Майер (которого не нарекли никаким орнитологическим именем, хотя в газетах его часто называли королевским пингвином) под страхом немедленного увольнения запретил всем сотрудникам, имевшим дело с «голубем», говорить прессе что-либо насчет «голубя» или «полярной крачки». Публичные заявления, исходящие от «веретенника», могли делаться только его юристом Мартином Гарбусом или пресс-секретарем Бобом Грегори. Те заявления, что прозвучали, были выдержаны в осторожном, оборонительном духе. Все это можно было понять (кроме, пожалуй, дурацких птичьих имен), но одним из последствий этого диктата со стороны королевского пингвина стало то, что в тот самый момент, когда затравленному автору так нужны были издательские голоса в его защиту, его редакторы вынуждены были молчать. Это молчание породило трещину в отношениях между издательством и автором. В то время, впрочем, трещина была невелика, ибо в целом компания проявила огромную отвагу и приверженность высоким принципам. Мусульманские деятели угрожали «Пенгуину» жесткими репрессиями против его филиалов по всему миру, угрожали повсеместным запретом на «Пенгуин букс» и на всю коммерческую деятельность «Пирсон груп», конгломерата с серьезными деловыми интересами по всему мусульманскому миру. Перед лицом этих угроз руководство «Пирсон груп» не дрогнуло.

Распространение книги шло своим чередом, она поставлялась и продавалась в больших количествах. Когда она возглавила список бестселлеров «Нью-Йорк таймс», Джон Ирвинг, привыкший в нем лидировать, но теперь опустившийся на строчку ниже, пошутил, что, если первое место достается такой ценой, он, Ирвинг, вполне доволен вторым. Как и Ирвинг, он прекрасно понимал, что его книга — «ненастоящий» бестселлер номер один, что количество продаж взлетело из-за скандала, а не из-за литературных достоинств или читательской популярности. И еще он понимал — и высоко ценил — то, что многие покупали «Шайтанские аяты» из солидарности. Джон Ирвинг был его другом еще с 1980 года, когда их познакомила Лиз Колдер. Шутка была своеобразным дружеским приветом, который послал ему Джон.

22 февраля 1989 года, в день, когда роман вышел в Америке, газета «Нью-Йорк таймс» поместила заявление во всю страницу, которое оплатили Ассоциация американских издателей, Ассоциация американских книготорговцев и Американская библиотечная ассоциация. «Свободные люди пишут книги, — гласило заявление. — Свободные люди публикуют книги. Свободные люди продают книги. Свободные люди покупают книги. Свободные люди читают книги. Руководствуясь американской приверженностью свободе выражения мнений, мы извещаем публику, что эта книга будет доступна читателям в книжных магазинах и библиотеках по всей стране». Американский ПЕН-центр, которым пламенно руководила горячо любимая им Сьюзен Сонтаг, устроил чтения отрывков из романа. В числе читавших были Сонтаг, Дон Делилло, Норман Мейлер, Клер Блум и Ларри Макмертри. Ему прислали пленку с записью события. У него ком подступил к горлу. Много позже ему сказали, что некоторые крупные американские писатели поначалу было уклонились. Даже Артур Миллер нашел повод для отказа — мол, его еврейское происхождение может повредить делу. Но за считанные дни неугомонная Сьюзен почти всех заставила одуматься и встать в строй.

Страх, распространившийся в издательском бизнесе, был реальным, потому что угроза была реальна. Фетва угрожала не только автору, но и издателям и переводчикам. И тем не менее книжный мир, где свободные люди делают свободный выбор, надо было защищать. Ему часто приходило в голову, что этот кризис похож на очень яркий свет, падающий на решения и поступки каждого, творящий ландшафт без теней, оголенный, отчетливый мир верных и неверных поступков, хороших и плохих решений, «да» и «нет», силы и слабости. Под этим жестким светом

одни издатели проявили себя героями, другие — людьми бесхребетными. Возможно, самым бесхребетным из всех оказался глава одного европейского издательского дома — назвать его по имени было бы немилосердно. Он вставил в окна своего кабинета на втором этаже пуленепробиваемые стекла, но не стал их вставлять в окна первого этажа, за которыми на виду у всех работал его персонал; затем он взял отвертку и свинтил с входной двери офисного здания табличку с названием его компании. «Кипенхойер и Витч», видное немецкое издательство, без долгих рассуждений аннулировало договор с ним и попыталось взыскать с него расходы на меры безопасности. (В конце концов немецкое издание выпустил большой консорциум издателей и известных людей, такой же метод применили и в Испании.) Французский издатель Кристиан Буржуа поначалу не хотел выпускать перевод и несколько раз откладывал выход книги, но в итоге под нарастающим давлением критики со стороны французской прессы был вынужден ее опубликовать. Эндрю Уайли и Гиллон Эйткен вели себя потрясающе. Они ездили из страны в страну и уговорами, посулами, угрозами и лестью добивались от издателей, чтобы те делали свое дело. Во многих странах книга вышла лишь благодаря их настойчивому давлению на занервничавших издателей.

А вот в Италии нашлись герои. Издательство «Мондадори» опубликовало перевод на итальянский всего через два дня после фетвы. Владельцы компании — финансовый холдинг «Фининвест» Сильвио Берлускони, CIR Карло Де Бенедетти и наследники Арнольдо Мондадори — проявили бóльшую нерешительность, чем владельцы «Вайкинг — Пенгуин», звучали сомнения в разумности публикации, но упорство директора издательства Джанкардо Боначины и его подчиненных сыграло решающую роль. Книга вышла в запланированный срок.

Пока происходили эти и многие другие события, автор «Шайтанских аятов» постыдно прятался от фермера-овцевода за разделочным столом на кухне.

Да, помимо орущих заголовков были его частные кризисы, была постоянная озабоченность поисками очередного жилья, был страх за родных (его мать приехала в Лондон, чтобы быть ближе к нему, и остановилась у Самин, но повидаться с ней ему удалось не сразу), и, конечно, была Мэриан, чья дочь Лара звонила ей несколько раз и с жаром твердила, что никто из друзей не может понять, почему ее мать подвергает себя такой опасности. Это не было лишено оснований, такое могла бы сказать матери любая дочь. Мэриан нашла дом, куда они могли вселиться через неделю. Это было очень кстати, но в глубине души он не сомневался, что

она покинет его, если кризис затянется. Новую жизнь она переносила с большим трудом. Ее авторское турне было отменено, и, окажись он на ее месте, он, вероятно, тоже долго не продержался бы. Но пока что ее занимала работа — подобие ее обычного творческого процесса: она делала подробные записи о месте, где они находились, заносила в тетрадку валлийские фразы и почти сразу принялась писать рассказы, где вымысла как такового было немного — в основном художественная обработка текущих событий их жизни. Один из этих рассказов назывался *Croeso i Gymru*, то есть «Добро пожаловать в Уэльс», и начинался так: «Мы были в бегах в Уэльсе». Эта фраза его раздосадовала: быть в бегах — значит скрываться от правосудия. Мы же не преступники, хотел он ей сказать, но не сказал. Она была не в таком настроении, чтобы терпимо переносить критику. Она писала рассказ под названием «Уроки урду».

Министр иностранных дел лгал о нем по телевизору. Британский народ, сказал сэр Джеффри Хау, не любит эту книгу. В ней содержится чрезвычайно грубый отзыв о Великобритании. Великобритания, заявил он, сравнивается в ней с гитлеровской Германией. Автор «нелюбимой» книги поймал себя на том, что кричит в телеэкран: «Где? На какой странице? Покажи мне, где я это написал!» Ответа не последовало. На экране бесстрастно мерцало чистенькое, пухленькое, странно податливое лицо сэра Джеффри. Он вспомнил высказывание бывшего министра-лейбориста Дениса Хили, что нападки Хау — это как если бы «тебя терзала дохлая овца», и секунд пятнадцать в голове крутилась мысль, что надо подать на дохлую овцу в суд за клевету. Но это, конечно, было бы глупо. В глазах всего мира он сам был Великим Клеветником, и, значит, ответная клевета на него была делом позволительным.

Дохлой овце вторили другие. Большой и, в отличие от героя своей книги, недобрый великан Роальд Даль сказал газетчикам: «Рушди — опасный оппортунист». Двумя днями раньше архиепископ Кентерберийский Роберт Ранси заявил, что «понимает чувства мусульман». Вскоре поймут их чувства и Римский Папа, и главный раввин Великобритании, и кардинал Нью-Йоркский. Божье войско строилось в ряды. Но в его защиту высказалась в печати Надин Гордимер, и в тот день, когда они с Мэриан покинули ферму Деб и Майкла и переехали в дом, который сняли, было опубликовано так называемое «Заявление писателей мира» в его поддержку, подписанное тысячами писателей. Великобритания и Иран разорвали дипломатические отношения. Что любопытно, разорвал их Иран, а не правительство Тэтчер. Судя по всему, защита, предоставленная британскими

властями вероотступнику, была более неприятна аятоллам, чем экстерриториториальная атака на британского гражданина — правительству его страны. Или, может быть, иранцы просто решили нанести упреждающий удар.

Скромный белый оштукатуренный коттедж с островерхой шиферной крышей назывался *Tyn-y-Coed*, то есть «Дом в лесу» — обычное название для дома в тех краях. Рядом была деревня Пентрефелин и городок Брекон, недалеко — горы Блэк-Маунтинз и Брекон-Биконз. Погода стояла очень дождливая. В день переезда было холодно. Полицейские начали возиться с печью, долго громыхали и ругались, но в конце концов сумели ее разжечь. Он обнаружил маленькую комнатку наверху, где можно было закрыться и сделать вид, что работаешь. Дом был мрачный, холодный, под стать погоде. По телевизору Маргарет Тэтчер сказала, что понимает, какое оскорбление было нанесено исламу, и сочувствует оскорбленным. Он поговорил с Гиллоном Эйткеном и Биллом Бьюфордом, и оба предупредили его, что общественное мнение какое-то время будет не в его пользу. Он прочел в «Нью-Йорк таймс бук ревью» заявления выдающихся писателей мира в его поддержку, и это в какой-то мере подняло его дух. Он поговорил по телефону с Майклом Футом, и резкие, отрывистые восклицания Фута, выразившего полную солидарность с ним, воодушевили его. Ему представилось, как колышутся в такт неистовой речи Майкла его длинные седые волосы, представилась тихая ярость на лице его жены Джилл Крейги. «Возмутительно. От начала до конца. Джилл и я — мы оба это утверждаем. Безоговорочно».

Сменился состав охранников. Стэн, Бенни, Деннис вернулись к своим семьям, передав его Деву Стоунхазу — пьющему, судя по цвету лица, субъекту, неистощимому на грубые, несдержанные рассказы про других «клиентов», которых он охранял: про вечерок, когда ирландский политический деятель Джерри Фитт выхлестал шестнадцать порций джина с тоником, про невыносимо высокомерное отношение к своей охране министра Тома Кинга — «Этот тип может и пулю в спину однажды схлопотать» — и, напротив, про джентльменское поведение ольстерского смутьяна Иэна Пейсли[71], который помнил, как кого зовут, справлялся о семьях и каждое утро молился вместе с охранниками. В команду Дева входили два улыбчивых, добродушных шофера, Алекс и Фил, не желавшие слушать «идиотский треп» Дева, и Питер Хаддл, второй телохранитель, который относился к детективу-сержанту Стоунхаузу с неприкрытым отвращением. «Не человек, а геморрой в заднице, — громко сказал он однажды на кухне. — Кишки

выматывает».

Они повезли его на прогулку в горы Блэк-Маунтинз — именно там происходит действие лучшей книги Брюса Чатвина, романа «На Черном холме», — и, наконец-то оказавшись на вольном воздухе, видя вокруг себя не четыре стены, а сельские просторы и дальний горизонт, он приободрился. Команда подобралась разговорчивая.

— Я не умею покупать жене подарки, — сетовал Алекс, уроженец южной Шотландии. — Что ни подарю, все ей не нравится.

Фил остался присматривать за машинами.

— Ему в самый раз, — сказал Атекс. — Мы, ВХИТы, любим посиживать в своих тачках.

Ни с того ни с сего Дев сообщил, что прошлой ночью с кем-то переспал. Алекс и Питер поморщились. Потом внезапно он почувствовал острую боль в нижней челюсти. Зубы мудрости. Через некоторое время боль утихла, но это было предостережение. Похоже, придется посетить зубного врача.

Охранники сказали, что слишком часто ездить в Лондон ему не следует, но они понимают его желание видеться с сыном. Друзья предоставили ему для этого свои жилища, и его возили туда встречаться с Зафаром: в Арчуэй — к его стариной кембриджской приятельнице Терезе Гледоу и ее мужу галеристу Тони Стоуксу, в чьей маленькой галерее В Ковент-Гардене в другую эпоху его жизни состоялась вечеринка по случаю выхода «Детей полуночи»; в Кентиш-Таун — к Сью Мойлан и Гурмукху Сингху, которые познакомились на их с Клариссой свадьбе, полюбили друг друга и больше никогда не расставались. Странная пара, они подходили друг другу идеально: она — дочь судьи и классическая «английская роза», он — высокий, красивый сикх родом из Сингапура, пионер нарождающейся науки компьютерного программирования. (Когда Гурмукх решил научиться садоводству, он написал компьютерную программу, которая круглый год день за днем точно указывала ему, что надо делать. Его сад, высаженный и пестуемый под руководством компьютера, цвел и плодоносил на славу.) Перед ним открыли двери Гарольд Пинтер и Антония Фрейзер[72], и так же поступили многие другие. Билл Бьюфорд сказал ему: «Друзья сомкнутся вокруг тебя железным кольцом, внутри ты сможешь жить своей жизнью». Именно это они и сделали. Шифр их молчания был нераскрываем. Ни один из них ни разу даже словом не обмолвился о его передвижениях. Без них он не прожил бы и полугода. Особый отдел, поначалу питавший к его друзьям изрядное недоверие, увидев, что это серьезные люди,

понимающие, что́ надо делать, тоже стал на них полагаться.

Его встречам с сыном сопутствовала сложная процедура. Работавший с охранявшей его командой как с «кембриджской четверкой»[73], «пятый человек» — он базировался в Скотленд-Ярде — посещал место встречи заранее, оценивал его с точки зрения безопасности, инструктировал хозяев: эту дверь надо будет запереть, эти шторы задернуть, и так далее. Затем его везли в этот дом, причем всегда самым кружным путем, используя множество приемов избавления от возможного «хвоста», — на языке спецслужб это называется «химчистка». (Одна из мер противодействия наблюдению — странная езда. По автострадам они порой ехали, резко меняя скорость: если кто-нибудь станет делать то же самое — значит, это «хвост». Иногда Алекс сворачивал на полосу съезда и двигался по ней очень быстро. Если кто-то за ними пристроился, он не мог знать, покинут они автостраду или нет, и должен был следовать за ними столь же быстро, тем самым обнаруживая себя.) Тем временем другая машина забирала Зафара и везла его на место встречи, тоже используя «химчистку». Морока страшная, но потом он видел, как радостно загорались глаза сына, и эти глаза сообщали ему все, что надо было знать.

Он провел час с Зафаром у Стоуксов. Другой час — с матерью и Самин у Пинтеров на Кэмден-Хилл-сквер, и своим железным самообладанием мать напомнила ему ту женщину, какой она была перед смертью отца и сразу после нее. Она прятала страх и тревогу за напряженной, но любящей улыбкой, однако кулаки ее часто сжимались. Потом, поскольку отправляться обратно в Уэльс было в тот день уже поздновато, его отвезли к Иэну Макьюэну в его коттедж в деревне Чедуорт в Глостершире, и там он провел вечер в обществе добрых, любящих друзей — Алана Йентоба, его жены Филиппы Уокер и, конечно, самого Иэна. В интервью журналу «Нью-Йоркер» Иэн позднее сказал: «Я никогда этого не забуду — на следующее утро мы встали рано. Ему надо было ехать. Ужасное было для него время. Мы стояли на кухне, делали себе тосты, кофе и слушали восьмичасовые новости Би-би-си. Он стоял рядом со мной, и главная новость была о нем. „Хезболла“ вложила всю свою хитрость и влияние в планы его уничтожения». Память немного подвела Иэна. В тот день в новостях речь шла об угрозе не со стороны финансируемой Ираном ливанской группировки «Хезболла», а со стороны Ахмада Джибриля, возглавлявшего Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование.

В Уэльс встретиться с ним приехали коммандер Джон Хаули — высокопоставленный полицейский чин, начальник

подразделения «А», который впоследствии стал заместителем помощника комиссара и возглавил как Особый отдел, так и антитеррористическую деятельность Скотленд-Ярда, — и сотрудник полиции Билл Гринап, которого Мэриан в своем рассказе об Уэльсе вывела как «мистера Браундауна»[74]. Относился к нему мистер Гринап недружелюбно. Он явно полагал, что имеет дело с нарушителем спокойствия, с человеком, получающим больше, чем заслуживает, с субъектом, ради защиты которого от последствий его собственых поступков высококлассным полицейским приходится теперь рисковать жизнью. К тому же этот нарушитель спокойствия голосует за лейбористов и критикует то самое правительство Тэтчер, которое сочло своим долгом обеспечить ему охрану. Мистер Гринап намекал, что Особый отдел подумывает перепоручить его защиту обычным полицейским в форме — опасность возрастет, но что делать. Похоже, ему предстояло еще долго подвергаться риску, чего Особый отдел не предвидел и чему он не радовался. В этом состояла плохая новость, ее-то коммандер Хаули, человек немногословный, и приехал сообщить ему в такую даль. Уже не было речи о том, чтобы затаиться всего на несколько дней, пока политики не утрясут это дело. Ему вряд ли в обозримом будущем будет позволено (*позволено?*) вернуться к своей обычной жизни. Он не сможет, даже если захочет, просто пойти на риск и вернуться домой. В этом случае он подвергнет опасности соседей и возложит неподъемную ношу на полицейские силы: целую улицу, а то и больше, придется перекрыть и охранять. Ему необходимо дождаться «серьезного политического сдвига». Он спросил, что это означает. Дождаться смерти Хомейни? Или вообще ждать вечно? Хаули не смог ответить. Как долго это продлится, он не знал.

Угроза смерти висела над ним уже месяц. Новые митинги против «Шайтанских аятов» прошли в Париже, Нью-Йорке, Осло, Кашмире, Бангладеш, Турции, Германии, Таиланде, Нидерландах, Швеции, Австралии и Западном Йоркшире. Раненых и убитых становилось все больше. Список стран, где роман был запрещен, пополнился Сирией, Ливаном, Кенией, Брунеем, Таиландом, Танзанией, Индонезией и странами арабского мира. Мусульманский «лидер» Абдул Хусейн Чоудхури попросил главного мирового судью Лондона вызвать Салмана Рушди и его издателей в суд по обвинению в «святотатственной клевете, распространяемой в подрывных целях», но ему было отказано. В Нью-Йорке из-за угрозы взрыва бомбы в книжном магазине пришлось перекрыть Пятую авеню. В те времена книжных магазинов на Пятой авеню еще было немало.

Объединенный фронт литераторов разных стран дал трещину, и ему было по-настоящему больно увидеть, как его собственный мир раскалывается под давлением событий. Вначале Академия искусств Западного Берлина из-за опасений по поводу безопасности отказалась предоставить помещение для собрания в поддержку Рушди. Это побудило крупнейшего писателя Германии Гюнтера Грасса и философа Гюнтера Андерса выйти из состава академии в знак протеста. Затем в Стокгольме Шведская академия, присуждающая Нобелевские премии по литературе, решила не делать официального заявления, осуждающего фетву. Видная писательница Керстин Экман отказалась от своего места в числе восемнадцати академиков. Покинул академию и Ларс Гюлленстен.

Он чувствовал себя ужасно. «Гюнтер, Гюнтер, Керстин, Ларс, не делайте этого! — хотелось ему крикнуть. — Не делайте этого ради меня». Он не хотел раскалывать академии, наносить раны литературному миру. Он хотел прямо противоположного. Он старался защищать книги от тех, кто их сжигал. Эти маленькие стычки между литераторами в тот момент, когда литературная свобода как таковая подверглась яростному нападению, казались трагедиями.

В мартовские иды он совершенно неожиданно был брошен в самый ужасный круг оруэлловского ада. «*Вы однажды спросили, — сказал О'Брайен, — что делают в комнате сто один. Я ответил, что вы сами знаете. Это все знают. В комнате сто один — то, что хуже всего на свете*»[75]. Для каждого хуже всего на свете что-то свое. Для Уинстона Смита в «1984» Оруэлла это были крысы. Для него в холодном валлийском коттедже — безответный телефонный звонок.

Он установил ежедневный порядок, согласовав его с Клариссой. Каждый вечер в семь, не пропуская ни дня, он говорил по телефону с Зафаром. Откровенно, как только мог, рассказывал сыну обо всем, что происходило, стараясь придавать своим словам оптимистическое звучание, укрощать чудовищ, возникавших в детском воображении, но вместе с тем держать мальчика в курсе событий. Он быстро понял, что, впервые услышав какую-нибудь новость именно от него, Зафар неплохо с ней справляется. Но если по какой-то причине им не удалось вовремя поговорить и мальчик узнаёт что-то скверное от приятелей на школьной площадке, он очень сильно расстраивается. Постоянная связь была жизненно важна. Поэтому он звонил каждый день. Они договорились с Клариссой, что, если почему-либо они с Зафаром не смогут быть дома в семь, она

оставит сообщение о том, когда они вернутся, на автоответчике на Сент-Питерс-стрит. В тот вечер он позвонил на Берма-роуд, и никто не взял трубку. Он надиктовал сообщение на автоответчик Клариссы, потом *затребовал* информацию у своего собственного. Но она ничего ему не оставила. Ладно, подумал он, немного опаздывают, ничего страшного. Через пятнадцать минут позвонил снова. Трубку не взяли. Опять на свой автоответчик — там тишина. Через десять минут сделал третий звонок. По-прежнему никого. Теперь уже он начал тревожиться. Почти 7.45, будний день, завтра в школу. Странно, что их нет так поздно. За следующие десять минут он позвонил еще дважды. Ответа не было. Он запаниковал.

События дня отступили на задний план. Организация «Исламская конференция» назвала его вероотступником, но обошла вопрос о поддержке иранского смертного приговора. Мусульмане собирались устроить шествие в Кардиффе. Мэриан была огорчена тем, что за прошедшую неделю было продано всего двадцать четыре экземпляра ее только что вышедшего романа «Джон Доллар». Ничто из этого не имело теперь значения. Он всё звонил на Берма-роуд, набирал и набирал номер как сумасшедший, его руки начали трястись. Он сидел на полу, прислонясь к стене, держал телефон на коленях и звонил, звонил. К тому времени команда охранников опять сменилась: вернулись Стэн и Бенни, а с ними приехали два новых шофера — рыжий валлиец Алан Оуэн и Кит, славный нахальный малый по прозвищу Коротышка. Стэн обратил внимание на лихорадочную телефонную деятельность «клиента» и пришел спросить, все ли в порядке.

Нет, ответил он, не все. Кларисса и Зафар должны были ждать его звонка еще час с четвертью назад, но их нет, и никаких объяснений не оставлено. Стэн посерьезнел:

— Это нарушение вашего обычного распорядка, так? На такие вещи, на любые неожиданные перемены надо реагировать.

Да, ответил он, это нарушение обычного распорядка.

— Ясно, — сказал Стэн. — Я этим займусь. Наведу кой-какие справки.

Он вернулся через несколько минут, сказал, что звонил в «Метпол» (в Лондонскую городскую полицию) и они пошлют людей по указанному адресу осмотреть место из машины. После этого минуты поползли, как ползет ледник, медленные, холодные, а когда пришел ответ, у него заледенело сердце.

— Машина только что проехала мимо дома, — сообщил ему Стэн, — и, к сожалению, должен сказать, что входная дверь там открыта и во всех окнах свет.

Он не мог вымолвить в ответ ни слова.

— Полицейские, конечно, не пытались подойти к дому и тем более войти внутрь, — продолжил Стэн. — В такой ситуации они не могли знать, что их там ждет.

Ему представились тела, распростертые на лестнице, ведущей наверх из прихожей. Ярко освещенные окровавленные трупы сына и первой жены, похожие на брошенных тряпичных кукол. Кончена жизнь. Он сбежал, спрятался, как перепуганный кролик, а расплатились те, кого он любил.

— Просто чтобы вы знали, как мы будем действовать, — сказал Стэн. — Мы туда войдем, но минут через сорок. Нужно время, чтобы собрать войско.

Может быть, не оба они убиты. Может быть, сын жив и его взяли в заложники.

— Вы должны понимать, — сказал он Стэну, — что если они его забрали и скажут, что обменяют его на меня, то я пойду на это, вы не сможете меня остановить. Я просто хочу, чтобы здесь была ясность.

Стэн выдержал долгую, мрачную паузу, как персонаж пинтеровской пьесы. Затем проговорил:

— Все эти дела с обменом заложников — такое только в кино бывает. В жизни, к сожалению, все по-другому. Если было вторжение с преступными целями, они оба, скорее всего, погибли. И тогда перед вами будет один вопрос: хотите ли вы тоже погибнуть.

Полицейские на кухне умолкли. Мэриан сидела перед ним, смотрела на него, но утешить ничем не могла. Ему нечего было больше сказать. Он только и делал, что набирал номер, как маньяк, каждые полминуты, набирал, потом слышал гудки, потом голос Клариссы, предлагающей оставить сообщение. Красивая высокая зеленоглазая девушка. Мать его ласкового, полного жизни, любящего сына. Какое сообщение он мог оставить? Никакого. Прости меня — безнадежно мало. Он клал трубку, набирал снова, и вот опять ее голос. И опять.

Прошло очень много времени, и наконец появился Стэн и тихо произнес:

— Теперь уже скоро. Они почти готовы.

Он кивнул и стал ждать удара — смертельного удара, который готовилась нанести ему действительность. Он не чувствовал, что плачет, но лицо было мокрое. Он продолжал звонить Зафару. Как будто телефон был наделен магической силой, как будто он был планшеткой для спиритических сеансов, позволяющей разговаривать с мертвыми.

Вдруг раздался щелчок. Кто-то взял трубку на том конце.

— Алло, — произнес он не своим голосом.

— Папа? — услышал он голос Зафара. — Что случилось, папа? У двери полицейский, он говорит, сюда едут еще пятнадцать.

Облегчение обрушилось на него водопадом, и на мгновение он потерял дар речи.

— Папа, ты меня слышишь?

— Да, — сказал он. — Я слышу. Что с мамой, с ней все в порядке? Где вы были?

Оказывается, на школьном спектакле, который кончился очень поздно. Кларисса взяла трубку, попросила прощения.

— Извини, я должна была оставить сообщение. Просто забыла. Прости меня.

В его крови шли обычные послешоковые биохимические процессы, и он не знал, счастлив он или взбешен.

— А что было с дверью? — спросил он. — Почему входная дверь была открыта и во всех окнах горел свет?

На том конце трубку опять держал Зафар.

— Нет, папа, — сказал он. — Мы только-только вернулись, зажгли свет, и тут вошел полицейский.

— Судя по всему, — сказал детектив сержант Стэн, — произошла прискорбная ошибка. Парни, которых послали посмотреть, перепутали дом.

Перепутали дом. Полицейская ошибка. Просто дурацкая ошибка. Все в порядке. Чудовища снова загнаны в чулан и под половицы. Мир не взорвался. Его сын жив. Дверь комнаты сто один распахнулась. В отличие от Уинстона Смита, он спасся.

Это был самый поганый день его жизни.

На его автоответчике оставила сообщение писательница Маргарет Дрэббл: «Позвоните, если сможете». Когда он позвонил, она своим обычным бодрым, деловым, серьезным тоном сделала ему предложение, столь же немыслимо щедрое в своем роде, каким было предложение Деборы Роджерс. Они с мужем Майклом Холройдом, биографом Литтона Стрэчи, Огастеса Джона и Джорджа Бернарда Шоу, ремонтировали коттедж в деревушке Порлок-Уир на сомерсетском побережье. «Там теперь все доделано, — сказала она, — и мы собирались въезжать, но я говорю Майклу: может быть, Салману у нас понравится? Мы точно можем вам его предложить на месяц или около того». Это был неописуемый, бесценный дар — возможность целый месяц оставаться на одном месте. На месяц ему предстояло стать «человеком из Порлока»[76]. Как он мог ее отблагодарить? Только жалким «спасибо».

Порлок-Уир — крохотное скопление домов, выросшее вокруг гавани, чуть западнее собственно Порлока. Дивной красоты коттедж с соломенной крышей был по размерам весьма внушителен. Журналист из «Нью-Йорк таймс» интервьюировавший в нем Дрэббл десятилетие спустя, написал о доме так: «блумсберийское[77] видение, воплощение прихоти и культурной выделки, жилище, где стены каждой комнаты покрашены в свой цвет — голубовато-зеленый, розовый, сиреневый, золотисто-желтый, — где всюду, куда ни глянь, выцветшие ковры, книги и картины». Чудесно было вновь оказаться в доме с множеством книг. Им с Мэриан — двум писателям — предоставили жилище два других писателя, и это необычайно радовало, приносило успокоение. В коттедже смогли разместиться и оба телохранителя; шоферы сняли себе комнаты в сельской гостинице, где выдали себя за двух туристов. При доме был прекрасный сад, создававший такое уединение, какого только мог пожелать для себя человек-невидимка. Он переехал на последней неделе марта, и это было чуть ли не счастьем.

«*Пламя Просвещения угасает», — сказал журналист Гюнтеру Грассу. «Но других источников света нет», — отозвался тот.* Публичные споры бушевали по-прежнему. А в его личной жизни спустя считаные дни после переезда в Порлок-Уир произошел кризис совсем иного рода, в котором, однако, пламя тоже играло некую роль.

Мэриан на пару дней поехала в Лондон (ее передвижений никто не ограничивал), где повидала двух своих и его подруг — американку Дейл, работавшую в агентстве «Уайли, Эйткен и Стоун», и его старинную приятельницу Полин Мелвилл. Он позвонил Полин спросить, как дела, и оказалось, что она в ужасе, в шоке. «Ладно, — сказала она, — это настолько серьезно, что я, так и быть, передам тебе, что говорила Мэриан, что слышали мы с Дейл, и мы обе так ошарашены, что готовы, если надо, повторить ее высказывания ей в лицо». Мэриан, по словам Полин, заявила им, будто он и она постоянно ссорятся и она, Мэриан, однажды «поколотила его». А потом — поразительное дело! — она сказала, что он будто бы просил Особый отдел «привезти к нему Изабель Аджани». Он никогда не виделся с французской актрисой и никогда с ней не разговаривал, но она недавно сделала жест в его поддержку, который он оценил чрезвычайно высоко. В Париже на церемонии вручения премии «Сезар» — французского «Оскара» — она, когда ее чествовали как лучшую актрису за главную роль в фильме «Камилла Клодель» прочла короткий текст, а затем призналась, что это цитата из «Шайтанских аятов» Салмана Рушди. Ее отец был алжирцем из мусульманской семьи, так что

для нее это был нешуточный поступок. Он написал ей благодарственное письмо. Вот и все — остальное было полнейшей выдумкой Мэриан, но это оказалось еще не самым худшим. «Он пытает меня, — заявила она Полин, — жжет горящими сигаретами». Услышав это от Полин, он, хоть и был в ужасе, разразился смехом. «Но у меня, — крикнул он, — даже нет сигарет, я не курю!»

Когда Мэриан вернулась из Лондона, он в чудесной гостиной с розовыми обоями и большими окнами, откуда открывался вид на сверкающие воды Бристольского залива, приступил к ней с расспросами. Вначале она наотрез все отрицала. Но он вывел ее на чистую воду. «Давай позвоним Полин и Дейл — посмотрим, что они скажут». Тут она сломалась и признала, что действительно говорила все это. Его особо интересовало самое тяжкое обвинение в его адрес — байка про сигареты.

— Зачем ты это сказала? — недоумевал он. — Ведь ты знаешь, что ничего такого не было.

Она без смущения посмотрела ему в глаза.

— Это была метафора, — сказала она. — Метафора мое счастливой жизни.

В своем роде это было блестяще. В безумном роде. Заслуживало аплодисментов. Он сказал:

— Мэриан, это не метафора; это ложь. Если ты не можешь отличить одно от другого, с тобой очень-очень нехорошо.

Ей нечего было ему больше сказать. Она ушла в комнату, где работала, и закрыла за собой дверь.

Он стоял перед выбором: либо по-прежнему жить с женщиной, способной плести такие небылицы, либо расстаться с ней и иметь дело с тем, с чем предстояло его иметь, в одиночку.

Ему нужно имя, сказали ему полицейские. Выбрать его надо было «по-быстрому», а потом поговорить с банковским менеджером, чтобы банк выдавал чековые книжки либо с псевдонимом, либо вообще без имени и принимал чеки, подписанные фальшивым именем: так он сможет совершать платежи, не выдавая себя. Но это его новое имя нужно было и самим охранникам. Им надо было привыкнуть к этому имени, надо было употреблять его во всех случаях, при нем и в его отсутствие, чтобы на ходу или на бегу, по пути в спортзал или в супермаркет в их ближайшей округе его настоящее имя случайно не слетело с их губ и он не был разоблачен.

Операция по его охране имела название — операция «Малахит». При чем тут зеленый камень, он понятия не имел, и охранники тоже. Они не были писателями, и происхождение

названий их не интересовало. Всего-навсего слово. А теперь пришла его очередь. Его подлинное имя было хуже чем бесполезно, его нельзя было произносить, как имя «Волан-де-Морт» в тогда еще не написанных книгах о Гарри Поттере. Он не мог снять дом на это имя, не мог зарегистрироваться как избиратель, потому что для этого надо указать домашний адрес, что, разумеется, было невозможно. Чтобы отстоять свое демократическое право на свободу выражения мнений, он должен был пожертвовать своим демократическим правом избирать органы власти. «Как имя будет звучать, разницы нет, — сказал Стэн, — но оно нужно, и хорошо бы не затягивать».

Отказаться от собственного имени — дело нешуточное. «Неверно, лучше взять не азиатское, — сказал Стэн. — А то как бы у кого-нибудь смекалка не сработала». Значит, от этнической принадлежности тоже придется отказаться. Он превратится в человека-невидимку в маске белого клоуна.

У него в записной книжке был отрывок про мистера Мамули. Этот мистер Мамули был рядовой человек, ввергнутый во мрак и даже про́клятый, литературный родич господина Когито у Збигнева Херберта и синьора Паломара у Итало Кальвино. Звали его, как и пресловутого члена брадфордского городского совета, Аджиб, то есть «странный». Мамули значит «обыкновенный». Итак, мистер Странно-Нестранный, мистер Необычно-Заурядный, мистер Как-Все-Да-Не-Как-Все — этакий оксюморон, ходячее противоречие. Он написал фрагмент, где мистеру Мамули приходится держать на голове огромную перевернутую пирамиду, вершина которой мучительно впивается ему в лысину.

Мистер Мамули появился на свет, когда он почувствовал, что если не имя, то фамилия у него украдена, что слово «Рушди» отделилось от «Салмана» и, спиралевидно закладывая виражи, понеслось по страницам газет, по густому от зрительных образов эфиру, стало заголовком, лозунгом, кличем, ругательством, чем угодно, во что его хотели превратить посторонние ему люди. Тогда-то он и потерял контроль над своим именем, и ему захотелось перевоплотиться в мистера Мамули. Мистер Аджиб Мамули тоже был писателем, и сама противоречивость имени была как писателю ему к лицу. Мистер Мамули считал себя обыкновенным человеком, но жизнь, которой он жил, была, без сомнения, странной. Когда он пытался набросать лицо Мамули, оно получалось похожим на лицо знаменитого Обывателя Р. К. Лаксмана из карикатур в «Таймс оф Индиа»: наивный, озадаченный, лысый дядечка с торчащими из-за ушей пучками седеющих волос.

К числу персонажей «Шайтанских аятов» принадлежала

Мими Мамулян, актриса с пышными формами, одержимая навязчивой идеей приобретения недвижимости. Мистер Мамули был ее родственником — или скорее антитезой, анти-Мими, чья проблема была противоположна ее проблеме: он не имел дома, который мог бы назвать своим. Такова же, как он хорошо знал, была судьба падшего Люцифера. Итак, «мистер Аджиб Мамули» было именем дьявола, в которого его превратили другие, рогатого продукта метаморфозы, подобной метаморфозе его героя Саладина Чамча, получившего такое объяснение своих демоничесеих превращений: «Они имеют власть именовать, а мы подчиняемся».

Им имя не понравилось. Мамули, Аджиб — язык сломаешь, трудно запомнить и, конечно, слишком уж азиатское. Попросили подумать еще. Мистер Мамули отодвинулся, стушевался и в конце концов пропал, поселившись в обветшалой гостинице, предназначенной для неиспользованных идей, — в отеле «Калифорния»[78] писательского воображения.

Он принялся перебирать любимых писателей и составлять комбинации из их имен и фамилий. Владимир Джойс. Марсель Беккет. Франц Стерн. Он составлял списки таких сочетаний, и все они выглядели как-то глупо. Но потом нашлось одно, о котором нельзя было этого сказать. Он написал рядом имена Конрада и Чехова — и вот они, имя и фамилия, которые ему предстояло носить одиннадцать лет.

— Джозеф Антон.

— То, что надо, — сказал Стэн. — Вы не против, если мы будем вас звать Джо?

Вообще-то он был против. Вскоре он обнаружил, что сокращенное имя внушает ему отвращение. Почему — не вполне понятно. Чем, в конце концов, «Джо» хуже «Джозефа»? Он не был ни тем ни другим, и каждый из вариантов, казалось, должен был звучать для него одинаково фальшиво или одинаково приемлемо. Тем не менее «Джо» резало ему ухо практически с самого начала. Так или иначе, односложное имя охранникам легче было усвоить и запомнить, оно уменьшало риск их ошибки при посторонних. Итак, для них он отныне Джо.

«Джозеф Антон». Он старался привыкнуть к своему изобретению. Он всю жизнь подыскивал имена вымышленным персонажам. Теперь, подыскав новое имя себе, он сам превратился в подобие вымышленного персонажа. «Конрад Чехов» — не годилось. А вот «Джозеф Антон», по идее, мог бы существовать. Уже существовал.

Конрад — автор, писавший на неродном ему языке, творец скитальцев, заблудившихся и нет, путешественников,

проникающих в сердце тьмы, тайных агентов в мире убийц и бомб и по крайней мере одного бессмертного труса, прячущего свой позор; и Чехов — певец одиночества и грусти, красоты старого мира, которая гибнет, как вишневый сад под грубым натиском новых времен; Чехов, чьи три сестры верили, что настоящая жизнь где-то еще, и вечно тосковали по Москве, куда не могли вернуться. Вот они, его нынешние крестные отцы. И не кто иной, как Конрад, подарил ему девиз, за который он будет цепляться, как за спасательный трос, все предстоящие долгие годы. В «Негре с „Нарцисса“» (неполиткорректное для наших дней название) этот самый негр, матрос Джеймс Уэйт, заболевает во время долгого морского путешествия туберкулезом. Другой матрос спрашивает его, почему он отправился в плавание — ведь он конечно же знал, что нездоров. «Покуда не помрешь — жить надо, разве не так?» — отвечает Уэйт. Да, нам всем надо, думал он, когда читал эту книгу, но в нынешних обстоятельствах эти слова приобрели силу приказа.

— Покуда не помрешь, — сказал он себе, — жить надо, Джозеф Антон.

До фетвы ему никогда не приходило в голову уйти из литературы, сделаться кем-нибудь еще — *не писателем*. То, что он им стал — то, что он обнаружил в себе способность заниматься делом, которым больше всего на свете хотел заниматься, — было для него источником великой радости. Реакция на «Шайтанские аяты» лишила его, по крайней мере на время, этой радости — не по причине страха, а из-за глубокого разочарования. Если ты потратил пять лет жизни на большую и сложную вещь, стараясь побороть все трудности, стремясь взять ее под контроль и придать ей, насколько тебе хватает таланта, всю возможную красоту и соразмерность, и если затем, став достоянием публики, она воспринимается так искаженно, на такой уродливый манер, — то, может быть, игра не стоила свеч? Если это все, чем ты, приложив максимум усилий, был вознагражден, то тебе, может быть, лучше заняться чем-нибудь еще? Стать автобусным кондуктором, коридорным в отеле, уличным танцором, зимой в переходе подземки отбивающим чечетку за сколько кто кинет? Все эти способы заработка выглядели более достойными.

Чтобы отогнать эти мысли, он принялся писать рецензии на книги. До фетвы его друг Блейк Моррисон[79] попросил его отрецензировать для книжного раздела «Обсервера» мемуары Филипа Рота «Факты». Он написал заметку и отослал. Ниоткуда поблизости ее отправлять было нельзя, факса у него не было, и пришлось попросить охранника послать рецензию из Лондона,

когда тот, отработав смену, туда поедет. Он приложил к тексту записку с извинением за задержку. Когда газета напечатала рецензию, она опубликовала и факсимиле его рукописной записки — причем *на первой полосе*. Он стал такой нереальной персоной, и так быстро, и для такого большого числа людей, что это доказательство его существования сочли новостью, достойной первой полосы.

Он спросил Блейка, нельзя ли и дальше писать для него рецензии, и затем каждые несколько недель отсылал заметку примерно в восемьсот слов. Давалось это нелегко — *как выдрать зуб*, думалось ему, и это избитое сравнение был тем более уместно, что его зубы мудрости теперь то и дело принимались болеть и охрана уже искала решение «зубной проблемы», — но эти заметки были его первыми неловкими шагами вспять, к самому себе, назад от *Рушди* и обратно к *Салману*, движением к литературе от унылой, упадочной идеи о том, чтобы стать *не писателем*.

Окончательно вернул его к самому себе не кто иной, как Зафар, которого он старался видеть как можно чаще, — полицейские ради этих периодических встреч возили отца и сына туда и обратно, не забывая о «химчистке»; они виделись в Лондоне — у Сью и Гурмукха на Пэтшалл-роуд в Кентиш-Тауне, у Пинтеров на Кэмден-Хилл-сквер, у Лиз Колдер в Арчуэе — и однажды, чудо из чудес, провели уик-энд в Корнуолле у Розанны, самой давней подруги Клариссы, на ферме с козами, курами и гусями, глубоко упрятанной в долине близ Лискарда. Играли в футбол — он показал себя многообещающим вратарем, охотно падал за мячом то влево, то вправо — и в компьютерные игры. Собирали модели поездов и автомобилей. Занимались всем тем обычным, каждодневным, чем занимаются отцы с сыновьями, и это казалось чудом. Между тем Джорджи, маленькая дочка Розанны, уговорила полицейских надеть короны принцесс и накинуть перьевые боа из ее ящика с нарядами.

Мэриан в тот уик-энд с ним не поехала, и они с Зафаром ночевали в одной спальне. Тут-то Зафар и напомнил ему про его обещание:

— Папа, а как насчет моей книжки?

Это был единственный раз в его писательской жизни, когда он с самого начала знал сюжет почти целиком. Повесть упала ему в голову с неба, как дар. В прошлом, когда Зафар принимал вечернюю ванну, он рассказывал сыну истории — купальные истории, а не сказки на сон грядущий. В ванне, где плавали игрушечные животные из сандалового дерева и маленькие кашмирские лодочки шикара, и родилось море историй — или

возродилось, пожалуй. Самое первое море можно найти в названии старой книги на санскрите. В Кашмире в XI веке нашей эры брахман-шиваит Сомадева составил гигантское собрание сказок под названием «Катхасаритсагара». Катха означает «повесть», сарит — «реки», сагара — «море» или «океан»; получается, таким образом, «Океан рек-повестей» или «Море сказаний». В огромной книге Сомадевы моря как такового нет. Но вообразим себе, что есть такое море, куда, переплетаясь, текут, словно реки, все придуманные когда-либо истории. Пока Зафар купался, его папа брал кружку, зачерпывал воды из ванны, делал вид, что пьет, — и обретал историю, чтобы рассказать, историю-реку, текущую через ванну историй.

А теперь в обещанной Зафару книге он совершит путешествие к самому океану. В ней будет сказочник, потерявший Дар Болтовни после того, как его покинула жена, и его сын отправится к источнику всех историй, чтобы попытаться вернуть отцу его дар. Единственное, что изменилось в первоначальном замысле по ходу написания, это концовка. Вначале он думал, что это будет «современная» книга, где разрушенная семья так и остается разрушенной и мальчик к этому привыкает, принимает как данность, что детям и приходится делать в реальном мире, что пришлось сделать и его собственному сыну. Но очертания, которые приняла история, требовали, чтобы разрушенное в начале восстанавливалось в целости под конец. Нужен был счастливый финал, и он понял, что готов его написать. Последнее время он стал неравнодушен к счастливым финалам.

Много лег назад, прочитав «Путешествия» Ибн Баттуты, он написал рассказ «Принцесса Хамош». Ибн Баттута был марокканский ученый и великий непоседа, чей рассказ о путешествиях на протяжении четверти века по всему арабскому миру и дальше — в Индию, в Юго-Восточную Азию, в Китай — заставляет смотреть на Марко Поло как на домоседа и лежебоку. «Принцесса Хамош» была воображаемым фрагментом «Путешествий», якобы написанным Ибн Баттутой на нескольких страницах, которые затем потерялись. В рассказе марокканский странник приходит в разделенную страну, где враждуют два племени — болтуны гуппи и молчуны чупвала, которые возвели безмолвие в культ и поклонялись каменному божеству Безабану — то есть *Безъязыкому*. Когда чупвала захватывают принцессу гуппи и грозятся зашить ей губы, чтобы умилостивить своего бога, начинается война между обитателями земли Гуп и земли Чуп.

Написанным рассказом он остался недоволен; ход с потерянными страницами не удался по-настоящему, и он

забросил рассказ и забыл о нем. Но теперь он понял, что этой маленькой истории о войне между речью и безмолвием можно придать не только лингвистический смысл, что внутри нее скрыта притча о свободе и тирании, притча, чей потенциал он сейчас наконец увидел. Эта история, можно сказать, ждала его впереди, и вот теперь его жизнь с ней поравнялась. Каким-то чудом он вспомнил, в какой ящик стола положил папку с рассказом, и попросил Полин зайти в дом на Сент-Питерс-стрит и взять ее для него. Репортеры в то время около здания уже не дежурили, и Полин смогла попасть в дом незаметно и нашла нужные страницы. Перечитав их, он взволновался. Рассказанная по-другому, освобожденная от излишеств, связанных с Ибн Баттутой, эта история обещала стать драматической сердцевиной новой книги.

Вначале он назвал книгу «Зафар и Море Историй», но вскоре почувствовал, что между мальчиком в книге и мальчиком в ванне нужна хоть небольшая, но дистанция — дистанция вымысла. Гарун — второе имя Зафара. Сделав эту замену, он сразу понял, что не ошибся. А вот Зафар был поначалу разочарован. Это же его книга, сказал он, так пусть она будет о нем. Но потом он поменял мнение. Он увидел, что Гарун — это и он, и не он и что так будет лучше.

После блаженного уик-энда с Зафаром в Корнуолле они вернулись в Порлок-Уир и, когда приблизились к входной двери, услышали в доме какие-то звуки. Полицейские немедленно заслонили его, взяли в руки оружие, и один из них открыл дверь. В доме явно было неладно: разбросанные бумаги, опрокинутая ваза. Потом очередной звук — словно кто-то испуганно бьет крыльями.

— Птица, — сказал он намного громче, чем нужно, — от облегчения. — Птица в дом залетела.

Охранники тоже перевели дух. Ложная тревога. Птица провалилась в дымовую трубу и теперь, объятая ужасом, сидела в гостиной на карнизе для занавесок. Черный дрозд, подумал он. *Шуршики-пуршики, мо-мо-мо.* Открыли окно, и птица вылетела на волю. Он начал прибирать дом — а в голове звучали песни про птиц. *Взлети на этих сломанных крыльях и научись парить*.[80] И старая карибская песня про птицу на банановом дереве: *Ты можешь улететь, / в небо улететь, / ты счастливей меня.*

Книга далеко не сразу пошла, хотя сюжет у него в голове уже был. Слишком громко бушевала буря за окнами коттеджа, мешала боль в зубах мудрости, и найти правильный язык никак не получалось. Были фальстарты — выходило то слишком по-детски, то слишком по-взрослому, — и он долго не мог отыскать нужный

тон. Прошли месяцы, прежде чем он написал слова, которые сняли заклятие: «Был некогда в стране Алифба печальный город, самый печальный город на свете, и до того велика была его печаль, что он даже название свое позабыл. Он стоял у скорбного моря, где плавали угрюм-рыбы…» Джозеф Хеллер как-то сказал ему, что его книги выросли из фраз. «У меня поджилки трясутся при виде закрытой двери», «У меня на службе есть пять человек, которых я боюсь»[81] — из этих фраз возник его великий роман «Что-то случилось», и «Поправка-22» тоже родилась из начальных предложений. Он понимал, что имел в виду Хеллер. Бывают фразы, написав которые знаешь, что они содержат в себе или порождают десятки, а то и сотни других. После долгих мучений «Дети полуночи» лишь тогда раскрыли свои тайны, когда в один прекрасный день он сел за стол и написал: «Я появился на свет в городе Бомбее… во время оно»[82]. То же самое с «Гаруном». Как только оказалось, что у него есть печальный город и угрюм-рыбы, ему стало ясно, как писать книгу. Кажется, он даже вскочил на ноги и хлопнул в ладоши. Но это было месяцы спустя. Пока же — только мучения и буря.

В Великобритании компания самозваных «лидеров» и «представителей» продолжала карабкаться к славе, втыкая ножи ему в спину и прыгая вверх по лестнице из лезвий. Самым опасным был седобородый Калим Сиддики, вылитый садовый гном, — он высказывался откровенней всех, он с жаром защищал и обосновывал фетву в нескольких телепрограммах, он на ряде митингов (включая те, где присутствовали депутаты парламента) призывал участников поднять руки, чтобы все видели: сообщество единодушно требует казни богохульника и вероотступника. Все руки дружно взлетали в воздух. К ответственности никого не привлекли. «Мусульманский институт», возглавляемый Сиддики, был жалкой организацией, но в Иране, куда он часто ездил, принимали его с распростертыми объятиями, он встречался там со всеми важными лицами и настаивал, чтобы они не уменьшали давления. По британскому телевидению Сиддики однажды высказался о мусульманах. «Мы даем сдачи, — заявил он. — Иногда мы даем сдачи заранее».

Новые зажигательные бомбы в книжных магазинах — «Коллетс» и «Диллонс» в Лондоне, «Эббиз» в Сиднее. Новые отказы библиотек принимать книгу, новые отказы торговых сетей ее продавать, отказ дюжины типографий во Франции печатать французский перевод, новые угрозы в адрес издателей — например, в адрес норвежского издателя Вильяма Нюгора (издательство «Х. Аскехауг и компания»), которого пришлось охранять силами полиции. Но большинство тех, работал в

напечатавших роман издательствах разных стран мира, не имели никакой защиты. Он легко мог вообразить, какую тревогу за свои семьи и за себя они испытывают и на работе, и дома. Слишком мало внимания было уделено отваге, с которой эти «обыкновенные люди», каждый день проявлявшие себя как люди необыкновенные, продолжали делать свое дело, защищая принципы свободы на передовой линии.

Начались убийства мусульманами мусульман, выражавших не столь кровожадные мнения. В Бельгии муллу саудовского происхождения Абдуллу Ахдаля, которого называли «духовным лидером» мусульман страны, и его помощника тунисца Салима Бахри убили за их заявление, что, как бы ни высказывался Хомейни на внутреннюю потребу Ирана, в Европе существует свобода выражения мнений.

«Я сижу в тюрьме с кляпом во рту, — писал он в дневнике. — Я даже говорить не могу. Я хочу гонять с сыном в парке футбольный мяч. Обыкновенная, банальная жизнь — моя несбыточная мечта». Друзей, которые видели его в эти дни, поразило, как он опустился физически: погрузнел, ссутулился, дал бороде вырасти в уродливую луковицеобразную маску. Он выглядел побитым.

Очень скоро он проникся к своим охранникам огромной приязнью, в отличие от Мэриан, которая хуже переносила это вторжение в свое личное пространство и по возможности держалась от них подальше. Он оценил то, что они постоянно старались выглядеть при нем бодрыми и оживленными, чтобы поднять его дух, и старались, кроме того, не быть слишком заметными. Они понимали, что «клиентам» трудно мириться с присутствием полицейских на кухне, с их, вспоминая абсурдистский анекдот, «слоновьими следами в масленке». Они без малейшей досады прилагали массу сил к тому, чтобы оставить ему как можно больше пространства. А ведь большинству из них, как он очень быстро понял, было из-за характера этого конкретного задания в определенном смысле труднее, чем ему. Им, людям действия, нужно было совсем другое, чем привыкшему сидеть сиднем писателю, пытающемуся удержать то, что осталось от его внутренней жизни — от жизни ума и воображения. Он мог, размышляя у себя в комнате, час за часом проводить в неподвижности и довольствоваться этим. А они, стоило им даже недолго побыть в четырех стенах, испытывали такое же беспокойство, как заключенные в тюрьме. Правда, после двух недель работы они могли отправиться домой и отдохнуть. Не раз они с уважением и тревогой говорили ему:

«Мы бы вашей жизни не выдержали», и оттого, что они это сознавали, их симпатия к нему увеличивалась.

Многие из них говорили, что такой способ охраны не соответствует обычной практике. Во всех иных случаях к «клиенту» приставляли «постоянную группу», которая занималась только этим человеком. Он, однако, не мог получить такую группу, поскольку круглосуточная работа на постоянной основе — это непомерная нагрузка для сотрудников. Поэтому его охраняли люди, откомандированные из других групп. Вообще-то это неправильно, говорили ему охранники. Все остальные, кого им поручали, вели обычную жизнь, продолжали профессиональную деятельность под их защитой, в то время как полицейские в форме, сменяясь, оберегали жилище «клиента». Вечером сотрудники Особого отдела привозили его домой, после чего отправлялись по домам сами, оставляя его на попечение обычных полицейских. «Операция „Малахит“ — это не охрана в обычном смысле, — говорили ему. — Прятать людей — к этому нас не готовили. Это не наша работа». Но нормальная охрана стоила бы дороже: посменная работа полицейских в форме — это огромные расходы. А если у «клиента» не одно жилище, а больше, эти расходы еще увеличиваются. Начальство Скотленд-Ярда не готово было выделить на операцию «Малахит» такие деньги. Дешевле было прятать «клиента» и платить охранникам сверхурочные за круглосуточную работу. Полицейское руководство, становилось ему ясно, считало, что «клиент» операции «Малахит» полномасштабной охраны силами британской полиции «не заслуживает».

Он быстро понял, что сотрудников, выполняющих задания, и их начальство разделяет весьма и весьма многое. Мало о ком из руководящих чинов парни отзывались с уважением. За все годы у него очень редко возникали трения с членами охранявших его команд, и со многими он сдружился. А вот старшие (ни в коем случае, сказали ему, не надо называть их «высшим начальством», ведь «чем, собственно, они выше нас? Только должностью») дело другое. Недружелюбных мистеров Гринапов ему впоследствии пришлось повидать достаточно.

Чтобы помочь ему, они порой шли на нарушение правил. В периоды, когда им запрещалось возить его в общественные места, они возили его в кино: тихонько в зал, когда свет уже выключен, тихонько из зала, когда еще не включен, — никаких проблем. В периоды, когда начальство налагало запрет на поездки в Лондон, они доставляли его в дома лондонских друзей, чтобы он мог повидаться с сыном. В меру сил они помогали ему исполнять роль отца. Однажды повезли их с Зафаром на полицейскую

спортплощадку, где по-быстрому сформировали две регбийные команды, чтобы он смог побегать, пасуя мяч. В праздники они иногда возили их с Зафаром в парки с аттракционами. Как-то раз в таком парке Зафар увидел мягкую игрушку, выставленную в тире в качестве приза, и сказал, что не прочь бы ее заполучить. Один из телохранителей, которого все звали Толстым Джеком, это услышал. «Что, глаз положил, да? — спросил он и, поджав губы, промычал: — Ммм-гмм». Затем подошел к будочке и дал деньги. Служитель тира протянул ему обычный пистолет со сбитым прицелом, и Толстый Джек с серьезным видом кивнул. «Ммм-гмм, — промычал он, исследуя оружие. — Ясно-ясно». Он начал стрелять. *Паф. Паф. Паф. Паф*. Мишени падали одна за другой под ошарашенным взглядом служителя, у которого отвисла золотозубая челюсть. «Нам бы вот эту, — сказал Толстый Джек, положив пистолет и показывая на игрушку. — То, что надо, спасибо большое». Через несколько месяцев Зафар смотрел телерепортаж о радостном событии: Нельсон Мандела прибыл на стадион «Уэмбли», где был дан рок-концерт в честь его освобождения. Увидев, как Мандела выходит из туннеля, ведущего от раздевалок на поле, Зафар показал пальцем: «Смотри, папа, там Толстый Джек!» Да, там и правда был Толстый Джек — он держался за левым плечом Манделы, губы поджаты, и, может быть, он мычал себе под нос: «Ммм-гмм».

Он массу всего узнал от парней насчет безопасности — к примеру, как входить в комнату, куда смотреть, что искать взглядом. «Полицейские и преступники, — сказал ему Дев Стоунхауз. — Их всегда можно отличить. Они задерживаются в двери, обстановку оценивают: сколько выходов, кто где стоит и так далее, только потом входят». Он понял, кроме того, что полиция — это в конечном счете всего лишь одно из подразделений государственной службы. Это контора, и, как у всякой конторы, у нее есть своя внутренняя политика. Особый отдел был объектом немалой ревности и зависти, и кое-кто хотел, чтобы его вообще закрыли. Случалось, парни обращались к нему за помощью — просили писать одобрительные письма о работе подразделения «А», и он был счастлив, что может хоть такой малостью отплатить им за все. Но самым большим счастьем стало для него то, что никому из ребят, которые готовы были ради него подставить себя под пули, этого делать ни разу не пришлось.

Женщин в подразделении «А» было немного — шесть или семь самое большее, и в его охране за все годы участвовали только две из них: высокая, красивая Рейчел Клуни, которую позднее включили в постоянную группу охраны Маргарет Тэтчер, и маленькая, ладная, деловитая блондинка Джули Реммик — ей в

конце концов пришлось покинуть команду, потому что она стреляла хуже, чем требовалось. Все, кто работал в охране, должны были регулярно проходить проверку на меткость стрельбы в полицейском тире, причем стрелять надо было и при нарушенном равновесии тела, и по движущейся мишени, и в условиях плохой видимости; приемлемый результат — 90 % и выше. Тот, кто не достигал этого уровня, немедленно сдавал оружие и переходил на кабинетную работу. Ему предложили брать уроки стрельбы. С ним работали бы лучшие инструкторы, и, может быть, ему стоило бы этому научиться. После долгих, напряженных раздумий он ответил — нет, спасибо, не надо. Он рассудил, что, если у него будет пистолет и нападут злоумышленники, они отнимут оружие и обратят против него. Лучше оставаться безоружным и надеяться, что враги не подберутся так близко.

Иногда они что-то ему готовили, но, как правило, домашнее хозяйство велось раздельно. Отправляясь в супермаркет за продуктами, они покупали продукты и ему тоже. Кухней пользовались в разное время, по согласованному расписанию. Вечером полицейские собирались в одной комнате и смотрели телевизор — атлеты, в силу обстоятельств вынужденные вести себя как «овощи». Как тяжело им, судя по всему, было!

Они были спортивные, красивые ребята и нравились девушкам. Многие из них завязали теплые отношения с женщинами из издательского мира, с которыми им довелось познакомиться благодаря ему. Особенно отличалась по женской части одна пара — Роб и Эрни, большие сердцееды. У другого охранника завязался роман с няней, работавшей у его друзей, а потом он ее бросил и разбил ей сердце. Для множества из них внебрачные связи были делом обычным, секретность работы обеспечивала отличное прикрытие. Золотоволосый малый по имени Сэмми оказался самым настоящим двоеженцем, причем обеих жен он называл одним и тем же ласковым прозвищем, и детей, которые родились от него у каждой, тоже звали одинаково. Он прокололся из-за больших долгов: содержать две семьи на заработок полицейского было невозможно. Интересные ребята!

Дев Стоунхауз и в самом деле оказался человеком пьющим, и в конце концов его исключили из команды: он накачался в пабе и повел себя неосторожно, чем заработал ссылку «в Сибирь» — то есть в аэропорт Хитроу. Двое других решили побыть «адвокатами дьявола» и, встав на сторону мусульман, принялись напирать на «уважение к чувствам верующих», но сослуживцы мягко и тактично их отвлекли.

Один своевольный телохранитель вздумал обращаться с ним

не как с «клиентом», а скорее как с заключенным, и он этому воспротивился. И еще был Зигфрид, британец немецкого происхождения, на вид настоящий танк; однажды, когда он попросил вывести его на прогулку в парк, Зигфрид встал перед ним в воинственную позу и заявил, что он подвергает команду риску. Он увидел, как руки Зигфрида сжимаются в кулаки, но не уступил и смотрел на него в упор, пока охранник не опустил глаза. Зигфрида увели, и больше он не возвращался. Страх порой заставляет хороших людей вести себя нехорошо.

Вот, собственно, и все проблемы, какие у него были с охраной. Много лет спустя недружелюбно настроенный шофер Рон Эванс, уволенный из полиции за растрату казенных денег, стал распространять о нем в одном британском таблоиде махровую ложь; он заявил, помимо прочего, что охранники относились к этому «клиенту» с такой неприязнью, что запирали его в чулане, а сами отправлялись в паб выпить. Как только эти откровения были опубликованы, к нему обратились несколько членов его былых команд. Кроме лжи как таковой, сотрудников Особого отдела возмутило нежелание начальства Скотленд-Ярда его защитить, а сильней всего, пожалуй, — нарушение уволенным шофером принятого в отделе кодекса молчания, в чем-то похожего на сицилийскую *омерту*. Они гордились тем, что никто в отделе не допускал никаких утечек в прессу, не подбрасывал никаких сплетен, уток и сенсации — В отличие, говорили многие из них, от болтунов из (отдельного) подразделения охраны королевской семьи, — и теперь по этой гордости был нанесен неприятный удар. Многие из них говорили ему, что готовы свидетельствовать в суде в его защиту. Когда шофер извинился в Высоком суде и признался, что лгал, участники его былых команд восприняли это с торжеством и послал человеку, к которому они якобы питали неприязнь, электронные письма с поздравлениями.

Шофер был не единственным, кто лгал. Пожалуй, самое несправедливое из клеветнических утверждений о нем состояло в том, что он якобы «не выражал благодарности» за все, что для него делалось. Так создавался образ «высокомерного», «неприятного» человека, который тщательно конструировала немалая часть британской таблоидной прессы, чтобы унизить его в глазах общества и подорвать доверие ко всему, что он говорит. На самом же деле он, *конечно, был благодарен*, он испытывал благодарность каждый день все эти девять лет и много раз говорил это тем, кто готов был слушать. Люди, которые охраняли его и стали его друзьями, и те из его друзей, что «входили в ближний круг», — все они знали правду.

По телевизору показывали документальный фильм о

Рональде Рейгане, он сидел со своими охранниками и смотрел, как Джон Хинкли-младший стреляет в президента. «Обратите внимание на службу безопасности, — сказал ему Стэн. — Все на правильных местах. Каждый на своем. Реакция у всех великолепная. Никто не оплошал. Все сработали на самом высоком уровне. А президент все-таки ранен». Самая опасная зона, которую никогда нельзя считать стопроцентно чистой, — между выходом из здания и дверью машины. «Израильтянин, — сказал Бенни, имея в виду посла, — вот кто знает что к чему. Голову вниз — и бежать». В этой-то зоне Хинкли и совершил покушение на президента. Но в словах Стэна и Бенни содержалась и более общая истина. Самые лучшие телохранители Соединенных Штатов, все чрезвычайно опытные и отлично вооруженные, сделали все от них зависящее — и тем не менее преступник смог поразить цель. И не какую-нибудь, а президента страны. Абсолютной безопасности не существует в природе. Есть только различные степени опасности. Ему придется с этим смириться.

Ему предложили носить пуленепробиваемый жилет из кевлара. Он отказался. И, преодолевая расстояние между дверью машины и дверью здания и обратно, он сознательно замедлял шаг. Он не будет ни от кого бегать. Постарается ходить с поднятой головой.

«Если ты начнешь смотреть на мир сквозь призму безопасности, — говорил он себе, — ты навсегда останешься детищем этого взгляда, его пленником». Взгляд на мир сквозь призму безопасности основан на так называемом анализе наихудшего случая. Если, скажем, ты собрался перейти улицу, анализ наихудшего случая говорит: есть вероятность, что тебя собьет машина, поэтому переходить улицу не следует. Однако люди переходят улицы каждый день и остаются целы. Постараться бы об этом не забывать. *Есть только различные степени опасности.* Ему надо продолжать переходить улицы.

«История — это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться», — сказал джойсовский Дедал, — но что маленький Герой Стивен знал о кошмарах? Самое кошмарное, что с ним приключилось, — это пьянка в Ночном Городе и визит к Польди с тем, чтобы построить Новый Блумусалим и, может быть, поддаться на зазывания рогоносца Блума и ублажить похотливую Молли. Кошмар — это когда кровожадные духовные лица пускают стрелы воздаяния, когда демонстранты несут его изображение, где голова проткнута одной из этих стрел; а он даже не спит — как тут проснуться? В Пакистане один из его дядей, муж маминой сестры, поместил в газете объявление, где фактически говорилось: *Не трогайте нас, мы ни при чем, он нам никогда не нравился*; его тетя сказала его матери, которая все еще жила в Уэмбли у Самин, что пакистанцы не хотят ее возвращения в страну. Это была неправда. Похоже, сами эти тетя и дядя, обеспокоенные из-за своего родства с ним, захотели, чтобы она держалась подальше. Тем не менее она вернулась, и никто ее не тронул. Порой на базаре люди спрашивали ее, все ли в порядке с ее сыном, и выражали ей сочувствие: *надо же, какой ужас*… Так что в самой гуще беспорядков, устраиваемых кровожадными фанатиками, существовало и добросердечие.

Тем временем он пребывал под защитой полицейских по прозвищам Хрюша, Коротышка, Толстый Джек и Конь — он уже начал привыкать и к кличкам, и к ротации персонала — и пытался придумать, куда податься после Порлок-Уира (Холройды великодушно позволили ему задержаться там еще на полтора месяца, но этот срок уже истекал). Подходящий дом не так-то легко было найти — тем более что он не мог сам смотреть варианты. Его не существовало. Существовал только Джозеф Антон — человек-невидимка.

Продолжали приходить сообщения из мира книг. Бхарати Мукерджи и Кларк Блез[83] написали ему из Америки, что люди заказывают значки с надписью «Я — Салман Рушди» и гордо носят их из солидарности с ним. Ему захотелось, чтобы у него был такой значок. Тогда Джозеф Антон мог бы выразить солидарность с тем, кем он был и в то же время не был. Гита Мехта[84] чуть ядовито сказала ему по телефону: «„Шайтанские аяты“ — это не ваш „Король Лир“. Ваш „Король Лир“ — это „Стыд“». Блейк Моррисон сказал: «Многие писатели из-за этого точно парализованы. Кажется, что писать сейчас книги — это пировать во время чумы». Тарик Али[85] не слишком любезно назвал его «мертвецом в отпуске» и прислал ему текст пьесы, которую написал с Говардом Брентоном[86], — ее должен был

поставить театр «Ройял Корт». «Индийские ночи». Пьеса показалась ему дешевой, наскоро сляпанной балаганной поделкой, и в ней содержались колкости в адрес его книги, которые уже становились общим местом. «Эту книгу невозможно читать» — вот лейтмотив. В числе тем, которые пьеса обошла, были: религия как инструмент политических репрессий и сила, поддерживающая международный терроризм; потребность в осмеянии святынь (французские писатели-просветители намеренно использовали осмеяние святынь как оружие, отказываясь признать право церкви устанавливать границы для мысли); религия как враг интеллекта. Вот какие темы он бы затронул в пьесе, будь это его пьеса. Но он был всего лишь материалом для пьесы — автором нечитабельной книги.

Когда он получал возможность посещать друзей, их, он заметил, больше волновали меры безопасности — «химчистка», занавешивание окон, красивые вооруженные парни, обследующие жилье, — чем сам визит. Впоследствии самыми яркими воспоминаниями друзей о тех днях неизменно были воспоминания об Особом отделе. Завязывалась невообразимая дружба между лондонским литературным миром и британской тайной полицией. Сотрудникам службы охраны литераторы понравились — они их привечали, заботились, чтобы им было удобно, кормили их. «Вы понятия не имеете, — говорили ему полицейские, — как с нами обходятся другие». Важные политические шишки нередко обходились с этими великолепными ребятами как с прислугой.

Но кое-кого визит волновал даже больше, чем нужно. Однажды Эдвард Саид, который, приехав в Лондон, жил Мейфэре в доме своего друга-кувейтца, пригласил его в гости. Когда он приехал, служанка-индианка узнала его и вытаращила глаза — в общем, разнервничалась. Позвонила в Кувейт, где находился хозяин дома, и принялась бессвязно кричать в трубку: «Рушди! Здесь! Рушди здесь!» Никто в Кувейте не мог взять в толк, с какой стати человек-невидимка вдруг объявился в их лондонском жилище. Почему оно должно служить для него убежищем? Эдварду пришлось объяснить, что он всего-навсего пригласил друга поужинать. Никакого длительного пребывания не предполагалось.

Мало-помалу он начал понимать, что охрана выглядит *гламурно*. Какие-то парни приезжают до его появления, все готовят, потом у двери останавливается блестящий «ягуар» — потом момент наибольшего риска между дверью машины и дверью дома — и его стремительно вводят внутрь. Выглядело как VIP-сервис. Выглядело как *излишество*. И люди спрашивали: *Кем*

он себя считает? Почему с ним обращаются как с королем? Его друзья таких вопросов не задавали, но кое-кто из них, может быть, тоже думал: действительно ли все это необходимо? Чем дольше все это продолжалось, чем дольше он оставался неубитым, тем легче было людям внушить себе, что никто его убивать не собирается, что охрана ему нужна, чтобы удовлетворить свое тщеславие, чтобы польстить своему невыносимому самомнению. Трудно было их убедить, что, находясь под охраной, он совершенно не чувствовал себя кинозвездой. Он чувствовал себя заключенным.

Между тем в прессе циркулировали слухи. Будто бы Организация Абу Нидаля готовит группу боевиков, которая собирается проникнуть в Соединенное Королевство «под видом бизнесменов, в одежде западного образца». Будто бы другая команда убийц готовится в Центрально-Африканской Республике. А помимо этих мрачных шепотков была вся та мерзость, что кричала криком из каждого радиоприемника, с каждого телеэкрана, с первой страницы каждой газеты. Министр правительства тори Джон Паттен красноречиво спорил по телевидению с промусульмански настроенным депутатом парламента Китом Вазом. Выступил по телевидению и Калим Сиддики, только что вернувшийся из Ирана. «Ему не суждено умереть в Великобритании», — угрожающе заявил он, намекая, что вынашивается план похищения. Выступил по телевидению и бывший поп-певец Кэт Стивенс, который незадолго до того перевоплотился в мусульманского «лидера» Юсуфа Ислама. Он выразил надежду на его смерть и заявил, что, если узнает, где скрывается богохульник, тут же сообщит боевикам.

Он позвонил Джатиндеру Верме из театральной группы «Тара артс», и тот сказал ему, что «на низовом уровне люди сильно устрашены» (британские мусульмане — организаторами кампании) и что «Совет мечетей оказывает политическое давление». Столь же тягостные чувства, как кампания исламистов, вызывали нападки левых. Джон Берджер обрушился на него в «Гардиан». Видный интеллектуал Пол Гилрой, автор книги «В британском флаге нет черного цвета»,самая близкая в Соединенном Королевстве фигура к американцу Корнелу Уэсту[87], обвинил его в том, что он «неправильно судил о народе», — поэтому, мол, он сам виноват в своей трагедии. Что невероятно, Гилрой сопоставил его с боксером Фрэнком Бруно, который, очевидно, судил о народе правильно и вследствие этого пользовался любовью масс. Мысли, что народ мог неправильно судить о нем, интеллектуалы-социалисты, подобные Берджеру и Гилрою, не допускали. Народ не может ошибаться.

Проблема с жильем стала очень острой. И тут второй раз пришла на помощь Дебора Роджерс: есть просторный дом в деревне Бакнелл в Шропшире, который можно снять на год. Полицейские проверили этот вариант. Да, он был приемлем. Его настроение поднялось. Жилище на целый год казалось невероятной роскошью. Он согласился: Джозеф Антон снимет этот дом.

Как-то раз он спросил телохранителя по прозвищу Хрюша:

— Что бы вы делали, если бы «Шайтанские аяты» были, скажем, стихотворением или радиопьесой и не давали дохода, который позволяет мне снимать эти дома? Что бы вы делали, если бы я был беднее?

Хрюша пожал плечами.

— К счастью, — сказал он, — этот вопрос перед нами не стоит, правда же?

Майкл Фут и его жена Джилл Крейги уговорили Нила Киннока, преемника Фута на посту лидера опиозиии, и его жену Глинис встретиться с ним за ужином в доме Фута на Пилгримз-лейн в Хэмпстеде. Приглашены были еще писатель и барристер Джон Мортимер, создатель «Рампола из Бейли»[88], и его жена Пенни. Когда его везли в Лондон, машина попала в пробку прямо напротив мечети в Риджентс-парке в то самое время, когда правоверные выходили после пятничной молитвы, только что прослушав проповедь с поношениями в его адрес. Ему пришлось укрыться за газетой «Дейли телеграф». Через некоторое время он спросил из-за гаеты: «Двери машины, надеюсь, заперты?» Послышался щелчок, потом Коротышка, кашлянув, сказал: «Теперь заперты». Как бы то ни было, чувствовать, что ты настолько отгорожен от «своих», было очень тяжело. Когда он поделился этими переживаниями с Самин, она отругала его. — Эти толпы, ведомые муллами, для тебя не свои и никогда ими не были, — сказала она. — Ты в любом случае был бы против них, а они против тебя — что здесь, что в Индии, что в Пакистане.

В доме Футов Нил Киннок проявил необычайное дружелюбие, сочувствие, готовность подбодрить. Вместе с тем он был озабочен: если станет известно, с кем он встречался, у него могут возникнуть политические проблемы. Да, он был в высшей степени внимателен — но втайне. Киннок сказал, среди прочего, что он против государственных субсидий сегрегированным мусульманским школам, но, воскликнул он, что он может сделать, если такова политика Лейбористской партии! Невозможно было себе представить, чтобы его противница — грозная Маргарет Тэтчер, глава правительства тори — бессильно

вскинула руки.

Майкл, хозяин дома, и раньше был его пылким союзником и другом. Они спорили только насчет Индиры Ганди, которую Майкл хорошо знал и чью квазидиктатуру в середине семидесятых — в годы «чрезвычайного положения» — склонен был оправдывать. Если уж Майкл принимал кого-то себе в друзья, он считал, что друг не может совершить ничего дурного.

Ужинал у Майкла и Тони Гаррисон, сделавший для телеканала Би-би-си фильм-поэму «Пир кощунников», в котором он, Тони, обедал в брадфордском ресторане с Вольтером, Мольером, Омаром Хайямом и Байроном. Один стул оставался пустым. «*Это стул Салмана Рушди*». Поговорили о том, что кощунство — одна из основ западной культуры. Когда судили Сократа, Иисуса Христа и Галилея, их судили именно за кощунство, однако сколь многим обязаны им философия, христианство и наука! «Я берегу для вас этот стул, — сказал Гаррисон. — Только дайте знать, когда вам его доставить».

После ужина его повезли в ночь. Зубная боль стала нестерпимой. К тому времени уже выбрали больницу около Бристоля и обо всем договорились. Теперь его тайком доставили на обследование и рентген, и надо было переночевать в больнице перед утренней операцией. Затронуты были оба нижних зуба мудрости, требовалась общая анестезия. Если, тревожились охранники, о его пребывании в больнице станет известно, около нее может собраться враждебная толпа. На этот случай у них был план. Катафалк, стоявший наготове, должен был въехать в больничный двор, и его погрузили бы туда под наркозом в застегнутом на молнию мешке для трупа. План остался нереализованным.

Когда он пришел в сознание, Мэриан держала его за руку. От морфия он пребывал в блаженном тумане, голова, челюсть и шея побаливали, но не сильно. Под шеей лежала нагретая подушка, и Мэриан была с ним очень ласкова. В Гайд-парк стекались двадцать — тридцать тысяч мусульман требовать чего они там требовали, но из-за морфия это казалось маловажным. Они грозились собрать крупнейший митинг за всю британскую историю, пятьсот тысяч человек, так что двадцать тысяч выглядели пустяком. Отличная штука морфий. Оставаться бы под его воздействием все время — он бы горя тогда не знал.

Потом они поругались с Клариссой из-за того, что она позволила Зафару посмотреть телерепортаж о демонстрации. «Как ты могла?» — возмутился он. «Так вышло», — ответила онаи добавила, что понимает, как он расстроился из-за шествия, но ему не следует отыгрываться на ней. Зафар, взяв трубку, сказал,

что видел его изображение со стрелой, проткнувшей голову. Он видел, как двадцать тысяч мужчин и подростков идут по улицам — не Тегерана, нет, а его родного города — и требуют смерти его отца. Он сказал Зафару: «Люди выставляются перед телекамерами, думают, что это выглядит круто». — «Ничего крутого, — отозвался Зафар. — Это выглядит глупо». Он мог быть великолепен, этот мальчик.

Его друг компьютерщик Гурмукх Сингх высказал в разговоре с ним замечательную идею: почему бы ему не приобрести «сотовый телефон»? Дело в том, что появились телефоны, которые называются «сотовыми». Зарядил батареи — и носишь телефон повсюду с собой, и никто не будет знать, откуда ты позвонил. Имея такой телефон, он сможет дать номер родственникам, друзьям и деловым партнерам, не выдавая своего местонахождения. Вот это мыслища, сказал он, чудесно, просто невероятно. «Я этим займусь», — пообещал Гурмукх.

Сотовый телефон — до смешного громоздкая штука, этакий кирпич с антенной — не заставил себя долго ждать, и его восторг не знал пределов. Он звонил людям, сообщал им номер, и они звонили ему — Самин, Полин и, несколько раз, его друг Майкл Герр, автор классической книги «Репортажи» о вьетнамской войне, который жил в Лондоне и тревожился за него больше, чем кто-либо, больше, если уж на то пошло, чем он сам — вплоть до паранойи. Кадзуо Исигуро, чей роман «Остаток дня» только что вышел и имел огромный успех, позвонил, чтобы сказать, что повсюду, по его мнению, должны появиться новые рецензии на «Шайтанские аяты», причем их авторами должны быть писатели: надо вернуть в центр внимания литературу как таковую. Позвонила Кларисса, чтобы помириться. Один ирландский автор, клиент литературного агентства «А. П. Уотт», где она работала, сказал ей кое-что о своих знакомых строителях-ирландцах, которые закладывали в Бирмингеме фундамент большой новой мечети. Они тайком кинули в цементный раствор экземпляр «Шайтанских аятов». «Так что мечеть будет покоиться на твоей книге», — сказала Кларисса.

Позвонил Майкл Холройд, чтобы сказать: массовое шествие, он считает, резко сдвинуло общественное мнение в сторону осуждения протестующих. Возмущенные тем, что видели на телеэкране, — плакатами «Убить как собаку», «Смерть мерзавцу Рушди», «Лучше умрем, чем оставим его в живых», интервью с двенадцатилетним мальчиком, сказавшим перед камерой, что готов убить мерзавца лично, — люди переставали занимать выжидательную позицию. Выступления Калима Сиддики и Кэта

Стивенса тоже сыграли ему на руку. Пресса, освещая эти события, была, как правило, на его стороне. «Мне противно, — заявил комментатор в лондонской „Таймс“, — видеть, как толпа прет на одного».

В том жарком-прежарком мае его много где видели — и в Женеве, и в Корнуолле, и во многих местах Лондона, и в Оксфорде на званом обеде, который пикетировали мусульмане. Южноафриканский писатель Кристофер Хоуп сказал сослуживцу Клариссы Карадоку Кингу, что лично был на приеме в Оксфорде, где присутствовал человек-невидимка. Тарик Али утверждал, что обедал с ним в каком-то укромном месте. Все эти утверждения были ложны — разве только на свободе, как тень в великой и жуткой сказке Андерсена, гулял, увеселяя гостей на вечеринках, некий призрачный Рушди, пока Джозеф Антон сидел дома. Зажившая своей жизнью тень, которая впервые мелькнула в «Иранских ночах» на сцене «Ройял Корта», появилась еще в одной пьесе, на сей раз в названии. Брайан Кларк, автор пьесы «Чья это жизнь, в конце концов?», элегантно назвал свою очередную вещь «Кто убил Салмана Рушди?». Он позвонил Кларку, чтобы сообщить ему ответ на этот вопрос: «Никто — во всяком случае, пока никто, и будем надеяться, что этого не случится». Кларк предложил изменить название на «Кто убил писателя?», но основа сюжета должна остаться прежней: писатель гибнет от рук иранцев-убийц из-за книги, которую написал. «Художественный вымысел?» Конечно. Может быть кто угодно. Кларк сказал ему, что намерен предложить пьесу для постановки. Его жизнь и смерть становились собственностью других людей. Он был законной добычей.

Вся Англия принимала солнечные ванны, но он сидел взаперти, бледный, обросший. Между тем ему предложили войти в «европейский список» итальянских центристских партий — Республиканской, Либеральной и Радикальной. Последней руководил некто Марко Паннелла — он и сделал предложение, которое дошло до него через офис Падди Ашдауна, лидера британской Либерально-демократической партии. Гиллон предостерег его: «Не делай этого; похоже на пропагандистский трюк». Но Паннелла утверждал, что Европа, он чувствует, должна сделать конкретный жест солидарности с ним и что, если он станет членом Европарламента, любое нападение на него будет считаться нападением на Европарламент и это, может быть, остудит кое-какие горячие головы. Скотленд-Ярд, высшие чины которого, похоже, были не прочь держать его в одиночном заключении, опасался, что такой шаг, возможно, сделает

его положение еще более опасным, ибо подействует на иных мусульман как красная тряпка на быка; и других он тоже может подвергнуть риску. Как он будет себя чувствовать, если результатом его поступка станет атака на те или иные «уязвимые цели в Страсбурге»? В конце концов он решил отклонить приглашение синьора Паннеллы. Он не политик, а писатель. Именно в качестве писателя он искал защиты, именно в качестве писателя хотел себя защищать. Он думал о Хестер Принн, с гордостью носившей алую букву «Б», которая означала «блудница». Его тоже заклеймили теперь этой буквой, только означает она «богохульник». Он тоже, подобно великой героине романа Готорна, должен носить алую букву как знак почета, несмотря на боль.

Ему прислали экземпляр американского журнала *NPQ*, где он с удовольствием увидел статью специалиста по исламу, утверждавшего, что «Шайтанские аяты» вписываются в давнюю мусульманскую традицию сомнений, выражаемых в искусстве, поэзии и философии. Это был одинокий тихий голос душевного здоровья на фоне кошачьего визга мальчишек, жаждущих крови.

Он опять встретился с коммандером Хаули — на сей раз на Торнхилл-креснт в Излингтоне, в дружеском доме озорной австралийки Кэти Летт, автора комических романов, и ее мужа Джеффри Робертсона, королевского адвоката, юридическими услугами которого он пользовался. Хаули напоминал ему щипцы в виде мужской головы и рук, которыми его отец колол грецкие орехи. Надо было положить орех щелкунчику в рот, резко соединить его руки — и орех раскалывался с приятным щелчком. У щипцов был устрашающий подбородок, которому позавидовал бы сам Дик Трейси[89], а рот, если его закрыть, отличался мужественной складкой тонких губ. Таков был коммандер Хаули: при виде его любому ореху впору было затрястись в своей скорлупе. Суровый, серьезный человек. В данном случае, однако, он явился как вестник некоей надежды. Ясное дело, неразумно, согласился он, требовать от человека, чтобы он без конца скитался, снимая временное жилье или пользуясь гостеприимством знакомых. Поэтому принято решение (полицейские — большие любители страдательного залога), что ему позволено (вот оно опять, это странное *позволено*) начать поиски постоянного жилья, чтобы вселиться туда «в середине следующего года или около того». До середины следующего года оставался еще целый год, что не радовало, но мысль, что у него опять будет свой дом и его будут там охранять так же, как всех прочих «клиентов», внушала оптимизм и возвращала самоуважение. Насколько же это будет более достойная жизнь,

чем нынешнее нервное, боязливое существование! Он поблагодарил коммандера Хаули и выразил надежду, что от него не потребуют похоронить себя где-нибудь в глубинке, вдали от родственников и друзей. Нет, сказал Хаули. Всем будет легче, если дом будет расположен внутри «зоны ответственности ГЗД». ГЗД — это Группа защиты дипломатов, подразделение полицейских сил быстрого реагирования. В доме будет укрепленная комната и система «тревожных кнопок», но с этим можно было примириться. Да, сказал он, конечно, я согласен. «Что ж, очень хорошо, — сказал Хаули. — Будем к этому стремиться». И рот щелкунчика захлопнулся.

Этой новостью он не мог поделиться ни с кем, даже с теми, кто оказал ему в тот день гостеприимство. С Кэти Летт он познакомился пять лет назад в Сиднее, когда прогуливался около пляжа Бондай-Бич с Робин Дэвидсон. Из одной квартиры на пятом этаже доносились звуки вечеринки, и, подняв глаза, они увидели женщину, сидящую на перилах балкона спиной к морю. «Эту задницу я могла бы узнать где угодно», — сказала Робин. С этого и началась его дружба с Кэти — она двигалась, так сказать, снизу вверх. Робин исчезла из его жизни, но Кэти осталась. Она переехала в Англию, влюбившись в Джеффри, который ради нее расстался с Найджелой Лоусон[90] (от этого решения всем, кого оно касалось, включая Найджелу, стало лучше). В доме на Торнхилл-кресент, после того как полицейские ушли, Джефф рассуждал о юридических атаках на «Шайтанские аяты» и доказывал, что они провалятся. Его убежденность, его эмоциональный напор действовали подбадривающе. Это был ценный союзник.

Мэриан, вернувшись к нему после вылазки в Лондон сказала, что встретила на платформе метро Ричарда Эйра, директора Национального театра. Увидев ее, Эйр расплакался.

Очень много всего говорилось, и говорилось очень многими, но полиция просила его не подливать своими заявлениями масла в огонь — просила, имея в виду, что масла в огонь подлило бы любое его заявление, каким бы оно ни было. И в голове у него стали во множестве возникать неотосланные письма — они летели в пустоту, как письма Герцога в романе Беллоу, полусумасшедшие, маниакальные отповеди миру, которых он не мог отправлять по адресам.

Уважаемая «Санди телеграф»!

Ваш план, касающийся меня, состоит в том, чтобы я нашел безопасное тайное убежище, скажем в Канаде или в отдаленной

части Шотландии, где местные жители, всегда приглядывающиеся к чужакам, смогли бы вовремя заметить злоумышленников; и чтобы я, обосновавшись там, держал язык за зубами до конца своих дней. Соображение, что я не совершил ничего предосудительного и потому имею право жить как считаю нужным, явно было вами рассмотрено и отброшено как неподходящая основа для возможного решения. Тем не менее я, как ни странно, не собираюсь отказываться от этой нелепой идеи. Взрослый человек, выросший в городе, я, помимо всего прочего, никогда особенно не любил сельскую местность (редкие красивые виды не в счет), да и холодный климат совершенно не по мне, что исключает и Шотландию, и Канаду. Держать язык за зубами я тоже плохо приучен. Если кто-то пытается заткнуть писателю рот, может быть, вы, господа, сами будучи людьми пишущими, согласитесь, что лучший его ответ — не дать этого с собой сделать? Говорить, если уж на то пошло, еще громче и смелее, чем прежде? Петь (если вы, в отличие от меня, умеете петь) еще красивей, еще отважней? Заявлять о себе, если уж на то пошло, еще чаще? Если вы с этим не согласны, заранее прошу у вас прощения. Ибо мой план именно таков.

Уважаемый Брайан Кларк!
Чья это жизнь, в конце концов?

Уважаемый верховный раввин Иммануил Якобовиц!

Мне довелось побывать по крайней мере в одном учебном заведении, где молодых евреев строго и здраво обучали принципами навыкам здравого и строгого мышления. Эти молодые умы были в числе самых впечатляющих и отточенных, с какими я сталкивался, и я уверен: эти юноши поняли бы, что проводить ложные моральные параллели — занятие опасное и неподобающее. Очень жаль, что человек, в котором они могут видеть своего руководителя, пренебрег правилами разумного мышления. «И мистер Рушди, и аятолла злоупотребили свободой слова», — заявили вы. Таким образом, роман, который кому-то нравится, кому-то нет, но в любом случае, по мнению как минимум ряда критиков и обозревателей, представляет собой серьезный литературный труд, поставлен на одну доску с неприкрытым призывом к убийству. Это заявление, нелепость которого очевидна, следовало бы осудить, но вместо этого, уважаемый верховный раввин, Ваши коллеги — архиепископ Кентерберийский и Папа Римский, — по существу, его повторили. Совместно вы призвали к запрету на оскорбление чувств приверженцев всех религий. Однако у постороннего человека, не принадлежащего ни к

одной из них, создается впечатление, что притязания иудаизма, католицизма и Англиканской церкви на верховенство и истинность противоречат как друг другу, так и притязаниям, провозглашаемым исламом и от имени ислама. Если католицизм истинен, то принципы, на которых основана Англиканская церковь, должны быть ложны, и поскольку многие — в том числе короли и папы — думали именно так, велись войны. Ислам недвусмысленно отрицает, что Иисус Христос — сын Божий, и многие мусульманские духовные лица и политики открыто проповедуют антисемитизм. Как в таком случае объяснить это странное единодушие между непримиримыми, казалось бы, силами? Подумайте, уважаемый верховный раввин, о Риме эпохи цезарей. Великие мировые религии можно, пожалуй, уподобить этому великому клану. Какое бы отвращение вы ни питали друг к другу, как бы ни старались спихнуть друг друга на обочину, вы все — члены одной семьи, обитатели единого Божьего Дома. Когда вы чувствуете, что Дому как таковому угрожают какие-то посторонние, будь то дьявольские армии безбожников или даже один-единственный писатель, вы сплачиваете ряды, проявляя впечатляющее рвение и энтузиазм. Римские солдаты, идя в бой сомкнутым строем, образовывали testudo — «черепаху»: солдаты по периметру воздвигали стены из щитов, те же, что находились посередине, поднимали их над головой, создавая крышу. Вы и Ваши коллеги, уважаемый верховный раввин Якобовиц, образовали такую же «черепаху» веры. Вам дела нет до того, как глупо Вы выглядите. Для Вас важна только крепость черепашьего панциря.

Уважаемый Робинзон Крузо!

Представьте себе, что Вам составляет компанию не один Пятница, а четверо, и все они вооружены до зубов. Безопаснее ли Вам будет — как Вам кажется?

Уважаемый депутат парламента Берни Грант!

«Сожжение книг, — сказали Вы в палате общин ровно через день после провозглашения фетвы, — для чернокожих не самое страшное, что есть на свете». Возражения против таких действий, заявили Вы, доказывают, что «белые хотят навязать миру свои ценности». Я знаю, что многие чернокожие лидеры — например, доктор Мартин Лютер Кинг — были убиты из-за своих убеждений. Призыв к убийству человека из-за его убеждений озадаченный посторонний наблюдатель может поэтому расценить как нечто такое, что чернокожего депутата парламента должно, казалось бы, ужаснуть. Вы, однако, против него не возражали. Вы воплощаете в себе, сэр, отвратительное лицо

мультикультурализма, выродившегося в идеологию культурного релятивизма. Культурный релятивизм — это смерть этической мысли, это поддержка права священников-тиранов тиранить паству, права родителей-деспотов уродовать дочерей, права фанатиков ненавидеть гомосексуалистов и евреев, ссылаясь на то, что это элемент их «культуры». Нет, фанатизм, предрассудки, насилие или угроза насилия — никакие не «ценности». Это свидетельство отсутствия человеческих ценностей. Это не проявления особой «культуры» человека. Это признаки отсутствия у него культуры. В таких ключевых вопросах, сэр, вспоминая слова великого черно-белого философа Майкла Джексона, «без разницы, черный ты или белый».

На площади Тяньаньмэнь человек, у которого в руках были сумки с покупками, стоял перед колонной танков, задерживая их продвижение. Каким-нибудь получасом раньше в продуктовом магазине он и не думал ни про какой героизм. Героизм явился к нему непрошеным гостем. Это было 5 июня 1989 года, на третий день бойни, так что он не мог не знать, какая опасность ему угрожает. И все-таки он стоял там и стоял, пока не подошли другие люди в гражданском и не оттащили его в сторону. Кое-кто утверждал, что после этого поступка его увели и застрелили. Число погибших на площади Тяньаньмэнь не было обнародовано и остается неизвестным. В романе Габриэля Гарсиа Маркеса «Столе одиночества» банановая компания, возглавляемая сеньором Брауном (фамилия ассоциируется с фильмом Тарантино[91]), расстреливает три тысячи бастующих рабочих на главной площади Макондо. После этих убийств концы были спрятаны так образцово, что событие можно было отрицать на голубом глазу. Оно все равно что не случилось — разве только в памяти Хосе Аркадио Второго, который все видел. Память оказалась единственным, что сопротивлялось жестокости. Китайские руководители тоже знали: воспоминания — их враг. Убить протестующих — недостаточно. Надо еще подменить правду о них фальшивкой, представить храбрых студентов, отдавших жизни за свободу, извращенцами и негодяями. Китайские власти упорно работали над это фальшивой версией прошлого, и в конце концов она пустила корни. Год, начавшийся с малого ужаса — с фетвы, — затем ознаменовался большим ужасом, от которого бросало в дрожь, ужасом, только возраставшим с годами, по мере того как к бесполезной гибели протестующих добавлялась ложь, уничтожавшая память.

Из Порлок-Уира пора было уезжать. Полицейские нашли ему новое жилье — сдававшийся внаймы коттедж все в том же

Брекон — в деревушке Талибонт. Приехали Мэгги Драббл и Майкл Холройд принять у них свой дом и отпраздновать в нем пятидесятилетие Мэгги. Мэриан в Талибонт отправляться не собиралась: она улетала в Америку. Лара оканчивала Дартмутский колледж, и Мэриан, естественно, хотела присутствовать на выпускной церемонии. Ее отъезд сулил им обоим облегчение. Он видел, что ее терпение на исходе: взгляд еще беспокойней прежнего, напряжение изливается из всех пор, как пот у бегуна-марафонца. Ей нужно было как минимум сделать передышку, а то и совсем выйти из игры. Он мог это понять. Она на это, как говорится, не подписывалась. Война была не ее. «Стой рядом с твоим мужчиной» — требовала расхожая фраза[92], но все в ней кричало криком: «Беги». Может быть, все было бы иначе, если бы они сильней любили друг друга. Но она стояла рядом с мужчиной, с которым не была счастлива. Да, ей необходимо было поехать на выпускную церемонию дочери.

Это был странный ужин вчетвером: они веселились по случаю юбилея Мэгги — и вместе с тем были оглушены историей. Майкл рассказывал смешные вещи про свое необычное детство: его мать не раз просила его помочь ей расстаться с очередным из своих многих мужей, а по крайней мере один из этих мужей просил его писать ей от его имени умоляющие записки в надежде, что она смягчится и останется. И при этом на уме у всех четверых были мировые новости. У всех на устах — площадь Тяньаньмэнь. А еще — вести из Тегерана, где по улицам двинулась погребальная процессия внезапно умершего аятоллы Хомейни. В соседней комнате полицейские, дожидаясь конца смены, отпускали полицейские шуточки. *Сегодня день ГОВН: Гуляй Отсюда, Выходные Начинаются.* Или что-нибудь более философское: *Жизнь — сэндвич с дерьмом. Чем больше имеешь хлеба, тем меньше жрешь дерьма.* Но они, все четверо, смотрели на происходящее в дальней стране: огромная толпа бурлит вокруг катафалка, неудержимо вздымается, опадает, качается, как многоголовое чудище, и вдруг катафалк накренился — саван надорван — и всем стала видна иссохшая белая нога мертвеца. Он смотрел и думал: я не в силах этого понять. Мало было сказать, что людей в громадном количестве свезли автобусами и грузовиками, что кому-то заплатили за эту неистовую скорбь, что многие впали в такой же транс, в какой впадают некоторые фанатики-шииты в день Ашура — в десятый день месяца мухаррам, — когда они хлещут себя и наносят себе шрамы в память о гибели Хусейна ибн Али, внука Пророка, в битве при Кербеле в 680 году. Неуместно было удивляться, почему народ, чьи бесчисленные сыны погибли, пойдя по повелению умершего ныне имама на бессмысленную

войну с Ираком, так горько оплакивает его кончину, нельзя было отмахнуться от этой сцены как от фальшивого спектакля, разыгрываемого угнетенными и запуганными людьми, чей страх перед тираном не уменьшился даже после его смерти; недостаточно было свысока расценить это как ужас, маскирующийся под любовь. Имам был для этих людей связующим звеном с Богом, напрямую соединявшим их с Ним. И вот звено лопнуло. Кто за них теперь заступится?

На следующее утро Мэриан отправилась в Америку. Его отвезли в Талибонт. Домик был крохотный, погода — жуткая. Уединиться трудно. Он и его охранники — добродушный Толстый Джек и новый парень по имени Боб Мейджор с отлично развитой речью, явно офицер с большим будущим, — должны были жить бок о бок. Что еще хуже, не работал сотовый телефон. Никакого сигнала. Раз в день его возили за несколько миль к телефонной будке в сельской глубинке. Навалилась клаустрофобия. «Все это БЕЗ ТОЛКУ, БЕЗ ТОЛКУ», — написал он в дневнике, а потом позвонил Мэриан в Бостон — и все стало еще намного хуже.

Он находился в красной телефонной будке на склоне валлийского холма, шел дождь, в руке был пакетик с монетами, в ухе звучал ее голос. Она рассказывала, как ужинала с Дереком Уолкоттом и Иосифом Бродским и оба нобелевских лауреата сказали ей, что не изменили бы свою жизнь, как сделал он. «Я остался бы дома и вел себя ровно так же, как всегда, — заявил Бродский. — И посмотрел бы, на что они решатся». «Я все им объяснила, — сказала она по телефону. — Я им говорю: он, бедняга, боится за свою жизнь». *Ну, Мэриан, спасибо большое,* подумал он. Иосиф Бродский, сказала она, помассировал ей ступни. Еще лучше. Его жена проводит время в обществе двух альфа-самцов мировой поэзии, они поглаживают ей ступни, а она им объясняет, что ее мужу не хватает смелости жить открыто, храбро, как жили бы они. Она сказала, что всюду появлялась в сари. Не очень-то пряталась, стало быть. Он хотел ей сказать, что сари — это, пожалуй, несколько нарочито, но тут она бросила свою бомбу. В вестибюле ее отеля в Бостоне к ней подошел агент ЦРУ, который представился как Стэнли Говард. Он попросил ее уделить ему время, и они посидели за кофе. «Они знают, где мы были, — сказала она, повысив голос. — Они проникали в дом. Они взяли бумаги из твоего стола и из мусорной корзины. Они мне их предъявили как доказательство того, что они там были и все осматривали. Шрифт, оформление страницы, сам текст — все твое, никаких сомнений. Люди, которые при тебе состоят, даже не подозревали, что они там побывали. Ты не можешь доверять тем, кто с тобой сейчас. Ты должен уехать немедленно. Ты должен

лететь в Америку. Мистер Говард Стэнли спросил меня, реальный у нас брак или ты просто хотел воспользоваться им, чтобы попасть в Америку. Я встала на твою защиту, и он сказал: раз так — хорошо, тебя впустят в страну. Ты сможешь жить в Америке и быть свободным человеком».

Мистер Стэнли Говард, мистер Говард Стэнли… Ладно, люди плохо запоминают имена, путают их — такое бывает, это ничего не доказывает. Может быть, эту ошибку даже следует считать признаком того, что она говорит правду. Я хочу уточнить, сказал он. Ты говоришь, к тебе подошел сотрудник ЦРУ и сказал, что они раскрыли крупную операцию британских органов безопасности, вошли в конспиративный дом, забрали там материалы — и никто ничего не заметил? «Да, — подтвердила она, а потом опять: — Ты не в безопасности, тебе надо уехать, не доверяй тем, кто находится около тебя». А у тебя, спросил он, какие планы? Она намеревалась ехать в Дартмут на выпускную церемонию, а потом — в Виргинию к своей сестре Джоан. Ладно, сказал он, я позвоню завтра. Но на следующий день, когда он позвонил, она не взяла трубку.

Боб Мейджор и Толстый Джек, когда он пересказывал им ее сообщение, слушали с серьезными лицами. Потом задали ряд вопросов. Наконец Боб сказал: «Странно все это выглядит». Ни один из шоферов не докладывал, что за ним был «хвост», а они очень хорошо подготовленные люди. Ни один из датчиков, которые они разместили вокруг дома в Порлок-Уире и в самом доме, ни разу не сработал. Не было никаких свидетельств, что в дом входили посторонние. «Что-то не верится». Но он добавил: «Проблема в том, что это говорит ваша жена. А раз так, мы обязаны отнестись к этому серьезно. Жена есть жена». Они передадут информацию наверх, высокому начальству Скотленд-Ярда, и тогда будут приняты решения. А пока, сказал Боб, «боюсь, вам нельзя тут оставаться. Мы должны действовать так, как будто операция провалена. Это значит — не ездить в те места, где вы уже были или куда планировали поехать. Нам надо все переменить. Тут дальше быть нельзя».

— Надо переезжать в Лондон, — сказал он. — Через несколько дней моему сыну исполняется десять лет.

— Ищите себе там жилье, — сказал Толстый Джек.

Впоследствии его иногда спрашивали: *Не теряли ли вы друзей в те дни? Не боялись ли люди, что их увидят рядом с вами?* И он неизменно отвечал: нет, происходило прямо противоположное. Его добрые друзья, когда пришла беда, показали себя с самой лучшей стороны, а люди, которые не были особенно близки к

нему раньше, становились ближе, предлагали помощь, проявляли поразительную щедрость, самоотверженность и храбрость. Благородство тех, кто проявил свои лучшие качества, запомнилось ему куда ярче, чем ненависть — хотя ненависть пылала ярко, что и говорить, — и он навсегда останется им благодарен за их великодушие.

С Джейн Уэлсли они подружились в 1987 году, когда она была продюсером их документального фильма «Загадка полуночи», и с тех пор их дружба постоянно крепла. В Индии ее фамилия открывала многие двери, запертые на крепкие замки. «Из *тех* Уэлсли?» — спрашивали люди и затем начинали чуточку подлизываться к представительнице рода, где были такие деятели, как Артур Уэлсли, который сражался в битве при Серингапатаме, а затем прославился как первый герцог Веллингтон, победитель Бонапарта, и его брат Ричард Уэлсли, 190 лет назад ставший генерал-губернатором Индии, — а ее это больше смущало, чем забавляло. Женщина очень закрытая, она поверяла свои секреты весьма и весьма немногим, и если ты делился с ней секретом, она готова была хранить его до могилы. Она, кроме того, отличалась большой глубиной чувств, таящихся под британской сдержанностью. Когда он позвонил ей, она мигом сказала, что может освободить для него свою собственную квартиру на верхнем этаже дома в Ноттинг-Хилле «на столько времени, на сколько понадобится, если это жилье вам подойдет». Особому отделу этот вариант не очень понравился: не дом, а квартира, вход только один, верхний этаж с единственной лестницей и без лифта. На взгляд полицейских — ловушка. Но надо было где-то жить, а другое место за такой короткий срок найти не получалось. Он переехал туда.

Его посетил мистер Гринап и высказал предположение, что Мэриан всю эту историю выдумала.

— Знаете, — спросил он, — сколько всего нужно, чтобы раскрыть такую операцию? Пожалуй, только у американцев и есть для этого возможности, да и им это было бы нелегко. Чтобы незаметно ехать за вашей машиной, им пришлось бы после каждого десятка миль менять машину преследования, устроить карусель из десятка с лишним машин — иначе ваших шоферов не обдурить. Возможно, понадобились бы еще и вертолеты, и спутники. А войти в дом, миновав все ловушки и датчики, — это, честно вам скажу, невозможно. И пусть даже они все это проделали, пусть даже они узнали, где вы живете, вошли в дом, взяли бумаги у вас в кабинете, потом вышли и датчики их не засекли — зачем им было обращаться к вашей жене и предъявлять ей доказательства? Они не могли не понимать, что

она расскажет вам, а вы нам, и что, как только мы узнаем, что они знают, мы сразу поменяем, так что все их труды и расходы пойдут насмарку и они вернутся к исходной точке. И они не могли не понимать, что проникновение в секретную британскую операцию такого рода будет рассматриваться как враждебный акт со стороны ЦРУ, чуть ли не как акт войны против дружественного государства. Зачем они стали бы ей рассказывать? Не видно смысла.

Мистер Гринап сказал, кроме того, что сотовый телефон теперь рассматривается как угроза безопасности и использовать его нельзя — по крайней мере какое-то время.

Его скрытно вывели из здания, и он позвонил Мэриан из телефонной будки в Хэмпстеде. В ее голосе чувствовалось смятение. То, что он не хотел отказывать в доверии своей охране, встревожило ее. Она пыталась решить, возвращаться ли, и если да, то когда.

Накануне своего десятого дня рождения к нему приехал Зафар и остался переночевать. Он просил маму купить ему игрушечную железную дорогу, но почему-то Кларисса забыла ее прислать, хотя счет прислать не забыла. Не важно. Главное — его сын впервые за несколько месяцев ночевал с ним под одной крышей, и это было чрезвычайно ценно. Полицейские купили торт, и 17 июня 1989 года они отпраздновали дату так весело, как только могли. Улыбающееся лицо сына подкрепляло его силы лучше чем что бы то ни было на свете. Вечером Зафара отвезли обратно к матери, а на следующее утро прилетела Мэриан.

С каменными лицами, как настоящая пара комиков, ее встретили в аэропорту Хитроу Уилл Уилсон и Уилл Уилтон — высокопоставленные сотрудники, соответственно, Особого отдела и британской разведки. Они отвезли ее на допрос, который длился несколько часов. Когда она наконец приехала в квартиру Джейн, лицо у нее было бледное и она была явно напугана. В тот вечер они мало разговаривали. Он не знал, как с ней говорить, не знал, чему верить.

Ему не было *позволено* дольше оставаться в Лондоне. Полиция нашла куда переехать: в гостиницу типа «постель и завтрак» под названием «Дайк-Хаус» в деревне Гладестри в графстве Поуик. Итак, обратно в Валлийскую марку[93]. «Дайк-Хаус» («Дом у вала») — бывший дом приходского священника, построенный в начале века, — представлял собой скромное здание с островерхой крышей поблизости от вала Оффы[94] у основания кряжа Хергест-Ридж. Поскольку Джефф Татт, который содержал гостиницу с женой Кристиной, был отставным полицейским, место сочли безопасным. А тем временем в

большом мире требование мусульман, чтобы его привлекли к ответственности за оскорбление святынь, согласился рассматривать кассационный суд, в Брадфорде против него опять митинговали, и при этом сорок четыре человека были арестованы. Епископ Брадфордский призвал к прекращению подобных протестов. Но казалось маловероятным, что они прекратятся.

Уилл Уилсон и Уилл Уилтон приехали к нему в Гладестри и попросили, чтобы Мэриан при разговоре не присутствовала, что привело ее в ярость. Стуча каблуками, она ушла на долгую прогулку, а они сказали ему, что ее сообщение было рассмотрено очень серьезно, что о нем докладывали британскому премьер-министру и президенту Соединенных Штатов и что после тщательного расследования проводившие его сотрудники пришли к выводу, что ее утверждения абсолютно ложны. «Я понимаю, это трудная для вас ситуация, — сказал Уилсон, — потому что жене вам хотелось бы доверять». Они разъяснили тактику, которую применили, допрашивая ее. Ничего похожего на «допрос третьей степени», столь любимый кинематографистами. По большей части они основывались на повторениях и детализации. Как она узнала, что мистер Стэнли Говард или Говард Стэнли — сотрудник ЦРУ? Показал ли он ей удостоверение? Как оно выглядело? Была ли на нем фотография? Была ли подпись? Оно походило на кредитную карту или складывалось как книжечка? «И много всякого другого в таком духе, — сказал Уилл Уилтон. — Мелочи очень полезны в нашей работе». Они заставили ее повторить свою историю много раз. «Когда говорится одно и то же без каких-либо изменений, — объяснили они, — мы на сто процентов уверены, что это неправда». Если человек говорит правду, он никогда не расскажет все дважды совершенно одинаково.

— Все это выдумка, — заключил Уилл Уилсон. — Мы в этом убеждены.

Итак ему предлагают поверить, что его жена выдумала заговор ЦРУ против него. Но зачем ей это могло понадобиться? Может быть, она, всеми силами стремясь вырваться из этого британского подполья, решила поколебать его веру в своих защитников, чтобы он уехал из Англии в Америку — и она вместе с ним? Но как в этом случае ей не пришло в голову простое соображение: если он поверит, что ЦРУ потратило столько усилий на его поиски, не сочтет ли он американские спецслужбы заслуживающими еще меньшего доверия, чем Особый отдел? Чего, в конце концов, ЦРУ могло этим добиваться? Может быть, оно намерено обменять его на американских заложников в

Ливане? А если так, не опаснее ли ему находиться на американской земле, чем жить в Британии? У него голова шла кругом. Безумие. Подлинное безумие.

— Все это выдумка, — мягко повторил Уилл Уилтон. — Ничего подобного не было.

Она долго с ним говорила, долго доказывала ему, что лгут полицейские, а не она. Пустила в ход, чтобы убедить его в своей правдивости, свои немалые физические чары. Потом разозлилась, потом расплакалась, потом замолчала, потом опять сделалась говорлива. Этот спектакль, этот необычайный последний бой, который она дала, длился бóльшую часть ночи. Но он уже принял решение. Доказательств правдивости или лживости ее слов у него не было; но шансы были не в ее пользу. Он больше не мог ей доверять. Лучше жить одному, чем позволить ей остаться. Он попросил ее уехать.

Многие ее вещи все еще были в Порлок-Уире, и один из шоферов повез ее туда их уложить. Она позвонила Самин и его друзьям, и все, что она им сказала, было неправдой. Он начинал ее бояться — бояться того, что она могла сделать или сказать, выйдя из-под колпака охраны. Через несколько месяцев, когда она решила рассказать свою версию их расставания воскресной газете, она заявила, что полицейские отвезли ее в какую-то глухомань и высадили у телефонной будки, чтобы дальше она заботилась о себе сама. Полнейшая ложь. На самом деле у нее была его машина и ключи от дома в деревне Бакнелл, и теперь, когда стали считать, что из-за нее могут возникнуть проблемы для его безопасности, он не мог больше использовать никакое жилье, о котором она знала. Так что в действительности не она, а он опять стал бездомным из-за их расставания.

Новые бомбы — *снова* в книжном магазине «Коллетс», а затем на улице перед универсальным магазином «Либерти», а затем у книжных магазинов «Пенгуин» в четырех британских городах, — новые демонстрации, новые суды, новые обвинения со стороны мусульман в «нечестии», новые леденящие кровь голоса из Ирана (президент Рафсанджани заявил, что смертный приговор отмене не подлежит и что этот приговор поддерживает «весь мусульманский мир») и из ядовитых уст британского садового гнома Сиддики, новые подбадривающие жесты солидарности со стороны друзей и сочувствующих в Англии, Америке и Европе — чтение здесь, спектакль там, двенадцать тысяч собранных в разных странах подписей под заявлением «Писатели и читатели — в поддержку Салмана Рушди». Кампанию в его защиту вела

уважаемая правозащитная организация «Статья 19», названная в честь той статьи Всеобщей декларации прав человека, где говорится о свободе слова. «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их, — гласит статья. — Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». Просто и ясно. Там не добавлено: «за исключением тех случаев, когда это кого-либо огорчает, особенно того, кто охотно прибегает к насилию». Там не говорится: «за исключением тех случаев, когда религиозные лидеры издают постановления, предписывающие иное, и приказывают совершать убийства». Ему опять пришел на ум Беллоу — в начале романа «Приключения Оги Марча» он написал знаменитые слова: «Всем известно, что от подавления не приходится ждать ни разборчивости, ни аккуратности. Если ты зажимаешь одно, ты зажимаешь и другое по соседству». Джон Кеннеди, не такой словоохотливый, как Оги, сумел выразить то же самое двумя слонами: «Свобода неделима».

Этими идеями он был жив, почти не сознавая того. Творческая свобода была воздухом, которым он дышал, и, поскольку воздуха этого хватало с избытком, странно было бы было пускаться в рассуждения о том, как важно, чтобы человеку было чем дышать. Но как только начались попытки перекрыть воздух, сразу стало насущно необходимо выразить возмущение этими попытками.

Между тем бóльшую часть времени он тратил, пытаясь решить еще более насущную проблему: где провести следующую неделю своей жизни? И снова на помощь пришла Джейн Уэлсли. У нее был маленький домик в Эйршире, и с обычной своей стремительной отзывчивостью она предложила ему им воспользоваться. «Ягуары» понеслись на север. В шотландской глубинке, однако, возникла та же проблема, что возникала везде, куда бы они ни отправлялись. Спрятать человека-невидимку — дело нехитрое. А вот объяснить соседям Джейн, что это за два «ягуара» заезжают к ней в сарай, — задачка потруднее. И что это за четверо верзил рыскают по окрестностям? Подозрения местных жителей легко возбудить и трудно рассеять. К тому же шотландский Особый отдел, к чьей епархии они теперь относились, не хотел целиком оставлять это щекотливое дело в руках пришельцев-англичан. И он прислал свою команду, так что теперь в сарае Джейн и около него стояли четыре могучие машины и было восемь могучих парней, которые спорили, жестикулировали, а некоторые сидели всю ночь в своих машинах.

«Проблема, — сказал он своим охранникам, — в том, как спрятать *вас*».

Джейн приехала присмотреть за ним и привезла с собой Билла Бьюфорда. Билл, более чем наполовину влюбленный в нее, носился за ней по пятам, как восторженный щенок американской породы, она же обращалась с ним тепло, аристократично, с веселым изумлением. Он скакал по дому, счастливый Шут при дворе королевы Джейн, ему не хватало только пестрого костюма и колпака с бубенчиками. Эйршир, где сквозь облака пробилось солнце, на короткое время стал блаженным островом посреди бури. Билл сказал: «Тебе нужно хорошее место, чтобы спокойно пожить какое-то время. И я тебе такое место найду».

Билл — Чудак с большой буквы, непременно с большой, иначе его диапазона не передать. Любитель размахивать руками и заключать людей в объятия, человек, чья речь состоит из восклицаний и интонационных ударений, повар-самоучка, бывший игрок в американский футбол, читатель-интеллектуал, глубоко изучивший авторов елизаветинской эпохи, артист развлекательного жанра, наполовину циркач, наполовину яйцеголовый эрудит. Он взял издохший кембриджский студенческий журнальчик «Гранта» и возродил его, сделав родным журналом для всего своего даровитого поколения. На его страницах цвели произведения Эмиса-сына, Макьюэна, Барнса, Чатвина, Исигуро, Фентона и Анджелы Картер; Джордж Стайнер позволил Бьюфорду целиком опубликовать свою повесть о Гитлере «Переезд А. Г. в Сан-Кристобаль»; он изобрел для жанра, в котором работали американские писатели Карвер, Форд, Вулф и Джой Уильямс, название «грязный реализм»; с первого номера «Гранты», посвященного путешествиям, во многом началась мода на путевые записки; вместе с тем он платил своим авторам возмутительно мало, приводил многих из них в бешенство, месяцами не читая присланные вещи или не принимая по их поводу решения, других приводил в бешенство своим стилем редактирования, настолько агрессивным и бесцеремонным, что порой ему приходилось пускать в ход все свое легендарное обаяние, чтобы остаться непобитым; он всучивал людям подписку на ежеквартальный журнал, который ни разу за все шестнадцать лет, что он провел у руля, не выпустил за год более трех номеров. Куда бы он ни приезжал, он привозил с собой великолепное вино и готовил блюда для серии пиршеств — всегда с густыми соусами и большим количеством сочной дичи, — словом, инфарктную еду, и комнату, где он находился, обычно наполнял смех. Он к тому же всегда был отличным рассказчиком и большим сплетником, и могло показаться, что он последний человек на

свете, кого можно посвятить в секреты тайного мира Джозефа Антона. Но все эти секреты были сохранены. Веселый экстраверт Билл Бьюфорд оказался человеком, которому можно доверить свою жизнь.

— Я этим займусь, — сказал Билл. — Мы эту проблему решим.

Двум женщинам, которых он раньше не знал, суждено было сыграть в его истории важную роль. Фрэнсис Д'Соуса и Кармел Бедфорд. Кармел, крупную ирландку, отличавшуюся горячностью суждений, «Статья 19» назначила секретарем Международного комитета защиты Рушди; Фрэнсис, которая недавно возглавила «Статью 19», была ее начальницей. Комитет, созданный совершенно независимо от человека, которого он намеревался защищать, для борьбы с «вооруженной цензурой», пользовался поддержкой Совета по искусству, ПЕН-клуба, Национального союза журналистов, Общества авторов, Гильдии писателей и многих других организаций. Он не имел к его возникновению никакого отношения, но год от года его взаимодействие с Фрэнсис и Кармел делалось все более тесным, и они стали его незаменимыми политическими союзницами.

Они видели его очень разным — угнетенным, воинственным, благоразумным, жалеющим себя, управляемым, слабым, солипсистски настроенным, сильным, мелочным, решительным — и, что бы ни было, всегда стояли с ним бок о бок. Фрэнсис — хрупкого сложения, элегантная, темноволосая, когда надо — сурово сосредоточенная, когда весело — по-детски смешливая, — женщина поразительная. Она работала и в джунглях Борнео, и в афганских горах с муджахеддинами. У нее быстрый, острый ум и большое материнское сердце. Ему повезло с этими *compraňeras*[95]. Надо было очень много всего сделать.

Ему опять разрешили пользоваться сотовым телефоном, и они, встревоженные, позвонили ему. В офис «Статьи 19» неожиданно пришла Мэриан и сказала, что намерена на правах жены взять на себя ведущую роль в кампании по его защите. Ему нужен, заявила она, какой-то рупор, и этим рупором будет она. «Мы просто хотели уточнить, — сказала ему Фрэнсис со своей обычной осторожностью, — поддерживаете ли вы это, хотите ли, чтобы так было». — «Нет!» — чуть не заорал он. Это было прямо противоположно тому, чего он хотел: ни при каких обстоятельствах Мэриан не должна была иметь ничего общего с этой кампанией, ей нельзя было позволять говорить ни от имени комитета, ни от его имени. «Ясно, — промолвила Фрэнсис задумчиво. — Мне и самой так показалось».

Мэриан оставляла ему злые сообщения: банальный кризис супружеских отношений приобрел из-за того, что их жизнь стала похожа на триллер, черты гротескной мелодрамы. *Почему ты мне не звонишь? Я буду говорить с газетчиками.* Он ей позвонил, и на какое-то время она унялась. Но потом заявила газете «Индепендент», что, хотя «с душевным здоровьем у человека все в полном порядке, человек живет жизнью параноика и шизофреника». Она не сказала определенно, кого имеет в виду под словом «человек».

Позвонила и Кларисса. Она хотела, чтобы он купил ей новый дом. У нее возникло ощущение, что ей надо переехать, и, поскольку причина в нем, ему надо будет возместить ей расходы. Это его долг перед ней и сыном.

Затем — опять жизнь в гостиницах, которые содержали отставные полицейские (выбор таких вариантов оказался богатым): сначала в Истоне, графство Дорсет, потом в Солкоме, графство Девон. Вид в Девоне открывался превосходный: внизу — Солкомский залив, освещенный солнцем, с плывущими по нему парусниками, вверху — кружащие чайки. Билл трудился над тем, чтобы снять ему дом в Эссексе. «Дай мне несколько дней», — сказал он.

Его друг Нуруддин Фарах предложил стать посредником между ним и исламским интеллектуалом Али Мазруи, чтобы попытаться выйти из тупика, возникшего из-за фетвы. «Хорошо, — сказал он Нуруддину, — но я не собираюсь ни извиняться, ни изымать книгу». Через некоторое время Нуруддин признал, что попытка не удалась: «Они требуют больше, чем ты согласен им дать». За годы фетвы к нему еще не раз будут обращаться люди, утверждающие, что у них есть «особые каналы», благодаря которым проблему можно решить, и предлагающие свое посредничество. В числе прочих — пакистанец Шейх Матин, обратившийся к Эндрю в Нью-Йорке, и британско-иранский бизнесмен сэр Дэвид Эллайенс. Неизменно эти попытки оканчивались ничем.

Позвонил Билл и сообщил новость, которая его, Билла, наполовину позабавила, наполовину взбесила.

— Твое стихотворение, — сказал он. — Брадфордский совет мечетей хочет, чтобы его запретили.

В последнем номере журнал «Гранта», в нарушение своего правила не печатать поэзию, опубликовал его стихотворение о том, какие чувства он испытывает, под название «6 марта 1989 года». Оно заканчивалось строчками, подтверждающими его решимость

не умолкать. Петь, беснованью вопреки,
петь (хоть мечты и гибнут в облаке тоски)
хвалу всем бабочкам, надетым на штыки.

«Ты не хочешь со мной жить, потому что я писательница, — сказала Мэриан в последнем из сообщений, надиктованных на автоответчик. — Но у тебя нет монополии на талант». Она хотела опубликовать свой рассказ Croeso i Gymru о том, как они «были в бегах в Уэльсе». И написать про бомбу перед магазином «Либерти».

Телефон был для него источником жизни, но порой он приносил неприятные новости. Из Дели позвонила Анита Десаи[96]. Она была угнетена тем, какими «отгороженными друг от друга» стали люди. Она побывала в гостях у подруги — продюсера Шамы Хабибуллы, — и там была семидесятишестилетняя мать Шамы Атья Хосейн, видная писательница, автор книги «Солнечный свет на разбитой колонне» и некогда приятельница его матери. Атья пожаловалась, что из-за истории с «Шайтанскими аятами» у нее много неприятностей. «В моем возрасте это несправедливо», — сказала она.

Он постоянно поддерживал связь с Эндрю и Гиллоном. Отношения с «Вайкинг — Пенгуин» стремительно портились. Встал вопрос об издании «Шайтанских аятов» в мягкой обложке, и похоже было, что Питер Майер ищет способа отказаться от этого. Эндрю и Гиллон просили Майера организовать личную встречу, и он ответил, что любая такая встреча может состояться только в присутствии Мартина Гарбуса — юриста издательства «Пенгуин». Это было ново: оказывается, встреча автора и издателя — *этого* автора и *этого* издателя — возможна только при участии юриста. Это показывало, насколько широка стала трещина.

Он позвонил Тони Лейси, старшему редактору британского филиала «Вайкинга», и Тони постарался его успокоить: мол, все будет в порядке. Он позвонил Питеру Майеру, и разговор с издателем успокоения не принес. Он сказал Питеру, что говорил с сотрудниками Особого отдела и их совет состоял в том, что безопаснее всего — *безопаснее всего* — будет действовать обычным порядком. Любое отклонение от нормального поведения противники книги воспримут как признак слабости, что побудит их броситься в атаку с удвоенной яростью. Если нормальная издательская практика состоит в том, чтобы через девять месяцев или год после издания книги в твердом переплете выпускать ее в

мягкой обложке, так надо поступить и сейчас. «Нам дают другие советы по части безопасности», — сказал на это Питер Майер.

Они оба понимали: для того чтобы книга оставалась в печати, дешевое издание в мягкой обложке играет ключевую роль. Если такого издания нет, наступает момент, когда книга в твердом переплете перестает продаваться и исчезает из магазинов. В отсутствие дешевого издания роман, по существу, будет изъят из продажи. Кампания против него увенчается успехом. «Вы знаете, за что мы боремся, — сказал он Майеру. — Это долгая борьба. Итак, если подытожить: будете вы печатать мягкую обложку или нет? Да или нет?» — «Это варварский подход, — ответил Майер. — Я не могу мыслить в таких терминах».

Вскоре после этого разговора «Обсервер» таинственным образом получил довольно точные сведения об обмене мнениями насчет дешевого издания и опубликовал их, изображая в выгодном свете осторожную позицию «Пенгуина». Люди из «Пенгуина» отрицали сотрудничество с газетой. Однако Блейк Моррисон, литературный редактор «Обсервера», сказал ему, что у газеты есть «источник внутри издательства» и что цель публикации, по его мнению, — «прикончить дешевое издание». Судя по всему, началась грязная война.

Питер Майер — крупный мужчина с вечно всклокоченными волосами, этакий плюшевый медведь, знаменитый своей привлекательностью для женщин, мягкоголосый, с оленьими глазами, предмет восхищения многих коллег-издателей — теперь, сотрясаемый судорогами «дела Рушди», все больше походил на кролика, внезапно выхваченного из темноты автомобильными фарами. История неслась на него как грузовик, и в нем враждовали между собой, доводя его прямо-таки до паралича, две совершенно несовместимые системы координат, два дискурса: дискурс принципиальности и дискурс страха. Его чувство долга не вызывает сомнений. «От нашей реакции на противостояние из-за „Шайтанских аятов“ зависело, насколько свободно мы сможем в будущем заниматься поисками истины; лишиться этой свободы значило бы лишиться издательского дела в привычном для нас понимании и, если мыслить шире, гражданского общества в привычном для нас понимании», — сказал он в интервью годы спустя. И когда опасность была наибольшей, когда на передовой было жарче всего, он не сдавал позиций. Он получал угрозы в свой адрес и в адрес своей юной дочери. Приходили письма, написанные кровью. Собаки-ищейки и аппаратура для поиска бомб в издательской экспедиции, охранники на каждом шагу — из-за всего этого помещения издательства в Лондоне и Нью-Йорке

походили не на офисы, а на зону боевых действий. Были опасения по поводу возможных взрывов, были эвакуации, угрозы, поношения. И все-таки фронт удалось удержать. Это останется в истории издательского дела как одна из ее славных глав, как одна из великих битв в защиту идеи, ради принципа свободы, и Майера будут помнить как лидера этой героической команды.

Хотя не обошлось без «но».

Месяцы давления сказались на Майере, ослабили его волю. Он начал, похоже, убеждать себя, что сделал все, что от него требовалось. Книга вышла и распространялась, и он даже готов был гарантировать, что издание в твердом переплете будет распространяться сколь угодно долго, а что касается книги в мягкой обложке — ее можно будет издать когда-нибудь потом, через неопределенное время, когда опасность минует. А пока делать что-либо еще, из-за чего могут возникнуть новые угрозы ему самому, его семье и персоналу, необходимости нет. У него начали появляться проблемы с профсоюзом. Его беспокоит, сказал он, судьба человека, который встает рядом с ним перед писсуаром на издательском складе. Что он скажет родным своего «собрата по нужде», если с ним случится беда? Между Эндрю, Гиллоном, Майером и автором книги, подвергшейся атаке, начали сновать туда-сюда письма. Синтаксис писем Майера становился все запутаннее, что свидетельствовало о его непростом внутреннем состоянии. Для Эндрю, Гиллона и Джозефа Антона (он же «полярная крачка») чтение вслух писем Майера во время телефонных разговоров или очень редких личных встреч стало ритуальной данью черному юмору. То было время, когда смешное надо было находить в темных местах.

Майер старался объяснить, почему он хочет, чтобы на встрече присутствовал его юрист и друг Мартин Гарбус, не признавая при этом, что желает его участия по юридическим причинам: «Встретиться с Вами для меня важнее, чем настаивать на каких бы то ни было аспектах встречи по каким бы то ни было причинам, и тут нет ровно ничего личного… Я отдаю себе отчет в том, что порой людям трудно сойти с избранных ими однажды позиций, и, говоря это, я не имею в виду Вас в исключительном смысле; ровно то же самое я могу сказать о себе или о нас. Иногда, я подумал, бывает так, что в переговорах случается загвоздка (при этом все действуют из лучших побуждений), и тогда выход порой может предложить сочувствующее третье лицо, оно может, выслушав обе стороны, выдвинуть идею, полезную для всех. Не всегда так получается, я знаю, но последнее, чего я бы хотел, — это отсечь такую возможность, особенно когда в нашем распоряжении имеется столь искушенный в посредничестве человек… Сейчас я

собираюсь поэтому попросить Марти прилететь в Лондон, ведь, пока его здесь нет, о его участии говорить не приходится». К этому моменту их смех уже стал истерическим, и завершить ритуальное чтение было не так-то просто. «Как Вы легко можете понять из сказанного выше, — гласила ударная концовка письма, — я с нетерпением жду встречи с Вами».

Он, автор, встречи с которым с нетерпением ждал Майер, просил выпустить издание в мягкой обложке не позднее конца 1989 года, потому что, пока публикация не была осуществлена полностью, нельзя было рассчитывать, что утихнет шум по ее поводу. Депутаты парламента от Лейбористской партии, подобные Рою Хаттерсли и Максу Мэддену, целенаправленно старались предотвратить выход дешевого издания, чтобы ублажить своих избирателей-мусульман, и это была лишняя причина поторопиться. Нельзя было надеяться на мир, пока издательский цикл не пройден до конца. Коммерческих причин для отсрочки тоже не было. Книга в твердом переплете, до каких-то пор продававшаяся хорошо, почти перестала продаваться, исчезла из всех англоязычных списков бестселлеров и во многих книжных магазинах из-за слабого спроса просто отсутствовала. По обычным издательским меркам самое время было выпустить дешевое издание.

Были и другие доводы. Как раз тогда по всей Европе выходили в свет переводы романа — в частности, во Франции, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландах, Португалии и Германии. Дешевые издания в Великобритании и Соединенных Штатах выглядели бы как часть этого «естественного» процесса, и это, считала полиция, был бы самый безопасный образ действий. В Германии, после того как издательство «Кипенхойер и Витч» аннулировало договор, для публикации романа был образован консорциум издателей, книготорговцев, видных писателей и общественных деятелей под названием «Artikel 19»[97], и эта публикация должна была состояться после Франкфуртской книжной ярмарки. Если бы Питер Майер захотел создать такой же консорциум, чтобы, так сказать, размазать риск, это могло бы стать возможным решением. Прежде всего он хотел сказать Майеру — и сказал, когда встреча между ними наконец состоялась, — вот что: «Питер, вы одолели самую трудную часть. Проявляя огромное упорство, вы и все остальные сотрудники „Вайкинг — Пенгуин“ проскакали с этой книгой почти весь маршрут, полный опасностей. Прошу вас, не спасуйте перед последним барьером. Возьмете этот барьер — покроете себя славой. Нет — ваша слава навсегда останется неполной».

Встреча произошла. Его тайком доставили в Ноттинг-Хилл в

дом Алана Йентоба, там его уже ждали Эндрю, Гиллон, Питер Майер и Мартин Гарбус. Никакого соглашения достичь не удалось. Майер сказал, что «постарается уговорить своих людей выпустить дешевое издание в первой половине 1990 года». Даты он не назвал. Больше ничего даже отдаленно напоминающего конструктивное сказано не было. «Искушенный в посредничестве» Гарбус на поверку оказался невыносимым человеком, жутко самодовольным и малополезным. Все это была зряшная трата времени.

Многое из того, что Майер писал в других письмах, отнюдь не было смешным. А кое-что было оскорбительным. Эндрю и Гиллон сообщили Майеру, что, постольку-поскольку автору позволяет его неустроенность, он работает над новой книгой «Гарун и и Море Историй» — будущим подарком от отца десятилетнему Зафару Рушди. Майер ответил, что его компания не готова рассматривать возможность выпуска какой-либо новой книги Рушди до тех пор, пока она не изучит окончательный текст, чтобы понять, не вызовет ли книга нового конфликта. Когда его компания взялась публиковать «Шайтанские аяты», никто в ней, писал Майер, не знал толком, что это за штука такая — Коран. И теперь приобрести еще одну книгу того же автора и, когда поднимется шум, признать, что не читали рукопись целиком, — этого они себе позволить не могут. Автору романа стало ясно, что Майер начал считать его виновником случившегося и возможным источником новых неприятностей.

Этот взгляд на него стал достоянием публики, когда газета «Индепендент» напечатала биографический очерк о Майере. Анонимный автор очерка, основательно пообщавшись с Майером, писал: «Майер, ненасытный читатель, некогда заявивший, что „у каждой книги есть душа“, проглядел под обложкой одной из книг религиозную бомбу замедленного действия. Рушди дважды спросили — первый раз до того, как „Пенгуин“ приобрел права на книгу, другой раз после, — что означает скандально известная ныне глава „Махунд“. Его ответы были странно уклончивыми. „Не беспокойтесь, — сказал он среди прочего. — Она не так уж важна для сюжета“. „Боже мой, как это по нам ударило!“ — воскликнул позднее один сотрудник „Пенгуина“».

Уважаемый анонимный автор биографического очерка!

Если я, оказывая Вам уважение, предположу, что Вы понимаете смысл своих собственных фраз, я должен буду сделать вывод: Вы подразумевали, что «религиозная бомба замедленного действия» в моем романе — это его «душа», которую Питер Майер

проглядел. Все прочее в этом пассаже прозрачно намекает на то, что я подложил эту бомбу намеренно, а затем намеренно ввел «Пенгуин» в заблуждение по ее поводу. Это, уважаемый аноним, не просто ложь — это ложь клеветническая. Однако я достаточно много знаю о журналистах — в том числе, скажу так, о журналистах из так называемых «солидных» изданий, — чтобы понимать, что, вполне способный преувеличить или исказить то, что Вам стало известно, Вы вряд ли решились бы печатать то, чему не имеете подтверждения вовсе. Чистый вымысел — не по Вашей части. Отсюда я заключаю, что Вы более или менее точно передали впечатление, которое сложилось у Вас после разговоров с Питера Майером и другими «сотрудниками» и, возможно, сотрудницами «Пенгуина». Неужели Вам, уважаемый аноним, показалось правдоподобным, будто писатель, потративший на книгу почти пять лет труда, сказал о главе длиной в сорок страниц, что она «не так уж важна для сюжета»? Почему Вам не пришло в голову честности ради поинтересоваться у меня через моих агентов, действительно ли меня спрашивали — дважды! — об этой «не такой уж важной» главе и действительно ли я дал «странно уклончивые» ответы? Ваше небрежение говорит — не может не говорить — о том, что такова картина, которую Вы хотели нарисовать: картина, в которой я — коварный обманщик, а Питер Майер — герой, верный своим принципам, готовый отстаивать книгу, чей автор хитростью создал у него ложное впечатление, что в ней нет бомбы замедленного действия. Я по собственной воле навлек на себя неприятности, и теперь другие должны расплачиваться: вот в какой сюжет меня хотят вставить, дополняя будничные ограничения, которым я подвергаюсь, тюрьмой морального свойства. Сообщаю Вам, сэр, что в эту тюрьму я садиться не собираюсь.

Он позвонил Майеру, и тот сказал, что не имеет отношения к инсинуациям газеты и не думает, что кто-либо из сотрудников «Пенгуина» говорил с журналистом. «Если вам станет известно, кто это ему сказал, — добавил он, — сообщите мне, и я уволю этого человека». У него были в газете свои источники, и от одного из них поступили сведения, что сотрудником, неофициально поговорившим с журналистом, был Тревор Гловер, директор-распорядитель британского филиала «Пенгуина». Он передал эту информацию Питеру Майеру, но тот сказал, что не верит ей. Тревора Гловера не уволили, и Майер по-прежнему отказывался обсуждать «Гаруна и Море Историй», пока книга не прочитана и не стало ясно, что в ней нет бомб замедленного действия. Отношения между автором и издательством, по существу,

прекратились. Когда автор убежден, что его издатели настраивают против него прессу, — что тут можно сказать?

Билл Бьюфорд снял дом в Эссексе, в деревне под названием Литтл-Бардфилд. Стоило это дорого, но тогда везде было дорого. «Тебе понравится, — сказал Билл. — Как раз то, что тебе надо». Билл взял на себя роль подставного лица, сняв дом на свое имя на полгода с возможностью продления. Хозяин «уехал за границу». Это был старый, построенный в начале XIX века дом приходского священника, архитектурный памятник в стиле королевы Анны с современными элементами. Полицейским здесь пришлось по душе: вход был скрыт от посторонних взглядов, что упрощало приезды и отъезды, и вообще дом стоял не на виду, потому что его окружал приусадебный участок. При нем имелся старый сад с большими тенистыми деревьями и была лужайка, полого спускавшаяся к красивому пруду, где стояла на одной ноге скульптура цапли. После всех крохотных коттеджиков и тесных гостиниц это место казалось настоящим дворцом. Билл, изображая из себя «жильца», приезжал так часто, как только мог. И Эссекс был гораздо ближе от Лондона, чем Шотландия, Поуис или Девон. Легче будет видеться с Зафаром, хотя полицейские по-прежнему отказывались привозить Зафара к нему. Они боялись, что десятилетний мальчик проговорится в школе. Они его недооценивали. Это был мальчик с большим даром самоконтроля, и он понимал, что речь идет о безопасности его отца. За все годы жизни отца под охраной он не обронил ни одной неосторожной фразы.

Комфортабельная тюрьма — все равно тюрьма. В гостиной висели старые портреты: на одном изображена фрейлина при дворе Елизаветы I, на другом — некая мисс Бастард, которая ему сразу понравилась. Это были окна в другой мир, но он не мог через них никуда выбраться. У него не было в кармане ключа от полного мебели под старину дома, съем которого стоил ему небольшого состояния, и он не мог выйти из передней калитки на деревенскую улицу. Ему приходилось писать списки продуктов, за которыми полицейский ездил в супермаркет за много миль, чтобы не возбуждать подозрений. Ему приходилось всякий раз, когда появлялась уборщица, запираться в ванной, или же его заранее куда-нибудь увозили. В таких случаях в нем неизменно волной поднимался стыд. Потом уборщица отказалась приходить, заявив, что в доме священника поселились «странные мужчины». Это, конечно, его обеспокоило. Вновь оказалось трудней объяснить окружающим присутствие этих парней, чем скрыть его

присутствие. Лишившись уборщицы, они стали вытирать пыль и пылесосить сами. Полицейские убирали свою часть дома, он — свою. Это ему больше нравилось, чем пользоваться услугами уборщицы.

Многие в те годы — он не раз это замечал — считали, что он живет в некоем подобии камеры-одиночки или внутри огромного сейфа с глазком, через который за ним наблюдают его охранники, живет один, вечно один; в этом одиночном заключении, задавались люди вопросом, разве сможет этот чрезвычайно словоохотливый писатель сохранить связь с реальностью, литературный талант, душевное здоровье? На самом же деле он был сейчас в большей степени на людях, чем когда-либо. Как все писатели, он был накоротке с одиночеством, привычен к тому, чтобы несколько часов в день проводить наедине с собой. Те, с кем он жил раньше, приноравливались к этой его потребности в тишине. А теперь он делил жилье с четырьмя вооруженными верзилами, непривычными к бездействию, с людьми, прямо противоположными всему книжному, кабинетному. Они гремели, стучали, громко хохотали, топали — их присутствия трудно было не заметить. Он закрывал в доме двери — они оставляли их открытыми. Он отступал — они наступали. Их вины в этом не было. Они полагали, что он не прочь пообщаться и что ему это не повредит. Поэтому он должен был прилагать очень большие усилия, чтобы воссоздать вокруг себя пустое пространство, где он мог бы слышать собственные мысли, где он мог бы работать.

Команды охранников продолжали сменяться, и у каждого был свой стиль. Громадный Фил Питт отличался бешеным энтузиазмом по части огнестрельного оружия и был, по меркам Особого отдела, великолепным снайпером, что принесло бы несомненную пользу в случае перестрелки, но делало жизнь бок о бок с ним в доме священника чуточку напряженной. В отделе его прозвали Рэмбо. Дик Биллингтон, полная противоположность Филу, носил очки и улыбался сладкой застенчивой улыбкой. Типичный сельский пастор, какого ожидаешь здесь увидеть, но… с пистолетом. И, конечно, шоферы (ВХИТы). Они сидели в своем крыле эссекского дома, жарили сосиски, играли в карты и помирали от скуки. «Мои друзья — вот кто на самом деле меня защищает, — сказал он однажды Дику Биллингтону и Филу Питту в минуту досады. — Пускают меня в свои дома, снимают мне жилье, хранят мои секреты. А я делаю грязную работу: прячусь в ванных и тому подобное». Дик Биллингтон, когда он заявлял такое, принимал сконфуженный вид, а Фил Питт — тот кипел от злости; Фил был не большой любитель разговоров, и при таких габаритах и пристрастии к огнестрельному оружию

доводить его до кипения вряд ли было разумно. Они терпеливо объясняли ему, что да, их работа выглядит как бездействие, но она выглядит так потому, что активное действие было бы результатом какой-то их грубой ошибки. Искусство охраны — в том, чтобы ничего не происходило. Опытный телохранитель мирится со скукой как с частью своей работы. Скука — это хорошо. Совсем не надо, чтобы становилось интересно. Интересно — значит опасно. Вся штука в том, чтобы скучная жизнь продолжалась.

Они чрезвычайно гордились своей работой. Многие из них говорили ему — всегда одними и теми же словами, которые явно были мантрой подразделения «А»: «Мы ни разу никого не потеряли». Это была успокаивающая мантра, и он часто повторял ее про себя. Впечатляющий факт: за всю долгую историю Особого отдела никто из тех, кого охраняло подразделение «А», не был даже ранен. «Американцы не могут этим похвастаться». Им не нравился американский подход к делу. «Видят проблему — забрасывают ее людьми», — говорили они, имея в виду, что американские отряды телохранителей, как правило, очень велики: десятки человек, а то и больше. Всякий раз, когда какой-нибудь важный американец приезжал в Великобританию, между органами безопасности двух стран начинались одни и те же споры о методах работы. «Мы могли бы в час пик провезти королеву по Оксфорд-стрит в „форде-кортине“ без опознавательных знаков, и никто бы ничего не знал, — говорили они. — А у янки сплошные навороты. Но они потеряли одного президента, правда? И чуть не потеряли еще одного». Каждая страна, сообщили ему, делает это по-своему, имеет свою «культуру охраны». В последующие годы ему предстояло познакомиться не только с избыточной по части личного состава американской системой, но и с пугающим поведением французской RAID (Recherche Assistance Intervention Dissuasion — то есть «Розыск, помощь, вмешательство, устрашение»). «Устрашение» применительно к ребятам из RAID — очень и очень мягко сказано. А их итальянские коллеги имели обыкновение на большой скорости носиться, гудя клаксонами, по городским улицам с торчащими из окон стволами. Если все взвесить, ему повезло с Филом и Диком, с их ненавязчивым подходом к охранному делу.

Они не были безупречны. Случались ошибки. Однажды его привезли домой к Ханифу Курейши[98]. Проведя у Ханифа вечер, он готов был уже отправиться восвояси, когда его друг выбежал на улицу, очень довольный собой, размахивая над головой большим пистолетом в кожаной кобуре.

— Эгей! — с восторгом крикнул Ханиф. — Постойте! Вы пушку забыли!

Он начал писать. *Печальный город, самый печальный город на свете, и до того велика была его печаль, что он даже название свое позабыл.* Он тоже утратил свое имя. Он знал, каково было этому городу. «Наконец-то!» — написал он в дневнике в начале октября, а через несколько дней — «Первая глава окончена!». Написав страниц тридцать — сорок, он дал их Зафару, чтобы проверить, на правильном ли он пути. «Спасибо, — сказал Зафар. — Мне понравилось, папа». Но бешеного восторга в голосе сына не слышалось. «Правда? — переспросил он. — Ты уверен?» — «Да, — сказал Зафар и, помолчав, добавил: — Хотя кому-то может стать скучно». — «*Скучно?!*» Это был крик боли, и Зафар постарался ее смягчить. «Нет, папа, я-то, конечно, все прочту. Я только говорю, что *кому-то может*…» — «Почему скучно? — не отступал он. — Что именно заставляет скучать?» — «Понимаешь, — сказал Зафар, — тут ничего не скачет». Это было точнейшее критическое замечание. Он понял его мгновенно. «Не скачет? — сказал он. — Это я сумею поправить. Дай-ка мне все обратно». И он чуть ли не выхватил машинописные страницы из рук озабоченного сына, а потом принялся его успокаивать: нет, он не обиделся, наоборот, это очень-очень полезно, это, может быть, лучший редакторский совет за всю его жизнь. Через несколько недель он дал Зафару переписанные начальные главы. «Ну как теперь?» — спросил он. «Теперь отлично», — сияя, ответил мальчик.

Герберт Рид (1893—1968) был английский художественный критик — пропагандист работ Генри Мура, Бена Николсона и Барбары Хепуорт, — автор стихов о Первой мировой войне, экзистенциалист и анархист. Много лет в Институте современного искусства на лондонском Мэлле читалась ежегодная мемориальная лекция в память Рида. Осенью 1989 года ИСИ прислал в агентство Гиллона письмо с вопросом, не согласится ли Салман Рушди стать лектором 1990 года.

Почта шла к нему непростым путем. Полиция забирала ее из агентства и издательства, проверяла на взрывчатку и вскрывала. Хотя его постоянно заверяли, что почта доставляется ему полностью, сравнительно малое число оскорбительных писем наводило на мысль, что какая-то фильтрация все же происходит. В Скотленд-Ярде опасались за его психику — выдержит ли он давление, не тронется ли умом совсем — и, без сомнения, сочли за лучшее избавить его от словесных атак правоверных. Письмо из ИСИ прошло через заградительную сеть, и он ответил

согласием. Он мгновенно решил, что напишет об иконоборчестве, о том, что в открытом обществе никакие идеи и верования не могут быть ограждены от всевозможных интеллектуальных атак — философских, сатирических, глубоких, поверхностных, веселых, непочтительных, остроумных. Вся необходимая свобода состоит в том, что само пространство, где ведется разговор, должно быть защищено. Свобода — в дискуссии как таковой, а не в том или ином ее исходе, свобода — в праве разругаться, бросая вызов даже самым заветным верованиям других; свободное общество — царство завихрений, а не безмятежности. Базар противоборствующих воззрений — вот место, где звучит голос свободы. Эти мысли затем вылились в лекцию-эссе «Ничего святого?», и эта лекция, когда о ней было объявлено, стала причиной его первой серьезной конфронтации с британской полицией. Человек-невидимка попытался снова стать видимым, и Скотленд-Ярду это не понравилось.

Уважаемый мистер Шаббир Ахтар!

Я не могу понять, почему Брадфордский совет мечетей, в который вы входите, считает, что может играть роль культурного арбитра, литературного критика и цензора. Я знаю, однако, что выражение «либеральная инквизиция», которое Вы придумали и которым явно гордитесь сверх всякой меры, лишено какого-либо реального смысла. Вспомним, что инквизиция — это суд, созданный Папой IX в 1232 году или около того; его задачей было подавление ереси в Северной Италии и Южной Франции, и он стал печально известен из-за использования пыток. Литературный же мир, который кишит теми, кого Вы и Вам подобные называете еретиками и отступниками, в подавлении ереси, ясное дело, не очень заинтересован. Ересь — можно сказать, хлеб насущный для многих представителей этого мира. Не исключено, однако, что Вы имели в виду испанскую инквизицию — другую пыточную команду, образованную два с половиной века спустя, в 1478 году, — которая известна своей антиисламской направленностью. Наиболее рьяно, впрочем, она преследовала тех, кто перешел из ислама в христианство. Ах да, и из иудаизма тоже. Пытки бывших евреев и бывших мусульман — явление в современном литературном мире довольно редкое. Лично я не пускаю в ход испанский сапог и дыбу уже… дай бог памяти… очень долго. Между тем немалая часть Вашей компании — я имею здесь в виду Совет мечетей, правоверных, которых он, по его словам, представляет, и всех его единомышленников в образованных кругах Великобритании и других стран — готова была проголосовать за то, чтобы писателя казнили за его произведение. (Сообщают, что не далее

как в прошлую пятницу триста тысяч мужчин-мусульман поддержали этот приговор в мечетях по всей Британии.) Четверо из пяти британских мусульман, согласно недавнему опросу института Гэллапа, полагают, что против этого писателя (то бишь меня) должны быть предприняты те или иные действия. Искоренение ереси с использованием насилия — часть вашего, а не нашего проекта. Это Вы, сэр, славите «фанатизм во имя Аллаха». Это Вы заявляете, что христианам следовало бы стыдиться своей христианской терпимости. Это Вы одобряете «воинственный гнев». И при этом называете меня «литературным террористом». Это могло бы показаться смешным, но Вы-то выглядеть смешным, отнюдь не хотите, и я, поразмыслив, прихожу к выводу, что это совсем не смешно. Вы заявили в «Индепендент», что такие произведения, как «Шайтанские аяты» и «Житие Брайана»[99]*, должны быть «удалены из общественного сознания», поскольку используют «негодные приемы». Людей, согласных с Вами в том, что мой роман плох, Вы, может быть, и найдете; а вот посягнув на «Летающий цирк Монти Пайтона», Вы, пользуясь выражением Берти Вустера*[100]*, сглупили. Этот шутовской цирк и его номера любимы многими, и всякая попытка удалить его из общественного сознания будет пресечена армией его поклонников, вооруженных дохлыми попугаями*[101]*, идущих дурацкими походками и распевающих свой гимн «Всегда смотри на светлую сторону жизни»*[102]*. Мне, мистер Шаббир Ахтар, становится ясно, что конфликт из-за «Шайтанских аятов» лучше всего можно определить как конфликт между теми, у кого (как у поклонников «Жития Брайана») есть чувство юмора, и теми, у кого (как, подозреваю, у Вас) этого чувства нет.*

Тем временем он начал работать над другим длинным эссе. Бóльшую часть года он был не просто невидимкой — он был немым невидимкой: сочинял у себя в голове письма, которые не отправлял, а опубликовал лишь несколько рецензий на книги и одно короткое стихотворение, появление которого в «Гранте» вызвало неудовольствие не только Брэдфордского совета мечетей, но, по словам Питера Майера, и персонала издательской группы «Вайкинг — Пенгуин»: часть его, судя по всему, склонялась к мнению мистера Шаббира Ахтара, что этот автор должен быть «удален из общественного сознания». Но теперь он скажет свое слово. Он поговорил с Эндрю и Гиллоном. Это неизбежно будет длинное эссе, и ему надо было знать, какой максимальный объем пригоден для прессы. Они ответили, что пресса, по их мнению, опубликует любой текст, какой бы он ни написал. Все согласились, что наилучшей датой такой публикации будет

первая годовщина фетвы или близкий к ней день. Без сомнения, важно было, чтобы эссе появилось в правильном контексте, и то, кто и когда его напечатает, играло очень существенную роль. Гиллон и Эндрю начали наводить справки. А он начал обдумывать эссе, которое получит название «По совести говоря», — семь тысяч слов в защиту своей книги, и, обдумывая его, допустил одну ключевую ошибку.

Он попал в мыслительную ловушку, рассуждая так: на его книгу столь многие пошли войной из-за того, что отдельные недобросовестные лица, ища политических выгод, представили ее в ложном свете и с той же целью возвели хулу на него самого. Если он человек аморальный, а его книга не представляет художественной ценности — какой смысл разбираться в ней на интеллектуальном уровне? Но если, убеждал он себя, он сможет показать, что книгу сильно недооценили и что ее можно с честью защитить, то люди — мусульмане — изменят мнение и о ней, и о нем. Он захотел, иными словами, стать популярным. Непопулярный мальчик из пансиона захотел получить возможность сказать: «Смотрите все! Вы неверно судили и о моей книге, и обо мне. Это книга не зловредная, и я человек хороший. Прочтите это эссе — и увидите». Это была глупость. И тем не менее, находясь в изоляции, он убедил себя, что это возможно. Из-за слов он попал в эту беду — словам его и выручать.

Героям греческих и римских мифов — Одиссею, Ясону, Энею — приходилось вести свои корабли между Сциллой и Харибдой, двумя морскими чудищами, зная, что попасть в лапы каждого из них означает немедленную гибель. Во всем, что он напишет, твердо сказал он себе, будь то художественная проза или что-либо иное, он должен будет прокладывать курс между своими личными Сциллой и Харибдой — между чудищем боязни и чудищем мести. Если он станет писать робко, испуганно — или зло, мстительно, — то безнадежно испортит этим произведение. Он будет детищем фетвы, и ничем больше. Чтобы выжить, ему надо, как бы трудно это ни было, отрешиться и от гнева, и от ужаса, постараться, как он старался всегда, быть прежде всего писателем, идти дальше по дороге, которую выбрал для себя в былые годы. Если это получится, его ждет успех. Если нет — впереди мрак неудачи. Это он понимал.

Но он проглядел третью ловушку: она была в том, чтобы искать одобрения, чтобы желать, по слабости своей, людской любви. Он был слишком слеп и не видел, что несется прямиком в эту яму; да, он в нее угодил, в эту ловушку, и она его едва не погубила.

Под парковочной площадкой в Саутуорке нашли шекспировский театр «Глобус» — славное деревянное «О». Новость заставила его прослезиться. Он играл в шахматы с шахматным компьютером и дошел до пятого уровня, но, узнав, что обнаружили «Глобус», и пешки не мог переставить. Прошлое протянуло руку и коснулось настоящего, и настоящее стало от этого богаче. Величайшие фразы английского языка, думал он, впервые прозвучали там, где ныне находятся Анкер-террас и Парк-стрит, где в елизаветинскую эпоху проходила улица Мейден-лейн. Там — родина Гамлета, Отелло, Лира. К горлу подступил комок. Любовь к литературе невозможно было объяснить его противникам, любившим одну-единственную книгу, текст которой — непреложный и недоступный для интерпретаций, — был извечным словом Аллаха.

Невозможно было заставить буквалистов, чтущих Коран, ответить на простой вопрос: известно ли им, что довольно долго после смерти Пророка *канонического текста не существовало*? Надписи времен Омейядов в иерусалимской мечети Купол Скалы не совпадают с тем, что ныне считается священным текстом. Этот текст был впервые стандартизован при Усмане, третьем халифе. Сами стены одной из величайших исламских святынь говорят о том, что человек и при зарождении Книги был подвержен ошибкам. Ничто, зависящее от людей, не безупречно на этой земле. Книга передавалась по всему мусульманскому миру устно, и в начале X века бытовало более семи вариантов текста. Текст, подготовленный и официально одобренный университетом Аль-Азхар в 1920-е годы, следует одному из этих семи вариантов. Идея, будто существует некий пратекст, безупречное и непреложное слово Аллаха, попросту неверна. Романисты может быть, порой и лгут, но история и архитектура — нет.

Позвонила писательница Дорис Лессинг, испытавшая очень большое влияние суфийского мистицизма, и сказала, что его защита «велась неправильно». Хомейни надо было изолировать как деятеля, чуждого исламу, как «фигуру вроде Пол Пота». «И еще должна вам сказать, — добавила она, женщина откровенная, — что ваша книга мне не нравится». У каждого было свое мнение. Каждый знал, как следовало поступить.

По издательскому миру распространялся страх. Опасения Питера Майера по поводу его будущих книг передались и другим издателям — он задавался вопросом, не пытаются ли люди из «Пенгуина» заручиться поддержкой своей позиции, чтобы не выглядеть слишком уж трусами, — и теперь французские и немецкие издатели говорили то же самое. Против выпуска

«Шайтанских аятов» в мягкой обложке выступил еженедельник «Паблишерз уикли», и опять ему показалось, что тут действует чья-то рука — или пингвинье крыло. Майер по-прежнему отказывался назвать дату, когда он сможет выпустить дешевое издание, ссылаясь на бомбы, обнаруженные около его дома. Как затем выяснилось, к «Шайтанским аятам» они отношения не имели: их подложили валлийские националисты. Но на позицию Майера это не повлияло. Тони Лейси сказал Гиллону, что Питеру только что угрожали убийством. Билл Бьюфорд приехал в Эссекс, и они на ужин приготовили утку. «Не злись», — сказал ему Билл.

Гиллон и Эндрю начали переговоры с людьми из издательства «Рэндом хаус» — с Энтони Читемом, с Саем Ньюхаузом — чтобы понять, не заинтересует ли их «Гарун и Море Историй». Они выразили интерес. Но ни они, ни Майер не сделали предложения. Тони Лейси пообещал, что «Пенгуин» пришлет письмо. Позвонил Сонни Мехта: он «делает все возможное», чтобы с «Рэндом хаус» дело выгорело.

В начале ноября пришло обещанное письмо из «Пенгуина». В нем не было ни даты публикации «Шайтанских аятов» в дешевом издании, ни предложения по поводу новой книги. Майеру нужны были «месяцы» полного спокойствия, прежде чем он начнет рассматривать возможность публикации дешевого издания. Это казалось невероятным: как раз на той неделе телеканал Би-би-си показывал документальный фильм о продолжающемся «негодовании» мусульман. В «Рэндом хаус» между тем сказали, что готовы к серьезным переговорам о будущих книгах, и эти переговоры начались.

С Исабель Фонсекой[103] он познакомился в 1986 году в Нью-Йорке на конгрессе ПЕН-клуба. С этой умной, красивой женщиной они стали друзьями. После того как она переехала в Лондон, они иногда виделись, но без намека на роман. В начале ноября 1989 года она пригласила его поужинать в свою лондонскую квартиру, и его согласились отвезти. После обычных путевых шпионско-приключенческих штучек он стоял у ее двери с бутылкой бордо, а за этим последовал приятный дружеский вечер-иллюзия за хорошим красным вином с ее рассказами о литературном Лондоне, о Джоне Малковиче. Вдруг, уже довольно поздним вечером, случилась большая неприятность. В дверь каким-то робким стуком постучал охранник — застенчивый, похожий на пастора Дик Биллингтон — и сказал, что надо переговорить. Квартира была маленькая — гостиная да спальня, — так что войти пришлось всей команде. Убежище в доме сельского священника, сообщил Дик, часто моргая за

стеклами очков, возможно, раскрыто. Уверенности в этом нет, и неизвестно, как это произошло, если произошло, но в деревне начались разговоры, и прозвучало его имя. «Пока мы не изучим ситуацию, — сказал Дик, — вам, к сожалению, нельзя туда возвращаться». Он почувствовал боль в глубине живота, и его охватило ощущение великой беспомощности. «Я не понял, — проговорил он. — Вы что, хотите сказать, что мне *сегодня* нельзя туда вернуться? Сейчас десять часов, к вашему сведению.» — «Я знаю, — отозвался Дик. — Но мы считаем, что туда ехать не надо. Лучше не рисковать». Он перевел взгляд на Исабель. Она отреагировала мгновенно: «Само собой, вы можете переночевать у меня». «Нет, это немыслимо, — сказал он Дику. — Почему нельзя вернуться и разобраться во всем с утра?» Все движения, весь вид Дика красноречиво говорили, как ему неловко. «Мне сверху так приказано: вас туда не везти», — ответил он.

Кровать была только одна — большая двуспальная. Они лежали так далеко друг от друга, как только могли, и если он случайно соприкасался с ней беспокойным телом, он сразу извинялся. Похоже было на черную эротическую комедию: два друга противоположного пола в силу обстоятельств должны лечь в одну постель и делают вид, что ничего особенного не происходит. В кино они рано или поздно перестают делать вид и дают себе волю, утром — комическая сцена смущения, затем — после долгих пертурбаций, — может быть, любовь. Но здесь была реальная жизнь, в которой он только что стал бездомным, она предоставила ему ночлег на одну ночь, и он понятия не имел, что принесет следующий день, — не слишком эротическая ситуация. Он испытывал благодарность, чувствовал себя несчастным и — да, немного вожделел к ней, невольно думал: а что, если к ней повернуться, но знал — или полагал, — что в таких обстоятельствах это была бы хамская эксплуатация ее добросердечия. Так что он лежал спиной к ней и спал довольно плохо. Утром в гостиной Исабель появился мистер Гринап. «Вам нельзя туда возвращаться», — сказал он.

Дев Стоунхауз уже некоторое время не входил в команду, но недавно он побывал в Литтл-Бардфилде, там перебрал в местном пабе, что, пожалуй, было неизбежно, и — вот в это, когда ему рассказал потом Боб Мейджор, очень трудно было поверить, — вытащив пистолет, стал демонстрировать его другим посетителям. Владелец заведения, как выяснилось, в прошлом содержал паб «Слепой попрошайка» в Уайтчепеле, который был излюбленным «местом водопоя» печально знаменитых близнецов Креев, местом, где бандит Ронни Крей однажды убил человека. Человек, содержавший такой паб, сказал Боб Мейджор, «чует

полицейского за милю». К нему не следовало ходить вообще, но Дев пошел по случаю своего дня рождения, после этого люди стали строить догадки, кто-то произнес имя *Салман Рушди* — и вот вам пожалуйста.

— Нет, это невозможно! — возмущенно заявил он мистеру Гринапу. — Я снял этот дом за огромные деньги — и теперь вы мне говорите, что я не могу туда вернуться, потому что один из ваших людей напился? Ну и что мне теперь делать? Здесь я оставаться не могу, других возможностей у меня нет.

— Вам надо будет что-нибудь найти, — промолвил Гринап.

— Таким, наверно, способом, — сказал он не вполне сдержанным тоном и щелкнул пальцами. — Трах-тибидох — и вот оно, новое жилье.

— Многие сказали бы, — неумолимо заметил на это мистер Гринап, — что вы навлекли это на себя сами.

Безумный день телефонных переговоров. У Самин был знакомый пакистанский промышленник, владевший квартирой в Челси около реки. Может быть, ей удастся получить ключи. Джейн Уэлсли опять предложила свою квартиру в Ноттинг-Хилле. А Гиллон Эйткен предложил воспользоваться услугами леди Косимы Сомерсет, работавшей в то время в лондонском офисе агентства. Косима, сказал он, человек абсолютно надежный и очень осторожный, она отлично справится с поиском и обустройством съемного жилья. Все можно будет сделать через агентство. Он поговорил с Косимой по телефону, и она деловито сказала: «Ясно. Начинаю немедленно». Он сразу понял, что она будет великолепной посредницей, что она умна и располагает к себе и никто не заподозрит, что эта блестящая аристократка как-то связана с такой темной историей, как «дело Рушди».

Самин приехала к Исабель с ключами от квартиры знакомого, так что временное жилье у него — по крайней мере на несколько дней — появилось. Полицейские (в команду вернулся Бенни) доставили его в многоквартирный дом в Челси и сказали, что глубокой ночью отвезут его в дом священника, чтобы он мог собрать вещи. Вернуть уплаченные за этот дом деньги никакой возможности не было. Бенни, кроме того, по своей инициативе высказал мнение, что ему надо отказаться от дешевого издания «Шайтанских аятов». Полицейские на местах, сказал он, приходили в книжные магазины и уговаривали администрацию просить «Пенгуин» не выпускать его. Это противоречило тому, что он раньше слышал от сотрудников Особого отдела. Ничто не было стабильно. Ничему нельзя было верить.

Гринап ушел, Исабель отправилась на работу, а он — он

сделал ошибку. В раздрызганном состоянии позвонил жене и поехал к ней. А там сделал еще более крупную ошибку. Лег с ней в постель.

Как мог, он устроился в челсийской квартире, хотя все в его жизни было вверх дном: ни постоянного жилья, ни договоров с издателями, плюс растущие трудности в отношениях с полицией — и что теперь у него с Мэриан? — но, включив телевизор, он увидел чудо из чудес, оттеснившее на второй план все, что происходило с ним лично. Рушилась Берлинская стена, и молодые люди танцевали на ее обломках.

Тот год, начавшийся с ужасов — с малого ужаса фетвы гораздо большего ужаса площади Тяньаньмэнь, — был горазд и на великие чудеса. Значимость изобретения http:// (протокола передачи гипертекста), которому суждено было изменить мир, стала ясна не сразу. Иное дело — падение коммунистической системы. Он приехал в Англию подростком, выросшим в годы, которые последовали за кровавым разделом его родины на Индию и Пакистан, и первым крупным европейским политическим событием после его приезда стала постройка Берлинской стены в августе 1961 года. *Какой ужас,* думалось ему, *неужели теперь произойдет раздел Европы?* Много лет спустя, приглашенный в Берлин на теледискуссию с Гюнтером Грассом, он пересек стену на поезде городской железной дороги, и стена выглядела могучей, грозной, вечной. С западной стороны она была изрисована граффити, с восточной — зловеще чиста. Он и представить себе не мог, что гигантский репрессивный аппарат, который она символизировала, когда-нибудь разрушится. И тем не менее в один прекрасный день стало ясно, насколько прогнило изнутри тоталитарное государство советско типа, и стена рассыпалась чуть ли не за одну ночь, словно была из песка. *Sic semper tyrannis*[104]. Веселье танцующих юношей и девушек придало ему сил.

Бывают времена, когда поток событий едва не сбивает с ног. Ханиф Курейши, позвонив после своих дебатов с Шаббиром Ахтаром в Институте современного искусства, сказал, что Ахтар оказался чрезвычайно слабым и некомпетентным противником. Его друг писатель Энтони Барнет, основатель «Хартии-88», дебатировал с депутатом парламента Максом Мэдденом закон об оскорблении святынь, и Мэдден тоже проявил себя как оппонент неубедительный и трусливый. Энтони Читем из «Рэндом хаус» и Сонни Мехта из издательства «Кнопф» сказали, что прежде, чем подписывать любые договоры на будущие книги, хотят поговорить с мистером Гринапом. Угнетающая перспектива, но Гринап, к его удивлению, сказал, что проблем с его будущими

произведениями нет и что он готов подтвердить это Читему и Сонни. Между тем из «Пенгуина» уволили Тима Байндинга, молодого редактора, который испытывал наибольший энтузиазм по поводу «Шайтанских аятов». Майер не отвечал на звонки Эндрю Уайли. Позвонил Фред Халлидей, специалист по Ирану, и сказал, что встречался с Аббасом Малики, заместителем иранского министра иностранных дел (и, кстати, одним из тех, кто в 1979 году штурмовал американское посольство в Тегеране). Малики сказал Фреду, что никто в Иране не может пойти наперекор постановлению Хомейни, но, если британские мусульмане свернут свою кампанию, Иран может воспользоваться этим, чтобы выйти из игры, сохранив лицо. «Кстати, — добавил Фред, — вы знаете, что пиратские радиостанции, которые вещают на Иран, постоянно передают отрывки из „Шайтанских аятов“ в переводе на фарси?»

Мэриан по-прежнему говорила, что хочет опубликовать рассказы *Croeso i Gymru* и «Уроки урду», но в какой-то момент вдруг решила, что они «не готовы». Ее эмоциональная неустойчивость пугала его. Джейн отругала его за то, что он вновь сблизился с Мэриан, и ей вторили Полин Мелвилл и Самин. О чем он думает? Ответ заключался в том, что он не думал в полном смысле слова. Так вышло, вот и все.

Королевская прокуратура обратила внимание на недавние кровожадные заявления Калима Сиддики, и юрист Джефф Робертсон сказал, что она, вполне вероятно, предъявит Сиддики обвинение. Однако она этого не сделала, ссылаясь на «отсутствие достаточных свидетельств». Видеозаписи выступления Сиддики, в котором он призывал убить человека, прокуратуре, выходит, было мало.

В Северном Лондоне по адресу Хермитидж-лейн, 15, сдавался дом, который понравился полиции тем, что при нем имелся «внутренний гараж», благодаря чему незаметно приезжать и уезжать было бы сравнительно легко. В челсийскую квартиру к нему пришли Джон Хаули и мистер Гринап. Они были крайне огорчены «ошибками», допущенными в Литтл-Бардфилде, и заверили его: впредь такого не будет, и впредь не будет Дева Стоунхауза. Возможно, из-за этого огорчения они пошли на некоторые уступки. Они признавали, что он потерял из-за дома священника крупную сумму и теперь ему придется серьезно потратиться на новое жилье. Они были согласны, чтобы он использовал дом священника «время от времени», пока не истек срок аренды. Они готовы были позволить ему несколько чаще выезжать, чаще видеться с друзьями. И — вот это был настоящий прорыв — они согласились, чтобы к нему приезжал Зафар и

оставался у него ночевать. Да, и, если ему действительно нужно, Мэриан тоже. Ведь она, так или иначе, по-прежнему его жена.

В начале декабря они с Биллом, его подругой полячкой Алисией, Зафаром и Мэриан поехали на уик-энд в Литтл-Бардфилд. Зафар, как и он, был чрезвычайно рад и взволнован. А вот Мэриан была в странном душевном состоянии. Несколькими днями раньше она, по существу, извинилась за ту свою «ложь», но теперь ее глаза опять блестели сумасшедшим блеском, и в полночь она бросила очередную свою бомбу. Она и Билл, сказала Мэриан, стали любовниками. Он позвал Билла поговорить наедине, и они пошли в маленькую телевизионную комнату священнического дома. Билл признался, что да, было один раз, но он тут же почувствовал себя идиотом и не знал, как облегчить душу. Они проговорили полтора часа, оба при этом понимали, что их дружба висит на волоске. Они сказали все, что надо было сказать, говорили то громко, то тихо, то гневно, то — под конец — со смехом. Кончили тем, что согласились закрыть тему и больше к ней не возвращаться. Он тоже чувствовал себя идиотом и знал, что снова надо что-то решать насчет своего брака. Он словно бросил было курить, а потом опять начал. Последнее, кстати, и правда с ним произошло. Пять лет держался, а теперь задымил. Он был зол на себя. С обеими вредными привычками надо было поскорее кончать.

Дом на Хермитидж-лейн, 15, был небольшим зданием, напоминавшим форт, на безликом углу двух улиц. Дом был уродливый и почти без мебели. Косима заставила владельцев предоставить самое основное: письменный стол, стул, два кресла, кухонное оборудование. Но все время, пока он там жил, дом выглядел необитаемым. В нем он, однако, сумел наконец вернуться в рабочую колею, и дело с «Гаруном и Морем Историй» сдвинулось с мертвой точки.

15 декабря 1989 года в Манчестере арестовали четверых иранцев по подозрению в подготовке террористического акта. Одного из них, Мехрдада Кокаби, обвинили в заговоре с целью поджога и подготовки взрывов в книжных магазинах. После этого стало еще труднее добиваться от Питера Майера даты выхода в свет дешевого издания «Шайтанских аятов». «Может быть, в середине будущего года», — сказал он Эндрю и Гиллону. И — что уже пахло катастрофой — издательство «Рэндом хаус» вдруг смалодушничало насчет его будущих книг. Альберто Витале, глава корпорации «Рэндом хаус», заявил, что они «недооценили опасность», и 8 декабря корпорация отказалась от сделки. Теперь у него не было ни «Шайтанских аятов» в мягкой обложке, ни издателя. Что, пора кончать с писательством? Ответ лежал у него

на рабочем столе: «Гарун» требовал, чтобы над ним продолжили работу. И с ним ласково, обнадеживающе поговорил Билл. Он собирался организовать издательство «Гранта букс» при журнале «Гранта». «Давай *мы* это сделаем, — сказал Билл. — Увидишь: лучше мы, чем крупная корпорация».

Бранденбургские ворота распахнулись, и два Берлина стали едины. В Румынии пал режим Чаушеску. Он согласился написать для «Нью-Йорк таймс» рецензию на роман Пинчона «Вайнлэнд», которым тот прервал долгое молчание. Умер Сэмюэл Беккет. Он провел еще один уик-энд с Зафаром в старом доме священника, и любовь сына подняла его дух как ничто другое. Потом — Рождество, которое писатель Грэм Свифт пригласил его отпраздновать с ним и его женой Кэндис Родд в их доме в Южном Лондоне. Новый год он тоже встретил с друзьями — с Майклом Герром и его женой Валери, у них была неотразимо симпатичная привычка называть друг друга «Джим». Никаких «солнышек», «ласточек», «зайчиков» — сплошной «Джим» всю новогоднюю ночь, то густым басом и по-американски протяжно, то в бодром, щебечущем британском регистре. «Слышь, Джим!» — «Что, Джим?» — «С Новым годом, Джим». — «И тебя с Новым годом, Джим». — «Я люблю тебя, Джим». — «И я тебя, Джим». 1990 год пришел к нему, улыбаясь улыбками Джима и Джима.

Мэриан тоже там была. Да. И Мэриан.

IV. Хочешь быть любимым — попадешь в ловушку

Ему начали приходить письма из Дели от некоей Налини Мехты. У него не было знакомой женщины с таким именем, но она была убеждена, что знает его — не просто, а на телесном, порнографическом, библейском уровне. Она называла даты и места их свиданий, описывала номера отелей и виды из их окон. Она писала не только хорошим языком, но и умно, писала синей шариковой ручкой, выводившей тонкую линию, почерк — уверенный, выразительный. Фотографии, однако, были ужасны: неумелая съемка, плохое освещение, различные стадии наготы неизменно выглядели глуповато, ни на йоту не эротично, хотя женщина на них была безусловно красива. Он на письма не отвечал, даже чтобы отговорить ее от переписки: знал, что это было бы грубой ошибкой. Страстная настойчивость, с которой писавшая утверждала, что они любят друг друга, внушала ему страх за нее. В глазах многих индийцев душевная болезнь по-прежнему была позорным клеймом. Семьи, когда кто-то в них оказывался психически нездоров, старались это скрыть. Проблемы такого рода замалчивались, люди не получали должного лечения. То, что письма от Налини Мехты всё приходили — чем дальше, тем даже чаще, — показывало, что она не получает той помощи и той любви, в которых нуждается.

Положение, в котором оказался он, тревожило ее очень сильно. Она «знала», что именно ему нужна помощь, что именно ему не хватает любви. Прочтя в газетах, что жены рядом с ним больше нет, она умоляла позволить ей занять ее место. Она приедет, и ему будет с ней хорошо. Она готова ради него на все, она встанет с ним рядом, будет о нем заботиться, окутает его своей любовью. Как он может не согласиться после всего, что они друг для друга значили, — и при тех чувствах, какие они по сей день друг к другу испытывают? Он должен был позвать ее. «Позови меня сейчас, — написала она. — Я приеду сразу же».

Она написала ему, что изучала английскую литературу в делийском колледже леди Шри Рам. Там, он вспомнил? преподавала Мария, его знакомая писательница из Гоа, и он ей позвонил, чтобы спросить, известно ли ей это имя. «Налини, — печально сказала она. — Конечно. Самая блестящая моя студентка, но психически абсолютно неуравновешенная». И его догадка была верна: ее родные отказывались признать, что девушка больна, и обеспечить ей должное лечение. «Как тут быть,

я не знаю», — сказала Мария.

Потом содержание писем изменилось. Я еду, писала она. Я еду в Англию, чтобы быть с тобой рядом. Она познакомилась в Дели с англичанкой ее возраста и добилась, чтобы та пригласила ее пожить у ее родителей-пенсионеров где-то в Суррее. Вот она купила билет. Вот она летит *завтра,* вот она летит *сегодня*. Прилетела. Через несколько дней она неожиданно явилась в лондонское литературное агентство и недолго думая вошла в кабинет Гиллона Эйткена. Гиллон потом рассказывал: «Она впечатляюще выглядит, мой милый, и вся была разодета, сказала, близко с тобой знакома, поэтому я, конечно, пригласил ее войти». Она сразу же стала настаивать, чтобы ей дали его адрес и номер телефона: мол, он ее ждет по очень срочному делу, она должна отправиться к нему немедленно. В тот же день, если возможно. Гиллон понял: что-то не так. Совсем не так. Он вполне доброжелательно сказал Налини, что с удовольствием передаст ему сообщение от нее и контактный телефон, если она его оставит. И в этот момент Налини Мехта предложила ему свое тело. Гиллон был ошеломлен. «Мой милый, у меня в кабинете такое не каждый день происходит. И даже у меня дома». Он отклонил предложение. Она стала настаивать. Можно, заявила она, убрать бумаги с его письменного стола, и она готова отдаться ему на нем прямо сейчас, а потом он даст ей номер телефона и адрес. Гиллон посуровел. Нет, сказал он, об этом и речи не может быть, и я убедительно вас прошу оставаться одетой. Она сникла и начала плакать. У нее нет денег, сказала она. То немногое, что у нее было, она потратила на дорогу из суррейского дома родителей ее знакомой. Если он согласится дать ей в долг, скажем, фунтов сто, она вернет их ему, как только сможет. Когда эту историю услышал Эндрю Уайли, он сказал: «Она была обречена с того момента, как попросила у Гиллона денег. Это был роковой шаг». Поднявшись во весь свой исполинский рост, Гиллон выпроводил ее.

Прошло несколько дней — может быть, неделя. И у полицейских на Хермитидж-лейн появился к нему вопрос. Знаком ли он, спросил его Фил Питт (что означало — было ли у него что-нибудь), с женщиной по имени Налини Мехта? Он рассказал полицейскому все, что про нее знал. «А что, — спросил он, — с ней что-то произошло?» Да, произошло. Она исчезла из дома чрезвычайно обеспокоенных родителей ее знакомой, которым она без конца говорила о своей близости с Салманом Рушди и о скором воссоединении с ним. После двух дней ее отсутствия встревоженная пара позвонила в полицию. Имея в виду ситуацию вокруг мистера Рушди и ее несдержанность на язык, сказали

супруги полицейским, можно опасаться, что кто-либо причинил ей вред. Прошло еще несколько дней, и патрульный полицейский обнаружил ее на площади Пиккадилли-серкус со всклокоченными волосами, в том же сари, в каком она покинула Суррей пятью или шестью днями раньше; она рассказывала всем, кто готов был слушать, что она «подруга Салмана Рушди», что они «любят друг друга» и что она прилетела в Англию по его просьбе, прилетела жить с ним.

Родители ее делийской знакомой не хотели ее возвращения. Держать ее в полиции причин не было: она не совершила никаких преступлений. Ей некуда было податься. Он позвонил Марии, ее бывшей преподавательнице английского: «Не могли бы вы помочь нам связаться с ее родителями?» К счастью, она могла. Господин Мехта, отец Налини, после некоторого первоначального сопротивления и оборонительных замечаний в том смысле, что с его дочерью все в по рядке, согласился поехать за ней в Лондон и забрать ее домой. После этого было еще несколько писем, но в конце концов они перестали приходить. Это, он надеялся, был хороший знак. Может быть, ее душевное здоровье восстанавливалось. Сильнейшая потребность быть любимой вызвала у нее манию. Он надеялся, что теперь она окружена подлинной, семейной любовью и заботой, что благодаря им она сможет теперь избегать ловушки, которую для нее соорудил ее ум.

Он и не подозревал тогда, что не пройдет и года, как для него самого его ум соорудит ловушку и он, отчаянно нуждаясь в любви, ринется в объятия губительного самообмана, точно и объятия возлюбленной.

Ему снились сны о восстановлении доброго имени. Это были подробные сны: его хулители и потенциальные убийцы приходили к нему с непокрытыми головами и пристыженными лицами, моля о прощении. Он записывал эти сны, и каждый раз это на какие-нибудь несколько секунд помогало ему почувствовать себя лучше. Он работал над эссе, которым хотел прервать свое молчание, и над лекцией о Герберте Риде, и в нем продолжала расти убежденность, что он может объяснить людям себя, заставить их понять. «Гардиан» поместила подленькую рекламу будущей статьи Хьюго Янга[105]: перебинтованный пингвин[106], а рядом надпись: «Не мучит ли Салмана Рушди совесть?» Статья Янга, когда она появилась, продолжила старую линию: с тех, кто проповедовал насилие, вина перекладывалась на потенциальную жертву. Ему следовало бы, говорилось в статье, «после всего, что он совершил, прийти в более смиренное

состояние», и это лишь укрепило его решимость отстаивать свою позицию и убеждать людей в своей правоте.

Наступила первая годовщина сожжения его книги в Брадфорде. Газетчики опросили сто британских книжных магазинов: 57 % высказались за публикацию «Шайтанских аятов» в мягкой обложке, 27 % — против, 16 % воздержались от суждения. Пресс-секретарь Брадфордского совета мечетей заявил: «Мы не можем это так оставить. Это ключевой вопрос для нашего будущего». Калим Сиддики в письме в «Гардиан» писал: «Мы [мусульмане] обязаны поддержать смертный приговор Рушди». Несколько дней спустя Сиддики отправился в Тегеран, и там его удостоил личной аудиенции преемник Хомейни аятолла Али Хаменеи.

Он писал день и ночь, прерываясь только на то время, которое мог провести с Зафаром. У них был последний волшебный уик-энд в старом доме священника под нежным наблюдением мисс Бастард. Мэриан, которая обычно была в плохом настроении, не могла писать, испытывала ощущение, что к нее нет жизни, а есть только «фальшивое существование», и объясняла провал своей книги тем, что люди связывают ее имя с его, в этот уик-энд была немного ласковей, чем обычно, и он нашел способ какое-то время не спрашивать себя, почему он опять с ней. А когда они покинули Литтл-Бардфилд, чтобы больше туда не возвращаться, и вернулись на Хермитидж-лейн, его посетил мистер Гринап и сказал, что ему не буде разрешено прочесть лекцию в память Герберта Рида. Вот оно опять, это слово: *разрешено*, слово, которое, как и его близнец *позволено*, превращало его из «клиента» в пленника. Полиция проинформировала Институт современного искусства, что не сможет обеспечить охрану мероприятия, если он будет в нем участвовать. Его участие, сказал Гринап, было бы поступком безответственным и эгоистичным, и лондонская полиция потворствовать такому легкомыслию не намерена.

Людей из ИСИ явно напугало то, что сообщила полиция. Он сказал им, что готов приехать и выступить даже без всякой защиты, но им было страшно на это пойти. В конце концов ему пришлось сдаться. Он предложил, что найдет кого-то, кто прочтет лекцию от его имени, и они согласились с облегчением. Первым, кому ему пришло в голову позвонить, был Гарольд Пинтер. Он объяснил ему ситуацию и высказал свою просьбу. Не колеблясь ни секунды, Гарольд, многословный как обычно, ответил «Да». В конце января ему удалось побывать дома у Гарольда и Антонии Фрейзер, и на следующий день, вдохновленный их энтузиазмом, смелостью и решимостью, он писал четырнадцать часов кряду и

подготовил окончательный вариант своей лекции «Ничего святого?». Гиллон приехал на Хермитидж-лейн (поскольку дом нашла Косима Сомерсет и агентство Гиллона, где она работала, обеспечивало «фасад», Гиллону, «съемщику», было позволено у него бывать, и полиция после обычной «химчистки» его привезла) и, сидя в этом унылом, бежевого цвета, почти лишенном мебели доме, прочел и текст лекции, и «По совести говоря» — *explication de texte*[107] «Шайтанских аятов», который был, кроме того, призывом к лучшему пониманию и романа, и его автора и предназначался к публикации одним куском объемом в семь тысяч слов в новом воскресном издании «Индепендент он санди». Гиллон забрал обе вещи и передал лекцию, предназначенную для ИСИ, Гарольду. Пришло время возвращаться к работе над «Гаруном».

Эссе «По совести говоря» вышло в воскресенье 4 февраля 1990 года. Уильям Уолдгрейв, заместитель министра иностранных дел, позвонил Гарольду Пинтеру и сказал, что читал эссе со слезами. Первые отклики с мусульманской стороны были, само собой, отрицательными, но он почувствовал — может быть, принимая желаемое за действительное — небольшую перемену в тоне, которым Шаббир Ахтар и его правая рука Тарик Модуд делали свои заявления. Была и плохая новость: родственники британских заложников в Ливане намеревались высказаться против дешевого издания «Аятов». А затем во вторник 6 февраля Гарольд прочел в ИСИ «Ничего святого?». Лекцию показало Би-би-си в «Вечернем шоу». Он испытал громадное облегчение. Он сказал свое слово. Целый год бушевала буря, и ему казалось — его голос слишком слаб, чтобы его услышали на фоне множества голосов, вопивших из всех уголков земли, на фоне завывания всех ветров фанатизма и истории. Теперь он увидел, что был не прав. Он написал в дневнике: «Реакция и на „ПСГ“, и на „НС?“ колоссально меня приободрила. Кажется, произошел подлинный сдвиг. Демонизация вынуждена отступать, атакующие выглядят смущенными». Звонили друзья, описывали настроение зала в ИСИ как «любовное», «наэлектризованное», «взволнованное». Мэриан, правда, так не показалось. Она назвала атмосферу в ИСИ «стерильной». У нее, добавила она, было ощущение, что ее «не любят».

Через три дня после лекции аятолла Хаменеи во время пятничной молитвы подтвердил смертный приговор, вынесенный иранской муллократией. В «деле Рушди», которому исполнялся год, это уже становилось привычной схемой: вслед за видимым просветлением, за минутой надежды — отвратительный удар, эскалация, увеличение ставки. «Ничего, — с вызовом написал он в

дневнике, — еще повоюем».

Нельсон Мандела вышел из тени на свет, обрел свободу: еще один яркий миг радости после двенадцати месяцев жути и тягостного недоумения. Он смотрел на освобожденного Манделу, которого так долго заставляли быть невидимым, и думал: как мало я выстрадал по сравнению с ним. Хватит, сказал он себе. За работу.

А вот и День святого Валентина. Милый звонок Клариссы с добрыми пожеланиями в годовщину. Позвонил Гарольд. В Праге он встречался с новым президентом Чехословакии — драматургом и правозащитником Вацлавом Гавелом, «и первый же его вопрос был о вас. Он хочет предпринять что-то серьезное». Новые угрозы: от спикера меджлиса — иранского парламента — Мехди Карруби (через двадцать лет, как это ни невероятно, он будет возглавлять оппозицию президенту Ахмадинежаду наряду с Мир-Хусейном Мусави, другим рьяным сторонником фетвы) и от «исполняющего обязанности главнокомандующего» Корпусом стражей исламской революции. Верховный судья Ирана аятолла Язди сказал, что исполнить угрозу — долг каждого мусульманина, «имеющего к этому возможности», а в Лондоне праздновал веселую дату садовый гном: он провел большое собрание «в поддержку» угрозы, но оговорился, что ее исполнение «не имеет никакого отношения к британским мусульманам». Это была новая «партийная линия», начавшая вырисовываться. Лиакат Хусейн из Брадфордского совета мечетей назвал «Ничего святого?» «рекламным трюком» и сказал, что Рушди нет нужды прятаться: ему, дескать, ничего не угрожает со стороны британских мусульман, а скрывается он, чтобы подогревать конфликт и делать на этом деньги.

«Нью-Йорк таймс» в редакционной статье раскритиковала издателей и политиков за нерешительность и уклончивость и поддержала его за «защиту права любого автора публиковать книги, задающие неудобные вопросы и открывающие двери для пытливого ума». На фоне нарастающего давления подобные сочувственные слова приобрели очень большое значение.

Попытки британских мусульман привлечь его к ответственности за оскорбление святынь и нарушение закона об общественном порядке были рассмотрены в суде. Защищавший его Джеффри Робертсон высказал простое соображение: моральная ответственность за последствия насилия лежит на тех, кто совершает акты насилия; если кого-то убивают, виновны в этом убийцы, а не писатель, находящийся далеко от места событий. То, что на третий день заседаний кассационного суда судья начал получать письма с угрозами, позицию мусульман не

укрепляло. В итоге ни одна из юридических атак успеха не имела. Мусульманские лидеры восприняли это «с гневом», хотя «Исламская партия Великобритании» дошла до того, что призвала отменить фетву, поскольку автор, когда писал книгу, был «психически болен»; «доказательством» тому служило опубликованное в печати мнение директора благотворительной психиатрической организации SANE, что в «Шайтанских аятах» содержится одно из лучших описаний шизофрении, что он когда-либо читал. Между тем Кит Ваз, который год назад с энтузиазмом участвовал в демонстрациях мусульман, теперь написал письмо в «Гардиан», где назвал угрозу расправы «отвратительной» и высказался за немедленный отказ от нее.

В квартире Джейн Уэлсли был устроен «праздничный» ужин, в котором, помимо них с Мэриан, участвовали Самин, Билл, Полин (у которой был день рождения), Гиллон и супруги Герр; пили за год, в течение которого жизнь продолжалась. Он был счастлив, что вырвался хоть на один вечер с Хермитидж-лейн: он возненавидел этот дом за сырые стены, за протекающую крышу, за плохую отделку, а больше всего — за нехватку мебели. Снимать его было дорого, и он никогда раньше не чувствовал себя настолько обобранным; он согласился на этот дом ради того, чтобы жить в Лондоне, и из-за внутреннего гаража. На следующий день в это унылое жилище привезли Зафара, они провели день вместе, и, глядя, как сын сражается с домашним заданием по геометрии, он горько сожалел, что не может быть для него нормальным отцом, что детство мальчика проходит мимо него. Это была наибольшая из потерь.

Пришла Мэриан и стала ругать его за видеоигры. С легкой руки Зафара он пристрастился к водопроводчику Марио и его брату Луиджи, и порой искусственный мир игры «Супер Марио» казался счастливой альтернативой миру, где ему приходилось жить все остальное время. «Лучше прочти хорошую книгу, — презрительным тоном сказала жена. — А это дело брось». Он взорвался: «Я сам знаю, как мне жить!», и она гордо удалилась.

С «Гаруном и Морем Историй» дело пошло. В его записных книжках было много фрагментов — стишков, шуток; был Плавучий Садовник, состоящий, как портрет работы Арчимбольдо[108], из неподатливых, шишковатых корней и корнеплодов и поющий: «С особой злобой / Среди стерни / Меня попробуй / Искорени!»[109]; был воин с больным горлом, который, кашляя и отхаркиваясь, издавал звуки, похожие на фамилии писателей: *Каф-каф-каф-ка! Го-го-го-голь!* (некоторые его восклицания не вошли в итоговый вариант: *Гог! Во!* и, наконец,

Кфвфк! — непроизносимое имя рассказчика из «Космикомических историй» Итало Кальвино). И обрела в конце концов жизнь безобразная и лишенная слуха принцесса Батчет, распевающая невыносимым голосом любовную песню о своем драгоценном (и тупоумном) принце Боло: «Он не играет в поло / И не поет он соло». Все это находило теперь место в веселом потоке повествования. «Джинн-выскочка» из волшебной лампы был из книги исключен, как и его сестра Русоволосая Джини[110]. Это было наслаждение. Его радовало тогда и неизменно радовало потом, что в мрачнейшие дни своей жизни он написал самую бодрую, самую жизнерадостную книгу из всех, книгу с настоящим, всамделишным, заслуженным счастливым финалом, какого он хотел, первым своим счастливым финалом за все годы писательства. Как сказал Гаруну Морж, такую концовку нелегко спроектировать.

В Лондоне ждали Вацлава Гавела. Это был его первый официальный визит после вступления в должность президента, и он, по словам Гарольда Пинтера, намеревался воспользоваться случаем, чтобы сделать серьезный публичный жест в поддержку автора «Аятов», который как раз тогда размышлял о том, нельзя ли создать группу давления, состоящую из мировых знаменитостей, во главе с Гавелом и, возможно, великим перуанским писателем (и бывшим кандидатом в президенты, потерпевшим поражение на выборах) Марио Варгасом Льосой. Идея состояла в том, чтобы собрать такую делегацию, которой иранцы могли бы ответить «да», сохраняя лицо, группу людей такого уровня, чтобы согласие с ними выглядело достойным уважения актом, а не отступлением.

К творческим инициативам такого рода его подталкивала Самин. «Ты должен сам взяться за дело, — говорила она. — Продумай все возможности». И вот в Лондон едет Гавел, едет с желанием его поддержать. Может быть, удастся встретиться и поговорить? «Он хочет сфотографироваться с тобой и устроить совместную пресс-конференцию, — сказал Гарольд. — Я буду звонить Уильяму Уолдгрейву».

Всякому, кто знал и любил Гарольда Пинтера, было известно: если завязывается драка, лучше, чтобы он был на твоей стороне. Те, кому выпадала незавидная участь быть «пинтерованными», понимали, что от безжалостного лезвия Гарольдова языка надо уворачиваться любой ценой. Та сдавленная ярость, что жарко горит в его лучших пьесах, была и в нем самом: она проявлялась в твердости сжатых челюстей, в испепеляющем взгляде, в великолепной и грозной улыбке. Обладателя этого арсенала

предпочтительнее было иметь союзником, а не противником. На следующий день после фетвы Гарольд повел группу писателей на Даунинг-стрит, чтобы потребовать от правительства действий. Мгновенно согласившись прочесть лекцию в память Рида, он убедительно продемонстрировал личную отвагу. Если он намерен звонить Уильяму Уолдгрейву, Уильям Уолдгрейв не отвертится от разговора.

И на другой день, разумеется, Гарольд перезвонил. «Дело на мази». Организовать его встречу с Гавелом — она, по словам Гарольда, была «самым важным пунктом в расписании визита после разговора с Тэтчер» — поручили группе безопасности, ответственной за официальный визит чехословацкого президента. Это казалось — да и было — прорывом: в первый раз глава государства поддержал его так открыто. Британское правительство не позволяло каким-либо министрам встречаться с ним, боясь послать «неверный сигнал». А теперь Гавел собирался сделать то, чего не захотела сделать Тэтчер.

Но судьба по-прежнему играла с ним шутки, и следующие семь дней были для «Джозефа Антона» плохими. В дрянном доме на Хермитидж-лейн неприятностей хватало. Перестало работать центральное отопление, и пришлось позвать слесаря. Несколько часов надо было прятаться от него в ванной, обильно потея привычным уже по́том стыда. Потом осматривать дом пришел агент по недвижимости — стало быть, снова в ванную. Наконец, явился рабочий устранить сырые пятна на стенах и заменить участок потолка, серьезно поврежденный протечками. От него спрятаться было негде, поэтому бедному Джозефу Антону пришлось, пока тот работал в гостиной, поспешно сбежать по лестнице в гараж — от обнаружения его при этом спасла только закрытая дверь комнаты — и сесть в машину, в которой его немедленно увезли. «Ягуар» бесцельно кружил по городу, затерянный в пространстве, а Конь Деннис, пока не сообщили, что можно возвращаться, развлекал его грубыми шутками.

Вот что означало быть невидимым. Разговаривать по телефону с Петером Вайдхаасом, организатором Франкфуртской книжной ярмарки, только что сообщившим в Иран, что издатели этой страны до отмены фетвы не будут приглашаться на ярмарку, — и в считаные секунды спустя прятаться от рабочего. Он был автором, заканчивающим детскую книгу (и готовящим к публикации сборник эссе, озаглавленный «Воображаемые родины» — по названию одного из них, написанного раньше, где речь шла об ощущении места у перемещенного писателя), — и он был беглецом, затаившимся в запертой ванной, боящимся, что его увидит слесарь из Вест-Индии.

На другой день после едва не случившейся встречи с рабочим он дописал промежуточный вариант «Гаруна и Моря Историй», и позвонил его друг Джон Форрестер, член совета кембриджского Кингз-колледжа, чтобы обсудить возможность присуждения ему почетной степени «вроде той, что давно еще присудили Моргану Форстеру»[111]. Мысль, что его могут удостоить такого же почета, как автора «Поездки в Индию», была очень волнующей. Он сказал, что был бы чрезвычайно польщен, если бы это случилось. Через несколько месяцев Джон позвонил снова и сказал, что этого не случится. Слишком многие в колледже были слишком напуганы.

На Сент-Питерс-стрит тоже было неладно. Его старый дом был заперт и пустовал, и там возникли проблемы. Местные полицейские сообщили, что жилье находится «в небезопасном состоянии». Заподозрили утечку газа, и сотруднику службы газоснабжения пришлось войти. В подвале, сказал потом сотрудник, прорвало водопроводную трубу. Кто-то должен был приехать и посмотреть. С Мэриан после ссоры из-за видеоигры они почти не разговаривали, но она согласилась съездить. Проблемы оказались незначительными. Газовщик приставил лестницу и залез в незапертое окно второго этажа, так что входная дверь осталась неповрежденной. Утечки газа не было. В подвале вопреки тому, что сказал газовщик, ничего не прорвало, а только слегка капало, и неисправность легко устранили. Мэриан покинула дом на Сент-Питерс-стрит в дурном настроении, и позднее по телефону ему досталось от нее за все. «Ты даже постель не заправил!» — кричала она.

Вечером того дня его отвезли к Эдварду и Мариам Саид, которые жили в Суисс-Коттедже на Итон-роуд. До того времени, как у Эдварда диагностировали хронический лифолейкоз, оставался еще год, и он был в расцвете сил и красоты — неутомимый говорун с богатой жестикуляцией, любитель посмеяться и приударить за женщинами, эрудит и ипохондрик. В то время Эдвард, стоило ему слегка закашлять — подозревал серьезный бронхит, стоило почувствовать резь в животе, — думал, что ему грозит смерть от аппендицита. Поразительно, но, когда он взаправду заболел, он повел себя как герой: жаловался очень редко, боролся с ХЛЛ изо всех сил и с помощью своего великолепного врача Канти Раи побил все рекорды, прожив двенадцать лет после появления первых признаков рака. Эдвард был денди, он чуточку тщеславился из-за своей мужской красоты, и вспоминается, как они годы спустя, когда история с фетвой была позади, вместе обедали в Нью-Йорке недалеко от Колумбийского университета, счастливые из-за того, что смогли увидеться при ярком дневном свете, без охранников,

занавешивающих окна, и без «химчистки». Рак на время отступил, и Эдвард был не такой худой, каким, увы, обычно выглядел из-за болезни. «Эдвард, — сказал ему уже не Джозеф Антон, — у вас опять здоровый вид! Вы поправились!» Эдвард ощетинился. «Поправился, но не растолстел, Салман», — сказал он.

Он был знатоком Конрада и помнил про матроса Джеймса Уэйта с «Нарцисса». Эдвард тоже понимал, что надо жить, покуда не помрешь; так он и делал.

А в тот мартовский вечер 1990 года на Итон-роуд Эдвард сказал, что говорил о его деле с Арафатом, — а для Эдварда поговорить с Ясиром Арафатом, к которому из-за его личной коррумпированности и поддержки терроризма он давно уже относился плохо, было делом нешуточным, — и Арафат (он был, при всех его прочих качествах, секулярист и антиисламист) ответил: «Разумеется, я ему сочувствую, но идет интифада, в ней участвуют мусульмане… что я могу сделать…» — «Может быть, вам стоило бы написать об интифаде, — предложил Эдвард. — Ваш голос очень важен для нас, и пусть он снова прозвучит — выскажитесь на эти темы». Да, ответил он, может быть, и стоило бы. И они заговорили о другом — о книгах, о музыке, об общих друзьях. Обсуждать фетву без конца у него желания не было, и друзья, как правило, это видели и тактично меняли тему. Когда он получал возможность видеться с людьми, это было все равно что вырваться из плена, и последним, что он хотел обсуждать, были его цепи.

Он принуждал себя к сосредоточенности и каждый день час за часом шлифовал и оттачивал «Гаруна». Но неделя не принесла ему того, на что он рассчитывал. Полицейские известили его, что встреча с Гавелом не состоится — чехи будто бы отменили ее из-за опасений за безопасность президента. Вместо этого он сможет позвонить Гавелу в номер отеля в шесть вечера и побеседовать с ним. Это было колоссальное разочарование. Он несколько часов не мог ни с кем говорить. Но ровно в шесть набрал номер, который ему дали. Трубку долго никто не брал. Наконец раздался мужской голос. «Это Салман Рушди, — сказал он. — Я разговариваю с президентом Гавелом?» Собеседник хихикнул — это отчетливо было слышно. «Нет-нет, — ответил он. — Я не есть президент. Я секретарь». — «Понимаю, — сказал он. — Но мне сообщили, что я могу позвонить в это время и поговорить с ним». После короткой паузы секретарь сказал: «Да. Вам придется, пожалуйста, немного ждать. Президент вышел по нужде».

Ну, теперь, подумал он, *я точно знаю, что в Чехословакии была революция.* Президент уже распорядился, чтобы его кортеж состоял из машин разного цвета — просто чтоб веселее

выглядело, — пригласил в гости «Роллинг стоунз», и первым американцем, кому он дал интервью, был Лу Рид: чехословацкая «Бархатная революция» получила название от «Бархатного подполья» *(The Velvet Underground)* — его группы, ставшей, таким образом, единственной музыкальной группой в истории, которая не только пела о революции, как, например, «Битлз», но и помогла ее совершить. Этот президент заслуживал того, чтобы подождать, пока он справит нужду.

Через некоторое время послышались шаги, и Гавел взял трубку. Он объяснил отмену встречи совсем иначе. Он не хотел, чтобы она произошла в чехословацком посольстве. «Я не доверяю этому месту, — сказал он. — Там и сейчас много таких, кто служил при старом режиме, много ходит всяких странных типов, много полковников». Новый посол, человек Гавела, занимал должность всего два дня и еще не успел вычистить авгиевы конюшни. «Ноги моей там не будет», — сказал Гавел. Британцы же уведомили его, что другого места для встречи предложить не могут. «Подумать только, — посетовал Гавел, — во всей Великобритании не нашлось места, где они могли бы обеспечить безопасность для нас с вами». Совершенно ясно, сказал он в ответ, что британское правительство не хочет этой встречи. Может быть, эта картина — великий Вацлав Гавел обнимает писателя, с которым премьер-министр его собственной страны встречаться не желает, — поставила бы кого-то в не совсем удобное положение? «Жаль, — промолвил Гавел. — Я очень этого хотел».

Но на пресс-конференции, по его словам, от него много чего услышали. «Я им сказал, что мы в постоянном контакте, — со смехом сообщил ему Гавел. — И в каком-то смысле это правда — через Гарольда или еще кого-нибудь. Так прямо и сказал: *в постоянном контакте*. И глубоко солидарен. Это тоже сказал».

Он признался Гавелу, что очень любит его «Письма к Ольге» — сборник писем, которые Гавел, знаменитый диссидент, писал из тюрьмы жене, — и что они очень многое ему говорят в его нынешнем положении. «Эта книга… — отозвался Гавел. — Знаете, когда мы в то время писали друг другу, многое приходилось шифровать, писать обиняками. В ней есть вещи, которых я сам сейчас не понимаю. Скоро у меня выйдет новая книга, она гораздо лучше». Гавел попросил прислать ему «Ничего святого?» и «По совести говоря». «В постоянном контакте», — повторил он под конец со смехом и попрощался.

На следующий день Мэриан по-прежнему была настроена воинственно. «Ты зациклен на том, что с тобой происходит!» — бушевала она, и была, пожалуй, права. «Каждый день у тебя

какая-нибудь драма!» — в этом, увы, она тоже была близка к истине. Он, кричала она, зациклен на самом себе, он не может обращаться с ней «как с равной», и он «отвратительный пьяница». *А это-то откуда?* — удивился он про себя, и тут она нанесла завершающий удар: «Ты пытаешься воспроизвести брак твоих родителей». Он, получается, алкоголик не хуже отца. Ну еще бы.

Между тем на Мусульманской юношеской конференции в Брадфорде шестнадцатилетняя девушка призвала к тому, чтобы Рушди побили камнями. Тон прессы при освещении его «дела» стал — по крайней мере на какое-то время — сочувственным, почти жалеющим. «Бедный Салман Рушди». «Несчастный автор». Но он не хотел быть бедным и несчастным, не хотел, чтобы его жалели. Он не хотел быть всего-навсего жертвой. На кону — важные вещи: интеллектуальные, политические и моральные вопросы. Он хотел участвовать в их обсуждении; хотел быть борцом.

Эндрю и Гиллон приехали к нему на Хермитидж-лейн после встречи с руководством «Пенгуина» в лондонском доме их коллеги Брайана Стоуна, агента наследников Агаты Кристи. В ходе деловых переговоров они как команда представляли собой великую силу, потому что были очень странной парой: высоченный, томный англичанин с сочным голосом — и агрессивный твердолобый американец с пестрым прошлым, с богемным опытом близости к «Фабрике» Уорхола, с глазами, просвечивающими тебя точно лазером. Классический дуэт типа «жесткий и мягкий», и сверхэффективными переговорщиками делало их еще и то, что люди, с которыми они вели переговоры, ошибочно считали жестким Эндрю, а мягким Гиллона. На самом же деле Эндрю был человек страсти, человек эмоций и нередко изумлял тем, что ударялся в слезы. Гиллон — вот кто разил наповал.

Но даже Гиллон и Эндрю не смогли добиться от «Пенгуина» практически ничего. Эта последняя встреча вновь не принесла результатов. «Пенгуин», сказал Майер, признаёт, что крайний срок публикации книги в мягкой обложке — конец июня, но никакой даты он не назвал. Все приняли к сведению, что если книга не выйдет к 30 июня, то с 1 июля Гиллон и Эндрю будут настаивать на возвращении им прав на публикациею, чтобы они могли попробовать договориться с кем-нибудь еще. «Я думаю, Майер не должен быть против,» — сказал Гиллон. (Четыре дня спустя Гиллон позвонил и сказал, что Майер «наполовину принял» идею возвращения прав, но хочет «оговорить условия» — иными словами, хочет денег. Вместе с тем Тревор Гловер, коллега

Майера, сказал во время той встречи с Эндрю и Гиллоном, что «Пенгуин» так сильно потратился на меры безопасности, что издание в твердом переплете оказалось убыточным, а публикация книги в мягкой обложке — это «новые потери»; выходило, таким образом, что, требуя компенсации за возвращение прав, Майер требует ее за то, что должно, если верить Гловеру, помочь ему сэкономить. «Мы будем гнуть свою линию, — сказал Гиллон. — Если к первому июля Майер ничего не опубликует и будет требовать денег — я предам все это гласности».)

Эндрю подозревал, что «Пенгуин» недоплачивает авторские отчисления, незаконно удерживая крупную сумму. «Пенгуин» с возмущением это отрицал, но Эндрю послал в издательство аудитора, и действительно вскрылась весьма существенная недоплата. Извинений «Пенгуина» не последовало.

Полицейские предложили ему носить парик. Прислали их лучшего мастера по парикам, и мастер взял образец его волос. Он был настроен чрезвычайно скептически, но несколько охранников уверяли его, что парики делают свое дело. «Вы сможете ходить по улицам, не привлекая внимания, — говорили они. — Уж мы-то знаем». К их уверениям неожиданно присоединился Майкл Герр. «Изменить внешность — не значит изменить ее во всем, Салман, — сказал Майкл, говоря медленно, а моргая быстро. — Только ключевые моменты». Парик был изготовлен и прибыл в коричневой картонной коробке, похожий на спящего зверька. Надев его, он почувствовал себя первостатейным идиотом. Полицейские сказали — смотрится великолепно. «Ладно, — неуверенно согласился он. — Попробую его выгулять». Его отвезли на Слоун-стрит и припарковали машину около универмага «Харви Николс». Когда он вышел из нее, все прохожие повернули к нему головы, иные заулыбались или даже засмеялись. «Гляди-ка, — услышал он чей-то голос, — там этот паршивец Рушди в парике». Он сел обратно в «ягуар» и никогда больше не надевал парик.

Посол Морис Басби был человеком, которого официально не существовало. Он возглавлял контртеррористическую службу Америки, и его имя не могло звучать по радио или телевидению, публиковаться в газетах и журналах. О его передвижениях запрещено было сообщать, его местонахождение, пользуясь словечком, которое впоследствии стало популярным благодаря вице-президенту США Чейни, было undisclosed (секретным)[112]. Он был духом в американской машине[113].

«Джозеф Антон» подумывал о том, чтобы по истечении

договора об аренде дома на Хермитидж-лейн поехать в Америку, где он надеялся провести несколько недель или месяцев вне клетки. Люди из Особого отдела с самого начала предупредили его, что их ответственность за него ограничена пределами Великобритании. Согласно правилам игры, если «клиент» намеревается поехать из Соединенного Королевства в другую страну, ее спецслужбы ставятся об этом известность, после чего сами решают, что предпринимать, и предпринимать ли что-нибудь вообще. Когда американцам сообщили о его планах, мистер Морис Басби попросил его о встрече. Это была беседа несуществующего человека с человеком-невидимкой: можно подумать, Итало Кальвино и Г. Дж. Уэллс решили поработать в соавторстве[114]. Его привезли в безликое офисное здание на южном берегу Темзы и ввели в большую комнату, совершенно пустую, если не считать двух прямых стульев. Они с послом Басби сели друг против друга, и американец сразу перешел к делу. В Америке, сказал посол, будут ему рады, и в этом у него не должно быть сомнений. Америка симпатизирует ему, и ему следует знать, что его дело «входит в повестку дня американских переговоров с Ираном». Его желание посетить Соединенные Штаты в принципе возражений не вызывает. Однако Соединенные Штаты почтительно просят его подумать о возможности отложить поездку на «три-четыре месяца». Посол Басби при условии строгой секретности уполномочен сообщить ему, что в вопросе об американских заложниках в Ливане удалось добиться реального продвижения вперед и можно рассчитывать, что часть из них скоро освободят. Он надеется, что мистер Рушди понимает, насколько щекотлива ситуация. Да, мистер Рушди понимает. Он постарался скрыть глубокое разочарование и согласился выполнить просьбу несуществующего человека. Он мрачно попросил Гиллона продлить аренду дома на Хермитидж-лейн.

Мэриан отправилась в авторское турне по Америке. Он все еще старался убедить себя, что они по-прежнему любят друг друга. В дневнике он умалял значение всего плохого, что было между ними, и с напором писал об их счастье — во многом воображаемом. Такова наша потребность в любви. Она рождает у человека иллюзию рая и заставляет отвергать свидетельства зрения и слуха о том, что он в аду.

«Гарун» был окончен. Он сбрил бороду, оставив только усы. В среду 4 апреля Зафара привезли на Хермитидж-лейн, и отец вручил ему рукопись «его» книги. Счастье, осветившее лицо мальчика, было единственной наградой, в какой нуждался автор. Зафар прочел книгу быстро и сказал, что она ему очень нравится.

Первые отзывы друзей тоже были положительными. Но непонятно было, кто захочет ее издать. Неужели никто не решится? Тони Лейси из «Вайкинг — Пенгуин» по секрету сказал Гиллону, что дешевое издание «Шайтанских аятов», «вероятно», выйдет 28 мая. Наконец-то, подумал он. Когда этот барьер будет взят, может быть, приблизится конец всей истории. Лейси, кроме того, переговорил с Гиллоном о «Гаруне». «Теперь, когда роман наконец выходит в мягкой обложке, мы, может быть, и новую книгу сумеем выпустить. Мы, должен вам сказать, гордимся тем, что он наш автор». Тони проявил себя как хороший, порядочный человек, как настоящий издатель, пытающийся отстаивать реальные ценности в нереальной ситуации.

В одиночестве на Хермитидж-лейн он прошел до конца игру «Супер Марио»: одолел большого отвратительного Боузера и спас невыносимо розовую принцессу Тоудстул. Он был рад, что Мэриан при его триумфе не присутствовала. По телефону она произносила новые тирады о его воображаемых изменах и о том, какие ненадежные у него друзья. Он старался пропускать это мимо ушей. В тот день Полин повезла Зафара в дом на Сент-Питерс-стрит: там остались вещи, которые сын хотел забрать, — боксерские перчатки, подвесная груша, разные игры. «Мы с папой тут иногда лазили на крышу, — печально сказал он Полин. — Очень трудно было привыкнуть к тому, что он прячется. Жду не дождусь, чтобы это кончилось». Она зашла с ним в пиццерию, и, пока они ели, Зафар все время цитировал из «Гаруна». «Пойди в юристы / Иль в каратисты, / Да хоть в саблисты — / Мной подавись ты!»

Он попросил Полин взять там и некоторые его вещи, но кое-чего она не нашла. Пропали все пять его старых фотоальбомов — вся его жизнь до брака с Мэриан. Пропал и личный экземпляр — экземпляр номер один — ограниченного издания «Шайтанских аятов», состоявшего из двенадцати нумерованных и надписанных автором книг. (Позднее Рик Гекоски, американский букинист, торговавший в Лондоне, продал ему экземпляр номер одиннадцать, принадлежавший Теду Хьюзу[115]. Этот экземпляр его собственной книги обошелся ему в 2200 фунтов.) Ключи от дома были только у Полин, Самин и Мэриан. Два года спустя журналист Филип Вайс написал о нем для журнала «Эсквайр» биографический очерк, поразительно неприятный по отношению к нему и весьма доброжелательный к Мэриан. По крайней мере одна из иллюстраций к очерку несомненно была взята из пропавших альбомов. Под давлением Эндрю «Эсквайр» признал, что фотографию предоставила Мэриан. Она заявила, что

получила ее в подарок. Примерно в это же время на продажу был выставлен «окончательный машинописный текст» «Шайтанских аятов», тоже исчезнувший из его кабинета на Сент-Питерс-стрит. Рик Гекоски сказал ему, что рукопись, по словам Мэриан, была, как и фотоснимок, ей «подарена» и что она в конце концов раздумала ее продавать: не удовлетворили предлагаемые цены. Рукопись, правда, была не совсем «та самая»; самый ценный машинописный экземпляр, «рабочий», исписанный его примечаниями и поправками, остался у него. А вот фотоальбомы так и не вернулись.

23 апреля первым из американских заложников освободили профессора Бейрутского университета Роберта Полхилла, которого три года удерживал «Исламский джихад освобождения Палестины». Через четыре дня вышел на свободу директор Ливанской международной школы Фрэнк Рид — он четыре года был заложником у организации «Исламский рассвет». Посол Басби не солгал.

Мэриан была любительницей блокнотов, и один из них положил конец их браку. Он так никогда и не узнал, случайно она оставила на Хермитидж-лейн этот блокнот или нарочно — чтобы спровоцировать окончательный разрыв, которого якобы не хотела. В великом романе Дзюнъитиро Танидзаки «Ключ», который Мэриан назвала «зловредной книгой», муж и жена по отдельности ведут «тайные» дневники, судя по всему предназначенные для того, чтобы их нашли и прочитали. В книге Танидзаки дневники служат эротическим целям. А в его жизни найденный блокнот сыграл более простую роль. Поведал ему правду, которой он не хотел знать. Во время американского турне она написала, что у нее нет причин быть в Англии, но он принуждает ее вернуться, зная о ее нежелании. В Америке она сняла дом. Это стало для него новостью. Она планировала жизнь в Америке для себя, отдавая себе отчет, что он туда поехать не сможет. Она устала от их отношений, и он очень хорошо ее понимал. *Да, она должна уйти*, подумал он, *и пусть это расставание приведет в будущем к полному разрыву.*

Остальное в дневнике было более темно. Она писала, что он боится женщин. *Да,* подумал он, *по крайней мере тебя побаиваюсь.* Ей страшно не нравились его отношения с любимой сестрой Самин. Несколько раз насмешливо высказалась о том, каков он в постели.

Она снова была в Лондоне. Он сказал ей, что прочел дневник и что с их браком покончено. Она пришла в сильное волнение, заявила, что любит его, что дневник, который он нашел, это ее

«черный дневник», куда она записывала самые свои злые мысли, чтобы от них избавиться. Это было почти правдоподобно. Он и сам порой так поступал — заносил страхи, слабости, похотливые мечтания, фантазии на бумагу и потом выбрасывал в корзину. Но то, что он увидел в ее дневнике, было слишком категорично и масштабно, чтобы счесть это простым проявлением праздной злости или обиды. Это не были преходящие переживания. Она на само деле так думала. Он спросил ее, почему она утаила от него, что сняла дом, и она принялась это отрицать. Но Гиллон еще раньше сказал ему, что она говорила ему, Гиллону, про этот дом. Он сказал ей: «Не хочу с тобой драться. Какой смысл? Война окончена». Мэриан ушла.

Он позвонил Самин и спросил, есть ли хоть сколько-нибудь правды в обвинении Мэриан, что он третирует сестру. Она сказала в ответ то, что он и так знал: что их любовь друг к другу безоговорочна и ничто в их отношениях не может быть проблемой. Да, прочитанное его огорчило, но главным, что он испытал, было облегчение. Хотя бы в этой части его кошмар окончился.

На следующий день полиция устроила им с Зафаром развлечение. На полицейском катере их с ветерком прокатили по Темзе до самого Барьера и дальше, а потом обратно к зданию речной полиции в Уоппинге. Зафар был в восторге.

Альберто Витале, глава корпорации «Рэндом хаус», сказал Эндрю, что последняя фраза в «Ничего святого?» — «Где бы в мире ни закрывали маленькую комнатку литературы, рано или поздно рушились стены здания» — очень сильно на него подействовала и что «Рэндом хаус» снова испытывает интерес к публикации «Гаруна и Моря Историй» и других будущих книг Рушди. Витале оговорился, однако, что хотел бы включить в договор страховочный пункт, позволяющий «Рэндом хаус» выйти из игры, если будет написано что-либо «ставящее персонал в опасное положение». Несмотря на это, Эндрю и Гиллон считали, что перейти от Питера Майера к «Рэндом» стоило бы. «Я не соглашусь ни на какие унизительные страховочные пункты, — сказал он своим агентам и для убедительности добавил: — Только через мой труп». У Эндрю было ощущение, что в этом «Рэндом хаус», возможно, уступит. Сонни Мехта дочитал «Гаруна» и сказал, что книга ему нравится. За считаные дни сделка с «Рэндом хаус» была, по существу, заключена. Но Витале не хотел о ней объявлять. Фактически он хотел держать ее в секрете так долго, как получится. Но Сонни Мехта и Эндрю согласились, что надо подготовить заявление для прессы.

Он, человек без армий, был вынужден постоянно сражаться на многих фронтах. Был частный фронт его тайной жизни, заставлявшей съеживаться и приседать, красться и пригибаться, бояться водопроводчиков и монтеров, озабоченно искать убежища, примерять ужасающие парики. Был издательский фронт, где, несмотря на всю свою работу, он не имел никаких гарантий. Публикация как таковая до сих пор была под вопросом. Не было уверенности, что он сможет и дальше вести жизнь литератора, которую выбрал, что всегда будут отыскиваться люди, готовые публиковать и распространять его книги. И был, наконец, жестокий и яростный мир политики. Если, думалось ему, он футбольный мяч — может ли этот мяч обладать самосознанием и участвовать и игре? Может ли футбольный мяч понимать ход игры, во время которой его гоняют от ворот до ворот? Может ли футбольный мяч действовать в собственных интересах, может ли он вылететь с поля, спасаясь от безжалостных бутс?

В парламенте был депутат по имени Питер Темпл-Моррис, человек с гладкой белой шевелюрой, похожей на горку мягкого ванильного мороженого над вместительным стаканчиком лица, солидный и влиятельный консерватор, член англо-иранской парламентской группы, человек, относившийся к нему отрицательно, и теперь, когда американских заложников в Ливане начали освобождать, решивший возложить «моральную ответственность» за судьбу заложников-британцев на автора «Шайтанских аятов», которому надлежит воздержаться от публикации этого романа в мягкой обложке. За этим последовала лавина критики. Активисты, добивавшиеся освобождения заложника Джона Маккарти, заявили: «Рушди должен извиниться». Патрик, отец Маккарти, назвал его в «Дейли мейл» виновником продолжающегося заточения Джона. Дэвид, брат заложника Терри Уэйта, сказал, что он сам навлек на себя свои беды, и добавил по поводу издания в мягкой обложке: «Нельзя всегда иметь все, чего хочешь». Дэвид считал, что публикацию надо отменить и что автору надо извиниться за нанесенные оскорбления. Вся эта враждебность оказывала свое действие. «Дейли телеграф» опубликовала результаты гэллаповского опроса: большинство респондентов полагали, что «Салман Рушди должен извиниться за „Шайтанские аяты“». И его источники сообщили ему — хотя правда ли это, он так никогда и не узнал, — что Уильям Уолдгрейв в частном порядке настоятельно попросил «Пенгуин» не выпускать дешевое издание, поскольку это могло плохо сказаться на судьбе британских заложников в Ливане и британского бизнесмена Роджера Купера, все еще

находившегося в тегеранской тюрьме Эвин.

Вот к чему привели отсрочки «Пенгуина». К этому, похоже, и стремился все время Майер: получить благовидный предлог для отказа от публикации.

Роберт Ранси, архиепископ Кентерберийский, встретился с мистером Абдулом Куддусом из Брадфордского совета мечетей. Во время недавней поездки в Иран, сообщил Куддус архиепископу, депутаты меджлиса сказали ему, что Терри Уэйт, посланник архиепископа, взятый в заложники ливанскими боевиками, жив, но будет освобожден только в случае *высылки Рушди в Иран*. На это заявление эхом откликнулся Хусейн Мусави из ливанской шиитской группировки «Исламский Амаль»: он сказал, что британского заложника могут отпустить, «если Великобритания депортирует Рушди», и предупредил, что если против автора ничего не будет предпринято, то Терри Уэйт, Джон Маккарти и третий британский заложник Джекки Манн на свободу не выйдут. Его мать, услышав об этом по радио в Карачи, чрезвычайно встревожилась, и Самин пришлось ее успокаивать.

В течение какого-то времени он пытался добиться встречи с Уильямом Уолдгрейвом, чтобы спросить, какие меры намерено принять правительство для разрешения кризиса. Теперь Уолдгрейв сказал Гарольду Пинтеру, что правительство — то есть Маргарет Тэтчер — «настораживает» идея такой встречи и возможность того, что сведения о ней просочатся в прессу. Было хорошо известно, что он не сторонник правительства Тэтчер. Позиция правительства выглядела теперь так: *ладно, поможем ему остаться в живых, но ни видеться с ним, ни планировать какие-либо действия мы не хотим. Просто будем держать его в клетке, а если ему что-то не нравится, есть множество людей, которые готовы осудить его за неблагодарность.*

Его одолела великая усталость, следствие нервного истощения. Он опять курил, чего не делал пять лет, злился на себя за это, говорил себе, что долго так продолжаться не должно ни в коем случае, но все-таки курил. «Я борюсь с табаком, — писал он, — но как же он силен! Тягу к нему я чувствую по всей длине рук и в глубине живота. — И дальше заглавными буквами: — Я ИЗ СЕБЯ ЭТО ВЫБЬЮ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО».

Пятеро арабов были арестованы в Скарборо — будто бы за то, что собирались привести фетву в исполнение. Зафар, который из-за болезни не пошел в школу, увидел сюжет об этом в дневных новостях и позвонил, стараясь не показывать, что встревожен. Полицейские сказали, что это обычная «шумиха на пустом месте», и он постарался успокоить Зафара этой официальной версией, хотя сам ей не поверил.

Мэриан написала ему письмо. «Ты отправился на поиск Сомнения, и ты его нашел, — говорилось в нем. — И за это ты нас убил».

«Самое важное для нас, — писал он в „Детях полуночи“, — большей частью происходит в наше отсутствие». Он не имел тогда в виду смертные приговоры, заговоры с целью убийства, угрозы взрывов, демонстрации, судебные процессы и политические интриги, но они, словно бы для того чтобы доказать правоту его вымышленного рассказчика, втиснулись без спроса в историю его жизни. И то, что так много не знакомых с ним доброжелателей приняли его беду близко к сердцу, глубоко его трогало. Американский писатель Пол Остер, с которым они потом стали очень хорошими друзьями, написал «молитву» за него. *Сегодня утром, сев за письменный стол, я первым делом подумал о Салмане Рушди. Так было у меня каждое утро…* Готовность помочь изъявил Майк Уоллес. Легендарный репортер американской телепрограммы «60 минут» сказал сотруднику издательства «Пенгуин», что мог бы лично передать Рафсанджани еще одно заявление Рушди в духе «По совести говоря» или «чуть более далеко идущее» (что именно он имел под этим в виду, трудно сказать), и это, может быть, привело бы к отмену фетвы.

Он поговорил с Эндрю, Гиллоном И Фрэнсис Д'Соуса и попросил их исследовать эту возможность. «Я не должен слишком сильно нервничать, — писал он в дневнике, — но даже самая слабая надежда на свободу так волнует меня, что я ничего не могу с собой поделать». Эндрю побеседовал с Майком Уоллесом, а затем с Кавехом Афрасиаби, научным сотрудником Центра исследований стран Ближнего Востока в Гарварде. Афрасиаби сказал, что уже разговаривал с иранским представителем в ООН Камалем Харрази и с «людьми, связанными с Хаменеи». Он повторил сказанное Уоллесом. Если Рушди сделает заявление, «совместимое с его принципами», Хаменеи пойдет ему навстречу и отменит фетву. Иран ищет «поворотную точку» в этом кризисе, и участие Майка Уоллеса — положительный момент, важный из-за того, что Хаменеи хочет хорошо выглядеть в американских СМИ, чтобы перехватить у Рафсанджани инициативу.

Все в нынешнем мире в конце концов упирается в телевидение.

Его попросили записать заявление на видео, чтобы Уоллес мог отвезти запись в Тегеран и показать по тамошнему телевидению, а затем Хаменеи поговорил бы с Уоллесом в американской телепрограмме и произнес то, что должно быть произнесено. Через несколько дней, сказал Афрасиаби, нам

сообщат, хочет ли Иран идти по этому пути. Он был склонен ожидать «положительного отклика». Через четыре дня он сказал Эндрю по телефону, что получил «зеленый свет». В качестве следующего шага он предложил встретиться с господином Хусру, первым секретарем иранской делегации в ООН.

Эндрю и Фрэнсис переговорили между собой, а потом с ними. Решили — стоит попробовать, соблюдая осторожность. Неужели возможен прорыв? Они не смели этому верить. И все же не могли ничего с собой поделать. Верили.

Майк Уоллес и Афрасиаби встретились с Эндрю в его агентстве. Афрасиаби повторил иранские требования: его заявление, что он сожалеет о написанном, *должно включено как предисловие в издание в мягкой обложке* (*тьфу*, подумал он, — но, с другой стороны, они не возражали против этого издания как такового), и он должен создать фонд в пользу семей тех, кто погиб во время «антирушдистских» беспорядков. Фрэнсис Д'Соуса была обеспокоена. С одной стороны, сказала она, есть «признаки» того, что Иран, возможно перестал финансировать Мусульманский институт Сиддики и пытается сделать верховным имамом в Великобритании человека умеренных взглядов. С другой стороны, она опасалась, что иранцы, возможно, играют «в очень грязную игру». Если они отменят фетву, будет отменена и охрана, и тогда его сможет убить какая-нибудь ячейка фундаменталистов, а Иран будет как бы ни при чем. На какой-то стадии, сказала она, к переговорам должно подключиться британское правительство — попросить гарантий против такого развития событий. Самин тоже боялась, что его убьют, если он «выйдет из подполья». Но что делать? Никогда из него не выходить? Он был в шатком, дезориентированном состоянии. Слишком много происходило событий. Трудно было понять, что к добру, а что к худу.

Клубок начал распутываться. Иранцы отменили встречу с Майком Уоллесом. Они хотели встретиться с одним Афрасиаби и услышать от него, на что было дано согласие во время его разговора с Эндрю. А потом — хлоп! Мечта лопнула как воздушный шарик. Иранская делегация в ООН сообщила, что ей надо «проконсультироваться с Тегераном». На это уйдет две недели минимум. *Это не всерьез*, понял он. *Это игра. Они хотят, чтобы я сделал заявление и ждал их отклика, полагаясь на их честность. На их честность. Конечно, это игра.*

Он перестал курить. Потом опять начал.

Через несколько дней Иран заявил, что фетва отменена на не будет. Хаменеи сказал, что он «должен быть передан британским мусульманам и казнен за святотатство» и это устранит трудности

в отношениях между Соединенным Королевством и Ираном. Фрэнсис Д'Соуса выступила в телепрограмме Би-би-си «Ночь новостей», где ее оппонент — «правая рука» Сиддики, шотландец Джеймс Дикки, принявший ислам и взявший имя Якуб Заки, — призвал в Лондон спецгруппы боевиков. Рафсанджани дал пресс-конференцию, на которой попытался снизить накал страстей, но не предложил никаких выходов из кризиса, вызванного фетвой. И в первый раз британское правительство выделило человека для общения с ним. В ближайший уик-энд ему предстояло встретиться с Данканом Слейтером, занимавшим крупную должность в министерстве иностранных дел. До этого он поговорил с журналистом Джоном Буллоком, весьма уважаемым специалистом по Ближнему Востоку из газеты «Индепендент», который недавно вернулся из Тегерана и подтвердил, что иранцы «отчаянно ищут возможность уладить противоречия… необходимо приемлемое соглашение». После этого беседа со Слейтером принесла разочарование. Слейтер ничего не сообщил ни о каких-либо закулисных инициативах, ни о сколь-нибудь существенных правительственных шагах. И все-таки быть в контакте с правительством и слышать заверения в его неизменной поддержке — это было лучше, чем ничего. Он дошел до такой стадии, когда был благодарен и за подобные крохи.

Инициатива Афрасиаби не удалась. Гарвардский специалист прислал письмо с новым списком требований. Публикацию надо отложить на двенадцать — пятнадцать месяцев, и «пусть Рушди просто-напросто сделает первый шаг и выступит с заявлением; что он теряет?». Эндрю, кроме того, сказал о Афрасиаби: «Боюсь, он хочет опубликовать свой роман и ищет агента». Неделю спустя представитель Ирана в ООН Камаль Харрази сообщил Майку Уоллесу: «Сейчас неподходящее время для этой инициативы». Еще один закулисный канал закрылся.

У него произошла новая встреча с послом Басби, вместе с которым на этот раз был Билл Бейкер из ФБР. Они попросили его отложить поездку в Соединенные Штаты еще на несколько месяцев; говорили, однако, сердечным, сочувственным тоном. Басби высказал полезное соображение насчет усилий Афрасиаби. «Возможно, — сказал он, — их не устроила личность посредника».

На одиннадцатый день рождения он подарил Зафару электрогитару и провел с ним на Хермитидж-лейн часть дня, слушая и записывая его игру. Просто еще один обычный день с самым важным человеком в его жизни.

Косима нашла большой отдельно стоящий дом в Уимблдоне,

гораздо более уютный, чем на Хермитидж-лейн: вместительное трехэтажное кирпичное строение с восьмиугольной башенкой на южной стороне. Полицейские осмотрели его и одобрили. Дом на Хермитидж-лейн был ужасен, но все-таки обеспечил ему семь месяцев стабильности. А теперь опять пришло время переезжать.

Договор на «Гаруна и Море Историй» не был подписан издателем. Чтобы узнать почему, Эндрю отправился встречаться с Сонни Мехтой и Альберто Витале. Перед встречей Сонни сказал Эндрю: «Не думаю, что тут есть проблема», так что проблема, ясное дело, была. Когда они встретились, Витале сказал, что не хотел подписывать договор «по страховым причинам». Издательство вело переговоры о покупке здания, где оно размещалось, и книга могла вызвать трудности в отношениях со страховой компанией. Две трети согласованного аванса оно готово было заплатить сразу, чтобы закрепить за собой «возможность публикации», а остальную треть — после того, как автор обсудит с Сонни «редакторские замечания». «Автор пусть подпишет, — сказал Витале, — но мы подождем». Эндрю позвонил ему и сообщил новость. «Нет! — возмутился он. — Аннулируй сделку и скажи им, что я подам на них в суд за нарушение договора. Я лучше откажусь от публикации, чем позволю себя унижать». Позднее тот же день Эндрю еще раз встретился с Витале и Сонни, и они сдались. Хорошо, сказали они, мы подпишем. У него во рту остался горький привкус, но было ощущение, что выигран хотя бы раунд.

В день, когда ему исполнилось сорок три года, Гиллон привез ему договор на подпись. Там был пункт о конфиденциальности. Он не имел права никому рассказывать о сделке вплоть до даты, которую еще предстояло согласовать с «Рэндом хаус». Пункт, безусловно, выглядел подозрительным. Он подписал договор. Подозрения оправдались почти сразу. Сонни Мехта отказался публиковать «Гаруна», пока книга не будет переписана согласно его указаниям.

Он был знаком с Сонни Мехтой десять лет — с тех пор, как Сонни выпустил в лондонском издательстве «Пикадор букс» британское издание «Детей полуночи» в мягкой обложке. Все это время он считал Сонни своим другом, невзирая на его знаменитую сдержанность, которая препятствовала сближению. Сонни был скуп на слова и еще скупее на телефонные звонки — знай себе загадочно улыбался, выставляя вперед козлиную бородку и отдавая все разговоры и светское общение на откуп своей жене Гите, женщине яркой; но он отличался вкусом, честностью, глубокой преданностью своим авторам и

элегантностью (высококачественные блейзеры с узкими джинсами). Однако в истории с «Гаруном» он повел себя как совершенно другой человек. 26 июня 1990 года он позвонил Эндрю и потребовал, чтобы было изменено место действия книги. «Долина К», сказал он, это явно Кашмир, а Кашмир — район чрезвычайно спорный, из-за него велись войны, в нем активно действуют исламские джихадисты; ясное дело, это надо убрать. Может быть, предложил он, перенести действие в Монголию? Иначе «повсюду будут трупы» и «Салману будет еще хуже, чем сейчас». «Гарун», уверял он Эндрю, вещь еще более опасная и провокационная, чем «Шайтанские аяты».

Он попробовал посмотреть на свою сказку через это кривое стекло. Но ведь даже при таком искаженном взгляде книгу можно воспринимать только как «прокашмирскую» — разве не так? Есть, однако, в ней «мистер Ное» — сатирический портрет индийского политика: может быть, Сонни, происходящему из семьи высокопоставленного дипломата, женатому на дочери главного министра штата Орисса и вращающемуся среди политической элиты Дели, на самом деле не понравился этот персонаж? И если Сонни так испугался детской книжки, что будет, если когда-нибудь он напишет и предложит ему взрослый роман?

Дальше — хуже. План Сонни состоял в том, чтобы провести всю подготовительную работу, скрывая подлинное имя автора. На секретности настаивал Альберто Витале, выдвигая причудливый довод: одной из организаций, снимавших помещения у «Рэндом хаус», было норвежское консульство, и заранее объявить о публикации романа Рушди значило, по его мнению, подвергнуть норвежцев опасности. Предложили поэтому использовать вымышленное имя и заменить его настоящим в последнюю минуту перед отправкой книги в печать. Это было ужасно. Выглядело как поведение испуганных людей — да таковым оно и было, — и, когда в прессу просочилось бы — а просочилось бы почти наверняка, — что «Рэндом хаус» боится назвать имя автора новой книги, книга приобрела бы «скандальный» характер еще до того, как ее кто-либо смог бы прочесть, и противники автора восприняли бы это как недвусмысленное приглашение к новым атакам.

В обоснование своего беспокойства Сонни прислал в офис Эндрю вырезки о Кашмире из индийских журналов и газет. В «Гаруне» имелись персонажи по имени Батт[116] — а ведь недавно в Кашмпре повесили некоего Батта, «о чем Салман наверняка должен был знать». Итак, «Батт», девичья фамилия его матери и вообще самая распространенная в Кашмире в разом написании — «Батт» или «Бхатт» — фамилия, в «Гаруне» не принадлежащая

никакому повешенному, а превращенная в имя добродушного водителя почтовой кареты, а затем в имя гигантского механического удода, несет в себе опасный политический заряд? Это было нелепо, но Сонни был настроен абсолютно серьезно. Эндрю заметил ему, что он ведет себя не совсем так, как должен бы вести себя старый друг Салмана, и Сонни ответил: «Не понимаю, при чем тут дружба». Затем добавил: «Эндрю, никто на свете не понимает эту книгу так хорошо, как я». Эндрю с похвальной сдержанностью отозвался на это: «Салман, я думаю, полагает, что понимает ее не хуже».

Все это Эндрю пересказал ему из нью-йоркской уличной телефонной будки после того, как вышел из офиса Сонни. Он сказал Эндрю: «Пожалуйста, поднимись к нему опять и соедини меня с ним по телефону». Сонни взял трубку и выразил «уверенность», что разногласия можно будет уладить, когда ему удастся прилететь в Лондон, чтобы их обсудить. Но дело уже зашло слишком далеко.

— Сонни, я хочу получить от вас ответ, — сказал он. — Вы опубликуете мой роман в таком виде, в каком я его написал? Да или нет?

— Дождитесь, когда я прилечу, и мы поговорим, — повторил Сонни.

— Тут не о чем говорить, — возразил он. — Вопрос один: напечатаете вы его так, как он написан?

— Нет, — ответил Сонни, — в таком виде — нет.

— Тогда, — сказал он старому другу, — разорвите, пожалуйста, договор, который лежит перед вами на столе.

— Хорошо, — промолвил Сонни, — если вы так хотите, Салман.

— Я этого совсем не хочу, — сказал он. — Но я хочу, чтобы кто-нибудь опубликовал мою книгу, а не какую-то там гребаную книгу, какую вы пишете у себя в голове.

— Хорошо, — повторил Сонни, — тогда порвем.

Он узнал, что за некоторое время до этого вопрос о публикации «Гаруна» рассматривался на заседании совета директоров британского филиала «Рэндом хаус». Подавляющее большинство проголосовало против.

В другой вселенной пришло время чемпионата мира по футболу. Билл Бьюфорд, уже начавший писать книгу о футбольных хулиганах, полетел на Сардинию на матч Англия — Голландия, полетел не ради футбола, а потому, что грех было пропустить такие роскошные стычки между противоборствующими бандами громил. В тот вечер в британских

вечерних теленовостях потасовки на Сардинии шли первым номером. Войско британской шпаны, скандируя «Англия!», надвигалось на камеру со вскинутыми кулаками, с поднятыми дубинками. И в самом центре первой шеренги британского хулиганья, вопя и скандируя наравне с остальными, шел редактор журнала «Гранта» — он вывел «новую журналистику» с ее установкой на личное участие в событиях на такие рубежи, о каких Джордж Плимптон и Том Вулф, возможно, и не мечтали. Позднее в тот вечер британских фанатов атаковала итальянская полиция, и многим сильно от нее досталось — в том числе Биллу, которого несколько раз ударили по почкам, когда он в позе эмбриона лежал на тротуаре. Несмотря на полученные травмы, по возвращении в Лондон он рьяно занялся спасением литературной карьеры друга.

«Гаруну» нужен был издатель. Лиз Колдер сказала, что «Блумсбери» состязаться за эту книгу не захочет. Кристофер Синклер-Стивенсон, который совсем недавно создал свое маленькое независимое издательство, отказался на том основании, что оно у него «только-только оперяется». Кристоферу Маклехозу из «Харвилла» не дал предложить себя в качестве издателя «ХарперКоллинз» Мердока — главный акционер «Харвилла». «Фейбер энд Фейбер» — это был возможный вариант. Но сильнее всего хотел получить книгу Билл для «Гранта букс» — нового издательства при журнале «Гранта». «Тебе нужен человек, который издаст тебя совершенно нормально — то есть ярко, волнующе, искрометно, как того заслуживает твоя новая книга, — сказал он. — Тебя надо снова представить читателю именно как писателя, для этого-то я и хочу взять у тебя эту книгу». До того как появилась возможность издать «Гаруна», Билл предлагал позволить Блейку Моррисону написать его авторизованную биографию, чтобы читатели переключили внимание со скандала на самого человека. Он отказался, не желая выставлять напоказ свою личную жизнь, хоть и понимал: Блейк отличный писатель и справился бы с делом прекрасно. И если когда-нибудь придет время о нем написать, он хотел бы сам быть автором. *В один прекрасный день,* сказал он Биллу, *я сам за это возьмусь.*

Но теперь мысль о биографии отошла на второй план. Билл упрашивал Гиллона разрешить ему опубликовать «Гаруна». Его энтузиазм был и лестным, и убедительным. Книги издательства «Гранта букс» распространялись через «Пенгуин». Это, сказал Гиллон, могло бы стать «элегантным решением». Разрыва с «Пенгуин», который мог бы произвести неблагоприятное впечатление на публику, в этом случае не происходило, и вместе с тем люди из «Пенгуина» оказывались вовлечены только

косвенно. Вдруг все в «Вайкинг — Пенгуин» с энтузиазмом поддержали этот вариант. Так они могли сохранить лицо. Билл сказал, что отклик менеджеров по продажам «Пенгуина» был «весьма положительным». Питер Майер в письме выразил надежду, что это может быт началом нового периода отношений, и он ответил, что тоже надеется на это. Все в британском филиале хотели выпустить книгу быстро, уже в сентябре, чтобы использовать рождественский покупательский бум, и американское подразделение «Пенгуина» было согласно. Предложенная сделка была заключена почти сразу же, и о ней немедленно объявили. Быстрота имела большое значение. Если бы Сонни успел объяснить своим многочисленным друзьям в издательском мире, что он отказался публиковать «Гаруна», потому что автор опять подсунул бомбу замедленного действия, никого не предупредив об опасности, этот автор навсегда лишился бы возможности издавать свои книги. Благодаря смелости и решимости Билла Бьюфорда этого не произошло.

Гита Мехта сказала общему другу: «Мне кажется, он сейчас не очень к нам расположен».

Он скучал по Мэриан. Он знал, что не должен пытаться ее вернуть после всего, что произошло, после «операции ЦРУ» и «черного дневника», но все равно скучал по ней телом и душой. Когда они говорили по телефону, они ругались. Разговоры начинались с добрых пожеланий и кончались пожеланиями сгинуть к чертовой матери. Но любовь — что бы он ни понимал под этим словом, что бы она под ним ни понимала, — слово «любовь» все еще витало между ними. Его мать перенесла десятилетия брака со своим сердитым, разочарованным, пьющим мужем благодаря тому, что в противоположность памяти называла «беспамятью». Просыпалась каждое утро, не помня того, что произошло накануне. Он тоже, казалось ему, быстро забывал плохое — просыпался, помня лишь то, по чему томился. Но действий, к которым подталкивало томление, не совершал. Она улетела в Америку, и это было к лучшему.

Он понимал, что на глубинном уровне сильно угнетен неослабевающей тяжестью событий и что его реакции на окружающий мир стали ненормальными. «Не смейся надо мной, — сказал король Лир Корделии. — …Я не совсем в своем уме»[117]. Может быть, он видел в Мэриан, в ее физическом облике свою прежнюю жизнь, то *обыкновенное*, чего нынешнее *необыкновенное* его лишило. Только это, видимо, от их любви и осталось. Это была любовь к исчезнувшему «вчера», тоска дня наступившего по дню прошедшему.

Он знал, что разлом в нем усиливается, что растет разрыв между тем, как должен поступать «Рушди», и тем, как хочет жить «Салман». Для телохранителей он был «Джо», некое существо, которое их заботами должно было оставаться в живых; в глазах друзей, когда он получал возможность в них заглянуть, читалась тревога — страх, что «Салман» будет раздавлен грузом случившегося. «Рушди» — дело совершенно иное. «Рушди» был псом. «Рушди», как в частном порядке говорили многие известные личности, в том числе принц Уэльский на обеде с его друзьями Мартином Эмисом и Клайвом Джеймсом, особой симпатии не заслуживал. «Рушди» заслужил все, что с ним произошло, и должен был что-то сделать, чтобы исправить огромный вред, который нанес. «Рушди» должен был перестать настаивать на публикации своих книг, прекратить разговоры о принципах, о литературе, о своей писательской правоте. «Рушди» многие ненавидели и мало кто любил. Он был чучелом, пустой оболочкой, недочеловеком. Тем, кому — или чему — надлежало только покаяться.

Рути Роджерс, совладелица лондонского ресторана «Ривер кафе», устроила праздник по случаю его дня рождения. Примерно дюжина его ближайших друзей собрались под пристальными взглядами девяти оттисков портрета Мао работы Энди Уорхола в громадной гостиной дома Роджерсов на Ройял-авеню, в этом ослепительно освещенном белом пространстве с высокими незанавешенными окнами, которые стали настоящим кошмаром для Особого отдела. До фетвы Рути и ее муж, архитектор Ричард Роджерс, были его хорошими знакомыми, и не более того, но их щедрые, любящие души побуждали их завязывать с приятелями, попавшими в беду, более тесную дружбу, делать для них гораздо больше, чем те просили. Он был человеком, нуждавшимся в объятиях и прикосновениях, и в тот вечер он их получил очень много. Он был рад, что его друзья щедры на объятия и поцелуи. Но он видел себя отраженным в их глазах и понимал: с ним неладно.

Ему становилось ясно, что возможности языка ограниченны. Он всегда верил в его всесилие, в мощь словесности. Но язык не мог выручить его из этой беды. «По совести говоря» и «Ничего святого?» ничего не изменили. Его пакистанский друг Омар Номан хотел собрать группу людей из «нашей части планеты», чтобы объяснить иранцам: они «осудили невиновного». Его индийский друг, видный юрист Виджай Шанкардасс, считал, что свою роль в решении проблемы должны сыграть индийские мусульмане. Виджай вызвался поговорить с некоторыми лидерами, в том числе с Саидом Шахабуддином, добившимся

запрета «Шайтанских аятов» в Индии, и с Салманом Куршидом — «не с тем Салманом», — которого имам Бухари из делийской мечети по ошибке заклеймил во время пятничного богослужения.

Он сомневался, что убеждением, методами, принятыми у людей словесного склада, можно будет многого добиться. Он сражался с более мощной — или, пользуясь словарем набожных, *высшей* — силой, которая смеялась над тем, что было всего лишь рационально, и говорила на языке, далеко превосходящем все наречия смертных. И этот бог не был богом любви.

Он покинул Хермитидж-лейн навсегда, и их с Зафаром отвезли в Поуис на ферму Деборы и Майкла — там они замечательно провели уик-энд, гоняя футбольный мяч, играя в крикет и перекидываясь в поле летающим диском. Кларисса хотела в этот уик-энд быть свободной, потому что у нее был новый мужчина, но именно тогда тот с ней порвал, не пожелав иметь дело с побочными последствиями фетвы, выпавшими на ее долю. Она приняла это очень стойко. Он хотел, чтобы она могла быть счастлива.

После уик-энда он незамеченным проскользнул в уимблдонский дом, но там начались проблемы. Несколько раз звонила хозяйка, миссис Синди Пасарелл, задавала вопросы, проявляла чрезмерное любопытство. К счастью, тогда дежурила Рейчел Клуни, одна из женщин-охранников, и, поскольку женский голос успокаивает лучше, чем мужской, ей в какой-то мере удалось справиться с настойчивостью миссис Пасарелл. Потом позвонил мистер Девон Пасарелл, явно не зная о звонках жены, — сказал, ему надо что-то забрать в гараже. Может быть, они живут не вместе? На другой день без какой-либо понятной причины к двери подошла «сослуживица» миссис Пасарелл. Потом опять позвонила Синди Пасарелл, говорила на этот раз жестче. Она хотела познакомиться с новыми жильцами, чтобы убедиться, что они «приличные люди».

Он позвал на помощь Полин. Ей в чем только не доводилось играть, от «Вдали от обезумевшей толпы» по Гарди до телесериала «Молодежь», и ей было не привыкать к импровизации, так что эта роль для нее трудности не представляла. Он обрисовал ей персонаж, в который следовало перевоплотиться, и она согласилась провести в доме день и встретиться с назойливой Синди. Ситуация, при всей ее нелепости, была угрожающая. Он сказал Бобу Мейджору, что с него хватит, что он больше не может обманывать и прятаться. Надо найти какое-то другое решение. Боб отвечал сочувственно, но уклончиво. Он лицо подчиненное, такие вопросы не в его

ведении.

За два следующих дня мистер Пасарелл дважды приезжал без предупреждения: сначала «забрать из гаража свои вещи», а затем *еще раз* — «бросить ключ от гаража в щель во входной двери». Рейчел Клуни, высокая, элегантная блондинка с широкой улыбкой, по-шотландски слегка картавая, разговаривала с ним приветливо, но он долго не уезжал, сидел в своей черной «гранаде» и наблюдал за домом. Стремясь разрядить обстановку, Полин в роли новой хозяйки дома позвонил миссис Пасарелл и пригласила ее к чаю, та приняла приглашение — но не пришла; вместо этого Пасареллы совместно прислали в офис Гиллона жалобу на то, что в доме проживает «более чем одна семья». Он испытывал парализующий страх перед разоблачением. Неужели повторился Литтл-Бард-филд? Неужели придется спешно уезжать, теряя все, что уже заплачено, и все, что еще предстоит заплатить по договору? «Это ужасно, — сказал он Гиллону. — Надо с этим кончать».

Гиллон-то и решил проблему. «Они ведут себя возмутительно, — проговорил он самым своим надменным, самым презрительным тоном. — Ты им платишь бешеные деньги. Придется их слегка осадить. Предоставь это мне, мой милый». Он отправил им по факсу, как он выразился, послание на тему «Идите на хер». Через некоторое время он перезвонил, радостный донельзя: «По-моему, все получилось, мой милый. Они по факсу же мне и ответили. Пишут — на хер пойти согласны». Пасареллы и правда согласились больше не беспокоить жильцов, которые так много им платят за аренду дома. Кажется, даже извинились. И на несколько месяцев вопрос был снят.

Надин Гордимер собирала подписи видных европейцев под «обращением к иранскому правительству». В доме Пинтеров он ужинал с Карлосом и Сильвией Фуэнтесами, и великий мексиканский писатель предложил «мобилизовать глав латиноамериканских государств». Между тем садовый гном Сиддики продолжал распространять свои отвратительные гномы[118], на которые в Куме и Тегеране более громким эхом отзывались гномы покрупнее. Произошло сильнейшее землетрясение с эпицентром около города Решт, погибли сорок тысяч человек, полмиллиона остались без крова, но повестку дня это не изменило. Фетва оставалась в силе.

Зафар уезжал на целых три недели. Сначала в детский лагерь с двумя школьным друзьями, а затем Кларисса с Лиз Колдер, Луисом Баумом и сыном Луиса Саймоном везла его во Францию. В отсутствие сына ему пришлось иметь дело с пакистанскими партизанами.

Пакистанский фильм Inlernational Gorillay («Международные партизаны»), выпущенный продюсером Сайджадом Галом, рассказывал о группе местных героев — из тех, кого позднее назвали бы джихадистами или террористами, — поклявшихся найти и убить писателя по имени Салман Рушди. Сюжет картины в основном был построен на поисках этого самого «Рушди», а его смерть была тем счастливым финалом, каким авторы сочли нужным завершить фильм.

«Рушди» был изображен пьяницей, постоянно прикладывающимся к бутылке, и садистом. Его жилище, очень похожее на дворец, располагалось на острове, очень похожем на филиппинский (у всех романистов конечно же имеются такие вторые дома), охранял его отряд, очень похожий на подразделение израильской армии (видимо, Израиль предоставляет такую услугу всем романистам), и он замышлял совершить в Пакистане переворот дьявольским способом: пооткрывать повсюду в этой чистой и добродетельной стране дискотеки и игровые залы — коварнейшая идея, за которую, как, вероятно, сказал бы британский мусульманский «лидер» Икбал Сакрани, смерть — слишком легкое наказание. Одевался «Рушди» исключительно в костюмы «сафари» отвратительного цвета — пунцовые, красновато-лиловые, светло-вишневые, — и камера, когда этот мерзкий персонаж в нее попадал, неизменно показывала вначале его ступни, затем медленно, зловеще поднималась к лицу. Так что костюмы «сафари» занимали массу экранного времени, и, когда он смотрел видеозапись фильма, безвкусица в одежде мучила его невероятно. С другой стороны, он испытал странноватое удовлетворение, прочитав про одно из следствий популярности фильма в Пакистане: актер, сыгравшего «Рушди», публика так возненавидела, что ему пришлось скрываться.

В какой-то момент фильма одного из *inlernational gorillay* израильтяне ловят и привязывают к дереву в саду при дворце «Рушди» на Филиппинах, так что злодей может издеваться над ним как хочет. Осушив бутылку спиртного, исхлестав бедного террориста кнутом, использовав его юное тело, чтобы удовлетворить свою грязную потребность в насилии, он передает невинного потенциального убийцу израильским солдатам и произносит единственную по-настоящему смешную фразу на весь фильм. «Увести его, — приказывает он, — и всю ночь читать ему „Шайтанские аяты“!» И воля бедняги, разумеется, сломлена. «Нет, что угодно, только не это…» — бормочет он, когда его уводят.

В конце фильма «Рушди» расстается-таки с жизнью — его

убивают даже не *international gorillay* — его убивает само Слово: мерзавца поражают молнии из трех больших Коранов, висящих в небе у него над головой. Персонально испепелен Книгой Книг. В этом есть некое величие.

22 июля 1990 года Британское бюро классификации кинофильмов отказалось сертифицировать *International Gorillay* на том довольно очевидном основании, что фильм содержит клевету (и из опасений, что, если фильм выйдет в прокат и реальный Рушди подаст в суд за дискредитацию, ББКК может быть обвинено в соучастии в клевете и присуждено к возмещению убытка). Это поставило реального Рушди в довольно затруднительное положение. Сражаясь за свободу слова, он, выходит, прячется под крылом у цензуры? С другой стороны — уж очень поганый был фильм. В кон-концов он написал в ББКК письмо, где официально отказался от права на юридическую защиту своего доброго имени и заверил бюро, что не будет подавать в суд ни на авторов фильма, ни на само бюро и не желает пользоваться «сомнительной защитой цензуры». Фильм следует показать зрителям, чтобы они убедились, какая это «лживая и беспомощная Халтура». Прямым следствием его вмешательства стало то, что 17 августа Бюро единогласно решило выпустить фильм в прокат, после чего, несмотря на все рекламные усилия продюсера, тот немедленно канул в забвение, *потому что это был отвратительный фильм* и, что бы ни думал его потенциальный зритель о «Рушди» или даже о Рушди, он не был настолько глуп, чтобы тратить деньги на эту дрянь.

Это был для него предметный урок свободы слова: ничего не надо, как говорится в фильмах о Шреке, «держать в себе», самые скверные, самые предосудительные высказывания все равно пусть лучше звучат, чем заметаются под ковер, лучше их публично опровергать, а то и осмеивать, чем дарить им романтический ореол табу, и люди в массе своей, как правило, в состоянии понять, что хорошо, а что дурно. Будь картина *International Gorillay* запрещена, она стала бы последним писком видеомоды, и в гостиных Брадфорда и Уайтчепела молодые мусульмане собирались бы за задернутыми шторами, чтобы насладиться испепелением богоотступника. Выставленный же на свет, отданный на суд рынка, фильм скукожился, как вампир под лучами солнца, и ушел в небытие.

События в большом мире отдавались эхом в его уимблдонской цитадели. 2 августа 1990 года Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, назревала война с Ираком, и британское министерство иностранных дел бросилось налаживать отношения

с Ираном. Британские и американские военные стремительно наращивали ударные группировки. Вдруг все, как с британской, так и с иранской стороны, перестали упоминать о «деле Рушди», и Фрэнсис Д'Соуса, позвонив ему, сказала, что очень озабочена тем, как бы на него не «махнули рукой». Он позвонил Майклу Футу, и тот пообещал разузнать, что и как. На следующий день Майкл сказал, что «успокоили», но тон его не был успокаивающим. Данкан Слейтер, «его человек» в министерстве иностранных дел и по делам Содружества, попросил его написать еще одно «умиротворяющее заявление», чтобы оно лежало в министерстве и было пущено в ход, «когда это будет сочтено наиболее полезным». Трудно понять, сказал он, «что Иран сейчас выкинет». Иранцы могут использовать международный кризис как предлог для того, чтобы «полюбовно решить проблемы» с Великобританией, — а могут посчитать, что сумеют добиться улучшения отношений и без уступок.

В публичной библиотеке в Рочдейле, графство Ланкашир, былаа взорвана зажигательная бомба.

Лиз Колдер, уезжая во Францию с Клариссой и Зафаром, позволила ему в ее отсутствие пользоваться ее квартирой для встреч с американским журналистом и некоторыми друзьями. Она сказала, что в квартиру, чтобы кормить попугая Джуджу, иногда будет заходить ее сослуживица Элизабет Уэст, редактор из издательства «Блумсбери».

— Наверно, тебе стоит с ней созвониться, перед тем как поедешь, — сказала Лиз, — во избежание неприятных сюрпризов.

Он позвонил Элизабет и рассказал о своих планах. Они проговорили по телефону на удивление долго, много смеялись, и под конец он предложил, что после ухода журналиста задержится у Лиз на какое-то время, чтобы они там увиделись и вместе отдали тихую дань уходу за попугаем. Полицейские по его просьбе купили три бутылки вина, в том числе одну — изысканного тосканского красного тиньянелло. А потом под взглядами попугая был ужин при свечах: лососина, салат из водяного кресса и много — очень много — красного вина.

Любовь никогда не приходит с той стороны, куда ты смотришь. Она подкрадывается сзади на цыпочках и бьет тебя по уху. В те месяцы, что прошли после ухода Мэриан, были кое-какие игривые телефонные звонки и очень редкие встречи с женщинами, которые большей частью, он чувствовал, испытывали к нему скорее жалость, чем влечение. Последняя, au pair[119] Зафара, привлекательная норвежка, сказала: «Можете мне позвонить, если захотите». Самым неожиданным из всех было недвусмысленное проявление сексуального интереса со стороны

либеральной журналистки-мусульманки. Все это были соломинки, за которые он хватался, чтобы не утонуть. Но потом он познакомился с Элизабет Уэст, и произошло то, чего он никак не мог предвидеть: возникла связь, вспыхнула искра. Жизнью правит не судьба, а случай. Если бы не попугай, которого надо было поить, он не встретился бы с будущей матерью своего второго сына.

В конце их первого вечера он уже знал, что хочет увидеться с ней еще, и как можно скорее. Он спросил ее, свободна ли она завтра, и она ответила — да, свободна. Договорились встретиться в квартире Лиз в восемь вечера, и его поразило, какое глубокое чувство к ней он уже испытывает. У нее были длинные роскошные каштановые волосы, ослепительная беззаботная улыбка, и она въехала в его жизнь на велосипеде, как будто во всем этом не было ничего особенного, как будто всей удушающей машины страха, охраны и ограничений попросту не существовало. Это была подлинная и очень редкая храбрость: способность вести себя нормально в ненормальной ситуации. Она была на четырнадцать лет моложе его, но под внешней раскованностью в ней чувствовалась серьезность, говорившая об опыте, намекавшая на некое знание, которое дает только боль. Не влюбиться в нее было бы нелепо. Они быстро обнаружили диковинное совпадение: он впервые приехал с отцом в Англию, чтобы учиться в школе Рагби, в тот самый день, когда она родилась. Они, можно сказать, прибыли одновременно. Это выглядело как предзнаменование, хотя он, ясное дело, ни во что подобное не верил. «День был солнечный, — сказал он ей. — И холодный». Он рассказал ей про гостиницу «Камберленд» и про то, как в первый раз смотрел телевизор: сначала «Флинтстоунов»[120], затем малопонятную ему северную мыльную оперу «Коронейшн-стрит», где зыркала свирепая старая сплетница Ина Шарплз в неизменной сетке для волос. Он рассказал про шоколадно-молочные коктейли в Лайонс-Корнер-Хаусе, про зажаренных на вертеле кур, продававшихся навынос в кафе «Кардома», про щиты с рекламным слоганом «Расстегни банан» компании «Файфс», занимающейся импортом фруктов, про рекламу «швепса»: «Тоник под названием ш-ш-ш… в общем, сами знаете». Она предложила: «Может быть, в понедельник приедете опять? Я приготовлю ужин».

Полицейские были недовольны третьим визитом за четыре дня по одному и тому же адресу, но он уперся, и они сдались. В тот вечер она рассказала ему кое-что о своей жизни, хотя многое обошла стороной, и на него опять повеяло болью ее детства: утрата матери, стареющий отец, странная Золушкина жизнь у

родственников, которые взяли ее к себе. Одна женщина — она не называла ее по имени, говорила: *женщина, которая тогда смотрела за мной,* — обижала ее. Но в конце концов ей улыбнулось счастье: Кэрол Нибб, старшая двоюродная сестра, стала для нее второй матерью. Элизабет изучала литературу в Уорикском университете. И ей нравились его книги. Были долгие часы разговоров, а потом он они держали друг друга за руки, а потом целовались. Когда он взглянул на часы, было полчетвертого утра — Золушкина карета, сказал он ей, давно уже превратилась в тыкву, а в другой комнате сидели страшно недовольные и усталые полицейские. «Очень увлечен, — написал он в дневнике. — Умная, нежная, хрупкая, красивая и любящая». Ее влечение к нему было таинственно, необъяснимо. Всегда, думалось ему, выбирает женщина, мужчине остается только благодарить счастливую звезду.

Ей надо было съездить в Дербишир навестить двоюродную сестру Кэрол, потом — давно намеченная поездка на отдых с подругой, так что снова встретиться они могли только через две недели. Она позвонила из аэропорта сказать ему «до свидания», и он пожалел, что она улетает. Он начал рассказывать про нее друзьям — Биллу Бьюфорду, Гиллону Эйткену — и сообщил телохранителю Дику Биллингтону, что просит добавить ее в «список», то есть дать ей право приезжать к нему в Уимблдон. Произнося эти слова, он знал, что уже принял важное решение на ее счет. «Ее надо будет проверить, Джо», — сказал Дик Биллингтон. «Отрицательная проверка» — процедура более быстрая, чем «положительная». Взглянуть на ее биографию, связи, окружение, и если нет ничего подозрительного — она чиста. «Положительная проверка» занимает намного больше времени. Это беседы с людьми, это разъезды. «В ее случае такого не потребуется», — сказал Дик. Двадцать четыре часа — и Элизабет была одобрена: никаких сомнительных типов, никаких иранских агентов и сотрудников Моссада в ее прошлой жизни не обнаружили. Он позвонил ей и сообщил об этом. «Я этого хочу», — сказал он. «Чудесно», — ответила она, и так у них началось. Два дня спустя она, сидя за рюмкой с Лиз Колдер, вернувшейся из поездки, рассказала ей, что произошло, а потом подкатила на велосипеде к уимблдонскому дому и осталась на ночь. В тот уик-энд она провела у него дне ночи. Отправились ужинать в Клапам к Анджеле Картер и ее мужу Марку Пирсу, и Анджела, которой вообще-то нелегко было угодить, одобрила ее. Зафар, тоже вернувшийся в Лондон, приехал к нему, и они с Элизабет сразу нашли общий язык.

Так много было такого, о чем им хотелось поговорить…

Когда она в третий раз ночевала в Уимблдоне, они не спали до пяти утра — рассказывали друг другу разные разности, вздремывали, занимались любовью. Он не помнил, чтобы у него когда-нибудь была такая ночь. Началось что-то хорошее. Сердце было полно, и наполнила его Элизабет.

«Гаруна» первые читатели приняли хорошо. Эта маленькая книжка, которую он написал, исполняя обещание, данное ребенку, стала, возможно, самым популярным из всех его произведений в художественном жанре. И в жизни чувств, и в профессиональной жизни у него начинался, он видел, новый этап, и нелепое существование, которое он вел, было от этого еще тяжелее переносить. Зафар сказал, что хотел бы поехать кататься на лыжах. «Может быть, поедешь с мамой, а я заплачу?» — предложил он. «Но я хочу с тобой», — возразил его сын. Эти слова ранили его сердце.

Пришла почта. В ней были первые экземпляры «Гаруна». Это его взбодрило. Он надписал с десяток экземпляров для друзей Зафара. В экземпляре Элизабет он написал: «Спасибо, что вернула мне радость».

Все чаще высказывалось мнение, что «дело Рушди» не заслуживает тех хлопот и переживаний, которые начались из-за него, поскольку сам объект — человек недостойный. Норман Теббит, один из ближайших политических союзников Маргарет Тэтчер, написал в «Индепендент», что автор «Шайтанских аятов» — «первостатейный негодяй… [чья] публичная жизнь — череда презренных измен своему воспитанию, религии, новой родине и национальности». Лорд Дейкр (Хью Тревор-Роупер), видный историк, тори, пэр, «удостоверивший подлинность» фальшивых «дневников Гитлера», утерся после конфуза с «дневниками» и заявил — тоже в «Инди»: «Мне интересно, как поживает в эти дни Салман Рушди под великодушной защитой британского закона и британской полиции, о которых он отзывался так грубо. Ему, надеюсь, не слишком уютно… Я бы не огорчился, если бы кто-нибудь из британских мусульман, сожалеющих о его дурных манерах, подстерег его на темной улице и поучил хорошему поведению. Если бы это заставило его впредь сдерживать свое ретивое перо, общество бы выиграло, литература — не пострадала».

Писатель Джон Ле Карре: «Не думаю, что кому-либо из нас можно безнаказанно оскорблять великие религии». Он же, в другой раз: «Готов повторить снова и снова: у него были все возможности спасти лицо своих издателей и, сохраняя достоинство, изъять книгу из продажи до более спокойных времен. По-моему, ему нечего больше доказывать, кроме своей

бесчувственности». Ле Карре отверг и довод, основанный на «литературных качествах» книги: «Выходит, мы должны предоставлять литераторам больше свободы слова, чем авторам дешевого чтива? Такой элитизм не подкрепляет позицию Рушди, в чем бы эта позиция сейчас ни состояла». Он не сказал, был ли бы он против использования категории «литературных качеств» при защите, скажем, джойсовского «Улисса» или «Любовника леди Чаттерли» Д. Г. Лоуренса.

Дугласа Херда, британского министра иностранных дел и «писателя», сотрудник газеты «Ивнинг стандард» спросил: «Какой у вас был самый мучительный момент за время работы в правительстве?» — «Чтение „Шайтанских аятов“», — ответил он.

В начале сентября он побывал у Данкана Слейтера в его доме в Найтсбридже. Обилие индийских картин и изделий неожиданно обнаружило в Слейтере индофила, чем, возможно, объяснялась его симпатия к человеку-невидимке. «Вы должны использовать все ваши связи в СМИ, — сказал Слейтер. — Нужны положительные отклики». Надин Гордимер собрала под своим воззванием к Ирану впечатляющий список подписей, в том числе Вацлава Гавела, французского министра культуры, многих писателей, ученых и политиков, и Слейтер высказал мысль, что это можно было бы использовать, чтобы побудить, к примеру, «Таймс» опубликовать сочувственную редакционную статью. Письмо Гордимер было напечатано и вызвало слабую реакцию. Ничего не изменилось. Газета «Индепендент» сообщила, что получила 160 писем, критикующих высказывание Теббита, и лишь два в его поддержку. Это было хотя бы что-то.

Несколько дней спустя министр иностранных дел Италии Джанни де Микелис заявил, что Европа и Иран «близки» к обмену письмами, который будет означать «отмену фетвы» и даст возможность нормализовать отношения. Слейтер сказал, что это заявление «несколько опережает события», но «тройка» министров иностранных дел Европейского сообщества действительно намеревается через несколько дней провести переговоры с министром иностранных дел Ирана Али Акбаром Велаяти.

Элизабет начала рассказывать о своих новых отношениях близким друзьям. Он, со своей стороны, рассказал про нее Исабель Фонсеке. Потом он узнал, что Мэриан возвращается в Лондон.

27 сентября 1990 года, в день выхода в свет «Гаруна и Моря Историй», Иран и Соединенное Королевство возобновили частичные дипломатические отношения. Данкан Слейтер,

позвонив из Нью-Йорка, сказал, что «были получены заверения». Иран не будет ничего предпринимать, чтобы привести фетву в исполнение. Отменена она, однако, не будет, и предложение о награде в миллионы долларов за его убийство (аятолла Санеи, объявивший о вознаграждении, все повышал и повышал сумму) останется в силе, ибо оно «к правительству отношения не имеет». Слейтер попытался изобразить это как шаг в позитивном направлении, но выглядело это скорее как предательство. Никакой сделке на его счет, заключенной Дугласом Хердом, доверять он не мог.

Разведслужбы и Особый отдел, похоже, разделяли это мнение. Никаких изменений в оценке угрозы не последовало. По-прежнему уровень два — на одну ступеньку ниже королевы. Никаких изменений в порядке его охраны. Дом на Сент-Питерс-стрит по-прежнему заперт, окна закрыты ставнями. Вернуться домой ему по-прежнему *не позволено*.

И все-таки он осуществил что-то новое. Осуществил именно тогда — вот что было самым важным. «Гарун» пошел хорошо, и кошмарный сценарий Сонни Мехта безвылазно обитал в царстве его плохих сновидений. Имя говорящего механического удода не подвигло кашмирцев ни на какое восстание. Кровопролитием на улицах и не пахло. Сонни бегал от призраков, и теперь, при свете дня, эти тени на поверку оказались тем, чем не могли не быть, — пустыми ночными страхами.

Ему было *позволено* ненадолго — и без предупреждения — выйти на люди: надписывать экземпляры «Гаруна» в лондонском книжном магазине «Уотерстоунз» в Хэмпстеде. Зафар тоже там был — «помогал», передавая ему книги на подпись; был и Билл Бьюфорд — этакое доброе, ухмыляющееся божество. В течение часа он снова чувствовал себя автором книг. Но от нервозности во взглядах охраны деваться было некуда. Не в первый раз он тогда видел, что им тоже боязно.

А дома была Элизабет. Что ни день, они становились все ближе друг к другу. «Мне страшно, — призналась она ему, — что я стала так от тебя зависима». Он, как мог, постарался ее успокоить. *Я безумно тебя люблю и никуда не отпущу.* Она боялась, что он сблизился с ней всего лишь за неимением лучшего, что, когда угрозы прекратятся, он уедет в Америку и бросит ее. Он ведь говорил ей о своей любви к Нью-Йорку, говорил, что мечтает когда-нибудь поселиться там свободным человеком. Он, чья жизнь была чередой пересадок из почвы в почву (которой он попытается придать новый смысл, говоря о «множественности корней»), не понимал, до какой степени англичанкой была она, как глубоко уходили ее корни. С первых

же дней она ревновала его к Нью-Йорку. *Ты усвистишь туда, а меня оставишь*. После нескольких рюмок вина они вот так порой начинали чуточку цапаться. Ни он, ни она не придавали этим эпизодическим шероховатостям значения. Бóльшую часть времени они были счастливы друг с другом. *Я по уши влюблен,* написал он в дневнике, сознавая, как это поразительно — иметь основания такое написать. Он жил под мощной охраной в каком-то странном внутреннем зарубежье и никак не мог ожидать, чтобы любовь проложила тропку мимо пограничных застав. И тем не менее вот — она была, его любовь, она весело колесила к нему через Темзу на велосипеде почти каждый вечер и каждый уик-энд.

Но, помимо любви, в воздухе была по-прежнему разлита ненависть. Говорливый садовый гном из Мусульманского института ораторствовал, как и раньше, и ему предоставлялись для этого все возможности. Вот он выступает по радио Би-би-си: Салмана Рушди «высшая судебная инстанция в исламе признала виновным в тяжком преступлении, и осталось только исполнить ее решение». В воскресной газете Сиддики выразился еще яснее: «Он должен расплатиться жизнью». Четверть века в Великобритании никого не казнили, но теперь вновь оказалось возможным обсуждать убийство по решению «судебной инстанции». «Неистовство ислама», чего вы хотите! В Ливане на слова Сиддики эхом отозвался лидер «Хезболлы» Хусейн Мусави: «Он должен умереть». Саймон Ли, автор книги «Цена свободы слова», предложил отправить его в Северную Ирландию и оставить там до конца его дней, поскольку службы безопасности там и так очень активны. Колумнист «Сан» Гарри Бушелл назвал его бóльшим предателем своей страны, чем Джордж Блейк. Блейк, советский двойной агент, был приговорен к сорока двум годам заключения за шпионаж, но сумел бежать из тюрьмы в Советский Союз. Написание романа можно было теперь, не моргнув глазом, объявить более мерзким преступлением, чем государственная измена.

Два года атак со стороны ненавистников — мусульман и немусульман — подействовали на него сильнее, чем он сам сознавал. Он навсегда запомнил день, когда ему принесли номер «Гардиан» и он увидел, что в газете о нем написал романист и критик Джон Берджер. Он был знаком с Берджером, из его работ восхищался прежде всего сборниками эссе «Углы зрения» и «Как мы смотрим», и ему казалось, что отношения у них приятельские. Он с нетерпением открыл страницу публицистики и начал читать. Потрясение от того, что он увидел, от резких нападок Берджера на его книги и мотивы, которыми тот руководствовался, было очень большим. У них было много общих друзей — например,

Энтони Барнет из «Хартии-88», и в последующие месяцы и годы эти люди, пытаясь посредничать, не раз спрашивали Берджера, почему он написал в таком враждебном тоне. Он неизменно отказывался отвечать.

Боль от столь многих «черных стрел» трудно было унять даже с помощью такого лекарства, как женская любовь. Во всем мире, казалось, не было столько любви, чтобы исцелить его в то время. Вышла его новая книга — и в тот же день британское правительство легло в одну постель с его потенциальными убийцами. Его хвалили на книжных страницах — и поносили в выпусках новостей. По ночам он слышал «Я люблю тебя» — но дни вопили ему «Умри!».

Элизабет полицейской охраны не полагалось, но ради ее безопасности важно было оберегать ее от лишних взоров. Его друзья никогда не упоминали ее имени вне своего «магического круга» и вообще умалчивали о ее существовании. Пресса, однако, прознала — это было неизбежно. Ее фотографиями журналисты не располагали, и раздобыть их им не удалось, но это не помешало таблоидам рассуждать о том, почему красивая молодая женщина могла захотеть связать жизнь с писателем на четырнадцать лет старше с клеймом смертника на лбу. Он увидел в одной газетенке свою фотографию с подписью: РУШДИ: НЕ КРАСАВЕЦ. Разумеется, предположили, что она пошла на это из низменных побуждений — возможно, из-за его денег или, по мнению некоего «психолога», который счел себя вправе судить о ней заочно, из-за того, что молодых женщин определенного типа возбуждает запах опасности.

Теперь, когда секрет перестал быть секретом, ее — и его — безопасность стала сильней беспокоить полицейских. Они не исключали, что за ней, когда она едет на велосипеде, кто-нибудь может последовать, и настояли на том, чтобы она встречалась с ними в условленных местах и подвергалась «химчистке». Они, кроме того, предостерегли прессу от упоминаний о ней: упоминать — значило повышать вероятность того, что будет совершено преступление. Все последующие годы пресса помогала ее оберегать. Ее ни разу не сфотографировали, и ни одного ее снимка не было опубликовано. Когда он появлялся на публичных мероприятиях, ее всякий раз привозили и увозили отдельно. Он говорил фотокорреспондентам, что себя разрешает фотографировать сколько они хотят, но ее просил оставить в покое; поразительно, но они слушались. Все знали, что с фетвой не шутят, и относились ко всему серьезно. Даже через пять лет, когда его роман «Прощальный вздох Мавра» попал в короткий

список Букеровской премии и они с Элизабет были на церемонии, ее фотографий в печати не появилось. Канал Би-би-си-2 транслировал Букеровский ужин в прямом эфире, но операторам было велено не наводить на нее камеры, и ее лица телезрители не увидели. Благодаря этой исключительной сдержанности она все годы фетвы могла свободно перемещаться по городу как частное лицо, не привлекая внимания — ни дружественного, ни враждебного. По характеру она человек весьма закрытый, и такой образ жизни подошел ей очень хорошо.

В середине октября он встретился с Майком Уоллесом в одном отеле в Западном Лондоне, чтобы дать ему интервью для «60 минут», и ближе к началу интервью Уоллес упомянул о его расставании с Мэриан и спросил: «Ну а как у вас с общением? Приходится вести жизнь монаха?» Вопрос застал его врасплох, он не мог, конечно, сказать Уоллесу правду о своей новой любви; он секунду поколебался, а потом каким-то чудом нашел правильные слова. «Очень полезно, — сказал он, — сделать перерыв». Майк Уоллес был настолько удивлен ответом, что он счел нужным добавить: «Нет, это я не всерьез говорю». *Шутка, Майк*.

Позвонила Мэриан. Она опять прилетела из Америки. Он хотел поговорить с ней о юристах и оформлении развода, но она хотела обсудить с ним другое. В груди у нее уплотнение, которое сочли «предраковым образованием». Она была очень зла на своего терапевта — та должна была поставить диагноз «полгода назад». Но что есть то есть. Он нужен ей, сказала она. Она любит его по-прежнему. Новость, которую она сообщила через три дня, была еще хуже. Выявлен рак: лимфома Беркитта, из лимфом неходжкинского типа. Ее обследовал некий доктор Абдул-Ахад из Челсийско-Вестминстерской больницы. В последующие недели она говорила ему, что проходит лучевую терапию. Он не знал, что ей сказать.

Полин Мелвилл получила за своего «Оборотня» премию «Гардиан» по разряду художественной литературы. Он позвонил ей поздравить, но она завела разговор о Мэриан. Она, Полин, не раз предлагала ей сопроводить ее в больницу в дни сеансов лучевой терапии. Мэриан неизменно отказывалась. Через несколько дней Полин позвонила ему: «По-моему, тебе надо самому позвонить этому доктору Абдул-Ахаду и поговорить с ним».

Онколог Абдул-Ахад, как выяснилось, знать не знал про Мэриан, и ту разновидность рака, о которой шла речь, он не взялся бы лечить. Он специализировался по совершенно другим видам рака, в первую очередь у детей. Это озадачивало. Может

быть, существует не один доктор Абдул-Ахад и он говорил не с тем?

В тот день Мэриан сказала ему, что начала лечиться в больнице «Ройял Марсден». Есть две «Ройял Марсден»: на Фулем-роуд и в Саттоне. Он позвонил и туда и туда. О такой пациентке нигде не слыхали. Это еще сильней сбивало с толку. Может быть, она лечится под вымышленным именем? Может быть, взяла псевдоним наподобие «Джозефа Антона»? Он хотел ей помочь, но уперся в тупик.

Он позвонил ее терапевту и сказал, что хочет с ней поговорить. Он сказал ей, что знает о врачебной тайне, но ему посоветовал к ней обратиться онколог, с которым он говорил. «Я рада, что вы позвонили, — ответила ему врач. — Я потеряла всякую связь с Мэриан — не дадите ли вы мне ее адрес и телефон? Я бы очень хотела с ней поговорить». Удивительно. Врач сказала, что не видела Мэриан более года и что о раке у них с Мэриан никогда речь не заходила.

Мэриан перестала отвечать на его звонки. Он так и не узнал, дозвонилась до нее врач или нет, перешла ли она к другому врачу, — он вообще ничего на эту тему больше не узнал. Они после этого почти не разговаривали Она согласилась на развод и не выдвинула особых денежных требований — попросила лишь о скромной единовременной сумме, чтобы начать новую жизнь. Она покинула Лондон и стала жить в Вашингтоне. О ее болезни, о каком-либо лечении он никогда потом не слышал. Она продолжала жить и писать. Ее книги заслужили лестных оценок, они номинировались и на Пулитцеровскую, и на Национальную книжную премию. Он всегда считал ее прекрасной писательницей с большими возможностями и желал ей успеха. Их жизненные пути разошлись и больше не сходились.

Нет, это не совсем верно. Один раз они сошлись. Вскоре он сделал себя уязвимым для атаки, и она воспользовалась возможностью. Отомстила.

Он прочел роман чилийского писателя Хосе Доносо «Непристойная птица ночи» — о разрушении человеческой личности. Не лучший, пожалуй, выбор чтения в том уязвимом состоянии духа, в каком он пребывал. Название было взято из письма, которое Генри Джеймс-старший написал сыновьям Генри и Уильяму, и строки из этого же письма стали эпиграфом романа: «Всякий, кто в умственном отношении достиг хотя бы подростковых лет, начинает подозревать, что жизнь — не фарс и даже не салонная комедия; напротив, она цветет и плодоносит, питаясь из глубочайших трагических пластов нужды в самом

насущном, в которых коренится ее содержание. Природное наследие всякого, кто способен к духовной жизни, — неукрощенный лес, где воет волк и трещит непристойная птица ночи».

Он лежал без сна, глядя на спящую Элизабет, и в его комнате неукрощенный лес все рос и рос, подобно тому, другому лесу с великой книге Сендака[121], лесу, за которым лежит океан, за которым лежит место, где чудища живут, а вот — его личное суденышко, чтобы поплыть через океан, а на том берегу, где живут чудища, его ждет… дантист. Может быть, зубы мудрости болели у него не просто так. Может быть, есть на свете предвестья, предзнаменования, приметы и пророчества, может быть, все то, во что он не верил, более реально, чем то, что его окружает? А если есть рукокрылые монстры и пучеглазые призраки… если есть демоны и дьяволы… может быть, и Бог тогда есть? Да, и, может быть, он сходит с ума. Рыба, которая сама ищет себе крючок, — это чокнутая рыба, это глупая рыба, это в конечном итоге мертвая рыба.

Рыбаком, поймавшим чокнутую рыбу, сиреной, направившей его личное суденышко на камни, был Хешам эль-Эссауи, «дантист холистской школы» с Харли-стрит. (Может быть, ему следовало прислушаться к мудрым зубным сигналам?) Эссауи не выглядел подходящей кандидатурой на эту роль, несмотря на некоторое сходство с Питером Селлерсом[122] (в более мясистом варианте), но отчаявшаяся рыба, два долгих года проведшая в садке, рыба, чей боевой дух был низок, чьему достоинству был нанесен тяжкий урон, искала выхода, любого выхода — и приняла за ключ извивающегося червя на крючке.

Он опять встретился в Найтсбридже с Данканом Слейтером, и на этот раз в комнате, кроме них, был Дэвид Гор-Бут, большой человек из министерства иностранных дел. Гор-Бут присутствовал на переговорах с иранцами в Нью-Йорке и согласился проинформировать его о них лично. Высокомерный, умный, жесткий и прямой, он, будучи арабистом, производил впечатление человека, симпатизирующего в этом деле не писателю, а его критикам. Со времен Лоуренса Аравийского министерство «склонялось» в сторону мусульманского мира (Гор-Бут позднее стал непопулярной фигурой в Израиле), и нередко крупные чины Форин-офиса показывали, что не на шутку раздражены трудностями в отношениях Великобритании с этим миром, возникшими по милости — подумать только! — писателя. Как бы то ни было, от Ирана, сказал Гор-Бут, получены «реальные» заверения. Иранцы не будут пытаться привести в

исполнение смертный приговор. Сейчас самое главное — снизить накал страстей дома. Если бы удалось уговорить британских мусульман посадить своих собак на цепь, положение нормализовалось бы довольно быстро. «В этой части, — сказал он, — слово за вами».

Фрэнсис Д'Соуса, когда он по телефону рассказал ей о встрече с Гором-Бутом, взволновалась и обрадовалась. «Я думаю, мы сможем все уладить!» — воскликнула она. Но его эта встреча привела в тяжелое уныние. Причина — едва скрываемое презрение Гора-Бута к тому, что он якобы сделал. *В этой части слово за вами.* Принципиальность расценивалась как упрямство. Его попытка стоять на своем, заявлять, что он жертва великой несправедливости, а не ее виновник, воспринималась как проявление высокомерия. Так много для него делается; почему он настолько негибок? Он заварил эту кашу — кому, как не ему, ее расхлебывать?

Груз таких настроений, становившихся всеобщими, тяжко на него давил, и все трудней было верить, что его линия поведения — правильная. Какой-то диалог с британскими мусульманами, похоже, был неизбежен. Фрэнсис сказала ему, что в контакт со «Статьей 19» вступил Эссауи и предложил свое посредничество. В интеллектуальном плане Эссауи сильного впечатления не производил, но он был, по ее мнению, человеком добронамеренным и даже сердечным. Этот путь казался ей сейчас дорогой жизни. Кампания по его защите испытывала нехватку средств. Фрэнсис срочно надо было раздобыть 6 тысяч фунтов. Убеждать «Статью 19» в необходимости продолжать финансирование кампании становилось нелегко. Надо было показать, что есть продвижение вперед.

Он позвонил Эссауи. Дантист говорил с ним вежливо, мягко, сказал, что сопереживает ему, понимает, как трудно ему приходится. Он чувствовал, что его улещивают, как маленького, склоняя к согласию на что-то, но продолжал разговор. Эссауи заявил, что хочет помочь. Он может созвать совещание «весьма уважаемых» мусульманских интеллектуалов, которое станет началом кампании по всему арабскому миру и даже в Иране. «Положитесь на меня, — сказал он. — Я хочу, чтобы вы были фигурой, подобной Газали, и снова обрели веру». Мухаммад аль-Газали, консервативный мусульманский мыслитель, был автором знаменитого трактата «Самоопровержение философов», где он подверг критике за неверие или отход от истинной веры как великих греков Аристотеля и Сократа, так и мусульманских мыслителей, стремившихся чему-то у них научиться, например Ибн Сину (Авиценну). Газали получил отповедь от

аристотелианца Ибн Рушда (Аверроэса), у которого Анис Рушди взял фамилию, написавшего столь же знаменитое «Самоопровержение самоопровержения». Он всегда считал себя членом команды Ибн Рушда, а не последователем Газали, но понял, что Эссауи имеет в виду не философию Газали как таковую, а эпизод, когда Газали пережил личный кризис веры, из которого его вывел «свет Всевышнего, пронизавший мою грудь». Его грудь, подумал он, вряд ли в обозримом будущем окажется пронизана светом Всевышнего, но Эссауи был настойчив. «Я не верю в ту выемку в душе в форме Бога, о которой вы писали, — сказал он. — Вы же умный человек». Как будто в одном человеке не могут сочетаться ум и неверие. Значение этой выемки в форме Бога, сказал ему Эссауи, не только в том, что ее могут заполнить искусство и любовь, как он писал, но и в том, что она *имеет форму Бога*. Ему следует теперь взглянуть не в пустоту, а на этот обрамляющий контур.

В нормальных обстоятельствах он не тратил бы время на такие беседы, но обстоятельства были далеки от нормальных. Он поговорил с Самин, и она отнеслась ко всему этому с подозрением. «Тебе надо в точности установить, чего ждет от тебя Эссауи», — сказала ему сестра. Эссауи недавно написал открытое письмо иранскому президенту Рафсанджани, где назвал его «жалким писакой». («Вы уж простите меня за это, очень вас прошу», — юлил он во время телефонного разговора.) И он выдвинул одно требование, которое не могло не стать серьезным камнем преткновения: «Вы не должны защищать эту книгу».

Всякий раз, когда он звонил Эссауи, он сознавал, что его все дальше и дальше завлекают в такую зону, откуда трудно будет выбраться. Тем не менее он звонил и звонил, а Эссауи не торопил его, позволял ему не спеша, со своей скоростью, с многими отступлениями и уклонениями двигаться туда, где ждал его глупого открытого рта крючок. Его интервью в телепрограмме «С южного берега» было очень полезно, сказал дантист. Полезными он назвал и давно высказанные им суждения о Кашмире и Палестине. Все это способно показать мусульманам, что он им не враг. Ему следовало бы вновь заявить о своей поддержке чаяний кашмирцев и палестинцев и записать это на видеопленку, а потом выступление можно будет показать в Исламском культурном центре в Лондоне, чтобы людям легче было изменить мнение о нем. *Может быть*, сказал он. *Я подумаю*.

Об Эссауи как человеке он и тогда, и потом мало что знал. Дантист сказал, что счастлив в браке и что его любящая жена прямо сейчас, когда он говорит по телефону, стрижет ему ногти на ногах. Этот образ дантиста запечатлелся его в сознании:

мужчина беседует по телефону, в то время как женщина стоит на коленях, склонившись к его ступням.

Маргарет Дрэббл и Майкл Холройд пригласили их с Элизабет, драматурга Джулиана Митчелла и его спутника жизни Ричарда Розена на уик-энд к себе в Порлок-Уир. Веселая компания, но он испытывал душевные муки, ломал голову в поисках способа удовлетворить своих противников, искал слова, которые мог бы сказать — слова, которые его язык повернулся бы произнести, — чтобы преодолеть тупик. Они отправились на долгую прогулку по роскошной зеленой долине Дун, и всю дорогу он спорил сам с собой. Наверно, он смог бы заявить, что, не будучи верующим, принадлежит к культуре ислама. Ведь есть же нерелигиозные, светские евреи; наверно, он смог бы назвать себя светским членом мусульманского сообщества, причастным к мусульманским традициям и познаниям.

В конце концов, он же из индийской мусульманской семьи. Это правда. Его родители религиозными людьми не были, но многие в его семье были. Он, несомненно, испытал глубокое влияние мусульманской культуры; не случайно ведь, пожелав написать о зарождении вымышленной религии, он обратился к истории ислама: ее он знал лучше всего. И он действительно ратовал в эссе и интервью за права кашмирских мусульман, и в «Детях полуночи» он не индуистскую, а мусульманскую семью поместил в центр повествования о рождении независимой Индии. Как же можно после всего этого называть его врагом ислама? Нет, он не враг. Он друг. Скептически, даже диссидентски настроенный друг, но все равно друг.

Он поговорил с Эссауи из дома Мэгги и Майкла. Рыбак почувствовал, что рыба на крючке, и понял, что пора наматывать леску на барабан. «Ваше заявление, — сказал он, — должно быть ясным. Без двусмысленностей».

Полицейские согласились отвезти его на частный просмотр нового фильма Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес». После просмотра он понятия не имел, что сказать Бернардо. Ему не понравилось в фильме ровно ничего. «А! Салман! — воскликнул Бертолуччи. — Мне очень важно знать ваше мнение о моей картине». И в эту секунду ему пришли в голову правильные слова — ровно так же, как он нашелся, когда Майк Уоллес спросил его про секс. Он приложил руку к сердцу и произнес: «Бернардо… Я не могу об этом говорить». Бертолуччи понимающе кивнул. «У очень многих такая реакция», — сказал он.

По пути домой он лелеял надежду на третье чудо: на то, что в

третий раз ему в нужный момент придут в голову нужные слова — слова, которые заставят британских мусульманских лидеров глубокомысленно, понимающе кивать.

Он заканчивал работу над сборником эссе «Воображаемые родины» — писал предисловие, правил верстку, — и в эти дни ему предложили дать интервью «Вечернему шоу» телевидения Би-би-си. Интервьюером был его друг Майкл Игнатьев, русско-канадский публицист и телеведущий, так что в доброжелательном отношении он мог быть уверен. В этом интервью он сказал то, что всем, он считал, хотелось услышать. *Я веду переговоры с мусульманскими лидерами в попытке найти общую платформу.* Никто больше не хотел ничего знать про свободу, про неотъемлемое право писателя выражать свой взгляд так, как он считает нужным, про безнравственность сожжения книг и угроз убить человека. Эти доводы были исчерпаны. Упрямо повторять их сейчас было бы бесполезно. Люди хотели услышать от него что-нибудь примирительное, что-нибудь о том, как можно было бы покончить с неприятностями, сделать так, чтобы он исчез с экранов их телевизоров, из их газет, канул в заслуженное забвение и, лучше всего, всю оставшуюся жизнь думал о зле, которое причинил, извинялся за него и искал способы его загладить. Никому дела не было ни до него, ни до его принципов, ни до его книги, пропади она пропадом. Людям нужно было одно: чтобы эта поганая история наконец завершилась. *Общая платформа существует*, сказал он, *она обширна, и надо постараться ее упрочить.*

Он ухватил сочного червя, и, когда его кольнул кончик крючка, это его не остановило.

Отклики взметнулись в воздух, словно он поддал ногой ворох осенних листьев. Самин услышала по радио, что «умеренные мусульманские лидеры» просят Иран отменить фетву. Однако британские мусульманские «лидеры», с которыми он не вступал в общение, отрицали, что ведут с ним переговоры. Садовый гном прыгнул на самолет и полетел в Тегеран убеждать руководство страны не отступать, и шесть дней спустя министр культуры и исламского руководства Мохаммад Хатами — да, будущий президент Хатами, великая либеральная надежда Ирана — заявил, что фетва неотменима. Услышав об этом, он позвонил Данкану Слейтеру. «По-моему, вы сказали, что иранцы согласны спустить дело на тормозах», — напомнил он ему. «Мы с вами свяжемся», — ответил Слейтер.

Он выступил в утренней понедельничной радиопередаче

Мелвина Брэгга «Начнем неделю» и отозвался об Эссауи как о «крупном мусульманском деятеле», вступившем с ним в диалог. Он выступил в «Ночной линии» у Теда Коппела и выразил надежду, что положение изменится к лучшему. А в Иране опять повысили вознаграждение за его голову: иранцам — по-прежнему миллион долларов, а вот гражданам других стран — уже три миллиона. Он вновь обратился к Слейтеру. Нью-йоркское соглашение явно было фальшивым. Британское правительство должно что-то предпринять. Слейтер согласился передать его мнение наверх. Правительство ничего не предприняло. Он сказал по американскому телевидению, что его начинает «немного беспокоить отсутствие реакции со стороны британского правительства» на новые угрозы.

Рыбак начал заводить рыбу в сачок. «Надо будет встретиться, — сказал Эссауи, — и вам предстоит вернуться в лоно мусульманства».

Он ни с кем не проконсультировался, ни у кого не спросил совета. Одно это должно было показать ему, что он *не в себе*. В нормальном состоянии он все важные решения обсуждал с Самин, Полин, Гиллоном, Эндрю, Биллом, Фрэнсис. Он никому не позвонил. По существу, он даже с Элизабет не стал ничего обсуждать. «Я пытаюсь уладить это дело», — сказал он ей. Но ее мнения не спросил.

Ни с какой стороны помощь не шла. Слово было за ним. Он боролся за свою книгу, и тут он не уступит. А от его доброго имени все равно уже ничего не осталось. Какая разница, что о нем подумают. Люди и так думают о нем плохо — хуже не бывает. «Хорошо, — сказал он все более липкому дантисту. — Готовьте встречу. Я приеду».

Из всех отделений полиции в Соединенном Королевстве «Паддингтон-Грин» было защищено надежней всего. Сверху — обычный полицейский участок в уродливом офисном здании, но самое главное там находилось под землей. Именно там держали и допрашивали боевиков Ирландской республиканской армии. Туда-то и привезли его в рождественский сочельник 1990 года на встречу с Эссауи и его людьми. Никакое другое место, сказали ему полицейские, не подходит — вот как все нервничали. Он и сам занервничал, когда вошел в «Паддингтон-Грин» с его бронированными дверьми, с бесчисленными замками и проверками. Потом он вошел в комнату совещаний — и остолбенел. Он думал, что они будут дискутировать за круглым столом или неофициально беседовать, сидя в креслах, может быть, за чаем или кофе. Наивный человек! Теперь он увидел: все

предельно официально, и никакой дискуссии, даже притворной, не будет. Это не встреча равных, собравшихся, чтобы обсудить проблему и прийти к цивилизованному решению. С ним не будут обращаться как с равным. Его будут судить.

Высокопоставленные мусульмане превратили комнату в подобие зала суда. Они сидели за длинным столом, как шесть членов трибунала, а напротив стоял одинокий стул с прямой спинкой. Он приостановился в дверях, как лошадь, заартачившаяся перед первым барьером, и Эссауи, подойдя к нему, торопливо зашептал, что он должен поскорей войти, это важные люди, они выкроили время в своем расписании, не надо заставлять их ждать. Вот его стул, ему пора сесть, все ждут.

Ему следовало развернуться и уйти — уйти от позора, сохранить самоуважение. Каждый шаг вперед был ошибкой. Но Эссауи уже превратил его в своего зомби. Рука дантиста мягко вела его под локоток к пустому стулу.

Ему представили всех, но он едва улавливал имена. Бороды, тюрбаны, любопытные сверлящие глаза. Он узнал египтянина Заки Бадауи, президента Мусульманского коллежа в Лондоне и «либерала»: Бадауи осудил «Шайтанские аяты», но сказал, что готов дать автору убежище в своем доме. Его представили египетскому министру *авкаф* (религиозных пожертвований) господину Махгубу, шейху Гамалю Манна Али Солайману из центральной лондонской мечети с золотым куполом в Риджентс-парке и помощнику шейха Гамаля шейху Хамеду Калифа. Эссауи был родом из Египта и привел с собой других египтян.

Он был теперь у них в руках, так что сперва они с ним шутили, смеялись. Довольно грубо высказались про Калима Сиддики — злобного садового гнома и любимчика иранцев. Обещали начать всемирную кампанию за то, чтобы вопрос о фетве был снят с повестки дня. Он попытался объяснить замысел своего романа, и они согласились, что конфликт возник из-за «трагического недопонимания». Он не враг ислама. Они хотят подтвердить его принадлежность к мусульманской интеллигенции. Это их искреннее желание. *Мы хотим вернуть вас в наше сообщество*. Ему надо только сделать кое-какие жесты доброй воли.

Ему следует, сказали они, отмежеваться от заявлений персонажей его романа, где содержатся оскорбления или нападки на Пророка и его религию. Он много раз повторял, ответил он, что невозможно изобразить преследования приверженцев новой веры, не изображая самих преследователей, и отождествлять их взгляды с его — явная несправедливость. Что ж, сказали они, значит, вам нетрудно будет заявить об этом опять.

Они потребовали, чтобы он отложил выход издания в мягкой обложке. Он сказал что если они будут на этом настаивать, то совершат ошибку: они будут выглядеть цензорами. Для того, ответили они, чтобы их примиряющие усилия возымели действие, нужен некий промежуток времени. Он должен будет создать этот промежуток. Как только недопонимание исчезнет, книга перестанет кого-либо задевать и ее можно будет переиздавать без проблем.

И наконец — он должен доказать свою искренность. Ведь он, конечно, знает, что такое *шахада*? В Индии, где он рос, это называется *калма*, но разницы нет. *Нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммад — пророк Его.* Ему надлежит заявить это сегодня. Это позволит им протянуть ему руку дружбы, прощения и понимания.

Он хотел, сказал он, заявить о себе как о мусульманине в светском понимании, заявить, что воспитан в этой традиции. На слово «светский» они отреагировали крайне отрицательно. «Светское» — это дьявольское. Это слово ему не следует употреблять. Он должен ясно и отчетливо произнести слова, освященные временем. Мусульмане поймут только такой жест.

Они уже подготовили документ, который ему надо будет подписать. Эссауи протянул его ему. Написано было безграмотно, топорно. Этого он подписать не мог. «Внесите правку, внесите правку, — убеждали они его. — Вы, в отличие от нас, большой писатель». В углу комнаты стоял стол с еще одним стулом. Он сел за стол с этим листком и стал его перечитывать. «Не торопитесь! — кричали ему. — Вы должны быть довольны тем, что подпишете».

Доволен он быть никак не мог. Он содрогался от тоски. Теперь он жалел, что не посоветовался с друзьями. Что бы они сказали? Что бы сказал отец? Ему представлялось, что он, качаясь, стоит на краю бездонной пропасти. Но в ушах звучал соблазнительный шепот надежды. Если они сделают, что обещают… если конфликт прекратится… если, если, если…

Он подписал исправленный документ и дал его Эссауи. Шестеро «судей» тоже его подписали. Потом — объятия и поздравления. Дело было кончено. Его точно вихрем кружило, он был сам не свой, потерян, ослеплен тем, что сделал, и он понятия не имел, куда его несет это торнадо. Он ничего не слышал, не видел, не чувствовал. Полицейские вывели его из комнаты, лязгали, открываясь и закрываясь, двери в подземном коридоре. Потом дверь машины: открылась — закрылась. Его повезли обратно в Уимблдон. Там его ждала Элизабет, нежная, любящая. В животе у него все бурлило. Он пошел в уборную, и его

вывернуло наизнанку. Тело понимало, что натворил ум, и выражало свое мнение.

Во второй половине дня его отвезли на пресс-конференцию, и он постарался придать голосу уверенность. Были интервью для радио и телевидения, с Эссауи и без. Что он говорил — он не запомнил. Но он отчетливо слышал внутренний голос: *Ты лжец. Ты лжец, трус и дурак.* Позвонила Самин. «Ты что, спятил? — кричала она в трубку. — Что ты творишь?» *Да, ты спятил,* говорил ему внутренний голос. *И ты понятия не имеешь, что творил, творишь и еще способен натворить.* Он потому продержался так долго, что мог, положа руку на сердце, подтвердить каждое написанное или произнесенное слово. То, что он писал, он писал серьезно и честно, и все, что он говорил об этом, было правдой. А сейчас он своими руками вырвал у себя язык, лишил себя возможности оперировать словами и идеями, естественно ему присущими. До этого момента его обвиняли в преступлении против веры других людей. Теперь он обвинил себя — и признал виновным — в преступлении против себя же.

А потом было Рождество.

Его отвезли в полуподвальную квартиру Полин на Хайбери-Хилле, и туда же доставили Зафара, чтобы провести рождественское утро вместе. Часа через два Зафар поехал обратно к матери, а они с Элизабет отправились в Уондсворт к Грэму Свифту и Кэндис Родд. Это было у него второе Рождество в их компании. Они были радушны, как всегда, и аккуратно обходили случившееся накануне, чтобы не портить рождественское настроение, но он видел озабоченность в их глазах — точно так же, как они, он был уверен, видели в его глазах смятение. Следующий день он провел у Билла Бьюфорда в его маленьком домике в Кембридже, и Билл закатил там настоящий пир. Эти моменты были островами в бурном море. Потом все его дни были заполнены встречами с журналистами, его уши глохли от новостей. Он говорил с представителями британской, американской и индийской прессы, с персидским отделом Всемирной службы Би-би-си, давал по телефону интервью британским мусульманским радиостанциям. Каждое произнесенное им слово вызывало у него отвращение. Он трепыхался на крючке, который проглотил так охотно, и его тошнило. Уж он-то знал правду: он не более религиозен сейчас, чем был несколько дней назад. Чистейший оппортунизм — вот к чему все сводилось. И он даже не принес результата.

Поначалу казалось, что может принести. Верховный шейх каирской мечети Аль-Азхар выступил в его поддержку и «простил

ему грехи»; королевский адвокат Сибгат Кадри выразил желание встретиться с генеральным прокурором и обсудить возможность судебного преследования Калима Сиддики. Но Иран по-прежнему был непримирим. Хаменеи заявил, что фетва останется в силе, даже «если Рушди превратится в самого благочестивого человека за все времена», тегеранская газета, придерживавшаяся жесткой линии, посоветовала ему «готовиться к смерти». Сиддики усердно все это повторял точно попугай. А потом «паддингтон-гринская шестерка» начала отступать от соглашения. Шейх Гамаль потребовал полного изъятия «Шайтанских аятов» из продажи, чего он и другие участники встречи согласились не делать. Прихожане мечети в Риджентс-парке подвергли Гамаля и его помощника шейха Хамеда Калифа резкой критике, и под ее давлением те стали сдавать позиции. Саудовцы и иранцы выразили «негодование» из-за того, что в попытке достичь примирения участвовал член египетского правительства, и Махгуб, боясь лишиться должности, тоже дал задний ход.

А 9 января 1991 года, в день, когда Элизабет исполнилось тридцать, его в полдень посетил мистер Гринап и сумрачно сказал: «Мы полагаем, что опасность для вас в настоящее время увеличилась. Получены достоверные данные о конкретной угрозе. Мы их анализируем и поставим вас в известность в надлежащее время».

Он хотел, чтобы его любили, и это желание завлекло его в ловушку; он сделался глуп и слаб и теперь расплачивался за это.

V. «Так долго внизу, что низ уже кажется верхом»

Был день рождения Элизабет, и он приготовил ради праздника индийское блюдо. К маленькому званому ужину в Уимблдон были приглашены Гиллон, Билл, Полин и Джейн Уэлсли. Он хотел в этот вечер порадовать Элизабет. Она давала ему так много, а он мало что мог ей дать. Но приготовить угощение — это он мог хотя бы. Про то, что услышал от Гринапа, он никому не сказал. Для этого еще будет время. Тот день, 9 января, он хотел посвятить любимой женщине. Они были вместе пять месяцев.

После ее дня рождения он заболел. Несколько дней пролежал с высокой температурой. Новости, личные и мировые, казались ему, горячему и дрожащему от озноба, частью его болезни. Сьюзен, помощница Эндрю, говорила с Мэриан, и та сказала, что у нее все в порядке, — так, без сомнения, оно и было, но он не мог сейчас обращать на это внимания. Полицейские сказали, что из-за «конкретной угрозы» передвижения придется еще сильней ограничить. Его приглашали в разные телепрограммы — «Уоган», «Время вопросов», — но это не было ему *позволено*. Его просили выступить перед группой депутатов палаты общин, но полицейские отказались везти его в Вестминстерский дворец. Несколько частных вечеров в домах друзей — вот и все, что ему могли разрешить. Он знал, что не смирится с этим, но в тот момент чувствовал себя слишком прохо, чтобы спорить. Поздно вечером, когда он лежал в лихорадке, телевидение сообщило о начале войны в Персидском заливе, о грандиозной воздушной атаке на Ирак. Ирак, в свой черед, атаковал Израиль ракетами «Скад», которые чудесным образом никого не убили и, к счастью, не были оснащены химическими боеголовками. Дни проходили в полубреду — они состояли из сна, лихорадки и картин точечных бомбардировок. Были телефонные звонки — иногда он брал трубку, иногда нет, — было много плохих сновидений, но главное — его непрестанно мучило его заявление о том, что он «стал мусульманином». Самин очень трудно было это переварить, и некоторые из звонков были ее. Два года он двигался к «сердцу тьмы» и теперь был именно там — в аду. Он смутил всех своих друзей и принудил себя стоять, улыбаясь, бок о бок с теми, кто обливал грязью его и угрожал другим, кто, по существу, поддержал иранскую угрозу расправы с ним, которую, к примеру, Икбал Сакрани назвал «божественным воздаянием».

«Интеллектуал» Тарик Модуд прислал ему письмо, где высказал мнение, что ему не следует больше поднимать вопрос о фетве. «Мусульмане находят это омерзительным», — писал Модуд. Запад воспользовался фетвой, чтобы демонизировать мусульман, поэтому, мол, «омерзительно» с его стороны возражать против нее и дальше. Этот самый Модуд строил из себя умеренного, но лицемерие такого рода лишало его способности мыслить логически. И этим людям он не мог теперь бросить вызов, потому что своими руками вырвал у себя язык. Другой «умеренный», Акбар Ахмед, позвонил сказать, что сторонники жесткой линии, возможно, будут постепенно смягчаться, но он должен быть «очень покладистым», быть *«садха* [бесхитростным] мусульманином». Он ответил, что не готов жрать дерьмо в неограниченных количествах.

Уважаемый Бог!

Если Ты существуешь и таков, каким Тебя изображают — всеведущ, вездездесущ и, самое главное, всемогущ, — разве способна поколебать Твой небесный престол какая-то книжка вкупе с писателем, который ее состряпал? Великие мусульманские мыслители часто спорили о том, в каких именно отношениях Ты пребываешь с людьми и их делами. Ибн Сина (Авиценна) утверждал, что Ты, находясь очень высоко над миром, осведомлен о нем лишь в общих чертах и весьма отвлеченно. Газали с ним не соглашался. Бог, «приемлемый для ислама», не может не знать в подробностях все, что происходит на земной поверхности, и не иметь об этом мнения. Ибн Рушда это не убедило, как Ты знаешь, если был прав Газали (и о чем не ведаешь, если ближе к истине были Ибн Сина и Ибн Рушд). Будь Ты таков, каким Тебя считал Газали, Ты был бы, писал Ибн Рушд, слишком похож на людей — на людей с их глупыми спорами, с их мелкими разногласиями, с их ограниченным кругозором. Такая вовлеченность в людские дела была бы недостойна Тебя, принижала бы Тебя. Итак, трудно понять, как правильно о Тебе думать. Если Ты — Бог Ибн Сины и Ибн Рушда, Ты и знать не знаешь, что сейчас говорится и делается во имя Твое. Но даже если Ты — Бог Газали, читающий газеты, смотрящий телевизор и принимающий ту или иную сторону в политических и даже литературных баталиях, я не верю, что «Шайтанские аяты» или какая-либо другая книжка, сколь бы скверной она ни была, способна всерьез Тебя обеспокоить. Что это за Всемогущий, если его могут вывести из равновесия дела человеческие? А если, Боже, и Ибн Сина, и Газали, и Ибн Рушд как-нибудь случайно все скопом ошиблись и Ты не существуешь вовсе, тогда тем более у Тебя никаких проблем с авторами книг быть не

должно. И я заключаю, что источник моих трудностей — не Ты, Боже, а Твои служители и последователи на Земле. Одна выдающаяся романистка как-то раз призналась мне, что перестала на некоторое время писать художественные произведения, потому что ей не нравятся ее поклонники. Я задаюсь вопросом, не близка ли Тебе ее позиция. Благодарю Тебя за внимание, хотя не знаю, слушаешь Ты или нет (см. выше).

То, что он «стал мусульманином», побудило кое-кого в министерстве иностранных дел предложить, чтобы он замолвил слово за террориста. Он получил послание, где говорилось, что он мог бы результативно вмешаться в дело Кокаби. «Студент» Мехрдад Кокаби обвинялся в поджоге и взрывах в книжных магазинах, где продавались «Шайтанские аяты». Обвинение утверждало, что на бумаге, в которую были завернуты две самодельные трубчатые бомбы, найдены отпечатки его пальцев и что он оплатил прокат машин, использованных для террористических актов, со своей кредитной карты. Возможно, намекнули ему, изящным ходом со стороны автора «Шайтанских аятов» было бы воззвать к милосердию в этом деле. Возмущенный предложением, он обратился к Данкану Слейтеру и Дэвиду Гору-Буту. Обоим идея не понравилась. Это в какой-то мере его подбодрило, но два месяца спустя все обвинения с Кокаби были внезапно сняты и его рекомендовали депортировать в Иран. Правительство отрицало, что выкручивало руки незрячему Правосудию. Слейтер и Гор-Бут сказали, что не в курсе дела. Кокаби вернулся в Иран, где его встретили как героя и где ему дали новую работу: отбирать «студентов», отправляемых «учиться» за рубеж.

Пришла корректура сборника его эссе «Воображаемые родины». Билл сказал: «Давай теперь, раз уж ты это сделал, включим в книгу твое новое эссе». Билл имел в виду публикацию в лондонской «Таймс», где он попытался обосновать уступки, на которые пошел в «Паддингтон-Грин». Он ненавидел эту публикацию и уже пересматривал все, что совершил, но, повесив себе на шею этот жернов, не мог — по крайней мере в тот момент — от него избавиться. Он согласился на предложение Билла, и эссе под заглавием «Почему я мусульманин» вошло в книгу. Всю оставшуюся жизнь при взгляде на сборник «Воображаемые родины» он будет чувствовать ножевой удар сожаления и стыда.

У всех на уме была война, и когда британские мусульманские «лидеры» — Сиддики, Сакрани, брэдфордские муллы — не твердили, что он должен «загладить оскорбление» (то есть

прекратить публикацию «Шайтанских аятов»), они выражали солидарность с Саддамом Хусейном. Близилась вторая годовщина фетвы, стояла зима, было холодно, неуютно. Фэй Уэлдон[123] прислала ему эссе Джона Стюарта Милля «О свободе» — возможно, это был упрек с ее стороны, но ясные, сильные слова Милля подействовали на него так же вдохновляюще, как прежде. В нем возродилось презрение к самым упертым из противников — к таким как Шаббир Ахтар, нападающий на несуществующую «либеральную инквизицию» и гордый исламом как религией «воинственного гнева», — и возникла новая неприязнь, неприязнь к тем, кто ранее заявлял, что поддерживает его, но теперь решил, что он недостоин поддержки. Джеймс Фентон написал в «Нью-Йорк ревью оф букс» сочувственную статью, где защищал его от такого феномена, как Разочарованные Друзья. Если реальный Салман своими поступками поставил себя ниже «Салмана их мечты», эти Разочарованные, писал он, начинают думать: фу, ну и черт с ним, он не стоит нашей дружбы. Пусть убийцы делают свое дело.

Он помнил то, что Гюнтер Грасс сказал ему однажды о поражении: оно преподает тебе более основательные уроки, чем победа. Победитель думает, что победа оправдывает его поведение и подтверждает его взгляд на мир, поэтому он ничему не учится. А побежденный должен переоценить все, что считал истинным и был готов отстаивать, и это позволяет ему получить от жизни хоть и тяжелые, но самые глубокие уроки. Первым, чему научило его поражение, было вот что: *теперь он знал, где дно*. Когда ударяешься о дно, понимаешь, какова глубина там, где ты очутился. И понимаешь, что больше опускаться на дно не хочешь.

И он начал усваивать урок, который его освободит: стремление к тому, чтобы тебя непременно любили, делает тебя узником камеры, где ты терпишь нескончаемые муки и откуда нет выхода. Он должен был понять, что есть люди, которые никогда его не полюбят. Как бы тщательно он ни растолковывал свою работу, как бы ни разъяснял свои авторские намерения, они не полюбят его. Нерассуждающий ум, которым управляют не допускающие сомнений абсолюты веры, глух к доводам разума. Те, кто демонизировал его, никогда не скажут: «Надо же, он вовсе не демон, оказывается». Он должен был понять, что это *в порядке вещей*. Он тоже не любил этих людей. Если он будет уверен в написанном и сказанном, если он будет доволен своей работой и общественной позицией, он сможет пережить то, что не все его любят. Он только что совершил поступок, из-за которого был чрезвычайно собой недоволен. Необходимо было это исправить.

Ему становилось ясно: чтобы выиграть такую битву,

недостаточно знать, против чего ты ратуешь. Это-то было легко понять. Он боролся против мнения, что людей можно убивать за их идеи, и против того, чтобы какая бы то ни было религия определяла границы для мысли. Но теперь было четко сформулировать, за что он борется. За свободу слова, за свободу воображения, за свободу от страха, за прекрасное древнее искусство, которым ему посчастливилось заниматься. А еще за скепсис, за непочтительность, за сатиру, за комедию, за неблагочестивое веселье. Он никогда больше не будет уклоняться от необходимости защищать все это. Он спросил себя: *Ты ведешь бой, который может стоить тебе жизни, — но заслуживает ли то, за что ты сражаешься, такой жертвы?* И он нашел возможным ответить: *Да.* Он был готов умереть, если надо, за то, что Кармен Каллил назвала «всего-навсего книжкой, черт бы ее подрал».

Ни один из его настоящих друзей не стал Разочарованным Другом. Настоящие друзья придвинулись к нему еще ближе и постарались помочь ему преодолеть то, что было — и они это видели — глубокой душевной травмой, экзистенциальным кризисом. Позвонил Энтони Барнет, очень обеспокоенный. «Нам надо собрать вокруг тебя группу друзей и советчиков, — сказал он. — Ты не должен идти через все это один». Он объяснил Энтони, что, по правде говоря, лгал, заявляя о своей религиозности. Он сказал Энтони: «Когда я писал „Аяты“, я провозглашал: *мы должны иметь возможность так говорить о религии, мы должны иметь право на критику и исторический взгляд*». И если ему теперь приходилось делать вид, будто под «мы» он подразумевал одних мусульман, — что ж, его проблемы. На тот момент. Такова плата за то, что он сделал. — Вот от таких-то ошибочных заявлений, пусть они и делаются с добрыми намерениями, — сказал Энтони, — и должны тебя удерживать друзья.

Он испытывал потребность куда-нибудь уехать и поразмыслить. Попросился тихо съездить во Францию — устроить себе небольшие каникулы, — но французы отказались его пустить. Американцы по-прежнему не хотели видеть его у себя. Выбрать из коробки возможности не было. Одну хорошую новость, правда, он получил. «Конкретную угрозу» теперь были склонны считать ложной тревогой. Приехал мистер Гринап — сообщить ему об этом, предупредить, что опасность тем не менее все еще велика — «проиранские элементы по-прежнему активно вас ищут», — и бросить ему косточку. Он может теперь подыскивать себе новое, постоянное жилье. «Возможно, через несколько месяцев мы будем оценивать ситуацию более

оптимистически». Это немного его подбодрило.

15 февраля позвонил Гиллон. Иранцы подтвердили фетву. Британское правительство хранило молчание.

Билл Бьюфорд и Алисия решили пожениться, и Билл попросил его быть шафером. Отпраздновать свадьбу должны были в ресторане «Мидсаммер хаус» в парке Мидсаммер-коммон в Кембридже. Фил Питт поехал на «рекогносцировку» и не поговорив ни с Биллом, ни с владельцем ресторана Гансом, решил, что этот ресторан — место неподходящее. В первый раз тогда он, разговаривая с полицейскими, вышел из себя. Не им решать, заявил он, быть ему или не быть шафером на свадьбе друга. После этого Фил поговорил-таки с Биллом, и выяснилось, что у него были неверные сведения — не то время, не тот зал, — и вдруг оказалось, что заведение все-таки годится. «Мы эксперты, Джо, — сказал Фил. — Доверяйте нам».

У Томасины, сестры Найджелы, обнаружили рак груди. Ей немедленно сделали операцию. Сегмент груди был удален. Предстояла лучевая терапия. Он услышал выступление Мэриан но радио Би-би-си-4. Она сказала, что любит его, но что он был настолько погружен в свою «ситуацию», что больше ни для кого в нем места не оставалось, и поэтому они расстались. Себя она назвала «блистательной женщиной». Ее спросили, как она справляется с жизнью, и она ответила: «Я сочиняю ее по ходу дела».

Фетва была вредоносна не для него одного. Падди Хизелл, директор школы Холл, где учился Зафар, был обеспокоен на его счет. «Вокруг него как будто стена. Ничего не проходит». Пожалуй, стоило бы показать его психиатру в больнице на Грейт-Ормонд-стрит. Он сообразительный, милый мальчик, но что-то в нем точно спит. Он закрылся в себе и считает себя «неудачником». Решили, что раз в неделю после школы Зафар будет встречаться с детским психиатром, женщиной. Тем не менее, сказал мистер Хизелл, у Зафара хорошие шансы попасть в Хайгейтскую среднюю школу, которую они с Клариссой для него выбрали, потому что в Хайгейтской большое значение придают собеседованию, не довольствуясь результатами стандартного экзамена. «На собеседовании Зафар непременно покажет себя с лучшей стороны», — заверил его мистер Хизелл. Но он подчеркнул, что надо вывести его из нынешнего нехорошего состояния. «Он в какой-то скорлупе, — сказал мистер Хизелл Клариссе, — и не хочет выходить». В тот уик-энд Кларисса купила Зафару собаку, помесь бордер-колли и ирландского сеттера по кличке Бруно. Собака пришлась очень кстати и помогла Зафару.

Он был в полном восторге.

Он опять бросил курить, но его решимость вот-вот должна была подвергнуться испытанию. Его известили о новых мерах безопасности. Его почту с некоторых пор тот или иной из охранников забирал в офисе Гиллона и привозил сразу ему, но теперь решили снова переправлять ее через Скотленд-Ярд: везти ее из агентства прямо в Уимблдон сочли рискованным. Кроме того, на его телефоне решили установить «двойную переадресацию вызовов», чтобы злоумышленникам трудней было отследить звонок. Ощущение было, что крышку завинчивают туже, а почему — он не знал. Потом приехал мистер Гринап и объяснил ему почему. «Группа профессионалов» подрядилась его убить за очень большое вознаграждение. За всем этим стоял один «иранский государственный представитель, находящийся вне Ирана». Британцы не знали точно, что это — официально санкционированный план или некая импровизация, — но их встревожила чрезвычайная уверенность, с которой киллеры пообещали выполнить задание не позже чем через четыре-шесть месяцев. «Они думают, что на самом деле им на то, чтобы вас убить, хватит и ста дней». В Особом отделе не считали, что о доме в Уимблдоне кому-либо стало известно, но с учетом обстоятельств желательно было, чтобы он переехал в самое ближайшее время. Зафар был «проблемой», и над ним решили установить полицейский надзор. Элизабет тоже была «проблемой». Может возникнуть необходимость на ближайшие полгода поселить его в казармах на военной базе. Или, если ему это больше понравится, в конспиративной квартире службы безопасности, где он будет лишен каких-либо контактов с внешним миром. Это не отменяло их согласия на то, чтобы он начал искать себе постоянное жилье. Надо пройти через ближайшие несколько месяцев, и тогда это будет приемлемо.

Он отказался и от военной базы, и от закупоренной конспиративной квартиры. Если про дом в Уимблдоне никто не прознал, уезжать из него нет причин. Почему он должен терять оплаченные месяцы и опять пускаться в странствия, если они не думают, что дом «засвечен»? Лицо мистера Гринапа оставалось такой же бесстрастной маской, какой было всегда. «Если хотите жить, — сказал он, — переедете».

— Папа, — спросил по телефону Зафар, — когда у нас будет постоянное место жительства?

Если, думалось ему, он когда-нибудь доживет до того, чтобы

обо всем этом рассказать, какая может получиться повесть о горячей дружбе! Без друзей он был бы заперт на военной базе, отрезанный от внешнего мира, забытый, скатывающийся в безумие; или же он был бы бездомным скитальцем, дожидающимся, когда его найдет пуля убийцы. Другом, спасшим его сейчас, был Джеймс Фентон. «Можешь поселиться в этом доме, — сказал он, едва услышал вопрос. — На месяц точно».

Прожив насыщенные событиями годы, когда ему довелось въехать в Сайгон на первом вьетконговском танке в конце вьетнамской войны, быть в толпе, разграбившей дворец Малаканьян после падения Фердинанда Маркоса и Имельды Туфельницы[124] (он взял несколько полотенец с монограммами), вложить часть денег, полученных за неиспользованные стихи для первоначальной постановки мюзикла «Отверженные», в креветочное хозяйство на Филиппинах, совершить слегка травматичное путешествие по Борнео с еще более предприимчивым Редмондом О'Ханлоном (когда О'Ханлон позднее пригласил Фентона отправиться с ним на Амазонку, Джеймс ответил: «Я с тобой не рискну поехать и в Хай-Уиком»[125]) — и между прочим сочинить одни из лучших стихов о любви и войне, написанных поэтами его, да и любого, поколения, — поэт Фентон и его спутник жизни, американский писатель Даррил Пинкни, поселились на Лонг-Лиз-Фарм — на уютной ферме в Камноре близ Оксфорда, где Джеймс под мрачноватой сенью огромной опоры линии электропередачи разбил изысканнейший регулярный сад. Это-то жилище он и предложил своему бездомному другу, о чьей Страшной Ошибке он недавно написал так мягко и тактично: когда, писал он, новость об Ошибке была обнародована, «от шести до шестидесяти миллионов читателей газет по всему миру поставили чашку с кофе и сказали: „О-о“. Но у каждого из этих „о-о“ был свой привкус, свой модификатор, свой смысловой оттенок… О-о, все-таки он попал к ним в лапы! О-о, как удобно! О-о, какое поражение секуляризма! О-о, какой стыд! О-о, хвала Аллаху! Мое же личное „О-о“ слетело с губ колеблющимся светло-вишневым облачком удивления. Оно повисло в духе, и на несколько секунд мне показалось, что я различаю в нем сокрушенные черты Галилея. Я продолжал смотреть, и мне почудилось, что Галилей превращается в Патти Херст[126]. Я подумал о синдроме Осло… нет, не Осло, а о стокгольмском синдроме». Остальное в этой длинной статье, которая формально была рецензией на «Гаруна и Море Историй» для журнала «Нью-Йорк ревью оф букс», представляло собой портрет автора книги как хорошего человека — по крайней мере как приятного

собеседника, — нарисованный со скрытой целью: восстановить, со всей возможной деликатностью и не объявляя об этом, репутацию упомянутого автора в глазах Разочарованных Друзей. Уже сама эта статья убедительно показывала, какое у Джеймса большое сердце. А покинув свой дом ради друга, он показал нечто большее: показал, что понимает, как важна солидарность в разгар войны. Друг не бросает друга, оказавшегося под огнем.

Мистер Гринап неохотно дал согласие на переезд на Лонг-Лиз-Фарм. «Мистер Антон» подозревал, что сотрудник полиции с превеликой охотой запер бы его на военной базе в наказание за все беспокойство, которое он причинил, за все расходы, которые понесло из-за него государство, — но так или иначе, маленький бродячий цирк операции «Малаит» упаковал вещи и покинул лондонский почтовый округ SW 19 ради регулярного сада в Камноре под бдительной охраной электрической опоры, расставившей ноги над их маленьким мирком точно колосс.

Элизабет, он видел, была угнетена. Из-за напряжения этих дней ее ослепительная улыбка потускнела. Многие женщины, рисуя в воображении шайку убийц, настолько уверенных в успехе, что готовы назвать предельный срок для своего деяния, кинулись бы прочь с криком: «Прости меня, это не моя война». Но Элизабет держалась стойко. Она по-прежнему работала в «Блумсбери» и намеревалась приезжать к нему на выходные. Она даже подумывала уйти с работы, чтобы все время быть с ним рядом и еще потому, что ее тянуло писать. Она сочиняла стихи, правда, не хотела их ему показывать. Показала только одно, про человека на одноколесном велосипеде, и оно показалось ему неплохим.

Он переехал в Камнор и какое-то время не мог ни видеться с Зафаром, ни посещать лондонских друзей. Он обдумывал новый роман, который предварительно назвал «Прощальный вздох Мавра», но мысли растекались, и он несколько раз забредал в тупики. У него было ощущение, что в романе каким-то образом должны сочетаться индийская семейная сага и андалусская история о падении Гранады, о том, как последний султан Боабдил покидал Альгамбру и его мать, когда он глядел на солнечный закат в последний день арабской Испании, с презрением сказала ему: «Плачь же как женщина о том, чего ты не смог защитить как мужчина». Но он не мог пока найти связь. Ему вспомнился городок Михас, куда перебралась Лавиния, мать Клариссы, и где он нашел книгу Рональда Фрейзера про жизнь Мануэля Кортеса, мэра Михаса, после того как началась гражданская война. По окончании войны Кортес вернулся домой, и его прятали от Франко *тридцать лет*; выйдя наконец к людям, как Рип ван Винкль[127], он увидел, как ленточная застройка на

потребу туристам губит Коста-дель-Соль. Книга называлась «Тайная жизнь».

Он подумал о Пикассо и написал странный абзац о той части Малаги, где родился великий художник. *На площади играют дети — у каждого оба глаза по одну сторону носа. Они играют в Арлекина и Пьеро. Бомба, похожая на лампочку, разрывает вопящую лошадь. К бокам черных гитар прилипли газеты. Женщины превращаются в цветы. Вот плод. День жарок. Художник умирает. Ему делают кривобокий гроб — коллаж из неба и печатного текста. Он пьет на своих поминках. Его женщины улыбаются, и плюются, и берут у него деньги.*

Этот художник в роман не вошел, но в конце концов пришло понимание: это будет роман о художниках, и андалусскую Альгамбру изобразит на полотне индийская женщина, стоя на вершине холма Малабар-хилл в Бомбее. Два мира сойдутся в искусстве.

Он наполнил один из блокнотов беккетовскими или, возможно, кафкианскими записками от лица человека, которого регулярно избивают, которого неведомые похитители держат в неосвещенной каморке; что ни день, они входят к нему и дубасят его во мраке. Ему совершенно не хотелось об этом писать, но пассажи с избиениями появлялись и появлялись. Однажды, правда, к нему пробился луч света, и он написал комический абзац, в котором рассказчик пытается описать первый любовный акт своих родителей, но застенчивость мешает ему использовать глаголы, *и поэтому вы не услышите от меня,* пишет он, *кровавых подробностей того, как она, и потом он, и потом они, и после этого она, и в ответ он, и в свой черед она, и на это, и вдобавок, и коротко, и затем долго, и молча, и со стенанием, и на пределе сил, и наконец, и еще после…* Этот абзац в книгу вошел. Остальное по большей части было мусором.

У Валери Герр заподозрили рак, но биопсия показала, что опухоль доброкачественная. «Вот и славно, Джим», — подумал он. Анджеле Картер повезло куда меньше. Рак схватил ее и не отпускал, и, хотя она боролась изо всех сил, болезнь в конце концов победила. По всему миру большие писатели умирали, не дожив до старости: Итало Кальвино, Раймонд Карвер, а теперь вот старуха с косой пошла войной на Анджелу. Фетва была не единственным способом отправиться на тот свет. Имелись и другие, более традиционные виды смертного приговора, которые по-прежнему давали впечатляющие результаты.

В Нидерландах, Дании и Германии вышли «Шайтанские аяты» в мягкой обложке. В Иране прошла конференция

мусульманских богословов, которая призвала как можно скорее исполнить смертный приговор, вынесенный Хомейни. Фонд «15 хордада» — якобы неправительственная организация, возглавляемая аятоллой Хасаном Санеи и стоявшая за предложением награды за убийство писателя, — объявил, что заплатит два миллиона долларов любому его другу, родственнику или соседу, кто исполнит угрозу. (*Боньяды*, или фонды, первоначально были благотворительными организациями, но после революции Хомейни, используя реквизированные богатства шаха и других «врагов государства», стали гигантскими экономическими консорциумами, возглавляемыми высшим духовенством.) «Очень многие писатели испытывают денежные трудности, — сказал он Эндрю. — Может быть, нам стоило бы отнестись к этому серьезно».

О местонахождении группы, обязавшейся его убить, новостей не было. Британское правительство вот уже пять месяцев молчало о фетве.

Он поговорил с Биллом Бьюфордом о том, как бы ему найти и приобрести новое жилье на долгий срок. Биллу пришла в голову идея. У Рэя Хедермана, издателя журналов «Нью-Йорк ревью оф букс» и «Гранта», был своего рода личный агент, некий мистер Фицджеральд, которого все звали «Фиц»; благодаря своим деловым качествам, солидности и благородной седине он мог стать идеальной «ширмой». Никому и в голову не придет, что Фиц может иметь отношение к чему-то столь необычному, как дело Рушди. Он спросил Хедермана, нельзя ли будет подключить Фица, и Рэй сразу же согласился. В очередной раз кружок друзей нашел выход, которого власти не могли или не хотели предложить. Фиц начал поиски и вскоре нашел в Хайгейте на севере Лондона дом, достаточно вместительный, чтобы в нем могли ночевать оба телохранителя и оба шофера, с передним двориком, отгороженным воротами, с внутренним гаражом и с большим уединенным садом, где он мог бы чувствовать себя не таким уж прямо кротом в норе. Он сможет там выходить — на солнце, а захочет, так и под дождь, под снег. Дом на Хэмпстед-лейн можно было снять хоть сейчас, и владельцы, чья фамилия была Бульсара, готовы были обсуждать и его продажу. Полицейские осмотрели дом и сказали, что это идеальный вариант. Тут же был составлен договор аренды на имя Рэя Хедермана. «Джозефа Антона» на какое-то время отправили в резерв.

Самое главное — теперь было куда податься. Стоял конец марта. Он отбыл с фермы Лонг-Лиз-Фарм, благодарно обняв на прощание Джеймса и Даррила, которым он возвращал их жилье,

и они с Элизабет отправились на уик-энд к Деборе Роджерс и Майклу Беркли на их валлийскую ферму. Там впервые за долгие недели он оказался в обществе друзей. Там были Деб и Майкл, радушные как всегда, и приехал Иэн Макьюэн с двумя юными сыновьями. Гуляли по холмам и ели восхитительную мясную лазанью. В понедельник ему предстояло въехать в снятый дом. Но вначале было воскресенье. Утром Майкл вышел за газетами. Вернулся расстроенный. «Извиняюсь, — сказал он, — но новости так себе».

Мэриан дала интервью «Санди таймс». Газета поместила его на первой странице. РУШДИ СОСРЕДОТОЧЕН НА СЕБЕ И ТЩЕСЛАВЕН, ГОВОРИТ ЕГО ЖЕНА. Автор публикации — Тим Реймент. «Жена Салмана Рушди назвала его вчера слабым, сосредоточенным на себе человеком, недостойным роли, на которую его выдвинула история… „Все мы — те, кто любит его, кто был ему предан, кто с ним дружил, — хотели бы, чтобы этот человек был под стать событию. Вот секрет, который все пытаются хранить. Он не таков. Он отнюдь не самый храбрый человек на свете — наоборот, он готов на все, чтобы спасти свою жизнь“». И это было далеко, далеко не все. Он якобы говорил ей, что намеревается встретиться с полковником Каддафи, и тогда-то, по ее словам, она поняла: «Я больше не хочу быть его женой». Что интересно, теперь она отказалась от своего прежнего обвинения — будто, когда они расстались, люди из Особого отдела вывезли ее в какую-то глухомань и бросили у телефонной будки. Нет, этого не было, но что было — она отказалась рассказывать. Обвинила его в том, что оставлял «крикливые сообщения» на ее автоответчике, что манипулирует прессой, что не испытывает интереса к свободе выражения мнений в широком плане. Он будто бы озабочен только своей судьбой. «Огромной его ошибкой было думать, что все дело в нем. Ничего подобного. Все дело в свободе выражения мнений и в расизме в британском обществе, но он не вышел вперед и не высказался на эти темы. Все, о чем он говорил последние два года, — это писательская карьера Салмана Рушди».

Она умела красноречиво говорить, и это был болезненный удар. Он понял, чего она добивалась. Люди знали, что их брак окончился по его инициативе, и она рассчитала: если назвать его слабым, трусливым человеком, поклонником Каддафи и карьеристом, если удастся зачеркнуть все годы его участия в борьбе за свободу слова и личности в составе британского ПЕН-клуба и других групп, если удастся стереть образ молодого лауреата Букеровской премии, который наутро после победы стоял на Даунинг-стрит с плакатом в знак протеста против ареста

великого индонезийского писателя Прамудьи Анаиты Тура, то можно будет представить его в глазах уже предубежденной общественности человеком, недостойным того, чтобы с ним оставаться, мужчиной, от которого волей-неволей ушла бы любая порядочная женщина. Интервью было последней ударной репликой актрисы перед уходом со сцены.

Он подумал: *Я сам дал ей оружие для этого удара. Это не ее вина. Моя.*

Его друзья — Майкл Герр, Алан Йентоб, Гарольд Пинтер — звонили и писали ей, выражая гнев и недоумение. Она увидела, что интервью не оказывает того действия, на какое она рассчитывала, и пустилась на свои обычные уловки: ее неверно процитировали, газета ее «предала», она хотела оповестить публику о своем новом сборнике рассказов, она хотела поговорить о работе «Международной амнистии»; ее муж, добавила она, «погубил ее карьеру». Эти аргументы большого успеха не возымели.

Вышел сборник «Воображаемые родины», и большинство восприняли его с уважением, а то и с восхищением, но почти все были огорчены последним эссе о его «обращении». И справедливо огорчены. Ему думалось: *Я должен исправить Страшную Ошибку. Я должен опровергнуть то, что сказал. Пока я этого не сделаю, я не смогу жить с достоинством. Я человек без религии, притворяющийся религиозным. «Он готов на все, чтобы спасти свою жизнь», — говорит Мэриан. Сегодня это очень похоже на правду. Я должен доказать, что это неправда.*

Всю жизнь он знал, что в центре его личности есть маленькое замкнутое пространство, куда никому другому нет доступа, и что из этого тайника не вполне понятным ему образом проистекают все его литературные труды и все его лучшие мысли. Ныне яркий свет фетвы просквозил зашторенные окна этого маленького убежища и выхватил из темноты его тайное «я» во всей его наготе. *Слабый человек. Не самый храбрый человек на свете. Пусть так,* думалось ему. Нагой, без всяких прикрас, он спасет свое доброе имя; и он постарается снова пустить в ход магию искусства. Вот где лежало подлинное его спасение.

Дом был большой, полный уродливой мебели, но производил ощущение солидности, долговечности. Можно было представить себе некое будущее. Если Зафар поступит в Хайгейтскую школу, он будет учиться недалеко. Элизабет, больше всего на свете любившая парк Хэмпстед-Хит, страшно радовалась, что будет жить у его северного края. Он стал способен делать кое-какую хорошую работу и в апреле написал рассказ «Христофор Колумб и

королева Изабелла Испанская осуществляют свои отношения» — первый свой рассказ за очень долгое время; начал, кроме того, рассеиваться туман, окутывавший «Прощальный вздох Мавра». Он написал имена героев. Мораиш Зогойби по прозвищу Мавр. Его мать, Аурора Зогойби, художница. Семья произошла из Кочина, где впервые сошлись Запад и Восток. Корабли приплыли с Запада не завоевывать земли, а торговать. Васко да Гаме нужен был перец — черное золото Малабара. Ему нравилась мысль, что все обширные, сложные отношения между Европой и Индией выросли из перечного зернышка. Свою книгу он тоже вырастит из перечного зернышка. Семья Зогойби будет семьей торговцев пряностями. Полухристианин-полуеврей, «римско-иерусалимский кентавр», Мавр будет в Индии не просто представителем меньшинства, а существом практически уникальным. Но он попытается показать своей книгой, что из этого крохотного перечного зернышка можно вырастить всю индийскую действительность. У большинства нет монополии на «подлинность», что бы ни говорили начавшие набирать силу агрессивные политики-индуисты. Все индийцы — и все индийские истории — одинаково подлинны.

Но у него была своя собственная проблема подлинности. Он не мог поехать в Индию. Как ему тогда написать правдивую книгу о ней? Он вспомнил, что сказал ему его друг Нуруддин Фарах, чье изгнание из Сомали продлилось двадцать два года, потому что диктатор Мухаммед Сиад Барре не хотел оставлять его в живых. Действие каждой книги, написанной Нуруддином в эмиграции, происходило в Сомали, и тамошнюю жизнь он изображал натуралистически. «Все это у меня вот где», — сказал Нуруддин, показывая на сердце.

В мае два имама из мечети в Риджентс-парке, которые были на встрече в «Паддингтон-Грин», заявили, что он не настоящий мусульманин, потому что отказался изъять свою книгу из продажи. Другие «лидеры» выразили «разочарование»: мол, «мы вернулись к исходной точке». Он написал и опубликовал в «Индепендент» резкую отповедь. После чего почувствовал себя куда лучше. Он на пару дюймов оторвался от дна, и с этого началось его долгое возвращение к самому себе.

Организация «Статья 19» начала задаваться вопросом, имеет ли смысл продолжать финансировать Международный комитет защиты Рушди. Но Фрэнсис и Кармел твердо намерены работать дальше и готовы, если на то пошло, вывести кампанию на новый, более публичный уровень. Поскольку британское правительство скатывалось к апатии в этом вопросе и его позицию склонны

были брать за образец европейские партнеры Великобритании, борьбу пришлось возглавить организаторам общественной защитной кампании. Фрэнсис в сопровождении Гарольда Пинера, Антонии Фрейзер и Ронни Харвуда[128] отправилась в министерство иностранных дел на встречу с Дугласом Хердом, и тот сообщил им, что министр из кабинета тори Линда Чокер, побывавшая в апреле в Иране, ни разу не подняла там вопроса о фетве. Подними она его, сказал Херд, «не факт, что это принесло бы пользу мистеру Рушди». Слухи, что в страну, чтобы разделаться с мистером Рушди, проникла «группа боевиков», уже начали просачиваться в прессу — и тем не менее мистер Херд был преисполнен суровой решимости приносить пользу, держа язык за зубами. Дуглас Хогг, заменивший Уильяма Уолдгрейва на посту заместителя Херда, тоже сказал, что британское правительство, подняв шум по поводу фетвы, совершило бы ошибку и затруднило бы освобождение британских заложников, остававшихся в Ливане.

Провал этого квиетистского подхода стал очевиден месяц спустя. Домой к Этторе Каприоло, итальянскому переводчику «Шайтанских аятов», пришел некий «иранец» — по словам Гиллона, он договорился с переводчиком о встрече, чтобы обсудить «литературные дела». Войдя в жилище Каприоло, он потребовал «адрес Салмана Рушди»; не получив адреса, он яростно набросился на переводчика, нанес ему удары и колотые раны, а затем убежал, оставив истекающего кровью Каприоло на полу. К великому счастью, переводчик остался жив.

Услышав об этом от Гиллона, он не мог отделаться ль ощущения, что нападение произошло по его вине. Его враги так преуспели в перекладывании вины на его плечи, что теперь он и сам этому поверил. Он написал синьору Каприоло, выразил сожаление и надежду, что переводчик быстро и полностью поправится. Ответа не получил. Позднее он услышал от своих итальянских издателей, что Каприоло проникся к нему неприязнью и отказывается работать над его последующими книгами.

То были дни, когда фетва ближе всего подошла к своей цели. Поразив Этторе Каприоло, черная стрела полетела в Японию. Восемь дней спустя в университете Цукуба к северо-востоку от Токио японский переводчик «Шайтанских аятов» Хитоси Игараси был найден убитым в лифте недалеко от своего рабочего кабинета. Профессор Игараси был арабистом и знатоком персидской культуры, принявшим мусульманство, но это его не спасло. Многочисленные колотые раны на лице и руках. Убийца арестован не был. Немало слухов о нем достигло Англии. Он был

иранцем, незадолго до случившегося приехавшим в Японию. На цветочной клумбе обнаружили след обуви, и оказалось, что такую носят только в материковом Китае. Имена тех, кто прибыл в Японию из китайских портов, сопоставили со списком имен и известных фальшивых имен исламских террористов, и нашлось совпадение — так ему сказали, — но имя не было обнародовано. Япония, не имеющая своих запасов топлива, импортировала немалую часть сырой нефти из Ирана. Японское правительство пыталось в свое время воспрепятствовать публикации в стране «Шайтанских аятов», оно просило ведущие издательства не выпускать японский перевод. И оно не хотело, чтобы убийство Игараси осложнило его отношения с иранцами. Дело было замято. Обвинений никому не предъявили. Хороший человек лежал мертвый, но его смерти не позволили стать причиной затруднений.

Ассоциация пакистанцев, живущих в Японии, не промолчала. Она возрадовалась. «Сегодня мы поздравляли друг друга, — говорилось в ее заявлении. — По воле Аллаха Игараси понес заслуженную кару. Все были поистине счастливы».

Он написал вдове Хитоси Игараси мучительное письмо с извинениями. Ответа не последовало.

По всему миру убийцы-террористы приводили свои замыслы в исполнение. В Индии, в южном городе Шриперумбудуре, во время предвыборной кампании был убит Раджив Ганди. Выборы 1989 года, считал он, ему не удалось выиграть отчасти потому, что мощная охрана вокруг него создавала отчужденный образ политика, далекого от народа. На этот раз он решил быть ближе к людям. В результате террористка-самоубийца Дхану из группировки «Тамильские тигры» сумела подойти к нему вплотную и привела в действие пояс смертницы. Погиб и фотограф, стоявший рядом с Радживом, но фотоаппарат остался цел, и на пленке запечатлелись кадры убийства. Собрать останки бывшего премьер-министра для кремации оказалось нелегкой задачей.

В Лондоне он пытался наладить мало-мальски сносную жизнь. Горевал по Хитоси Игараси, каждый день справлялся, нет ли новостей о здоровье Этторе Каприоло, и надеялся, что, если придет его очередь, он не заберет никого с собой только потому, что тот человек будет стоять слишком близко.

Покуда не помрешь — жить надо, Джозеф Антон.

Визиты к рекомендованному школой консультанту Клер Чаппел помогли Зафару. Он стал лучше учиться и испытывал гордость, видя, как радуют учителей его успехи. Но теперь возник

новый повод для беспокойства — благополучие Элизабет. Они как могли старались держать свои отношения в секрете, старались, чтобы о них не знал никто, кроме ближайших друзей, но тайное все равно становилось явным. «У меня на работе об этом знают все, — сказала она. — Меня весь день трясло от ужаса». В издательстве «Блумсбери», конечно, работало не так уж много исламских террористов — и все-таки она решила уволиться. Она будет с ним все время, будет писать стихи, и ей не надо будет беспокоиться из-за любителей почесать языком. Она постаралась не показывать, что приносит жертву, но он знал: жертва есть, и большая, и, убеждая его, что *она хочет этого, по-настоящему хочет, у него не должно быть из-за этого никаких угрызений совести,* она в очередной раз доказывала щедрость своей души. Она ушла из «Блумсбери» без малейших колебаний, и ни в едином ее слове не прозвучало обвинения или сожаления. Британские таблоиды начали печатать полнейшую ложь о том, во что обходится стране «новая любовь Рушди», намекать, будто из-за Элизабет стоимость охраны возросла на сотни тысяч фунтов. После того как правительство принялось замалчивать «дело Рушди», внимание прессы стало переходить на цену забот о его безопасности. Он, мол, стоил стране целого состояния и конечно же проявил себя как человек заносчивый и неблагодарный. А теперь стране приходится платить и за его подружку.

Элизабет знала, что не стоит стране ни пенса, и ее презрение к сфабрикованным историям вызывало восхищение.

Бóльшую часть времени обстановка в доме 30 по Хэмпстед-лейн была спокойная, и преобладало ощущение постоянства. Надежности. Он не нервничал по полдня из-за того, что убежище может быть «раскрыто» и придется вновь и в спешном порядке переезжать. Спокойствия не нарушал даже приход работников. Там хватало места, чтобы он мог продолжать писать, пока садовник стрижет газон, или работает водопроводчик, или чинят какое-нибудь кухонное оборудование. Владельцы — семья Бульсара — оказались людьми не особенно любопытными. Фиц говорил с ними очень убедительно, представил своего начальника как международного издателя высокого полета, который часто находится в разъездах; иными словами, как нечто похожее на подлинного Рэя Хедермана, правда подлинный Рэй никогда бы не снял дом с восемью спальнями на Хэмпстед-лейн. Фиц начал обсуждать с ними возможность покупки дома, но миссис Бульсара заломила неслыханную цену. «Я пытался уговорить ее сбавить, сэр, — сказал Фиц, — но у нее жадность на лице написана».

Потом возникло еще одно предложение о продаже дома — он находился совсем недалеко, в северной (и не такой дорогой)

части Бишопс-авеню. Дом нуждался в ремонте, зато цена была довольно умеренная. Владелец хотел продать его быстро. Элизабет в сопровождении Фица и одного из охранников отправилась его посмотреть, и всем он понравился. «Это безусловно приемлемый вариант», — сказала Элизабет, и полицейские тоже дали добро. Да, сказали они, он может вновь иметь постоянное жилье, это одобрено на самом высоком уровне. Он дважды проехал мимо этого дома, но войти внутрь возможности не было. Особняк с островерхой крышей и выбеленным фасадом, отделенный от улицы двориком с двумя воротами, не бросался в глаза и при этом действительно имел приветливый вид. Он поверил Элизабет на слово и стал действовать как мог быстро. Через десять дней после того, как Элизабет впервые увидела дом 9 по Бишопс-авеню, был подписан договор купли-продажи, и дом стал его. Он не мог этому поверить. У него опять есть свое жилье! «Вы должны понимать, — сказал он новому охраннику, шикарного вида парню, которого сослуживцы звали Си-Эйч-Ти (по инициалам от „Колин Хилл-Томпсон“), — что после того, как я там окажусь, вы меня уже с места не сдвинете». Из всех охранников, с кем он до той поры имел дело, Колин был, пожалуй, наиболее сочувственно настроен. «Правильно, — сказал он. — Стойте на своем. Они это одобрили — значит, точка».

Дом требовал серьезного ремонта. Он позвонил Дэвиду Аштону Хиллу, своему другу-архитектору, и завлек его в самую сердцевину тайны. Дэвид, очередное звено в длинной цепочке Друзей, Без Которых Жизнь Была Бы Невозможна, взялся за дело немедленно; рабочих в тайну не посвятили, им была рассказана «легенда». Номер 9 по Бишопс-авеню должен был стать лондонским домом Джозефа Антона, международного издателя американского происхождения. Работами будет руководить его подруга-англичанка Элизабет, ей предстоит принимать все необходимые решения. Подрядчик Ник Норден был сыном писателя-юмориста Дениса Нордена и редко кому давал себя одурачить. Попробуй объясни Нику, зачем такому издателю, как мистер Антон, пуленепробиваемые окна на первом этаже и укрепленное помещение наверху. Странно было, что мистер Антон ни единого разочка не пожелал с ним встретиться, обсудить ход работ. Английская доброжелательность Элизабет, конечно, действовала успокаивающе, и пугливость мистера Антона, его озабоченность вопросами безопасности можно было в известной мере объяснить американским происхождением — американцы, как известно любому англичанину, боятся всего на свете: если в Париже у кого-то в автомобиле дал вспышку

карбюратор, все американцы отменяют поездки во Францию на отдых, — и все же мистер Антон подозревал, что Ник Норден и его рабочие прекрасно понимают, чей дом ремонтируют. Но они ничего не говорили, предпочитая делать вид, будто поверили «легенде», и в прессу ни разу не просочилось ни словечка. Девять месяцев длился ремонт дома для мистера Антона, который затем прожил в нем семь лет, и секрет все это время оставался секретом. В самом конце один из старших сотрудников подразделения «А» признался ему: они ожидали, что о его местожительстве станет широко известно уже через несколько месяцев, и все в Скотленд-Ярде были поражены, что конспирация поддерживалась восемь с лишним лет. В очередной раз люди дали повод испытать к ним благодарность за серьезное отношение к его беде. Все понимали, как важно хранить этот секрет, и хранили его — вот и все.

Он попросил Фица продлить аренду дома на Хэмпстед-лейн. Фиц постарался снизить арендную плату — «Это сущий грабеж, сэр, сколько они с вас дерут», — и ему это удалось, хоть миссис Бульсара и умоляла его: «Пожалуйста, мистер Фиц, уговорите мистера Хедермана платить побольше». А Фиц указывал ей на недостатки: в кухне было две плиты с духовками, и ни одна духовка не работала, на что она, как будто это было исчерпывающим объяснением, отвечала: «Но мы же индийцы, мы готовим на конфорках». Миссис Бульсара была огорчена, что дом у нее не покупают, но по-прежнему придерживалась нелепой идеи о его огромной стоимости. Снизить арендную плату, впрочем, согласилась. Вдруг откуда ни возьмись у дверей появились приставы из Высокого суда «арестовывать имущество семьи Бульсара».

Охрана, сталкиваясь с чем-то неожиданным, порой напоминала кур с отрубленными головами. Э-э, Джо, напомните, какая у нас легенда? На чье имя снят дом? Джозефа Антона? Как, *не* Джозефа Антона? Ах да, верно. Рэй — как, еще раз, его фамилия? А пишется как? Кем мы должны его называть? Что, он *и правда* издатель? А, понятно. Джо, а как будет полностью фамилия Фица? Хорошо, кто-то должен наконец дверь открыть. Он сказал им: «Ребята, вам бы надо над собой поработать». Позднее в тот день он написал, как они себя вели, и приколол листок к двери их общей комнаты.

Приставы пришли потому, что Бульсара не внесли месячную плату — всего-навсего пятьсот фунтов. Фиц взял все это дело на себя, позвонил юристу семьи Бульсара, и тот отправил приставам факс, что чек уже послан по почте. Так что же, теоретически приставы могут приходить каждый месяц? А если окажется, что

чек так и не послан, могут и завтра? Что за финансовые проблемы у семьи Бульсара? Это было ужасно: дом, имевший такой солидный вид, мог растаять из-за финансовых проблем владельцев, и на месяцы, необходимые для ремонта нового жилья, он мог опять оказаться бездомным? Фиц был невозмутим. «Я с ними поговорю», — сказал он. Больше приставы не появлялись.

Был вопрос о здоровье и связанный с ним вопрос о страхе. Он посетил врача — доктора Бевана из Сент-Джонз-Вуда, известного Особому отделу и лечившего в прошлом людей, пользовавшихся охраной, — и его сердце, кровяное давление и все прочие важные параметры оказались в идеальном порядке, что удивило даже самого врача. Его организм, получается, не заметил, что он живет в стрессовой ситуации. Он справлялся с ней прекрасно, и к услугам обычных ангелов-хранителей, помогающих жертвам стресса — амбиена, валиума, золофта, ксанакса, — прибегать не пришлось. Объяснить свое хорошее здоровье (он и спал крепко) он мог только тем, что «мягкая машина» его тела тем или иным образом приспособилась к случившемуся. Он начал писать «Прощальный вздох Мавра» — роман, главный герои которого старел вдвое быстрей, чем все люди. Жизнь «Мавра» Зогойби проходила слишком быстро, смерть приближалась стремительней, чем ей положено. Отношение этого персонажа к страху было отношением автора. *Раскрою вам один из секретов страха*, писал Мавр: *он — максималист. Ему или все, или ничего. Либо он, как грубый деспот, властвует над твоей жизнью с тупым оглушающим всесилием; либо ты свергаешь его и вся его сила улетучивается как дым. И еще один секрет: в восстании против страха, которое становится причиной падения этого заносчивого тирана, «храбрость» не играет почти никакой роли. Его движущая сила — нечто гораздо более непосредственное: простая необходимость идти дальше по жизни. Я потому перестал бояться, что, раз отпущенный мне срок на земле так мал, у меня нет времени дрожать от испуга.*

Ему некогда было трястись, сидя в углу. Да, конечно, причины бояться имелись, и он чувствовал, как подкрадывается гремлин страха, как чудовище с крыльями летучей мыши садится ему на плечо и злобно впивается в шею, — но он понимал: чтобы действовать, надо уметь стряхивать с себя гаденышей. Он представлял себе, что заманивает гремлинов в маленький ящичек, потом запирает его и задвигает в угол комнаты. После чего (в иные дни приходилось делать это не раз) можно было жить дальше.

Элизабет боролась со страхом более простым способом. Пока с нами люди из Особого отдела, говорила она себе, мы в безопасности. До самого конца, до тех пор пока не сняли охрану, она не выказывала ни малейших признаков боязни. Свобода — вот что пугало ее. Внутри пузыря охраны она по большей части чувствовала себя прекрасно.

У него появилась возможность купить машину поновей и поудобней, чем видавшие виды полицейские «ягуары» и «рейнджроверы». Этот бронированный «БМВ-седан» принадлежал до него сэру Ральфу Хэлперну — миллионеру, заработавшему свои миллионы на тряпках, основателю сети магазинов одежды «Топшоп», получившему, после того как молодая любовница рассказала таблоидам, что́ он может за одну ночь, прозвище «пятиразовый Ральф». «Кто знает, что происходило на этом заднем сиденье, — мечтательно рассуждал Конь Деннис. — Шлюховоз сэра Ральфа — это находка». Автомобиль, купленный за 140 тысяч фунтов, продавался за 35 тысяч — «даром», заявил Конь Деннис. Полицейские намекнули, что вне Лондона, на сельских дорогах, возможно, ему будут даже позволять садиться за руль самому. И пуленепробиваемые окна, в отличие от окон полицейских «ягуаров», открывались. Можно будет, когда это сочтут неопасным, дышать свежим воздухом.

Он купил машину.

Первой в ней была поездка в «Шпионский центр». Штаб-квартира SIS (Британской секретной разведывательной службы), знакомая любителям фильмов про Джеймса Бонда, смотрела через Темзу на издательство «Рэндом хаус», словно была автором, нуждающимся в хорошем издателе. Джон Ле Карре в своих книгах о Джордже Смайли назвал SIS «Цирком» *(the Circus)*, потому что здание якобы выходило на площадь Кембридж-серкус; это означало, что шпионы смотрели в окна на эстрадный театр «Пэлэс» Эндрю Ллойда Уэббера. В некоторых подразделениях гражданской службы SIS называли «Ящиком 850» — по почтовому адресу, который когда-то использовала служба внешней разведки МИ-6. В сердце Шпионской Страны находился человек, чьим кодовым именем, вопреки бондиане, было не «М». Глава МИ-6 — это уже не было секретом — обозначался буквой «С». В тех редких случаях, когда мистер Антон с Хэмпстед-лейн, а позднее — с Бишопс-авеню, 9, получал возможность войти в эти надежно охраняемые двери, он никогда не проникал в паучье логово, никогда не встречался с «С». Он имел дело, так сказать, не с заглавными, а со строчными буквами латиницы; впрочем, однажды — только однажды — он выступил на собрании, где

присутствовало много заглавных букв. И дважды встречался с руководителями службы контрразведки МИ-5 Элайзой Маннингем-Буллер и Стивеном Ландером.

Во время того первого визита его ввели в комнату, похожую на конференц-зал рядового лондонского отеля, чтобы сообщить хорошую новость. Оценка серьезности «конкретной угрозы» в его адрес снижена. Значит, его больше не обещают убить к определенному сроку? Не обещают. Операция, сказали ему, «сорвана». Неожиданное слово. Ему захотелось узнать об этом «срыве» побольше. Потом он подумал: *Не спрашивай.* И все-таки спросил. «Поскольку речь идет о моей жизни, — сказал он, — мне кажется, вам следовало бы чуть подробнее рассказать мне о том, почему дела теперь обстоят лучше». Молодой сотрудник, сидевший за блестящим полированным деревянным столом, с дружелюбным видом подался вперед. «Нет», — отрезал он. И на этом разговор был окончен. Что ж, *нет* — это по крайней мере четко и ясно, подумал он, неожиданно для себя развеселившись. Защита источников информации — абсолютный приоритет для SIS. Ему будет сообщено только то, что сочтет нужным сообщить его оперативный сотрудник. Дальше простирается край вечного «нет».

«Срыв» вражеской операции наполнил его опьяняющим восторгом, но ненадолго: на Хэмпстед-лейн мистер Гринап вернул его на землю. Уровень угрозы по-прежнему высок. Определенные ограничения будут оставаться в силе. В частности, Гринап не может *позволить* привозить к нему домой Зафара.

Его пригласили выступить в Мемориальной библиотеке Лоу Колумбийского Университета в Нью-Йорке в ознаменование двухсотлетия Билля о правах. Надо, подумал он, начать принимать такие приглашения: он должен выйти из зоны невидимости и снова обрести голос. Он обсудил с Фрэнсис Д'Соуса, не попытаться ли получить приглашение в Прагу от Вацлава Гавела, чтобы встреча, которую в Лондоне британские власти сделали невозможной, произошла на родной земле Гавела. Если правительство Ее величества самоустраняется от его дела, следует вывести кампанию по его защите на международный уровень и, пристыдив Тэтчер и Херда, побудить их действовать. Ему надо использовать все предлагаемые трибуны, чтобы снова и снова заявлять: его случай отнюдь не уникален, писатели и интеллектуалы по всему исламскому миру обвиняются точно в таких же «мыслепреступлениях», как он, — в кощунстве, ереси, отступничестве, оскорблении святынь и чувств верующих, — и это означает, что либо самые лучшие и самые независимые

творческие умы в мусульманском мире принадлежат выродкам, либо эти обвинения просто-напросто маскируют подлинную цель обвинителей: подавить любую неортодоксальность, любое инакомыслие. Говорить об этом — не значило, как намекали иные, пытаться привлечь особое сочувственное внимание к своему делу или оправдать свое «возмутительное поведение». Это была правда, и только. Чтобы его доводы были убедительными, сказал он Фрэнсис, ему, помимо прочего, необходимо опровергнуть свое собственное заявление, исправить Великую Ошибку, и говорить об этом надо будет громко, с самых заметных трибун, во время наиболее широко освещаемых мероприятий. Фрэнсис, испытывая к нему сильные защитные чувства, боялась, что это может ухудшить его положение. Нет, возразил он, хуже будет оставаться в ложном положении, в которое он сам себя поставил. Он усваивал трудный урок: наш мир — не такое место, где царит сочувствие, и рассчитывать на людское сочувствие не следовало с самого начала. Жизнь немилосердна к большинству людей и вторую попытку предоставляет редко. В классическом ревю шестидесятых «За краем» комический актер Питер Кук давал зрителям умный совет: в случае атомной атаки самое лучшее — «не находиться в зоне, где в ближайшее время должна случиться атака. Держитесь оттуда подальше: если где-то падают бомбы — значит, там опасно». Чтобы не страдать от того, что в мире мало кто сочувствует твоим ошибкам, самое лучшее — сразу вести себя правильно. Но он свою ошибку уже совершил. И сделает все, что потребуется, для ее исправления.

«Будут последствия — даже если это будет означать смерть», — сказал пресс-секретарь Брадфордского совета мечетей. «Суждение имама, приговорившего автора „Шайтанских аятов“ к смерти, было безукоризненно», — заявил садовый гном. Тем временем в Париже злоумышленники проникли в дом бывшего президента Ирана Шапура Бахтияра — противника власти аятолл, жившего в эмиграции, — и убили Бахтияра и его помощника ударами ножей, совершив «ритуальное убийство».

В Москве была предпринята попытка отстранить от власти Михаила Горбачева, и три дня тот сидел под домашним арестом. Когда его освободили и он прилетел обратно в Москву, у трапа самолета дожидались репортеры, чтобы спросить его, не запретит ли он теперь коммунистическую партию. Вопрос, судя по его виду, поверг его в ужас, и в тот момент — именно в тот — история (в лице Бориса Ельцина) пронеслась мимо него, предоставив ему плестись в ее хвосте. И все же никто иной, как он — не Ельцин, не Рейган, не Тэтчер — был человеком, изменившим мир: он сделал это, запретив советским войскам

стрелять по демонстрантам в Лейпциге и других местах. Много лет спустя бывший человек-невидимка встретился с Михаилом Горбачевым в Лондоне на одном мероприятии по сбору средств. «Рушди! — воскликнул Горбачев. — Я полностью поддерживаю вас по всем вопросам». Они даже обнялись на секунду. Неужели по всем? — спросил он человека с вытатуированной на лбу картой Антарктиды. «Да, — подтвердил Горбачев через переводчика. — Полностью поддерживаю».

Он писал эссе для своего друга Колина Маккейба из Британского института кино (БИК) о фильме «Волшебник страны Оз». Двумя великими темами фильма были родной дом и дружба, и в то время он как никогда остро испытывал необходимость и в том и в другом. Друзья у него были — друзья столь же верные, как спутники Дороти на Дороге из желтого кирпича, и он рассчитывал вскоре обрести дом после трех лет дороги. В качестве приложения к эссе он сочинил рассказ-антиутопию «На аукционе рубиновых туфелек». В фильме эти волшебные туфельки могли в любой момент перенести тебя домой; но какова цена таких предметов в жестоком научно-фантастическом мире, где все продается и покупается, а представление о родном доме «раздроблено и повреждено»? Эссе понравилось главному редактору журнала «Нью-Йоркер» Бобу Готлибу, и он напечатал большой кусок из него до того, как вышла брошюра БИК. Майнхардт Раабе, сыгравший в фильме коронера Страны жевунов, прочел журнальную публикацию в доме престарелых в Форт-Лодердейле и прислал хвалебное письмо, к которому приложил подарок — цветную картинку, изображавшую кадр из главной сцены с его участием. Он стоит на ступеньках ратуши жевунов и держит длинный свиток, наверху которого большими готическими буквами написано: СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ. Под этой надписью Раабе старательно вывел синей шариковой ручкой: *Салман Рушди*. Когда он увидел свое имя на жевунском свидетельстве о смерти, первой его мыслью было: *Юмор, однако…* Но потом до него дошло: *мистер Раабе из своего дома престарелых шлет письма разным людям по всей Америке, по всему миру, пускает, как Герцог в романе Беллоу, слова-ракеты в пустое пространство, при этом у него около кровати имеется большая стопка этих картинок, и он вкладывает по картинке в каждое письмо. Это его визитная карточка. Он не успевает сообразить: этот человек взаправду живет под смертным приговором, надо бы проявить капельку такта. Он пишет, подписывает, посылает — вот и все.*

После того как эссе вышло в свет, Колин Маккейб сказал ему, что многие в БИК боялись иметь отношение к брошюре печально

знаменитого мистера Рушди. Колин сумел смягчить по крайней мере часть этих страхов. Ведь у этого автора вышла книга — и реки крови не потекли. Что уж тут говорить о маленькой брошюрке, посвященной старому фильму. Но он понял: чтобы снова обрести свободу, он должен преодолеть не только свой страх, но и чужие страхи.

В Ливане освободили британского заложника Джона Маккарти.

Начальство подразделения «А» решило, что можно *позволить* Зафару приехать к отцу на Хэмпстед-лейн, 30. Вначале мистер Гринап предложил завязать мальчику глаза, чтобы он не видел, какими улицами едет, но об этом и речи быть не могло, и Гринап не стал настаивать. В тот же день Зафара привезли, и его радость осветила уродливые комнаты, сделала интерьер красивым.

Позвонила взволнованная Фрэнсис. Ее попросили сообщить ему по секрету, что «Гаруну и Морю Историй» присудили премию Гильдии писателей за лучшую детскую книгу года. «Они будут очень рады, если вы как-нибудь ухитритесь приехать и получить премию». Да, сказал он, ему доставит огромное удовольствие участвовать в церемонии. Он поехал к Майклу Футу, и тот сказал: «Хорошо. Значит, ветер переменился. Нам надо будет опять встретиться с Хердом и гораздо жестче настаивать на своих требованиях». Его восхищала заряженность Майкла на борьбу, которую не умерял солидный возраст. В этом — и в способности пить виски не пьянея — с ним мог поспорить только Кристофер Хитченс[129]. Когда он пил с Майклом, ему не раз приходилось тайком выливать свой скотч в цветочный горшок.

Он сказал полицейским про премию Гильдии писателей. Церемония должна была пройти 15 сентября в Дорчестер-отеле. Охранники стали издавать нечленораздельные звуки, означавшие нежелание. «Не знаю, Джо, что начальство на это скажет, — произнес Бенни Уинтерс, который в своей шикарной куртке из дубленой кожи немного походил на Ленни Кравица[130] — только волосы еще короче. — Но мы с ним обязательно это обсудим». Результатом обсуждения стал визит мистера Гринапа с мрачнейшей из его мрачных мин, сопровождаемого Хелен Хэммингтон, сотрудницей полиции высокого ранга, которая вначале говорила мало.

— Мне очень жаль, Джо, — сказал мистер Гринап, — но я этого *позволить* не могу.

— Вы не хотите *позволить* мне поехать на Парк-лейн получить литературную премию, — проговорил он медленно. — Вы не хотите мне этого *позволить*, хотя заранее об этом будет

знать только один человек, организатор мероприятия, хотя мы можем приехать после того, как всех рассадят ужинать, быть на месте минут за десять до начала церемонии награждения, получить премию и уехать, когда церемония еще будет идти. Этого вы мне *позволить* не намерены, так?

— Из соображений безопасности, — сказал мистер Гринап, выставив подбородок. — Это было бы в высшей степени неразумно.

Он сделал глубокий вдох. (Бросив курить, он получил за это в награду астму с поздним началом, и поэтому ему иногда не хватало воздуху.)

— Видите ли, в чем дело, — сказал он. — Я полагал, что являюсь свободным гражданином свободной страны и не в вашей компетенции *позволять* мне что-либо или *не позволять*.

Мистер Гринап потерял терпение.

— Мне представляется, — заявил он, — что вы посредством своей тяги к самовозвеличению подвергаете опасности население Лондона.

Это была поразительно составленная фраза: *представляется, посредством, самовозвеличению*… Он запомнил ее навсегда. Настал момент, который Анри Картье-Брессон[131] назвал бы решающим — *le moment décisif*.

— Дело обстоит следующим образом, — сказал он. — Я знаю, где находится Дорчестер-отель, и у меня, к счастью, есть деньги на такси. Так что вопрос не в том, еду я на церемонию или нет. Я *еду* на церемонию. Вопрос у меня к вам один: едете ли вы со мной?

Тут в разговор вступила Хелен Хэммингтон. Она сообщила ему, что сменяет мистера Гринапа на должности старшего оперативного сотрудника Скотленд-Ярда. Это была чрезвычайно приятная новость. Затем она сказала мистеру Гринапу:

— Я думаю, мы сможем решить эту проблему.

Гринап сделался очень красный, но ничего не сказал.

— Принято решение, — продолжила Хэммингтон, — что мы, вероятно, *позволим* вам выезжать несколько чаще.

Через два дня он был в Дорчестер-отеле, в самом сердце книжного мира, и получил свою премию — стеклянную чернильницу на деревянной подставке. Он поблагодарил собравшихся за солидарность и извинился за то, что материализовался посреди ужина и испарится до его конца. «В нашей свободной стране, — сказал он, — я человек несвободный». Ему аплодировали стоя, и от этого у него — у человека, которого не так-то легко заставить плакать, — выступили слезы. Он помахал всем и, уходя, услышал, как Джон

Клиз[132] говорит в микрофон: «Везет же мне! Сразу после *этого* — я». Да, самовозвеличился маленько — но кому от этого стало хуже? Население Лондона могло спокойно чувствовать себя в своих смокингах, домах, постелях. А мистера Гринапа он никогда больше не видел.

В те странные дни ангел смерти все время, казалось, был где-то рядом. Позвонила Лиз: Анджеле Картер сказали, что ей осталось жить самое большее полгода. Потом, плача, позвонил Зафар: «Хэтти умерла». Хэтти — это была Мэй Джуэлл, англо-аргентинская бабушка Клариссы, любительница широкополых шляп и прототип Розы Дайамонд из «Шайтанских аятов», около дома которой в Певенси-Бэй, графство Суссекс, упали на песок, благодаря чему остались живы, вывалившиеся из взорванного самолета Джибрил Фаришта и Саладин Чамча. Кое-что из того, о чем Мэй Джуэлл любила рассказывать — в Лондоне у бывших конюшен Честер-сквер-Мьюз она однажды увидела призрака конюха, который, казалось, шел на коленях, но потом поняла, что просто-напросто идет человек, находясь на старом, более низком уличном уровне, и потому он виден только выше колен; сквозь ее гостиную в Певенси-Бэй в 1066 году плыли корабли завоевателей-нормандцев, потому что море с тех пор отступило; в Аргентине в ее *estancia*[133] Лас-Петакас быки подходили к ней и клали ей на колени головы, словно они были единорогами, а она девственницей (ни то ни другое не соответствовало действительности), — попало на страницы его книг. Он очень любил ее рассказы, ее шляпы и ее самое.

Хелен Хэммингтон, приехав к нему снова, сообщила, какие послабления полиция теперь готова ему сделать. Они могут, оговорившись обо всем заранее, возить его покупать одежду и книги после закрытия магазинов. Возможно, он захочет поехать за покупками куда-нибудь за пределы Лондона — например, в Бат, — и там он даже сможет заходить в магазины в рабочие часы. Если он захочет надписывать покупателям экземпляры книг, такие мероприятия допустимы, но опять-таки не в Лондоне. Его друг профессор Крис Бигсби пригласил его публично что-то прочесть в Университете Восточной Англии, и, пожалуй, ему можно будет принимать такие приглашения. Не исключены посещения театров — Ковент-Гардена, Английской национальной оперы, Национального театра. Она знала, что он близко дружит с Рути Роджерс, совладелицей ресторана «Ривер кафе» в Хаммерсмите, так что он может иногда выбираться туда ужинать — или в «Плющ», владельцы которого Джереми Кинг и Крис Кобрин тоже люди надежные. И кстати: Зафару теперь *позволено*

не только приезжать на Хэмпстед-лейн, но и ночевать там. С уходом мистера Гринапа кое-что, безусловно, изменилось.

(Чего ему не было *позволено*: жить публично, передвигаться свободно, вести обычное существование писателя и свободного человека сорока с чем-то лет. Он словно бы находился на строгой диете: все, что не значилось в списке *позволенного*, было запрещено.)

11 ноября должен был наступить тысячный день с тех пор, как в день церковной службы в память Брюса Чатвина была объявлена фетва. Он поговорил с Фрэнсис и Кармел о том, как использовать момент политически. Они решили организовать двадцатичасовую демонстрацию-«бдение» в лондонском зале Сентрал-Холл-Вестминстер. Когда об этом плане сообщили газеты, ему позвонил Данкан Слейтер. Дуглас Херд, сказал Слейтер, просит отменить акцию, угрожая, что, если она состоится, на активистов кампании по защите Рушди будет возложена вина — может быть, даже самим правительством, — в том, что откладывается освобождение британского заложника Терри Уэйта. Майкл Фут, узнав об этом, пришел в ярость. «Поддаваться угрозам — значит поощрять захват заложников», — сказал он. Но в конце концов демонстрация была отменена по просьбе объекта фетвы. Человеческим правам Терри Уэйта надо было отдать предпочтение перед его правами.

Петер Вайдхаас, руководитель Франкфуртской книжной ярмарки, решил было снова пригласить иранских издателей, но протесты в Германии не позволили ему этого сделать.

Вот и тысячный день. Он ознаменовал его тем, что дописал эссе «Тысяча дней в воздушном шаре». Американский ПЕН-центр провел митинг и направил в ООН письмо протеста. Его британские друзья, чье «бдение» было отменено, читали вслух письма в его поддержку в книжном магазине на Чаринг-Кросс-роуд. Вместе с тем газета «Индепендент», становившаяся, вопреки названию[134], своего рода рупором британского ислама, напечатала статью «писателя» Зиауддина Сардара, где говорилось: «Самое лучшее для мистера Рушди и его сторонников — заткнуться. Мухе, попавшей в паутину, не стоит привлекать к себе внимание». Упомянутая «муха» позвонила редактору газеты и сообщила ему, что не будет больше писать рецензии для ее книжного раздела.

18 ноября Терри Уэйта освободили. Больше в Ливане британских заложников не оставалось. Как, думал он, власти теперь будут пытаться заткнуть ему рот? Ответ он получил очень скоро. 22 ноября роман «Шайтанские аяты» и его автора подверг нападкам архиепископ Кентерберийский Джордж Кэри. Роман,

заявил Кэри, — «возмутительная клевета» на пророка Мухаммада. «Мы должны быть более терпимы к гневу мусульман», — сказал архиепископ.

Он дал ему отповедь в радиоинтервью, и британская пресса резко раскритиковала архиепископа. Кэри пошел на попятную, извинился и пригласил человека, чью книгу он осудил, на чай. Человека-невидимку привезли в Ламбетский дворец, и там он увидел чопорную фигуру архиепископа и спящую у камина собаку, а вот и чай: одна чашка — и, к его разочарованию, никаких сэндвичей с огурцом. Кэри был неловок, запинался, и ему мало что было сказать. На вопрос, не попытается ли он как священнослужитель священнослужителя уговорить Хаменеи отменить фетву, он беспомощно ответил: «Не думаю, что я для него большой авторитет». Целью чаепития было ограничение ущерба, не более того. Оно длилось недолго.

И пошли слухи, что британцы готовятся обменяться с Ираном послами и возобновить полные дипломатические отношения. Ему крайне необходима была публичная трибуна. Дата мероприятия в Колумбийском университете быстро приближалась, и казалось по-настоящему важным, чтобы он смог там выступить, чтобы его голос раздался во всеуслышание. Но в Ливане по-прежнему удерживали двоих американских заложников, и не ясно было, разрешат ли ему приехать в Соединенные Штаты. К тому же — как он полетит? Ни одна коммерческая авиалиния не будет рада такому пассажиру. Полицейские сказали ему, что из Соединенного Королевства в Штаты и обратно почти каждую неделю летают пассажирские самолеты для военных. Может быть, его возьмут на такой рейс? Они навели справки, и оказалось — да, ему можно будет полететь с военными. Но состоится ли поездка, все еще было не ясно.

Позвонил Данкан Слейтер, чтобы извиниться за «конфронтацию» из-за акции, намечавшейся на тысячный день, и сказать, что с обменом послами «торопиться не будут». Его, сказал он, посылают работать за границу, и новым «связным» Форин-офиса будет Дэвид Гор-Бут. Жаль: Слейтер ему нравился и, чувствовалось, поддерживал его. Гор-Бут — совсем иное дело: он был угрюмее, бесцеремоннее, резче.

1 декабря освободили Джозефа Сисиппио, а неделю спустя на свободу вышел последний из американских заложников Терри Андерсон. Американцы сдержали слово и сняли запрет на его поездку. Он сможет выступить в библиотеке Лоу.

Он должен был пересечь океан на самолете Королевских ВВС и приземлиться в вашингтонском международном аэропорту

Даллеса. Оттуда в Нью-Йорк, а потом обратно его пообещали доставить частным самолетом, принадлежащим главе медиакорпорации «Тайм — Уорнер». В Нью-Йорке его встретит команда охранников, выделенная городской полицией. По мере того как приближалась дата вылета, эти планы все время менялись, что сильно нервировало. Частный самолет от Вашингтона до Манхэттена превратился в машину, затем в вертолет, затем снова в самолет. Эдрю запланировал ужин с влиятельными ньюйоркцами и «артистический ланч» с возможным участием Аллена Гинзберга, Мартина Скорсезе, Боба Дилана, Мадонны и Роберта Де Ниро. Выглядело нереальным — и таковым оно и было. Ему сказали, что он вообще не сможет покидать отель кроме как для выступления в Колумбийском университете. Ему не разрешат участвовать в ужине в библиотеке Лоу: только произнести свою речь — и немедленно уйти. В тот же вечер самолетом — обратно в Вашингтон, оттуда самолетом британских ВВС — в Соединенное Королевство. Американские посольства по всему миру были приведены в состояние наивысшей готовности и приняли особые меры безопасности на случай исламских выступлений против впустившей его Америки. Все, с кем он говорил и с кем говорил Эндрю, проявляли крайнюю нервозность — люди из британских ВВС, из министерства обороны, из американского посольства, из Госдепартамента, из Форин-офиса, из нью-йоркской полиции. Он сказал по телефону Ларри Робинсону: «Легче попасть в Эдем, чем в Соединенные Штаты. Чтобы пустили в рай, надо всего-навсего быть безгрешным».

Чем ближе становилась дата, тем дальше Соединенные Штаты отодвигали время вылета. Наконец во вторник 10 декабря, в Международный день прав человека и за день до выступления в Колумбийском университете, он взошел на военно-транспортный самолет и, сидя спиной к пункту назначения, впервые за три года покинул британскую землю.

На летном поле аэропорта Титерборо в Нью-Джерси его встретил кортеж из девяти машин, сопровождаемый мотоциклистами. Центральная машина была длинным белым бронированным лимузином. Она предназначалась ему. Большую группу полицейских возглавлял лейтенант Боб Кеннеди, который в радиопереговорах фигурировал в тот день как «Начальник Гудзона». Представившись, лейтенант Боб изложил ему «сценарий», часто прерываясь, чтобы сказать что-то в рукав: *Вас понял, наблюдательный пост Гудзон. Это Начальник Гудзона, прием. Вас понял. Конец связи.* Полицейские в наши дни

разговаривают так, как разговаривают полицейские, которых они видят по телевизору. Лейтенант Боб — это было ясно — воображал, что попал в грандиозный кинофильм.

— Мы вас повезем через город в отель вот в этом автомобиле, — сказал он (хотя можно было и не говорить), когда кортеж тронулся.

— Лейтенант Боб, — заметил он, — это же сколько всего получается. Девять машин, мотоциклы, сирены, мигалки, множество полицейских. Не безопаснее ли было бы провезти меня боковыми улочками в старом «бьюике»?

Лейтенант Боб посмотрел на него сочувственно, как смотрят на безнадежных тупиц или психов.

— Нет, сэр, не безопаснее, — ответил он.

— Кому еще вы бы устроили такую встречу, лейтенант Боб?

— Так мы встретили бы Арафата, сэр.

Быть поставленным на одну доску с лидером Организации освобождения Палестины — это слегка шокировало.

— Лейтенант Боб, а если бы я был президентом — что еще вы бы сделали?

— Сэр, если бы вы были президентом Соединенных Штатов, мы бы перекрыли все эти боковые улицы и еще, сэр, мы бы посадили на крышах снайперов вдоль маршрута, но в вашем случае мы не стали этого делать, потому что это бы слишком бросалось в глаза.

Кортеж из девяти машин со вспыхивающими мигалками под завывание мотоциклетных сирен катил к Манхэттену, совершенно не бросаясь в глаза, не привлекая ровно никакого внимания.

В отеле его ждал Эндрю. В президентских апартаментах, несмотря на то что они располагались на верхнем этаже, все окна были загорожены пуленепробиваемыми матами, и в комнатах находились десятка два мужчин, вооруженных огромными стреляющими штуками из научно-фантастических фильмов. Эндрю организовал ему две встречи. Первой появилась Сьюзен Сонтаг — обняла его, потом рассказала обо всем, что сделал и собирается сделать ради его защиты американский ПЕН-центр. Потом пришел Аллен Гинзберг, и Сьюзен вывели через другую дверь, чтобы два американских гиганта не встретились. Он не понял, зачем это было нужно, но Эндрю сказал, что так лучше, что следует избегать столкновений литературных «я». Войдя в сандалиях и с маленьким рюкзачком, Гинзберг оценил ситуацию и твердо проговорил: «Так, мы сейчас будем медитировать». После чего принялся стаскивать на пол подушки с диванов. *Ничего себе,* подумал индийский писатель. *Американец учит меня произносить мантру «Ом шанти ом».* Вслух он сказал — ради

зловредности: «Я соглашусь медитировать только вместе с Эндрю Уайли». И вот они все трое сидят на полу, скрестив ноги, и распевают о *шанти*, то есть о мире, а тем временем на них смотрит небольшое войско с устрашающим оружием из научной фантастики и пуленепробиваемые маты загораживают свет холодного декабрьского солнца. Окончив сеанс медитации, Гинзберг вручил ему несколько брошюр по буддизму и отбыл.

Чуть погодя без предупреждения пришла Элизабет, и лейтенант Боб привел ее к нему, окруженную вооруженными людьми.

— Все в порядке, лейтенант Боб, — заверил его он. — Элизабет свой человек. Элизабет со мной.

Кеннеди сощурил глаза.

— Если бы я захотел убить вас, сэр, — сказал он с довольно-таки безумным видом, как никогда в этот момент похожий на Джека Николсона из фильма «Пролетая над гнездом кукушки», — именно такую я бы и послал.

— Как вас понять, лейтенант Боб?

Кеннеди показал на стол, где лежали фрукты, сыр и столовые приборы.

— Сэр, если она возьмет одну из этих вилок и проткнет вам шею, я потеряю работу. Сэр.

Эндрю Уайли стоило большого труда сохранить серьезное лицо, и до конца поездки Элизабет называли не иначе как Буйной Вилочницей.

Вечером, в длинном белом бронированном лимузине внутри кортежа из девяти машин, с мотоциклистами по бокам, с сиренами и мигалками их шумно повезли по 125-й улице к кампусу Колумбийского университета со скоростью шестьдесят миль в час, и поглядеть, как прошмыгивают мимо, почти невидимые, участники этой жутко тайной операции, на тротуары высыпал, казалось, весь Гарлем. Абсурдность происходящего привела Эндрю в бешеный восторг. «Это лучший день моей жизни!» — кричал он.

Но потом потехе — слегка истерической потехе, отдававшей черной комедией, — пришел конец. В библиотеке Лоу он стоял за занавесом, пока не назвали его имя и не раздался общий вздох изумления, — и тут он шагнул вперед, вышел из невидимости на свет. Раздались приветственные, жаркие аплодисменты. Свет бил ему в глаза, и он не видел зала, не знал, кто в нем сидит, но ему надо было произносить свою речь о тысяче дней, проведенных в воздушном шаре. Он попросил слушателей задуматься о преследовании людей по религиозным мотивам, задаться вопросом о цене одной человеческой жизни, и с этого начался

долгий путь исправления Ошибки, отказа от своего фальшивого заявления, возвращения в ряды защитников свободы, отречения от Бога. Исправлять и исправлять Ошибку ему предстояло еще много лет, и все же в тот вечер, признавшись в ней избранной публике в Колумбийском университете, вновь вступившись за то, во что страстно верил — *свобода слова*, сказал он, *вот где зарыта собака, свобода слова — это сама жизнь,* — он почувствовал, что стал чище, и в отклике собравшихся услышал сочувствие. Будь он человеком религиозным, он сказал бы, что получил отпущение грехов. Но он не был религиозен и больше никогда таковым не притворится. Он был горд своей безрелигиозностью. *Не молись за меня,* сказал он матери. *Как ты не видишь? Это не наша команда.*

Как только речь была произнесена, Америка бесцеремонно отправила его восвояси. Он не успел даже попрощаться с Эндрю и Элизабет. Белый лимузин, на переднем сиденье которого сидел лейтенант Боб, понесся сквозь ночь в аэропорт Макартура, расположенный в Айслипе на Лонг-Айленде, оттуда он вылетел в аэропорт Даллеса, там сел на самолет британских BBC, пересек вместе с военными Атлантику — и опять оказался в своей клетке. И все-таки он съездил, и все-таки он выступил. Первый раз оказался самым трудным, но все трудности были преодолены, и в будущем ему суждено было полететь в Америку еще, и еще, и еще. Света в конце туннеля пока видно не было, но по крайней мере он вошел в туннель.

Сборник «Воображаемые родины» вышел в мягкой обложке, и в нем эссе о воздушном шаре заменило текст о его «обращении»: наконец-то он мог смотреть на экземпляры этой книжки без отвращения. *Наконец-то,* подумал он, получив авторские экземпляры. *Вот это — подлинная книга. Ее автор — подлинный я.* Его бремя стало легче. Он развязался с дантистом Эссауи, навсегда оставил позади эти ноги с тщательно подстриженными ногтями.

Уважаемая Религия!

Дозволено ли мне будет поднять вопрос о базовых принципах? Странно — а может быть, не так уж странно, — что религиозные и нерелигиозные люди не могут прийти на их счет к согласию. Для рационалистического мыслителя греческой школы, задающегося вопросом, в чем заключена истина, базовые принципы суть исходные точки (архэ), и мы способны их воспринять, ибо обладаем умом, сознанием (нус). Декарт и Спиноза верили, что посредством чистого разума и опираясь на наше чувственное восприятие мира мы можем прийти к описанию того, что

признаём за истину. С другой стороны, религиозные мыслители — Фома Аквинский, Ибн Рушд — утверждали, что разум существует вне человеческого сознания, что он висит в пространстве, как северное сияние или пояс астероидов, дожидаясь первооткрывателей. После того как он открыт, он неизменен, непреложен, ибо существовал до нас и существует независимо от нас. Эту идею бестелесного, абсолютного разума не так просто переварить, особенно когда ты, Религия, соединяешь ее с идеей божественного откровения. Ибо в этом случае мышлению конец, разве не так? Все, что требует обдумывания, уже явлено нам в откровении, навязано нам — навечно, безусловно, без малейшей надежды на пересмотр. Впору взмолиться: «Помоги нам, Боже!» Нет, я в другой команде, которая считает: если базовым принципам этого типа нельзя противопоставить базовые принципы другого типа — противопоставить, отыскивая новые исходные точки, применяя к этим исходным точкам наш ум и чувственный опыт и благодаря этому приходя к новым заключениям, — то с нами покончено, наши мозги сгнию, и длиннобородые люди в тюрбанах (или люди в сутанах, которым «целибат» не мешает приставать к мальчикам) наследуют землю. Вместе с тем — и это может сбить тебя с толку — в кулуарных вопросах я не релятивист и верю в универсалии. В их числе — права человека, человеческие свободы, человеческая природа и то, чего она требует и заслуживает. Поэтому я не согласен с профессором С. Хантингтоном[135]*, утверждающим, что разум — достояние Запада, тогда как удел Востока — обскурантизм. Сердце есть сердце, и ему нет дела до сторон горизонта. Потребность в свободе, как и неизбежность смерти, универсальна. Возможно, эта потребность и не была присуща человеку изначально как его видовой свойство, но она неоспорима. Я понимаю, Религия, что это может сбить тебя с толку, но в этом вопросе у меня нет сомнений. Я спросил свой нус, и он дал мне полное добро. Жду ответа. Очень жду. Кстати — P.S. Почему в пакистанских официальных анкетах (во всех, по какому бы случаю они ни заполнялись) необходимо указать вероисповедание, причем ответ «нет» считается неприемлемым, приравнивается к порче анкеты? Приходится заполнять новый бланк — или столкнуться с последствиями, которые могут быть суровыми. Не знаю, так ли обстоит дело в других мусульманских государствах, но подозреваю, что, скорее всего, так. Не кажется ли тебе, Религия, что это чуточку слишком? Что это даже граничит с фашизмом? Что можно подумать о клубе, членство в котором принудительно? Мне казалось, что лучшие клубы скорее эксклюзивны и всеми силами стараются не пускать в себя всякий*

сброд.

На это тоже прошу ответить. Очень прошу.

Уважаемый Читатель!

Спасибо за добрые слова о моей работе. Позвольте мне высказать простую мысль: свобода писать тесно связана со свободой читать и свободой от того, чтобы какое бы то ни было духовенство или Возмущенное Сообщество фильтровало, проверяло, цензурировало Ваше чтение. С каких это пор сущность художественного произведения определяется теми, кому оно не нравится? Ценность творчества — в любви, которую оно рождает, а не в ненависти. Не что иное, как любовь, делает книги долговечными. Прошу Вас, продолжайте читать.

Он поставил себе задачи на новый год. Сбавить вес, получить развод, написать роман, добиться публикации «Шайтанских аятов» в мягкой обложке, добиться отмены фетвы. Он знал, что не сможет сдержать все эти обещания, данные себе самому. Но три или четыре из пяти — было бы неплохо. За полтора месяца он сбросил пятнадцать фунтов. Хорошее начало. Он купил свой первый компьютер. Как многие авторы, привыкшие жить по старинке, он боялся, что это скажется на его книгах. За много лет до того у них с Фэй Уэлдон было совместное литературное чтение в Кентиш-Тауне, и когда пришло время вопросов и ответов, одна женщина спросила: «Когда вы печатаете и вам не понравилась фраза, вы ее забиваете и продолжаете печатать или вынимаете лист из машинки и начинаете заново?» Они с Фэй в один голос ответили, что конечно же вынимают лист и начинают заново. Чистовик для него, как для многих писателей, был фетишем, и легкость сотворения чистовика при помощи нового чудесного устройства была достаточным доводом в его пользу. Чем меньше времени он будет тратить на перепечатку, тем больше останется на само сочинительство. «Прощальный вздох Мавра» стал первым его романом, написанным на компьютере.

Необходимо было продать дом на Сент-Питерс-стрит. Его расходы были огромны, и он нуждался в деньгах. В то время как таблоиды продолжали ныть, что он обходится Соединенному Королевству невесть во сколько, его сбережения катастрофически таяли. Он купил и ремонтировал большой дом, чтобы счастливо жить в нем долгие годы со своими охранниками, купил пуленепробиваемый «шлюховоз». Купил на имя Элизабет и в подарок ей квартиру с двумя спальнями в Хэмпстеде, чтобы у нее был «публичный» домашний адрес. К счастью, Роберт Маккрам из издательства «Фейбер энд Фейбер» изъявил желание купить дом в

Излингтоне, и они быстро согласовали условия. Но из-за того что сорвалась продажа имевшегося у Роберта дома, сделка застопорилась. Роберт сказал, однако, что его домом интересуются и другие, и выразил надежду, что вскоре все осуществится.

Он в последний раз встретился с Данканом Слейтером. Слейтер уезжал в Малайзию — его назначили туда послом. Они проговорили три часа, и самым главным было то, что на «правительство Ее величества», по словам Слейтера, произвели впечатление те более громкие заявления, что он начал делать, особенно выступление в Колумбийском университете. «Херд отдает себе отчет в том, что у вас много сторонников, — сказал ему Слейтер. — Не все из них также и его сторонники, но их много, и игнорировать их невозможно». Министр иностранных дел понял, что дело Рушди нельзя замести под ковер. «Возможно, нам удастся добиться отмены вознаграждения за вашу голову», — сказал Слейтер. Что ж, было бы неплохо для начала, отозвался он. «Вместе с тем Форин-офис не радуют ваши планы выпустить эту книгу в мягкой обложке», — добавил Слейтер.

Через несколько дней, в день рождения Элизабет, они узнали, что у Анджелы Картер оба легких поражены раком. Ей было трудно дышать, и жить оставалось всего несколько недель. Алекс, ее красавец сын, все знал. Мысль о предстоящей утрате была невыносима, но, как говорила его мать, *чего нельзя вылечить, то надо вытерпеть*. Две недели спустя Анджела пригласила его на чай. Это была их последняя встреча. Войдя в знакомый старый дом в Клапаме, он обнаружил, что она поднялась ради него с кровати и оделась; сидя в кресле, прямая, она разливала чай как хозяйка дома. Он видел, каких усилий это ей стоило — и вместе с тем как много это для нее значило; они посидели за чаем, как положено, и шутили сколько могли. «Страховщики будут в ярости, — клохча, смеялась она, — я только-только заплатила трехлетний взнос по огромнейшему новому договору, и теперь им придется раскошелиться, так что у мальчиков все будет в порядке». «Мальчики» — это ее муж Марк, который, по своему обыкновению, сидел молча, и сын Алекс — его на чаепитии не было. Спустя недолгое время она почувствовала, что устала, он поднялся и поцеловал ее на прощание. Последним, что он от нее услышал, было: «Пока, береги себя». Через четыре недели ее не стало.

Его ближайшие друзья — Кэролайн Мичел, Ричард и Рут Роджерс, Алан Йентоб и Филиппа Уокер, Мелвин Брэгг и другие — задумали устроить по случаю третьей годовщины фетвы

публичное мероприятие с участием многих ведущих писателей. Согласились приехать Гюнтер Грасс, Марио Варгас Льоса, Том Стоппард, а те, кто этого не мог — Надин Гордимер, Эдвард Саид, — обещали прислать свои выступления в видеозаписи. О чем не было объявлено публично — это что он намеревался «неожиданно» появиться сам. Местом собрания решили сделать Стейшнерз-Холл — старый гильдейский зал, где много лет назад, в другой жизни, он получил Букеровскую премию.

Тому молодому писателю не доводилось выслушивать издательские отказы публиковать его в мягкой обложке, но золотые годы миновали. Он встретился с Питером Майером дома у Гиллона, и Майер наконец-таки высказался определенно. Нет, он не может назвать день, когда «Пенгуин» готов будет выпустить «Шайтанские аяты» в дешевом варианте, однако он лично дает гарантию, что книга в твердом переплете будет оставаться в печати; да, он согласен вернуть автору права на издание в мягкой обложке, чтобы можно было осуществить публикацию силами того или иного консорциума. Все старались вести себя вежливо и мягко, хотя момент был шокирующий. Вновь присутствовал юрист Майера Мартин Гарбус, и он высказал мнение, что в Америке, возможно, удастся образовать консорциум, возглавляемый Ассоциацией американских книготорговцев, американским ПЕН-центром и Гильдией авторов. На следующий день Гарбус позвонил Фрэнсис Д'Соуса и, не имея на то никаких полномочий, заявил, что *он* создает консорциум, и спросил ее, готова ли «Статья 19» стать издателем книги в Великобритании. (Позднее Гарбус заявил на страницах «Нью-Йорк таймс», что именно он стоял за созданием консорциума, выпустившего книгу; это утверждение не имело ничего общего с действительностью, и его пришлось немедленно опровергнуть.)

Его жизнь была похожа на ветреный день, когда по небу быстро бегут облака: сумрачно — вдруг пробивается солнце — и опять хмарь. На другой день после встречи с людьми из «Пенгуина» у Самин в отделении Флоренс больницы Нортвик-Парк в Харроу родилась вторая дочь, Мишка. Когда Мишка подросла, она стала замечательной пианисткой — принесла музыку в семью, которая, пока она не появилась, была до смешного немузыкальной.

Особый отдел сообщил ему, что, по последним разведданным, ячейки «Хезболлы» все еще активно пытаются выследить его с целью убийства. Уровень угрозы был прежним — то есть Абсурдно Высоким.

Эндрю встретился в Нью-Йорке с Джандоменико Пикко — переговорщиком из ООН, добившимся освобождения многих

заложников в Ливане, в том числе Джона Маккарти. О деле Рушди Пикко сказал: «Я им занимался и продолжаю заниматься». Через несколько месяцев человеку-невидимке удалось встретиться с мастером тайных переговоров лично, и Пикко дал ему совет, который он запомнил навсегда. «Когда ведешь такие переговоры, — сказал Пикко, — проблема в том, что надо терпеливо ждать, пока поезд не подойдет к станции, и при этом ты не знаешь, к какой именно станции он подойдет. Искусство переговоров в том, чтобы ждать на как можно большем количестве станций и, когда поезд подойдет, быть на месте».

В Берлине газета «Ди тагесцайтунг» начала кампанию «писем Салману Рушди». Письма предполагалось перепечатывать в двух дюжинах других газет в разных странах Европы, Северной и Южной Америки, и в числе выдающихся писателей, согласившихся участвовать, были Питер Кэри, Гюнтер Грасс, Надин Гордимер, Марио Варгас Льоса, Норман Мейлер, Жозе Сарамаго и Уильям Стайрон. Когда Кармел Бедфорд позвонила Маргарет Этвуд и попросила ее написать письмо, могущественная Пегги сказала: «Боже ты мой, ну что я могу написать?» На что Кармел, по-ирландски настырная, железным тоном ответила: «Напрягите воображение». И был один великий писатель — он не прислал письма, но ни с кем другим, пожалуй, телефонный разговор не стал бы таким волнующим. Это был Томас Пинчон, еще один знаменитый человек-невидимка, позвонивший, чтобы поблагодарить его за рецензию в «Нью-Йорк таймс бук ревью» на его роман «Вайнленд». На заботливый вопрос Пинчона, как у него дела, он ответил названием культового романа друга Пинчона, памяти которого тот посвятил свою «Радугу тяготения», — Ричарда Фаринья: «Так долго внизу, что низ уже кажется верхом». Пинчон предложил вместе поужинать, когда они оба одновременно окажутся в Нью-Йорке. «Боже ты мой, конечно, — отозвался он тоном влюбленного прыщавого юнца, — спасибо огромное».

В Германии и Испании создать консорциум издателей, книготорговцев, промышленных организаций и известных в книжном мире лиц было делом нетрудным. Всем хотелось принять участие в том, что они считали важным для защиты свободы выражения мнений. Но в Соединенных Штатах, как ни странно, дело обстояло совсем иначе. Эндрю посоветовался с членом Верховного суда США Уильямом Бреннаном, со знаменитым юристом по конституционным вопросам Флойдом Абрамсом и с бывшим генеральным прокурором Эллиотом Ричардсоном, и все они согласились, что издание «Шайтанских

аятов» в мягкой обложке — важный акт в духе Первой поправки к конституции США[136]. Но восемь ведущих американских издательств думали иначе. Один за другим крупнейшие деятели американского издательского мира отказывались признавать, что на кону здесь свобода выражения мнений, бормотали, что присоединиться к консорциуму значило бы подвергнуть «косвенной критике» Питера Майера и «Пенгуин». Сонни Мехта сказал ему: «Что, если люди просто-напросто не хотят этого делать, Салман? Что, если им хочется, чтобы это ушло куда-нибудь подальше?» Эндрю прослышал, что Ассоциация американских издателей, по существу, сколачивает неофициальный картель, с тем чтобы воспрепятствовать публикации, поддержать Питера Майера (который был у них на хорошем счету) и щелкнуть по носу его, Эндрю, ибо, если честно, они недолюбливали пресловутого Эндрю Уайли, да и клиент у него, считали они, был не подарок. Люди не отвечали на звонки Эндрю. Люди захлопывали двери у него перед носом. «Нью-Йорк таймс» написала, что усилия по созданию консорциума «терпят неудачу». Но Эндрю — как и Гиллон в Лондоне — был полон суровой решимости. «Мы можем напечатать эту книгу, — говорили они, — и мы ее напечатаем».

Лишь один издатель выбился из общей массы. Джордж Крейг из «ХарперКоллинз» обещал Эндрю, что поможет — но по-тихому. Он не мог единолично принять решение об участии «ХарперКоллинз» в консорциуме, но был готов финансировать напечатание первых ста тысяч экземпляров и предоставить художника для оформления обложки; кроме того, он объяснил Эндрю, как организовать типографские работы, складирование и распространение книги. Но даже Крейг нервничал: он не хотел, чтобы о его содействии стало известно. Так рождался план этой публикации — скрытно, исподтишка, похоже на то, как мужчины в низко надвинутых шляпах и широких пальто, сидя вокруг стола в подвале под голой лампочкой, замышляют преступление. Компания под названием The Consortium, Inc. была зарегистрирована в штате Делавэр. Консорциум состоял из трех человек — Гиллона Эйткена, Салмана Рушди и Эндрю Уайли. Ни единый американский — и тем более британский — издатель не присоединил свое имя официально и (за исключением Джорджа Крейга, честь ему и хвала) не оказал проекту финансовой или организационной поддержки. Эндрю и Гиллон вложили в проект свои деньги и договорились с автором о разделе прибыли, если она будет. «Мы делаем это, мы справимся, — сказал Эндрю. — Еще немного — и начнем».

Он купил квартиру для Элизабет, а вот Роберт Маккрам все еще тянул с приобретением дома на Сент-Питерс-стрит. Ремонт на Бишопс-авеню, 9, стоил очень дорого, и с деньгами становилось туго. Если, думал он, дом 30 по Хэмпстед-лейн почему-нибудь окажется «засвечен», он вряд ли сможет осилить еще одну дорогостоящую аренду. Придется ехать на военную базу.

Приближался День святого Валентина, и начали раздаваться обычные неприятные звуки. Фетву, само собой, подтвердили. Одна иранская газета назвала это постановление «божественным повелением побить дьявола камнями до смерти». Калим Сиддики, лакей иранцев на британской земле, подал голос из-под своего ядовитого гриба: «Рушди — враг ислама номер один». Но на этот раз кое-что прозвучало и с противоположной стороны. Сто пятьдесят европейских парламентариев подписали документ, выражающий «глубокое сочувствие автору, по-прежнему испытывающему трудности», и призывающий все страны, которые посылают депутатов в Европарламент, надавить на Иран с тем, чтобы он отказался от угроз. Дэвид Гор-Бут сказал ему, что Дуглас Хогг и министерство иностранных дел настроены «очень позитивно», но хотят дождаться апрельских выборов в иранский меджлис. После этого они постараются добиться, чтобы иранцы сняли предложение о награде за его убийство и формально «ограничили» фетву, объявив, что она действует только внутри Ирана. Это стало бы первым шагом к ее полной отмене.

Он немного приободрился. По крайней мере, правительство, реагируя на кампанию по его защите, выдает хоть какие-то новые идеи.

А потом произошло нечто удивительное. Фрэнсис и эксперт «Статьи 19» по Ближнему Востоку Саид Эссулами написали иранскому поверенному в делах письмо с просьбой встретиться и обсудить вопрос — и иранцы согласились. Утром 14 февраля 1992 года Фрэнсис и Саид встретились с иранскими представителями и обсудили с ними фетву и денежное вознаграждение. Иранцы очень мало в чем уступили, но у Фрэнсис создалось впечатление, что они явно поколеблены публичными выступлениями в защиту Рушди. Вместе с тем они настойчиво заявляли ей и Саиду, что британское правительство это дело не интересует. (Когда новость о встрече попала в прессу, иранцы пытались отрицать, что она имела место, а потом заявили, что никто из дипломатов в ней не участвовал — только некий «сотрудник нижнего звена».)

Протесты и заявления в его поддержку звучали в тот день по всему миру. Во Франции телеинтервью, которое он записал,

посмотрели семнадцать миллионов человек — это была наибольшая аудитория, какую, по данным опросов, когда-либо собирала во Франции любая телепрограмма, кроме главных вечерних новостей. Вечером он выступил в лондонском Стейшнерз-Холле перед писателями и друзьями. «Я отказываюсь быть „нелицом“[137], — сказал он им. — Я не собираюсь отказываться от права публиковать свою книгу». О событии сочувственно сообщили все британские газеты, кроме «Индепендент», которая не упомянула о нем вовсе.

16 февраля 1992 года умерла Анджела Картер. Услышав об этом по телефону, он стоял в гостиной и плакал. Потом позвонили из «Вечернего шоу» — попросили прийти и поговорить о ней. Выступать по телевидению было последним, чего ему в тот день хотелось, но Алан Йентоб сказал: «Анджела предпочла бы, чтобы это был именно ты»; он написал какие-то слова, и его отвезли в студию. Приехав, он предупредил телевизионщиков: «Только один дубль. Второго я просто не выдержу». Каким-то образом он прошел через это и вернулся домой. В переделанном виде этот текст потом появился в «Нью-Йорк таймс». Он только что окончил свое эссе про «Волшебника страны Оз», и ему вспомнилось, что именно Анджела первая рассказала ему про жуткое поведение в Голливуде карликов, игравших в фильме жевунов, про их пьянство и распутство. Особенно нравилась ей история про надравшегося жевуна, который застрял в унитазе. Он посвятил свою маленькую книжку ей. В отличие от старого обманщика Оза, Великого и Ужасного, она, как он написал и в газетной статье, была *очень доброй волшебницей и очень дорогим другом*.

Она оставила детальные распоряжения о погребальной церемонии, ему было велено принять в ней участие и прочесть стихотворение Эндрю Марвелла[138] «Капля росы»:

> Вот так, Душа, ты проблеском Луча,
> Святою каплей вечного Ключа
> Из человеческого светишься Цветка
> .....
> Являя скромным ясным ликом
> Большое Небо в Небе невеликом.

За день до кремации в таблоидах появились новые неприятные домыслы по поводу Элизабет и того, «во что она обходится стране». Ее фотографией они, однако, не располагали,

и полицейские предупредили его, что если они с Элизабет пойдут на церемонию, то папарацци выследят их и сфотографируют ее, что подвергнет ее добавочному риску. Он сказал на это, что они поедут по отдельности, и тут с лица Хелен Хэммингтон соскользнула сочувственная маска. Своими появлениями на публике, заявила она, он слишком сильно нагружает Особый отдел. «У всех остальных, кого вы берете под охрану, — заметил он, — имеется программа мероприятий на целый день, и вы не жалуетесь. А я хочу всего лишь попрощаться с другом, и вы мне говорите, что это слишком». — «Это верно, — сказала она, — но все остальные, кого мы охраняем, сделали или делают что-то ценное для страны. Я считаю, это не ваш случай».

В конце концов Элизабет не пошла на кладбище Патни-Вейл. Ни одного фотокорреспондента на церемонии не было. Полицейские ошиблись. Они не признались в этом, конечно. Как всегда, они перестраховались, действовали в расчете на наихудший сценарий. Но он не собирался жить в расчете на наихудший сценарий. Этим он превратил бы себя в их узника. Но он не был ничьим узником. Он не был ни в чем виновен и пытался вести жизнь свободного человека.

Майкл Беркли позднее рассказал ему, что люди, выходя в тот день из крематория после предыдущей кремации и видя множество полицейских, рассуждали об этом: «Похоже, умер какой-то важный человек». Майкл хотел было вставить реплику — мол, человек и правда важный, Анджела Картер, — но тут услышал: «Да не-е. Наверно, мразь какую-нибудь привезли из тюряги попрощаться с мамашей».

Рядовые охранники по-прежнему проявляли максимум дружелюбия, сочувствия и готовности помочь. Когда Зафар захотел показать свой класс регбиста, новый телохранитель. Тони Данблейн — залихватские усы в сочетании с твидовыми пиджаками, этакий пират лондонских пригородов, — повез отца и сына в Буши на полицейскую спортплощадку, и парни образовали там подобие линии трехчетвертных, чтобы Зафар мог побегать и попасовать регбийный мяч. (Зафар сдал вступительный экзамен в Хайгейтскую школу, прошел собеседование и, к великой радости и огромному облегчению его родителей, был зачислен. Он понимал, что для него это немалое достижение, и стал гораздо больше верить в себя, на что и надеялись его мать и отец.) Элизабет методично выбирала для нового дома мебель и обои, словно они были обычной парой, обустраивающей свое жилище, и Тони принес фотографии новейших, самых современных звуковых систем и телевизоров и пообещал, когда они въедут, все

установить и привести в рабочее состояние. А когда они с Робертом Маккрамом наконец подписали договор и у дома 41 по Сент-Питерс-стрит сменился собственник, полицейские доставили его в дом, который уже был не его, помогли собрать вещи, погрузили их в автофургон и отвезли в полицейское хранилище, где они лежали до его новоселья. Обычная человеческая доброта этих парней к человеку, попавшему, как выразился Тони Данблейн, в «хрен знает какую передрягу», неизменно трогала его.

Понадобилось почти пять часов, чтобы с помощью Элизабет упаковать вещи Мэриан. Среди них, как оказалось, были спрятаны все фотографии, сделанные им в 1986 году во время поездки в Никарагуа, о которой он написал короткую книгу-репортаж «Улыбка ягуара». И все негативы тоже. (Позднее Салли Райли, коллега Гиллона, которую Мэриан уполномочила забрать ее имущество, вернула еще кое-что — древнюю каменную голову, принадлежащую к цивилизации Гандхара, подарок ему от матери, и сумку фотографий — не из пропавших альбомов, а дубликаты и снимки, не вошедшие в альбомы. Хотя бы эти немногие памятки о его жизни до Мэриан были возвращены. Особенно его порадовали фотографии Зафара в младенчестве и раннем детстве. Но бóльшую часть утраченных снимков — те, что были вклеены в альбомы, — он так и не получил.)

Повседневные трудности продолжались — вернее, продолжалась та уродливая, деформированная повседневность, что навязала ему свои захватнические требования. Эндрю Уайли захотел купить новую квартиру; но когда в правлении жилищного кооператива узнали, что он литературный агент автора «Шайтанских аятов», ему отказали. Голос Эндрю, когда он сообщал ему об этом, пытаясь представить как нечто малосущественное, был как никогда удрученным. Хорошенькая награда за все, что он сделал — и продолжал делать — для своего автора! Впрочем, конец *этой* истории был счастливым. Получив отказ, Эндрю вскоре нашел другую квартиру, лучше той, и на сей раз кооператив согласился его принять.

И вдруг — бомба. Приехала Хелен Хэммингтон, и из-под бархатной перчатки показался железный кулак. После того как они с Элизабет поселятся в новом доме, полицейская охрана, сказала она, будет снята: заместитель помощника комиссара Джон Хаули не хочет рисковать безопасностью своих людей, поручая им охрану, которая из тайной неизбежно превратится в открытую.

Это было поразительное вероломство. С первого же дня

охраны его заверяли, что она продлится до тех пор, пока уровень угрозы, по данным разведки, не снизится до приемлемого. Этого не произошло. Кроме того, именно Хаули и его подручный Гринап предложили, чтобы он купил себе жилье: мол, время для этого настало. Они особо заверили его: если будут установлены адекватные системы безопасности, охрану можно будет продолжать сколько необходимо, пусть даже всем станет известно, что это его дом. Они вынудили его купить обособленное жилье с передним двориком и двумя воротами, одними электронными, другими открываемыми вручную (на случай отключения электричества), с внутренним гаражом, снабженным автоматически управляемой дверью, снаружи деревянной, внутри из пуленепробиваемого металла; его вынудили установить дорогие пуленепробиваемые окна и системы сигнализации, но самое главное — ему пришлось купить дом, в два с лишним раза более вместительный, чем нужно было им с Элизабет, с тем чтобы четверо полицейских — два телохранителя и два шофера — могли в нем ночевать и пользоваться собственной гостиной. На то, чтобы удовлетворить всем требованиям, он потратил огромные деньги и огромные усилия, и теперь, когда все это потрачено и он привязан к месту, ему говорят: «Ну, пока, дружище, мы пошли». Впечатляющая аморальность.

Причиной, он знал, была стоимость — стоимость и таблоидный менталитет, говоривший, что он не заслуживает тех расходов, какие необходимы, чтобы охранять его как следует, открыто — так же, как всех остальных.

Некоторые обстоятельства, касающиеся фетвы, стали к тому времени известны — не общеизвестны, но известны в кругу тех, кому надо было о них знать, включая его самого и заместителя помощника комиссара Хаули. Угроза была не теоретической. В иранском министерстве разведки имелась специальная оперативная группа, чьей задачей было разработать и осуществить план исполнения приказа Хомейни. У оперативной группы было кодовое название, и имелась цепочка лиц, которые должны были дать добро. Разработанный план надо было представить на одобрение начальству разных уровней, включая президента, а последнее слово было за религиозным руководством. Таков был обычный для Ирана образ действий. Оперативная группа, расправившаяся с Шапуром Бахтияром, почти наверняка действовала именно таким образом. То, что Хаули, зная то, то он знал, и так скоро после убийства Бахтияра был готов снять охрану, многое говорит о его образе мыслей. *Мы ни разу никого не потеряли*, гордо заявляли его подчиненные, но

Хаули заявил ему о чем-то ином. *Если мы потеряем вас — ничего страшного*. Ощущение было… так себе.

Он сказал Элизабет, что она должна будет подумать о своей безопасности. Если полиция уйдет — нет слов, какой опасной может стать их жизнь. «Я тебя не брошу», — ответила она.

Каким-то образом он ухитрялся понемногу работать. Наконец составил более или менее осмысленный план «Прощального вздоха Мавра». На это ушло много времени. Все, что ему теперь было нужно, — это внутреннее спокойствие, чтобы написать роман.

Журналист Скотт Армстронг пригласил его выступить в конце марта на Форуме свободы в Вашингтоне, и он хотел поехать. Представлялось вероятным, что удастся организовать в Вашингтоне встречи с крупными американскими политиками и журналистами. Он решил использовать эту площадку, чтобы выразить сомнение в готовности британского правительства заботиться о его безопасности, — хотел начать борьбу за себя там, где скорее можно рассчитывать на сочувственное отношение СМИ. Эндрю пообещал сделать все, чтобы к началу форума были готовы первые экземпляры «Шайтанских аятов» в мягкой обложке. Такой ответ цензорам форум, можно надеяться, примет с воодушевлением. Работа над изданием наконец-таки вышла на типографскую стадию. Причиной отсрочки был «Пенгуин», почему-то до последнего тянувший с подписанием документа о возвращении прав, а затем начавший утверждать, что знаменитая ныне обложка с двумя борющимися падающими фигурами героя и демона — его достояние (на самом деле картинка была взята из старинной индийской миниатюры «Рустам убивает Белого Дива» — иллюстрации к «Шахнаме» («Книге царей»), — оригинал которой ныне хранится в альбоме Клайва в музее Виктории и Альберта). В конце концов «Пенгуин» перестал совать палки в колеса, проставил необходимые подписи, и типографские машины заработали. После долгих лет ожидания дешевое издание книги выходило в свет.

Крайне неохотно Королевские ВВС согласились взять его на свой регулярный рейс до аэропорта Даллеса и обратно — еще один раз, последний. В дальнейшем такая услуга ему предоставляться не будет. Кроме того, на сей раз с него потребовали плату не только за себя, но и за двоих сотрудников службы охраны ВВС, которым предстояло сопровождать его в Америку. Покорно, не имея выбора, он раскошелился. Он часто вспоминал строчку из песни Джона Прайна: *Есть дырка в папиной руке, туда все денежки текут…* Фетва была его героином. Она

заставляла его тратить все, что он зарабатывал, и, хотя могла в конце концов его убить, не давала даже кайфа.

Перед его отъездом в Америку Толстый Джек от имени ребят попросил его «на два слова». Их всех беспокоили предлагавшиеся изменения в статусе подразделения «А», которые, будь они осуществлены, лишили бы их членства в Особом отделе и права именоваться детективами. Некоторые из видных тори, которых они охраняли, старались воспрепятствовать этим переменам, но предстояли всеобщие выборы — и что, если лейбористы вернутся к власти? Согласно последним опросам, Лейбористская партия опережала Консервативную на три процента. Не замолвит ли он за них словечко своему приятелю Нилу Кинноку, если тот станет премьером? «Честно говоря, — сказал Джек, — в лейбористском лагере у нас только вы и есть».

Будильник прозвонил в полшестого утра, и они, скрипя пружинами, встали с кровати. Охранники сначала доставили Элизабет в Суисс-Коттедж, чтобы она смогла оттуда добраться поездом до аэропорта Хитроу, затем повезли его через приятные для взора холмы Котсуолдс, окутанные рассветным туманом, на базу ВВС Брайз-Нортон. Так началась его вторая за три года заграничная поездка.

В аэропорту Даллеса его встретили сотрудники частной охранной фирмы, нанятые Форумом свободы, как он потом узнал, за баснословные 80 тысяч долларов. Начальник приданной ему команды, добродушный парень, спросил, нельзя ли будет получить экземпляры нового издания книги для него самого и его людей. Всего пятьдесят с лишним экземпляров. Это внушало тревогу: неужели команда такая большая? «Конечно можно, — ответил он охраннику. — Вы их получите».

Он встретился с Элизабет и Эндрю в центре для конференций под названием «Уэстфилдс», в шести милях от аэропорта Даллеса. А интервью ему там предстояло давать в Виндзорских апартаментах. Дом в Бомбее, в котором он вырос, назывался «Виндзор-вилла» и принадлежал к жилому массиву Уэстфилд-эстейт. Совпадение заставило его улыбнуться. Последовали дни, наполненные долгими интервью, и все журналисты были взволнованы и даже наэлектризованы детективной, таинственной атмосферой. Их привозили на место охранники, причем они не знали заранее, куда едут. Острые ощущения! Большинство СМИ интересовало одно — фетва. Только Эстер Б. Фейн из «Нью-Йорк таймс» захотела поговорить с ним о его сочинительстве и о том, как ему удается писать в таких чрезвычайных условиях.

Скотт Армстронг, плотный, деловитый, вашингтонский

инсайдер до мозга костей, сообщил плохую новость: встреча с конгрессменами, намеченная на завтра, отменена из-за вмешательства, по его сведениям, не кого иного, как госсекретаря Джеймса Бейкера. Почему Бейкер так поступил? Ответ стал вырисовываться в последующие дни, когда администрация Буша-старшего ответила отказом на все просьбы о встречах и уклонилась от заявления на ответствующую тему. Пресс-секретарь Белого дома Марлин Фицуотер сказал: «Он всего лишь писатель, совершающий авторское турне».

Эндрю вышел из себя и обвинил Скотта, что тот их надул. Разговор пошел на повышенных тонах. Скотта взбесили слова Эндрю, но он сделал трезвое предложение: отложить выяснение отношений на потом и подумать, как быть в сложившейся ситуации. Ужинали они с Майком Уоллесом и еще несколькими журналистами. Чтобы снискать сочувствие этих видных персон журналистского мира, они по секрету сообщили им о подлинном составе консорциума, о враждебности американской администрации и о том, что британцы могут снять охрану.

Пришло время выступить. Его бордовый полотняный костюм был к тому времени заметно помят, но времени переодеться не осталось. Он был похож на чудаковатого профессора, но это его не слишком волновало. Его сильней заботило, что он скажет, чем как он выглядит. Язык политических речей не был ему особенно близок. Он любил форсировать литературный язык, заставлять его значить как можно больше, любил прислушиваться к значению не только самих слов, но и их музыки; но сейчас от него ожидали, что он будет говорить без затей. *Скажи им прямо, что у тебя на уме,* посоветовали ему; *объяснись, оправдайся, не прячься за художественным вымыслом.* Если писатель предстает оголенным, если языковое богатство совлечено с него как одежда, — существенно ли это? Да, существенно, ибо красота задевает струны, запрятанные глубоко в сердце, открывает двери в обиталище духа. Красота существенна, ибо красота — это радость, а радость была первопричиной того, что он делал, радость владения словами, радость, какую испытываешь, используя их, чтобы рассказывать истории, творить миры, петь. Но сейчас на красоту смотрели как на роскошь, без которой он должен обходиться; как на роскошь и как на ложь. Истина была в безобразии.

Он сделал все, что было в его силах. Попросил у американцев помощи и поддержки, призвал Америку проявить себя как «подлинного друга свободы», говорил не только о свободе писать и публиковать, но и о свободе читать. Говорил о своих опасениях

из-за намерения британских властей бросить его на произвол судьбы. А затем объявил, что после многих злоключений «Шайтанские аяты» в мягкой обложке наконец выходят в свет, и продемонстрировал всем экземпляр. Книга была не слишком привлекательного вида. На отвратительной золотой обложке — жирные буквы, черные с красным, что напоминало нацистские издания. Но книга существовала, и это чрезвычайно радовало. Через три с половиной года после выхода первых экземпляров романа процесс публикации был завершен.

В числе слушателей были его друзья-журналисты — Прафуль Бидван из «Таймс оф Индиа» и Антон Харбер, чья «Уикли мейл» в 1988 году пыталась пригласить его в Южную Африку. Но задержаться и поболтать возможности не было. Охрана говорила об «опасности стать мишенью для снайперов». К зданию напротив «имели отношение ливийцы». *Как же, как же, полковник Каддафи, мой старый друг,* подумал он. И дал себя увезти.

Элизабет, которую «взяла на попечение» Барбара, жена Скотта, сказала ему, что охранники не пустили ее в конференц-зал и заставили сидеть в гараже. Она отреагировала на это сдержанно, но теперь пришел его черед взбеситься. Затем их отвезли в гостеприимный дом, где им предстояло ночевать, — к чрезвычайно словоохотливому семидесятипятилетнему Морису Розенблатту, влиятельному либеральному лоббисту, сыгравшему в свое время важную роль в падении сенатора Джозефа Маккарти. Пока Розенблатт произносил свои монологи, Эндрю все еще кипел от ярости из-за отмены встречи с конгрессменами. Потом позвонил Скотт, и Эндрю, взяв трубку, набросился на него. «Я потом вам объясню, какой вы мудак», — отмахнулся от него Скотт и позвал к телефону мистера Рушди, которому сказал: «Перед Эндрю я не обязан оправдываться, а перед вами обязан». Пока они говорили, по другой линии позвонил Питер Гэлбрейт, высокопоставленный сотрудник сенатского комитета США по международным отношениям, — с ним он не был знаком, но знал, что тот сын Джона Кеннета Гэлбрейта[139] и — мысль об этом настраивала на игривый лад — в университетские годы был возлюбленным Беназир Бхутто. Встреча, сообщил Гэлбрейт, все-таки состоится. Это будет ланч в особой сенаторской столовой, в роли хозяев — сенаторы Дэниел Патрик Мойнихен и Патрик Лихи, придет много других сенаторов. Напряжение стремительно падало. Эндрю успокоился и извинился перед Скоттом, Скотт почувствовал себя реабилитированным, все испытали большое облегчение. Спать легли вымотанные, но в гораздо лучшем настроении.

В Вашингтоне они раньше не были, и на следующий день они

с Элизабет стали впервые осматривать цитадели и крепости американской мощи. Потом Элизабет осталась ходить по музеям Смитсоновского института и Ботаническому саду, а он поехал на Капитолий, где его встретил сенатор Лихи — большой, похожий на добродушного дядюшку и с медвежьей лапой. Здесь же — сенаторы Саймон, Лугар, Крэнстон, Уоффорд, Пелл и великий человек собственной персоной — Дэниел Патрик Мойнихен, высокий, точно небоскреб, как и подобает сенатору от штата Нью-Йорк, в галстуке-бабочке и с профессиональной плутоватой улыбкой. Они внимательно выслушали его рассказ о ситуации, а потом первым заговорил сенатор Саймон — сенат, заявил он, непременно должен принять резолюцию в его поддержку. Вскоре они все принялись выдвигать предложения, и конечно это было сильным переживанием — видеть, как эти люди сплачиваются вокруг его знамени. Под конец ланча (салат с курицей, ни капли алкоголя) слово взял Мойнихен. Они с Лихи, сказал он, могли бы составить и предложить сенату проект резолюции. Это был громадный шаг вперед.

Эндрю позаботился о том, чтобы каждый участник встречи получил экземпляр «Аятов» в мягкой обложке, но тут сенаторы, к его изумлению, стали в немалом количестве доставать его более ранние книги и просить надписывать их для них самих и их родных. Надписывая свои книги читателям, он редко испытывал сильные переживания, но на сей раз был поражен.

А потом — еще один сюрприз. Сенаторы привели его в комнату перед залом заседаний комитета по иностранным делам, и там дожидалась большая толпа журналистов и фотокорреспондентов. Скотт «вкалывал как зверь», и Эндрю следовало перед ним извиниться. Что он и сделал позднее в тот день. «Вообще-то я такими вещами не занимаюсь, — сказал Скотт. — Я журналист, а не публицист. И обычно моя цель — не поддержать секретность, а нарушить ее, вывести что-то на чистую воду». Так или иначе, добродушие к нему вернулось.

И теперь автор «Шайтанских аятов», «всего лишь писатель, совершающий авторское турне», давал пресс-конференцию в самом сердце американской мощи, в то время как сенаторы стояли позади него как группа поддержки, и у каждого в руках был экземпляр книги в мягкой обложке. И если бы они начали подпевать хором: *ду-уоп, шанг-а-ланг,* это не было бы слишком уж удивительным в такой день сюрпризов.

Он говорил, что битва, которую он ведет, — лишь одно сражение в большой войне, что во всем мусульманском мире творческие и интеллектуальные свободы находятся под угрозой; он поблагодарил собравшихся сенаторов за поддержку.

Мойнихен, взяв микрофон, сказал, что считает за честь стоять рядом с ним. Да, это вам не Англия. Там политики о нем такого не говорили.

Поужинали — в ресторане! — со Скоттом и Барбарой Армстронг и Кристофером и Кэрол Хитченс. Кристофер сказал, что Мэриан живет в Вашингтоне, но вряд ли сделает какое-нибудь враждебное заявление — это повредило бы ее «связям с нужными людьми». Она и правда хранила молчание, что было настоящим благом. На следующий день Чарли Роуз[140] записал часовое интервью с ним, а во второй половине дня он выступил у Джона Хокенберри[141] по Национальному общественному радио в часовой программе со звонками слушателей. Позвонила девятилетняя Эрин: «Мистер Рушди, вы с удовольствием пишете свои книжки?» Он ответил, что с огромным удовольствием писал «Гаруна». «Ну конечно! — сказала Эрин. — *Эту* книгу я читала. *Эта* книга *хорошая*». Затем позвонила мусульманка Сьюзен, она много плакала в эфире и, когда Хокенберри спросил ее, считает ли она, что мистера Рушди следует убить, сказала: «Мне надо посмотреть, что книги об этом говорят».

Скотт обратился за помощью к своему другу Бобу Вудварду[142] и, по его словам, был потрясен тем, «как близко к сердцу Боб все это принял». Вудвард организовал кое-что поистине замечательное: чаепитие у легендарной Кэтрин Грэм, владелицы «Вашингтон пост».

В машине по дороге к дому миссис Грэм он почувствовал такую усталость, что почти уснул. Но адреналин — полезнейший гормон: стоило ему предстать перед великой дамой, как он почувствовал прилив бодрости. На чаепитие пришла и публицистка-колумнистка Эми Шварц. Ему сказали, что она писала о нем в редакционных статьях и не всегда отзывалась хорошо. Был там и Дэвид Игнейшес, редактор зарубежного отдела газеты; он хотел поговорить о приближающихся выборах в Иране. Дон Грэм, сын миссис Грэм, был, по словам Скотта, «на сто процентов на нашей стороне».

Он говорил львиную долю времени. Журналисты из «Пост» задавали вопросы, он отвечал. Миссис Грэм почти все время молчала — но на его прямой вопрос, как она думает, почему американская администрация действовала так бесцеремонно, ответила: «Это чрезвычайно странное правительство. В нем очень мало центров влияния. Бейкер — один из них. Он непонятный человек, создается впечатление, что он всегда гнет какую-то свою линию». Игнейшес, отзываясь на к кие-то слова Вудварда, заметил: «Наилучший доступ к администрации — пожалуй, через Барбару Буш». После встречи он сказал Скотту, что хотел бы

надеяться, что «Пост» теперь его поддержит. «Кэй Грэм не позвала бы вас к себе, — сказал Скотт, — не будь решение о поддержке уже принято». Так что тут, можно считать, дело было в шляпе. «Нью-Йорк таймс» уже дала понять, что поддержит его, если это сделают другие газеты. Если Грэм на его стороне, то будет и Сульцбергер[143], и Эндрю считал, что сумеет сагитировать «Доу Джонс»[144], а Скотт полагал, что сможет уговорить «Ганнет»[145]. Он намеревался составить заявление из двух частей, которое бы все они подписали: во-первых, о поддержке романа в мягкой обложке, во-вторых, о поддержке его автора и об осуждении фетвы; в конце должно было прозвучать требование к американской администрации присоединиться к кампании поддержки.

«Нью-Йорк таймс» даже не стала ждать этого подписания. Словно бы задетая за живое его встречей с ее вашингтонскими конкурентами, «Таймс» на следующее утро после его чаепития с «королевой Кэй» опубликовала редакционную статью, где раскритиковала Белый дом и Госдепартамент за самоустранение: «Это, увы, соответствует той нерешительности, что официальные лица проявляли все три года, происшедшие с тех пор, как аятолла Хомейни осудил „Шайтанские аяты“ как кощунственную книгу и призвал покарать смертью ее автора и издателей. Мистер Рушди все это время скрывался. Его японский переводчик был заколот до смерти, его итальянский переводчик был ранен ножом. Тем временем во Франции и Швейцарии произошли убийства эмигрантов — противников иранского режима. Что это, если не государственный терроризм? Тем не менее отклик Запада был постыдно робким… Если западные государства совместно не предостерегут Иран от того, что, продолжая экспортировать и поощрять терроризм, он не получит торговых отношений, которых жаждет, риску подвергнется нечто куда большее, нежели жизнь мистера Рушди». Государства действуют, исходя из собственных интересов. Чтобы Иран отменил фетву, необходимо показать ему, что сделать это — в его интересах. Вот что он сказал миссис Грэм, а до нее — Майку Уоллесу. Теперь эту же мысль высказала «Нью-Йорк таймс».

Элизабет отвезли в аэропорт, а через несколько часов и он покинул Америку на военно-транспортном самолете. Блестящая жизнь кончилась. В Лондоне полицейские не хотели везти его на вечер памяти Анджелы Картер, проходивший в Брикстоне в кинотеатре «Ритци». Он точно упал с неба на землю, и падение было болезненным. После долгих препирательств они все же уступили. Элизабет, как обычно, поехала отдельно. «Ритци» с его дешевым поистрепавшимся шиком выглядел идеальным местом

для Анджелы. На сцене был установлен большой трехстворчатый экран, который очень ярко расписала Коринна Саргуд, изобразив попугаев. И стоял большой букет цветов. На стенах — панели с кадрами из фильмов. Нуруддин Фарах обнял его и сказал: «Хочу познакомить тебя с женщиной, с которой у меня очень серьезные отношения». Он сказал в ответ: «Хочу познакомить тебя с женщиной, с которой *у меня* очень серьезные отношения». Ива Файджес[146] тоже его обняла: «Как приятно не по телевизору на тебя смотреть, а потрогать!» Выступила Лорна Сейдж[147] — она великолепно описала смех Анджелы: рот открывается широко-широко, потом минуту-две она безмолвно трясется, и только потом вылетают звуки. Лорна познакомилась с Анджелой, прочитав ее «Героев и злодеев», и при встрече горячо расхвалила роман. «Я, видимо, говорила как-то странно, — сказала она, — потому что Анджела слушала-слушала, потом распрямилась и сказала: „Вы знаете, я не лесбиянка“».

После церемонии полицейские заставили его немедленно уйти. Кларисса и Зафар тоже там были, но ему не позволили подойти к ним и поздороваться. «Я пошел за тобой, но ты уже уехал», — сказал ему потом Зафар. Мальчик последовал за отцом в боковую дверь, но успел только увидеть, как его увозят.

Дом 41 по Сент-Питерс-стрит опустел, почти вся мебель была либо отдана на хранение, либо подарена Самин или Полин, либо отправилась в новую квартиру Элизабет близ Хэмпстед-Хита. Роберт Маккрам забрал ключи, и сделка была завершена. Очередная глава жизни окончилась.

9 апреля, в день всеобщих выборов, Мелвин Брэгг и Майкл Фут устроили в доме Мелвина в Хэмпстеде совместную вечеринку. Вначале настроение у всех было приподнятое — ожидалось, что долгим годам «безобразного правления» тори придет конец. Но ближе к ночи стало ясно, что Киннок проиграл. Он никогда раньше не видел, чтобы вечеринка умирала так быстро. Он ушел рано, потому что невыносимо грустно было оставаться среди разбитых надежд.

Через неделю Хелен Хэммингтон попросила его о новой встрече. Он сказал ей, что хочет, чтобы она прошла в присутствии его юриста, и на Хэмпстед-лейн привезли его адвоката Берни Саймонса. Со смущенным видом, испытывая явную неловкость, Хелен Хэммингтон сказала ему, что планы на его счет «были пересмотрены». Из ее слов стало ясно, что она и стоявший за ней Хаули полностью сдали позиции. Его будут охранять до тех пор, пока не снизится уровень угрозы. Если новый дом окажется «засвечен», это их не остановит.

Он неизменно потом считал, что за этот маленький успех ему надо благодарить Америку — ее сенаторов, ее газеты. Америка не позволила британцам отказаться от его защиты.

VI. Почему невозможно сфотографировать пампасы

Во время давней поездки в Михас — в Михас, где тридцать лет прятался от Франко Мануэль Кортес, сначала живший в нише за гардеробом, а потом, когда семье понадобилось переехать в другой дом, переодевшийся старухой, чтобы пройти по улицам городка, мэром которого он был, — он познакомился с фотографом немецкого происхождения Густаво Торлихеном, высоким, красивым мужчиной с орлиными чертами лица и гладко зачесанными седыми волосами, который рассказал ему три хорошие истории. Поскольку Густаво раньше жил в Южной Америке, среди населявших Михас эмигрантов ходили слухи, что он, вероятно, бывший нацист. На самом деле он уехал из Германии в Аргентину в 30-е годы, спасаясь от нацистов. Однажды в Буэнос-Айресе его позвали сфотографировать Эву Перон. «Вы попали в число четырех фотографов,, — сказал ему по телефону помощник Перон, — которых решено удостоить этой чести». Он собрался с духом и ответил: «Спасибо за честь, но, когда вы зовете меня фотографировать, вам следует звать меня одного, а в сложившихся обстоятельствах я должен с благодарностью отклонить приглашение». Молчание — а потом помощник проговорил: «За такие слова вас могут вышвырнуть из Аргентины». — «Если меня могут за это вышвырнуть из страны, — сказал Густаво, — она не стоит того, чтобы в ней оставаться». Он положил трубку, пошел в спальню и сказал жене: «Собирай вещи». Через двадцать минут помощник позвонил снова: «Эвита ждет вас завтра в одиннадцать утра, одного». После этого он стал личным фотографом как Эвы, так и Хуана Перона, и знаменитую фотографию Эвиты на смертном одре сделал, по его словам, он.

Это первая его хорошая история. Вторая — о том, как он проводил время в Ла-Пасе с молодым Че Геварой, который в своем «Дневнике мотоциклиста» назвал его «великим фотохудожником». Третья — как он, молодой, начинающий фотограф. был в буэнос-айресском книжном магазине и узнал в намного старшем человеке, вошедшем в магазин шаркающей походкой, Хорхе Луиса Борхеса. Он собрал всю свою храбрость, подошел к великому писателю и сказал, что работает над альбомом фотографий, который должен стать портретом Аргентины, и будет чрезвычайно горд, если Борхес напишет предисловие. Попросить слепого человека написать предисловие к книге образов было, он понимал, сумасшедшим поступком, но

он все равно попросил. Борхес сказал ему: «Пойдемте прогуляемся». Они шли по городу, и Борхес описывал здание за зданием с фотографической точностью. Но время от времени оказывалось, что на месте старого здания построено новое. Тогда Борхес останавливался и говорил: «Опишите его. Начните с первого этажа и двигайтесь вверх». Говоря, Густаво видел, как Борхес мысленно возводит новое здание и ставит его на нужное место. Под конец прогулки Борхес согласился написать предисловие.

Торлихен подарил ему экземпляр своей книги «Аргентина», и, хотя она, как и почти все его имущество, сейчас хранилась где-то на складе, он помнил, что написал в ней Борхес о границах возможностей фотографии. Снимок показывает лишь то, что фотограф видит перед собой, и поэтому фотография не способна передать суть великих аргентинских пампасов. «Дарвин отметил, и Хадсон подтвердил, — пишет Борхес, — что эта равнина, одна из знаменитейших равнин на свете, не кажется огромной, если оглядывать ее с земли или с седла, ибо кругозор ограничен зрением и не превышает трех миль. Иными словами, огромность пампасов — не в том или ином из их видов (которые только и может запечатлеть фотограф), а в воображении путешественника, который вспоминает о днях пути и предвидит, что впереди таких дней еще немало». Лишь ход времени выявляет необъятность пампасов, а фотограф бессилен передать длительность. На фотоснимке пампасы — это всего-навсего обширное поле. Снимок не ухватывает сводящего с ума однообразия движения вперед, и вперед, и вперед, и вперед через эту неизменную, бесконечную пустоту.

Тянулся четвертый год его новой жизни, и он очень часто чувствовал себя этим воображаемым борхесовским путешественником, увязшим в пространстве и времени. Фильм «День сурка» тогда еще не вышел на экраны, но, посмотрев его, он остро ощутил родство с его главным героем Биллом Марри. В его жизни тоже каждый шаг вперед аннулировался шагом назад. Иллюзия перемены рассеивалась, когда он обнаруживал, что ничего не изменилось. Надежду стирало разочарование, хорошую новость — плохая. Колесо жизни крутилось и крутилось на одном месте. Знай он, что впереди еще шесть лет изоляции, протянувшиеся далеко за горизонт, он вполне мог сойти с ума. Но он мог видеть только до кромки обзора, то, что лежало за ней, оставалось тайной. Он все внимание уделял близлежащему, а о бесконечности старался не думать.

Друзья говорили ему потом, что видели, как ноша медленно раздавливает его, заставляет выглядеть старше своих лет. Когда

она наконец была с него снята, в некотором роде вернулась молодость, словно, дойдя до края бескрайности, он каким-то образом заставил время пойти вспять, к точке, где его затянуло в воронку. На шестом десятке он выглядел моложе, чем на пятом. Но до шестого десятка еще оставалось пять лет. И за эти годы у многих его история начала вызывать неудовольствие, раздражение, скуку. Эпоха не способствовала терпению — то была эпоха быстрых перемен, когда внимание ни на чем не задерживалось долго. Он стал источником досады и для бизнесменов, которым его история мешала развивать торговлю с Ираном, и для дипломатов, пытавшихся наводить мосты, и для журналистов, считавших новостью лишь то, о чем можно сказать что-нибудь новое. Говорить, что главное в его истории — неизменность, нестерпимая нескончаемость, значило говорить то, чего люди не могли или не хотели услышать. Что он каждое утро просыпается в доме, полном вооруженных чужаков, что он не может выйти за дверь купить газету или выпить чашку кофе, что большинство его друзей и даже родных не знают его адреса, что он без согласия чужаков не имеет права ничего сделать, никуда пойти; что о вещах, которые для других сами собой разумеются, — например, о путешествиях самолетом, — ему каждый раз надо вести переговоры; что всегда где-то рядом висит угроза насильственной смерти, угроза, которая, по словам профессионалов, занимающихся оценкой таких ситуаций, не уменьшилась ни на йоту… скучно. Что, он все еще не проехал свои пампасы, где каждый день неотличим от предыдущего? *Эту* историю все уже слыхали, и слушать по новой желания не испытывали. *Расскажи нам что-нибудь новенькое,* думали все, *а не можешь — пожалуйста, уходи.*

И не было смысла втолковывать миру, что он ошибается. Бесполезно. Поэтому — хорошо, будет вам новая история, если вы ее хотите. Довольно невидимости, молчания, робости, оправданий, чувства вины! Человек-невидимка, согласившийся молчать, становится пустым сосудом, который другие могут наполнять своими предрассудками, своими программами действий, своим гневом. Борьба с фанатизмом нуждается в зримых лицах, в громких голосах. Он больше не будет вести себя тихо. Он постарается стать человеком слышимым и видимым.

Нелегко это — быть вытолкнутым на такую широкую сцену. Понадобилось время, чтобы сориентироваться, чтобы понять, как вести себя на таком ярком свету. Он промахивался и оступался, оглушенно умолкал, говорил не то. И все же ясности прибавилось. В Стейшнерз-Холле он отказался быть «нелицом». Америка — сначала Колумбийский университет, потом

Вашингтон — позволила ему начать путь к тому, чтобы снова обрести лицо. Роль бойца достойнее, чем роль жертвы. Да, он примет бой. Вот в чем будет теперь заключаться его история.

Если он когда-нибудь захочет написать книгу об этих годах, как это сделать? Он может, само собой, изменить имена — может назвать этих людей «Хелен Хэммингтон», «Рэб Конноли», «Пол Топпер», «Дик Вуд», «мистер День» и «мистер Утро», — но как дать людям почувствовать, на что похожи были эти годы? Он начал обдумывать проект под условным названием «Инферно» — попытку преобразить свою историю в нечто иное, нежели простая автобиография. В галлюцинаторный портрет человека, чья картина мира оказалась разбита. Как у всех, у него была в голове более или менее осмысленная картина мира. Он жил в этой картине и понимал, что в ней к чему, как ему в ней быть, как находить дорогу. И вдруг фетва, точно огромным молотом, разбила картину, и он очутился в абсурдной, бесформенной и аморальной вселенной, где опасность исходила отовсюду, а осмысленность была утрачена. Герой этой истории отчаянно пытался восстановить картину мира, но куски ломались у него в руках и резали ладони до крови, как осколки зеркала. В умопомрачении, окруженный этим темным лесом, человек с кровоточащими ладонями — его двойник — пробирался к свету сквозь инферно, сквозь ад, минуя бесчисленные его круги, личные и общественные, посещая тайные миры ужаса, проникаясь великими запретными мыслями.

Через некоторое время он отказался от этой идеи. Единственное, чем его история интересна, — это тем, что она произошла на самом деле. Она не будет представлять интереса, если превратится в вымысел.

Ему приходилось трудно, это верно, но, вопреки страхам друзей, он не был раздавлен. Он научился стоять за себя, а наставниками его в этом были бессмертные авторы прошлого. В конце концов, он же был не первый писатель, кому угрожали, кого изолировали, кого шельмовали за его творчество. Он думал о великом Достоевском, стоявшем перед расстрельной командой, а затем, после смягчения приговора, о котором объявили в последнюю минуту, отбывшем четыре года каторги; он думал о Жене, безостановочно писавшем в тюрьме свой яростный гомоэротический шедевр «Богоматерь цветов». Французским переводчик «Шайтанских аятов», не желая указывать свое настоящее имя, взял псевдоним А. Назье — в честь великого Франсуа Рабле, который опубликовал свою первую книгу «Пантагрюэль» под вымышленным анаграмматическим именем «Алькофрибас Назье»[148]. Рабле тоже был осужден клерикалами:

католической церкви его сатирическая необузданность встала поперек горла. Но его защитил король Франциск I на том основании, что негоже подавлять такой талант. В ту эпоху художник мог получить королевскую защиту как *мастер своего дела*. С тех пор времена измельчали.

Его Ошибка открыла ему глаза, прояснила его мысли и избавила его от всякой уклончивости. Он увидел растущую опасность загодя, потому что ощутил ее страшную деморализующую силу у себя в груди. На какое-то время он отказался от своего языка и вынужден был изъясняться, запинаясь и со многими ужимками, языком ему чуждым. Компромисс уничтожил того, кто на него согласился, и нисколько не задобрил бескомпромиссного врага. Выкрасив крылья черной краской, в черного дрозда не превратишься, но способность летать потеряешь — как чайка, окунувшаяся в разлитую нефть. Самая большая опасность, порождаемая растущей угрозой, была в том, что хорошие люди могли совершать интеллектуальное самоубийство и называть это «миром». Хорошие люди могли поддаваться страху и называть это «уважением».

Он увидел скапливающихся птиц до того, как орнитология террора заинтересовала кого-либо еще. Он был проклят, подобно Кассандре: его не слушали, а если и слушали, то винили в том, о чем он вещал. Змеи облизали ему уши, и он стал слышать будущее. Нет, Кассандрой он не был — он не был прорицателем. Просто он улавливал звуки с правильной стороны, смотрел туда, откуда надвигалась буря. Но трудно было заставить людей повернуть головы. Никто не хотел знать то, что знал он.

Мильтон в своей «Ареопагитике» пел под пронзительные крики черных птиц: *Кто уничтожает хорошую книгу, убивает самый разум… Дайте мне поэтому — что выше всех свобод — свободу знать, свободу выражать свои мысли и свободу судить по своей совести.* Старинные тексты о свободе он читал давно, и тогда они казались ему прекрасными, но теоретическими. Зачем ему была теория свободы, когда он располагал свободой как таковой? Ныне эти слова уже не звучали для него как нечто умозрительное.

О писателях, чей голос всегда был ему наиболее внятен, он думал как о последователях некоей великой традиции, отличной от ливисовской[149]; это были писатели, понимавшие нереальность «реальности» и реальность мирового кошмара наяву, чудовищную изменчивость повседневности, подверженность будничной рутины вторжениям чего-то крайнего, невероятного. Рабле, Гоголь, Кафка и им подобные — вот кого он считал своими учителями, и теперь их мир тоже перестал быть

для него умозрительным, фантастическим. Он сделался обитателем — узником — гоголевского, раблезианского, кафкианского мира.

На сохранившихся от того времени фотографиях, которые Элизабет прилежно собирала в больших альбомах, мистер Джозеф Антон не слишком хорошо одет. Его повседневная одежда — тренировочные брюки и свитерок. Брюки чаще всего зеленые, свитерок — темно-бордовый. Волосы отросли длинней, чем нужно, борода неухоженная. Так одеваться — все равно что говорить: *Я опускаюсь. Меня не стоит воспринимать серьезно. Я разгильдяй, и только.* А надо было каждый день бриться, носить чистую, свежевыглаженную одежду — может быть, костюмы с Сэвил-роу, на худой конец — хорошую рубашку и слаксы. Надо было сидеть за письменным столом, как Скотт Фицджеральд в своем костюме от «Брукс бразерс» или как опрятный Борхес в рубашке с запонками и жестким воротничком. Уделяй он больше внимания своей внешности, может быть, и его фразы были бы лучше. Хотя Хемингуэй неплохо справлялся в хлопчатобумажных шортах и сандалиях. Он предпочел бы видеть себя на этих фотографиях обутым в модные ботинки — скажем, в двухцветные оксфорды или во что-нибудь из белой кожи. А он шлепал по дому в сандалиях «биркенсток» — самая банальная фирма из всех, хуже только «крок». Он посмотрел на себя в зеркало — и испытал отвращение к тому, что увидел. Он подровнял себе бороду, попросил Элизабет подстричь ему волосы — шикарную Элизабет, чей личный стиль, когда они познакомились, был «опоздавшая студентка», но которая потом быстро пристрастилась к дизайнерской одежде, ни дать ни взять русалка, жившая на берегу и дорвавшаяся до моря, — и попросил полицейских отвезти его в магазин за новой одеждой. Пришло время взять себя в руки. Он готовился к бою, и его доспехи должны были блестеть.

Когда происходит что-то такое, чего не происходило прежде, людей часто охватывает смятение, даже самые ясные умы окутывает туман; и последствием этого смятения нередко бывает отторжение и даже гнев. Когда первая из рыб выползла из жижи на сушу, другие рыбы были сбиты с толку и даже раздражены: она пересекла запретную границу. На землю упал метеорит, пыль затмила солнце, но динозавры продолжали бороться за существование и поедать растительность, не понимая, что обречены. Рождение языка разозлило немых. Персидский шах, столкнувшись с огнестрельным оружием оттоманских турок, отказался смириться с окончанием эпохи меча и отправил конницу галопом в самоубийственную атаку на изрыгающие ядра

турецкие пушки. Ученый, обобщив наблюдения за черепахами и пересмешниками, написал о *случайных мутациях* и *естественном отборе*, и приверженцы Книги Бытия прокляли его имя. Революцию в живописи осмеивали и презирали как жалкий *импрессионизм*. Исполнитель песен соединил гитару с усилителем, и ему закричали из публики: «Иуда!»

Этот-то вопрос он и задал в своем романе: *Как в мир приходит новое?*

Приход нового — не всегда проявление прогресса. Люди находят и новые способы подавления друг друга, расправы с наивысшими достижениями, новые возможности для того, чтобы соскальзывать обратно в первобытную жижу; и самые мрачные человеческие новшества, как и самые светлые, многих сбивают с толку. Когда начали сжигать ведьм, легче было винить ведьм, чем ставить под вопрос справедливость такого приговора. Когда запахи из газовых камер распространялись по улицам близлежащих деревень и с неба падал темный снег, легче было не понимать. Граждане Китая в большинстве своем не поняли, ради чего погибли герои пощади Тяньаньмэнь. Те, кто совершил это преступление, позаботились об их неверном понимании случившегося. Когда в разных странах мусульманского мира приходили к власти диктаторы, многие были готовы назвать их режимы *аутентичными*, а оппозицию этим режимам — *западнической* и *лишенной корней*. Когда пакистанский политик взял под защиту женщину, ложно обвиненную в оскорблении святынь, его убил собственный телохранитель, и страна аплодировала убийце и осыпала его цветочными лепестками по пути в суд. Большей частью эти мрачные новшества внедрялись во имя тоталитарной идеологии, или абсолютного властителя, или непреложной догмы, или Бога.

Атака на «Шайтанские аяты», хоть и породила множество заголовков, была направлена на скромную цель, и поэтому трудно было убедить людей, что это событие необычайной важности, требующее исключительных ответных мер. На протяжении своего долгого пути по мировым коридорам власти ему раз на разом приходилось разъяснять суть дела. *Серьезный писатель написал серьезную книгу. Бешеный и угрожающий отклик на нее есть террористический акт, которому необходимо дать отпор.* Но ведь книга оскорбила многих людей, разве нет? *Возможно, но атака на книгу, ее автора, издателей, переводчиков и книготорговцев — оскорбление куда большего масштаба.* Итак, посеяв смуту, он обеспокоен ее последствиями для него самого и хочет, чтобы мировые лидеры защитили его право быть смутьяном?

В XVII веке в Англии Мэтью Хопкинс, главный «охотник на

ведьм», разработал тест на ведьмовство. Обвиняемую утяжеляли камнями или привязывали к стулу, а затем бросали в реку или озеро. Плывет — значит, ведьма и заслуживает костра; утонула — значит, невинна.

Обвинение в ведьмовстве часто было равносильно обвинительному вердикту. А теперь испытанию был подвергнут он, и ему нужно было убедить мир, что не он преступник, что преступники — охотники на ведьм.

Происходило нечто новое: набирала силу новая нетерпимость. Она распространялась по земле, но никто не хотел этого видеть. Чтобы слепым было легче оставаться слепыми, изобрели новое словечко: *исламофобия*. Если ты критикуешь крикливую воинственность этой религии в ее нынешнем воплощении — значит, ты мракобес. Человек, страдающий *фобией*, склонен к крайним и иррациональным суждениям, поэтому он во всем и виноват — он, а не система верований, гордо заявляющая, что у нее более миллиарда адептов по всему миру. Миллиард верующих не может ошибаться, так что их критики — вот кто не прав, вот кто зря брызжется слюной. С каких это пор, хотелось ему знать, иррациональным стали считать отрицательное отношение к религии, к любой религии, пусть даже и резко отрицательное к ней ношение? С каких это пор разум начали изображать как неразумие? С каких это пор сказки, внушенные суеверным людям, стоят выше критики, выше сатиры? Религия не раса. Религия — это идея, а идеи держатся (или рушатся) потому, что они достаточно сильны (или слишком слабы) чтобы противостоять критике, они не могут держаться за счет того, что отгорожены от нее. Сильные идеи приветствуют инакомыслие. «Тот, кто борется с нами, укрепляет наши нервы и оттачивает наше умение, — писал Эдмунд Берк[150]. — Противник — он же и помощник». Только слабые и склонные к авторитаризму отворачиваются от своих оппонентов, шельмуют их, а иной раз не прочь причинить им вред.

Изменился ислам, а не люди, подобные ему, это у ислама развилась фобия к очень широкому спектру идей, поступков и вещей. В те годы и позже исламские голоса в разных странах — Алжире, Пакистане, Афганистане — предавали анафеме театр, кино и музыку, музыкантов и актеров калечили и убивали. Изобразительное искусство тоже было объявлено злом, поэтому талибы уничтожили древние статуи Будды в Бамианской долине. Исламисты нападали на социалистов и профсоюзных активистов, на карикатуристов и журналистов, на проституток и гомосексуалистов, на женщин в юбках и безбородых мужчин, а еще — как ни трудно в это поверить — на такие проявления зла,

как мороженые куры и самса.

Когда будет написана история XX века, как самая большая внешнеполитическая ошибка Запада вполне может быть расценено решение отдать Нефтяной Трон саудовскому королевскому дому: саудовские власти, используя свое заграничное нефтяное богатство, начали создавать медресе (школы), где распространялась экстремистская, пуританская идеология горячо любимого ими (и до той поры маргинального) Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, и в результате ваххабизм из крохотного культового ростка развился в течение, распространенное по всему арабскому миру. Его подъем придал уверенности и энергии другим исламским экстремистам. В Индии из религиозной школы Дар уль-Улюм распространилось культовое течение деобанди, в шиитском Иране проповедовали воинствующие духовные лица из города Кум, в суннитском Египте росло могущество консерваторов из Аль-Азхара. Чем сильней становились экстремистские идеологии — ваххабизм, салафизм, хомейнизм, деобанди, — чем больше поколений бородатых мужчин с сощуренными глазами, чуть что сжимающих кулаки, выпустили медресе, финансируемые за счет саудовской нефти, тем дальше ислам отходил от своих истоков, заявляя при этом, что возвращается к ним. Американский юморист Г. Л. Менкен дал памятное определение пуританства: это «навязчивый страх перед тем, что кто-то где-то может быть счастлив», и очень часто главным врагом нового ислама казалось счастье как таковое. И мракобесами назывались *критики* этой веры? «Когда я беру слово, — сказал Шалтай-Болтай кэрроловской Алисе, — оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше»[151]. Творцы «новояза» в «1984» Оруэлла, назвавшие пропагандистское ведомство Министерством правды, а карательный орган — Министерством любви, отлично понимали, что имел в виду Шалтай-Болтай. «Исламофобия» заняла свое место в шалтай-болтаевском «новоязе». Взяли язык анализа, разума, дискуссии — и перевернули с ног на голову.

Он был уверен, как только можно быть в чем-нибудь уверенным, что рак фанатизма, распространяющийся по мусульманским сообществам, в конце концов вырвется в широкий мир, за пределы ислама. Если будет проиграна интеллектуальная битва — если этот новый ислам получит право на «уважение», на то, чтобы предавать своих противников анафеме, ставить их вне закона, а то и, почему нет, убивать, — политическое поражение не заставит себя долго ждать.

Он вошел в мир политики и старался основывать свои доводы на принципах. Но за закрытыми дверьми, там, где принимались

решения, принципы очень редко определяли политику. Предстоял тяжелый бой, тем более трудный из-за того, что ему надо было бороться еще и за бóльшую личную и профессиональную свободу. Сражение приходилось вести на обоих фронтах одновременно.

Питер Флоренс, организатор литературного фестиваля в городке Хэй-он-Уай, связался с ним, чтобы спросить, не мог ли бы он принять в этом году в нем участие. Был запланирован разговор между выдающимся израильским писателем Давидом Гроссманом и Мартином Эмисом, но Гроссману пришлось отменить поездку. Было бы здорово, сказал Питер, если бы вы его заменили. Можно никого не предупреждать заранее. Аудитория, увидев вас, испытает волнение и обрадуется вашему возвращению в мир книг. Ему хотелось поехать; но сначала надо было обсудить предложение Питера с командой охранников, а ей, в свой черед, надо было обсудить его с начальством в Скотленд-Ярде, и, поскольку мероприятие проводилось вне зоны действия лондонской полиции, необходимо было поставить в известность начальника полиции Поуиса, а тот должен был подключить местных полицейских в форме. Он представлял себе, как полицейские чины закатывают глаза: *ну вот, опять он чего-то требует*, но он был твердо намерен не уступать, как бы им ни хотелось, чтобы он сидел тихо и молчал. В конце концов они согласились, чтобы он поехал, остановился на ферме у Деборы Роджерс и Майкла Беркли недалеко от Хэя и выступил на фестивале, как было предложено, если только удастся сохранить все в секрете до события. Так и было сделано. Выйдя на сцену в Хэе, он обнаружил, что на нем и Мартине одинаковые полотняные костюмы, и на счастливые полтора часа он снова стал писателем среди читателей. В Хэе, как и повсюду в Великобритании, продавалось импортированное из Америки издание «Шайтанских аятов» в мягкой обложке, и что же случилось — после всех волнений? Да ничего. Ситуация не улучшилась, но она и не ухудшилась. Момент, которого издательство «Пенгуин букс» так боялось, что отказалось от прав на публикацию, прошел без единого неприятного инцидента. Интересно, думал он, обратил ли на это внимание Питер Майер?

На подготовку каждой поездки в рамках его кампании уходили дни — а то и недели. Споры с местными силами безопасности, проблемы с авиалиниями, нарушения политиками достигнутых было договоренностей, бесконечные «и да, и нет», «и вверх, и вниз» политической организационной деятельности. Фрэнсис, Кармел и он разговаривали между собой беспрерывно, и

кампания стала не только их, но и его постоянной работой. По прошествии лет он говорил, что фетва стоила ему одного, а то и двух полноценных романов; вот почему, когда темные годы миновали, он окунулся в писательство с удвоенной энергией. Все это время в нем копились книги, копились и требовали выпустить их на свет.

Кампания началась в Скандинавии. В последующие годы он полюбил северные народы за их приверженность высочайшим принципам свободы. Даже их авиалинии вели себя этично и перевозили его без возражений. Странное все-таки место наш мир: в час тяжелейшего противостояния уроженец тропиков нашел многих из ближайших союзников на морозном Севере, пусть даже датчане беспокоились из-за сыра. Дания в больших количествах экспортировала в Иран брынзу, и, дай она повод обвинить себя в заигрываниях со святотатцем, вероотступником и еретиком, эта торговля могла пострадать. Датскому правительству пришлось выбирать между сыром и правами человека, и на первых порах оно выбрало сыр. (Ходили слухи, что не встречаться с ним датские власти уговорило британское правительство. Нидерландский издатель Иэна Макьюэна Яко Гроот прослышал, что британцы говорили своим коллегам на европейском материке, что не хотели бы «испытывать затруднений» из-за «слишком публичных проявлений поддержки».)

Так или иначе, он отправился в Данию как гость ПЕН-клуба этой страны. Элизабет полетела накануне с Кармел, а его провели в аэропорт Хитроу через вход, предназначенный для охраны, вывезли на летное поле, и он сел на самолет последним из пассажиров. Его сильно беспокоило, что другие пассажиры, увидев его, запаникуют, но почти все они были датчане, и они встретили его улыбками, рукопожатиями, и удовольствие их было непритворно, в нем не чувствовалось страха. Когда самолет оторвался от земли, он подумал: *Может быть, я опять начну летать. Может быть, все будет в порядке*.

В копенгагенском аэропорту встречающие каким-то образом пропустили его. Явно он был не так узнаваем, как думал. Он прошел через помещения аэропорта, миновал охраняемый барьер и почти полчаса провел в зале прилета, ища кого-нибудь, кто мог бы знать, что случилось. На тридцать минут он выскользнул из защитной сети. Его подмывало сесть в такси и дать деру. Но тут он увидел, как к нему бегут полицейские, а с ними, пыхтя, отдуваясь и извиняясь за недоразумение, — Нильс Барфод, которому датский ПЕН-клуб поручил его опекать. Они пошли к дожидающимся машинам, и сеть снова сомкнулась вокруг него.

О его появлении — это на какое-то время стало «нормой» — не было объявлено заранее. Члены ПЕН-клуба, собравшиеся в тот вечер в музее современного искусства «Луизиана», ожидали в качестве почетного гостя Гюнтера Грасса, и Грасс действительно там был — один из целого ряда выдающихся литераторов, соглашавшихся в те годы быть его «прикрытием». «Если Салман Рушди заложник, то и мы заложники», — сказал Грасс, представляя его, а потом настала его очередь. Несколько недель назад, сказал он, пятьдесят иранских интеллектуалов опубликовали декларацию в его защиту. «Защищать Рушди — значит защищать себя самих», — заявили они. Отступить перед фетвой — значит поощрить авторитарные режимы. Вот где должна быть проведена черта, и сдавать эту позицию нельзя ни в коем случае. Он борется не только за себя, но и за собратьев по перу. Шестьдесят пять датских интеллектуалов, собравшихся в «Луизиане», выразили готовность присоединиться к нему в его борьбе и потребовать от своего правительства, чтобы оно вело себя как подобает. «Раз британское правительство не способно противостоять неприемлемой угрозе демократическому процессу со стороны Ирана, — сказала Фрэнсис Д'Соуса, — комитет защиты должен воспользоваться поддержкой континентальной Европы и принять исходящие от нее предложения помощи».

В какой-то момент он увидел военный корабль, курсирующий за окнами музея. «Это по мою душу?» — спросил он в шутку; оказалось, и правда из-за него, хоть и не по его душу: его личный военный корабль, охранявший его от возможного нападения с моря, оберегавший от иранских водолазов, которые могли бы подплыть к музею с абордажными саблями в зубах. Да, тут все было продуманно. Основательные люди эти датчане.

Его норвежский издатель Вильям Нюгор из издательства «Х. Аскехауг и компания» настойчиво приглашал его после Дании побывать в Норвегии. «Здесь мы, думаю, справимся даже лучше», — сказал Нюгор. С ним готовы были встретиться члены правительства. Каждое лето «Аскехауг» устраивало большое празднество в саду при красивой старой вилле по адресу Драмменсвайен, 99, которая на рубеже XIX и XX веков была семейным домом Нюгоров. Это празднество было в Осло одним из главных событий за весь летний сезон, в нем участвовали многие известнейшие норвежские писатели, бизнесмены, политические лидеры. «Вы просто обязаны здесь быть, — сказал Вильям. — В саду! Придет больше тысячи человек! Это будет просто фантастика. Жест в защиту свободы». Вильям был в Норвегии фигурой харизматической: блестящий лыжник, чрезвычайно красивый внешне, отпрыск одной из старейших

фамилий и глава ведущего издательства. Он, помимо прочего, отвечал за свои слова: поездка в Норвегию оказалась успешной. В саду на Драмменсвайен он прошел с Вильямом Нюгором через толпу, и его встретил буквально *весь Осло*. Отклик на его появление, сказал ему потом Вильям, был необычайно сильным.

Эта поездка сделала Вильяма самым заметным из его издателей на континенте. Они с ним не знали тогда, какой опасности подвергло жизнь Вильяма то, что он предпринял ради своего автора. Четырнадцать месяцев спустя террор постучался в его дверь.

В Лондоне депутат парламента Марк Фишер, представитель Лейбористской партии по вопросам искусства, организовал в палате общин пресс-конференцию, на которой присутствовали парламентарии как от лейбористов, так и от тори, и это был первый случай, когда его сочувственно слушали в Вестминстерском дворце. Не обошлось, правда, без ложки дегтя. Ультраправый консерватор Руперт Алласон поднялся с места и сказал: «Прошу не воспринимать мое присутствие здесь как поддержку. Как утверждают ваши издатели, вы, чтобы скрыть свои намерения, дали им неверные сведения о вашей книге. Я категорически против того, чтобы вас охраняли за общественный счет». Этот гадкий маленький выпад огорчил его не так сильно, как огорчил бы раньше. Он уже оставил надежду на всеобщую любовь; он знал, что всюду, где он ни окажется, будут не только доброжелатели, но и противники. Кстати, не все его противники были из правых. Джеральд Кауфман, депутат парламента от лейбористов, который ранее громко заявлял, что мистер Рушди не нравится ему как писатель, публично упрекнул своего однопартийца Марка Фишера в том, что тот пригласил этого автора в палату общин. (Иранский меджлис согласился с Кауфманом: мол, приглашение было «неприличным».) Что ж, в пути ему предстояло встретить еще немало кауфманов и алласонов. Ничего, главное было — гнуть свою линию.

Разговаривая с Дэвидом Гором-Бутом из министерства иностранных дел, он прямо спросил его, верны ли слухи, что британское правительство не одобряет его новую, более активную линию поведения и за кулисами пытается ставить ему палки в колеса. Гор-Бут сохранял невозмутимое лицо отличного покериста: никаких видимых эмоций. Он отрицал справедливость слухов. «Правительство Ее величества одобряет ваши встречи с членами других правительств», — сказал он. Гор-Бут предложил помощь в координации действий с органами безопасности стран, которые он посещает, чтобы эти органы «не перебарщивали».

Трудно было понять, что об этом думать. Может быть, правительству теперь волей-неволей приходится идти за ним следом?

Мадридский университет Комплутенсе пригласил его в Испанию на публичную беседу с Марио Варгасом Льосой во дворце Эскориал. Он взял с собой Элизабет и Зафара, и перед конференцией они провели три тихих дня в Сеговии. Испанская полиция вела себя очень деликатно, и он мог гулять по улицам этого красивого городка, есть в ресторанах и чувствовать себя почти свободным человеком. Он пообедал в Авиле с Марио и его женой Патрисией. Это были драгоценные часы. Потом в Эскориале Густаво Вильяпалос, ректор университета Комплутенсе, сказал, что у него отличные связи с Ираном, и предложил свое посредничество. Хомейни, сказал он, однажды назвал его «святым человеком». Это предложение о посредничестве оказалось таким же пустым, как и прочие. Он с ужасом прочел в испанской прессе заявление Вильяпалоса, будто он согласился, чтобы сделать регулирование возможным, частью изменить, частью вырезать «оскорбительные» фрагменты «Шайтанских аятов». Он с возмущением это опроверг, после чего Вильяпалос стал недоступен и все контакты с ним прекратились.

Ждать на всех перронах, сказал Джандоменико Пикко, *чтобы, когда поезд подойдет, быть на месте.* Но около некоторых перронов даже рельсовые пути не проходили. Там только и можно было что ждать.

Едва они приземлились в Денвере, стало ясно: дела идут нехорошо. Местная полиция рассматривала происходящее как трейлер к фильму о Третьей мировой, и, пока они с Элизабет шли через аэропорт, мимо в разные стороны пробегали люди с увесистым штурмовым оружием, полицейские, расчищая ему путь, расталкивали пассажиров, кто-то кричал, кто-то куда-то показывал, и было предчувствие неминуемой беды. Он был напуган, случайные свидетели пришли в ужас, авиалиния решила больше с ним не связываться: отказалась впредь пускать его на свои самолеты из-за *его поведения*. Художества сил безопасности были приписаны *ему*.

Их отвезли в Боулдер, где он выступил на Панамериканской литературной конференции, наряду с Оскаром Ариасом, Робертом Кувером, Уильямом Стайроном, Питером Маттиссеном и Уильямом Гассом. «Латиноамериканские писатели давно поняли, что литература — дело жизни и смерти, — сказал он в своей речи. — Теперь я разделяю с ними это знание». Он жил в

эпоху, когда значимость литературы, похоже, уменьшалась. Он видел свою задачу, помимо прочего, в том, чтобы настойчиво заявлять: книги — и свободы, необходимые для их создания, — жизненно важны. В своем великом романе «Если однажды зимней ночью путник» Итало Кальвино устами персонажа — Аркадия Порфирича — говорит: «Сегодня нигде не ценят печатное слово так высоко, как в странах с полицейским режимом. Если на подавление литературы выделяются крупные суммы — это верный признак того, что в данной стране литература действительно играет важную роль»[152]. Что было, безусловно, верно, например, в отношении Кубы. Филип Рот, говоря о репрессиях советской эпохи, однажды сказал: «Когда я в первый раз приехал в Чехословакию, мне пришло в голову, что я работаю в обществе, где писателю все можно, но его слово ни для кого не значимо, в то время как чешским писателям, с которыми я познакомился в Праге, ничего нельзя, но все, что они пишут, значимо». То, что было верно в отношении полицейских государств и советской диктатуры, справедливо и по поводу латиноамериканских диктаторских режимов, и по поводу новоявленного теократического фашизма, противостоявшего теперь ему и многим другим писателям, но в Соединенных Штатах — в либеральном, пусть и разреженном из-за высокогорья, воздухе Боулдера, штат Колорадо, — людям нелегко было почувствовать выстраданную правду репрессий. Он считает своей задачей, сказал он, объяснить миру, где «все можно, но ничто не значимо», мир, где «ничего нельзя, но все значимо».

Чтобы уговорить другую авиалинию доставить его домой, потребовалось личное вмешательство президента Колорадского университета в Боулдере. Как только он произнес свою речь, их с Элизабет немедленно отвезли обратно в Денвер и чуть ли не впихнули в самолет, направлявшийся в Лондон. Полицейская операция, в отличие от той, которой их встретили, не вышла за все мыслимые рамки, но все же была достаточно масштабна, чтобы каждому, кто это видел, стало не по себе. Он покидал Америку с чувством, что кампания сделала шаг назад.

Террор стучался во многие двери. В Египте убили видного интеллектуала-секуляриста Фарага Фауду. В Индии «рассерженные мусульмане» принялись угрожать профессору Муширулу Хасану, вице-ректору университета Джамия Миллия Исламия в Дели и известному историку, за то, что он посмел выступить против запрета на «Шайтанские аяты». Тот был вынужден отступить и осудить книгу, но свора потребовала, чтобы он, кроме того, одобрил фетву. Он отказался. В результате

его отлучили от работы в университете на пять долгих лет. В Берлине в ресторане «Миконос» были убиты четверо курдско-иранских оппозиционных политиков, членов Социалистического интернационала, и подозрение в организации убийств пало на иранский режим. А в Лондоне они с Элизабет спали у себя в спальне, как вдруг дом сотрясся от очень громкого взрыва. В комнату ворвались вооруженные полицейские и стащили обоих на пол. Они лежали ничком среди вооруженных мужчин, казалось, целые часы, пока не стало известно, что взрыв произошел совсем рядом — у кольцевой развязки Стейплз-Корнер, под путепроводом к Норт-Серкьюлар-роуд. Взрыв был делом рук «Временной ирландской республиканской армии» и к ним с Элизабет отношения не имел. Неисламистская бомба. Можно было спать дальше.

Но исламский террор был недалеко. Аятолла Санеи из фонда «15 хордада» повысил вознаграждение за его убийство, учтя возможные «издержки». (Сохраняйте чеки, господа убийцы, вам возместят расходы на бизнес-ланчи!) Троих иранцев выдворили из Соединенного Королевства за то, что они замышляли расправу с ним: двоих сотрудников посольства — Мехди Сайеса Садегхи и Махмуда Мехди Солтани — и «студента» Гассема Вакшитеха. В Иране меджлис — якобы «умеренный» меджлис, избранный на недавних всеобщих выборах! — на правил президенту Рафсанджани «обращение» с предложением подтвердить фетву, и близкий к Рафсанджани аятолла Джаннати ответил, что «пришло время убить негодяя Рушди».

Он поехал в южный Лондон поиграть с художником Томом Филлипсом в настольный теннис в его мастерской. Это выглядело правильным поступком. Том ранее начал писать его портрет — он сказал Тому, что выглядит на нем слишком уж мрачным, но Том не согласился: «Мрачным? Ты что? Я называю этого персонажа *мистер Живчик*», — и теперь он позировал два часа, а потом проиграл художнику в пинг-понг. Ему не понравилось проигрывать в пинг-понг.

В тот день фонд «15 хордада» заявил, что вскоре начнет посылать в Соединенное Королевство группы убийц, чтобы привести фетву в исполнение. Проиграть в пинг-понг — приятного мало, но главное было — не проиграть битву за свой рассудок.

Зафар в последний раз вышел из школы Холл, которая так много сделала, чтобы защитить его от худших последствий случившегося с отцом, из школы, где учителя и ученики, ничего особенного ему не говоря, вели себя так, чтобы обеспечить

мальчику посреди безумия нормальное детство. Родители Зафара были благодарны этой школе за многое и надеялись, что новая школа отнесется к нему так же заботливо и любовно.

В Хайгейтской школе в основном учились приходящие ученики, но можно было и жить при ней всю учебную неделю, и Зафар хотел жить при школе. За считаные дни, однако, он понял, что терпеть не может пансион. В тринадцать был мальчиком, ценившим свое личное пространство, а пансион ему такового не предоставлял. И он сразу почувствовал себя несчастным. Оба его родителя решили, что ему не надо пользоваться пансионом, и школа согласилась с их решением. Зафар мигом стал лучиться счастьем и полюбил школу. Поскольку у его отца теперь был дом недалеко от Хайгейта, Зафар мог в учебные дни к нему приходить и ночевать, и их отношения могли вновь обрести то, чего им недоставало последние четыре года: интимность, непрерывность и некую непринужденность. У Зафара имелась в новом доме своя комната, и он попросил, чтобы мебель в ней была исключительно черно-белая. Он не мог приводить с собой друзей, но понимал почему, и говорил, что спокойно без этого обойдется. Пусть даже нельзя было приглашать приятелей, все равно это было гораздо лучше, чем пансион. Он опять мог жить под одной крышей с отцом.

В Индии экстремистски настроенные индуисты разрушили одну из старейших мечетей страны — Бабри Масджид в Айодхье, построенную первым императором из династии Великих Моголов. Разрушители утверждали, что мечеть была возведена на развалинах индуистского храма на *Рамджанмабхуми* — на месте рождения Господа Рамы, седьмой аватары Вишну. Ислам, таким образом, не обладал монополией на бесчинства. Узнав о разрушении Бабри Масджид, он испытал многосоставную печаль. Ему было горько, что религия вновь показала свою разрушительную силу, намного превосходящую свою способность творить добро, что ряд недоказуемых утверждений — будто нынешняя Айодхья и Айодхья из «Рамаяны», где Рама царствовал в неизвестно какие годы в отдаленном прошлом, — одно и то же место, будто в том, что он родился там, где сказано, не может быть сомнений; будто боги и их аватары действительно существуют — имел результатом надругательство над реально существующим и красивым зданием, чье несчастье заключалось в том, что оно стояло в стране, где не было строгих законов об охране наследия, а те законы, какие имелись, можно было нарушать, если нарушителей набиралось достаточно много и они заявляли, что действуют во имя Бога. Ему было горько и потому,

что он по-прежнему испытывал привязанность к той самой мусульманской культуре Индии, которая Муширула Хасана лишила работы, а ему мешала получить визу, давшую бы возможность посетить родину. История мусульманской Индии была и его историей, и с этим ничего нельзя было поделать. Когда-нибудь он напишет роман об Акбаре Великом, внуке Бабура, пытавшемся помирить между собой многочисленных индийских богов и приверженцев разных религий и на какое-то время преуспевшем.

Раны, нанесенные Индией, были глубочайшими из всех. Не может быть и речи, сказали ему, о визе в эту страну — в страну, где он родился, которая была для него сильнейшим источником вдохновения. Его не хотели видеть даже в индийском культурном центре в Лондоне: по словам директора центра (и внука Махатмы) Гопала Ганди, его приход туда рассматривался бы как антимусульманский акт и повредил бы репутации центра как нейтрального, светского учреждения. Он стиснул зубы и вернулся к работе. «Прощальный вздох Мавра» был романом настолько светским, настолько религиозно нейтральным, насколько вообще мог быть роман — а его автора в стране, о которой он писал, считали сеятелем межобщинной розни. Тучи над его головой сгущались. Но чем ему больнее, тем он, оказалось, злее и упрямее; фразы у него в голове по-прежнему складывались, воображение по-прежнему искрилось. Он не намерен был позволить этим отказам повредить его писательству.

Не имея альтернативы, он в какой-то мере стал своим собственным представителем. Но политическая активность давалась ему непросто. Он произносил речи, обосновывал свою позицию, призывал сильных мира сего бороться против нового «терроризма с дистанционным управлением», когда наводят смертоносный палец на кого-то в другой части света: *Вот этот, видите? Лысый, книжку держит. Убить его;* призывал их понять, что если не победить фетву как проявление терроризма, то повторения неизбежны. Но зачастую слова, которые он сам произносил, казались ему несвежими. В Финляндии, после того как он выступил на заседании Северного совета, принимались резолюции, создавались подкомитеты, давались обещания поддержки — но он не мог отделаться от чувства, что ничего существенного не достигнуто. Его сильнее радовала красота осеннего леса за окном, и он получил возможность прогуляться по нему с Элизабет, подышать бодрящим прохладным воздухом и ненадолго ощутить покой; это было для него в тот момент важнее, целительнее, чем все резолюции на свете.

Мягкая поддержка Элизабет помогла ему справиться с разочарованием. Он вновь обретает голос, сказала она ему, и его Ошибка уходит в прошлое, хотя исправлять ее ему надо будет еще не один год. Его слушали с уважением, и после столь многих грубых нападок на него как на человека и писателя это, нельзя отрицать, было приятно. Постепенно он научился обосновывать свою точку зрения более убедительно. Во времена сильнейших репрессий советских коммунистических властей, говорил он, западные марксисты пытались отделить «реальный социализм» от Истинного Учения, от идей Карла Маркса о равенстве и справедливости. Но когда СССР рухнул и стало ясно, что «реальный социализм» безнадежно осквернил собой марксизм в глазах всех тех, кто участвовал в свержении деспотов, уже не было никакой возможности верить в Истинное Учение, не запятнанное преступлениями, совершенными в реальном мире. Ныне, когда исламские государства создают новые тирании и творят бесчисленные ужасы во имя Аллаха, мусульмане сходным образом проводят разграничение: есть «реальный ислам» кровавых теократий, и есть Истинное Учение, говорящее о мире и любви.

Ему трудно было это принять, и он искал точные слова, чтобы объяснить почему. Он хорошо понимал защитников мусульманской культуры; когда разрушили Бабри Масджид, ему было так же больно, как им. И ему, как им, были дороги многочисленные проявления доброты в мусульманском обществе, дух милосердия в нем, красота его архитектуры, живописи и поэзии, его вклад в философию и науку, мусульманские орнаменты, мусульманские мистики, мягкая мудрость мусульман широких взглядов, подобных доктору Атаулле Батту, его деду с материнской стороны. Доктор Батт из Алигарха, семейный врач, работавший, помимо того, в Тиббиа-колледже Мусульманского университета в Алигархе, где западная медицина изучалась наравне с традиционными индийскими методами траволечения, совершил паломничество в Мекку, всю жизнь молился пять раз в день — и был из самых толерантных людей, каких его внуку доводилось встречать, был человеком грубовато-добродушным, открытым для любых — детских и взрослых — проявлений инакомыслия, вплоть до идеи о том, что Бога не существует вовсе, идеи чрезвычайно глупой, говорил он, но заслуживающей обсуждения, почему нет. В таком исламе, какой исповедовал доктор Батт, не было ничего вредоносного.

Но что-то разъедало веру его деда, какая-то ржавчина, превращавшая ее в идеологию узости и нетерпимости, которая запрещала книги, преследовала мыслителей, устанавливала

абсолютистскую власть, превращала догму в оружие против свободомыслия. С этим необходимо было бороться, но, чтобы бороться, надо было это назвать, и единственным подходящим названием было — *ислам*. Реальный ислам стал ядом для себя самого, мусульмане гибли от этого яда, и об этом надо было говорить — в Финляндии, Испании, Америке, Дании, Норвегии, всюду и везде. Если некому это произнести — это произнесет он. Он хотел говорить и о том, что свобода — всеобщее достояние, что не прав Сэмюэл Хантингтон, утверждая, что это западная идея, чуждая культурам Востока. Чем бóльшую законность приобретало на Западе «уважение к исламу», которое было не чем иным, как прикрытым маской тартюфовского лицемерия страхом перед исламистским насилием, тем сильней разъедал рак культурного релятивизма богатые мультикультурные образования современного мира, и все они могли скатиться по этому скользкому склону в беньяновскую Трясину Отчаяния[153].

Пробиваясь то в одну, то в другую страну, стучась в двери сильных мира сего, пытаясь разжимать ради мгновений свободы хватку тех или иных служб безопасности, он старался найти нужные слова, чтобы постоять не только за себя, но и за то более общее, чьим защитником он хотел теперь быть.

Одно «мгновение свободы» настало, когда его пригласили в выставочный комплекс Эрлз-Корт на концерт группы *U2*. Это было во время ее турне с альбомом *Achtung Baby*, когда в воздухе висели психоделические «трабанты». Полиция согласилась мгновенно: наконец-то??? туда, куда ребятам и самим хочется! Боно, как оказалось, читал «Улыбку ягуара», и, поскольку он побывал в Никарагуа примерно в одно время с автором этой книги, ему захотелось с ним познакомиться. (В Никарагуа они с Боно не пересеклись, но однажды его переводчица Маргарита, блондинка с блестящими глазами, похожая на Джейн Мэнсфилд[154], взволнованно закричала: «Сюда едет Боно! Боно в Никарагуа!» — а потом, ровно таким же голосом и с таким же сияющим взором, спросила: «А кто такой Боно?») И вот он в Эрлз-Корте, стоит там, где потемнее, слушает. За сценой после концерта его провели в трейлер, полный сэндвичей и детишек. На выступлениях *U2* — никаких восторженных поклонниц за кулисами: сплошные ясли. На Боно, когда он вошел, мигом повисли его дочурки. Он был настроен поговорить о политике — о Никарагуа, об усиливающихся протестах против небезопасного хранилища ядерных отходов в Селлафилде, в Северной Англии, о его поддержке «Шайтанских аятов». Они не много времени провели вместе, но достаточно, чтобы зародилась дружба.

Найджела Лоусон и Джон Дайамонд[155] поженились в Венеции. Его, как и всех ее друзей, новость очень обрадовала. Где ДФжон — там всегда был смех. Торт для вечеринки, которую они по случаю женитьбы устроили в клубе «Граучо», изготовила Рути Роджерс по проекту — так сказала Рути — ее мужа, великого архитектора собственной персоной. На что Джон с невинным видом заметил: «Вряд ли это так. Будь это проект Ричарда Роджерса, разве не были бы все ингредиенты снаружи?

Крупнейшим торговым партнером Ирана была Германия. Ему непременно надо было туда поехать. Миниатюрная, яростная Теа Бок, депутат бундестага, намеревалась, по ее словам, сделать так, чтобы он встретился «со всеми и каждым». Но для этого ему надо было попасть в Бонн, а «Люфтганза» и «Бритиш эйруэйз» от него отказались. Теа Бок предложила маленький частный самолетик, ярко-красный, словно взятый из какой-то истории о Первой мировой войне: «Биглз[156] и фетва». Самолет был махонький и старого образца — у него даже *открывались окна*. Летели так низко, что он боялся, что они врежутся в холм или церковный шпиль. Словно на рикше едешь, только по небу. Погода, к счастью, была хорошая, солнечно, безветренно, пилот проделал весь маршрут без происшествий и посадил свой драндулетик в немецкой столице, где усилиями Теа Бок встречи прошли так успешно, что иранцы вышли из себя совершенно: вдруг, ни с того ни с сего, Рушди тепло принимают лидер социал-демократов Бьёрн Энгхольм, спикер бундестага Рита Зюсмут и многие видные немецкие парламентарии; а потом Рушди приходит в министерство иностранных дел Германии, где в отсутствие министра Клауса Кинкеля, находящегося за границей, его радушно встречает глава культурного отдела министерства доктор Ширмер. Иранский посол сделал сердитое заявление по немецкому телевидению: он уверен, сказал он, что Германия не будет ставить из-за этого человека под удар свои отношения с Ираном. Он сказал, кроме того, что вероотступника могут уничтожить американские или израильские агенты, маскирующиеся под убийц-мусульман, просто чтобы выставить Иран в дурном свете.

На следующий день иранского посла Хоссейна Мусавяна вызвали в МИД Германии. «Мы будем защищать господина Рушди, — сказал затем заместитель министра иностранных дел. — После нашего очень откровенного обмена мнениями он [иранский посол], безусловно, понимает, что так оно и будет». Предположение об американских или израильских агентах-

убийцах он назвал «абсурдным». Посол Мусавян заявил, что его высказывания были «неверно процитированы».

Кампания, сказала Фрэнсис, *набрала ход* — но достигнута ли *критическая масса?* (Одно из ее любимых выражений.) Пока нет. Брадфордский совет мечетей сделал очередное гнусное заявление: мол, кампания только ухудшает ситуацию, и автору не стоит рассчитывать ни на какую «отсрочку» со стороны мусульманского сообщества. Председатель совета Лиакат Хусейн явно считал себя важным человеком, говорящим нечто важное. Но его голос звучал как голос из прошлого. Его пятнадцать минут славы прошли.

Он приехал в Стокгольм получить премию Курта Тухольского, присуждаемую писателям, которые подвергаются преследованиям, и выступить перед Шведской академией. Иран, конечно, осудил вручение ему премии. Выступил верховный судья Ирана, выступил и щедрый на награды аятолла Санеи. *Неуважаемый верховный палач!* — начал он было воображаемое письмо, но бросил. Есть люди, которые не заслуживают писем, даже воображаемых. *Мой дорогой Санеи с «Баунти»!*[157] *Покорнейше прошу обратить Ваше внимание на возможность мятежа. Не исключено, что Вам и Вашим дружкам уготована судьба Блая в утлой лодчонке, молящегося о том, чтобы доплыть до Тимора.*

Заседания Шведской академии проходят в красивом зале рококо на верхнем этаже старинного здания стокгольмской биржи. Вокруг длинного стола — девятнадцать стульев, обитых светло-голубым шелком. Один из стульев — для короля, если он захочет прийти; если не захочет, как неизменно случалось, стул будет пустовать. На спинках других стульев — римские числа от I до XVIII. Когда академик умирает, избирается новый и занимает его стул, пока ему тоже не приходит пора переместиться в более обширную небесную академию. Ему мгновенно вспомнился «Человек, который был Четвергом» — оптимистический триллер Г. К. Честертона об анархистской группировке, семерым руководителям которой присваиваются конспиративные клички по названиям дней недели. Его, однако, окружали не анархисты. Ему было дозволено войти в литературную святая святых, в зал, где присуждаются Нобелевские премии, — войти, чтобы выступить перед сумрачно-дружественным собранием серых кардиналов. Ларе Гюлленстен (XIV) и Керстин Экман (XV), покинувшие академию в знак протеста против малодушного нежелания их коллег отреагировать на фетву, отсутствовали. Их незанятые стулья выражали упрек. Это опечалило его: он надеялся принести примирение. Приглашение со стороны

академии было своего рода компенсацией за ее прежнее молчание. Само его присутствие здесь означало ее поддержку. У стола по соседству с пустым королевским седалищем поставили девятнадцатый стул, без номера, он сел на него, произнес свою речь и отвечал на вопросы, пока академики не были удовлетворены. Элизабет, Фрэнсис и Кармел, допущенные на правах зрителей, сидели на стульях вдоль стены.

В сердцевине спора по поводу «Шайтанских аятов», сказал он, за всеми обвинениями и всей руганью стоит вопрос чрезвычайной глубины и важности: *кому должна принадлежу власть над повествованием?* Кто имеет — кто должен иметь — право не только рассказывать истории, с которыми и в которых мы все живем, но и определять, *как* эти истории можно рассказывать? Ибо рядом с этими историями — с так называемыми великими повествованиями — и внутри них живет каждый из нас. Нация — одна история, семья — другая, религия — третья. Как человек творческой профессии он знал, что есть единственно верный ответ на этот вопрос: *такое право имеют — или должны иметь — все без исключения*. Мы все должны иметь возможность требовать великие повествования к ответу, спорить с ними, высмеивать их, настаивать, чтобы они изменялись, отражая меняющееся время. Мы должны быть вольны говорить о них почтительно, непочтительно, страстно, язвительно — как угодно. Это наше право как членов открытого общества. По сути дела, наша способность рассказывать заново, творить заново историю нашей культуры — вернейший показатель того, свободны ли в действительности наши общества. В свободном обществе дискуссия по поводу великих повествований не утихает никогда. Дискуссия как таковая — вот что важно. Дискуссия и есть свобода. А вот в закрытом обществе те, кому принадлежит политическая или идеологическая власть, неизменно стремятся пресечь эти споры. *Мы расскажем вам всю историю, говорят они, и мы вам объясним, что она означает. Мы вам объясним, как эту историю надлежит рассказывать, и вам запрещается рассказывать ее по-другому. Если вам не нравится, как мы ее рассказываем, вы — враги государства или вероотступники. У вас нет никаких прав. Горе вам! Мы явимся по вашу душу, и вы узнаете, какова цена вашего отщепенства.*

Человек — «животное, рассказывающее истории» — должен иметь свободу, чтобы травить свои байки.

А в конце встречи он получил подарок. Через улицу от зала находится известный ресторан Den Gyldene Freden («Золотой мир»), принадлежащий академии. После каждого из еженедельных заседаний те из Восемнадцати, что в нем

участвовали, ужинают в отдельном кабинете ресторана. По приходе каждый платит «Золотому миру» серебряной монетой с девизом академии: *Snille och smak*. Талант и вкус. Уходя, академики получают свои монеты обратно. Вообще-то эти монеты не для широкой публики, но, уходя в тот день, он уносил одну из них в кармане.

В Нью-Йорке на сей раз не было ни кортежа из машин, ни лейтенанта Боба, обеспокоенного тем, как Элизабет может использовать вилку. (Он перелетел океан на «Скандинавских авиалиниях», причем кружным путем — через Осло.) Сотрудники службы безопасности провели его через аэропорт — и все. Публичных выступлений не предполагалось, и поэтому американская полиция более или менее предоставила его самому себе. Он получил несколько дней почти полной свободы, самой большой свободы за четыре года без малого. Он остановился в квартире Эндрю Уайли, полицейские же, пока он там был, дежурили внизу в машинах. За это время он помирился с Сонни Мехтой. И поужинал с Томасом Пинчоном.

Одно из лучших качеств Эндрю — незлопамятность. «Вы с Сонни должны наладить отношения, — сказал он. — Вы же очень давние друзья. Это было бы самое правильное». К тому, чтобы протянуть оливковую ветвь, подталкивали и деловые соображения. В дальней перспективе «Рэндом хаус» выглядело самым подходящим издательством, чтобы перекупить права на «Шайтанские аяты» в мягкой обложке. О том, что это сделает «Пенгуин», нечего было и думать, и, поскольку книги издательства «Гранта букс» распространялись через тот же «Пенгуин», трудно было рассчитывать и на долгосрочные отношения с «Грантой», несмотря на всю дружескую преданность Билла и на весь его героизм. «Мы не можем терять из виду цель, — сказал Эндрю, — а цель наша — нормальна публикация всех твоих книг, включая „Аяты“». Теперь, когда благодаря консорциуму барьер мягкой обложки взят, появилась возможность, считал он, убедить Сонни, что тот может, ничего не боясь, публиковать новые книги этого автора и взять на себя долгосрочную ответственность за выпуск его прежних книг. «Не сразу, — сказал Эндрю, — но, возможно, после того, как они опубликуют следующий роман. Я действительно думаю, что они это сделают. И им стоит это сделать». Эндрю и Гиллон начали действовать и договорились с Сонни и издательством «Кнопф» о публикации «Прощального вздоха Мавра». Они, кроме того, умиротворили Билла, который был очень огорчен, узнав об их плане. Но Билл был прежде всего другом и только потом

издателем, и у него было достаточно большое сердце, чтобы он увидел правоту Эндрю. Он, спасший от Сонни «Гаруна», теперь без всякой злобы согласился с тем, что ему будет отдан «Мавр».

Перед тем как договор мог быть подписан, им с Сонни надо было «зарыть топор войны», и в этом состояла главная цель поездки в Нью-Йорк. Кроме того, Эндрю связался с агентом (и женой) Пинчона Мелани Джексон, и живущий в затворничестве автор «Радуги тяготения» согласился на встречу. В итоге две встречи были объединены в одну. Он и Пинчон поужинали с Сонни в его квартире в центральной части Манхэттена. Они с Сонни обнялись, и разрыв был преодолен, а о «Гаруне» не упоминали. Такова была молчаливая манера Сонни — он предпочитал двигаться вперед, обходя щекотливые темы, — и возможно, это было к лучшему. Потом пришел Пинчон — он выглядел ровно так, как должен был выглядеть Томас Пинчон. Высокий, в красно-белой ковбойке и синих джинсах, с сединой, как у Альберта Эйнштейна, и передними зубами, как у кролика Багза Банни. Первые полчаса разговор был принужденным, но потом Пинчон расслабился и пустился в подробный рассказ об истории американского профсоюзного движения и о своем членстве в профсоюзе разработчиков технической документации в те давние дни, когда он был таким разработчиком в компании «Боинг». Странно было представлять себе всех этих авторов руководств пользователей как адресатов великого американского романиста, о котором они, вероятно, думали лишь как об авторе брошюр по технике безопасности на сверхзвуковом ракетном комплексе «CIM-10 Бомарк», не подозревая, что осведомленность Пинчона об этих ракетах вдохновила его на необычайные описания обстрелов Лондона ракетами «Фау-2» во время Второй мировой войны. Заговорились далеко за полночь. В какой-то момент Пинчон спросил: «Вы, ребята, не устали, а?» Они устали, и еще как, но вместе с тем думали: *Это же Томас Пинчон, какой тут может быть сон.*

Когда Пинчон наконец ушел, он подумал: *Отлично, теперь мы друзья. Когда я буду приезжать в Нью-Йорк, мы, может быть, иногда будем встречаться за тарелкой и рюмкой, и постепенно мы узнаем друг друга лучше.*

Но больше они не встречались.

Опьяняющие денечки! Они с Гитой катались в парке на багги, и хотя одна пожилая женщина крикнула «Вау!», больше никто и глазом не повел. Он позавтракал с Джандоменико Пикко, который сказал ему: «Ключевой фактор — США». Он гулял в Баттери-парке, бродил по Линкольн-центру, В кабинете Эндрю у

него произошла волнующая встреча с Майклом Герром, который вернулся в Америку и поселился в Казеновии — в городке своего детства в дальней части штата Нью-Йорк, откуда рукой подать до Читтенанго, где родился Л. Фрэнк Баум, автор «Волшебника страны Оз». А Сонни устроил в его честь вечеринку, на которую пришли Пол Остер, Сири Хустведт, Дон Делилло, Тони Моррисон, Сьюзен Сонтаг, Анни Лейбовиц и Пол Саймон. Лучший, на его взгляд, момент этого вечера освобождения, когда он вновь оказался внутри того единственного из миров, где он когда-либо хотел обитать, настал, когда Бетт Бао Лорд[158] с совершенно серьезным лицом, действительно желая получить ответ, спросила Сьюзен Сонтаг: «Сьюзен, у вас есть какие-нибудь интересные причуды?»

Они с Элизабет поехали с Эндрю и Кейми Уайли в Уотер-Милл на острове Лонг-Айленд, где у них был дом? и там к ним присоединились Иэн Макьюэн, Мартин Эмис, Дэвид Рифф, Билл Бьюфорд, Кристофер и Кэрол Хитченс. Эндрю устроил вечеринку, на которой Сьюзен Сонтаг продемонстрировала-таки одну из своих интересных причуд. На самом деле она была не одна Сьюзен, а две: Хорошая Сьюзен и Плохая Сьюзен, и если Хорошая Сьюзен была блестящей женщиной, остроумной, верной своим друзьям и довольно-таки величественной, то Плохая Сьюзен могла быть свирепым чудовищем. Одна младшая сотрудница агентства «Уайли» сказала о конфликте в Боснии что-то такое, что не понравилось Сьюзен, и Плохая Сьюзен выскочила из нее со страшным рыком, готовая растерзать несчастную. Бой не был честным: Сьюзен Сонтаг против молодой женщины, которая в любом случае не могла сопротивляться, потому что Сонтаг была важным клиентом агентства «Уайли». Надо было спасать юную жизнь, и они с Биллом Бьюфордом подошли и заставили грозную Сонтаг замолчать, бомбардируя ее всякой ерундой:

— Слушай, Сьюзен, как тебе нравится ротация питчеров в «Янкиз»?

— Что? Какая еще ротация? Да плевать мне на питчеров в «Янкиз», я тут объясняю этой молодой особе…

— Понятно, но, Сьюзен, ты должна признать: Эль Дуке[159] — это нечто.

— Да нет, послушайте, это важно: эта молодая особа считает, что в Боснии…

— А как тебе вино, Сьюзен? По-моему, красное все-таки чуть-чуть отдает пробкой.

В конце концов Сонтаг умолкла под градом чепухи, и сотрудница агентства осталась жива.

Была холодная ноябрьская погода, но они выбежали на

морской берег, стали перекидываться футбольным мячом, пускать по воде камешки, играть в дурацкие словесные игры (например, в «чуточку не те названия»: «Господин Живаго», «Прощание с оружием», «Для кого звонит колокол», «Два дня Ивана Денисовича», «Мадемуазель Бовари», «Повесть о Форсайтах», «Большой Гэтсби», «Водитель такси», «Любовь во время гриппа», «Тоби Дик», «Закавыка-22», «Гекльбери Швед»), и охранников нигде не было видно. В те дни, наполненные дружбой, он увидел проблеск надежды на будущее. Если Америка позволит ему приезжать на свой страх и риск и тихо находиться на американской земле, это, может быть, наилучший способ обрести некую свободу в ближайшей перспективе; так, по крайней мере, ему, возможно, удастся освобождаться на время — на месяц, на два, на три месяца в год, — пока он ведет борьбу за снятие угроз. Что он, в конце концов, такое, как не съежившаяся масса, которая жаждет распрямиться и дышать свободно? Ему слышна была песня статуи в гавани, и песня эта была, казалось, обращена к нему.

Его канадский издатель Луиза Деннис, председатель канадского ПЕН-клуба, племянница Грэма Грина, лучший редактор во всем Торонто и, кроме того, половинка самой высокой и красивой из всех известных ему счастливых супружеских пар (вторая половина — еще более рослый и такой же эффектный Рик Янг), предложила ему, как всегда без предварительного оповещения, выступить на ежегодном благотворительном вечере в пользу ПЕН-клуба Канады. Она была уверена, что затем произойдут встречи с ведущими политиками страны и что Канаду не нужно будет долго уговаривать «войти в команду». Нашли частный самолет. Это был всем самолетам самолет: дизайн интерьера разработал Ральф Лорен[160], и трансатлантический перелет был самым комфортабельным в его жизни. Но он все равно предпочел бы стоять, как все пассажиры, в очереди в Хитроу и лететь на общих основаниях. Когда твоя жизнь — череда кризисов и чрезвычайных решений, нормальность — вот что кажется тебе бесконечно желанной, но недостижимой роскошью.

В Торонто их встретили Рик Янг и писатель Джон Ролстон Сол, представлявшие ПЕН-клуб, и отвезли домой к Майклу Ондатже и Линде Сполдинг[161]. На следующий день началась работа. Среди многих прочих у него взял интервью ведущий канадский журналист Питер Гзовски, и в ходе своей радиопередачи он задал ему вопрос о его половой жизни. «Без комментариев», — ответил он. «Но, — не отступал Гзовски — это

не значит — без секса?» За ланчем он познакомился с премьер-министром провинции Онтарио Бобом Роу, который существенно помог, когда надо было раздобыть самолет. Моложавый доброжелательный блондин, Роу пришел в кроссовках и сказал, что согласился выйти на сцену во время благотворительного вечера, хоть жена и боится, что его убьют. Выяснилось, что канадские органы безопасности предостерегли от встречи с ним всех политиков; или, возможно, это был предлог, чтобы уклониться от нее. Как бы то ни было, организовать эти встречи оказалось трудно. Вечером они с Элизабет ужинали дома у Джона Сола и тележурналистки, будущего генерал-губернатора Канады Адриенны Кларксон, и после ужина Адриенна встала и красивым, сильным голосом спела *Hello, Young Lovers*[162].

На следующий вечер они все были за кулисами театра Уинтер-Гарден, и он надел футболку с эмблемой ПЕН-клуба, которую принес ему Рик. Пришел улыбающийся Джон Ирвинг. Вбежала Пегги Этвуд в ковбойской шляпе, в куртке с бахромой и поцеловала его. Когда началась часть программы, посвященная Рушди, ощущение было такое, словно ему отдают высочайшие литературные почести: писатель за писателем зачитывал кусок из жуткой хронологии фетвы и затем садился на сцене. Джон Ирвинг очень тепло рассказал об их знакомстве много лет назад и прочел начало и окончание «Детей полуночи», а затем Этвуд пригласила его на сцену, от вышел, и тысяча двести человек сначала ахнули, а потом разразились возгласами солидарности и любви. Странно это, подумал он, — превращаться в символ. Он не чувствовал себя символом. Он чувствовал себя… *настоящим*. Нов тот момент это, вероятно, было наилучшим оружием, каким он располагал. Салман-символ, Салман-икона, сотворенный его сторонниками идеализированный Салман-Свободолюбец, безупречно и непоколебимо отстаивающий высшие ценности, теснил и мог в конце концов победить тот демонический его образ, что нарисовали противники. Он поднял руку, помахал собравшимся и, когда шум утих, непринужденным тоном заговорил об охоте на ведьм и об опасной силе комического, а потом прочел свой рассказ «Христофор Колумб и королева Изабелла Испанская осуществляют свои отношения». Этого от него хотела Луиза — чтобы он предстал писателем, пришедшим к другим литераторам с плодом своего труда. Когда он кончил, Луиза выступила вперед и прочла заявление о поддержке, написанное канадским государственным секретарем по международным делам Барбарой Макдугал, а затем к нему подошел Боб Роу, обнял его — первый в мире глава правительства, который так сделал, — и публика опять разразилась криками. Это был незабываемый вечер.

Иранское посольство в Оттаве выразило канадскому правительству протест, что посольство не поставили в известность о его приезде заранее. Это была шутка недели.

А до этих поездок, после них и между ними они с Элизабет вселялись в новый дом. Это был дом, которого он в нормальной ситуации ни за что бы не выбрал, дом в районе, где он никогда бы не захотел жить; дом был слишком большой — в нем предстояло обитать и полицейским, — слишком дорогой, слишком консервативный по архитектуре. Но Дэвид Аштон Хилл сделал свое дело замечательно, Элизабет обставила дом очень красиво, он получил потрясающий рабочий кабинет, а главное — это был его дом, а не что-то снятое на имя подставного лица, не временное жилье, найденное для него полицейскими или предоставленное друзьями по доброте души; и он полюбил этот дом, он вселился в него в ком-то экстатическом состоянии. *Нет места лучше своего дома.* «Шлюховоз» въехал в электронные ворота, бронированная дверь гаража поднялась и опустилась за ним — и он дома. Никакой полицейский никогда не заставит его отсюда уехать. Братец, я слишком стар, чтобы снова пускаться в путь, сказал английский король Карл II после Реставрации, и чувства короля были и его чувствами. На ум приходил, кроме того, Мартин Лютер. *Hier stehe ich. Ich kann nicht anders*[163]. Мартин Лютер, ясное дело, говорил не о недвижимости. И все-таки ощущение было именно такое. Здесь я стою, говорил он себе. Здесь, кроме того, я сижу, работаю, упражняюсь на велотренажере, смотрю телевизор, моюсь, ем и сплю. И не могу иначе.

Билл Бьюфорд пригласил его в жюри, которое должно было определить двадцатку лучших молодых британских романистов за 1993 год. В 1983 году он вошел в первый такой список[164] наряду с Иэном Макьюэном, Мартином Эмисом, Кадзуо Исигуро, Грэмом Свифтом и Джулианом Барнсом. Теперь он читал работы более молодых авторов: Джанетт Уинтерсон, Уилла Селфа, Луи де Берньера, А. Л. Кеннеди, Бена Окри, Ханифа Курейши. Другими членами жюри были А. С. Байетт[165], Джон Митчинсон из книготорговой компании «Уотерстоунз» и сам Билл. Были приятные открытия (Иэн Бэнкс) и разочарования (Сунетру Гупту, не имевшую британского гражданства, нельзя было включить в список). По поводу половины с лишним из числа писателей, попавших в окончательную двадцатку, они быстро пришли к согласию, но затем начались занятные расхождения. Он заспорил с Антонией Байетт насчет Роберта Маклиама Уилсона — и

проиграл. Ей по вился Д. Дж. Тейлор, но в этой битве теперь уже она потерпела поражение. Заспорили о том, какую из дочерей Люсьена Фрейда[166] включить в список — Эстер Фрейд или Роуз Бойт (Эстер попала в него, Роуз нет). Он был большим почитатели А. Л. Кеннеди и добился-таки ее включения, вопреки возражениям Антонии Байетт. Это были жаркие, серьезные споры, и под конец по поводу шестнадцати писателей жюри имело единое мнение, и было четыре автора, вызывавших сильные разногласия. Затем список опубликовали, и на него жадно набросились пираньи лондонского литературного пруда.

Гарри Ритчи из «Санди таймс», получив исключительные права на обнародование двадцатки и согласившись должным образом поддержать рекламу этих имен, лично разнес список в пух и прах. Он позвонил Ритчи: «Вы всех этих авторов читали? К примеру, я до того, как взялся за эту работу, читал, разумеется, не всех». Ритчи признал, что читал лишь примерно половину из этих писателей. Что не помешало ему пренебрежительно отозваться обо всех скопом. Выходит, теперь нельзя рассчитывать даже на законные пятнадцать минут милосердия: мутузить начинают немедленно. Получаешь по башке, едва вылупившись из яйца. Три дня спустя в «Гардиан» двадцатку разделал под орех Джеймс Вуд, этот злобный Прокруст от литературной критики, укладывающий свои жертвы на узкое и короткое ложе своих литературных догм, а затем раздирающий их на части или обрубающий им ноги по колено. Добро пожаловать в английскую литературу, юноши и девушки!

На рождество они с Элизабет смогли пригласить к себе на день Грэма Свифта и Кэндис Родд. На второй день Рождества к ним пришли ужинать Найджела Лоусон и Джон Дайамонд, Билл и Алисия Бьюфорд. Элизабет, любившая этот праздник и все его ритуалы — он начал ласково называть ее «рождественской фундаменталисткой», — была счастлива, что может «устроить людям Рождество». После четырех тяжелых лет они могли отмечать праздник у себя дома, у своей елки, и чем-то отплатить друзьям за годы гостеприимства и доброты.

Но ангел смерти неизменно бил крыльями где-то поблизости. У сражавшейся с раком груди Томасины, сестры Найджелы, дела шли неважно. Орландо, сын Антонии Фрейзер, попал в Боснии в тяжелую автомобильную аварию: было сломано много костей и пробито легкое. Но он выжил. Бойфренд Полли, падчерицы Иэна Макьюэна, оказался в ловушке в горящем доме в Берлине. Он не выжил.

Позвонила Кларисса, вся в слезах. Литературное агентство

«А. П. Уотт» уведомило ее о временном увольнении — на полгода. Он поговорил с Гиллоном Эйткеном и Лиз Колдер. Эту проблему было можно разрешить.

Терри О'Нил из лондонской «Санди таймс» сфотографировал его в некоем подобии клетки. Снимок предназначался для обложки воскресного журнала и служил иллюстрацией к его эссе «Последний заложник». Стискивая ржавые прутья, которые где-то нашел для него О'Нил, он задавался вопросом, настанет ли когда-нибудь день, когда журналисты и фотографы опять заинтересуются им как писателем. Это казалось маловероятным. Он только что узнал от Эндрю, что, несмотря на все усилия агентства, издательство «Рэндом хаус» отказалось взять на себя дальнейшую публикацию «Шайтанских аятов» в мягкой обложке. Время распускать консорциум еще не пришло. Впрочем, добавил Эндрю, многие крупные фигуры в «Рэндом хаус» — Фрэнсис Коуди и Саймон Мастер в лондонском офисе, Сонни Мехта в Нью-Йорке — заявили, что «возмущены» этим решением высшего руководства (того руководства, которое, отказываясь присоединяться к консорциуму, сказало, что «не позволит никакому литагентишке собой командовать») и намерены попытаться «переломить ситуацию».

Политический вояж в Дублин. Им с Элизабет предложили остановиться у Боно в Киллини. В нижней части сада Хьюсонов[167] был красивый маленький домик для гостей с широкоэкранным видом на залив Киллини. Гостей побуждали к тому, чтобы они расписывались на стене ванной, оставляли там послания и рисунки. В первый вечер он встретился с ирландскими писателями у журналиста газеты «Айриш таймс» Падди Смита, чья мать, видная писательница Дженнифер Джонстон, рассказала, как Том Машлер из издательства «Джонатан Кейп», прочтя ее первый роман, заявил ей, что она, по его мнению, не писательница и вторую книгу никогда не напишет, а раз так, эту книгу печатать он не будет. Так что звучали литературные сплетни — но была и политическая работа. Пришли бывший премьер-министр Гаррет Фицджеральд и еще несколько политиков, и все они выразили ему поддержку.

Президент Мэри Робинсон, принимая его в своей официальной резиденции в Феникс-парке — это была его первая встреча с главой государства! — сидела светила глазами и помалкивала, пока он излагал ей свою позицию. Она говорила мало, но пробормотала: «В том, чтобы слушать, греха нет». Он произнес речь на конференции «Впустите свет» в Тринити-

колледже, посвященной свободе слова, и потом, во время фуршета для участников, к нему подошла маленькая, крепко сбитая женщина и сказала, что, выступив против постановления под названием «Раздел 31», отлучавшего «Шинн Фейн»[168] от ирландского телевидения, «вы полностью обезопасили себя от нас». — «Понятно, — отозвался он, — но кто такие „мы“?» Женщина посмотрела ему в глаза. «Вы знаете, кто такие „мы“, нечего придуриваться», — сказала она. Получив эту гарантию неприкосновенности от Ирландской республиканской армии, он со спокойной душой отправился участвовать в легендарной телепередаче Гэя Берна «Шоу поздним вечером», и, поскольку Гэй сказал, что прочел «Шайтанские аяты» и роман ему понравился, почти вся Ирландия сочла, что ни в книге, ни в ее авторе ничего плохого быть не должно.

Утром он побывал в джойсовской башне Мартелло, где жил со Стивеном Дедалом сановитый, жирный Бык Маллиган, и, поднимаясь по лестнице на орудийную площадку, он, как многие до него, испытал такое чувство, словно вступает в роман. *Introibo ad altare Dei*[169], произнес он вполголоса. Затем — ланч в театре Аббатства с писателями и новым министром искусств поэтом Майклом Д. Хиггинсом, и у всех были приколоты значки «Я — Салман Рушди». После ланча двое «Салманов Рушди» — Колм Тойбин и Дермот Болджер — повезли его на прогулку к маяку на мысу Хоут-Хед (Гарда — ирландская полиция — следовала на почтительном расстоянии), и смотритель маяка Джон позволил ему включить свет. В воскресенье Боно тайком от Гарды умыкнул его в бар в Киллини, и полчаса он наслаждался пьянящей неподконтрольной свободой и пьянящим неподконтрольным «гиннессом». Когда они вернулись в дом Хьюсонов, Гарда посмотрела на Боно с печальным осуждением, но сочла за лучшее не устраивать головомойку любимцу страны.

В «Индепендент он санди» его атаковали и справа, и слева: принц Уэльский назвал его плохим писателем, чья охрана обходится стране слишком дорого, а левый журналист Ричард Готт, давний сторонник СССР, которому пришлось-таки уйти из «Гардиан», когда было доказано, что он «брал красное золото», подверг нападкам его политические взгляды и его «оторванную от действительности» манеру письма. Внезапно, словно испытав некое озарение, он почувствовал, как верно он написал в эссе «По совести говоря»: свобода всегда берется, она никогда не дается. Может быть, ему стоило бы отказаться от охраны и просто жить своей жизнью? Но имеет ли он право брать с собой в это рискованное будущее Элизабет и Зафара? Не будет ли это

безответственно? Надо будет обсудить это с Элизабет и Клариссой.

В Вашингтоне прошла инаугурация нового президента. Позвонил Кристофер Хитченс. «Клинтон определенно за вас, — сказал он. — Ручаюсь в этом». Джон Ленард[170] в журнале «Нейшн» порекомендовал вступающему в должность президенту, который слыл серьезным читателем и назвал своей любимой книгой «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркеса, прочесть «Шайтанские аяты».

«Балом тайного полицейского» называлось благотворительное шоу 1980-х в пользу «Международной амнистии», но комики и музыканты, принимавшие в нем участие, почти наверняка не знали, что у тайных полицейских действительно бывают свои балы — ну по крайней мере, масштабные гулянки. Каждую зиму, обычно в феврале, в «Пилерз»[171], большом баре-ресторане на верхнем этаже Нового Скотленд-Ярда, подразделение «А» проводило ежегодную вечеринку, и такого списка гостей не могло быть в Лондоне больше нигде. Приглашали всех, кто тогда или когда-либо в прошлом пользовался охраной, и каждый из этих «клиентов» делал все возможное, чтобы найти время прийти и поблагодарить таким образом тех, кто их охранял. Бывшие и нынешние премьер-министры, министры по делам Северной Ирландии, министры иностранных дел из правительств, формировавшихся обеими крупнейшими партиями, сплетничали и выпивали в обществе телохранителей и ВХИТов. Кроме того, команды охранников могли приглашать кое-кого из друзей и коллег их «клиентов» — тех, кто оказал особую помощь. Компания набиралась изрядная.

В те годы он не раз говорил, что если напишет когда-нибудь историю своей жизни, то озаглавит ее «Задние двери мироздания». Все могли входить с парадного входа. И лишь он должен был проникать через кухонную дверь, через дверь для персонала, через заднее окно, через мусоропровод. Даже когда его привезли в Новый Скотленд-Ярд на бал тайных полицейских, он попал в здание через подземный парковочный гараж, а наверх поднимался на запертом ради него лифте. Другие гости пользовались главным входом, его единственного впустили «с черного крыльца». Но, оказавшись в «Пилерз», он полноправно влился в счастливую компанию — счастливую, помимо прочего, оттого, что из напитков предлагались только шотландское виски и джин в огромных стаканах, — и все члены «его» команд наперебой приветствовали его веселым «Джо!».

Служба охраны с особым удовольствием сводила на этих

вечеринках между собой «клиентов», которые вряд ли могли бы встретиться где-нибудь еще, — просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Его провели через толпу туда, где стоял подле заботливой жены сутуловатый ослабевший старик с остатками знаменитых некогда усов. Между прочим, ему довелось уже однажды столкнуться с Иноком Пауэллом[172] — давно, в семидесятые, когда он жил у Клариссы на Лоуэр-Белгрейв-стрит. Он зашел в «Куинланз», местный магазин газет и журналов, купить газету — и тут навстречу ему Пауэлл, который был тогда в зените славы и во всеоружии демонического взора; после его антииммигрантской речи о «реках крови», погубившей его политическую карьеру, прошли всего несколько лет. *Как римлянину, мне видится река Тибр, вспенившаяся от крови,* сказал Пауэлл, выражая страх всех британских расистов перед смуглыми чужеземцами. В тот день в «Куинланз» не склонный к насилию молодой иммигрант, повстречавшись с покрывшим себя сомнительной славой Иноком, поймал себя на том, что ему всерьез хочется дать Пауэллу по носу, и потом он всегда немножко корил себя за то, что этого не сделал. Впрочем, на Лоуэр-Белгрейв-стрит обитало много таких, кому неплохо было бы расквасить нос, — взять, к примеру, госпожу Сомосу, жену никарагуанского диктатора, жившую по соседству, в доме 35, или этих милых Луканов из дома 46 (лорд Лукан в то время еще не покушался на убийство жены, довольствовавшись убийством няни; но к этому шло). Стоит только начать расквашивать носы — и неизвестно, где остановишься. Поэтому, может быть, он и правильно сделал, отойдя от Инока с его пылающими глазами и постгитлевской растительностью над верхней губой.

Прошло двадцать лет — и снова перед ним Пауэлл. «Не надо, — сказал он своим охранникам. — В общем, я бы не хотел». Но в ответ раздалось: «Да ладно вам, Джо! Из него песок уже сыплется, чего вам стоит!» И довод, заставивший его сдаться: «Миссис Пауэлл, Джо, — сказал Стэнли Долл. — Ей тяжело живется, надо смотреть за старичком. Она правда хочет с вами познакомиться. Это много для нее значит». На Маргарет Пауэлл они с Элизабет, так и быть, согласились. В молодости она жила в Карачи в том же районе, что и его родственники, и ей хотелось поболтать о старых временах. Старый согбенный Инок молча стоял рядом с ней и изредка кивал, слишком дряхлый, чтобы его имело смысл бить по носу. Пробыв около нее столько, сколько требовала вежливость, он извинился, взял Элизабет за локоть, повернулся — и видит: стоит Маргарет Тэтчер с сумочкой и налаченными волосами, смотрит на него и улыбается своей кривой улыбочкой.

Ему и в голову не могло прийти, что Железная Леди — такая трогалка и щупалка. На протяжении всего их короткого разговора бывший премьер-министр постоянно возлагала на него руки. *Здравствуйте, дорогой мой,* рука легонько касается тыльной стороны его ладони, *как вам живется?* рука начинает ласкать его предплечье, *эти великолепные мужчины хорошо о вас заботятся?* рука уже на его плече, и надо срочно что-то ответить, сказал он себе, пока она не принялась гладить ему щеку. «Да, спасибо», — проговорил он, и она кивнула своим знаменитым кивком китайского болванчика. *Хорошо, хорошо,* ладонь опять ласкает его руку, *что ж, смотрите в оба,* и на этом бы все и кончилось, если бы не вмешалась Элизабет, которая очень твердым тоном спросила, что полагает сделать британское правительство, чтобы положить конец угрозам. Госпожа Тэтчер была слегка удивлена тем, что столь жесткие слова слетели с губ этой миловидной молодой особы, и ее осанка стала чуть более напряженной. *О, дорогая моя,* и теперь она уже гладит Элизабет, *понимаю, как сильно вас это тревожит, но, боюсь, ничего не изменится, пока не изменится режим в Тегеране.* «И это все? — спросила Элизабет. — К этому сводится ваша политика?» Тэтчер убрала руку. Острый взгляд ушел в никуда и сфокусировался на бесконечности. Неопределенный кивок, протяжное *м-м-м*, и она ушла.

Элизабет весь оставшийся вечер была злая. *И это все? Весь их план?* Но он вспоминал, как Маргарет Тэтчер ласкала его руку, и улыбался.

Четвертая годовщина фетвы, как и предыдущие, ознаменовалась вспышкой страстей. Обычные леденящие душу звуки донеслись из Тегерана, где аятолла Хаменеи, президент Рафсанджани, спикер меджлиса Натек-Нури и другие были явно выведены из себя ростом противодействия на официальном уровне их маленькому человеконенавистническому плану. Отповеди их угрозам прозвучали и в конгрессе США, и в комиссии ООН по правам человека, и даже из уст британского правительства. Дуглас Херд говорил на эту тему в Страсбурге, а в Женеве его заместитель Дуглас Хогг назвал дело Рушди «вопросом чрезвычайной важности, касающимся прав человека». Норвегия заблокировала нефтяную сделку с Ираном; кредит на миллиард долларов, который обещала Ирану Канада, также был заблокирован. А что касается его самого, он был в неожиданном месте: проповедовал — или, поскольку он не был священнослужителем, лучше сказать: выступал — с кафедры капеллы Кингз-колледжа в Кембридже.

Перед выступлением настоятель капеллы предупредил его об

эхе. «После каждых нескольких слов делайте паузу, — сказал он, — иначе из-за отзвуков вас не расслышат». Он почувствовал, что его посвящают в тайну: вот, значит, почему проповеди всегда так звучат. «Это здание — напоминает всем — кто в него входит — о самом красивом — что содержит в себе — религиозная вера», — начал он и подумал: *Я вещаю как архиепископ.* И, продолжая вещать в Божьем храме, заговорил о светских доблестях, о своей скорби из-за гибели тех, кто сражался за правое дело, — Фарага Фауды в Египте, а теперь и самого популярного турецкого журналиста Угура Мумку, убитого бомбой в своей машине. Безжалостность благочестивых обесценивала их претензии на добродетель. «Если капеллу Кингз-колледжа — можно рассматривать — как символ — всего лучшего — что есть в религии, — произнес он с лучшей своей священнической дикцией, — то фетва — стала символом всего — что в ней есть худшего. Саму эту фетву — можно назвать — шайтанскими аятами — наших дней. В ней зло — в очередной раз — надевает личину — добра — и верующие — оказываются — обмануты».

26 февраля 1993 года группа террористов, возглавляемая кувейтцем Рамзи Юсефом, взорвала бомбу во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Шесть человек погибли, более тысячи были ранены, но башни не рухнули.

Друзья говорили ему, что кампания идет чем дальше, тем эффективней, что у него очень хорошо все получается, но слишком часто его одолевало то, что Уинстон Черчилль называл «черным псом» депрессии. На публике он мог сражаться, он научился делать то, что надлежало делать. Но, приезжая домой, он нередко разваливался на части, и Элизабет должна была склеивать его заново. Дэвид Гор-Бут сказал ему, что министерство иностранных дел обращалось к «Бритиш эйруэйз», но авиакомпания по-прежнему наотрез отказывается его перевозить. Том Филлипс закончил портрет «мистера Живчика» и предложил Национальной портретной галерее, но она отказалась его приобретать «в настоящий момент». Когда приходили новости подобного сорта, он иной раз слишком много пил — а ведь до фетвы за ним никогда такого не водилось, — и, неспособный сдерживать своих демонов, выпускал на волю некоторое количество пьяной злости. Том Филлипс подарил ему «мистера Живчика», он захотел повесить картину и, не найдя своего ящика с инструментами, впал в ярость, которой Элизабет не могла вынести: она разразилась потоком слез. Плача, она сказала ему, что его идея отказаться от охраны — безумная идея и что она не

будет с ним жить в неохраняемом доме. Если он откажется от охраны, то останется здесь один.

После этого он бережней обращался с ее чувствами. Ему повезло, что с ним рядом эта храбрая, любящая женщина, и ни в коем случае нельзя позволить себе все испортить. Он решил исключить алкоголь совсем, и, хотя полного успеха в этом он добиться не смог, вечерним излишествам пришел конец и вернулась умеренность. Он не даст осуществиться проклятью Мэриан, он не превратится в своего алкоголика-отца. А Элизабет не превратится в его долготерпеливую страдалицу мать.

Дорис Лессинг писала мемуары и позвонила, чтобы их обсудить. Метод Руссо, сказала она, единственно возможный: просто пиши правду, чем больше правды — тем лучше. Но сомнения и колебания были неизбежны. «В то время, Салман, я была довольно привлекательной женщиной, и с этим связаны некоторые обстоятельства, о которых вы, возможно, не подумали. Люди, с которыми у меня были романы или чуть-чуть не дошло до романов… многие из них были люди хорошо известные, а некоторые еще живы. Я, безусловно, думаю о Руссо, — добавила она, — и надеюсь, что эта книга будет откровенной в эмоциональном плане, — но надо ли мне быть откровенной в отношении эмоций других людей?» Впрочем, заключила она, настоящие проблемы начнутся во втором томе. А она пока еще работала над первым томом, герои которого либо умерли, либо «им уже все равно». Хихикая, она отправилась писать дальше, чем побудила и его сесть за письменный стол. Он не стал ей говорить, что вновь рассматривает возможность отказаться от писательства, пытается представить себе, какой мирной, спокойной и, может быть, даже радостной могла бы тогда сделаться жизнь. Но книгу, над которой работал, он твердо был намерен закончить. Прощальный вздох хотя бы.

И книга пусть медленно, но продвигалась вперед. В Кочине Авраам Зогойби и Аурора да Гама полюбили друг друга «перечной любовью».

В средине марта он наконец смог полететь в Париж. Едва он сошел с самолета, как его окружили устрашающего вида ребята RAID и сказали, что он должен в точности — *в точности* — исполнять все их указания. На большой скорости они повезли его к Большой арке Дефанс, и там его ждали Жак Ланг — министр культуры и номер второй во французском правительстве — и Бернар-Анри Леви[173]. Они ввели его в зал. Он постарался забыть о гигантской операции служб безопасности вокруг Арки и сосредоточиться на ожидавшей его необычайной компании: присутствовала, казалось, вся французская интеллигенция и вся политическая элита страны как правой, так и левой ориентации. (Кроме Миттерана. В те годы во Франции — всегда *sauf Mitterand*.) Там сошлись и тепло общались между собой Бернар Кушнер и Николя Саркози, Ален Финкилькраут и Хорхе Семпрун, Филипп Соллерс и Эли Визель. А еще — Патрис Шеро, Франсуаза Жиру, Мишель Рокар, Исмаил Кадаре, Симона Вейль. Кого только не было!

Жак Ланг во вступительном слове сказал: «Мы должны сегодня поблагодарить Салмана Рушди: он объединил

французскую культуру». Это вызвало взрыв смеха. Потом два часа были плотно заполнены вопросами и ответами. Он надеялся, что произвел хорошее впечатление, но времени проверять, так ли это, у него не было: как только встреча окончилась, люди из RAID мигом вывели его из зала и умчали на максимальной скорости. Его отвезли в британское посольство, где, формально находясь на британской территории, он только и мог в Париже провести ночь. Одну ночь. Посол Великобритании Кристофер Маллаби встретил его чрезвычайно дружелюбно и был очень любезен; оказалось, он даже читал кое-что из его книг. Однако ему дали понять, что это разовое приглашение. Ему не следовало считать посольство своим отелем в Париже. На следующее утро его отвезли в аэропорт, и он покинул Францию.

По дороге в посольство и из посольства он, к своему изумлению, заметил, что *площадь Согласия закрыта для транспорта.* Все пути, ведущие на площадь и с площади, были блокированы полицейскими, чтобы он внутри образованного RAID кортежа мог пронестись через нее без помех. Это наполнило его печалью. Он не хотел быть человеком, ради которого перекрывают площадь Согласия. Кортеж проехал мимо маленького бистро, и все, кто пил снаружи кофе, сидя под навесом, глядели в его сторону — глядели с любопытством, к которому примешивалась толика неприязни. *Интересно,* подумал он, *стану ли я когда-нибудь снова одним из тех, кто пьет кофе на тротуаре и смотрит, как мир течет мимо?*

Дом был красив, но казался золотой клеткой. Он научился отбивать атаки исламистов; неудивительно, в конце концов, что фанатики и изуверы продолжают вести себя как изуверы и фанатики. Труднее было справляться с немусульманскими нападками в Великобритании, которых становилось больше, и с явным двуличием Форин-офиса и правительства Джона Мейджора, которые постоянно обещали одно, а делали другое. Он написал яростную статью, где выразил весь свой гнев и все свое разочарование. Менее горячие головы — Элизабет, Фрэнсис, Гиллон — уговаривали его не публиковать ее. Потом, оглядываясь назад, он думал, что зря послушался их совета. Всякий раз, когда он в этот период своей жизни решал промолчать — например, в первый год, между фетвой и выходом «По совести говоря», — впоследствии он чувствовал, что это молчание было ошибкой.

В понедельник 22 февраля канцелярия премьер-министра объявила, что мистер Мейджор в принципе согласен встретиться

со мной и продемонстрировать тем самым решимость правительства отстаивать свободу выражения мнений и право граждан этой страны не становиться жертвами убийц, получающих деньги от иностранной державы. Позднее была назначена дата этой встречи. И тут же на задних скамьях парламента в среде тори началась шумная кампания за ее отмену, поскольку, мол, она может помешать британскому «партнерству» с муллами-убийцами из Тегерана. Встречу — дата которой была, как меня заверяли, определена «абсолютно твердо» — сегодня отложили без объяснения причин. По любопытному совпадению, предложение о визите в Иран в начале мая британской торговой делегации может, как выясняется, теперь быть реализовано без осложнений. Иран приветствует этот визит — первую такую поездку за четырнадцать лет после революции Хомейни — как «прорыв» в отношениях между двумя странами. Иранское агентство новостей утверждает, что британцы пообещали Ирану кредит.

Становится все труднее сохранять веру в решение Форин-офиса вести на международном уровне новую, «более твердую» линию против печально знаменитой фетвы. Ибо мы не только суетливо кидаемся делать бизнес с диктаторским режимом, который администрация США называет «международным изгоем» и клеймит как ведущего мирового спонсора терроризма, — мы еще и готовы ссудить этому режиму деньги, с помощью которых он будет делать с нами бизнес. Между тем мне, как я понимаю, должна быть предложена новая дата, когда могла бы состояться наша маленькая встреча. Однако никто из дома 10 по Даунинг-стрит со мной не говорил и мне не писал.

Сформированная тори «антирушдистская» группа давления, само название которой говорит о том, что ее члены хотят перевести принципиальный вопрос в личную плоскость, включает в себя сэра Эдварда Хита и Эмму Николсон, а также известного апологета иранских интересов Питера Темпла-Морриса. Эмма Николсон говорит нам, что прониклась к иранскому режиму (который по числу убитых, искалеченных и подвергнутых пыткам собственных граждан был недавно признан ООН одним из худших в мире) «уважением и симпатией»; сэр Эдвард, которого до сих пор охраняет Особый отдел, поскольку двадцать лет назад британцы имели несчастье испытать на себе прелести его катастрофического премьерства, критикует решение предоставить сходную охрану другому британцу, находящемуся ныне в большей опасности, чем он. Все эти люди согласны в одном: кризис случился по моей вине. Им не важно, что более двухсот виднейших иранских эмигрантов подписали заявление о том, что безоговорочно меня

поддерживают. Им не важно, что эти писатели, мыслители, журналисты и ученые, живущие в разных странах мусульманского мира — там, где день ото дня набирают силу атаки на инакомыслие, на прогрессивные и в первую очередь светские идеи, — сказали британским СМИ, что для них «защищать Рушди — значит защищать себя самих». Им не важно, что книга «Шайтанские аяты», законный плод свободного воображения, имеет много сторонников (а там, где есть хотя бы два разных мнения, должны ли сжигатели книг иметь последнее слово?), а ее противники не сочли нужным постараться ее понять.

Иранские власти признали, что Хомейни в глаза не видел этого романа. Исламские правоведы вынесли заключение, что фетва противоречит исламскому закону, не говоря уж о международном законодательстве. Тем временем иранская пресса объявила о премии — шестнадцать золотых монет плюс паломничество в Мекку — за карикатуру, «доказывающую», что «Шайтанские аяты» — никакой не роман, а тщательно спланированный заговор Запада против ислама. Не создается ли временами впечатление, что вся эта история — чернейшая из черных комедий, цирковой номер, разыгрываемый клоунами-убийцами?

За последние четыре года я подвергся многим поношениям. Намерения подставлять другую щеку у меня нет. Если заслуживали резкой критики те левые, что поддакивали коммунистическим режимам, и те правые, что стремились умиротворить нацистов, то друзья революционного Ирана — бизнесмены, политики и британские фундаменталисты — заслуживают такого же презрительного отношения.

Полагаю, мы достигли поворотной точки. Либо мы серьезно относимся к защите свободы, либо нет. Если да, то, я надеюсь, мистер Мейджор в самое ближайшее время вспомнит о своем обещании и перестанет прятать голову в песок. Я был бы очень рад возможности обсудить с ним пути усиления давления на Иран — в Европейском сообществе, через посредство Содружества наций и ООН, через Международный суд. Иран нуждается в нас сильнее, чем мы в Иране. Нам следовало бы не трястись от страха, когда муллы грозятся перерезать торговые связи, а самим закручивать экономические гайки. Из своих разговоров с людьми разной партийной принадлежности в Европе и Северной Америке я вынес ощущение, что широкий интерес как возможная первоначальная мера вызывает запрет на любые кредиты Ирану. Но все ждут первого шага со стороны британского правительства. В сегодняшней газете, однако, Бернард Левин высказывает предположение, что ни много ни мало две трети парламентариев-

тори были бы в восторге, если бы иранским убийцам удалось со мной расправиться. Если эти депутаты действительно представляют наш народ — если мы так равнодушны к нашим свободам, — да будет так: снимите охрану, раскройте мое местонахождение, и пусть летят пули. Либо одно — либо другое. Пора решать.

Долго откладывавшаяся встреча с Джоном Мейджером наконец состоялась 11 мая в его кабинете в палате общин. Перед тем как поехать, он поговорил с Найджелой Лоусон, и ее рассудительность очень ему помогла. «Он никак не может отвертеться от того, чтобы тебя поддержать, — сказала она. — На тебя работает плохое состояние экономики: раз он не может похвастаться экономическими успехами, ему надо набирать очки на моральном фронте». Она, кроме того, сообщила ему хорошую новость: она ждала ребенка. Он сказал об этом Элизабет, зная, что она сама очень хотела бы забеременеть. Но как могли они решиться завести ребенка среди этого кошмара, в этой комфортабельной тюрьме? К тому же из-за хромосомной транслокации беременность не могла не превратиться в биологическую рулетку. Человеку, которому предстояло упрашивать премьер-министра помочь ему спасти свою жизнь, вряд ли следовало думать о новом отцовстве.

Премьер не улыбался своей фирменной улыбкой хорошего парня и не говорил о крикете. Он соблюдал дистанцию, был даже, возможно, несколько настороже, предполагая, что его могут попросить о чем-то таком, чего он не захочет делать. Он напрямик сказал, что фотосъемки на этой встрече не будет, потому что он хочет «минимизировать реакцию Ирана и наших парламентских заднескамеечников». Начало, прямо скажем, малообещающее.

«Я хочу поблагодарить вас за четыре года охраны, — сказал он Мейджору. — Я бесконечно благодарен людям, которые защищают меня с риском для собственной жизни». Мейджор этого явно не ожидал. Это был не тот Рушди, которого он предполагал увидеть, не тот, кого «Дейли мейл» обозвала «невоспитанным, угрюмым, грубым, глупым, брюзгливым, непривлекательным, ограниченным, заносчивым и эгоцентричным» человеком. Сразу стало ясно, что в голове у премьера был образ, нарисованный «Дейли мейл» (она опубликовала редакционную статью, направленную против этой встречи). «Может быть, вам следовало бы почаще говорить такие вещи публично, — сказал Мейджор, — чтобы исправить впечатление, которое люди о вас составили». — «Господин премьер, — возразил он, — я говорю это всем

журналистам, с какими встречаюсь». Мейджор неопределенно кивнул, но держаться после этого стал более непринужденно и дружелюбно. Далее разговор шел хорошо. Не первый и не последний раз его собеседник обнаруживал, что, стоит только избавиться от созданного таблоидами карикатурного стереотипа, как окажется, что на самом деле он легкий в общении человек. «А вы поправились», — внезапно сказал Мейджор. «Спасибо большое, господин премьер», — отозвался он. «Вам бы мою работу, — заметил ему премьер-министр, — похудели бы в два счета». — «Отлично, — сказал он. — Беру вашу работу, если вы берете мою». После этого они почти подружились.

Мейджор согласился, что надо вести более твердую линию. «Вам следовало бы поехать в Японию, пристыдить их и заставить действовать», — сказал он. Они обсудили возможность принятия резолюции Содружеством наций, чтобы Иран не мог характеризовать проблему как расхождение во взглядах между Востоком и Западом. Поговорили о Международном суде ООН; Мейджор не хотел, чтобы дело было передано туда, поскольку считал, что не надо «загонять Иран в угол». Они согласились, что очень ценна была бы встреча с президентом Клинтоном. Он передал премьер-министру слова Пикко, который вел от имени ООН переговоры об освобождении заложников. *Ключевой фактор — США*. Мейджор кивнул и бросил взгляд на своих помощников. «Что ж, посмотрим, в чем мы сможем помочь», — сказал он.

Когда сообщение о встрече, наряду с заявлением премьер-министра, осуждающим фетву, появилось в печати, иранская государственная газета «Кайхан» отреагировала злобно. «Автор „Шайтанских аятов“ в самом буквальном смысле получит втык». Это был покер с высокими ставками. Он осознанно старался повысить начальную ставку, и пока что иранцы держались, отказывались сдать партию. Но теперь у него был один путь. Повышать ее дальше.

Позвонила Кларисса: у нее обнаружили опухоль в груди, «и четыре шанса из пяти, что это рак». Через шесть дней должны были сделать лампэктомию, результат — еще неделю спустя. Голос ее дрожал, но обычная ее стоическая отвага оставалась при ней. Он был страшно потрясен. Перезвонил ей через несколько минут и предложил оплатить частное лечение — все, что потребуется. Они поговорили о том, удастся ли избежать полной мастэктомии, и он передал ей слышанное от Найджелы и Томасины: что хорошо лечат рак груди в больнице Гая, где работает врач по фамилии Фентиман. В журнале «Санди таймс» была публикация о раке груди с фотографией на обложке, и там

тоже фигурировал доктор Фентиман. Он подумал: *Она должна с этим справиться. Она этого не заслужила. Она справится.* Они с Элизабет готовы были сделать все от них зависящее. Но перед лицом смертельно опасной болезни человек всегда одинок. Зафару тоже придется принять бой — Зафару, у которого уже за плечами четыре года страха за одного из родителей. Удар пришел не оттуда, откуда он его ждал. Беда теперь грозила матери, с которой ничего, казалось, не должно было случиться. Он не мог не думать о том, что может произойти. Как он обеспечит Зафару сносную жизнь, если мальчик лишится матери? Ему придется жить в этом засекреченном доме — но как же школа, друзья, жизнь в «реальном» мире? Как он поможет сыну залечить рану от такой ужасной утраты?

Полжизни, сказал он Элизабет, ты карабкаешься к свету. Потом получаешь свои пять минут на солнце, и тебя утаскивают обратно в темноту, где тебя ждет смерть. И едва он это сказал, как ему послышалось, что эти слова произносит Флори Зогойби — мать Авраама из «Прощального вздоха Мавра». Неужели нет предела бесстыдству литературного воображения? Да. Предела ему нет.

Он поделился новостью о Клариссе и угрозе рака с телохранителем Диком Биллингтоном, и Дик сказал на это: «Ну, женщины — они вечно чем-нибудь заболевают».

Самин сказала ему, что у нее был долгий разговор с Клариссой, которой захотелось вспомнить старые дни. Кларисса держалась мужественно, но призналась: ей кажется, что «столько невезения ей не положено». Болезнь Кларисссы навела Самин на мысли о ее собственной смертности. Она спросила его, согласен ли он стать опекуном ее дочерей, если она и их отец умрут.

Он ответил, что конечно же согласен, но, учитывая опасность, грозящую ему самому, ей нужен и запасной план.

В «Бартс» (больнице Сент-Бартоломью) были получены результаты анализов, и они оказались очень плохими. У Клариссы была инвазивная протоковая карцинома, которая, судя по всему, возникла полтора года назад, но была обнаружена только теперь. Нужна была радикальная хирургия. Рак, вероятно, успел распространиться по лимфатической системе. Необходимы были анализы крови, надо было проверить легкие, печень и костный мозг. Говоря, она контролировала свой голос, но он чувствовал в нем ужас. Зафар, сказала она, обнимает ее изо всех сил и едва сдерживает слезы. Она уже приучила себя, проявив огромную силу духа, к мысли о необходимости мастэктомии — но как ей быть, спросила она, если окажется плохо с печенью, с костным мозгом? Как ей жить, сознавая неизбежность ранней

смерти?

Он позвонил Найджеле. Она знала одного специалиста, который пробовал — и небезуспешно — новые методы борьбы с раком печени. Это была соломинка, за которую можно было ухватиться. Но именно что соломинка.

Приехал Зафар, остался ночевать. Мальчик подавлял свои чувства. Его мать в тяжелых ситуациях всегда вела себя так же. «Как мама?» — «Отлично». Лучше было позволить ему переварить плохую новость медленно, с его собственной скоростью, чем усаживать перед собой и пугать.

Кларисса побеседовала с ним и произнесла слово «рак». Он сказал ей в ответ: «Ты мне это уже говорила». Но она не говорила.

Новые результаты анализов. В крови, легких, печени и костном мозге Клариссы раковых клеток не нашли. Но у нее «плохой рак», сказали ей. Мастэктомии не избежать, и придется, кроме того, удалить десять лимфатических узлов. Она хотела услышать мнение еще одного специалиста. Он хотел дать ей такую возможность. Пообещал покрыть все издержки. Она обратилась к весьма уважаемому онкологу из Хаммерсмитской больницы по фамилии Сикора, и тот сказал, что не считает мастэктомию необходимой. После того как удалят саму опухоль, достаточно будет химиотерапии и лучевой терапии. Услышав, что можно будет сохранить грудь в целости, она приободрилась необычайно. Она была красивая женщина, и примириться с мыслью, что эта красота пойдет под нож, ей было нелегко. Затем она пошла к хирургу по фамилии Линн, которому предстояло делать лампэктомию, и он оказался неприятным человеком. *Милая моя,* говорил он ей елейным тоном, *золотко, ну почему вы так противитесь этой операции?* Ей нужна мастэктомия, сказал он ей, что прямо противоречило мнению Сикоры, главы онкологического отделения, лишало ее новообретенной твердости духа и ставило под сомнение переход в Хаммерсмитскую больницу из «Бартс», где работали симпатичные ей врачи, чьи заключения она ценила. Она ударилась в панику и два дня, пока ей не удалось еще раз поговорить с Смкорой, была близка ка к истерике. Он успокоил ее, сказав, что врачи будут придерживаться предложенного им плана. Она пришла в себя, и они с Зафаром на неделю отправились в велосипедную поездку по Франции.

Самин сказала ему, что, по мнению ее друга Кишу, нью-йоркского хирурга, с таким инвазивным раком шутки плохи и мастэктомия все-таки необходима. Но возможность обойтись без мастэктомии неимоверно поднимала дух Клариссы. А советовать ей что-либо было трудно. Она не хотела слушать его советов.

Позвонил его юрист Берни Саймонс. Получено условно-окончательное решение суда о его разводе с Мэриан, до окончательного решения осталось несколько недель. Ах да, вспомнил он. Я же еще не разведен.

Он получил послание от Бернара-Анри Леви. Хорошая новость: ему присудили очень престижную (*très important*) швейцарскую премию Колетт[174] — премию Женевской книжной ярмарки. Ему надо приехать в Швейцарию на следующей неделе и получить премию на торжественной церемонии во время ярмарки. Но швейцарское правительство объявило его нежелательным визитером и отказалось обеспечивать полицейскую охрану. Он вспомнил слова мистера Гринапа, что он подвергает опасности население посредством своей тяги к самовозвеличению. Что ж, в данном случае швейцарские гринапы взяли верх. Самовозвеличения не будет. Население Швейцарии может спать спокойно. Все, что он мог сделать, — это позвонить в то помещение Женевской книжной ярмарки, где вручалась премия. Бернар-Анри Леви в своем выступлении сказал, что премия присуждена ему единодушным решением жюри. Председательница жюри мадам Эдмонда Шарль-Ру заявила, что это решение принято «в духе Колетт», которая «боролась против нетерпимости». Однако наследников Колетт присуждение ему премии взбесило: похоже, они не разделяли мнения мадам Шарль-Ру, что наградить Салмана Рушди — это «в духе Колетт». Их гнев выразился в том, что они запретили использовать имя Колетт в будущем. Так что он стал последним лауреатом премии Колетт.

У него был не в меру любопытный сосед — пожилой господин по имени Берти Джоуэл. Однажды мистер Джоуэл подошел к воротам и сказал по внутренней связи, что просит кого-нибудь подойти к его дому «не позднее чем через пятнадцать минут». Элизабет дома не было, так что идти должен был кто-то из охраны. Все напряглись: неужели личность мистера Антона раскрыта? Но оказалось, речь идет всего-навсего о засорившейся канализационной трубе, которая проходила по обеим территориям. Фрэнк Бишоп, новый начальник его охраны, был человек постарше, приветливый, с хорошо подвешенным языком, а еще страстный любитель крикета и член Марилебонского крикетного клуба. Выяснилось, что Берти Джоуэл тоже состоит в этом клубе и был знаком с отцом Фрэнка. Общность интересов развеяла все подозрения. «Рабочие сказали мне, что весь дом обшивается сталью, и я подумал — не замешана ли тут мафия?»

— признался Берти Джоуэл, но Фрэнк отшутился и успокоил его. Когда он вернулся и пересказал всем свой разговор с соседом, с парнями от облегчения чуть ли не истерика случилась «Я чистенько с работал, Джо, — похвастался Фрэнк. — Добился результата».

Были и другие подобные моменты. Однажды электрические ворота заклинило в открытом состоянии, и человек, как две капли воды похожий на поэта Филипа Ларкина, вошел на территорию и стал оглядывать двор. В другой день на тротуаре увидели мужчину на стремянке, пытавшегося сфотографировать дом поверх живой изгороди. Оказалось, он готовит газетную публикацию о переходе домов на этой улице в собственность кредиторов. А как-то раз обратили на себя внимание человек на мопеде и припаркованный на той стороне улицы «вольво», в котором сидели трое и «вели себя странно». В такие дни он думал: Может быть, поблизости и впрямь рыщут убийцы, может быть, мне и впрямь недолго осталось жить. Но все эти тревоги оказались ложными. Дом не был «засвечен».

Берни Саймонс скоропостижно умер — милый, незаменимый Берни, адвокат целого поколения британских левых, мудрейший и сердечнейший из людей, юрист, который защищал его от судебных исков мусульман и был бесценным союзником в борьбе против угрозы Хаули и Хэммингтон снять охрану. Берни было только пятьдесят два. В Мадриде, куда он поехал на конференцию, он поужинал в отеле, поднялся наверх — и тут с ним случился сильнейший сердечный приступ, и он упал ничком на ковер. Быстрый конец после хорошей трапезы. Хотя бы в этом было что-то уместное. По всему Лондону люди звонили друг другу и делились горем. Он поговорил с Робертом Маккрамом, Кэролайн Мичел, Мелвином Брэггом. Роберту он сказал: «Это такой ужас… Хочется взять трубку, позвонить Берни и попросить его все уладить».

Рановато было находить людей своего поколения на страницах некрологов, но на следующий день он увидел там имя Берни, как видел в прошлом году имя Анджелы Картер и как боялся вскоре увидеть имя Клариссы. А у Эдварда Саида был ХЛЛ — хронический лимфолейкоз, у Гиты Мехты тоже диагностировали рак, и ей потребовалась операция. Крылья, взмахи черных крыльев. Приговорен к смерти был он, но падали те, кто его окружал.

В начале июня Элизабет отвезла Клариссу в Хаммерсмитскую больницу на очередное хирургическое обследование. Результат был обнадеживающим. Хирург мистер Линн сказал, что «больше

рака не видит». Так что, может быть, они захватили болезнь вовремя и Кларисса будет жить. Она была убеждена, что все хорошо. Лучевая терапия уничтожит все раковые клетки, какие остались, и, поскольку из лимфатических узлов затронут «только один, самый маленький», без химиотерапии, она надеялась, можно будет обойтись. Он испытывал сомнения на этот счет, но придержал язык.

Эдвард Саид сказал, что уровень лейкоцитов в крови у него растет и скоро ему, возможно, понадобится химиотерапия. «Но я ходячее чудо», — заметил он. Его врач написал про ХЛЛ «целую книгу» — это был доктор Канти Раи, специалист индийского происхождения, работавший на Лонг-Айленде; после его исследований природы этой болезни стадии ХЛЛ стали называть стадиями Раи. Итак, Эдвард, который, пока не заболел всерьез, был склонен к ипохондрии, а заболев, мигом стал храбрецом и героем, находился под наблюдением лучшего из врачей и сражался с недугом изо всех сил. «А вы у нас тоже ходячее чудо, — сказал ему Эдвард. — Мы оба с вами живы, хотя не имеем на это права». Эдвард сказал, что видел в «Нью-Йорк таймс» интервью с аятоллой Санеи — тем самым, с «Баунти». «Его сфотографировали на фоне стены с плакатом, на котором вы горите в аду. Он сказал: *дорога в рай расчистится, когда Рушди умрет*». Эдвард издал могучий смешок и взмахнул руками, словно отгоняя слова щедрого на вознаграждение Санеи.

В свой сорок шестой день рождения он пригласил друзей ужинать. К тому времени Особый отдел составил список людей, заслуживающих доверия, — близких друзей, которых полицейские за прошедшие годы неплохо узнали, людей надежных, умеющих держать язык за зубами. Билл Бьюфорд принес чудесное вино «кот-дю-рон», Гиллон — «пюлиньи-монтраше». Полин Мелвилл подарила ему гамак, Найджела — очень красивую голубую льняную рубашку. Джон Дайамонд счастливо отделался, когда автобус, проехав на красный свет на скорости 40 миль в час, ударил его машину прямо по водительской двери. К счастью, дверь выдержала.

Антония Фрейзер и Гарольд Пинтер подарили ему экземпляр стихотворений Гарольда, вышедших малым тиражом. (Если у Гарольда был твой номер факса, ты время от времени получал от него стихи и должен был немедленно их хвалить. Одно из стихотворений называлось «Лен Хаттон» — в память великого крикетиста сборной Англии. *Я видел Хаттона в расцвете сил, / Когда моложе был, / Когда моложе был.* Конец. Драматург Саймон Грей, закадычный друг Гарольда, позволил себе никак не отозваться на это произведение, и Гарольд, позвонив, упрекнул

его. «Прости меня, Гарольд, — сказал Саймон. — Я не успел его дочитать». Мистер Пинтер не понял шутки.)

Видный алжирский писатель и журналист Тахар Джаут был убит выстрелом в голову — он стал третьим крупным интеллектуалом, после Фарага Фауды в Египте и Угура Мумку в Турции, убитым за год. Он пытался привлечь к этим преступлениям внимание западных СМИ, но они почти не проявили к ним интереса. Его собственная кампания, похоже, буксовала. Кристофер Хитченс услышал от британского посла в Вашингтоне сэра Робина Реника, что встреча с Клинтоном может состояться не раньше осени. Фрэнсис и Кармел часто ссорились между собой, а потом дружно ссорились с ним. Он поделился с ними своим почти-отчаянием, потребовал, чтобы они не опускали руки, и они возобновили борьбу.

Он во второй раз слетал в Париж, чтобы выступить на собрании Всеобщей академии культуры в величественном зале Лувра, где было очень много позолоты, фресок и писателей: Эли Визель, Воле Шойинка, Яшар Кемаль, Адонис, Исмаил Кадаре, Синтия Озик… и Умберто Эко. Он только написал на роман Эко «Маятник Фуко» самую разгромную рецензию из всех им написанных. Эко устремился к нему — и повел себя в высшей степени сердечно. Раскрыл объятия и воскликнул: «Рушди! Я Эко, который пишет бредя-а-атину!» После этого у них установились прекрасные отношения. (Впоследствии, приняв в свою компанию Марио Варгаса Льосу, они образовали литературное трио, которое Эко назвал «Три мушкетера», «потому что сперва мы враждовали, а теперь мы друзья». Варгас Льоса критиковал Салмана за то, что он слишком левый, Эко критиковал Марио за то, что он слишком правый, Салман критиковал Эко за манеру письма, но, встречаясь, они ладили между собой великолепно. «Три мушкетера» с успехом выступали в Париже, Лондоне и Нью-Йорке.)

Меры безопасности были избыточны до идиотизма. Славные ребята из RAID заставили администрацию Лувра закрыть музей на весь день. Повсюду — множество людей с ручными пулеметами. Ему не позволяли подходить к окну. А во время перерыва, когда все писатели пошли к спроектированной И. М. Пеем стеклянной пирамиде, чтобы спуститься пообедать, RAID заставила его какую-то сотню шагов от крыла Лувра, где проходило собрание, проехать в машине, и вокруг пирамиды расхаживали многочисленные парни в зеркальных солнечных очках с мощным оружием наготове. Это было хуже чем помешательство; на это было неловко смотреть.

Ближе к вечеру люди из органов безопасности сообщили, что министр внутренних дел Шарль Паскуа отказался позволить ему провести ночь во Франции, поскольку это было бы слишком дорого. Но, возразил он, и Бернар-Анри Леви, и Бернар Кушнер с Кристин Окран, и Каролин, дочь Жака Ланга, предложили ему ночевать у них дома, так что государству это ничего не будет стоить. *Видите ли, у нас есть конкретные данные об угрозе вашей жизни, поэтому мы не можем гарантировать вашу безопасность.* Этой лжи не поверил даже Особый отдел. «Они поделились бы этой информацией с нами, Джо, — сказал Фрэнк Бишоп, — но то них ничего не было». Каролин Ланг предложила: «Если вы не хотите подчиняться распоряжению RAID, мы все разместимся с вами прямо тут, в Лувре, принесем постели, приведем друзей». Это была забавная и трогательная идея, но он отказался: «Если я так сделаю, меня никогда больше не пустят во Францию». Затем стало известно, что Кристофер Маллаби не разрешает ему переночевать в посольстве, но кто-то с британской или французской стороны уговорил «Бритиш эйруэйз» доставить его обратно в Лондон. Так что впервые за четыре года он полетел на самолете этой компании, причем без всяких проблем со стороны экипажа или пассажиров, многие из которых подходили к нему выразить дружеские чувства, солидарность и симпатию. После перелета, однако, «Бритиш эйруэйз» заявила, что дала согласие «на уровне местного руководства» под давлением французов и приняла меры к тому, «чтобы в будущем это не повторялось».

Колоссальное турне группы *U2* с альбомом *Zooropa* докатилось до стадиона «Уэмбли», и Боно, позвонив ему, спросил, не хочет ли он выйти на сцену. Группа хотела выразить свою солидарность, и это был самый сильный жест, какой пришел музыкантам в голову. Поразительно, но Особый отдел не возражал. То ли они решили, что на выступление *U2* не придет так уж много убийц-исламистов, то ли им просто самим хотелось на концерт. Он взял с собой Зафара и Элизабет и первое отделение просидел на стадионе вместе с ними. Когда он встал, чтобы отправиться за кулисы, Зафар сказал: «Папа… только петь не надо». У него и в мыслях не было петь, а *U2* тем более не имела этого в виду, но он решил подразнить сына: «А почему? Эта ирландская группа вполне подойдет для аккомпанемента, слушателей много — восемьдесят тысяч, так что… может, я и спою». Зафар взволновался: «Папа, ты меня не понял. Если запоешь, я покончу с собой».

За кулисами он увидел Боно в образе Макфисто: костюм из золотой парчи, выбеленное лицо, красненькие бархатные рожки — и за несколько минут они придумали маленький диалог. Боно

сделает вид, что звонит ему по сотовому, и, пока они будут «разговаривать», он выйдет на сцену. Выходя, он понял, как это бывает, когда тебя приветствуют восемьдесят тысяч человек. На книжных чтениях — и даже на таких больших торжественных мероприятиях, как благотворительный вечер ПЕН-клуба в Торонто, — аудитория несколько меньше. Девушки не залезают бойфрендам на плечи, прыжки в толпу со сцены не практикуются. Даже на самых-рассамых литературных вечерах у микшерского пульта танцуют максимум одна-две супермодели. Тут было помасштабней.

Когда он писал роман «Земля под ее ногами», полезно было иметь некоторое представление о том, каково это — выдерживать вес всего этого света, слышать рев невидимого чудовища из темноты. Он изо всех сил старался не споткнуться о провода. После концерта Антон Корбайн[175] сделал фотоснимок, ради которого уговорил его обменяться с Боно очками. На минуту ему было позволено принять вид божества, надев огибающие лицо темные мушиные очки мистера Б., в то время как рок-звезда благосклонно смотрела на него поверх скучных стеклышек литератора. Разница между двумя мирами, которые на миг сошлись благодаря великодушному стремлению *U2* оказать ему поддержку, выразилась здесь очень наглядно.

Через несколько дней Боно позвонил и сказал, что хочет вырасти как автор текстов. В рок-группе автор слов стал всего лишь неким проводником для чувств, витающих в воздухе, мотор песни — музыка, а не слова, если ты не работаешь в фолк-традиции, как Дилан; но ему хотелось это изменить. *Может быть, мы сядем с вами и вы расскажете как вы работаете?* Боно хотел встречаться с новыми людьми, с разными людьми. Чувствовалось, что он голоден, что ему нужна пища для ума и нужно, как он выражался, «хорошо побазарить». Он предложил ему свой дом на юге Франции. Предложил ему дружбу.

Его проклятием, говорил он друзьям, была такая жизнь, что не соскучишься, — жизнь, порой напоминавшая плохой роман, написанный им самим. Одним из ее худших свойств, приводивших на ум сравнение с плохим романом, было то, что в любой момент ни с того ни с сего в сюжет мог вторгнуться, грозя насильно повернуть его в другую сторону, тот или иной заметный персонаж, никак не связанный с общим повествованием. 27 мая четыре года спустя стало днем, когда родился, навсегда сделав эту дату своей, его второй сын Милан; но в 1993 году в этот день в игру вступило совсем другое лицо — турецкий писатель, газетный издатель и провокатор Азиз Несин.

До того он виделся с Несином всего однажды — семью годами раньше, когда неприятности испытывал как раз турецкий писатель. Гарольд Пинтер пригласил к себе на Камден-Хилл-сквер группу писателей, чтобы организовать протест, поскольку Несину было сообщено, что турецкие власти решили отобрать у него паспорт. Он задался вопросом, помнит ли Несин, что будущий автор «Шайтанских аятов» охотно подписал тогда письмо протеста, и пришел к выводу, что, видимо, не помнит. 27 мая ему сказали, что левая газета «Айдинлик», главным редактором которой был Несин, без согласия автора напечатала выдержки (какие именно — неизвестно) из «Шайтанских аятов» в турецком переводе, с которым автор не был ознакомлен (хотя нормальная практика — присылать переводы до публикации для независимого прочтения, для проверки на качество и точность), демонстративно нарушая запрет на книгу в Турции. Выдержкам был предпослан заголовок: «Салман Рушди: мыслитель или шарлатан?» В последующие дни появились новые выдержки, и из комментариев Несина к ним стало ясно, что он обеими руками за второй вариант. Агентство «Уайли» написало ему, что пиратство есть пиратство и что если, как он заявлял, он много лет боролся за права писателей, нет ли у него желания возразить против нарушения этих прав аятоллой Хомейни? Ответ Несина был предельно наглым. Он опубликовал в газете письмо из агентства и прокомментировал его так: «Какое отношение имеет ко мне дело Салмана Рушди?» Он заявил, что намерен продолжить публикацию выдержек, а если Рушди против, «вы можете обратиться в суд».

Газета «Айдинлик» подверглась давлению, ее сотрудников и тираж арестовали, распространение приостановили. Имам одной стамбульской мечети объявил против газеты джихад. Турецкое правительство, защищая светские принципы построения государства, постановило, что газету распространять можно, но конфликт не утих и атмосфера оставалась мрачной.

Он почувствовал, что в очередной раз он и его произведение стали пешками в чьей-то игре. Его друг, турецкий писатель Мурат Белге, сказал, что Несин вел себя «по-детски», и все же силам, которые на него обрушились, нельзя позволить взять верх. Сильней всего огорчало то, что он тоже был убежденный секулярист и мог ожидать лучшего отношения к себе со стороны турецких секуляристов. Трещина в стане секуляристов была на руку только врагам секуляризма. Реакция этих врагов на выдержки, напечатанные в «Айдинлик», последовала очень скоро и была чрезвычайно жестокой.

В начале июля Несин поехал на секуляристскую

конференцию в город Сивас в Анатолии (Анатолия — часть Турции, где радикальный исламизм наиболее силен). Ее участники открыли там памятник Пиру Султану Абдалу — местному поэту, которого в XVI веке забили камнями до смерти за кощунство. Несин, как говорили потом, произнес речь, в которой заявил о своем атеизме, и сделал ряд критических замечаний о Коране. Правда это или нет — неизвестно. Ночью гостиницу «Мадимак», где остановились все делегаты, окружили экстремисты; они выкрикивали лозунги и угрозы, а потом подожгли гостиницу. В огне погибли тридцать семь человек — писатели, карикатуристы, актеры, танцоры. Азиз Несин остался жив: ему помогли выбраться из горящего здания пожарные, которые вначале не узнали его. Когда они поняли, кто он такой, они начали его избивать, а один местный политик закричал: «Вот шайтан, его-то и надо было убить».

Страшное смертоубийство в Сивасе мировая пресса окрестила «беспорядками из-за Рушди». Он осудил убийц, выступая по телевидению, опубликовал гневные статьи в лондонской «Обсервер» и в «Нью-Йорк таймс». То, что беспорядкам присвоили его имя, было несправедливо, но не это главное. Убийство Фарага Фауды, Угура Мумку, бесчинства в Сивасе — все это красноречиво доказывало, что атака на «Шайтанские аяты» — не изолированная акция, а составная часть глобального наступления исламистов на свободомыслие. Он сделал все возможное, чтобы потребовать от турецкого правительства, от «Большой семерки», чья встреча проходила тогда в Токио, от мировой общественности принятия мер. Скверный пасквиль, опубликованный — кто бы мог подумать — в «Нейшн», обвинил его в том, что он нанес турецким секуляристам «злобное оскорбление» (написал его Александр Коуберн, один из великих современных мастеров злобных оскорблений), но это тоже было не самое важное. Азизу Несину и автору, чей текст он украл и очернил, не суждено было стать друзьями, но перед лицом такой атаки он встал плечом к плечу со всеми турецкими секуляристами, включая Несина.

В иранском меджлисе и иранской прессе, само собой, зазвучали голоса в поддержку сивасских убийц. Так повелось в том мире: аплодировать головорезам и поносить тех, для кого источником жизни (а порой и причиной гибели) было слово.

Придя в ужас из-за сивасского зверства, знаменитый немецкий журналист-расследователь Гюнтер Вальраф, который пользовался методом включенного наблюдения, и, в частности, работая над своей чрезвычайно популярной книгой «В самом низу», сыграл роль гастарбайтера-турка и продемонстрировал

ужасное отношение к этим людям немецких расистов и даже немецкого государства, связался с ним и принялся настаивать, чтобы «недоразумение» между Несином и Рушди было улажено. Несин в интервью по-прежнему подвергал нападкам автора «Шайтанских аятов» и его ужасную книгу, и Вальраф и редактор шведской ежедневной газеты «Дагенс нюхетер» Арне Рют всячески старались его урезонить. «Если я уговорю Несина приехать ко мне домой, прошу вас — приезжайте тоже, и я попробую вас помирить», — сказал Вальраф. Это зависит, ответил он, от того, с какими намерениями Несин захочет отправиться на эту встречу. «До сих пор он отзывался обо мне оскорбительно и пренебрежительно, из-за этого, боюсь, мне трудно будет у вас находиться». — «Предоставьте это мне, — сказал Вальраф. — Если он пообещает приехать в доброжелательном строении, вы пойдете ему навстречу?» — «Ладно, так и быть».

Из аэропорта Биггин-Хилл он долетел до Кельна, где великий журналист и его жена приняли его с шумным, жизнерадостным гостеприимством; Гюнтер потребовал, чтобы они немедленно сразились в пинг-понг. Вальраф оказался сильным игроком и победил в большинстве партий. Азиз Несин, невысокий, плотный, седовласый, к столу для пинг-понга не подходил. Он выглядел в точности тем, кем был: человеком, пережившим тяжелое потрясение и вдобавок не испытывающим удовольствия от общества, в котором находится. Он сидел в углу в мрачной задумчивости. Не особенно многообещающе. Во время первого их серьезного, официального разговора (переводчиком был Вальраф) Несин продолжал проявлять то же пренебрежение, что и на страницах «Айдинлика». У него, мол, своя борьба — борьба с турецким фанатизмом, а до этой ему нет никакого дела. Вальраф объяснял ему, что это одна и та же борьба. После убийства Угура Мумку в Турции говорили: «Те, кто вынес приговор Салману Рушди, убили сейчас Мумку». Поражение в одной из битв между секуляризмом и религией — это поражение во всех таких битвах. «Салман поддержал вас в прошлом, а сейчас он везде и всюду говорит о Сивасе, — сказал Вальраф, — поэтому вы должны оказать поддержку ему». Продолжалось это долго. Похоже было на то, что примирению мешает самолюбие Несипа: он понимал, что ему придется сдать назад и признать, что он вел себя неблагородно. Но Вальраф был твердо настроен не сдаваться, и в конце концов Несин, бормоча и ворча, протянул руку. Последовало короткое рукопожатие, затем еще более короткое объятие, был сделан фотоснимок, на котором все выглядят не в своей тарелке, а затем Вальраф воскликнул: «Отлично! Теперь мы все друзья!» — и повез их кататься по Рейну на моторной лодке.

Помощники Вальрафа засняли все происходящее на пленку и смонтировали новостной сюжет, где они с Несином дружно осудили религиозный фанатизм и слабую реакцию на него Запада. По крайней мере для публики трещина была заделана. Больше они с Азизом Несином не общались. Через два года Несин умер от сердечного приступа.

Дорогой Гарольд!

Спасибо, что дал возможность Элизабет, мне и ребятам посмотреть твою постановку «Олеанны» Мэмета[176]*, а потом поужинать в «Грилл-Сент-Квентин». Я, вероятно, зря высказал кое-какие критические замечания о пьесе, но ведь я, мне показалось, сделал несколько хвалебных замечаний о том, как ты ее поставил. И совершенно точно зря я сменил тему и заговорил с Антонией про ее книгу о Пороховом заговоре. (Последние годы меня, надо признать, интересуют люди, которым хочется что-нибудь взорвать.) Краем глаза я увидел, что у тебя из ушей повалил пар и твоя радиоактивная сердцевина начала расплавляться. Китайский синдром*[177] *представлялся более чем возможным. Чтобы предотвратить беду, я спросил: «Гарольд, я не забыл упомянуть о том, что твоя постановка „Олеанны“ гениальна до опупения?» — «Да, — сказал ты, сурово скаля блестящие зубы. — Да, по правде говоря, ты забыл об этом упомянуть». — «Гарольд, — промолвил я, — твоя постановка „Олеанны“ гениальна до опупения». — «То-то же», — произнес ты, и ядерная катастрофа была предотвращена. Тем, что я никогда не был «пинтерован», я по праву начал гордиться уже давно. И теперь облегченно вздохнул, поняв, что могу гордиться этим по-прежнему.*

Он полетел в Прагу встретиться с президентом Вацлавом Гавелом, который принял его с огромной теплотой — *наконец-то мы встретились!* — и говорил о нем публично в таких лестных выражениях, что премьер-министр Вацлав Клаус — правый политик, с которым у Гавела была великая вражда, — «дистанцировался» от этой встречи, что она «носила частный характер» и он о ней не знал (хотя чешская полиция позаимствовала для гостя одну из машин Клауса). Клаус выразил надежду, что это «не повредит» отношениям между Чехией и Ираном.

Он принял участие в международной конференции ПЕН-клуба в Сантьяго-де-Компостела (с авиакомпанией «Иберия» трудностей не возникло), и его спросили про недавние сообщения в прессе о нападках на него принца Чарльза. В ответ он повторил то, что неделю назад сказал испанским журналистам Иэн

Макьюэн, приехавший в страну в связи с публикацией его книги: «Охрана принца Чарльза стоит гораздо больше, чем охрана Рушди, а ведь принц вообще ничего интересного не написал». Когда он вернулся в Лондон, на него обрушилась «Дейли мейл», обвиняя чуть ли не в измене: как он посмел насмехаться над наследником престола? «Он злоупотребляет свободой, за которую мы платим», — заявила колумнистка газеты Мэри Кенни. Через пять дней «Детям полуночи» присудили «Букер Букеров» как лучшей из книг, получивших Букеровскую премию за первые двадцать пять лет ее существования. Он радовался этому всего какой-нибудь день — и тут маятник качнулся, произошла очередная ужасная беда.

Наутро после возвращения в Осло с Франкфуртской книжной ярмарки Вильям Нюгор вышел из дому, чтобы отправиться на работу, и увидел, что у его машины спущена задняя шина. Он не знал, что шину специально проколол террорист, спрятавшийся в кустах за машиной. Злоумышленник рассчитывал, что Вильям приблизится к нему, чтобы открыть багажник и достать запасное колесо, и в этом положении станет очень удобной мишенью. Но Вильям был главой большого издательского дома и не собирался менять колесо своими руками. Он вынул сотовый телефон и стал звонить в автосервис. Это поставило злоумышленника перед проблемой: что ему делать — выйти из укрытия, чтобы расстрелять Вильяма в упор, или стрелять из кустов, хотя цель находилась не там, где ему хотелось? Он решил стрелять. В Вильяма попали три пули, и он упал. Группа тринадцатилетних подростков заметила убегавшего мужчину с «темной, плохой кожей», но преступника так и не поймали.

Не будь Вильям таким атлетом, он почти несомненно бы погиб. Но бывший блестящий лыжник оставался в хорошей физической форме, и это спасло ему жизнь. Однако необычайнее всего было вот что: когда Вильяма выписали из отделения интенсивной терапии, врачи сказали ему, что он полностью поправится. Траектории, по которым пули прошли через тело, были, по словам медиков, единственными, по которым они могли пройти, не убив и не парализовав его. Вильям Нюгор, замечательный издатель, был, кроме того, еще и счастливчиком.

Покушение на Вильяма — он понял это, едва услышав о нем, — означало: его другу достались пули, предназначенные ему самому. Он вспомнил, какую гордость испытывал Вильям в прошлом году во время празднества в саду, которое он устроил от имени издательства «Аскехауг». Приобняв своего автора за плечи, издатель вел его через изумленную толпу и знакомил то с

писателем, то с оперным певцом, то с крупным бизнесменом, то с влиятельным политиком. *Жест в защиту свободы*, сказал тогда Вильям, и теперь из-за этого жеста он был на пороге смерти. Но благодаря, во-первых, своему нежеланию самому менять колесо, во-вторых, чуду траекторий он выжил. Пришел день, когда раненый издатель смог недолго поговорить с ним по телефону. Его коллега по «Аскехауг» Хальвдан Фрейхов позвонил Кармел и сказал, что Вильям очень хочет побеседовать с Салманом. Не мог бы он позвонить в больницу? *Конечно мог бы!* Мужчина из младшего медперсонала, взяв трубку, предупредил, что Вильям говорит пока еще очень тихо. Потом трубку дали Вильяму, но даже после предупреждения это был удар — слышать, каким слабым стал его голос; он судорожно хватал ртом воздух, его владение английским, всегда в прошлом безупречное, давало сбои, в каждом слоге сквозило страдание.

Поначалу он даже не понял, что в него стреляли; он оставался в сознании до приезда полиции и дал полицейским телефонный номер сына. «Я страшно кричал, — рассказывал он, — я покатился под уклон с маленького холма и этим, наверно, спас себе жизнь, потому что пропал из виду». В больнице придется пробыть еще долго, но врачи, сипло, с присвистом говорил он, считают полное выздоровление возможным. «Важные органы не затронуты». Потом он сказал: «Я просто хочу, чтобы вы знали: я очень горжусь тем, что издал „Шайтанские аяты“, что участвую в этой истории. Может быть, теперь, если его не поймают, я должен буду жить примерно так же, как вы». *Мне очень жаль, Вильям, я должен вам сказать, что чувствую себя ответственным за это…* Вильям слабым голосом прервал эти извинения: «Не надо так говорить. Не надо, это неправильно». *Но я не могу не чувствовать…* «Салман, я взрослый человек, и, когда я соглашался опубликовать „Шайтанские аяты“, я понимал, что тут есть риск, и я пошел на этот риск. Вы не виноваты. Виноват тот, кто стрелял». *Да, но я…* «И еще одно, — сказал Вильям. — Я только что распорядился о большом переиздании». Красиво вести себя под давлением — так называл это Хемингуэй. Подлинная храбрость, соединенная с высокой принципиальностью. Союз, который не смогли разрушить пули. А они, сволочи, были крупные: калибр — 0,44 дюйма, с мягким наконечником, смертоносные.

Скандинавская пресса после покушения на Нюгора была настроена очень воинственно. Ассоциация норвежских издателей заявила, что хочет знать, каким будет ответ норвежского правительства Ирану. А бывший иранский посол, перешедший в оппозиционную организацию «Моджахедин-э халк», или НМИ

(«Народные моджахеды Ирана»), сказал, что норвежская полиция четырьмя месяцами раньше сообщила ему о подготовке нападения на Вильяма.

Правительства северных стран были рассержены, но кое-кого стрельба напугала. Министерство культуры Нидерландов, которое намеревалось пригласить его в Амстердам, теперь пошло на попятный, как и «Королевские нидерландские авиалинии». Совет Европы, не один месяц назад согласившийся на встречу с ним, отменил ее. Габи Гляйхман, возглавлявший «кампанию по защите Рушди» в Швеции — хотя они с Кармел Бредфорд постоянно спорили, — был взят под охрану полиции. В Великобритании продолжились личные выпады. Автор статьи в «Ивнинг стандард» назвал его «заносчивым» и «безумным», осмеял как человека, требующего к себе огромного внимания, и глумливо заключил, что он этого внимания не заслуживает, ибо слишком плохо себя вел. Лондонское радио Эл-би-си затеяло опрос слушателей: «Следует ли нам и дальше помогать Рушди?», а в «Телеграф» появилось интервью с Мэриан Уиггинс, в котором она сказала, что ее бывший муж — человек «унылый, глупый, трусливый, тщеславный, склонный к шутовству и морально нечистоплотный». Клайв Брэдли из Ассоциации британских издателей пожаловался, что Тревор Гловер из британского филиала «Пенгуина» блокирует заявление ассоциации о Вильяме. Он позвонил Гловеру — тот поначалу отговаривался, что, мол, ничего не блокировал, просто «обронил фразу мимоходом», потом сказал: «Боже мой, мы все сейчас нервничаем больше обычного, стоит ли поднимать шум, нужна ли эта публичность?» — и наконец согласился позвонить Брэдли и снять наложенное «Пенгуином» вето.

Он получил письмо с угрозой — первое за долгое время. Письмо предупреждало, что «час близится», ибо «Аллах видит все». Подписавший письмо «Д. Али» назвал себя членом «Манчестерской социалистической рабочей партии и антирасистской лиги». Его соратники, утверждал он, следят за всеми аэропортами, люди из организации имеются повсюду — «в Ливерпуле, в Брадфорде, в Хэмпстеде, в Кенсингтоне», — и, поскольку темной зимой им «сподручнее будет сделать свое дело», адресат вскоре «окажется в Иране».

Исабель Фонсека однажды пригласила к себе его, Мартина Эмиса, Джеймса Фентона и Даррила Пинкни, и Мартин, к его глубокому огорчению, сказал, что, по мнению Джорджа Стайнера, он «нарочно затеял большую свару», что в том же духе высказался и Кингсли Эмис, отец Мартина: «Если ты затеял свару, не жалуйся потом, что тебе досталось», и что, на взгляд Эла Альвареса[178],

он «сделал это, чтобы стать самым знаменитым писателем на свете». А Джермейн Грир назвала его «мегаломаном», а Джон Ле Карре — «придурком», а бывшая мачеха Мартина Элизабет Джейн Хауард[179] и Сибил Бедфорд[180] считают, что он «сделал это ради денег». Его друзья только посмеялись над этими утверждениями, но к концу вечера у него стало очень тяжело на душе, и оправиться он смог только благодаря любви Элизабет. Может быть, написал он в дневнике, им следовало бы пожениться. Кто смог бы любить его крепче, быть храбрее, добрее, самоотверженнее? Она посвятила себя ему и заслуживала того же взамен. Дома, отмечая годовщину новоселья на Бишопс-авеню, 9, они провели вечер душа в душу, и ему стало лучше.

В беккетовском настроении, сгорбясь за столом в своем обшитом деревом кабинете, он был человеком, затерянным в глумливой пустоте, Диди и Гого в одном лице, играющим в игры, чтобы оттеснить отчаяние. Нет, он был их противоположностью: они надеялись на приход Годо, тогда как он пребывал в ожидании того, что, он надеялся, не произойдет никогда. Почти каждый день случались минуты, когда он позволял плечам опуститься, а потом снова их расправлял. Он слишком много ел, бросил курить, дышал со свистом, ссорился с пустым пространством, тер кулаками виски и думал, думал, думал, горел мыслями, словно рассчитывал сжечь в этом огне свои беды. И так почти каждый день: бой с безнадежностью, часто проигранный, но никогда не проигранный окончательно. «Внутри нас, — писал Жозе Сарамаго, — есть что-то не имеющее названия. Это „что-то“ и есть мы». Что-то внутри него, не имеющее названия, всегда под конец приходило на помощь. Он стискивал зубы, тряс головой, чтобы прочистить мозги, и приказывал себе двигаться вперед.

Вильям Нюгор делал первые шаги. Хальвдан Фрейхов сказал, что Вильям решил сменить жилье: «кусты представляли опасность», из-за них «он не мог поздно вечером помочиться на свежем воздухе». Ему подыскивали квартиру в хорошо охраняемом доме. Злоумышленника так и не нашли. Вильяму «некуда было направить свой гнев». Но ему становилось лучше. Датский издатель романа Йоханнес Риис сказал, что в Дании все спокойно и что ему, Риису, повезло: у него спокойная жена. Он думает об опасности, сказал он, но примерно так же, как думаешь о ней, переходя дорогу, и его автор, слушая это, вновь был пристыжен: вот какова она, подлинная храбрость. «Я в ярости, — добавил Йоханнес, — что эта дрянь по-прежнему составляет часть мира, где мы живем».

На первом заседании так называемого Международного

парламента писателей в Страсбурге он беспокоился из-за названия: ведь они никем не были избраны; но французы, пожав плечами, сказали, что во Франции *un parlement* — это просто-напросто место, где разговаривают. Он настоял на том, чтобы в заявление против исламистского террора, которое они готовили, были включены, помимо его имени, имена Тахара Джаута, Фарага Фауды, Азиза Несина, Угура Мумку и недавно вставшей в боевой строй писательницы из Бангладеш Таслимы Насрин. Ворвалась Сьюзен Сонтаг, обняла его и произнесла страстную речь на беглом французском; в ней она назвала его *un grand écrivain* — великим писателем, представляющим жизненно важную светскую культуру, которую мусульманские экстремисты хотят подавить. Мэр Страсбурга Катрин Траутман предоставила город в его распоряжение. Генеральный секретарь Совета Европы Катрин Лялюмьер пообещала, что Совет не оставит его дело без внимания. Вечером во время приема, устроенного для писателей-гостей, на него насела неистовая до помешательства иранка — «Элен Кафи», — которая принялась упрекать его за то, что он не объединил усилия с «Моджахедин-э халк». «Я не агрессивна, Салман Рушди, но *je suis un peu deçu de vous*[181], вам следовало бы знать, кто ваши настоящие друзья». На следующий день она заявила прессе, что она — и НМИ в ее лице — вступила во французский «комитет защиты Рушди» и что именно поэтому во французское посольство и в представительство «Эр Франс» в Тегеране были брошены гранаты. (В действительности их бросили не из-за «дела Рушди», а из-за решения Франции предоставить убежище лидеру НМИ Марьям Раджави.)

Он сидел на маленьком красном диванчике с Тони Моррисон, которая только что получила Нобелевскую премию по литературе, и с Сонтаг, которая воскликнула: «Боже мой, я сижу между двумя самыми знаменитыми писателями мира!» — после чего он и Тони в один голос принялись уверять ее, что ее звездный час в Стокгольме придет очень скоро. Сьюзен спросила его, что он сейчас пишет. И попала по самому больному месту. Чтобы вести кампанию против фетвы, ему пришлось почти перестать быть действующим писателем. Вовлеченность в политику производила свой уплощающий эффект. Его мысли были заполнены авиалиниями, министрами, экспортом брынзы, и они покинули те сладкие уголки сознания, где таится вымысел. Его роман застопорился. Не умаляет ли его на самом деле в глазах мира, как в его собственных глазах, эта кампания, про которую все говорят, что она идет очень хорошо? Не помогает ли он на самом деле тем, кто стремится превратить его в плоскую, двумерную карикатуру, находящуюся в сердцевине «дела Рушди»?

Не отрекается ли от своего права на творчество? От *Салмана* он перешел к *Рушди*, а от него к *Джозефу Антону*, но теперь, пожалуй, он превращает себя попросту в ничто. Он — лоббист, лоббирующий пустое место, которое некогда было человеком.

Он сказал Сьюзен: «Я дал себе клятву, что весь следующий год буду сидеть дома и писать».

Чтобы достичь вершины — встречи с президентом, — надо было идти к ней с разных сторон одновременно. В восхождении на гору Клинтон участвовали он сам, комитет защиты Рушди и «Статья 19», британский посол в Вашингтоне, действовавший по поручению британского правительства, и американский ПЕН-центр. Среди тех, кто «пробивал» эту встречу, были Арье Нейер из «Хьюман райтс уотч», Ник Велиотес из Ассоциации американских издателей и Скотт Армстронг из организации «Форум свободы». Кроме того, свои связи в Белом доме пустил в ход Кристофер Хитченс. Кристофер не был большим поклонником Билла Клинтона, но он дружил с близким к президенту советником Джорджем Стефанопулосом и говорил с ним несколько раз. Судя по всему, мнения в окружении Клинтона разделили: одни говорили ему, что фетва к Америке отношения не имеет, другие, как Стефанопулос, хотели, чтобы он поступил правильно.

Через два дня после его возвращения в Лондон в Вашингтоне «зажегся зеленый свет». Сперва Нику Велиотесу сказали, что президента на встрече не будет. Встретиться предстоит с советником по национальной безопасности Энтони Лейком, и «заглянет» вице-президент Гор. В посольстве США на Гроувнор-сквер Ларри Робинсон — сотрудник, осуществлявший с ним связь, — подтвердил, что встреча будет с Лейком и Гором. Ему будет предоставлена охрана «от въезда до выезда», то есть от самолета до Массачусетского технологического института (где его должны были чествовать — Алан Лайтман, автор романа «Сны Эйнштейна» и профессор МТИ, предложил ему принять звание почетного профессора), от МТИ до Вашингтона, а в Вашингтоне — до вылета обратно. Через два дня Фрэнсис сообщили, что Гор будет на Дальнем Востоке, что Лейк вряд ли сможет и поэтому встреча будет с госсекретарем Уорреном Кристофером с «правой рукой» Лейка. Встреча с Уорреном Кристофером произойдет в Зале договора в присутствии фотокорреспондентов. Он поговорил с Кристофером Хитченсом, который подозревал, что Клинтон «попросту струсил». В тот же вечер диспозиция опять изменилась. Встреча будет с Энтони Лейком, Уорреном Кристофером и помощником госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Джоном Шаттуком. Участие

президента «не подтверждено». Встреча произойдет накануне Дня благодарения, и дел у президента будет по горло. Ему надо будет помиловать индейку. На то, чтобы вызволять из беды еще и писателя, времени может и не хватить.

В аэропорту Кеннеди вместо обещанной неброской тройки машин его ждало восемь. Начальник группы охраны Джим Танди производил куда лучшее впечатление, чем лейтенант Боб: это был человек с мягкой манерой разговаривать, всегда готовый помочь, высокий, худощавый, усатый, с широко открытыми глазами и серьезным лицом. Вначале его отвезли в квартиру Эндрю, где полиция по случаю его появления навела шороху — вплоть до того, что другим жильцам дома запретили пользоваться лифтами. Шум поднимется изрядный, подумал он. По официальной версии, он был пакистанский дипломат доктор Рен, но вряд ли хоть кто-нибудь этому поверил.

У Эндрю его радушно встретили друзья. Норман Мейер пожелал ему удачи, Норрис Мейлер[182] сказала: «Увидите Билла — передайте ему от меня привет». В молодости она участвовала в избирательной кампании Клинтона, когда тот претендовал на пост губернатора Арканзаса. «Я очень близко с ним познакомилась», — сказала она. Хорошо, пообещал он ей вежливо, я ему передам. «Нет, — сказала Норрис, положив ему на руку элегантную ладонь, как Маргарет в самом своем щупательно-трогательном настроении. — Вы не поняли. *Я очень близко* с ним познакомилась». О, понятно. Хорошо, Норрис. В таком случае *я непременно* передм ему ваши наилучшие пожелания.

Он встретился с Полом Остером и Сири Хустведт, которые были с ним очень ласковы: это стало началом одной из самых тесных дружб в его жизни. Пришел и Дон Делилло. Он сказал, что работает над «большой, разветвленной книгой». Она будет называться «Изнанка мира». «Я тоже кое-что знаю об изнанках мира», — заметил он в ответ. Пол и Дон хотели напечатать листовку с текстом, осуждающим фетву, и сделать так, чтобы она была вложена в каждую книгу, которая будет продана в Америке 14 февраля 1994 года, но им сказали, что это нереалистично, потому что обойдется в 20 тысяч долларов с лишним. Пришел Питер Кэри и со своим обычным сухим юмором произнес: «Привет, Салман. Выглядишь дерьмово». Сьюзен Сонтаг, которая согласилась быть его «прикрытием» в МТИ, предвкушала осуществление их маленького заговора. Дэвид Рифф был полон печали по поводу Боснии. Энни Лейбовиц[183] немного поговорила о своих боснийских фотографиях, но было странное ощущение, что она не хочет выдвигаться на первый план в

присутствии Сьюзен. Пришли Сонни и Гита Мехта, Гита выглядела больной и иссушенной. Они сказали, что сейчас она чувствует себя хорошо, оправляется от рака, и оставалось надеяться, что они говорят правду. Вдруг Эндрю сказал: «О господи, мы же забыли пригласить Эдварда Саида». Очень плохо. Эдвард наверняка будет недоволен.

Они с Элизабет переночевали у Эндрю и, проснувшись, увидели в окно вереницу припаркованных на улице черных лимузинов и большой, бросающийся в глаза синий фургон с надписью «Взрывотехнический отряд». Потом — поездка в Конкорд, штат Массачусетс, где их приняли у себя Алан и Джин Лайтманы. Алан повел их на прогулку вокруг Уолденского пруда, а когда они подошли к тому, что осталось от хижины Торо[184], он сказал Алану, что если когда-нибудь возьмется написать об этой поездке, то озаглавит очерк «Из бревенчатой хижины — в Белый дом». Хижина находилась разочаровывающе близко от городка, и Торо мог запросто прогуляться туда за пивом, если бы захотел. Не такое уж прямо логово в глуши.

На следующее утро его доставили в бостонский отель, а Джин Лайтман взяла Элизабет на прогулку по городу. Они с Эндрю начали обзванивать людей, чтобы узнать, как продвинулось дело, или понять, как оно может продвинуться. Стало ясно, что Фрэнсис и Кармел плохо ладят со Скоттом Армстронгом, хотя за него заступился Кристофер Хитченс. В Белом доме, добавил Хитч, Стефанопулос и Шаттук на его стороне и пытаются повлиять на президента, но ничего определенного пока нет. Позвонил сотрудник администрации Том Робертсон — встреча, сказал он, начнется на полчаса позже, не в 11.30 утра, а в полдень. Что это значит? И значит ли что-нибудь? Скотт и Хитч позднее сказали, что изменение произошло сразу после того, как Джордж Стефанопулос и другие отправились на встречу с сотрудником, ответственным за президентский график… так что… может быть. Держите пальцы скрещенными.

Во второй половине дня они с Эндрю Уайли отправились к дому, где Эндрю провел детство. Новая хозяйка по имени Нэнси, женщина за пятьдесят с широкой улыбкой, посмотрела на кортеж и спросила: «Кто это там такие снаружи?» Потом сказала: «О…» — и поинтересовалась у него, не тот ли он самый, на кого смахивает. Вначале он сказал: «Увы, нет», на что она отозвалась: «Почему „увы“? Бедняге, по-моему, несладко сейчас приходится». Оказалось, что у нее есть все его книги, поэтому он раскололся, а она, придя в сильное волнение, потребовала, чтобы он их надписал. Дом пробудил у Эндрю массу воспоминаний: многое, вплоть до обоев на втором этаже, за тридцать лет не изменилось,

на деревянных книжных полках в библиотеке по-прежнему виднелись нацарапанные буквы Э. У., и на дверном косяке на трехфутовой высоте до сих пор можно было разглядеть черту, обозначавшую рост маленького Энди Уайли, и его имя.

После ужина в МТИ, на котором в роли хозяина выступил впечатляюще косоглазый ректор, пришло время События. Его никогда раньше не удостаивали ученых званий, ни всамделишных, ни почетных, и он был несколько взволнован. МТИ, сказали ему, не раздает почетные звания направо и налево, и до него за все время почетным профессором института стал только один человек. Это был Уинстон Черчилль. «Ничего себе компания для писаки, Рушди?» — сказал он себе. В объявлениях о Событии значилось, что это вечер встречи с Сьюзен Сонтаг, но, встав перед собравшимися, Сьюзен сказала, что находится здесь только для того, чтобы представить им писателя, чье имя нельзя было назвать заранее. Затем она очень тепло заговорила о нем, охарактеризовала его работу в выражениях, которые значили для него больше, чем почетное профессорство. Наконец он вошел в лекционный зал через маленькую заднюю дверь. Он произнес короткую речь, потом прочел отрывки «Детей полуночи» и рассказ о Колумбе и Изабелле. После этого их с Элизабет стремительно увезли и посадили на поздний авиарейс до Вашингтона. Довольно-таки измученные, они уже за полночь приехали в квартиру Хитченма. Там он впервые встретился с Лорой Антонией, дочерью Хитча и Кэрол, и его попросили стать ее «некрестно-неполумесячным отцом». Он согласился мгновенно. С такими наставниками-безбожниками, как он и Мартин Эмис, девочке, подумалось ему, несдобровать. У него першило в горле, обломившийся зуб поранил язык. Последние новости насчет Клинтона сводились опять-таки к «может быть». Хитч признался, что терпеть не может Кармел: своими неловкими движениями она, сказал он, только все портит. Надо было поспать — утро вечера мудренее.

Утро принесло свару между друзьями. Скотт Армстронг, приехав, сказал, что, по решению Белого дома, не будет ни Клинтона, ни Гора. «Близко, но мимо», — сказали ему. Кампания телефонных звонков с участием Арье Нейера, которую затеяла Кармел, была названа «контрпродуктивной». Когда приехали Кармел и Фрэнсис, напряжение разрешилось взрывом: все стали кричать на всех, обвинение рождало контробвинение, Фрэнсис заявила, что не кто иной, как Скотт, все запорол. В конце концов ему пришлось объявить перемирие. «Мы здесь для того, чтобы чего-то добиться, и мне нужна ваша помощь». Скотт организовал

пресс-конференцию, которая должна была состояться после Белого дома в Национальном пресс-клубе, так что хотя бы это можно было занести себе в актив. Но потом ссора вспыхнула с новой силой. Кто пойдет с ним в Белый дом? Ему позволили взять только двоих. Вновь пошел разговор на повышенных тонах, страсти накалились. *Я звонила такому-то и такому-то. Я сделал то-то и то-то.* Эндрю по-быстрому снялся с этого соревнования, Кристофер сказал, что у него нет причин быть в числе избранных, а вот общественные активисты бодались не на шутку.

Конец спору положил опять-таки он. «Я беру с собой Элизабет, — сказал он, — и я бы хотел, чтобы со мной пошла Фрэнсис». Недовольные, хмурые лица уплыли в разные углы квартиры Кристофера или за ее пределы. Так или иначе ссора была прекращена.

Кортеж был готов отвезти их к дому 1600 по Пенсильвания-авеню. Когда они втроем сели в предназначенную для них машину, их поразила инфекция нервного смеха. Помешает ли, задавались они вопросом, Клинтону встретиться с ними его долг перед индейками страны, и если помешает, то какими будут завтрашние заголовки? «Клинтон помиловал индейку, — сымпровизировал он. — Рушди выпотрошен». Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Но вот они уже у боковой двери — у «дипломатического входа», — и их впускают в здание. Мировая политика, вся эта большая грязная игра, неизбежно сосредоточивается под конец в этом скромных размеров белом особняке, где высокий розоволицый человек в овальной комнате принимает решения в режиме «да — нет», хоть он и оглушен беспрерывным болботаньем помощников с их вечными «может быть».

В двенадцать дня, поднявшись по узкой лестнице, они прошли мимо суетливой кучки улыбающихся, возбужденных помощников в скромных размеров кабинет Энтони Лейка. Он сказал советнику по национальной безопасности, что это волнующее событие — наконец оказаться в Белом доме, на что Лейк, подмигнув ему, отозвался: «Погодите волноваться, главное впереди». Президент США согласился-таки с ним встретиться! В 12.15 они должны будут перейти в Старое правительственное здание, и там они найдут мистера Клинтона. Тут Фрэнсис быстро заговорила и сумела убедить Лейка, что надо и ее взять с собой. Так что бедную Элизабет они покидали здесь на произвол судьбы. В приемной перед кабинетом Лейка лежало много книг, ожидавших автографа, он стал их надписывать, и тут появился Уоррен Кристофер. Оставив Элизабет занимать разговором госсекретаря, они с Лейком отправились к президенту. «Это должно было произойти не один год назад», — сказал ему Лейк.

Они увидели Клинтона в вестибюле под оранжевым куполом, здесь же был Джордж Стефанопулос, улыбавшийся широкой улыбкой, и две помощницы — они тоже выглядели очень довольными. Билл Клинтон оказался еще выше и розовее лицом, нежели он предполагал, и проявил не меньшее радушие, чем остальные, но сразу перешел к делу. «Чем я могу быть вам полезен?» — спросил президент Соединенных Штатов. Год, потраченный на политическую кампанию, подготовил его к этому вопросу. *Когда ты в роли Просителя,* усвоил он правило, *ты всегда должен знать, чего хочешь от встречи, и всегда проси того, что они имеют возможность дать.*

— Мистер президент, — проговорил он, — когда я выйду из Белого дома, я отправлюсь в пресс-клуб, там будет множество журналистов, желающих узнать, что́ вы мне сказали. Мне хочется иметь возможность сообщить им, что Соединенные Штаты присоединяются к кампании против иранской фетвы и поддерживают прогрессивные голоса во всем мире.

Клинтон кивнул и улыбнулся.

— Да, вы можете это сказать, — отозвался он, — потому что так оно и есть.

Вот встреча и окончена, подумал Проситель под песенку торжества, зазвучавшую в сердце.

— У нас есть общие друзья, — продолжил президент. — Билл Стайрон, Норман Мейлер. Они меня теребили, требовали, чтобы я вас поддержал. Между прочим, Норрис, жена Нормана, участвовала в моей первой политической кампании. Мы с ней довольно близко знакомы.

Проситель поблагодарил президента за встречу и сказал, что она имеет огромное символическое значение.

— Да, — согласился Клинтон. — Она должна стать сигналом всему миру. Она должна продемонстрировать поддержку, которую Америка оказывает свободе слова, и наше желание, чтобы права в духе Первой поправки утверждались во всех странах.

Фотоснимков не делали. Такую демонстрацию поддержки сочли чрезмерной. Но встреча состоялась. Это факт.

По пути обратно в кабинет Энтони Лейка он заметил, что Фрэнсис Д'Соуса как-то по-дурацки улыбается во весь рот.

— Фрэнсис, — спросил он, — почему вы так по-дурацки улыбаетесь во весь рот?

Ее голос прозвучал задумчиво, словно бы издалека.

— Вам не показалось, — томно спросила она, — что он чуточку дольше, чем нужно, не отпускал мою руку?

Уоррен Кристофер, когда они вернулись, был более чем

чуточку очарован Элизабет. Кристофер и Лейк сразу же в один голос заявили, что фетва — «один из главных вопросов в отношениях Америки с Ираном». Они не менее сильно, чем он, хотели изолировать Иран. Они тоже считали, что надо заморозить кредиты, и старались этого добиться. Разговор с ними продлился час, а затем все Просители вернулись в квартиру Хитченса пьяные от успеха. Кристофер сказал, что Стефанопулос, который изо всех сил пробивал встречу с Клинтоном, тоже в восторге. Он позвонил Хитчу, как только она произошла. «Орел прилунился»[185], — сказал Стефанопулос.

Пресс-конференция — семьдесят журналистов накануне Дня благодарения, это было лучше, чем предполагал Скотт Армстронг, — прошла хорошо. Мартин Уокер из «Гардиан», друг Хитча, сказал, что она была «проведена великолепно». Потом — услуга за услугу — эксклюзивное интервью Дэвиду Фросту[186], который выглядел счастливей некуда, по окончании разговора осыпал его бесчисленными «превосходно», «восхитительно», «волнующе», «чудесно» и выразил желание «непременно пропустить вместе по стаканчику» в Лондоне перед Рождеством.

Диссонирующую ноту внес Джим Танди, начальник группы охраны. Около дома был замечен «подозрительный человек ближневосточной наружности». Незнакомец позвонил по сотовому телефону, а потом уехал в машине с тремя другими мужчинами. Танди спросил: «Хотите остаться здесь или перевезти вас в другое место?» Он ответил: «Хочу остаться», но окончательное решение было за Кристофером и Кэрол. «Оставайся», — сказали они.

Британский посол устроил для них прием. У входа в посольство их встретила некая Аманда, которая сочным голосом сообщила им, что это единственное в Америке здание, построенное Лаченсом[187], а потом сказала: «Он очень много всего построил в Нью-Дели… Вы были когда-нибудь в Индии?» Он не стал ничего отвечать. Реники показали себя радушными хозяевами. Жена сэра Робина француженка Анни мигом влюбилась в Элизабет, которая покорила в Вашингтоне многие сердца. «Она такая теплая, непосредственная, спокойная; с ней сразу кажется, что знаешь ее очень давно. Необыкновенная личность». Пришел Сонни Мехта и сказал, что со здоровьем у Гиты неплохо. Пришла Кэй Грэм и не сказала почти ничего.

День благодарения они провели у неимоверно гостеприимных Хитченсов. Пришли Эндрю и Лесли Коуберны — чета английских журналистов и кинодокументалистов — с очень смышленой девятилетней дочерью Оливией, которая чрезвычайно уверенно и живо рассказала, почему она поклонница «Гаруна и

Моря Историй»; впоследствии она выросла в актрису Оливию Уайлд. Среди гостей еще был рыжеволосый подросток на несколько лег старше Оливии, но владевший речью куда хуже, который сказал, что хотел стать писателем, но больше не хочет, «потому что посмотрите, что с вами случилось».

Об их встрече с Клинтоном все газеты сообщили на первых страницах, и оценки почти везде были положительные. Британская же пресса значение этой встречи принизила, зато предсказуемым откликам на нее фундаменталистов уделила очень много типографской краски. И это тоже было предсказуемо.

После Дня благодарения Клинтон, похоже, заколебался. «Мы разговаривали всего пару минут, — сказал он. — Некоторые из моих советников отговаривали меня от этой встречи. Надеюсь, люди поймут ее правильно. Не было намерения никого оскорблять. Я просто хотел защитить свободу слова. Думаю, я поступил правильно». И так далее — в довольно-таки аморфном духе. На слова Лидера Свободного Мира, дающего бой терроризму, это не очень-то походило. «Нью-Йорк таймс» почувствовала это и опубликовала редакционную статью под названием «Без экивоков, пожалуйста», где призвала президента не стесняться своего хорошего поступка и не извиняться за него, действовать в соответствии со своими убеждениями (или это были убеждения Джорджа Стефанопулоса и Энтони Лейка?). В телепрограмме «Перекрестный огонь» Кристоферу Хитченсу противостояли крикливый мусульманин и Пат Бьюкенен[188], который назвал Рушди «порнографом», а его книгу — «пакостной» и раскритиковал президента за встречу с таким человеком. Передача произвела удручающее впечатление. Поздно вечером он позвонил Хитчу, и тот передал ему мнение ведущего программы Майкла Кинсли: противники «разбиты», то, что вопрос вновь «был выдвинут на первый план», — только к лучшему, а Клинтон «удерживает позицию», хотя за кулисами идет бой между группировкой Лейка — Стефанопулоса и теми помощниками президента, что ставят во главу угла безопасность. Кое-что умное Кристофер сказал ему и от себя: «Пойми, даром ты никогда ничего не получишь. Всякий раз, как ты будешь набирать очко, они снова будут вытаскивать и приводить в боевую готовность старые доводы против тебя. Но это также означает, что они снова будут побеждены, и я замечаю, что чем дальше, тем с меньшей охотой твои противники выходят на матчи. Так что смотри: не будь экивоков, не появилась бы редакционная статья в „Таймс“, и общий результат таков, что твои сторонники стали сильнее. На данный момент у тебя есть заявление Клинтона и встреча с

Кристофером и Лейком, и этого у тебя никто не отнимет. Поэтому *приободрись*».

Кристофер Хитченс быстро стал, наряду с Эндрю, самым преданным его другом и союзником в Соединенных Штатах. Через несколько дней он позвонил, чтобы сказать, что Джон Шаттук из Госдепартамента предложил создать неформальную группу в составе его самого, Хитча, Скотта Армстронга из Форума свободы и, возможно, Эндрю Уайли, чтобы добиться от властей США «прогрессирующего» отклика. На одном приеме Хитч в присутствии других людей заговорил о его деле со Стефанопулосом, и Джордж твердо ответил: «Мы придерживаемся первоначального заявления; надеюсь, вы не думаете, что мы решили отыграть назад». Неделю спустя Хитч прислал ему факс — о эти давние времена, когда люди еще обменивались факсами! — о «поразительно» хорошем разговоре с новой крупной фигурой, занимающейся противодействием терроризму, — послом Робертом Гелбардом, который поднимал вопрос на различных форумах «Большой семерки», но сталкивался с «нежеланием что-либо делать» японцев и — угадайте кого — британцев. Гелбард пообещал поговорить о проблеме перелетов с людьми из Федерального управления по гражданской авиации, где отделом безопасности теперь руководит его «приятель» — адмирал Флинн. Кроме того, сообщил Кристофер, Клинтон сказал кому-то, что был бы рад провести с автором «Шайтанских аятов» больше времени, но Рушди «страшно спешил». Это было забавно и свидетельствовало, полагал Хитч, что он рад, что встреча состоялась. Тони Лейк говорил людям, что она была одним из самых ярких событий года. Скотт Армстронг, писал Хитч, тоже оказывает реальную помощь. А вот от Фрэнсис и Кармел оба были не в восторге, и это почти сразу породило кризис.

В «Гардиан» появилась статья, рассказывающая о его поездке в Вашингтон, и в ней и Скотт Армстронг, и Кристофер Хитченс выразили сомнения в полезности Фрэнсис и Кармел для дела. «Вы серьезно подорвали позиции „Статьи 19“ в Соединенных Штатах, — заявила ему Фрэнсис по телефону голосом, исполненным праведного гнева. — Армстронг и Хитченс никогда бы так о нас не отозвались без вашего молчаливого одобрения». Он пытался ей втолковать, что даже не знал, что такая статья готовится, но она сказала: «Я уверена, что за всем этим стоите вы», и заявила, что из-за него фонд Макартура может существенно урезать финансирование «Статьи 19». Он глубоко вздохнул, написал письмо в «Гардиан» в защиту Фрэнсис и Кармел и конфиденциально поговорил по телефону с Риком

Макартуром. Макартур довольно-таки резонно заметил, что его фонд покрывает половину бюджета Фрэнсис и политика фонда состоит в том, чтобы вести организации к способности «диверсифицировать свою финансовую базу», и это предполагает активную деятельность в Соединенных Штатах. Сама Фрэнсис, сказал он, виновата, что ей не удалось привлечь внимание к ведущей роли «Статьи 19» в «самом значимом для всего мира деле о нарушении прав человека». Их разговор с Риком продолжился, и в конце концов Макартур согласился пока не урезать финансирование.

Кладя трубку, он сам был очень рассержен. Он только что взял Фрэнсис с собой в Белый дом, он хвалил работу «Статьи 19» на всех последующих пресс-конференциях и теперь чувствовал себя несправедливо обвиненным. Факс, который чуть погодя пришел от Кармел Бедфорд — «Если мы не получим возможности исправить вред, причиненный этими эгоистами, имеет ли нам смысл продолжать?» — обострил ситуацию еще больше. Он послал Фрэнсис и Кармел факс, в котором написал, что он думает об их обвинениях и почему. О своем конфиденциальном разговоре с Риком Макартуром и его результате он не упомянул. Через несколько дней Кармел изменила тон и стала слать ему примирительные факсы, но Фрэнсис угрюмо молчала, как Ахилл в своем шатре. Последствия удара, который она нанесла своими обвинениями, не сглаживались.

Кармен Бальсельс, легендарный, всесильный испанский литературный агент, сказала Эндрю Уайли, позвонив ему из Барселоны, что великий Габриэль Гарсиа Маркес пишет «роман, основанный на биографии мистера Рушди». Роман, добавила она, будет «целиком написан этим всемирно известным автором». Он не знал, как реагировать. Должен ли он быть польщен? Но он не был польщен. Стать основой для чьего-то романа? Будь все наоборот, он не чувствовал бы себя вправе вклиниться между другим писателем и историей его жизни. Но его собственная биография, похоже, стала всеобщим достоянием, и если он попытается наложить на эту книгу запрет, можно представить себе заголовки. РУШДИ ЦЕНЗУРИРУЕТ МАРКЕСА. Но что имеется в виду под «романом, основанным на биографии»? Если Гарсиа Маркес пишет о латиноамериканском писателе, на которого ополчились фанатики-христиане, — что ж, удачи ему. Но если он вознамерился залезть ему в голову, это будет незаконным вторжением. Он попросил Эндрю выразить его озабоченность, и последовало долгое молчание Бальсельс, а потом от нее пришло сообщение, что книга Маркеса — не о мистере Рушди. Что тогда,

удивился он, означает весь этот странный эпизод?

Габриэль Гарсиа Маркес не опубликовал затем ничего сколько-нибудь похожего на то, о чем говорила Кармен Бальсельс. Но эта история стала солью на ране, которую он сам же себе нанес. Гарсиа Маркес хотел — или не хотел — написать о нем то ли в художественном, то ли в документальном жанре, но сам-то он за весь год — нет, гораздо больше, чем за год — не написал ни строчки художественной прозы. Сочинительство всегда составляло сердцевину его жизни, но теперь периферия, нахлынув, затопила пространство, которое он неизменно оставлял свободным для работы. Он записал для телевидения вступление к фильму о Тахаре Джауте. Ему предложили ежемесячную колонку, которую синдикат «Нью-Йорк таймс» должен был распространять по всему миру, и он попросил Эндрю согласиться от его имени.

Близилось Рождество. Он был вымотан и, несмотря на все политические успехи года, переживал упадок духа. Он поговорил с Элизабет о будущем, о возможности завести ребенка, о том, как они могли бы жить, и почувствовал, что она не в состоянии представить себе безопасную жизнь без полицейской охраны. Он познакомился с ней посреди большой паутины, и паутина была единственной реальностью, которой она доверяла. Если когда-нибудь настанет день, когда охрану можно будет снять, не помешает ли ей страх жить с ним дальше? Это было облачко на их горизонте. Вырастет ли оно в тучу, заполняющую все небо?

Умерла Томасина Лоусон — ей было всего тридцать два. Кларисса проходила химиотерапию. И умер Фрэнк Заппа. Когда он прочел об этом, прошлое кинулось на него точно из засады, и он испытал сильные, неожиданные чувства. Во время одного из их с Клариссой первых свиданий они пошли на концерт его группы *The Mothers of Invention* в Ройял-Альберт-холл, и посреди вечера какой-то чернокожий парень под кайфом в блестящей пурпурной рубашке залез на сцену и потребовал, чтобы ему дали сыграть с группой. Заппа ни капельки не смутился. «Хорошо, сэр, — сказал он, — и какой вы предпочитаете инструмент?» Пурпурная Рубашка что-то промямлила про трубу, и Заппа крикнул: «Дайте ему трубу!» Пурпурная Рубашка принялась дудеть без всякой мелодии. Заппа немного послушал, потом произнес «в сторону», как в театре: «Гм-м. Интересно, каким аккомпанементом мы сопроводим эту игру на трубе. Идея! Могучий, величественный орган Альберт-холла!» После чего один из участников группы влез наверх, сел за пульт органа, включил все регистры и заиграл *Louie Louie* — а Пурпурная Рубашка нескладно и неслышно дудела себе внизу. Это было одно из их ранних счастливых

воспоминаний — а теперь Заппы не было на свете, а Кларисса боролась за свою жизнь. (Но хоть работу она не потеряла. Он позвонил ее начальству в агентство «А. П. Уотт» и указал им на то, как нехорошо будет выглядеть, если они уволят женщину, борющуюся с раком и к тому же имеющую общего сына с Салманом Руди. Позвонили по его просьбе и Гиллон Эйткен и Лиз Колдер, и агентство уступило. Кларисса не знала, что он приложил к этому руку.) Он пригласил ее отпраздновать у них Рождество. Она приехала с Зафаром, улыбалась слабой улыбкой, выглядела затравленной, но, похоже, получила от праздника удовольствие.

Были письма, которые он сочинял и не отправлял, и были письма, которые люди писали ему. Сто писателей родом из мусульманских стран совместно выпустили книгу *Pour Rushdie*[189] — сборник эссе в защиту свободы слова, написанных на разных языках и переведенных на французский. Сто писателей, которые поняли многое, о чем он хотел сказать, которые произошли из мира, породившего его роман, которые, даже если им не нравилось то, что он написал, были, подобно Вольтеру, готовы защищать его право написать это. *Благодаря ему пророческий жест стал открыт всем ветрам воображения,* писали в предисловии составители книги, а затем кавалькадой шли голоса из арабского мира, громкие и тихие. Сирийский поэт Адонис: *Истина — не меч / И не схватившая его рука.* Мохаммад Аркун из Алжира: *Я считаю, что «Шайтанские аяты» надо сделать доступными всем мусульманам, чтобы они на более современном уровне могли размышлять о когнитивном статусе откровения.* Рабах Беламри из Алжира: *Дело Рушди очень отчетливо показало всему миру, что ислам… продемонстрировал ныне свою неспособность без ущерба для себя подвергнуться какому бы то ни было серьезному исследованию.* Фетхи Бенслама из Турции: *В своей книге Салман Рушди раз и навсегда проделал весь путь, словно и правда хотел в одиночку побывать всеми теми многообразными авторами, что не могли существовать в истории его традиции.* Зхор Бен Чамси из Марокко: *Мы должны быть по-настоящему благодарны Рушди за то, что он вновь открыл перед мусульманами мир воображения.* Алжирка Ассия Джебар: *Этот писатель-принц… неизменно предстает не иначе как нагим и одиноким. Он — первый* мужчина*, которому выпало жить в условиях, в которых живет мусульманская* женщина *(и… он также первый мужчина, который сумел написать с точки зрения мусульманской женщины).* Карим Гхассим из Ирана: *Он наш ближний.* Палестинец Эмиль Хабиби: *Если нам не удастся уберечь Салмана Рушди — упаси Аллах! — вся*

мировая цивилизация покроет себя позором. Алжирец Мохаммед Харби: *Непочтительность и удовольствие, которое есть освобождающее начало в культуре и искусстве, Рушди побуждает нас признать источниками плодотворного исследования нашего прошлого и настоящего.* Сириец Джамиль Хатмаль: *Я предпочитаю Салмана Рушди кровожадным тюрбанам.* Соналла Ибрагим из Египта: *Каждому, кто наделен совестью, следует в трудную минуту обращаться за поддержкой к этому великому писателю.* Марокканско-французский писатель Салим Же: *Салман Рушди — единственный сегодня по-настоящему свободный человек… Он — Адам библиотеки грядущего: провозвестник свободы.* Элиас Кхури из Ливана: *Мы обязаны сказать ему, что он олицетворяет наше одиночество и что его история — это наша история.* Тунисец Абдельвахаб Меддеб: *Рушди, Вы написали то, чего не написал никто… Вместо того чтобы осудить Вас во имя ислама, я поздравляю Вас.* Франко-алжирец Сами Наир: *Салмана Рушди необходимо читать.*

Спасибо вам, братья и сестры, молча ответил он этим ста голосам. Спасибо вам за отвагу и понимание. Счастливого вам Нового года.

VII. Полный грузовик дерьма

Главная его проблема, думалось ему в самые горькие минуты, состояла в том, что он был жив. Будь он мертв, никого в Англии не волновали бы ни стоимость его охраны, ни вопрос, достоин ли он пользоваться этой особой привилегией так долго. Не надо было бы ни сражаться за право полететь на самолете, ни отвоевывать по крохам у старших полицейских чинов пространство личной свободы. Не оставалось бы причин тревожиться о безопасности матери, сестер, сына. Отпала бы необходимость встречаться с политиками (*большое* преимущество!). Не было бы больно из-за разлуки с Индией. И уровень стресса определенно снизился бы.

Ему надлежало быть мертвым, но он явно этого не понимал. Соответствующий заголовок был повсюду уже наготове и просто ждал своего часа. Некрологи были написаны. Персонаж трагедии — и даже трагифарса, — по идее, не должен переписывать пьесу. И тем не менее он настаивал на своем праве жить, и более того — говорил, обосновывал свою позицию, считал себя не преступником, а потерпевшим, защищал свою книгу и даже — невероятная наглость! — упорно, мучительно, пядь за пядью, шаг за шагом стремился восстановить свою жизнь. «Светлые волосы, большие сиськи, живет на Тасмании. Кто это?» — гласила популярная загадка. Ответ: Салман Рушди. Если бы он согласился на что-то вроде программы защиты свидетелей и скучно проводил остаток дней где-нибудь в отдаленном месте под вымышленным именем, это тоже было бы приемлемо. Но мистер Джозеф Антон хотел снова стать Салманом Рушди, и это было, честно говоря, невежливо с его стороны. Его история не должна была стать историей успеха, и в ней конечно же не было места радости. Мертвый, он, возможно, даже удостоился бы уважения как мученик, погибший за свободу слова. Живой, он был головной болью — тупой, затяжной, противной.

Когда он, один у себя в комнате, тщетно пытался убедить себя, что это всего-навсего обычное одиночество писателя за работой, тщетно пытался забыть про вооруженных людей, играющих внизу в карты, и про то, что ему нельзя без разрешения выйти из дома через главный вход, соскользнуть в горечь таких мыслей можно было запросто. Но, к счастью, было в нем нечто такое, что пробуждалось и запрещало ему мириться с поражением, предаваться непривлекательной жалости к себе. Он приказывал себе помнить важнейшие из правил, установленных им для себя. «Отвергать описания действительности, которые

предлагают полицейские, политики и духовные лица. Опираться не на эти описания, а на свои собственные суждения и интуицию. Двигаться к возрождению, по меньшей мере — к обновлению. К тому, чтобы снова стать *собой*, обрести свою собственную жизнь». Такова была цель. И если он «мертвец в отпуску» — что ж, мертвец тоже может отправиться на поиски. Древние египтяне считали, что, умерев, человек пускается в путешествие, цель которого — возрождение. Ему тоже предстоит путешествие из Книги Мертвых в «яркую книгу жизни».

И мог ли он совершить что-нибудь более жизнеутверждающее, яснее знаменующее собой победу жизни над смертью, победу его личной воли над ополчившимися на него силами, чем принести в мир новую жизнь? Вдруг он почувствовал, что готов. Он сказал Элизабет, что согласен: они попытаются завести ребенка. Все проблемы — вопросы безопасности, хромосомная транслокация — сохранялись, но его это уже не заботило. Новорожденная жизнь будет устанавливать свои правила, будет требовать того, в чем нуждается. Да! Он хочет второго ребенка. В любом случае было бы неправильно с его стороны лишить Элизабет материнства. Они пробыли вместе три с половиной года, она любила его, терпела его, отдавала ему все сердце. И теперь не она одна хотела ребенка. После того как он сказал: *Да, давай это сделаем,* она весь вечер не могла себя сдерживать: сияла, обнимала его, целовала. К ужину в память об их первом «свидании» была припасена бутылка тиньянелло. Он постоянно дразнил ее, что в тот вечер в квартире Лиз Колдер она после ужина «на него спикировала». Она не соглашалась: «Все было наоборот, это ты на меня спикировал». Теперь, три с половиной странных года спустя, они сидели у себя дома после хорошего ужина, и бутылка отличного тосканского красного вина была почти допита. «Почему бы тебе опять на меня не спикировать?» — сказал он.

1994 год начался с неудачи. «Нью-Йорк таймс» взяла назад свое предложение о синдицированной колонке[190]. Французское отделение синдиката пожаловалось, что сотрудникам и помещению будет грозить опасность. Вначале было непонятно, одобрили ли это решение владельцы газеты и знают ли они о нем вообще. Но через пару дней выяснилось, что Сульцбергеры в курсе и что предложение действительно отменено. Глория Б. Андерсон, глава нью-йоркского отделения синдиката, выразила сожаление, но ничего поделать не могла. Она сказала Эндрю, что первоначальное предложение сделала по чисто коммерческим соображениям, но потом начала читать Рушди — и

стала его поклонницей. Это было приятно, но бесполезно. Прошло четыре года с лишним, прежде чем Глория позвонила опять.

«Малахит» была из операций по охране самой-самой. Другие члены подразделения «А» называли ее «работой, которой можно гордиться», и, хотя ветераны «Малахита» Боб Мейджор и Стэнли Долл, скромничая, посмеивались над такими утверждениями, это была несомненная правда. Люди, осуществлявшие операцию «Малахит», выполняли, по мнению их сослуживцев, самую опасную и самую важную работу. Другие «всего-навсего» охраняли политиков. А они защищали принцип. Полицейские четко это понимали. Обидно, что стране это было далеко не так ясно. В Лондоне в палате общин имелись два парламентария-тори, всегда готовых задавать вопросы о стоимости его охраны. Было очевидно, что большинство депутатов от Консервативной партии считает охрану зряшной тратой денег и желает ее прекращения. И он тоже желает, хотел он им сказать. Никто сильнее его не мечтал, чтобы он вернулся к обычной жизни. Но Дик Вуд, новый руководитель операции «Малахит», сказал ему, что иранская разведка «все так же усердно» старается найти искомый объект. Рафсанджани давным давно дал добро на его устранение, и потенциальным убийцам больше не надо обращаться к нему за разрешением. Их задача номер один остается прежней. Вскоре после этого разговора глава МИ-5 Стелла Римингтон сказала по Би-би-си в ежегодной лекции памяти Димблби[191], что «целенаправленные попытки выследить и убить писателя Салмана Рушди, судя по всему, продолжаются».

Вновь пришло время вечеринки Особого отдела. Элизабет попыталась было очаровать Джона Мейджора, но тот не поддался — «не клюнул», по одному из любимых выражений Самин. Элизабет расстроилась: «Я чувствую, что подвела тебя», — что, конечно, было нелепо. Мейджор, впрочем, обещал Фрэнсис Д'Соуса сделать 14 февраля заявление, так что какая-то польза от этого вечера все-таки была. И министр внутренних дел Майкл Хауард тоже выказал дружелюбие. Во время вечеринки охранники повели их на экскурсию по этажам Особого отдела. Они зашли в «резервную комнату», и там дежурный полицейский позволил ему заглянуть в «книгу шизиков» и ответить на грязный телефонный звонок одного «шизика». Они побывали в архиве на двадцатом этаже, откуда открывается великолепный вид на Лондон, увидели секретные папки, которые им нельзя было открывать, и журнал со свежими паролями, использование которых означало, что поступил анонимный звонок, предупреждающий о настоящей

бомбе, заложенной Ирландской республиканской армией. Странно было, что, несмотря на компьютеризацию, так много всего хранилось в небольших папках-коробках.

После вечеринки охранники повезли их с Элизабет в излюбленный полицейскими винный бар «Эксчейндж». Все они, почувствовал он, стали по-настоящему близки друг другу. Под конец вечера парни, сказав, что хотят «быть с ним откровенными», предупредили его, что в городе действует некий «матерый гад» и им какое-то время надо будет соблюдать «особую осторожность». Через неделю он услышал, что этот «гад» дал гадам помельче, пробудив их от гадостной спячки, указания о том, как с ним расправиться. Так что теперь его активно искали несколько гадов, чтобы сделать с ним то, ради чего гадов пробуждают от спячки.

Приближалась пятая годовщина фетвы. Он позвонил Фрэнсис, помирился с ней и с Кармел, но в тот момент у него было очень мало желания обсуждать продолжение кампании. В том году друзья приложили максимум усилий к тому, чтобы снять с него часть бремени. Джулиан Барнс написал великолепную статью для «Нью-Йоркера», остроумную и основанную на тщательно собранном материале, — анализ происходящего, осуществленный человеком, знающим его и симпатизирующим ему. Кристофер Хитченс опубликовал статью в «Лондон ревью оф букс», а Джон Дайамонд — в таблоиде, где, так сказать, на территории противника дал бой попыткам таблоидов опорочить человека. Драматург Рональд Харвуд встретился ради него с Генсеком ООН Бутросом Бутросом-Гали. «Бу-Бу был на строен очень сочувственно, — рассказывал ему потом Ронни. — Он спросил, пытались ли британцы использовать обходные дипломатические каналы — подключить индийцев или японцев, ведь иранцы, он сказал, обращают на них внимание». Он не знал ответа, но подозревал, что ответ отрицательный. «Он сказал — если британцы хотят, чтобы он *сам* сделал попытку, то Дуглас Херд должен его попросить официально». Он задался вопросом, почему это до сих пор не было сделано.

Между тем по всей континентальной Европе СМИ в преддверии годовщины отзывались о нем положительно. За пределами Великобритании в нем видели симпатичного, остроумного, о храброго, талантливого и достойного уважения человека. Его фотографировал великий Уильям Кляйн[192], а затем Кляйн признался Кэролайн Мичел, что ему очень понравилось его снимать: «Он очень милый и забавный». «Если бы только я мог встречаться с кем захочу в маленьких компаниях, —

сказал он Кэролайн, — может быть, я положил бы конец всей ненависти и презрению. Кстати, идея — как насчет того, чтобы организовать небольшой интимный ужин для меня, Хаменеи и Рафсанджани?» — «Принимаюсь работать над этим прямо сейчас, — ответила Кэролайн.

Международный парламент писателей в Страсбурге избрал его председателем и попросил написать нечто вроде декларации о намерениях. «Мы [писатели] — шахтеры и ювелиры, — написал он, в частности, — правдолюбцы и лжецы, шуты и лидеры, полукровки и пасынки, родители и любовники, архитекторы и разрушители. Мы — граждане многих стран: конечной, четко очерченной страны зримой реальности и повседневности, соединенных штатов ума, небесно-инфернального царства желания, свободной республики языка. Вместе они охватывают намного бóльшую территорию, нежели та, что подвластна любому из государств мира; но их способность обороняться от этих государств порой выглядит очень слабой. Слишком часто творческий дух объявляют врагом те крупные и мелкие властители, кому не нравится наша способность творить картины мира, не согласующиеся с их более примитивными и менее великодушными взглядами, подрывающие эти взгляды. Лучшее из литературы уцелеет, но мы не можем ждать отдаленного будущего, чтобы избавить ее от оков цензуры».

Огромным достижением парламента писателей было создание Международной сети городов-убежищ, которая за последующие пятнадцать лет разрослась и стала насчитывать более тридцати городов — от Любляны, Амстердама и Барселоны до Мехико и Лас-Вегаса. Государства часто имеют свои резоны, чтобы отказывать преследуемым писателям в убежище — министерства иностранных дел постоянно боятся, что, скажем, радушно приняв китайского писателя, испытывающего на родине неприятности, можно загубить торговую сделку, — но на городском уровне мэры зачастую не видят в подобных инициативах отрицательных сторон. Предоставить писателю, подвергшемуся угрозам, маленькую квартирку и скромное пособие на пару лет — это не так уж дорого. Он был горд, что участвовал в разработке этой схемы, и нет сомнений, что его подпись на письмах, которые посылал парламент, производила свой эффект. Он радовался, что может заставить свое имя, приобретшее такую странную, темную славу, трудиться ради других писателей, нуждающихся в помощи.

14 февраля его «декларация» появилась в «Индепендент». Он беспокоился, что эта газета с ее репутацией органа,

занимающегося умиротворением исламистов, постарается подпортить впечатление, и беспокоился не зря. Проснувшись в День святого Валентина, он увидел свой текст на третьей странице рядом с информационной заметкой о годовщине, тогда как всю страницу публицистики занимал отвратительный опус Ясмин Алибхай-Браун о том, что фетва имела много хороших, положительных последствий, что она позволила британскому мусульманскому сообществу обрести лицо и голос. «Если бы не то судьбоносное 14 февраля 1989 года, — писала она, — мир без помех катился бы дальше к неотъемлемому праву носить джинсы и есть макдональдсовские гамбургеры». Какой молодец был Хомейни, подумал он, что дал стимул к новым спорам между исламскими и западными ценностями; ради этого не жалко превратить в гамбургеры кое-кого из писателей.

«С годовщиной тебя!» У его друзей, склонных к черному юмору, такие поздравления в этот день стали традиционными. Элизабет сделала ему в подарок изощренную валентинку, на которой соединила свое лицо с лицом Фриды Кало[193]. Ханиф Курейши отправлялся в Пакистан и согласился взять письмо от «виновника торжества» его матери в Карачи. Из Парижа позвонила Каролин Ланг и сказала, что косящего под крутого парня министра внутренних дел Шарля Паскуа уговорили согласиться, чтобы месье Рушди мог ночевать во Франции, причем не только на частных квартирах, но даже и в отелях. (Впоследствии Паскуа признали виновным в незаконной продаже оружия Анголе и приговорили к одному году условно. А министра иностранных дел Бельгии Вилли Клааса осудили за взяточничество. Таков политический мир. Многих ли писателей сочли виновными в столь же прибыльных актах коррупции?)

Плодами кампаний прошедших двух лет стали заявления мировых лидеров. Джон Мейджор на сей раз высказался в жестких тонах: *Мы все хотим довести до сведения иранского правительства, что у него не будет полноценных и дружественных отношений с остальным международным сообществом до тех пор, пока…* Лидер оппозиции Джон Смит: *Я безоговорочно осуждаю… недопустимо… Я призываю иранское правительство…* Министр культуры Норвегии Эсе Клевеланд: *Мы увеличим наши усилия, направленные против…* и: *Мы требуем отмены фетвы.* Министр иностранных дел Ирландии Дик Спринг: *неприемлемо… серьезное нарушение…* Министр иностранных дел Канады Андре Уэлле: *То, что Рушди жив, — обнадеживающий знак для сторонников свободы во всем мире.*

В тот день было распространено полмиллиона листовок

Остера-Делилло (деньги на которые в конце концов нашлись). *Pour Rushdie* опубликовали в США в переводе на английский. Фрэнсис и Кармел привезли Майкла Фута, Джулиана Барнса и других к иранскому посольству, чтобы вручить письмо протеста, но не сумели сделать так, чтобы при этом присутствовал кто-либо из журналистов. Кроме того, Кармел сказала по радио Би-би-си, что фетва распространена на его родных и друзей. Это неверное и неуклюжее заявление могло поставить его близких под удар. Через минуту после того, как это прозвучало в новостях, Кларисса позвонила ему и спросила, что происходит. Следом позвонил Джон Дайамонд, и ему до вечера пришлось трудиться в поте лица, чтобы убедить Би-би-си передать опровержение.

Гиллон сообщил, что его попытки организовать печатание и распространение «Аятов» в мягкой обложке в Великобритании увенчались успехом. Билл Норрис, глава дистрибьюторской компании «Сентрал букс», литературным подразделением которой была «Тройка букс», сказал, что будет рад взять на себя эту задачу, что приятно взволнован и не боится. Компания распространяла антифашистскую литературу и постоянно, по словам Норриса, получала угрозы. Ее здание уже находилось под охраной. Ее интерес, однако, состоял в распространении книги, а не скандала. Он сделал глубокий вдох и сказал Гиллону: да. *Давай это сделаем. Давай бросим сволочам перчатку.*

Его сильно угнетало, что он довольно долго уже не обитал в стране литературы. С тех пор как он окончил «Гаруна и Море Историй», прошло почти четыре года, и сочинялось ему по-прежнему плохо, он не мог сосредоточиться и начинал паниковать. Паника порой служила ему хорошую службу, подстегивала, заставляла работать, но за всю жизнь это у него был самый длинный — да, приходилось пользоваться этим выражением — *писательский затор*. Затор пугал его, и он понимал, что непременно надо сквозь него пробиться. Март должен был стать решающим месяцем. Фрэнсис Коуди, его британский редактор в «Рэндом хаус», предложила: «Хотя бы крохотный сборничек рассказов, чтобы люди про вас не забывали», — может быть, это выведет его на столбовую дорогу? Не важно что, главное — писать, а он не писал. Почти не. Совсем не.

Он пытался заставить себя вспомнить, что это такое — быть писателем, усилием воли толкал себя к тому, чтобы вновь обрести привычки прошлой жизни. Внутреннее вопрошание, ожидание, доверие ходу рассказа. Медленное или быстрое открытие способов рассекать толщу вымысла, отыскание входов в

нее, путей внутри и выходов наружу. И волшебство сосредоточенности — словно падаешь в глубокий колодец или в дыру во времени. Проваливаешься в страницу в поисках экстаза, который приходит слишком редко. И трудная работа самокритики, жесткий допрос написанных фраз, использование того, что Хемингуэй называл своим *детектором дерьма*. Досада и уныние, которые испытываешь, ударяясь о границы своего таланта и понимания. «Сделайте Вселенную чуть более открытой!» Да, он — собака Сола Беллоу[194].

Странная новость: оказывается, ему *два года назад* присудили государственную премию Австрии за достижения в области европейской литературы, но австрийское правительство держало этот факт в секрете. Теперь в австрийских СМИ поднялся невероятный шум. Министр культуры Австрии Рудольф Шольтен признал, что поступил наивно, и сказал, что хотел бы побеседовать с господином Рушди по телефону. Когда господин Рушди позвонил ему, министр говорил с ним дружелюбным и извиняющимся тоном: была допущена ошибка, в ближайшее время она будет исправлена. О «засекреченной» австрийской премии широко сообщала пресса по всей Европе. Но ни одна английская газета не сочла это достойным упоминания. А старая добрая «Индепендент» напечатала статью, сопоставляющую отважное решение Таслимы Насрин жить «открыто» (не выходя при этом из усиленно охраняемой квартиры весь день, отваживаясь покидать ее только под покровом темноты, чтобы сразу сесть в машину с тонированными стеклами) с трусливым желанием автора «Шайтанских аятов» по-прежнему «прятаться» (борясь при этом за свою свободу от полицейских ограничений и посещая общественные места среди бела дня, за что его критиковали).

А в теневом мире убийц-фантомов министр иностранных дел Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что фетва не может быть аннулирована. Велаяти, между прочим, сказал это в Вене, и почти сразу же полиция сообщила главному объекту фетвы, что его план посетить этот город, чтобы получить государственную премию, «слишком рискован». О нем знают уже слишком многие и слишком много. Дик Вуд передал ему официальное мнение Форин-офиса: поехать было бы неразумно. Но окончательное решение оставили за ним, хоть и «знали», что «строятся какие-то подпольные планы». Он сказал, что не даст себя запугать и не собирается бегать от теней, и Дик в личном разговоре признался, что согласен с ним. «Чтобы подготовить теракт, нужно время, а у них его слишком мало».

В Вене Рудольф Шольтен и его жена Кристина, врач, встретили их как старых друзей. Но начальник группы охраны сказал, что замечена «подозрительная активность» вокруг исламского культурного центра, поэтому его свобода, к сожалению, будет ограничена. Им не разрешили гулять по улицам — только показали панораму города с крыши Бургтеатра, директор которого Клаус Пайман, крупный, богемного облика мужчина, пригласил его в скором времени приехать еще раз и пообещал устроить в театре вечер в его честь. Их провезли по Венскому лесу — манящему, темному и густому, как лес в знаменитом «стихотворении-галлюцинации» Роберта Фроста[195], — но выйти из машины ему не позволили, что сделало лес еще более похожим на галлюцинацию. После ужина Элизабет осталась у Шольтенов, а его вертолетом перебросили в штаб-квартиру австрийского Особого отдела близ Вены, и он провел ночь там. *Так много миль, пока я усну*[196]… За многоквартирным домом, где жили Шольтены, наблюдал некий мужчина, который затем отправился к посольству, но не иранскому, а иракскому. Так что, видимо, он был из НМИ, чья штаб-квартира находилась в Ираке (Саддам Хусейн охотно предоставлял убежище противникам его противника Хомейни). На следующий день австрийская полиция, образовав вокруг него подобие древнегреческой фаланги, сопроводила его до зала, где должны были вручать премию. Над головой стрекотали полицейские вертолеты. Но все прошло без инцидентов. Он получил премию и улетел домой.

В Лондоне у него был поздний вечерний разговор с Робертом Гелбардом, руководившим американской контртеррористической деятельностью, который сказал, что располагает «тревожной и конкретной» информацией о продолжающихся «усилиях» иранцев по его выслеживанию; «чувствуется, что они раздосадованы», заметил он, «но поскольку это новое обстоятельство, вам следует об этом знать». *Дописывай свой чертов роман, Салман,* сказал он себе. *У тебя, может быть, не так много времени в запасе.* В «Обсервере» появилась публикация о ссоре между Рафсанджани и Хаменеи по поводу дела Рушди. Рафсанджани хотел ликвидировать фонд «15 хордада», на котором основывалось могущество Санеи с «Баунти», и запретить использование отрядов смерти. Но Хаменеи воспрепятствовал и тому и другому и заявил, что фетва остается в силе. Ничего не изменилось.

В Норвегии союз писателей объявил, что приглашает его в качестве почетного гостя на свое ежегодное собрание в Ставангер. На что немедленно отреагировал глава местной мусульманской ассоциации Ибрагим Илдиз, пообещавший убить Рушди, если он

приедет в Ставангер. «Если раздобуду оружие и представится возможность, я не дам ему уйти».

Из ящика письменного стола, где он хранил небольшую наличность, стали пропадать мелкие суммы — и это в доме, где обитало четверо вооруженных полицейских! Он не знал, на кого подумать. Потом позвонила Кларисса: справка из банка, где у Зафара был счет, показала, что денег на счету слишком много и расходы слишком велики. Зафар объяснил ей это тем, что его школьный товарищ (назвать его он отказался) «взял что-то дома, чего не должен был брать, и продал», а Зафара попросил положить деньги в банк. Это была явная ложь. И еще Зафар сказал Клариссе, что «просмотрел вместе с папой список доходов и расходов», хотя списка они не просматривали. Вторая ложь.

Они с Клариссой решили применить серьезные санкции. Счет закрыть, и никаких денег с него и никаких карманных денег, пока Зафар не скажет, что было на самом деле. Через полчаса — кто сказал, что экономические санкции не дают эффекта? — сын во всем сознался. Он таскал деньги из папиного письменного стола. Лодка, которую он хотел купить, стоила гораздо дороже, чем он думал, не 150 фунтов, а 250, к тому же были и другие расходы — на то, что необходимо иметь в лодке, и получалось, что копить надо целую вечность, а он очень хотел эту лодку. Наказали его строго: запретили смотреть телевизор, закрыли счет, объявили, что будут удерживать по тридцать из пятидесяти фунтов ежемесячных карманных денег, и он не мог использовать лодку (парусник «Миррор», который, как выяснилось, он уже купил), пока не оплатит приобретение честно. Они с Клариссой надеялись, что этот шок заново научит Зафара честности. Но сын, кроме того, должен был понять, что родители доверяли ему полностью и теперь ему предстоит завоевать это доверие заново. В родительской любви он при этом мог не сомневаться — она была безусловна. Зафар выглядел страшно напуганным и пристыженным. Наказание он не оспаривал.

Пять дней с пустя Элизабет обнаружила, что украшение, которым она больше всего дорожила, — золотой браслет с брелоками, доставшийся ей от матери, — пропал из шкатулки внутри другой шкатулки, хранившейся в ее платяном шкафу. Все остальное было на месте. Он попросил ее поискать получше, но она, судя по всему, уже решила, что браслет взял Зафар. Поискала спустя рукава, но ничего не обнаружила. Зафар спал у себя в комнате, и она настояла, чтобы его разбудили и допросили. Он умолял ее обшарить вначале весь дом, но она сказала, что всюду смотрела и браслета не нашла. И ему

пришлось разбудить сына и обвинить в воровстве, хотя все его инстинкты говорили ему, что мальчик не мог этого сделать, ведь он даже не знал, где Элизабет хранит драгоценности, это было неправдоподобно. Зафар жутко огорчился и сказал, что ничего не брал. И посреди ночи, когда подросток лежал в постели без сна, глубоко несчастный, Элизабет нашла-таки браслет, который все время лежал там, куда она его положила.

Теперь уже ему стало стыдно перед сыном. И между ним и Элизабет пролегла тень, которая рассеялась не скоро.

Они были в гостях у Ронни и Наташи Харвудов, праздновавших тридцать пятую годовщину свадьбы, и судья Стивен Тумим, главный инспектор тюрем Ее величества, румяный хохотун, которого Ирландская республиканская армия (ИРА) в свое время пообещала убить, рассказывал, как его охранял Особый отдел и каково это — быть вынужденным покинуть дом, где прожил тридцать лет. Его жена Уинифред призналась, что перенесла нервное расстройство. В сопровождении полиции она приезжала в дом за вещами, и смотреть на застеленные кровати, зная, что им никогда больше не доведется в них спать, было, сказала она, все равно что прощаться с умершим. Они оба тогда горевали по своему дому, и самое худшее было — не знать, когда это кончится. «Это как приговор к пожизненному, — сказал судья Тумим. — Тебе предстоит сидеть, пока это будет угодно Ее величеству[197], ты понятия не имеешь, сколько просидишь. У нас тоже было что-то вроде пожизненного заключения». Стивену и Уинифред пришлось переселиться в военные казармы на Олбени-стрит близ Риджентс-парка — в те самые, куда едва не угодили они с Элизабет. Но для Стивена сделали то, чего им никогда не предлагали. Государство согласилось оценить и выкупить их дом, потому что, как выразился милейший судья, «если тебе выделена охрана, ты не найдешь дурака, который купит твое жилище». — «А я нашел», — заметил он в ответ, и Ронни Харвуд, плутовато улыбаясь, подтвердил: «Да, это мой издатель Роберт Маккрам».

Тумим был великолепный рассказчик. Инспектируя одну из тюрем, он повидал знаменитого серийного убийцу Денниса Нильсена и был «слегка встревожен», когда Нильсен попросил разрешения поговорить с ним наедине. «Но он просто-напросто хотел похвастаться, каким стал начитанным». Нильсена арестовали, когда из-за человеческих внутренностей и кусков тел в его доме произошел засор канализации. Он убил как минимум пятнадцать взрослых мужчин и мальчиков и удовлетворял свою похоть с их трупами. Тумим нашел Нильсена «очень мрачным типом», что неудивительно. Оказалось, что некоторые охранники

у них с Джозефом Антоном общие, и они немного посплетничали на их счет. «Идеальная работа для сокрытия внебрачных связей, — согласился Тумим. — *Прости, дорогая, не могу тебе сказать, куда иду и когда вернусь, это строго секретная информация.* Они все, конечно, изменяют женам. Мы бы тоже, вероятно, так поступали на их месте». Он рассказал Тумиму про охранника-двоеженца. «Они ведь очень привлекательные мужчины», — понимающе заметил судья.

В конце концов Тумим почувствовал, что опасность миновала: начальник тюрьмы «Мейз» в Лонг-Кеше в Северной Ирландии, где голодовка протеста против условий в корпусе «Н» привела к смерти Бобби Сэндза из ИРА, сказал ему, что он исключен из списка тех, на кого ИРА ведет охоту. Он был в нем раньше, но теперь исключен. «Разведслужбы не так уж много знают, в общем-то, — сказал Тумим. — Но если бы я отказался уезжать из дома, меня, вероятнее всего, застрелили бы. Я имел привычку сидеть у окна и смотреть на реку, а за рекой там как раз кусты, идеальное место для снайпера. Я был бы очень удобной мишенью. Охранники говорили мне: *всякий раз, как выходили бы в сад, думали бы, не сидит ли кто-нибудь в кустах*. Но теперь все в порядке».

На следующий день Ронни сказал ему, что это теперь судья говорит про те дни в шутливом тоне, а тогда ему и его семье пришлось очень туго. Одна из дочерей Тумима, которой трудно было вынести жизнь в доме, полном вооруженных мужчин, начала оставлять в каждой комнате записки с требованием НЕ КУРИТЬ и тому подобное. Самое тяжелое — утрата приватности и непринужденности. Приятно было поговорить с людьми, прошедшими через то, через что проходили сейчас они, и услышать, что у такой истории может быть счастливый конец. Элизабет и Уинифред Тумим пожаловались друг другу на тяжесть дверей в бронированных автомобилях. Не так уж много существовало людей, с кем можно было поболтать на эту тему. «Это заставляет гораздо сильней симпатизировать полиции, — сказал судья, — и быть гораздо менее терпимым к этим гадам. В моем случае — к ИРА. У вас другие гады, и не все они мусульмане, кстати».

Мистер Антон заметил перемены в подходе полиции к он рации «Малахит». С одной стороны, она намеревалась время от времени вести «скрытое наблюдение» за домом Зафара и Клариссы, и он был этому рад: его всегда беспокоило, что Бермароуд остается без всякого внимания полиции. Дик Вуд сказал, что, возможно, будет проводить «смену состава» на время его

выездов из дому — даже в кино, — потому что нежелательно, чтобы лица тех, кто находится при нем в доме на Бишопс-авеню, становились знакомыми слишком многим. С другой стороны, отношение охраны к «клиенту» как таковому делалось более мягким. Телохранитель Тони Данблейн признался ему: «Мне лично кажется, что мы, Особый отдел, не должны делать за иранцев их работу и держать вас взаперти». Немного погодя в таком же духе высказался его начальник Дик Вуд. «У меня такое впечатление, — сказал Дик, — что более трех лет с вами обращались как с капризным ребенком». Многие из ограничений, на которых настаивал мистер Гринап, были избыточными, признал Вуд. *Смотрите, что получается,* сказал он в ответ. *Три с лишним года моей жизни были более неприятными, чем могли бы, потому что я не нравился Гринапу. Каждый дюйм пространства я должен был отвоевывать.* «Не понимаю, как вы это выдержали, — сказал Дик. — Никто из нас этого бы не вынес».

Смягчилась и Хелен Хэммингтон, она была готова помочь «клиенту» операции «Малахит» сделать его жизнь чуть более сносной. Возможно, на нее подействовали его встречи с мировыми лидерами. Или, возможно, эффект наконец возымели доводы, которые он приводил полицейским. Он не спрашивал.

В 1982 году во время поездки в Индию он побывал в старой синагоге в Кочине, штат Керала, и она показалась ему маленьким самоцветом, оправленным в голубую китайскую плитку (ПЛИТКИ ИЗ КАНТОНА. НЕТ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ, гласила вывеска). История почти вымершего сообщества керальских евреев захватила его, и, подойдя к смотрителю синагоги, крохотному человечку преклонных лет, носившему замечательное южноиндийское имя Джекки Коген, он забросал его вопросами.

Через несколько минут господин Коген устал отвечать.

— Зачем вам так много знать? — ворчливо поинтересовался старый смотритель.

— Видите ли, я писатель, — объяснил он. — Может быть, напишу про эту синагогу.

Джекки Коген отмахнулся сухой костлявой рукой.

— Можете не трудиться, — сказал он чуточку высокомерно. — У нас уже есть брошюра.

В Керале он делал путевые заметки, и какой-то писательский инстинкт подсказал ему, что надо их сохранить. И теперь этот дневник, который он вывез с Сент-Питерс-стрит, привел его обратно к писательскому труду. Он сидел над ним день за днем, вспоминая красоту Кочинской гавани, склады с перцем — «черным золотом Малабара», огромные опахала, подвешенные к

потолку церкви с гробницей Васко да Гамы. И по мере того как он проходил в воображении улочками еврейского квартала, оживала кочинская часть «Прощального вздоха Мавра». Аурора Зогойби и ее сын Мораиш по прозвищу Мавр открывали перед ним свой мир.

Его кошмар длился долго, и возвращение в литературу было трудным. Не было дня, чтобы он не вспоминал про Вильяма Нюгора и его пулевые раны, про избитого и израненного Этторе Каприоло, про бездыханного Хитоси Игараси в луже крови у шахты лифта. Не только он, автор, не знающий стыда, но и вся страна книг — литература как таковая — была поругана, расстреляна, избита, исколота, предана смерти и сама же во всем обвинена. И все-таки подлинная, глубинная жизнь книг не имела ничего общего с этим миром насилия, и в ней он вернулся к тому разговору, который любил. Он вынырнул из чуждой ему повседневной действительности и погрузился в Аурору — в ее волшебство, в ее богемные излишества, в ее художнические прозрения, открывающие суть людского томления и желания, — он пожирал ее, как изголодавшийся человек, который дорвался до пиршественного стола.

Он когда-то читал о том, как Ленин использовал двойников, ездивших по Советскому Союзу и произносивших за него речи, и теперь подумал, что было бы забавно, если бы в Керале, где коммунистические идеи пользовались популярностью, местные ленинисты решили с той же целью нанять индийских Лениных. Так на страницы романа пришли Ленин-высоковатый, Ленин-коротковатый, Ленин-толстоватый, Ленин-тонковатый, Ленин-хромоватый, Ленин-совсем-лысый и наконец, Беззубый Ленин, а с ними появилась легкость, живость. Может быть, ему все-таки удастся написать хорошую книгу. «Прощальный вздох Мавра» должен был стать его первым взрослым романом после «Шайтанских аятов». От того, как примут новый роман, зависело очень многое. Но мысль об этом он старался не впускать в голову.

Его быт сейчас был более упорядоченным, чем когда он писал «Гаруна и Море Историй», но обрести заново дар глубокого сосредоточения на этот раз оказалось труднее. Императив обещания, данного им Зафару, заставлял его двигать «Гаруна» вперед, невзирая на все переезды и неопределенности. Теперь у него появилось постоянное жилье и приятный рабочий кабинет, но он был рассеян. Он понуждал себя вернуться к старым привычкам. Утром вставал и немедленно шел к письменному столу, не приняв душ и не переодевшись в дневную одежду, иногда даже не почистив зубы, и заставлял себя сидеть как был, в пижаме, пока не начинал дневную работу. «Сочинительство, —

сказал Хемингуэй, — это искусство приложения штанов к сидению стула». *Сидеть,* приказывал он себе. *Не вставать.* И медленно, мало-помалу к нему возвращалась былая сила. Окружающий мир уходил. Время останавливалось. И он блаженно проваливался в ту глубину, где ждут ненаписанные книги — ждут, точно возлюбленные, скрывающиеся до тех пор, пока не получат доказательство безраздельной преданности. Он снова стал писателем.

Когда он не занимался романом, он правил старые рассказы и обдумывал новые для сборника, который собирался назвать «Восток, Запад», — а запятой в этом названии, думалось ему, был он сам. У него уже имелось три «восточных» рассказа и три «западных», и теперь он работал над тремя рассказами о скрещивании культур, которые должны были составить последнюю часть сборника. Рассказ «Чеков и Зулу», действие которого происходило сразу после убийства госпожи Ганди, был про индийских дипломатов, помешанных на сериале «Звездный путь», и кое-какой полезный материал для него дала ему дружба с Салманом Хайдаром из Высокой комиссии Индии в Лондоне. «Гармония сфер» — это была почти правдивая история, основанная на самоубийстве Джейми Уэбба, его близкого приятеля по Кембриджу, писавшего на оккультные темы и застрелившегося после того, как у него развилась острая шизофрения. А самый длинный рассказ — «Ухажерчик» — еще предстояло дописать. В середине шестидесятых, когда его родители переехали из Бомбея в Кенсингтон, они на время привезли с собой его старую айю — няню — по имени Мэри Менезиш, из Мангалора, чтобы смотреть за его младшей сестренкой, которой тогда было всего два года. Но Мэри стала страшно тосковать по дому, сердце ее разрывалось от этой тоски. У нее действительно начались проблемы с сердцем, и в конце концов она вернулась в Индию. Как только она оказалась дома, с сердцем все стало хорошо и болезнь больше не возвращалась. Она прожила намного больше ста лет. О том, что, разлучившись с родиной, иной взаправду рискует умереть из-за разбитого сердца, стоило написать. Он соединил историю Мэри с историей швейцара из Восточной Европы, с которым однажды познакомился в лондонском рекламном агентстве «Огилви энд Мазер», — пожилого человека, очень плохо говорившего по-английски и страдавшего от последствий инсульта, но игравшего в шахматы так сильно и уверенно, что мало кто мог ему противостоять. В рассказе полунемой шахматист и тоскующая по дому айя влюбляются друг в друга.

Полиция приготовила для них с Элизабет особое развлечение. Их отвезли в легендарный «Черный музей» Скотленд-Ярда, вообще-то закрытый для публики. В музее поддерживается такая низкая температура, что, войдя, он содрогнулся от холода. Хранитель музея Джон Росс, которому была вверена эта диковинная коллекция подлинных орудий убийства и других экспонатов, связанных с реальными преступлениями, сказал, что хотел бы, чтобы британским полицейским было разрешено убивать. Долгое соседство с этими губительными предметами, похоже, повлияло на его мышление. В «Черном музее» собрано много замаскированного оружия: стреляющие зонтики, стреляющие дубинки, ножи-пистолеты. На столах здесь разложены все мыслимые зловредные приспособления, какие только рождала фантазия авторов детективных романов и шпионских фильмов, и каждый из этих предметов кого-то убил. «Мы используем музей для обучения молодых полицейских, — сказал мистер Росс. — Просто чтобы они понимали: оружием может быть все что угодно». Здесь пистолет, из которого Рут Эллис, последняя женщина, повешенная в Англии, застрелила своего любовника Дэвида Блейкли. Здесь пистолет, из которого в 1940 году в Кэкстон-Холле в Вестминстере сикх Удхам Сингх застрелил сэра Майкла О'Дуайера, бывшего губернатора Пенджаба, мстя ему за массовое убийство индийцев в Амритсаре двадцать один год назад — 13 апреля 1919 года. Здесь плита и ванна, где серийный убийца Джон Реджинальд Кристи варил и разделывал тела своих жертв в доме 10 на Риллингтон-плейс в Западном Лондоне. И здесь посмертная маска Генриха Гиммлера.

Деннис Нильсен, сказал мистер Росс, некоторое время прослужил в полиции, но через год его выгнали за сексуализм. «Теперь мы не смогли бы этого сделать правда ведь? — размышлял мистер Росс. — Ну нет, попробуй теперь выгони».

В банке для солений он увидел человеческие руки, отрубленные по локоть. Они принадлежали убийце-британцу, которого застрелили, когда он был в бегах в Германии. Скотленд-Ярд попросил немецких коллег прислать для официальной идентификации отпечатки пальцев трупа. Немцы вместо отпечатков прислали руки убийцы. «*Сами снимайт отпечаток пальц*, — произнес мистер Росс, передразнивая немецкий акцент. — Старый добрый немецкий юмор». А он был человеком, которого хотели убить, и вот в порядке особого развлечения его пригласили в мир убийства. Старый добрый британский юмор, подумал он. Ну да.

Вечером того же дня, когда впечатления, вынесенные из

«Черного музея», были еще свежи, он, наряду с Джоном Уолшем, Мелвином Брэггом, Д. Дж. Энрайтом и Лорной Сейдж, принял участие в мемориальных чтениях из Энтони Берджесса в театре «Ройял Корт». Он прочел отрывок из «Заводного апельсина», в котором Алекс и его дружки (droogs) нападают на автора книги «Заводной апельсин». Он много думал о том виде насилия, который Берджесс назвал «ультранасилием» (насилие в отношении авторов — его частный случай); об обаянии терроризма, о том, как у потерявших ориентиры, утративших надежду молодых людей терроризм рождает ощущение собственной силы и значительности. Сленг, основанный на русских словах, который Берджесс придумал для своей книги, стал в ней отличительным признаком такого насилия, этот сленг придавал насилию блеск и нейтрализовывал отвращение к нему, он служит великолепной метафорой всего, что делает насилие «клевым». Прочесть «Заводной апельсин» — значило лучше понять врагов «Шайтанских аятов».

Он дописал «Ухажерчика», так что сборник «Восток, Запад» был готов. Он, кроме того, закончил первую часть «Прощального вздоха Мавра» — «Разделенный дом», примерно сорок тысяч слов. Писательский затор был наконец преодолен. Он глубоко погрузился в вымысел. Он уже был не в Кочине. Теперь внутренним взором он смотрел на город своего детства, которому, как и ему, пришлось взять фальшивое имя. «Дети полуночи» были его романом о Бомбее. А теперь он писал книгу о более мрачном, более коррумпированном, более жестоком городе, увиденном не глазами ребенка, а глазами утратившего многие иллюзии взрослого. Он писал роман о Мумбаи.

Он начал в Индии судебную тяжбу о возвращении фамильного имущества — летнего дома в горах, в Солане близ Симлы, незаконно захваченного правительством штата Химачал-Прадеш. Когда новость об этом достигла Лондона, «Дейли мейл» опубликовала редакционную статью, где говорилось, что, если бы он решил переехать на жительство в Солан, для оплаты его проезда можно было бы объявить всенародный сбор средств, ибо это было бы во много раз дешевле, чем охранять его и дальше. Будь любому другому иммигранту-индийцу в Великобритании сказано, чтобы он убирался туда, откуда приехал, это назвали бы расизмом, но в адрес этого отдельно взятого иммигранта, похоже, допустимо было высказываться как угодно.

В конце июня он побывал в Норвегии, чтобы встретиться с Вильямом Нюгором, который хорошо, хоть и медленно,

оправлялся от своих ран; они обнялись. В июле он написал первое из серии открытых писем писательнице из Бангладеш Таслиме Насрин, которой угрожали исламисты, опубликованных в берлинской ежедневной газете «Ди тагесцайтунг». За его письмом последовали письма от Марио Варгаса Льосы, Милана Кундеры, Чеслава Милоша и многих других. 7 августа стало двухтысячным днем с момента объявления фетвы. 9 августа Таслима Насрин с помощью Габи Гляйхмана из шведского ПЕН-клуба приехала в Стокгольм, и шведское правительство предоставило ей убежище. Девять дней спустя она получила премию Курта Тухольского. Итак, она была в безопасности; в эмиграции, лишенная родного языка, страны, культуры, — но живая. Эмиграция, писал он в «Шайтанских аятах», — это мечта о славном возвращении. Речь шла об имаме-эмигранте, прототипом которого был Хомейни, но фраза бумерангом вернулась к ее автору, а теперь она была приложима и к Таслиме. Он не мог вернуться в Индию, Таслима — в Бангладеш; им оставалось только мечтать об этом.

Медленно, аккуратно он готовил себе освобождение на несколько недель. Ночным поездом он, Элизабет и Зафар отправились в Шотландию, где их встретили машины охранников, приехавших накануне. В тихом отеле на леньком частном острове Эриска близ Обана они прожили неделю, занимаясь тем, чем люди занимаются на отдыхе: гуляли по острову, стреляли по тарелочкам, играли в мини-гольф — роскошь неизъяснимая. Побывали на острове Айона и на кладбище, где покоятся шотландские короли старых времен — где погребен сам Макбет, — увидели свежую, с невысохшей землей, могилу, в которой совсем недавно похоронили лидера лейбористов Джона Смита. Ему довелось однажды встретиться со Смитом, и он восхищался им. Он постоял у могилы, склонив голову.

Но настоящее освобождение пришло после Шотландии. Элизабет и Зафар вылетели из Лондона в Нью-Йорк. А ему снова пришлось проделать длинный кружной путь. Он прилетел в Осло, там дождался рейса «Скандинавских авиалиний» и прибыл в аэропорт Кеннеди в проливной дождь. Американские блюстители порядка попросили его задержаться в самолете, и после того как все остальные пассажиры сошли, они поднялись на борт и проделали с ним все въездные формальности. Затем охранники вывели его на летное поле и отвезли на условленное место встречи с Эндрю Уайли. И вот он в машине Эндрю, мир спецслужб отступил и выпустил его на волю. Ни о какой охране он не просил, и никто ему ее не предлагал и тем более на ней не

настаивал. Статуя в гавани исполнила свое обещание.

Свобода! Свобода! Он, казалось, стал легче на сотню фунтов, и ему хотелось петь. Зафар и Элизабет дожидались его У Эндрю, и в тот вечер туда приехали Пол Остер и Сири Хустведт, Сьюзен Сонтаг и Дэвид Рифф; увидев его без цепей, все радовались и глазам своим не верили. Он взял Элизабет и Зафара полетать над городом на вертолете в обществе Уайли, и Элизабет и Эндрю все время вскрикивали от ужаса — Эндрю громко, Элизабет беззвучно. А потом они взяли напрокат машину в компании «Херц». Когда сотрудница «Херц», блондинка Деби, впечатывала его фамилию в компьютер, по ее круглому розовому лицу не пробежало не тени узнавания. И теперь у них был свой «линкольн-таункар»! Он почувствовал себя ребенком, которому дали ключи от магазина игрушек. Они отправились ужинать с Джеем Макинерни и Эрролом Макдональдом из «Рэндом хаус». Буквально все было ярким, острым, волнующим. Тут Уилли Нельсон! И Мэтью Модайн! Метрдотель выглядел озабоченным — но что из того? Зафар, которому уже стукнуло пятнадцать, держался совсем по-взрослому. Джей завел с ним мужской разговор о девушках, и Зафар был очень этим доволен. Лег спать улыбаясь, и, когда проснулся, улыбка еще была у него на лице.

Они поехали в Казеновию, штат Нью-Йорк, побыть у Майкла и Валери Герров. О том, как добраться, им были даны подробные указания, но перед выездом он для верности позвонил Майклу. «Я все очень хорошо себе представляю, — сказал он, — кроме одного: как выбраться из Нью-Йорка». Майкл выдержал нужную для комического эффекта паузу и протянул: «Салман, люди трудятся над этой проблемой годы и годы».

Каждое мгновение было подарком. Езда по межштатной автостраде походила на космический полет: мимо галактики Олбани и туманности Скенектади к созвездию Сиракьюс. Сделали остановку в Читтенанго, который превратили в тематический парк, посвященный стране Оз: тротуары из желтого кирпича, кофейня тети Эм — в общем, ужас. Помчались дальше к Казеновии, и вот уже Майкл приветливо моргает из-за маленьких очков с толстыми линзами и улыбается своей иронической кривой улыбкой, и вот Валери — в ней есть что-то неопределенно-божественное, и главное — у нее *здоровый* вид. Мир, в котором они оказались, назывался «Джим и Джим». Дочери Герров были дома, и корги по кличке Пабло, подойдя, положил голову ему на колени и ни за что не хотел убирать. За большим деревянным домом был пруд, окруженный дикими зарослями. Поздно вечером они отправились на прогулку под большой древней луной. Утром в пруду нашли мертвого оленя.

По дороге к одному из озер Фингер-Лейкс, где у писателя Тобайаса Вулфа была хижина, он учился произносить название города Сканеатлес. Они поели в рыбном баре, прогулялись до конца дамбы, *вели себя нормально,* но чувствовали себя ненормально: были пьяны от радости. Вечером зашли в книжный магазин, и там его узнали мгновенно. Майкл нервничал, но суматоху никто поднимать не стал, и он успокоил Майкла: «Завтра я в этот магазин не пойду, вот и все». Воскресенье они провели у Герров, к ланчу приехал Тоби Вулф, и они с Майклом обменивались историями про Вьетнам.

К Джону Ирвингу в Вермонт ехали часа три. У границы остановились перекусить. Фамилия алжирца, владевшего рестораном, была Ручди, и он, само собой, чрезвычайно взволновался. «Рушди! У нас одна фамилия! Меня все время за вас принимают! Я говорю: нет-нет, я гораздо лучше выгляжу!» (Во время другой поездки в Америку метрдотель-египтянин в ресторане «Гарри Чиприани» в центре Нью-Йорка расчувствовался примерно так же: «Рушди! Я ваш поклонник! Эту книгу, вашу книгу, я ее читал! Рушди, мне она нравится, ваша книга, эта книга! Я из Египта! Из Египта! В Египте эту книгу запретили! Вашу книгу! *Совсем запретили!* Но все ее читали!»)

Джон и Дженет Ирвинг жили в длинном доме на склоне холма над городком под названием Дорсет. Джон сказал: «Когда мы говорили с архитектором, мы просто положили квадратные салфетки в линию, некоторые легли под углом — вот так. И мы ему сказали: так вот и стройте, и он построил». На стене в рамочке висел список бестселлеров «Нью-Йорк таймс», где «Шайтанские аяты» располагались строчкой выше, чем книга Джона. Рядом висели и другие подобные списки, тоже в рамочках, и везде Джон значился под номером один. Ужинать пришли местные писатели, и было вдоволь крика, споров, выпивки. Он вспомнил, что, когда они с Джоном познакомились, он имел наглость спросить его: «Почему в ваших книгах столько медведей? Какую такую важную роль они сыграли в вашей жизни?» Никакой, ответил Джон, и так или иначе — это было после выхода «Отеля „Нью-Гэмпшир“» — он, мол, с медведями завязал. Теперь он пишет балетное либретто для Барышникова, но есть одна проблема. «Какая?» — «Барышников не хочет надевать костюм медведя».

Они поехали на сельскохозяйственную выставку штата и опростоволосились, попытавшись угадать вес хряка. *Всем хрякам хряк,* сказал он, а Элизабет в ответ: Лучезарный[198]. Они поглядели друг на друга, не в силах поверить, что все это происходит на самом деле. Через два дня, посадив Элизабет и

Зафара в «линкольн-таункар», он поехал в Нью-Лондон, чтобы попасть на паром до Ориент-Пойнта на полуострове Норт-Форк на Лонг-Айленде. Когда паром отходил от Нью Лондона, в гавань вплывала черная, похожая на огромного слепого кита атомная подлодка. Поздним вечером они добрались до дома Эндрю в Уотер-Милле. Простейшие вещи приводили их в восторг. Он плескался и дурачился с Зафаром в пруду Эндрю, и редко приходилось ему видеть сына таким счастливым. Зафар катался на роликах по усыпанным листвой дорожкам, а он следовал за ним на позаимствованном велосипеде. Потом отправились на морской берег. Зафар и Эрика, дочь Эндрю, в ресторане взяли автограф у Чеви Чейза[199]. Элизабет покупала летние платья в Саутгемптоне. Наконец чары рассеялись и настало время возвращаться домой. Элизабет и Зафар воспользовались одним из бесчисленных авиарейсов, которые для него были под запретом. Он долетел до Осло, там пересел на другой самолет. Мы сделаем это еще раз и времени выделим гораздо больше, пообещал он себе. На несколько драгоценных дней Америка вернула ему свободу. Не было наркотика слаще, и, как всякий наркоман, он мгновенно захотел еще.

Новым человеком, которому Форин-офис поручил поддерживать с ним связь, был арабист Эндрю Грин, но, когда Грин предложил с ним встретиться, они с Фрэнсис дружно решили, что надо отказаться: у Грина не было ничего нового, что стоило бы обсудить. «Салман очень угнетен? — поинтересовался Грин у Фрэнсис. — Это рациональный или эмоциональный ответ?» Нет, мистер Грин, он не угнетен, просто ему надоело, что ему морочат голову.

Фрэнсис написала Клаусу Кинкелю, чья очередь теперь пришла председательствовать в ЕС. Но Кинкель был непреклонен: нет, нет, нет. А новым главой Комитета Европарламента по правам человека стал член консервативного немецкого Христианско-демократического союза, и это было второй плохой новостью. Немцев иногда хотелось назвать иранскими агентами в Европе. Они вытащили из чулана свои метлы и пытались вновь замести его под ковер.

Его девять рассказов были встречены благосклонно. Майкл Дибдин написал в «Индепендент он санди», что эта книга принесла автору больше пользы и больше друзей, чем любое количество речей и заявлений, и это было похоже на правду. После чего Кэт Стивенс — Юсуф Ислам — зловонно высказался в «Гардиан», точно пустил в ванне пузырь из задницы: он в очередной раз потребовал, чтобы Рушди изъял свою книгу из

продажи и «раскаялся», и заявил, что его поддержка фетвы согласуется с Десятью заповедями. (По прошествии лет он стал делать вид, что никогда не говорил ничего подобного, никогда не призывал к убийству кого-либо, никогда не оправдывал это убийство «законами» своей религии, никогда не нес ни по телевидению, ни в интервью газетчикам кровожадный невежественный бред: он сообразил, что живет в эпоху, когда никто ничего не помнит. Отрицай, отрицай — и сотворишь новую истину, которая займет место старой.)

Рэб Конноли, новый помощник Дика Вуда — сметливый, горячий, чуточку опасный рыжеволосый молодой человек, в свободное время готовившийся к защите диплома по постколониальной литературе, — поднял тревогу по поводу карикатуры в «Гардиан», изображавшей «сеть влияния». От мистера Антона на рисунке шли линии к Алану Йентобу, Мелвину Брэггу, Иэну Макьюэну, Мартину Эмису, Ричарду и Рути Роджерс и к «Ривер кафе». «Все эти люди бывают у вас дома, и это может привести к тому, что охрана перестанет быть секретной», — сказал по телефону Конноли. Он возразил: лондонским СМИ давно известно, с кем он дружит, так что ничего нового тут нет, и через некоторое время Конноли согласился, чтобы друзья по-прежнему посещали его, несмотря на карикатуру. Иногда у него возникало чувство, что он попал в ловушку, сотворенную людскими представлениями. Если он пытался выбраться из своей ямы и стать более видимым, пресса заключала, что теперь ему ничего не угрожает, и начинала вести себя соответственно, и порой (как в случае с карикатурой в «Гардиан») у полиции из-за этого создавалось впечатление, что положение «клиента» операции «Малахит» стало более рискованным. И его сталкивали обратно в яму. Хорошо, что Рэб Конноли не потерял из-за карикатуры присутствия духа. «Я не хочу ограничивать ваши передвижения», — сказал он.

Вдруг, ни с того ни с сего, пришла записка от Мэриан: Гиллон передал ее ему по факсу. «Посмотрела на тебя сегодня в „Лицом к лицу“, хоть и не хотела, но теперь рада, что посмотрела. Ты был такой, каким я тебя когда-то знала: милый, добрый и честный, и ты вел разговор о Любви. Прошу тебя, давай зароем поглубже то, что мы оба натворили». На бланке, без подписи. Он написал ей в ответ, что будет рад зарыть топор войны, если она всего лишь вернет его фотографии. Она не ответила.

Тесное соседство с четырьмя полицейскими часто досаждало ему по мелочам. Однажды с улицы на дом принялись глазеть два подростка, и полицейские сразу же решили, что Зафар разболтал школьным друзьям, где живет его отец. (Он не разболтал, и

подростки были не из Хайгейтской школы.) В доме устанавливались все новые электронные системы безопасности, которые конфликтовали друг с другом. Когда подключили сигнализацию — перестали работать полицейские рации, когда пользовались рациями — сбоила сигнализация. Наружная система сигнализации, установленная по периметру сада, реагировала на каждую белку, на каждый упавший лист. «Иногда мне кажется, что я попал в фильм про кистоунских полицейских»[200], — сказал он однажды Элизабет, чья улыбка была вымученной, потому что беременность, о которой она мечтала, так и не наступала. В спальне становилось все более напряженно. И это не помогало.

Они с Элизабет после вечера, организованного журналом «Лондон ревью оф букс», ужинали в обществе Хитча, Кэрол, Мартина и Исабель, и Мартин разошелся вовсю. «Разумеется, Достоевский писал херово… Разумеется, Беккет писал *совсем* херово». Было выпито слишком много вина и виски, и в результате он яростно заспорил с другом. Они повышали и повышали голос, Исабель попыталась вмешаться, и он, повернувшись к ней, сказал: «Да отвяжись ты, Исабель, на хер». Он не хотел говорить с ней так грубо, но спьяну вырвалось. Мартин тут же возмутился: «Кто тебе дал право так разговаривать с моей подругой? Извинись». Он сказал: «Я ее знаю вдвое дольше, чем ты, и она даже не обижена. Ты обижена, Исабель?» Исабель ответила: «Нет, конечно, я не обижена», но Мартин заупрямился: «Извинись».

«А то что? А то что, Мартин? Может, пойдем выйдем?» Исабель и Элизабет вдвоем старались прекратить этот идиотизм, но Кристофер сказал: «Дайте им выпустить пар». «Хорошо, — согласился он. — Я извиняюсь. Исабель, извини меня. А тебя, Мартин, я кое о чем попрошу». — «О чем?» — «Никогда больше не обращайся ко мне — до конца твоих дней».

На следующий день он чувствовал себя ужасно, и ему стало лучше лишь после того, как он поговорил с Мартином и помирился с ним. Они сошлись на том, что такие всплески могут случаться время от времени, но на любви, которую они испытывают друг к другу, это не сказывается. Он сказал Мартину, что внутри у него накопилось очень много невыкрикнутого крика и вчера вечером какая-то его часть вырвалась наружу не в том месте и не в то время.

В ноябре он отправился в Страсбург на заседание парламента писателей. Ради его охраны люди из RAID заняли весь верхний этаж отеля «Режан Контад». Они были напряжены, потому что

шел суд над убийцами Шапура Бахтияра, а конференция была посвящена острой ситуации с исламистами из организаций «Исламский фронт спасения» и «Вооруженная исламская группа» в Алжире, и его присутствие в городе существенно увеличивало напряженность.

Он познакомился с Жаком Деррида, который напоминал ему сыгранного Питером Селлерсом героя фильма «Чудотворец» — человека, идущего по жизни с постоянно действующим невидимым ветровым приспособлением, ерошащим ему волосы. Он быстро понял, что он и Деррида не сойдутся ни в чем. На конференции по Алжиру он заявил, что ислам как таковой — Реальный Ислам — нельзя признать невиновным в преступлениях, совершенных во имя него. Деррида не согласился. По его мнению, движущая сила «неистовства ислама» — не ислам, а дурная политика Запада. Идеология не имеет к этому отношения. Это вопрос власти.

Сотрудники RAID с каждым часом нервничали все сильнее. Объявили тревогу из-за «угрозы взрыва» в оперном театре, где заседали писатели. Была обнаружена подозрительная емкость, устроили контролируемый взрыв. Емкость оказалась огнетушителем. Бабахнуло во время речи Гюнтера Вальрафа, и ненадолго это вывело Гюнтера из равновесия. Он был болен гепатитом и приложил специальные усилия, чтобы приехать в Страсбург и «побыть с вами».

В тот вечер на телеканале Arte ему задали вопросы из вопросника Пруста. Какое ваше любимое слово? Комедия. А самое нелюбимое? Религия.

Перед вылетом обратно рейсом «Эр Франс», когда он вошел в салон, одна немка, совсем молодая, впала в истерику, вся побелела и, плача, сошла с самолета. Чтобы успокоить пассажиров, сделали объявление. Мол, она плохо себя почувствовала. После чего англичанин, сидевший до этого тихо как мышь, вскочил и закричал: «Да мы *все* чувствуем себя плохо! Мне *самому* нехорошо. Давайте *все* сойдем!» Он и его жена, крашеная блондинка с пышной прической, в костюме от Шанель цвета электрик и вся в золотых украшениях, покинули самолет, точно мистер и миссис Моисей во главе Исхода. К счастью, никто за ними не последовал. И «Эр Франс» не отказалась обслуживать его впредь.

Аятолла Джаннати заявил в Тегеране, что фетва «сидит костью в горле у врагов ислама, но она останется в силе до тех пор, пока этот человек не умрет».

Кларисса чувствовала себя лучше. Она настояла, чтобы Рождество Зафар отпраздновал у нее. Они с Элизабет отправились к Грэму и Кэндис, а вечером поехали к Джилл Крейги и Майклу Футу, который побывал в больнице с чем-то неудобоназываемым, но, как он уверял, несерьезным. Наконец Джилл призналась, что это кишечная грыжа. Его рвало, он не мог есть, они боялись, что это рак, так что диагноз «грыжа» принес огромное облегчение. «Все его органы в порядке», — сказала она, хотя, конечно, операция в таком возрасте немалое испытание. «Он постоянно пытался мне объяснить, что́ я должна буду делать, если его *не станет*, а я, разумеется, отказывалась это слушать», — произнесла Джилл своим самым что ни на есть строгим тоном. (Никто тогда и представить себе не мог, что он переживет ее на одиннадцать лет.)

Майкл приготовил подарки им обоим: второе издание «Биографий поэтов» Хэзлитта — для Элизабет и первое издание его же «Лекций об английских комических авторах» — для него. Майкл и Джилл окружили их обоих великой любовью, и он подумал: «Если бы мне позволили выбирать себе родителей, лучшей пары, чем эта, я и вообразить бы не мог».

Его собственная мать чувствовала себя неплохо, была в безопасности и далеко, ей исполнилось семьдесят восемь и он по ней скучал.

Моя милая амма!

Вот еще один год доволакивает ноги, но мы, рад тебе сообщить, стоим на ногах крепко. Кстати, о ногах: как твой «артурит»? Когда я был в Рагби, твои письма ко мне всегда начинались с вопроса: «Ты упитанный или худой?» Худой *означало, что твоего мальчика плохо кормят.* Упитанный *— это хорошо. Так вот, я худею, но ты должна этому радоваться. В целом худоба лучше. В письмах из школы я постоянно старался скрыть, насколько я там несчастен. Эти письма были первыми моими упражнениями по части вымысла: «набрал 24 очка, играя в крикет», «провожу время замечательно», «здоров и всем доволен». Когда ты узнала, мне там было, ты, конечно, пришла в ужас, но тогда я уже готовился поступать в колледж. Тридцать девять лет прошло с тех пор. Мы всегда скрывали друг от друга плохие новости. Ты тоже. Ты рассказывала Самин все как есть, а потом добавляла: «Только не говори Салману, это его расстроит». В общем, мы с тобой друг друга стоим. Так или иначе, жизнь наша, как говорится, «устаканилась». Дом не привлекает внимания соседей. Кажется, мы сумели соорудить себе кокон, и атмосфера внутри него порой почти спокойная, и я в состоянии работать.*

Книга продвигается хорошо, и я уже вижу финишную черту. Когда книга продвигается хорошо, все остальное в жизни кажется терпимым — даже в моей странной жизни. Я тут подвел итог года. В «отрицательной» колонке — астма с поздним началом, своеобразная маленькая награда от Вселенной за отказ от сигарет. Но по крайней мере я никогда уже не закурю снова. Вдохнуть дым я просто-напросто не в состоянии. Астма с поздним началом обычно протекает нетяжело, но она неизлечима. И, как ты всегда нас учила, «чего нельзя вылечить, то надо вытерпеть». В числе «плюсов» года: новый лидер лейбористов Тони Блэр произнес в интервью Джулиану Барнсу кое-какие приятные слова. «Я абсолютно, на все сто поддерживаю его… К таким вещам надо относиться очень серьезно». «Абсолютно, на все сто» — не так плохо, как по-твоему, амма? Будем надеяться, проценты не упадут, когда он станет премьером. А европейским мусульманам фетва, похоже, надоела почти так же, как мне. Голландские и французские мусульмане выступили против нее. Французские, по существу, поддержали свободу слова и свободу совести! В Великобритании у нас, конечно, по-прежнему имеются Сакрани, Сиддики и брадфордские клоуны, так что посмеяться есть над чем. А в Кувейте один имам хочет запретить «богохульную» куклу Барби. Могла ли ты себе представить, что бедная Барби и я будем признаны виновными по одной и той же статье? Один египетский журнал опубликовал отрывки из «Шайтанских аятов» по соседству с запрещенными текстами Нагиба Махфуза и потребовал отнять у религиозных властей право решать, что в Египте можно читать, а чего нельзя. Против фетвы, между прочим, выступил Тантауи, верховный муфтий Египта. А король Марокко Хасан во вступительной речи на заседании организации «Исламская конференция» в Касабланке сказал, что никто не имеет права объявлять людей неверными, провозглашать против них фетвы и джихады. Это, я считаю, хорошо. Время идет, и вступают в игру фундаментальные вещи. Будь здорова. Приезжай поскорее повидаться. Я люблю тебя.

P. S. Пресловутая Таслима причиняет в Швеции массу неприятностей Габи Г., осуждает его (за что?), заявляет, что не может сказать о нем ничего хорошего. Похоже, она та еще штучка, он оттолкнула от себя своих защитников по всей Европе. Бедный Габи сделал для того, чтобы избавить ее от опасности, едва ли не не больше, чем кто бы то ни было. Правду говорят: ни одно доброе дело не остается безнаказанным.

С Новым годом!

Я здоров и весел.

Он дописал свой роман. Семь лет прошло с тех пор, как Саладин Чамча отвернулся от окна, выходившего на Аравийское море; пять — с тех пор как Сорейя, мать Гаруна Халифа, снова начала петь. Эти концовки пришли к нему в ходе работы над книгами, но концовка «Прощального вздоха Мавра» была у него почти с самого начала. Мавр Зогойби произносит на кладбище реквием по самому себе: *лягу на этот старый камень, положу голову чуть ниже буки RIP*[201] *и закрою глаза, чтобы, как исстари повелось в моей семье, уснуть в час беды с надеждой на радостное и светлое пробуждение в лучшие времена.* Полезно было знать последние музыкальные ноты, знать, куда нацелены все летящие стрелы повести — сюжетные, тематические, комические, символические. За пределами книжных страниц вопрос о концовке, приносящей удовлетворение, чаще всего не имеет ответа. Человеческая жизнь редко бывает стройной, и лишь эпизодически она осмысленна, ее неуклюжесть — неизбежное следствие победы содержания над формой, победы *что* и *когда* над *как* и *почему*. Но чем дальше, тем крепче была его решимость придать своей собственной истории концовку, в которую все отказывались верить, в которой он и те, кого он любит, могли бы перейти из мира, определяемого понятиями «риск» и «безопасность», в будущее, свободное от угроз, в будущее, где риск снова станет лишь тем, что сопутствует творческой дерзости, а безопасность — тем, что ты чувствуешь, когда тебя окружает любовь.

Он всегда был пост-нечто, согласно рассуждениям светил литературоведения, из которых следовало, что вся современная словесность — лишь последствие чего-то, отзвук чего-то: постколониальная, постмодернистская, постсекулярная, постинтеллектуальная, постграмотная. Теперь он вознамерился добавить к этому постному меню свое собственное блюдо: *постфетвальную* литературу. Стать помимо того, что «по-ко» и «по-мо», еще и «по-фе». Отвоевать — это всегда его интересовало, еще с тех пор, как он написал «Детей полуночи», отвоевывая для себя свое индийское наследие, и даже, если на то пошло, со времен более ранних: ведь разве не в Бомбее он рос, и разве не был этот мегалополис построен на земле, отвоеванной у моря? Теперь он снова попытается отвоевать утраченное. Выпустив в свет законченный только что роман, он отвоюет себе место в мире книг. А еще он разработает и осуществит план летнего отдыха в Америке, будет выговаривать себе у полицейских начальников все новые приращения свободы, и — да, он по-прежнему будет думать о политическом давлении, о кампании защиты, но он не может ждать политического решения, и у него нет на это

времени, ему надо хватать те частицы свободы, что лежат в пределах его досягаемости, надо начать двигаться к счастливой концовке, которую он твердо решил написать для себя, двигаться, с каждым шагом сбрасывая с себя толику бремени.

Эндрю, говоря с ним по телефону о «Мавре», расчувствовался почти до слез. Гиллон отреагировал сдержаннее, но и на него роман подействовал. Он был рад их воодушевлению, хоть у него и возникло чувство, что концовка недоработана, что Васко Миранда, злодей последней части, обрисован недостаточно четко. Элизабет дочитала роман, была рада, что он посвящен ей (Э. Дж. У.), высказала много похвал и ряд острых редакторских замечаний, но, кроме того, вообразила, что японка из финальной части книги, чье имя и фамилия — Аои Уэ — состояли из одних гласных, в какой-то мере списана с нее и сравнение, которое Мавр Зогойби проводит между Аои и его прежней возлюбленной, психически неуравновешенной Умой (он назвал Аои женщиной «более достойной, которую он, однако, любил меньше»), — это на самом деле сравнение ее с Мэриан. Ему пришлось целый час убеждать ее, что это не так, что, если она хочет найти в романе себя, ей надо посмотреть на манеру писательской речи, на любовную нежность, которой он обязан ей, Элизабет, и которая стала ее подлинным вкладом в эту книгу.

Он говорил правду. Но, договорив, почувствовал, что принизил роман: вновь ему пришлось разъяснять свою работу, растолковывать мотивы, которые им двигали. Радость от ее завершения испорчена, и он начал опасаться, что люди будут читать книгу лишь как его зашифрованную автобиографию.

В тот вечер они ужинали с Грэмом Свифтом и Кэрилом Филлипсом[202] в ресторане «Джули» в Ноттинг-Хилле, и Дику Вуду, поехавшему на этот раз с командой охранников самолично, не понравилось, что они засиделись так поздно, и в полночь он послал ему записку с требованием вернуться домой, потому что шоферы устали. Однажды — на дне рождения у Билли Конноли — такое уже было, и на сей раз произошла перебранка: «клиент» операции «Малахит» сказал Вуду, что ни с каким другим «клиентом» он так — точно с малым ребенком — себя бы не повел и что взрослые люди иногда сидят за ужином допоздна. Дик сбавил тон; на самом деле, сказал он, он написал эту записку потому, что официант подозрительным шепотом с кем-то говорил по телефону. Кэз Филлипс провел расследование — ресторан был его излюбленным заведением — и доложил, что официант звонил своей девушке; впрочем, никто из охраны, даже Рэб, правая рука Дика, его версии с официантом все равно не поверил. «Да ни при чем тут телефонный звонок, мы все это понимаем, — сказал Рэб

со смехом. — Дик устал, только и всего». Рэб извинился перед ним «от всей команды» и пообещал, что впредь такого не случится. Но им овладело мрачное чувство, что его надежды на все более «обычное» общение с друзьями разбиты. Ведь не кто иной, как Дик, говорил ему, что полиция обращается с ним чересчур жестко, что она излишне ограничивает его свободу передвижения.

Стараясь уладить отношения, у него побывала Хелен Хэмммингтон, а день спустя приехал и Дик. Он вошел со словами: «Я не жду от вас извинений», чем существенно ухудшил ситуацию. Во время этой встречи он, однако, согласился, что нужна бóльшая «гибкость». Вину за былую негибкость Дик возложил на Тони Данблейна, который уже не участвовал в операции. «Теперь, когда его нет, вы увидите, что наши люди достаточно сговорчивы». Но Данблейн мистеру как раз нравился, он всегда был готов помочь.

Он получил два враждебных послания: фотографию выдр с подписанной в кружочке репликой YOU SHOUDN'T OTTER DONE IT[203] и поздравительную карточку с надписью «Счастливой фетвы! До скорой встречи. Исламский джихад». В тот же день Питер Темпл-Моррис из «антирушдистской» парламентской группы тори произнес речь на семинаре по Ирану в Школе восточных и африканских исследований, в которой он в благожелательном присутствии иранского поверенного в делах Ансари заявил, что во всем виноват мистер Рушди и он должен теперь хранить молчание, поскольку «молчание — золото». Это был двуязычный каламбур: в Иране автора «Шайтанских аятов» иногда называли «золотым человеком», что на фарси представляет собой идиому, означающую «нечестный человек», «темная личность». В тот же день Фрэнсис, позвонив, сказала ему, что «Статья 19» за 1994 год истратила на кампанию его защиты 60 тысяч фунтов, а собрала только 30 тысяч, так что теперь деятельность придется сократить вдвое.

На ежегодной вечеринке подразделения «А» он был растроган, узнав, что команда операции «Малахит» прониклась к его роману сильными собственническими и уверена, что он «должен» получить за него Букеровскую премию. «Хорошо, — сказал он парням, — мы свяжемся с жюри и дадим ему знать, что внушительный отряд хорошо вооруженных людей горячо заинтересован в результате». После этого им с Элизабет *позволили* поужинать в «Плюще». (Охранники заняли столик у двери и глазели на публику, как все остальные.) Он очень взволнован, сказал он Элизабет, потому что, окончив «Прощальный вздох Мавра», он даже сильней, чем после «Гаруна

и Моря Историй», чувствует, что одержал победу над силами мрака. Даже если его сейчас убьют, это не станет его поражением. Им не удалось заставить его замолчать. Он продолжил делать свое дело.

Снаружи их ждали папарацци, и все они знали, кто такая Элизабет; но, выйдя из ресторана, он сказал: «Меня можно, а ее, пожалуйста, не надо», и все до одного уважили его просьбу.

Кларисса опять чувствовала себя хорошо. Впервые прозвучали слова «полная ремиссия». У Зафара на лице появилась широкая улыбка, какой его отец не видел уже довольно давно. Кларисса, кроме того, хотела поступить на новую работу — на должность заведующей отделом литературы в Совете по искусству, которую он советовал ей попытаться получить. Он позвонил Майклу Холройду, который входил в комиссию, проводившую собеседование, и произнес горячую речь в ее поддержку. Минусом, сказал Майкл, могут счесть ее возраст; не исключено, что Совет предпочтет кого-нибудь помоложе. Он сказал: Майкл, ей всего-навсего сорок шесть. И она прекрасно подходит для этой должности. Она пошла на собеседование и произвела на комиссию сильное впечатление. Чрез несколько дней она приступила к работе.

У «Прощального вздоха Мавра» что ни день появлялись новые друзья. Письмо, полное энтузиазма, пришло из Парижа от его французского редактора Ивана Набокова. Сонни Мехта, по обыкновению труднодоступный, еще не прочел. «Да, — сказал Эндрю помощник Сонни, — он беспокоился на этот счет». Кошмарный сценарий заключался в том, что Сонни запаникует из-за сатирического изображения в книге бомбейской политической организации «Ось Мумбаи», прототипом которой послужила бандитская партия «Шив сена», и «Рэндом хаус» аннулирует договор, как это произошло с «Гаруном». Но в конце концов, после долгих тревожных дней, когда он, получив сообщение, что Сонни «просит ему позвонить», неоднократно звонил и слышал в ответ, что великий человек занят, они поговорили-таки и Сонни похвалил книгу. Рвать договор на сей раз никто не стал. Еще один маленький шажок вперед.

А потом — шаг побольше. После долгих переговоров жду ним и Скотленд-Ярдом Рэб Конноли сообщил ему: когда «Прощальный вздох Мавра» выйдет в свет, ему *позволят* выступать с публичными чтениями и надписывать покупателям экземпляры, и об этих мероприятиях можно будет объявлять за шесть дней, избегая пятниц, чтобы мусульманская оппозиция не могла использовать во враждебных целях пятничные совместные

молитвы. «Объявление в субботу — мероприятие в следующий четверг, — сказал Рэб. — На это дано согласие». Это был прорыв. Его редактор Фрэнсис Коуди и отвечавшая за рекламу Кэролайн Мичел были чрезвычайно взволнованны.

Шаг назад, когда он случился, стал для него полной неожиданностью. Кларисса день ото дня чувствовала себя лучше, она была увлечена новой работой, у Зафара, по мере того как поправлялось здоровье матери, налаживались дела в школе, и с каждой неделей уверенность подростка в себе росла. Вдруг в середине марта Кларисса позвонила и сказала, что он должен ей заплатить, — так она считает сама, и так считают те, чьими советами она пользуется. (Когда они развелись, у него не хватило средств решить с ней денежный вопрос раз и навсегда, и он десять лет платил ей смесь алиментов и пособия на ребенка.) Ее юристы объяснили ей, что она может получить с него громадные суммы, сказала она, впервые признав, что консультировалась с юристами; но она согласна на 150 тысяч фунтов. «Ладно, — ответил он. — Пусть будет по-твоему. Сто пятьдесят тысяч. Хорошо». Очень большие деньги, но дело даже не в этом. Враждебность, как и любовь, приходит к тебе откуда не ждешь. Он не думал, что она станет вымогать у него деньги после всех этих лет, после того, как он проявлял огромное беспокойство о ней во время ее болезни, после того как он замолвил за нее слово в агентстве «А. П. Уотт» и в Совете по искусству. (Справедливости ради надо сказать, что она про эти телефонные звонки не знала.) Скрыть от Зафара, что в отношениях между матерью и отцом вдруг возникла напряженность, было невозможно. Подросток был очень обеспокоен и требовал, чтобы ему объяснили, в чем дело. Почти уже шестнадцатилетний, Зафар смотрел на обоих родителей во все глаза. Утаить от него правду — об этом нечего было и думать.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Махмуд Ваези сделал противоречивые заявления: в Дании пообещал, что Иран не будет посылать убийц, чтобы исполнить смертный приговор, а на следующий день в Париже сказал, что приговор «необходимо привести в исполнение». Полный провал политики «критического диалога» между Евросоюзом и Ираном, осуществлявшейся с 1992 года, чтобы чтобы побудить Иран улучшить положение с правами человека, отказаться от поддержки терроризма и отменить фетву, стал очевиден. Диалог был недостаточно критическим, да иранцы и не вели его вовсе, не будучи в нем заинтересованными.

И как отозвалось на парижское выступление Ваези британское правительство? Да никак. Другие страны выразили

протест, но Соединенное Королевство даже не пикнуло. Несколько дней он негодовал на раздвоенный язык Ваези, а потом ему пришла в голову мысль. Он предложил Фрэнсис Д'Соуса такой план: если рассматривать датское заявление Ваези как нечто вроде декларации о «прекращении огня», то, может быть, удастся побудить французов заставить Иран отмежеваться от последующих замечаний своего заместителя министра в Париже и публично пообещать не приводить фетву в исполнение, за чем ЕС должен будет пристален наблюдать в течение оговоренного времени, и так далее, и так далее, — лишь в этом случае отношения смогут улучшиться и дойти до полного дипломатического уровня. Идея подобной «французской инициативы» взволновала Фрэнсис. На нее угнетающе подействовала недавняя встреча с Дугласом Хоггом, во время которой тот сказал ей, что, ничего нельзя сделать, кроме как охранять его по-прежнему: в Иране главенствует Хаменеи, поэтому иранский терроризм продолжается. Хогг сообщил Фрэнсис, что иранцы *полтора года назад* пообещали ему не приводить фетву в исполнение в Великобритании, но он не считал нужным об этом упоминать, потому что это «ничего не значило». Так что политика правительства Ее величества была, как обычно, инертной. Фрэнсис согласилась попытаться воздействовать на французских союзников. Она вошла в контакт с Жаком Лангом и Бернаром-Анри Леви, и они начали разрабатывать план. А он даже позвонил Жаку Деррида; тот предложил ему сфотографироваться с французскими парламентариями и предупредил: «То, с кем именно вы встретитесь, будет интерпретироваться как политический сигнал, поэтому вам надо остерегаться некоторых персон». Без сомнения, Деррида имел и виду Леви — спорную фигуру во Франции. Но Бернар оказывал ему твердую поддержку, и он не собирался отмежевываться от такого верного друга.

19 марта 1995 года он поездом «Евростар» отправился в Париж, где немедленно попал в лапы RAID и был отвезен на встречу с группой храбрых французских мусульман, подписавших декларацию в его поддержку. На следующий день он повидался со всеми ведущими политиками Франции *sauf Mitterand*: с будущим президентом Жаком Шираком, крупным мужчиной с неуклюжей походкой, удобно расположившимся в своем теле и глядящим на тебя мертвыми глазами убийцы; с премьер-министром Эдуаром Балладюром, человеком с маленьким ротиком и вечно поджатыми губками, чья негнущаяся чопорная фигура приводила на память французское выражение *il a avalé son parapluie* (он как будто аршин проглотил); с министром иностранных дел Аленом

Жюппе, быстрым, сообразительным маленьким лысым типчиком, который позднее пополнил список политиков своей эпохи, осужденных за преступления (в его случае это были махинации с государственными средствами); с социалистом Лионелем Жоспеном, который выглядел как *cavaliere insistente*[204] из романа Кальвино: пустота, облаченная в мешковатый костюм. Они с Фрэнсис предложили им «план прекращения огня», и те дружно на него согласились. Жюппе пообещал включить пункт об этом в повестку дня встречи министров иностранных дел ЕС, Балладюр дал пресс-конференцию, на которой объявил о плане как об «их» инициативе, Ширак сказал, что говорил с Дугласом Хердом и тот «высказался „за“». Он же сам провел пресс-конференцию в Национальном собрании Франции и отправился домой с мыслью, что какое-то движение, может быть, и началось. От Дугласа Хогга пришло послание с предложением встретиться в ближайшие дни. «Я думаю, он скажет, что если правительство Ее величества согласится на „французскую инициативу“, то начнется страшное давление со стороны заднескамеечников-консерваторов, которые потребуют в случае успеха инициативы отменить охрану, — писал он в своем дневнике. — У меня поэтому должна быть абсолютная внутренняя ясность насчет того, чего именно я хочу, и мне надо будет заставить британское правительство принять в свой лексикон слова „прекращение огня“ и „наблюдение“, на что мы сподвигли французов. И он должен пообещать, что добьется от „Бритиш эйруэйз“ снятия запрета». Рэб Конноли сказал: «Хогг вам ответит, что опасность по-прежнему очень большая и поэтому от французской инициативы пользы никакой». *Ну*, подумал он, *это мы еще посмотрим.*

Он отправился встречаться с Хоггом, имея в голове всю историю инертности пополам с враждебностью, проявленной по отношению к нему Форин-офисом, и был настроен решительно. Его самого и его книгу подвергли нападкам два министра иностранных дел — Хау и Херд; был период, продлившийся не один год, когда никто из дипломатов и политиков не хотел с ним встречаться, а затем был столь же неудовлетворительный период тайных, «отрицабельных» встреч со Слейтером и Гором-Бутом. Чтобы «разбудить» британцев, понадобилось давление со стороны других правительств, которого ему пришлось добиваться, и даже тогда их поддержка была половинчатой: Джон Мейджор не захотел с ним фотографироваться и, пообещав вести «более твердую линию», своего обещания не выполнил. Сам же Хогг дал понять, что британская политика сводится к ожиданию «смены режима» в Иране, на что трудно было надеяться. Кто, хотелось ему спросить, сказал британским СМИ, что его заграничные

поездки дорого обходятся казне, тогда как на самом деле они не стоят ей ничего? Почему постоянное вранье насчет этих «расходов» ни разу не было опровергнуто?

Дуглас Хогг выслушал его сочувственно. Он выразил готовность поддержать «французскую инициативу», или «план прекращения огня», но заметил:

— Должен вам сказать, что ваша безопасность по-прежнему находится под весьма реальной угрозой. Мы полагаем, что иранцы до сих пор активно вас ищут. А если мы пойдем по этому пути, французы и немцы быстро наладят связи с Ираном, и в конце концов так же поступит и британское правительство. Политическое давление прекратится. И мне придется послать вам высокопарное письмо, чтобы я смог потом сказать, что вы были предупреждены об опасности.

Потом. В смысле — после того как его убьют.

— Мы стараемся улучшить формулировку демарша, — сказал Хогг. — Он должен включать в себя связанных с вами лиц — всех, кому угрожает фетва: переводчиков, издателей, книготорговцев и так далее. И мы хотим, чтобы Балладюр отправил документ прямо Рафсанджани и получил, если возможно, его собственноручную подпись на нем, потому что чем выше статус подписавшего, тем больше шансов, что они действительно посадят собак на цепь.

Вечером он написал в дневнике: «Не совершаю ли я самоубийство?»

Ларри Робинсон — сотрудник американского посольства, осуществлявший с ним связь, — позвонил Кармел Бедфорд, желая выяснить, что происходит. Робинсон был обеспокоен. «Иранцам нельзя доверять, — сказал он. — Это подорвет всю нашу стратегию». Кармел отреагировала резко: «Что, собственно, вы для нас сделали? О какой стратегии вы говорите? Если она есть, объясните, в чем она состоит, предложите что-нибудь. Шесть с половиной лет никто пальцем не хотел шевельнуть, и если теперь вырисовывается соглашение через ЕС, мы его примем». — «Я вам перезвоню», — сказал Ларри Робинсон.

10 апреля, в решающий день встречи министров иностранных дел ЕС, позвонил Энди Эшкрофт, помощник Хогга, чтобы сказать, что и Херд и Мейджор «на вашей стороне» и что французская инициатива теперь стала частью британской государственной политики. Мистер Антон подчеркнул: очень важен период наблюдения за тем, как иранцы будут выполнять свои обещания, на что Эшкрофт сказал: «Безусловно, именно так мы и будем подходить к делу». После этого разговора он позвонил редактору «Таймс» Питеру Стодарду и редактору «Гардиан» Алану

Расбриджеру и предупредил их, что надо ждать развития событий. Он позвонил Ларри Робинсону: «Это не альтернатива отмене фетвы. И здесь нет намерения создать „зону, свободную от фетвы“, включающую в себя Европу и США; это соглашение повсеместного действия». Робинсон высказал разумные сомнения: «Это может позволить Ирану сняться с крючка». Но он еще не слышал мнения Вашингтона и потому не знал, как, с учетом всех обстоятельств, настроена администрация: за или против. Сам же Робинсон чувствовал, что опасность со стороны охотников за вознаграждением уменьшилась, но угроза со стороны режима — нет.

— Что ж, риск имеется, — сказал он Ларри. — А где его нет?

Он поговорил с Ричардом Нортоном-Тейлором из «Гардиан». Разработан проект документа, и ЕС предложит Ирану его подписать. В нем будет содержаться абсолютная гарантия того, что фетву не приведут в исполнение, и он может стать шагом на пути к последующей ее отмене.

Встреча министров, сказал ему Энди Эшкрофт, прошла хорошо. Упоминание о «связанных с ним лицах» в текст не включили, но французы согласились, что тройка министров иностранных дел обсудит этот вопрос с иранцами устно. Он подтвердил: очень важно поговорить с прессой и выделить главнейшие моменты.

К истории удалось привлечь внимание. Все газеты сообщили о ней на первых страницах. «Таймс намеревалась продолжить освещение темы. Почему британское правительство не подумало о чем-либо подобном раньше? Создалось общее мнение, что это была его собственная инициатива, которой он сумел заинтересовать французов без особого участия британского Форин-офиса. Так-так, поймал он, *неплохо*.

Тегеранское радио заявило: *Нелогично со стороны ЕС просить формально гарантировать, что фетва не будет приведена в исполнение: ведь иранское правительство никогда не заявляло, что исполнит ее.* Звучало как некая полугарантия. И вот 19 апреля в 10.30 утра по лондонскому времени тройка послов в Тегеране (французский, немецкий, испанский) и британский поверенный в делах Джеффри Джеймс предъявили иранскому МИДу требования ЕС.

Демарш состоялся, и новость мгновенно передали телеграфные агентства. Верховный судья Ирана Язди высмеял эту инициативу, а Санеи с «Баунти» сказал: «Этим они только добьются, что фетва будет осуществлена раньше», и, может быть, он был прав. Но Ричард Нортон-Тейлор из зарубежного отдела «Гардиан» сообщил Кармел, что Рафсанджани в конце своего визита в Индию пообещал на пресс-конференции, что Иран не будет приводить фетву в исполнение.

Зафар хотел знать, что происходит. Когда ему объяснили, он сказал: «Отлично! Отлично!» Глаза подростка засветились надеждой, а его отец подумал: *Если они подпишут документ, нам еще надо будет постараться сделать так, чтобы он не остался пустой бумажкой.*

«Французская инициатива» постепенно продвигалась но кишечному лабиринту иранской муллократии, переваривалась и всасывалась по таинственным неторопливым обычаям этого

загадочного организма. Время от времени раздавались те или иные заявления — то в положительном, то в отрицательном смысле. Они приводили на ум кишечные газы. Вонь от них была большая, но суть была не в них. Даже громкий, шокирующий слух — глава иранской разведки бежал из страны с документами, доказывающими причастность режима к международному терроризму, — был всего-навсего отрыжкой из желудка этого многоголового Гаргантюа от духовенства, смрадным пузырем, со взрывным звуком вылетевшим через один из его многих, противоречиво вещающих ртов. (Этот слух, что неудивительно, оказался ложным. Газообразным ничем.) Настоящий, официальный ответ появится, когда придет время.

Между тем он опять полетел с Элизабет в Австрию: министр культуры Рудольф Шольтен, с которым они быстро становились добрыми друзьями, и его жена Кристина пригласили их провести несколько дней «вне клетки» Но, приехав, они оказались посреди семейной трагедии.

Утром того дня отца Рудольфа сбила машина, и он погиб. «Мы уедем, вам не до нас», — немедленно сказал он, но Рудольф настоял, чтобы они остались: «С вами нам будет легче». Кристина подтвердила: «Да, останьтесь, прошу вас». В очередной раз он получил от знакомых урок красивого поведения, урок силы.

Они поужинали в полном произведений искусства доме близкого друга Шольгена — Андре («Франци») Хеллера, эрудита, писателя, актера, музыканта, продюсера и прежде всего творца необычайных публичных инсталляций и организатора ярких художественно-театральных мероприятий по всему миру. Хеллер взволнованно говорил о грандиозном митинге *Fest für Freiheit* («Праздник свободы»), который он готовил; митинг должен был пройти через два дня на площади Хельденплац. Именно там, на Хельденплац, Адольф Гитлер в 1938 году объявил об аншлюсе Австрии. Антинацистский митинг на том же месте должен был стать актом отвоевания Хельденплац, очищения ее от пятнающей памяти о нацизме — и то же время ударом по набирающему силу современному неонацизму. Нацистские подводные течения имелись в Австрии всегда, и популярность правых неонацистских политиков, возглавляемых Йоргом Хайдером, росла. Австрийские левые понимали, что противник силен, и это заставляло их действовать по нарастающей, все более и более страстно. «Вы должны задержаться, — вдруг сказал Франци Хеллер. — Вы должны там быть, очень важно, чтобы вы выступили с этой сцены в защиту свободы». Поначалу он отказывался. сомневаясь, что ему следует вторгаться в чужую повесть, во внутреннюю жизнь другой страны, но Хеллер был непреклонен. Так что он написал короткий

текст на английском, Рудольф и Франци перевели его, и он по-попугайски его заучил, раз за разом повторяя фразы на языке, которого не знал.

В день митинга на Хельденплац небеса над Веной разверзлись и полило так, что казалось: если какой-либо Бог существует, то он, вероятно, неонацист вроде Йорга Хайдера. Или, может быть, Хайдер на некий вагнеровский манер имеет доступ к Фрейру, германо-скандинавскому богу природных сил, и в оперной молитве упросил его наслать на мир губительный дождь-Рагнарок. Франци Хеллер был очень обеспокоен. Если придет мало народу, это будет катастрофа, это будет пропагандистский подарок Хайдеру и его сторонникам. Он беспокоился зря. Утренние часы шли, и площадь наполнялась. Люди большей частью были молодые, одни завернулись в пластиковые плащи, другие держали мало от чего спасавшие зонтики, третьи просто-напросто равнодушно подставляли плечи ничего не значащему ливню. Пятьдесят с лишним тысяч человек принесли на осквернённую старую площадь свои надежды на лучшее будущее. Со сцены раздавалась музыка, звучали речи, но главной звездой митинга была публика — величественная публика, промокшая, но не погасшая. Он произнес по-немецки свои несколько фраз, и пропитанная водой толпа отозвалась приветствиями. Радовался и Вольфганг Бахлер, возглавлявший его группу охраны. «Так ему и надо, Хайдеру», — ликовал он.

А на Франкфуртской книжной ярмарке видная исследовательница ислама Аннемари Шиммель получила Премию мира немецких книготорговцев и, к смятению многих, выступила с горячей поддержкой фетвы, направленной против автора «Шайтанских аятов» — книги, которую она ранее осудила. Разгорелся скандал, она применила было «защиту Кэта Стивенса» — она, мол, ничего такого не говорила, — но потом, после того как многие заявили прессе о своей готовности подтвердить под присягой, что слышали от нее эти слова, она кратко сказала, что хочет за них извиниться, — и так и не извинилась. Безусловно, она была крупным ученым и величественной дамой семидесяти трех лет, но это не значит, что она не была членом Партии глупцов, возглавляемой Кэтом Стивенсом.

«Статья 19» организовала поездку в Данию на встречу с премьер-министром и министром иностранных дел, и, несмотря на растущее ощущение бесполезности таких встреч, он поехал. С ним был его издатель Йоханнес Риис — добрый, принципиальный человек с мягкой манерой речи, — и из Осло приехал Вильям Нюгор. Им *позволили* прогуляться по Копенгагену и даже, к его

изумлению, поздно вечером побывать в парке Тиволи, где несколько блаженных, беззаботных минут они катались на электромобильчиках, кричали и врезались друг в друга, точно мальчишки. Он глядел, как Вильям и Йоханнес с маниакальным упоением гоняют по парковой площадке на своих машинках, и думал: *Я за эти годы получил урок не только худшего, что есть в человеческой природе, но и лучшего в ней, урок отваги, принципиальности, самоотверженности, решимости и чести, и вот что я хотел бы помнить в конечном итоге: что я был в центре группы людей, которые вели себя так хорошо, так благородно, как только могут себя вести люди, и, помимо этой группы, я был посреди более широкой повести, наполненной людьми, с которыми я не был знаком и никогда не буду знаком, людьми, испытывающими такую же решимость, как мои друзья на автомобильчиках, не дать мраку взять верх.*

Вдруг ожила «французская инициатива». Позвонила чрезвычайно но взволнованная Джилл Крейги: радио твердит о том, что «иранцы сдают позиции». Он не мог в тот вечер получить подтверждение от кого-либо другого, но волнение Джилл было заразительно. Наутро это было во всех новостях. Амит Рой, автор передовой статьи в «Телеграф», в частном порядке сказал Фрэнсис Д'Соуса, что провел три часа с иранским поверенным в делах Голамрезой Ансари и тот говорил «невероятные вещи». *Мы никогда не исполним фетву, мы отменим денежное вознаграждение.* Он оставался спокойным. Ложных рассветов было уже много. Но Зафар взволновался. «Чудесно, чудесно», — повторял он, чем заставил-таки отца расчувствоваться чуть ли не до слез. Посреди поднятого прессой шума они сидели вдвоем и обсуждали «Вдали от обезумевшей толпы» Томаса Гарди: он помогал Зафару готовиться к школьному экзамену. Вместо Хаменеи и Рафсанджани они говорили о Батшебе Эвердин, Уильяме Болдвуде и Габриэле Оуке.

Фрэнсис услышала, что в Тегеран по приглашению властей едут западные журналисты, в том числе пятеро британцев. Неужели будет сделано заявление? «Не дергайтесь, солнце еще не встало, — сказал он Фрэнсис. — Мулла еще не прокукарекал». На следующее утро — большая статья в «Таймс». Он сохранял спокойствие. «Я знаю реальность, — поведал он своему дневнику. — Когда я смогу жить без полицейских? Когда меня начнут перевозить авиалинии, когда государства начнут впускать меня без истерики в стиле RAID? Когда я смогу снова стать частным лицом? Подозреваю, что не скоро. „Вторичные фетвы", налагаемые людскими страхами, трудней преодолеть, чем ненависть мулл». И тем не менее он невольно спрашивал себя:

Неужели я все-таки сдвинул эту гребаную гору?

Из кабинета Хогга позвонил Энди Эшкрофт: шум, поднятый прессой, стал для Форин-офиса «полной неожиданностью». «Возможно, иранцы начали двигаться к смягчению своей позиции». Их официальный отклик, по мнению Эшкрофта, мог прозвучать не ранее чем через месяц. Встреча между представителями Ирана и ЕС в рамках «критического диалога» должна была произойти 22 июня, и тогда-то британские дипломаты ожидали услышать официальный ответ на демарш.

30 мая, после встречи министров иностранных дел ЕС, датское правительство заявило: оно «уверено», что Иран «даст удовлетворительный ответ на демарш до окончания председательства Франции в ЕС». Французы сильно давили, иранцы, люди серьезные, выторговывали себе уступки, но ЕС держался твердо. «Близится, — написал он в дневнике. — Близится».

Депутат британского парламента Питер Темпл-Моррис сказал по радио Би-би-си: «Рушди с некоторых пор ведет себя неплохо, держит язык за зубами, потому-то и стало возможным продвижение». Но интервью, которое Роберт Фиск[205] взял у иранского министра иностранных дел Велаяти, было полно прежней тухлятины: *фетва неотменима, обещание награды — проявление свободы слова*, и тому подобное. Отрыжка и метеоризм. Существенного надо было еще дождаться.

Полиция теряла самообладание из-за публикации «Прощального вздоха Мавра». Была достигнута договоренность о чтении отрывков в книжном магазине «Уотерстоунз» в Хэмпстеде, но теперь Скотленд-Ярд хотел взять назад свое разрешение объявить о мероприятии заранее. Заместитель помощника комиссара «нервничает», сказала Хелен Хэммингтон, и еще сильнее будут нервничать люди в форме на месте. Она боялась, что они «перегнут палку», но, кроме того, сказала, что «специалисты» по общественному порядку опасайся бурной демонстрации, которую может устроить группа «Хизб ут-Тахрир». Эти люди, сообщила ему Хелен, «носят костюмы», «разговаривают по мобильным телефонам» и способны быстро и умело организовать нацеленный удар. Рэб Конноли, приехав встретиться с ним, заметил: «В органах есть люди, которые относятся к вам очень враждебно и хотят, чтобы чтение было сорвано». Он сказал еще, что, ведя переговоры с авиакомпанией «Катей Пасифик эйруэйз» о его морском турне по Австралазии, услышал, что на встречах авиаперевозчиков «Бритиш эйруэйз» «пропагандирует свой запрет» и уговаривает другие авиакомпании его поддержать.

Когда день выхода «Прощального вздоха Мавра» совсем приблизился, борьба между ним и руководителями Скотленд-Ярда, приводившая команду операции «Малахит» все в большее замешательство, переросла в открытую войну. Позвонил Рэб Конноли: коммандер Хаули был в отлучке, и в отсутствие Хаули другой высокопоставленный полицейский чин, коммандер Мосс, солидаризировался против него с «нервничающим» местным заместителем помощника комиссара Скитом. Полиция, сказал Конноли, отменяет свое согласие на заранее объявленные чтения, *потому что это вы*. Маргарет Тэтчер тоже написала книгу и собиралась отправиться с ней в турне, и всем мероприятиям с ее участием было автоматически обеспечено максимальное внимание полиции, потому что — старая гринаповская песня — она сослужила службу стране; а мистер Рушди — смутьян и помощи недостоин. Сотрудники, чаще всего имевшие с ним дело — Конноли, Дик Вуд и Хелен Хэммингтон (она была дома со сломанной ногой), — все поддерживали его, но их начальство было непреклонно. «Если он поедет в этот книжный магазин, — сказал Мосс, — он поедет один». Хаули, сказал Рэб Конноли, уже вернулся после уик-энда. «Я попросил его о встрече, — признался он, „вынося сор из избы“. — Если он меня не поддержит, я уйду из охраны и, вероятно опять надену форму». Эти простые слова резанули как ножом по сердцу.

Он рассказал обо всем Фрэнсис Коуди и Кэролайн Мичел — они были ошарашены. Они-то планировали выпуск книги, имея в виду его соглашение с полицией, а она теперь, в последнюю минуту, вознамерилась его нарушить. Он поговорил и с Фрэнсис Д'Соуса. «Мое терпение на пределе, — сказал он ей. — Я не собираюсь больше с этим мириться». Если он пользуется охраной, она не может быть такой субъективной, такой мелочной. Если то, что ему сообщили об этом диктате, подтвердится, он перенесет войну в публичную сферу. Таблоиды, конечно, примутся его чернить, но они и так это делают. Пусть решает Англия.

Он вел войну с полицейскими чинами, которые считали, что он не сделал в жизни ничего ценного. Однако, похоже, не весь Скотленд-Ярд придерживался такого мнения. Дик Вуд сообщил, что помощник комиссара Дэвид Венесс, самый высокопоставленный на данный момент сотрудник полиции, причастный к этой истории, дал добро на чтение в Хэмпстеде, пообещав «унять этих паникеров». Рэб Конноли был дома — возможно, мрачно размышлял о том, как потеряет работу, когда предъявит свой ультиматум. Но в итоге никакого ультиматума он не предъявил. В понедельник Хаули приказал Конноли отменить мероприятие, и тот, позвонив в книжный магазин, отменил его,

не поставив в известность ни издательство, ни самого автора.

Стало ясно, что обычным оружием эту битву не выиграть. Надо было применить термоядерное. Он потребовал встречи в Скотленд-Ярде на следующее утро и взял с собой Фрэнсис Коуди и Кэролайн Мичел как представительниц «Рэндом Хаус», чтобы подчеркнуть, что полиция серьезно нарушила планы издательства. Их встретили пристыженные участники операции «Малахит»: приковыляла Хелен Хэммингтон со сломанной ногой, здесь же были Дик Вуд и Рэб Конноли, все выглядели потрепанными и расстроенными, потому что сражались с начальником, который не привык к таким нарушениям субординации, и результат был плачевным. На них, полицейских немаленького ранга, Хаули «накричал». Решение коммандера, сказала Хелен, чье лицо под короткой стрижкой было мрачным и напряженным, «бесповоротно». Говорить больше не о чем.

И тут уже он, действуя по заранее рассчитанному плану, сознательно психанул и начал кричать. Он знал, что никто в этом кабинете не виноват в происходящем, что эти люди, по существу, рискнули ради него карьерой; но если он не сможет прорвать их фронт, он проиграл, а он был твердо намерен не проигрывать. Поэтому хладнокровно, понимая, что это его единственный шанс, он дал себе волю. Если Хелен не может изменить решение, орал он, пусть она, черт побери, немедленно отведет его к тому, кто может, потому что и в «Рэндом хаус», и он действовали в строгом соответствии с тем, что полиция назвала возможным, назвала *месяцы назад*, и такого произвола в последнюю минуту он, черт возьми, не потерпит — не потерпит, *ясно*? И если его *сейчас же* не отведут куда он сказал, он вынесет это на публику самым громким и самым агрессивным образом, так что давайте, Хелен, ведите меня к нему, а то хуже будет. *Намного* хуже, на хер. Через пять минут он был наедине с коммандером Джоном Хаули в его кабинете.

Если с Хелен он был весь огонь, то теперь обратился в лед. Хаули смотрел на него самым холоднющим из своих холодных взглядов, но по части стужи он мог дать полицейскому чину фору. Хаули заговорил первым.

— Мы полагаем, что, поскольку в последнее время на вас обращено большое внимание, — сказал он, имея ввиду демарш, — СМИ ухватятся за сообщение о предстоящем чтении и поместят его среди главных новостей.

И после этого на магазин обрушатся крикливые орды мусульман.

— Мы не можем этого допустить, — заключил Хаули.

Отвечая, он постарался сделать голос негромким:

— Ваше решение неприемлемо. Довод об опасности для общественного порядка меня не убеждает. И вы проявляете избирательность. На той же самой странице сегодняшней «Таймс», где говорится о возможной иранской оттепели, объявлено о книжном турне Тэтчер, и вы обеспечиваете ей охрану. И наконец, поскольку мистер Венесс не далее как вчера дал на мероприятие добро, все в «Уотерстоунз» и в «Рэндом хаус» знают о происходящем, так что эта история будет предана гласности, даже если я промолчу. Но я заявляю вам: я молчать не намерен. Если вы не измените свое решение, я созову пресс-конференцию и дам всем крупным газетам, радиостанциям и телеканалам интервью, в которых вам крепко достанется. До сих пор я отзывался о полиции не иначе как благодарственно, но я могу изменить тон — и хочу его изменить.

— Если вы так поступите, — сказал Хаули, — вы будете выглядеть очень некрасиво.

— Возможно, — ответил он, — но знаете что? Вы будете выглядеть не лучше. Поэтому выбирайте. Либо вы разрешаете чтение и никто из нас не выглядит некрасиво, либо запрещаете — и тогда некрасиво выглядим мы оба. Ваш выбор.

— Я подумаю о том, что вы сказали, — произнес Хаули своим четким серым голосом. — Я дам вам знать в течение сегодняшнего дня.

В час дня позвонил Энди Эшкрофт. «Большая семерка» присоединилась к кампании и согласилась призвать к отмене фетвы. ЕС усиленно давил на Иран, добиваясь подписи Рафсанджани и согласия на все условия французского демарша. «Вы не должны довольствоваться избавлением от фетвы одной Европы, — сказал он Эшкрофту. — И иранцы в комментарии после заявления должны предписать мусульманам, живущим на Западе, исполнять местные законы». Эшкрофт сказал, что настроен «довольно-таки оптимистично». «Я тут повздорил с Особым отделом, — признался он сотруднику Форин-офиса, — и хорошо бы вы сказали им свое слово: публичный скандал был бы сейчас совсем некстати». Эшкрофт засмеялся: «Посмотрим, чем я смогу помочь».

Через два с половиной часа позвонил Дик Вуд и сказал, что Хаули уступил. Чтение — через двое суток. Объявление о нем — только утром того же дня. Таков был предложенный ему компромисс.

Он его принял.

К полудню все сидячие места в «Уотерстоунз» были проданы. «А что было бы, объяви мы в понедельник, как планировалось? —

сказал директор хэмпстедского магазина Пол Багли. — Мы бы продали тысячи экземпляров». На Хэмпстед-Хай-стрит было множество полицейских в форме, а демонстрантов не наблюдалось вовсе. Ни одного мужчины с бородой, плакатом и исполненным праведного гнева лицом. Ни единого. Где все эти костюмы и мобильные телефоны, где «тысяча необузданных фанатиков» из группы «Хизб ут-Тахрир»? Неизвестно где. Не там, где проводилось чтение. Если бы не орды полицейских на улице, все это выглядело бы как совершенно заурядное литературное мероприятие.

Заурядным оно, конечно, не было. Это публичное чтение стало для него первым почти за семь лет, о котором объяви ли заранее. В этот день выходил в свет его первый после «Шайтанских аятов» взрослый роман. Сотрудники магазина потом сказали Кэролайн Мичел, что чтение было лучшим из всех, какие они слышали, и это было приятно; самому же читавшему все это казалось чудом. Опять, после очень долгой разлуки, он был со своими читателями. Слышать их смех, чувствовать, что они растроганы… Необыкновенно. Он прочел начало романа, фрагмент про Лениных и пассаж о «Матери Индии». После этого радостные руки унесли в лондонский вечер сотни экземпляров книги. И ни единого демонстранта.

Он перешел свой Рубикон. Назад пути не было. На чтение пришли люди из кембриджского магазина «Уотерстоунз», и они хотели провести такое же мероприятие у себя, на сей раз дав объявление за два дня. Дик Вуд сказал, что «все в подразделении очень довольны». Он усомнился, что к числу довольных принадлежит коммандер Хаули. За день, потом за два, потом больше. Шаг за шагом — назад к своей подлинной жизни. От Джозефа Антона — к своему собственному имени.

Сотрудникам полиции, боровшимся за него с высокими чинами Скотленд-Ярда, он послал шампанского.

Шум по поводу «французской инициативы» день ото дня становился все громче. По сообщению «Индепендент», глава европейских ячеек иранских боевиков, принадлежащих к Корпусу стражей исламской революции, в письме к Хаменеи пожаловался, что ему приказали посадить своих собак на цепь: соломинка, показывающая, куда дует ветер, намек на то, что собак действительно загоняют в конуру и что Хаменени, возможно, не против этого. Затем Арне Рут из газеты «Дагенс нюхетер» сообщил о «чрезвычайно волнующей» беседе в Стокгольме. Наряду с другими шведскими журналистами он встретился с иранским министром Лариджани, сказавшим поразительную

вещь: он хочет, чтобы были написаны статьи, подчеркивающие «восхищение творчеством Салмана Рушди» в Иране, потому что нужно «изменить психологический климат». Еще более ошеломляющим было другое заявление, которое Лариджани сделал под запись: фетву не следует приводить в исполнение, поскольку это не отвечает интересам Ирана. И это сказал тот самый Лариджани, который не раз требовал предать Рушди смерти. По поводу Санеи с «Баунти», однако, Лариджани уперся: правительство не может ничего с ним поделать. А потом — остро́та: почему бы господину Рушди не подать на Санеи в иранский суд? *Оу, уэрри гуд,* подумал он, ненадолго впав в диккенсовское пристрастие к гласным. *Уэрри-уэрри гуд.* Чудненько.

Воздух гоняло по кругу. Соломинки клонились то в одну сторону, то в другую. Если что-нибудь и могло дать ответ на этом ветру, он понятия не имел что.

Элизабет была расстроена: она все не беременела. Она предложила ему сделать «анализ спермы». Время от времени между ними случались такие моменты напряжения. Это тревожило их обоих.

Кэролайн Мичел сказала: «Да, пресса сильно возбуждена, и это можно использовать для того, чтобы улучшить твою жизнь». Он не хотел вечно оставаться запертым в теневом мире дипломатов, секретных агентов, террористов и контртеррористов. Если он откажется от своей картины мира и примет эту — ему никогда уже не спастись. Он пытался понять, как ему думать и действовать в свете того, что могло произойти в ближайшее время. Предстояло словно бы пройти по канату. Если Элиассон[206] был прав, говоря о необходимости положительного отклика в СМИ, то ему, вероятно над заявлять, что дела обстоят лучше, но не идеально, что это начало конца, но еще не конец, перемирие, но не полный мир. Аятолла Мешкини недавно сказал, что *любую фетву можно отменить, и многие отменялись*. Упомянуть ли об этом? Скорее всего, не стоит. Иранцы вряд ли будут в восторге, если он начнет предъявлять им цитаты из их духовных лидеров.

Позвонил Эндрю Грин из Форин-офиса, чтобы изложить ему план. Иранский текст будет составлен в форме «письма от министра иностранных дел Велаяти, где говорится, что его заместитель Ваези уполномочен высказать иранскую точку зрения». Существо дела будет раскрыто не в письме Велаяти, а в «приложении» к нему, которое так же опубликует иранская

пресса. Грин хотел знать, приемлемо ли это для него. Похоже было на то, что Форин-офис считает это недостаточным. Ведь отсюда еще далеко до подписи Рафсанджани.

Позвонил Ларри Робинсон из американского посольства. У него было ощущение, что континентальная Европа проталкивает этот вариант, а Соединенные Штаты и Соединенное Королевство с ним не согласны. Его беспокоило, что Иран может готовить «убийство, к которому он якобы не причастен». (Элизабет тоже тревожилась, что его могут убить во время одного из чтений, право на которые он завоевал с таким трудом, но Рэб Конноли сказал, что, по донесениям «агентуры», «злоумышленники» таких планов не строят.)

Как ему себя вести? Он решительно не знал. Как ему быть все-таки?

СМИ подавали все так, будто история с фетвой подошла к концу, но, возможно, она еще к нему не подошла; он мог лишиться внимания к себе, оставаясь при этом в опасности. Или наоборот: поймав благоприятный момент, придав событиям ускорение, он, может быть, сумеет с помощью СМИ создать атмосферу, в которой опасность действительно сойдет на нет?

Если ЕС заявит, что иранский ответ на демарш его не удовлетворил, это может дать Ирану повод обвинить ЕС в вероломстве и мелочном педантизме, сказать, что Запад не хочет решать проблему фетвы, что Запад использует его как пешку в более крупной игре. И может быть, так оно и есть. Американская администрация и в какой-то степени британское правительство хотели прижать Иран политически, и в этом плане фетва, без сомнения, была им полезна. Но если он примет иранский ответ, кампания в его защиту выдохнется, а фетва и обещание вознаграждения останутся в силе. Он был в растерянности.

День, когда Иран должен был дать ответ, был также днем кембриджского чтения. Объявление дали за два дня, поэтому аудитория собралась огромная, и, конечно, организаторы нервничали, ему было велено войти через заднюю дверь, а если он попытается войти через главный вход, мероприятие, сказали ему, отменят. Так или иначе, это произошло — и опять ни намека на демонстрацию. Его интуиция, подкрепленная разговорами с художниками и журналистами из британского азиатского сообщества, говорила ему, что британские мусульмане давно уже не испытывают особого желания протестовать. Эта стадия осталась позади.

В 12.45 дня — шокирующая и неожиданная новость. Заместитель министра иностранных дел Ваези сказал иранскому

информагентству ИРНА, что Иран отвергает европейский демарш. Французская инициатива, таким образом, умерла. Не далее как утром Иран говорил журналистам, что бумага, которую подпишет Ваези, будет удовлетворять всем требованиям ЕС, — а теперь Ваези заявляет, что никакой письменной гарантии нет и не будет.

Коротко и ясно.

Что произошло в Тегеране — поди знай. Кто-то проиграл бой, а кто-то выиграл.

Элизабет разрыдалась. А он почувствовал себя странно спокойным. Он должен использовать намеченную пресс-конференцию, чтобы снова перейти в атаку. Отказываясь заявить, что они не будут прибегать к терроризму, иранцы отчетливо дают понять, что вполне могут к нему прибегнуть. Крах этой инициативы разоблачает Иран на глазах у всего мира. Вот что он скажет, и скажет во весь голос.

За себя, что странно, он не боялся, но он не знал, как говорить с теми, кто его любит: как сообщить скверную новость Зафару, что сказать Самин. Он не знал, как придать сил плачущей Элизабет, где отыскать надежду. Казалось, надежды нет и быть не может. Но он знал, что должен — должен и будет — бороться дальше, беря пример с могучего героя романа Беккета «Безымянный». *Я не могу продолжать. Я буду продолжать*.

И разумеется, жизнь продолжалась. Яснее чем когда-либо было одно: надо брать свободу там, где ее можно взять. «Официальное» окончание эпопеи больше не выглядело возможным, зато Америка звала его на очередные летние каникулы. Американская полиция относилась к его охране довольно равнодушно, и это было просто здорово, это было то что надо. В том году Элизабет, Зафар и он могли получить двадцать пять счастливых дней американской свободы. Зафар и Элизабет вылетели прямым рейсом; он же с помощью друзей Рудольфа Шольтена в «Австрийских авиалиниях» устроил себе перелет в Нью-Йорк через Вену; очень длинный кружной путь — но какая разница: он в Америке! И его встречает Эндрю! Они прямиком поехали в Уотер-Милл, он провел девять чудесных дней на пляже Гибсон-Бич и в гостях у друзей, не делал ничего — и делал все. Простота этой жизни и контраст с изолированным британским существованием доводили его до слез. А после Уотер-Милла они машиной и паромом отправились на остров Мартас-Винъярд, где им предстояло восемь дней гостить в городке Чилмарк у Дорис Локхарт-Саатчи[207]. Главным впечатлением от этой поездки стали для него гениталии Уильяма Стайрона. Они с Элизабет приехали к Стайронам в гости в их дом в Винъярд-Хейвене, и

великий писатель сидел там на веранде в шортах цвета хаки, под которыми не было трусов, широко расставив ноги и щедро являя взору свои сокровища. Это было больше, чем он когда-либо рассчитывал узнать об авторе «Признаний Ната Тернера» и «Выбора Софи»; всякая информация, рассудил он, может пригодиться, и он сохранил увиденное в памяти для позднейшего использования.

Затем — три ночи у Ирвингов, три — у Герров и три — у Уайли на Парк-авеню. В последний вечер поездки Зафар узнал результаты своих школьных экзаменов, и они были, хвала небесам, хорошими. В последующие годы ему часто приходило в голову, что очень трудно было бы выжить без этих ежегодных поездок в Америку, служивших отдушинами, поездок, когда они могли воображать себя обычным литературным семейством, посещающим разные места в обычном порядке, без всякого вооруженного эскорта, — это было, казалось, так легко, так естественно. Ему очень быстро стало ясно, что, когда придет день, страной, где легче всего будет воспользоваться отвоеванной свободой будет Америка. Когда он сказал это Элизабет, она нахмурилась и сделалась раздражительной.

В темноте, которая воцарилась после краха французской инициативы, был один неожиданный луч света. «Люфтганза» не выдержала давления общественности. У него был ланч с господином и госпожой Люфтганза — с генеральным директором компании Юргеном Вебером *und Frau*. Фрау Вебер оказалась его *большой поклонницей* — так, по крайней мере, она сказала. И — да, они будут *счастливы*, заявил ее муж, если он воспользуется услугами компании. Они будут *горды*. Вот так вот, легко и просто. После шести лет отказов — бац! — они будут ему *чрезвычайно рады в любое время*. Они им *восхищены*. «Спасибо», — сказал он, и у всех был очень довольный вид, и конечно, было надписано немало книг.

Би-би-си сняло документальный фильм о «Прощальном вздохе Мавра» и заказало его другу, индийскому художнику Бхупену Кхакхару, его портрет для фильма. Эта книга — роман о художниках и живописи, и замыслом своим ее автор был обязан дружбе с поколением одаренных индийских художников, в первую очередь с Бхупеном. Они познакомились в начале восьмидесятых, каждый из них мгновенно увидел в другом себя, и они быстро подружились. Вскоре после первой встречи он пошел на выставку Бхупена в лондонскую галерею «Касмин — Ноудлер». В кармане у него был денежный чек, полученный за рассказ,

который он только что продал журналу «Атлантик мансли». На выставке он влюбился в картину Бхупена «Железнодорожное купе второго класса» и, обнаружив, что цена картины в точности совпадает с суммой на чеке в его кармане (индийское искусство тогда стоило дешевле, чем сейчас), с радостью превратил свой рассказ в картину друга, которая неизменно с тех пор принадлежит к самому для него ценному из его имущества. Современному индийскому художнику трудно было отрешиться от влияния Запада (в прежнем поколении знаменитые лошади М. Ф. Хусейна выскочили прямиком из «Герники» Пикассо, и многие другие крупные живописцы — Соуса, Раза, Гайтонде — очень многим обязаны пристрастию Хусейна к модернизму и к западным абстракционистским веяниям). Найти индийскую изобразительную манеру, которая не была бы ни фольклорной, ни вторичной, не так-то легко, и Бхупен был одним из первых, кто в этом преуспел; глядя на уличное искусство Индии, на киноафиши, на расписные фасады лавок, изучая фигуративные и повествовательные традиции индийской живописи, вдохновляясь окружавшей его зримой средой, он создавал вещи, исполненные своеобразия, оригинальности и юмора.

В основе «Прощального вздоха Мавра» лежит идея палимпсеста, картины, скрытой под другой картиной, мира, таящегося под другим миром. Когда он еще не появился на свет, его родители наняли молодого бомбейского художника, чтобы тот расписал его будущую детскую изображениями животных из сказок и мультфильмов, и неимущий живописец Кришен Кханна исполнил этот заказ. Кроме того, он написал портрет молодой красавицы Негин, будущей матери Салмана, но ее мужу Анису портрет не понравился, и он отказался его покупать. Кханна отнес отвергнутый холст в мастерскую своего друга Хусейна, и Хусейн затем написал поверх этой картины свою и продал. Так что где-то висел портрет Негин Рушди работы Кришена, который, разумеется, стал впоследствии одним из ведущих художников своего поколения, портрет, скрытый под картиной Хусейна. Кришен сказал: «Хусейн знает, где находятся все его работы, но он не скажет». Люди с Би-би-си подступились было к Хусейну с вопросами, но старик сердито стукнул по полу палкой и заявил, что все это выдумки. «Конечно же это правда, — настаивал Кришен. — Просто он боится, что ты хочешь уничтожить его картину, чтобы найти под ней портрет твоей матери, и он обижен, что ты ищешь мою работу, а до его работы тебе нет дела». В конце концов он пришел к мысли, что портрет более выразителен в потерянном, чем в найденном состоянии: потерянный, он — красивая тайна; найденный, он, может быть,

показал бы, что искусствоведческое суждение Аниса Рушди было верным и зеленый еще в ту пору Кханна выполнил свою работу не блестяще. И он попросил телевизионщиков прекратить поиски.

Позируя Бхупену в его мастерской на Эдвардс-сквер в Кенсингтоне, он рассказал ему о потерянной картине. Бхупен, довольно хихикая, работал себе дальше. Свою модель он изобразил в профиль — по традиции индийской придворной живописи, и, как добропорядочный наваб, человек на портрете был облачен в прозрачную рубашку, только у Бхупена материя смахивала скорее на нейлон, чем на тонкий хлопок. Для начала Бхупен одним легким движением мастера нарисовал углем безукоризненно похожий профиль. Портрет же, написанный поверх этого угольного контура, в некотором смысле походил скорее не на того, кто позировал, а на Мавра Зогойби из романа. «Я изобразил вас обоих, — сказал Бхупен. — Тебя как Мавра и Мавра как тебя». Так что и здесь была одна картина под другой.

Портрет в конечном итоге приобрела Национальная портретная галерея, и Бхупен стал первым индийским художником, чья работа там вывешена. Бхупен умер 8 августа 2003 года, в один день с Негин Рушди. Деться от этого совпадения было некуда, хотя его смысл ускользал. В один и тот же день он потерял и друга, и мать. К этому нечего было добавить.

Роман опубликовали. Он продолжал с усилием раздвигать границы свободы. Принял участие в самом пока что крупном своем публичном мероприятии с объявлением заранее — в писательском форуме «Таймс» в зале Сентрал-Холл-Вестминстер, наряду с Мартином Эмисом, Фэй Уэлдон и Мелвином Брэггом. Прочел отрывок из «Прощального вздоха Мавра» и поблагодарил публику за то, что почтила вниманием его «маленький выход в свет». Да, охрана была, и была бронированная машина, и входить-выходить ему пришлось через заднюю дверь — но его книгу выпустили в свет, и он способствовал ее популяризации. И никаких демонстраций, так что полицейские чины в Ярде начали наконец успокаиваться.

Он планировал нечто очень амбициозное. Его латиноамериканские издатели пригласили его посетить в декабре Чили, Мексику и Аргентину, и он задумал после этого поехать в Новую Зеландию и Австралию. Гигантское путешествие, и он твердо вознамерился его осуществить. Надо было договориться со многими авиакомпаниями, но сейчас, когда его, наряду с «Иберией», «Эр Франс», «Австрийскими авиалиниями» и «Скандинавскими авиалиниями», соглашалась перевозить

«Люфтганза», вести переговоры было уже легче. Мало-помалу вырабатывался маршрут, запрашивались и получались разрешения; мексиканский посол в Лондоне Андрес Розенталь принял его и Карлоса Фуэнтеса и помог организовать мексиканский этап турне; и вот, поразительным, невероятным образом, планы были согласованы. Им можно было ехать.

Они отправились в Осло на норвежскую презентацию «Прощального вздоха Мавра», и он читал отрывки в актовом зале Университета Осло со стенной росписью Эдварда Мунка. Это чтение стало первым за пределами Соединенного Королевства, о котором было объявлено заранее, и они с Вильямом Нюгором оба чувствовали, что сделали большой шаг вперед. *Это победа над теми, кто желает нам зла,* сказал Вильям, *и мы одержали ее вместе.* Движения Вильяма были из-за ран все еще несколько замедленными, он все еще испытывал небольшие боли, но был полон жизни. Тем вечером, ко всеобщему изумлению, небо над Осло озарило северное сияние. Это редкое зрелище в Осло, который находится на юге Норвегии, и тем более в октябре, но так или иначе над городом засветилась зеленая *aurora borealis*[208] — «в честь вашей Ауроры», сказал Вильям. Главную героиню «Прощального вздоха Мавра» звали Аурора Зогойби, и казалось, будто она там, будто она танцует в небе среди огромных зеленых занавесей, которые причудливо изгибались и струились от горизонта до горизонта. Все жители Осло звонили друзьям, все говорили: *выйди, посмотри на небо, это поразительно*. Зрелище продлилось час или больше, и оно казалось предзнаменованием лучших времен.

С Робертом Маккрамом в доме 41 по Сент-Питерс-стрит случился инсульт. Они с Сарой Лайалл были женаты всего два месяца, и в ее отсутствие он едва не погиб. Роберт выжил, но одну руку парализовало, он мог пройти подряд всего каких-нибудь пару шагов, и нельзя было знать, насколько велик долгосрочный вред. Понемногу ему становилось лучше, и для них с Сарой эти мелкие улучшения были источником надежды. Вновь проявило себя Проклятие Сент-Питерс-стрит.

Он с Кристофером Хитченсом поехал навестить Роберта и Сару и в каком-то смысле попросить у него прощения за Проклятие. Странно было оказаться в своем прежнем доме, где он был, когда, как он начал говорить, дерьмо попало в вентилятор. Пока он и Хитч разговаривали с другом, которого поразил инсульт, разнообразные призраки то вплывали в комнату, то выплывали из нее. Они с Хитчем пробыли там недолго. Роберту нужен был покой.

На моментальных снимках, которые память сохранила о тех годах жизни, полиции зачастую нет, она стерта с исторических фотографий, как коммунистический лидер Клементис в начале «Книги смеха и забвения» Милана Кундеры. Чтобы легче было жить, он старался забыть, что постоянно окружен охранниками, что соображения безопасности играют такую большую роль в его повседневной жизни. Он старался забыть о мелких ежедневных лишениях. Он не мог сам получить свою почту, не мог забрать утреннюю газету, оставлению перед домом. Были кухонные столкновения в пижамах, не переставшие рождать чувство неловкости. Было это *Джо* — этот все более ненавистный псевдоним. (Неужели и правда нельзя обращаться к нему у него дома по настоящему имени?) Была полная невозможность сделать что-либо спонтанно. *Я бы хотел прогуляться, если можно. Хорошо, Джо, дайте нам час на подготовку. Но через час мне уже расхочется гулять…* И каждый раз, когда он все-таки куда-нибудь выезжал, его привозили в «пересадочный пункт» и заставляли перейти из одной машины — из той, что была связана с домом, — в другую, связанную с его появлениями на публике. Эти пересадочные пункты — Натли-террас, Парк-Виллидж-Ист — он возненавидел на всю жизнь, впоследствии, он их проезжал, его всякий раз передергивало, но в то время он заставлял себя от них *отрешаться*, он отделял себя от человеческого тела, перебегающего из машины в машину, и, доехав до места назначения, он отказывался думать об охране: он просто был с друзьями, был собой.

А у друзей все наоборот: охрана была для них чем-то настолько необычным, настолько странным и захватывающим, что им большей частью она-то и запоминалась. Когда он потом спрашивал, что у них осталось в памяти от тех дней, они говорили о полицейских: *Помнишь того, который соблазнил нашу няню? Помнишь тех двоих красавцев, на которых все заглядывались?* Вспоминали задернутые шторы и запертые садовые ворота. Даже в глазах друзей он становился второстепенным зрелищем, а полиция — главным. В его же воспоминаниях о том времени полиция часто отсутствовала напрочь. На самом деле она, разумеется, была, но память приняла решение, что ее не было.

Иногда, впрочем, осуществить этот маленький умственный трюк оказывалось невозможным. На моментальных снимках, оставшихся в памяти от поездки в Латинскую Америку, чилийские полицейские находятся в самом центре рамки — пугающие, незабываемые, *более чем видимые.*

Моментальный снимок Чили. В Чили действовали две полиции: карабинеры в форме и *Policia de Investigaciones*[209] в штатском, и, пока они с Элизабет летели в Сантьяго, два мощных ведомства ссорились между собой, решая, впускать или не впускать его в страну. Он должен был выступить гп лиитературной ярмарке, но, когда они в жаркий, ослепительный, душный день сошли с самолета, их окружили полицейские в форме и отвели в какой-то ангар, где нечем было дышать и где вкруг все кричали по-испански. У них забрали паспорта. Никого, кто говорил бы по-английски и мог бы перевести, не было, и, когда он попытался выяснить, что происходит, на него прикрикнули и красноречивыми жестами велели отстать и заткнуться. *Добро пожаловать в Южную Америку,* подумал он, обильно потея.

В 1993 году Аугусто Пиночет уже не был президентом, но по-прежнему занимал пост верховного главнокомандующего, и даже «осенью патриарха» никто не обманывался насчет того, сохранил ли он могущество и влияние. В Чили времен Пиночета органы безопасности были всесильны. Но в его случае два полицейских ведомства подрались между собой как пара псов, а костью был он. Это напомнило ему место из книги Рышарда Капущинского «Император», где описаны две совершенно отдельные разведслужбы у Хайле Селассие, главной задачей которых было шпионить одна за другой. Он, кроме того, напомнил себе — и это было куда менее забавно, — что прибыл в страну, где исчезновения людей и необъясненные убийства были до недавнего времени явлением заурядным. Может быть, они с Элизабет уже «исчезли»?

Продержав в ангаре часа два, их отвезли в полицейское здание, которое назвали отелем. Это не был отель. Дверь комнаты не открывалась изнутри. Снаружи дежурили вооруженные охранники. Он несколько раз просил их вернуть паспорта, дать ему возможность позвонить своему издателю и связаться с британским послом. Охранники пожимали плечами. Они не знали английского. Час проходил за часом. Им не давали ни есть, ни пить.

Стерегшие его люди мало-помалу теряли бдительность. Дверь комнаты оставили открытой, и, хотя «отель» был полон людей в форме, у их дверей охрана уже не стояла. Он собрался с духом и сказал Элизабет: «Хочу кое-что предпринять». Надел темные очки, вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице к выходу.

Никто не спохватился, пока он не спустился на два этажа, но в какой-то момент его на лестнице окружили кричащие, жестикулирующие мужчины. Он продолжал себе идти. *Что вы*

делать. Куда вы идти. Нельзя. Он уже дошел до стойки регистрации, а вокруг него тем временем собралось облачко мужчин с косичками и в зеркальных очках; мужчин, заметил он, вооруженных, но к этому он привык. *Куда вы идти? Стоп. Вы стоп.* Он улыбнулся, как мог, лучезарно. «Я хочу прогуляться, — сказал он, показывая на входную дверь и изображая пальцами ходьбу. — Ведь я первый раз в Сантьяго. Город очень красивый. Я просто решил немного пройтись». Карабинеры не знали, что делать. Они угрожали, кричали, но никто не дотронулся до него и пальцем. Он продолжал идти. Вот уже миновал входную дверь, под ногами был тротуар, он понятия не имел, что будет делать дальше, но повернул налево и двинулся по улице. «Сэр, будьте добры, немедленно остановитесь, пожалуйста». Словно по мановению волшебной палочки откуда-то возник переводчик. «Наконец-то они, я вижу, позволили чертику выскочить из табакерки», — сказал он, по-прежнему улыбаясь и не останавливаясь. «Сэр, что вы делаете, пожалуйста, это не разрешается». Он улыбнулся еще шире: «Скажите им: если я совершаю преступление, пусть меня арестуют и посадят в тюрьму. Если же нет, я хочу, чтобы меня в течение двух минут соединили по телефону с британским послом». Две минуты спустя он уже говорил с посольством. «Ну слава богу, — сказал сотрудник, взявший трубку. — Мы весь день пытаемся выяснить, что с вами стряслось. Вы напрочь исчезли с радара».

Через несколько минут сотрудник посольства уже был у полицейского здания. Никогда еще дипломату так не радовались. «Какой тут из-за вас разгорелся спор — вы не поверите, — сказал дипломат. — Чуть самолет не развернули в воздухе». Теперь, когда вступила в действие международная дипломатия, им с Элизабет *позволили* отправиться в настоящий отель, где их встретила делегация чилийских писателей, в том числе Антонио Скармета, автор романа «Почтальон Неруды» 1985 года, по которому недавно был снят фильм «Почтальон». Скармета, большой человек с большим сердцем, раскрыл перед ним объятия и извинялся без устали. *Скандал. Стыд и позор нам, чилийцам. Теперь, когда мы знаем, что вы здесь и в безопасности, мы о вас позаботимся.*

Что-то было возможно, что-то нет. На книжную ярмарку он уже опоздал. Но на следующий день в небольшом театральном помещении собрались писатели, художники и журналисты, и ему позволили перед ними выступить. После этого им с Элизабет дали почувствовать, что такое подлинное чилийское гостеприимство: они побывали в винограднике винодельческой компании «Конча-и-Торо» и в красивом поместье к югу от

Сантьяго. Там было хорошо, но моментальные снимки этих удовольствий потускнели и стерлись из памяти. Чего нельзя сказать о впечатлениях от их краткого «исчезновения» по милости карабинеров. Чили трудно было назвать страной, куда хочется поскорей вернуться.

Ментальные снимки Аргентины. В середине семидесятых он побывал на лекции Хорхе Луиса Борхеса в центре Лондона, и на возвышении рядом с великим писателем, который был похож на французского комика Фернанделя в сумрачном латиноамериканском варианте, стояла красивая молодая женщина японского вида; он, помнилось, подумал: *кто это?* — и теперь, спустя все эти годы, к ним шла, встречая их в Буэнос-Айресе, Мария Кодама, легендарная Мария К., вдова Борхеса, женщина с двуцветными волосами, и они пообедали в ресторане, носившем ее имя. А после обеда она отвела их в Международный фонд Хорхе Луиса Борхеса, расположенный не в старом борхесовском доме, а в соседнем, потому что владелец того дома не захотел его продавать; здание фонда было зеркальным повторением «настоящего» здания, и казалось уместным, что Борхес, так любивший зеркала, увековечен в доме-зеркале. На верхнем этаже здания был в точности воссоздан кабинет писателя — узкая строгая монастырская келья с простым столом, прямым стулом и койкой в углу. Весь остальной пол занимали книги. Для того, кто не имел счастья быть знакомым с Борхесом, знакомство с его библиотекой было наилучшей заменой. Здесь, на многоязычных полках, наряду с книгами на половине языков Земли, стояли дорогие сердцу хозяина томики Стивенсона, Честертона и По. Он вспомнил историю о встрече Борхеса и Энтони Берджесса. *Мы однофамильцы*, сказал Берджесс аргентинскому мастеру, а затем, поискав общий язык, который был бы непонятен желающим подслушать, они сошлись на англосаксонском и принялись радостно болтать на языке «Беовульфа».

А еще там была целая комната энциклопедий — энциклопедий всего и вся, — они-то, вне всякого сомнения, и породили знаменитое издание, обманчиво названное «Англо-американской энциклопедией» и представлявшее собой «буквальную, но запоздалую перепечатку „Британской энциклопедии“ 1902 года», издание, в сорок шестом томе которого «Борхес» и «Биой Касарес» — вымышленные персонажи великого рассказа «Тлён, Укбар, *Orbis Tertius*» — обнаружили статью о стране Укбар. И они же, конечно, породили саму волшебную энциклопедию Тлёна.

Он мог бы провести в обществе этих мистических книг целый

день, но у него был всего час. Когда они уходили, Мария подарила Элизабет драгоценную вещь — каменную «розу пустыни», которая была одним из первых подарков Борхеса ей, сказала она, *и желаю вам такого же счастья, какое было у нас*.

— Помните, — спросил он Марию, — предисловие Борхеса к альбому «Аргентина» фотографа Густаво Торлихена?

— Да, — ответила она. — Где он пишет, что невозможно сфотографировать пампасы.

— Нескончаемые пампасы, — сказал он, — борхесовские пампасы, которые тянутся не в пространстве, а во времени. Вот где мы с ней живем.

Охрана в Буэнос-Айресе была, но удобоваримая, *стирающаяся* в памяти. Новость о чилийском полицейском безумии опередила его, и аргентинские полицейские хотели произвести лучшее впечатление, поэтому позволили ему дышать. Он сумел сделать то, что планировал для популяризации «Прощального вздоха Мавра», и даже кое-что увидел как турист: побывал у семейного склепа на кладбище Реколета, где покоится Эва Перон и где маленькая табличка запрещает в духе Ллойда-Уэббера прохожему лить о ней слезы[210]. *No me llores*. Хорошо, не буду, молча согласился он. Как вы скажете, леди.

Ему предложили встретиться с министром иностранных дел Аргентины Гвидо ди Телла, и по дороге на эту встречу сопровождавший его сотрудник британского посольства упомянул о том, что съемочной группе фильма Алана Паркера «Эвита» с Мадонной в главной роли запретили вести съемку в Каса-Росада[211]. «Если бы вы смогли что-нибудь ввернуть на этот счет, — заметил дипломат, — было бы полезно. Может быть, вам удастся замолвить слово мимоходом?» Ему удалось. После того как сеньор ди Телла спросил его про фетву и произнес ставшие к тому времени обычными (и во многом пустые) слова в его поддержку, он задал министру вопрос о киносъемочных трудностях. Ди Телла сделал жест, означавший: ну что я могу?

— Вы знаете, Каса-Росада — правительственное здание, трудно себе представить, что там будут снимать художественный фильм.

— Бюджет этого фильма, — сказал он в ответ, — большой, и они твердо намерены его снять, так что, если вы не пустите их в Каса-Росада, они найдут другое здание, которое заменит им Каса, например — ну, я не знаю — в Уругвае.

Ди Телла напрягся.

— В Уругвае?! — воскликнул он.

— Да. Может быть. Не исключен Уругвай.

— Понятно, — сказал ди Телла. — Извините, я сейчас

отлучусь на минуту. Мне надо сделать телефонный звонок.

Вскоре после этого разговора «Эвиту» позволили снимать в Каса-Росада. Когда фильм вышел на экраны, он прочел, что Мадонна сама просила на это разрешения у президента Аргентины, так что, может быть, настоящей причиной смягчения его позиции была ее просьба. А может быть — кто знает, — Уругвай тоже сыграл свою роль.

Моментальный снимок Мексики. Да, там повсюду были полицейские, и — да, ему удалось выступить на презентации своей книги, и поговорить о свободе слова, и увидеть памятники, оставшиеся от кровавых ацтеков, и осмотреть дом Фриды Кало и Диего Риверы в Койокане, и побывать в комнате, где убийца Меркадер размозжил ледорубом голову Троцкому, и — да, ему удалось принять участие в книжной ярмарке в Гвадалахаре вместе с Карлосом Фуэнтесом, а потом его перебросили на вертолете через холмы, поросшие голубой агавой, в город Текилу, чтобы на одной из старых асьенд, где изготавливают текилу, пообедать в обществе других писателей, выступавших на ярмарке, и там даже играл ансамбль мариачи, и все вили слишком много текилы «Трес генерасьонес», а потом были головные боли и прочие обычные последствия. И — да, поездка в Текилу подарила ему антураж для сцены в начале романа «Земля под ее ногами», когда происходит землетрясение, трескаются цистерны и текила течет по улицам городка точно вода. А после Текилы они с Элизабет вместе с Карлосом и Сильвией Фуэнтесами гостили в поразительном доме под названием «Паскуалитос», представлявшем собой настоящий архипелаг из крытых пальмовыми листьями хижин на берегу Тихого океана и фигурировавшем в модных книгах о современной архитектуре, и — да, он понял, что любит Мексику. Но все это было второстепенно.

А важно было то, что однажды вечером в Мехико Карлос Фуэнтес сказал: «Страшно глупо, что вы никогда не виделись с Габриэлем Гарсиа Маркесом. Очень жаль, что он сейчас на Кубе: из всех писателей мира именно вам и Габо просто необходимо встретиться». Он встал, вышел из комнаты и через несколько минут вернулся со словами: «Возьмите трубку, с вами кое-кто хочет поговорить».

Гарсиа Маркес сказал, что не говорит по-английски, но на самом деле он понимал английскую речь неплохо. Что до него самого, то с разговорным испанским он был не в ладах совершенно, но, в свой черед, мог кое-как разобрать, что ему говорят, если только собеседник не злоупотреблял сленгом и не слишком частил. Единственным общим для них языком был

французский, и они попытались вести беседу на нем, правда, Гарсиа Маркес — которого он даже в мыслях не мог назвать „Габо“ — то и дело сбивался на испанский; да и с его губ слетало больше английских фраз, чем ему хотелось. Но, как ни странно, на моментальном снимке их продолжительного разговора, который сделала его память, *никаких языковых трудностей нет*. Они просто говорили между собой — тепло, эмоционально, бегло, высказывались о книгах друг друга и о породивших их мирах. Он говорил о тех многочисленных сторонах латиноамериканской жизни, что перекликались с южноазиатским опытом: оба эти мира имеют долгое колониальное прошлое, в них обоих жива, могущественна и зачастую тяжко давит на человека религия, в них обоих борются за власть военные и гражданские лидеры, в них обоих налицо немыслимые крайности богатства и бедности, а посередине с избытком хватает коррупции. Неудивительно, заметил он, что у латиноамериканской литературы такая большая читательская аудитория на Востоке. А Габо сказал («Габо!» Это казалось немыслимой наглостью, все равно что назвать бога по семейному ласковому прозвищу), что на манеру письма южноамериканских авторов очень сильно повлияли волшебные сказки Востока. Так что у них, как оказалось, было немало общего. А потом Гарсиа Маркес произнес то, что стало для него самой большой когда-либо слышанной похвалой. *Из всех иноязычных писателей,* сказал он, *двое, за кем я всегда стараюсь следить, это Дж. М. Кутзее и вы.* Ради одной этой фразы стоило совершить всю поездку.

И лишь положив трубку он осознал, что Гарсиа Маркес не задал ни единого вопроса ни про фетву, ни про его теперешнюю жизнь. Он говорил с ним как писатель с писателем — про книги. Это тоже само по себе было огромным комплиментом.

Моментальный снимок коллапса времени незадолго до того дня, когда. Они летели сначала по маршруту Мехико — Буэнос-Айрес — Огненная Земля, затем вдоль чилийского берега в сторону Новой Зеландии. Когда пересекли линию перемены дат, его мозг отказал. Скажи ему кто-нибудь, что сейчас прошлый вторник, время — четыре тридцать, он бы поверил. Эта линия до того сбивала с толку, что время крошилось у тебя в руках, как несвежий хлеб, ты мог сказать о нем что угодно и услышать в ответ: конечно, а что, почему нет. Линия говорила: время — фикция, к реальности оно отношения не имеет; линия наводила на мысль, что случиться может абсолютно все, вереница дней может, если захочет, дать задний ход, твоя жизнь может бешено размотаться, точно кинопленка, выплеснутая на пол из сломанного проектора. Время может стать прерывным, стать

чередой не связанных между собой моментов, может сделаться хаотичным, бессмысленным, а может просто-напросто вскинуть руки в отчаянии и кончиться. Из-за этого внезапного хронологического смятения перед глазами у него все поплыло, и он едва не потерял сознание. Когда пришел в себя, они были уже в Новой Зеландии, снова в англоязычной стране, что успокаивало. Но самое сильное смятение ему еще предстояло пережить. Шум крыльев истребляющего ангела не долетал до его ушей, но крылья были там, над его головой, опускались все ниже, ниже.

Моментальный снимок дней перед тем днем, когда. В Новой Зеландии и Австралии охрана была более разумной, не столь навязчивой, легче переносимой. Но их ждало кое-что, о чем они не догадывались. Когда ехали через остров Северный мимо извергавшегося уже не первый месяц вулкана Руапеху, над которым стоял, сердито прочерчивая небо, косой столб дыма, они не думали о предзнаменованиях. В Австралии провели уик-энд в Голубых горах близ Сиднея, во владении, весьма уместно названном «Блаженная дрема», будучи гостями Джули Кларк и Ричарда Невилла — великого пост-хиппи, бывшего редактора журнала «Оз», одного из ответчиков по знаменитому делу о непристойности в «школьном номере» журнала и автора основополагающих мемуаров «Хиппи-хиппи-шейк», своего рода летописи контркультуры шестидесятых; и в этой зоне небесного кайфа (они спали в хижине на дереве) трудно было думать о чем-либо, кроме мира и любви. Они и представить себе не могли, что совсем скоро окажутся на волосок от смерти, что через два дня наступит самый гибельный момент за все эти полные угроз годы.

Моментальный снимок того дня, когда. Они решили задержаться после трудовой части поездки и отметить Рождество под австралийским солнцем, и полиция согласилась снять охрану, потому что никто не мог узнать, что они остались в стране. Их пригласил к себе романист Родни Холл, живший в красивом, уединенном месте у моря в городке Бермагуи, штат Новый Южный Уэльс, в четырех часах езды на юг от Сиднея. Рождество в Бермагуи, заверил их Родни, будет настоящей идиллией в узком кругу. Когда начались школьные каникулы, из Лондона к ним вылетел Зафар, и они встретили его в Сиднее. В свои шестнадцать с половиной Зафар был высокий, широкоплечий юноша, замечательно уверенный в себе в физическом плане. Утром того дня, когда полиция предоставила их самим себе, они решили отпраздновать это в кафе около пляжа Бондай-Бич, и некий мужчина, похожий на араба, начал странно на них поглядывать, а потом вышел, встал на тротуаре и принялся торопливо кому-то звонить и горячо, с жестикуляцией,

разговаривать. Зафар поднялся со словами: «Давайте-ка я выйду поговорю с ним», и его отец испытал странное и приятное чувство, что его защищает собственный сын, но попросил Зафара не вмешиваться. Звонивший, как оказалось, опасности не представлял, и они направились, чтобы пуститься и долгий путь на юг, туда, где был припаркован взятый напрокат «холден» с кузовом «седан».

Элизабет взяла с собой гомеровскую «Илиаду» на аудиокассетах и включила и машине магнитофон, так что во время езды через южную часть Нового Южного Уэльса по шоссе Принсез-айвей мимо Тиррула — пригорода Вуллонгонга, где Д. Г. Лоуренс написал роман «Кенгуру», — и дальше, вдоль океанского берега, музыка австралийских географических названий, похожая на гудение диджериду[212], звучала контрапунктом к воинственным, трагическим собственным именам древней Греции и Трои: Геррингонг, Агамемнон, Наура, Приам, Ифигения, Тоумронг, Клитемнестра, Уондендиан, Джерраунгала, Гектор, Ятте-Ятта, Мондайонг, Андромаха, Ахилл; Зафар, убаюканный древним сказанием о винно-чермном, рыбообильном море, растянулся на заднем сиденье и крепко заснул.

Примерно на полпути был городок Милтон, он к тому времени просидел за рулем два часа и, вероятно, должен был остановиться и поменяться местами с Элизабет — но нет, настаивал он, он нисколько не устал, он счастлив, что может вести машину. Кончилась очередная кассета, и на мгновение — на долю мгновения — он перевел взгляд на кнопку «извлечь», и тут несколько событий произошли очень быстро, хотя в тот момент Время, в надежности которого он после пересечения линии перемены дат постоянно сомневался, словно бы замедлилось и даже почти остановилось. По боковой дороге приблизился огромный сочлененный контейнеровоз и сделал размашистый левый поворот, и он постоянно потом будет говорить, что кабина водителя заехала за белую линию, хотя Элизабет запомнилось, что он сам слегка вильнул вправо, но как бы то ни было, вдруг раздался оглушительный, душераздирающий звук, жуткий смертельный скрежет металла о металл, и кабина грузовика шарахнула «холден» прямо по водительской двери, вминая ее, и замедлившееся время замедлилось еще больше, ему казалось, их протаскивает вдоль этой кабины целую вечность — может быть, секунд двадцать, а может быть, час, — и, когда они наконец ее миновали, «холден» понесло по шоссе в сторону, к травянистой обочине, а прямо за обочиной, все ближе, ближе, было большое раскидистое дерево, и

на каком-то этапе борьбы с рулевым колесом в его вяло соображающем мозгу медленно сформировалась мысль: *я не смогу объехать это дерево, мы на это дерево налетим, да, точно, мы на него налетим, мы налетим… налетели*, и он посмотрел на Элизабет, которую кинуло на ремень безопасности: глаза широко ты, рот разинут, и из него вылетает белое облачко дыхания, похожее на реплику в комиксах, и в этот миг он испугался, что, может быть, это жизнь покидает ее тело, и он заорал не своим голосом *ты не ударилась?* не зная, что будет делать с остатком своей жизни, если не услышит ответа.

Проснулся Зафар. «Что-то случилось? — сонно спросил он. — Что происходит?» Да, Зафар, видишь это дерево, которое теперь стоит посреди машины? Вот что происходит, сынок.

Все трое остались живы. В девяти случаях из десяти такая авария привела бы к гибели всех, кто ехал в машине, но этот случай был как раз десятый, и обошлось даже без единого перелома. Машину могло затащить под грузовик, и тогда все они были бы обезглавлены; но она отскочила от колеса. А сзади на полу, рядом со спящим сыном, стоял открытый ящик с бутылками вина, которые они везли Родни в подарок. Когда машина ударилась о дерево, бутылки метнулись вперед, точно снаряды, и врезались в ветровое стекло. Попади они ему или Элизабет в голову — проломило бы череп. Но «снаряды» пролетели у них над плечами. Элизабет и Зафар вышли из машины без посторонней помощи, у не было ни царапины. Ему повезло чуть меньше. Водительскую дверь смяло, ее можно было открыть только снаружи, у него были большие синяки и несколько глубоких порезов на голом правом предплечье и на правой ступне, обутой в сандалию. На предплечье образовалась яйцевидная опухоль, которую он посчитал признаком перелома. Заботливые милтонцы пришли им на помощь, вывели его из машины, и он сел на траву, неспособный говорить, весь уйдя в облегчение и в шок.

И еще одна удача: неподалеку было небольшое медицинское учреждение, больница Милтон-Улладулла, и оттуда быстро приехала «скорая». Мужчины в белых халатах, подбежав, остановились и вгляделись в него. «Простите, друг, а вы не Салман Рушди?» В эту минуту он совершенно не хотел им быть. Он хотел быть безымянным пациентом, получающим медицинскую помощь. Так или иначе — да, это он и есть. «Понятно, друг, сейчас, может быть, момент совсем неподходящий, но не могли бы вы дать автограф?» *Дай ему автограф*, подумал он. *Это медик из больницы.*

Приехали полицейские и взялись за шофера грузовика, который сидел в своей кабине и чесал в затылке. Грузовик

выглядел так, словно не было никакой аварии. Это чудовище отмахнулось от «холдена» как от мухи, и на нем не видно было ни царапины. Как бы то ни было, полицейские допрашивали шофера с пристрастием. Они тоже сообразили, что на траве, ошеломленный и раненный, сидит Салман Рушди, и хотели знать, какую религию исповедует шофер. Тот был озадачен. «При чем здесь моя религия, не понимаю?» И все-таки — он *мусульман*? Он *верит в ислам*? Он из *И-ра-на*? И поэтому он хотел убить мистера Рушди? Может быть, он выполнял задание *аятоллера*? Приводил в исполнение — как это называется — *фетсо*? Несчастный замороченный водитель качал головой. Он не знал, кто этот тип, с которым они столкнулись. Он просто вел себе грузовик и знать не знал ни про какое *фетсо*. В конце концов полицейские поверили ему и позволили ехать дальше.

Контейнер грузовика был наполнен свежим органическим удобрением. «Это что же получается, — слегка истерическим тоном спросил он Зафара и Элизабет, — нас едва не угробил полный грузовик *говна*? Мы чуть не погибли под кучей *навоза*?» Да, именно так. Он, которому почти семь лет удавалось ускользать от профессиональных убийц, чуть было не встретил вместе с близкими свой конец под могучей лавиной дерьма.

В больнице скрупулезное обследование показало, что со всеми все в порядке. Его рука не была сломана — только сильно ушиблена. Он позвонил Родни Холлу, и тот сказал, что отправится за ними немедленно, но это значило, что он приедет самое раннее через два часа. Тем временем в больших количествах начали появляться журналисты. Персонал больницы делал все, чтобы отогнать их подальше, отказывался сообщать, кто в ней получает — и получает ли кто-либо — помощь после дорожной аварии. Но журналисты знали то, что знали, и крутились вокруг. «Вы можете, если хотите, побыть здесь до тех пор, пока за вами не приедет ваш знакомый», — сказали им врачи и медсестры. Так что они ждали в отделении скорой помощи — сидели и пристально смотрели друг на друга, точно желая убедиться, что близкие тут, что они живы.

Приехал Родни — весь забота, весь внимание. Журналисты, сказал он, еще здесь, поэтому — как нам быть? Просто быстро пройти мимо, дать им щелкнуть фотоаппаратами и сесть в машину?

— Нет, — сказал он Родни. — Во-первых, я не хочу, чтобы завтра во всех газетах появились мои снимки, где я весь в синяках и с перевязанной рукой. А во-вторых, если я уеду в вашей машине, им не составит труда понять, где я буду находиться, и

это испортит нам Рождество.

— Я могу взять сейчас Элизабет и Зафара, — предложил Родни, — а вас посадить в паре миль к югу. Как выглядят Зафар и Элизабет, никто не знает, поэтому мы сможем выйти, не привлекая внимания.

Доктор Джонсон, добросердечный молодой врач, который ими занимался, сделал предложение.

— Моя машина стоит на стоянке для персонала, — сказал врач. — Там журналистов не будет. Я вас довезу до того места, где будет ждать ваш знакомый.

— Это невероятно мило с вашей стороны, — отозвался он. — Вы точно готовы это сделать?

— Да вы смеетесь! — сказал доктор Джонсон. — Это, наверно, самое захватывающее, что произошло в Милтоне за всю историю.

Дом Родни стоял на маленьком мысу у почти безлюдного пляжа, вокруг — эвкалиптовый лес, все было именно так, как обещал Родни: уединенность, идиллия. Их приняли с огромным радушием, о них заботились, их кормили, поили; они читали книги вслух, гуляли, спали, и мало-помалу потрясение от аварии сошло на нет. В день Рождества они утром купались в Тасмановом море, потом ели праздничный обед на лужайке. Он сидел молча, не отрывая глаз от Элизабет и Зафара, и думал: *Мы здесь. Надо же. Мы живы.*

VIII. Мистер Утро и мистер День

Тема изменится, непременно изменится, говорил он себе множество раз. *Мы живем в ускоряющееся время, сейчас одна тема сменяет другую быстрей, чем когда-либо.* Но прошло семь лет его жизни, семь лет на пятом десятке, в лучшие годы мужской зрелости, семь мальчишеских лет его сына, которых уже не вернуть, — а тема так и не изменилась. Ему некуда было деваться от мысли, что это, возможно, не просто этап его жизни, что такой может оказаться вся его оставшаяся жизнь. С этой мыслью трудно было свыкнуться.

Напряжение сказывалось на всех. Секретность тяготила Зафара — *даже друга не могу домой пригласить,* — и он плохо успевал в школе. Кларисса делала себе имя в Совете по искусству, становилась одним из самых популярных, всеми любимых его сотрудников, своего рода святой покровительницей маленьких журналов по всей стране, и он радовался, видя, что она находит себе место в мире; но ее денежные требования омрачили их отношения. Они не сделались враждебными, но перестали быть дружественными, и это печалило, угнетало. Элизабет все никак не могла забеременеть, и из-за этого ее настроение часто портилось. Она побывала у гинеколога, и выяснилось, что есть внутренние причины, затрудняющие зачатие. Помимо этой проблемы была еще и хромосомная транслокация, а в случае беременности и рождения ребенка неизбежны были проблемы с безопасностью. О них она не хотела думать.

Начался новый год. Позвонила Кэролайн Мичел: в Великобритании уже продано почти двести тысяч экземпляров «Прощального вздоха Мавра» в твердом переплете. В Индии, однако, возникли затруднения. В Бомбее партия «Шив сена», выведенная в романе под названием «Ось Мумбаи», была недовольна тем, как она изображена. А кое-кому не показалось забавным, что у одного из героев книги имелось чучело пса на колесиках по кличке Джавахарлал — по имени первого премьер-министра страны. Шестидесятивосьмилетняя урдуязычная писательница Куррат уль-Айн Хайдар, автор знаменитого романа о разделе страны «Ааг ка дарья» («Огненная река»), заявила, что этот опыт литературной таксидермии показывает: автор «прощению не подлежит». Итогом «обмена мнениями» стало то, что индийское правительство, приверженное, как всегда, свободе выражения мнений, под каким-то липовым предлогом задержало книгу на таможне. Он позвонил своему индийскому адвокату Виджаю Шанкардассу, человеку с тихим голосом, но с

незыблемыми принципами, одному из самых квалифицированных юристов Индии, и Виджай сказал: если удастся убедить индийские книготорговые организации выступить совместно с издательством «Рупа», получившим право на издание книги и Индии, можно будет быстро подать в суд, добиваясь «приказа противной стороне о предоставлении обоснования», и заставить правительство раскрыть свои карты. Глава «Рупы» Раджан Мехра поначалу колебался, опасаясь, что конфронтация с правительством отрицательно скажется на его бизнесе, но Виджай сумел укрепить его решимость, и в конце концов Мехра поступил как должно. Подали в суд, и правительство в тот же день пошло на попятный, подняло шлагбаум, «Прощальный вздох Мавра» был впущен в Индию и свободно продавался там без каких-либо проблем. На книжной ярмарке в Дели снятие запрета на роман было отмечено как грандиозное событие, как «великая победа», и он горячо поблагодарил Виджая. Но «Шайтанским аятам», как и их автору, путь в Индию был заказан.

Другое индийское затруднение было связано с его маленьким домом в Солане близ Симлы, в горной местности. Его дед со стороны отца Мохаммед Дин Халики Дехлави, которого он никогда не видел, давно еще купил для защиты от делийского летнего зноя этот шестикомнатный каменный домик на маленьком участке земли, но с великолепным видом на горы. Он оставил его своему единственному сыт Анису, а Анис Рушди перед смертью подарил дом *своему* единственному сыну. Правительство штата Химачал-Прадеш реквизировало дом по Закону об оставленном имуществе, позволявшему индийским властям забирать имущество у всех, кто переезжал на жительство в Пакистан. Но он не переезжал туда на жительство, поэтому дом был отобран незаконно. Это дело тоже вел для него Виджай Шанкардасс, но, хотя Виджаю удалось доказать, что Анис владел домом по праву, его собственное наследственное право еще не было подтверждено судом, и правительство штата прямиком заявило, что оно «не хочет у всех на виду идти навстречу Рушди».

Пройдет еще год, прежде чем люди Виджая в результате кропотливых поисков обнаружат припрятанный документ, который позволит выиграть дело, — документ, где высокопоставленный служащий из правительства штата дал ложные показания под присягой, заявив, будто ему известно, что Салман Рушди получил пакистанское гражданство. Но Салман Рушди никогда не имел никакого гражданства, кроме индийского и британского. Дача ложных показаний под присягой — серьезное преступление, которое в обязательном порядке наказывается тюрьмой, и, узнав, что Виджай Шанкардасс имеет в своем

распоряжении эту улику, власти Химачал-Прадеш вдруг сделались чрезвычайно покладисты. В апреле 1997 года дом снова перешел в его собственность, правительственный служащий, который там обосновался, освободил его в приличном состоянии, и Виджай принял ключи на хранение.

Из отзывов на «Прощальный вздох Мавра» ему больше всех понравились те, что исходили от его индийских друзей, которые, прочтя разрешенную теперь книгу, спрашивали его, как ему удалось ее написать, не бывая в Индии. «Ты что, проникал и страну? — недоумевали они. — Не иначе, ты тайком к нам пробрался и увидел, что здесь и как. А то откуда ты мог все это знать?» Это вызывало у него широкую довольную улыбку. Больше всего он опасался, что этот его роман об изгнаннике будет читаться как роман, написанный изгнанником, иностранцем, оторванным от индийской действительности. Он вспоминал о Нуруддине Фарахе, носящем, где бы он ни был, Сомали у себя в сердце, и испытывал гордость оттого, что сумел написать эту книгу, взяв за основу ту личную Индию, что всегда была с ним.

Некоторые из рецензий на роман были самыми лестными за всю его жизнь и подтверждали, что он нисколько не покалечен, хоть и был надолго выбит из седла. Он совершил маленькое, но дорогостоящее авторское турне по США. Пришлось нанять небольшой самолет. Американская полиция настаивала на мерах безопасности, поэтому подключили частную охранную фирму, которую возглавлял опытный человек по имени Джером Глейзбрук. Бóльшую часть расходов, проявив изрядную щедрость, покрыл Сонни Мехта, хотя свой вклад внесли и местные организации, и он сам. Сонни отправился в турне вместе с ним и закатил вечеринки на широкую ногу в Майами (где, казалось, все были авторами триллеров и где Карл Хайасен[213], когда он попросил его рассказать о Майами, сделал глубокий вдох и проговорил без остановки два часа, дав высокоскоростной мастер-класс на тему «политический мухлеж во Флориде») и в Сан-Франциско (где в числе гостей были Чеслав Милош, Робин Уильямс, Джерри Браун, Линда Ронстадт и Анджела Дэвмс). Готовилось все довольно-таки скрытно: гостям до последней минуты не раскрывали ни личность автора, ни место, где пройдет гулянка. Охранники обыскивали знаменитых обитателей Майами и Сан-Франциско — полагали, видимо, что кто-нибудь из них может позариться на награду, объявленную за его голову.

Они с Сонни даже выкроили время для уик-энда в Ки-Уэст, где к ним присоединилась Гита Мехта, — она выглядела хорошо и опять была собой: оживленная, словоохотливая. Он счел это

необычное и недешевое авторское турне молчаливым извинением Сонни за трудности, которые тот ему создал в связи с «Гаруном и Морем Историй», и был рад оставить старые обиды в прошлом. На следующий день после возвращения в Лондон он получил за «Прощальный вздох Мавра» Британскую книжную премию («Золотое перо») как «автор года». («Книгой года» назвали поваренную книгу Делии Смит, которая в благодарственной речи странным образом говорила о себе в третьем лице: «Спасибо вам за то, что присудили эту награду книге Делии Смит».) Когда его объявили лауреатом, зал встретил это громкими возгласами одобрения. *Я не должен забывать, что есть и такая Англия, которая на твоей стороне*, сказал он себе. Из-за продолжающихся личных нападок на него в газетах, которым он дал общее название «Дейли инсалт» («Ежедневное оскорбление»), забыть об этом ничего не стоило, но делать этого не следовало.

К совместной жизни с полицейскими на Бишопс-авеню снова привыкать после поездок было трудно. Они запирали двери на ночь, но никогда не отпирали их утром. Они с маниакальным упорством задергивали шторы, но никогда их не отдергивали. Стулья, на которые они садились, ломались под их тяжестью, паркет в прихожей потрескался под их увесистой обувью. Наступила седьмая годовщина фетвы. Ни одна британская газета не напечатала ни одного сочувственного или одобрительного слова. Это была старая скучная история, которая, казалось, ни к чему не вела; это не была новость. Он написал статью для «Таймс», где попытался доказать, что фетва, пусть она и остается в силе, потерпела поражение, не достигнув цели: ни книгу, ни ее автора затоптать не удалось. Но он думал об эпохе страха и самоцензуры, которой фетва положила начало, о том, что издательство Оксфордского университета отказалось включить в учебное пособие по английскому языку отрывок из «Детей полуночи» во избежание «щекотливой ситуации»; о том, что египетского писателя Алаа Хамеда (как и его издателя и типографа) приговорили к восьми годам тюрьмы за роман «Разрыв в людском сознании», который сочли несущим угрозу социальному миру и национальному единству; о том, что западные издатели открыто признавались, что избегают любых текстов, где можно увидеть критику в адрес ислама, — думал и не верил своей собственной статье. Да, он достиг кое-каких локальных успехов, но подлинная победа пока отнюдь не была одержана.

Он продолжал заводить с Элизабет разговоры об Америке. В Америке им не надо было бы жить в обществе четверых

полицейских, там не звучали бы в его адрес постоянные обвинения, что он обходится стране в огромные деньги, не имея перед ней никаких заслуг. В последние два лета они попробовали эту свободу на вкус; они могли бы иметь ее куда больше. Но стоило ему заговорить на эту тему, она сердито хмурилась и отказывалась ее обсуждать. Он начал понимать, что она боится свободы — по крайней мере, свободы в его обществе. Она чувствовала себя в безопасности только в пузыре охраны. Когда он побуждал ее выйти из него на время вместе с ним, она зачастую не хотела делать этот шаг. Впервые (и шокируя сам себя) он начал воображать себе жизнь без нее. Когда он поехал в Париж на презентацию французского издания «Прощального вздоха Мавра», отношения между ними оставались напряженными.

В Париже *les gentilhommes du RAID*[214] были в своем репертуаре. Перекрыли всю улицу перед отелем «Де л'аббе» близ церкви Сен-Сюльпис. Не разрешили ему появляться ни в каких общественных местах. «Если ему это не нравится, — сказали они его издателям, — не следовало приезжать». Но была и хорошая новость: роман продавался на ура, соперничая за первое место в списках бестселлеров с новой книгой Умберто Эко и с «Заклинателем лошадей» Николаса Эванса. Были, кроме того, встречи с политиками: с министром иностранных дел Эрве де Шареттом и с министром культуры Филиппом Дустом-Блази. У Бернара-Анри Леви он знакомился с патриархом кинематографа и «нового романа» Аленом Робом-Грийе, чьим романом «Ревность» и сценарием фильма «Прошлым летом в Мариенбаде» он восхищался до глубины души. Роб-Грийе намеревался в конце года снять фильм в Камбодже с Жаном-Луи Трентиньяном и с Ариэль Домбаль — женой Б.-А. Л. Трентиньян должен был сыграть летчика, который терпит аварию над камбоджийскими джунглями и затем в забытьи грезит об Ариэль, в то время как в деревушке посреди джунглей его врачует *un médecin assez sinistre*[215]. Роль лекаря, с энтузиазмом заявил Роб-Грийе, великолепно подходит вам, Салман. Две недели в Камбодже в декабре! Филипп Дуст-Блази все организует! (Дуст-Блази, присутствовавший на встрече, согласно кивал и заодно извинился излишества RAID: «Во время ваших последующих визитов мы ограничимся двумя охранниками».) Он спросил Роба-Грийе, нельзя ли взглянуть на сценарий, и Роб-Грийе нетерпеливо закивал: да, конечно, конечно, но вы непременно должны это сделать! Это будет просто чудо! Вы — вылитый лекарь!

Никакого сценария ему так и не прислали. Фильм так и не был снят.

И еще одно событие произошло в Париже. Однажды днем к нему в гости в отель «Де л'аббе» приехала Каролин Ланг, блестящая и красивая дочь Жака Ланга, и все вместе — ее красота, вино, трудности с Элизабет — подействовало на него, и они стали любовниками; но сразу же потом решили не повторять этого, остаться друзьями. После нескольких часов с ней ему надо было выступить по телевидению в прямом эфире в программе Бернара Пиво «Культурный бульон», и он почувствовал, что из-за внутреннего смятения, вызванного изменой, это выступление оказалось неудачным.

Сотрудничество между Эндрю Уайли и Гиллоном дошло до логического конца, и они решили расстаться. Эндрю был очень расстроен; он приехал к нему на Бишопс-авеню, в какой-то мере разгневанный, но главным образом опечаленный. «Мне стало ясно, — сказал Эндрю с грустью и в то же время возмущенно, — что Гиллон никогда не был моим партнером. Брайан Стоун — вот кто его партнер». Брайан был их коллега — агент, работавший с наследниками Агаты Кристи. «У входа в лондонское агентство, — с горечью заметил Эндрю, — до сих пор висит табличка: ЭЙТКЕН И СТОУН». Конфликт возник из-за денег, но, помимо них, было и расхождение во взглядах на бизнес. Эндрю вынашивал грандиозные экспансионистские планы; Гиллон был осторожен и неизменно благоразумен по финансовой части. Расстались не по-хорошему; развод, как большинство разводов, был уродлив. Эндрю, как обманутый любовник, испытывал презрение пополам с отчаянием.

Разрыв между агентами глубоко его огорчил. Все эти годы Гиллон и Эндрю были двумя столпами, на которые он опирался, и он доверял им безоговорочно. Ни тот ни другой ни на секунду не дрогнули перед лицом исламистской угрозы, и их пример заставил многих издателей вести себя храбрей, чем они могли бы. Он не мог представить себе существования ни без того, ни без другого, но теперь приходилось выбирать — впрочем, Гиллон, позвонив на следующий день, изящно облегчил ему выбор: «Совершенно ясно, мой милый, что ты должен сотрудничать с Эндрю. Вначале твоим агентом был он, только потом он привел тебя ко мне, так что, конечно, тебе надо с ним остаться, это будет абсолютно правильно».

Они через очень многое вместе прошли, очень много всего сделали. Их отношения по глубине, по сердечности далеко превосходили обычные отношения между авторами и агентами. Они стали близкими друзьями. И тем не менее ему предстояло теперь лишиться Гиллона. Он и вообразить себе не мог, что

когда-нибудь придет такой день, он всегда думал, что и Гиллон, и Эндрю вечно будут его агентами. «Ладно, — сказал он Гиллону, — спасибо тебе. Но что касается меня, ничего между нами не изменилось».

«Давай в ближайшее время вместе пообедаем», — отозвался Гиллон, и тема была закрыта.

Председательство в Евросоюзе перешло к Италии, и эта страна уговаривала все прочие государства ЕС согласиться на письмо, которое ЕС и Иран должны будут подписать совестно, — письмо, где будет признано, что фетва остается в силе навечно, — а Иран в обмен на это сделает краткое заявление, что обязуется не приводить фетву в исполнение. Фрэнсис Д'Соуса узнала из своих источников, что тройка министров иностранных дел ЕС намеревается поехать в Тегеран, чтобы обсудить проблему терроризма, и при этом отказывается даже поднимать вопрос о фетве, если этот текст не будет одобрен — в смысле, одобрен им, так сказала Фрэнсис. Британское правительство сопротивлялось, но было обеспокоено своей изоляцией. Он попросил Фрэнсис сообщить источникам, что он не для того боролся семь лет, чтобы теперь мириться с согласием Евросоюза признать правомочным экстратерриториальный призыв к убийству. Он ни за что не согласится на такой документ. «Пусть эти гребаные ловкачи идут в жопу», — сказал он. Он не станет поддерживать этот безнравственный, отвратительный шаг.

«Итальянское письмо» не было ни подписано, ни послано.

Он обсужил с Гейл Рибак из «Рэндом хаус» возможность передачи этому издательству прав на «Шайтанские аяты» в мягкой обложке. Она сказала, что Альберто Витале теперь, судя по всему, «настроен положительно», но что ей нужны определенные заверения по части безопасности. Он предложил Гейл и Кэролайн Мичел спросить всех европейских издателей «Аятов» в мягкой обложке на других языках и компанию «Сентрал букс», распространявшую в Великобритании книгу, выпущенную консорциумом, какие меры безопасности они принимают, если принимают вообще, и встретиться с Хелен Хэммингтон, Диком Вудом и Рэбом Конноли, чтобы услышать их мнение. *Пядь за пядью*, подумал он. Мы доберемся до цели — но как все это *мучительно долго!*

Элизабет узнала, что Кэрол Нибб, ее двоюродная сестра, растившая ее после смерти матери, страдает хроническим лимфолейкозом — тем же ХЛЛ, с которым боролся в Нью-Йорке Эдвард Саид. Новость потрясла Элизабет. Кэрол была для нее из

всех родственников самой близкой. Он тоже глубоко опечалился. Кэрол была милая, добрая женщина. «С этим раком можно бороться, — сказал он Элизабет. — Мы постараемся ей помочь. Ей надо обратиться к врачу Эдварда — к доктору Канти Раи на Лонг-Айленде».

Смерть без разбора стучалась в двери добрых и недобрых. Через две недели после того, как он узнал о болезни Кэрол, пришла новость о смерти человека, которого ему трудно было оплакивать. Злобному гному Калиму Сиддики не суждено было больше изрыгать угрозы. Он участвовал в конференции в Претории в Южной Африке, и там его убил сердечный приступ. Некоторое время назад, как выяснилось, ему сделали операцию по шунтированию на сердце, но он продолжал пустословить и бесноваться, хотя более умный человек постарался бы жить поспокойней. Так что он, можно сказать, сам выбрал такой конец. *И поделом*, подумал он, но от публичных комментариев воздержался.

Позвонил Майкл Фут — он был очень доволен. «Этого бога мусульманского — как там его кличут? Что-то имя вылетело из головы». Аллах, Майкл. «Да-да, Аллах, конечно, как я мог позабыть. Ну так он явно не на стороне нашего приятеля Сиддики, правда? Правда?» *Прошу покорно, доктор Сиддики, ваше время истекло.*

Элизабет поехала к Кэрол в Дербишир. Вернувшись, она рада была узнать, что Сиддики больше нет. И еще она прочла только что законченный им двадцатистраничный план нового романа «Земля под ее ногами», и он так ей понравился, что возникшая между ними трещина исчезла и была позабыта. Но на следующий день — мироздание не могло допустить, чтобы он долго был счастлив, — его отвезли в «Шпионский центр» чтобы сообщить поистине пугающую новость.

Вид большой, песочного цвета крепости у реки никогда не внушал ему успокоения, хоть ее и украшали неуместные тут рождественские елки; ни один из приездов сюда не добавил ему бодрости. Сегодня в безликой комнате для заседаний его встретили «день» и «утро»: мистер П. М. и мистер А. М.[216] — глава контртеррористической службы по Ближнему Востоку и начальник иранского сектора. Присутствовали — как говорится, «на правах слушателей» — Рэб Конноли и Дик Вуд.

— Службам безопасности стало известно, — начал А. М., — что Иран, под которым мы имеем в виду верховного лидера Хаменеи и министра разведки Фаллахиана, инициировал долгосрочный план, имеющий целью найти и убить вас. Они готовы потратить на это много времени и денег. Не исключено,

что план существует уже два года, но мы стали уверены в его существовании только в последние месяцы.

— Мы сочли своим долгом сообщить вам об этом, — сказал П. М. — Вот почему мы встречаемся с вами сегодня под нашими настоящими именами.

Выслушивая плохую новость из уст мистера Утро и мистера День, он напряженно ждал продолжения — ждал, что они скажут: враг установил, где вы живете. Но нет, не установил. Будь это так, сказал мистер Утро, положение было бы чрезвычайно серьезным. По меньшей мере это означало бы, что ему до конца дней потребуется полицейская защита.

Он поделился своими опасениями за Зафара, Элизабет, Самин и за мать, живущую в Карачи.

— Ничто не указывает на то, что они намерены напасть на кого-либо из ваших родных и друзей, — сказал мистер День. — Даже чтобы через них подобраться к вам. Вы, однако остаетесь мишенью номер один.

— Возможности отрицать свою причастность они придают особое значение, — сказал мистер Утро. — Их очень сильно критиковали за атаки последних лет. — *Шапур Бахтияр, убийства на острове Миконос*. — Вероятно, они хотели бы сделать все силами неиранцев.

— Но, — добавил мистер День, желая, видимо, его подбодрить, — об отправке оружия диппочтой, о засылке людей в страну речь пока не идет. До этой стадии еще месяцы, если не годы.

Именно этого он опасался больше всего: тщательно спланированной, долго готовящейся атаки в стиле убийства Бахтияра. Мистер Утро и мистер День не могли сказать, какое воздействие на подобный план способно оказать политическое соглашение с Ираном. Они полагали, что министр иностранных дел Ирана может и не знать о существовании плана.

— О нем осведомлена только очень маленькая группа людей в министерстве информации, — сообщил ему мистер Утро.

— Возможно, в министерстве даже есть люди, которые захотели бы воспрепятствовать такому плану, — сказал мистер День, — но Фаллахиан и Хаменеи, судя по всему, решительно настроены исполнить фетву, и Рафсанджани, вероятно, тоже в курсе.

В определенной мере утешало то, что иранцы не знали, где он живет, и то, что, по мнению мистера День и мистера Утро, угроза со стороны «сообщества в целом» сошла на нет.

— А мы со своей стороны, — заключил мистер Утро, блеснув из-под внешней учтивости суровой сталью, — сделаем все, чтобы

сорвать этот план. Надо опустить большой тяжелый кулак точнехонько в его середину. Надо сорвать его с такими политическими последствиями, чтобы впредь неповадно было замышлять подобные вещи.

Может быть, он так говорит просто для того, чтобы я не слишком унывал, подумал он, *но это действует. Мне приятно думать про этот кулак.*

Между тем в глазах общественности история о фетве уходила все дальше на задний план. Газеты о ней больше не писали, а его видели то там, то здесь: он посещал друзей, время от времени ел в ресторанах, ездил то в одну, то в другую страну на презентации новой книги. Большинству людей было очевидно, что особой опасности уже нет, и многие комментаторы склонялись к мысли, что его продолжают охранять только потому, что он на этом настаивает — настаивает не в силу необходимости, а чтобы потрафить своему колоссальному эгоизму. И в этот-то момент, когда ветер уносил последние обрывки общественного сочувствия, ему и сказали, что опасность сейчас выше, чем когда-либо, что угроза его жизни стала серьезней, нежели все, о чем было известно в прошлом. И он не мог даже заявить об этом. Мистер Утро и мистер День недвусмысленно предупредили его на этот счет.

Эндрю нашел ему дом на Лонг-Айленде, который можно было снять на два месяца на имя Элизабет, — дом, очень уединенно расположенный на дороге Литтл-Нойак-Пат среди холмов над Бриджгемптоном. Хорошо, сказал он Эндрю, давай мы его снимем. Он решил, что продолжит реализовывать свой план: будет шаг за шагом возвращать себе свободу. Решил вести себя так, словно не слышал сказанного в украшенной рождественскими елками крепости. Единственной альтернативой было снова сделаться узником, а на это он не мог согласиться. И потому: да, Эндрю, я готов. Мы приедем. Через несколько дней Рэб Конноли сказал ему: мистер Утро и мистер День теперь думают, что злоумышленники могут попытаться убить его во время заграничной поездки, поскольку сочли, что в Соединенном Королевстве он слишком хорошо защищен. А он собирается провести два месяца на Лонг-Айленде без всякой охраны и берет с собой Элизабет и Зафара! Он вновь почувствовал себя так, словно сидит за рулем «холдена», ударяется о грузовик с дерьмом и летит прямиком на дерево, а самые дорогие ему люди — здесь, в этой же машине. Он поговорил с Элизабет. Она хотела поехать, несмотря ни на что. Поэтому — к чертям, они поедут и тем самым докажут, что это возможно.

Он побывал в Барселоне и выступил там. Слетал в Америку и произнес речь при вручении дипломов в колледже Барда. Никто не покушался на его жизнь. А вот иранского политэмигранта Резу Мазлумана, который при шахе был министром образования, а потом тихо жил в парижском пригороде Кретее, нашли мертвым. Два выстрела в голову, один в грудь. Мир, ненадолго ставший светлее после выхода «Прощального вздоха Мавра», вновь потемнел. В воображении он по-прежнему пытался сочинить для своей собственной истории счастливый финал, но это не очень-то получалось. *Два выстрела в голову, один в грудь.* Тоже возможная концовка.

Элизабет по-прежнему не была беременна, и в их отношениях опять возникла напряженность. Если она не забеременеет в ближайшее время, надо, настаивала она, попробовать искусственное оплодотворение, хотя его хромосомная транслокация сильно уменьшала шансы на успех. А если она, так или иначе, забеременеет, весьма вероятно, что ее строго охранявшаяся анонимность будет утрачена и о доме 9 по Бишопс-авеню станет широко известно. Это превратит дом в вооруженный лагерь; и в любом случае — как им растить ребенка посреди того кошмара, в котором они вынуждены существовать? Что за жизнь у него будет? Но всем логическим доводам она противопоставляла свою неодолимую потребность в материнстве, а он — свою решимость вести с ней реальную жизнь, и поэтому они готовы были пытаться снова и снова, готовы были сделать все, что потребуется.

Виджай Шанкардасс сообщил из Индии обнадеживающую новость: Индер Гуджрал — министр иностранных дел в новом индийском правительстве — за то, чтобы позволить ему побывать в Индии, и министр внутренних дел с ним согласен. Так что не исключено было, что его долгое изгнание вскоре окончится.

Эндрю показывал издателям план «Земли под ее ногами» и получал обнадеживающие отзывы, но вопрос о долгосрочной публикации «Шайтанских аятов» в мягкой обложке все еще оставался открытым, и Эндрю хотел поставить условием любой сделки с англоязычным издательством, касающейся нового романа, то, что оно возьмет и «Аяты». Издания в мягкой обложке уже продавались во многих странах, а на английском по-прежнему можно было купить книгу, изданную консорциумом, но по существу это была публикация силами автора, и ее нельзя было рассматривать как долгосрочное решение. В Англии Гейл Рибак и британский филиал «Рэндом хаус» двигались к согласию

на переиздание «Аятов» в дешевом варианте с эмблемой «Винтидж», но в Америке глава «Рэндом хаус» Альберто Витале был настроен иначе. Решением, предложил Эндрю, может стать издательство «Хольцбринк», чей немецкий филиал «Киндлер» уже выпустил дешевое немецкое издание без всяких осложнений и чей американский филиал «Генри Холт», руководимый колоритным Михаэлем Науманном, судя по всему, был готов выпустить английское издание. Он сказал Эндрю, что в Великобритании хотел бы остаться с «Рэндом хаус», и Эндрю ответил, что пришел к тому же мнению, так что они «работали на одной волне».

Отступив в конце последнего ледникового периода с Лонг-Айленда, ледник оставил там конечную морену, сотворившую поросшие лесом холмы, среди которых они с Элизабет провели то лето. Приземистый, но просторный дом, выкрашенный белой краской, принадлежал Милтону и Патриции Гробоу — пожилой чете, с которой он поначалу не мог видеться, ибо его, по идее, не было на свете: Элизабет якобы приехала на лето одна, «чтобы писать и встречаться с друзьями». Позднее, когда супруги Гробоу поняли, что происходит, они были искренне рады, что предоставляют ему летнее убежище. Прекрасные люди, нравственные, либеральные, чья дочь работала в журнале «Нейшн», они были горды — так они сказали — тем, что смогли помочь. А он и до и после «разоблачения» был счастлив в этом месте, где им не угрожало ничего более опасного, чем болезнь Лайма. Они сообщили, где находятся, ближайшим друзьям, от людных мест в Бриджгемптоне, Саутгемптоне и прочих гемптонах держались подальше, гуляли на закате по морскому берегу, и он чувствовал, как всегда чувствовал в Америке, что его подлинное «я» мало-помалу возрождается. Он начал писать новый роман, и дом Гробоу, окруженный полями и лесами, оказался идеальным местом для работы. Медленно стала разворачиваться книга, которая — он начал это понимать — будет длинной. Элизабет увлеклась садоводством и проводила счастливые часы, ухаживая за садом Гробоу. Зафар отправился в Грецию со своей матерью, а потом приехал к ним, полюбил это место, и на время они сделались просто-напросто семьей, проводящей лето у моря. Они заходили в магазины, ели в ресторанах, и, если люди его и узнавали, они были достаточно сдержанны, чтобы его не беспокоить. Правда, однажды Эндрю и Кейми Уайли пригласили их ужинать в ресторан «Ник и Тони», и художник Эрик Фишл, остановившись по пути к выходу у их столика, чтобы поздороваться с Эндрю, повернулся к нему и спросил: «Не должно

ли нам всем быть страшно из-за того, что вы здесь?» Единственным ответом, какой ему пришел в голову, было: «Вам — нет, вы же все равно уходите». Он понимал, что Фишл не имел в виду ничего плохого, просто пошутил, но в те драгоценные месяцы, на которые он сумел вырваться из пузыря своей нереальной реальности, ему не хотелось слышать напоминаний о том, что пузырь по-прежнему существует, ждет его возвращения.

Они приехали обратно в Лондон в начале сентября, и вскоре выяснилось, что осуществилась заветная мечта Элизабет. Она забеременела. Его сразу начали одолевать страхи. Если выбрана лишь одна из его дефектных хромосом, зародыш не сформируется и очень скоро — вероятно, в конце следующего менструального цикла — произойдет выкидыш. Но она испытывала радостную уверенность, что все будет хорошо, и инстинкты ее не обманули. Раннего выкидыша не случилось, и вскоре они увидели ультразвуковое изображение своего живого, здорового ребенка.

— У нас будет сын, — сказал он.

— Да, — подтвердила она, — у нас будет сын.

Ощущение было такое, словно весь мир поет.

«Прощальному вздоху Мавра», наряду с романом австрийского писателя Кристофа Рансмайра «Болезнь Китахары», присудили литературную премию Евросоюза «Аристейон», но датское правительство заявило, что по соображениям безопасности он не сможет присутствовать на церемонии награждения в Копенгагене 14 ноября 1996 года. Якобы имелась «конкретная угроза» его жизни; однако люди из Особого отдела сказали ему, что ничего не знают о какой-либо подобной угрозе и что, существуй она, датчане были бы обязаны их о ней проинформировать. Так что это был всего-навсего предлог. Как обычно, первым, что он почувствовал, было унижение, но затем пришел гнев, и он решил, что на сей раз не стерпит. Он распространил заявление через «Статью 19»: «Возмутительно, что Копенгаген, нынешняя „культурная столица“ ЕС, отказывается позволить лауреату собственной литературной премии ЕС присутствовать на церемонии награждения. Это трусливое решение прямо противоположно тому, как надлежит поступать перед лицом таких угроз, как иранская фетва. Если мы не хотим, чтобы подобные угрозы повторялись, очень важно продемонстрировать их неэффективность». Датские политики из всех партий, включая правящую, раскритиковали решение правительства, и оно пошло на попятный. 13 ноября он полетел в Данию, и церемония награждения состоялась в новом музее современного искусства «Аркен», который был окружен

вооруженными полицейскими и походил на концлагерь — правда, все заключенные красовались в вечерних нарядах.

После церемонии его издатель Йоханнес Риис предложил ему и еще нескольким друзьям зайти выпить в один симпатичный копенгагенский бар, и, пока они там были, явилось «рождественское пиво». Мужчины в красных колпаках Санта-Клауса внесли ящики с традиционным зимним элем, и ему досталась одна из первых бутылок, как и один из красных колпаков, который он тут же надел. Кто-то сделал фотоснимок: человек, которого было якобы слишком опасно впускать в Данию, преспокойно сидит, как все, в обычном баре и попивает пиво, напялив праздничный головной убор. Из-за этой вызывающе беззаботной фотографии, которую наутро все газеты поместили на первых страницах, едва не рухнуло датское правительство. Премьер-министру Поулю Нюрупу Расмуссену пришлось публично извиниться за наложенный было запрет. Затем произошла его встреча с Расмуссеном, который поздравил его с этой маленькой победой.

— Я просто решил побороться, — сказал он смущенному премьеру.

— Да, — пристыженно подтвердил Расмуссен, — и у вас это очень хорошо получилось.

Но он хотел думать о другом. Вступая в год, когда ему должно было исполниться пятьдесят и предстояло во второй раз стать отцом, он чувствовал, что ему надоело воевать за места в самолетах и огорчаться из-за газетных инсинуаций, что ему до смерти надоели ночующие у него дома полицейские, лоббисты-политиканы, секретные мистеры Утро и мистеры День, говорящие об убийстве. В голове у него зародилась новая книга, в утробе Элизабет шевельнулась новая жизнь. Ради книги он читал Рильке, слушал Глюка, смотрел мутноватое видео великого бразильского фильма «Черный Орфей» и был счастлив, обнаружив в индуистской мифологии сюжет, обратный мифу об Орфее: бог любви Кама, убитый Шивой в припадке ярости, оживает благодаря мольбам его жены Рати. Эвридика спасает Орфея. Перед его мысленным взором медленно вращался треугольник, вершинами которого были искусство, любовь и смерть. Может ли искусство, питаемое любовью, пересилить смерть? Или любовь, вопреки искусству, неизбежно будет пожрана смертью? Или, может быть, искусство, созерцая любовь и смерть, способно возвыситься и над тем, и над другим? На уме у него были певцы и те, кто пишет для них слова: ведь в мифе об Орфее соединены музыка и поэзия. Но от повседневности нельзя было

отгородиться. Его постоянно тревожил вопрос: какую жизнь он может предложить мальчику, идущему к ним из пустоты небытия, вступающему в мир, где его встретит… что? Хелен Хэммингтон и ее войско, следящее за каждым его движением? Немыслимо. Но он должен был об этом размышлять. Воображение хотело воспарить, но к щиколоткам были прикованы свинцовые гири. *Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности*[217], сказал Гамлет, но ему не приходилось жить с людьми из Особого отдела. Будь ты, о принц датский, заключен в одну скорлупу ореха с четырьмя спящими полицейскими, тебе наверняка снились бы плохие сны.

В августе 1997 года независимой Индии должно было исполниться пятьдесят лет, и его попросили составить к этой дате антологию индийской литературы. Он попросил Элизабет ему помочь. Они могли делать это вместе, могли думать об этом вместе, отвлекаясь от мыслей о своих жизненных трудностях.

Он говорил с полицейскими о том, чтобы изменить порядок. Им с Элизабет нужна была комната для ребенка и, возможно, предстояло найти няню, готовую жить у них постоянно. Они больше не могли предоставлять спальное помещение четверым полицейским — да и много ли от них пользы, если они все спят? Это был редкий случай, когда Ярд оказался восприимчив к его соображениям. Решили, что спать у него полицейские перестанут. Будет дневная команда, и будет ночная бодрствующая смена из двух человек в «полицейской комнате», глядящих на экраны своих видеоустройств. Теперь, сказали ему, он сможет наконец получить «постоянную группу», работающую с ним одним, а не составленную из участников других групп, откомандированных к нему временно, и это упростит ему жизнь. Новая система заработала с начала января 1997 года, и он заметил, что все охранники сделались мрачны и ворчливы. *Ну конечно,* понял он в момент просветления, *они же лишились сверхурочных.*

Одним из больших преимуществ, которые получали участники «тайных охранных операций» вроде операции «Малахит», жившие с «клиентом» круглые сутки, были огромные сверхурочные. Члены обычных групп, работавших открыто, отправлялись вечером по домам, и ночью жилище «клиента» охраняли полицейские в форме. Теперь парни внезапно лишились платы за ночную переработку. Неудивительно, что они были, *честно сказать, Джо, маленько злы,* и неудивительно, что большие шишки из Ярда так быстро согласились на его предложение. Он сэкономил им кучу денег.

Но в первый же уик-энд он обнаружил, что «дополнительные удобства, которые дает постоянная группа», — фикция. Иэн

Макьюэн пригласил его к себе в Оксфорд, но Дик Старк, заместитель Хэммингтон, постоянно раздражавший его своим самодовольством, сухо проинформировал его, что свободных шоферов нет, так что ему весь уик-энд придется оставаться дома. Имел место «дефицит персонала» — хотя, «разумеется», если Элизабет понадобится в больницу, они найдут возможность ее отвезти. Отныне «всегда по выходным будет труднее». Если он захочет «передвигаться» в субботу или воскресенье, он должен будет сообщить не позднее вторника. Поездка в Оксфорд, сказали ему, — это «большой расход рабочего времени ради мало чего».

Он пытался спорить. У него дома в течение дня теперь дежурили трое полицейских, поэтому, если ему захочется совершить частную поездку — например, поужинать у друга, — им надо будет дополнительно выделить только одного шофера. Неужели это так трудно? Но Скотленд-Ярд, как обычно, особого желания пойти навстречу не проявлял. Ничего, впереди всеобщие выборы, думалось ему, и если победят лейбористы, на высоких постах будут люди, более дружественно к нему настроенные. Он должен получить от них гарантии, что ему помогут вести сносную жизнь. Он не согласится на тюремное заключение с прогулками по усмотрению полицейских.

Между тем у Элизабет секретность стала навязчивой идеей. Она не хотела, чтобы кто-либо за пределами их ближнего круга знакомых узнал о ее беременности до того, как она родит. А он уже не понимал, как хранить такие секреты. Он хотел получить возможность жить со своей семьей честно и открыто. Он даже заговорил с ней о браке, но, когда он упомянула о добрачном соглашении[218], разговор перешел в ссору. Он заговорил было о том, что им куда легче жилось бы в Америке, — и ссора разгорелась еще пуще. Они оба сходят с ума, подумал он. Душевнобольные под замком. Два любящих друг друга человека терпят крушение из-за тягот, которые взвалили на них полиция, правительство и Иран.

В «Ежедневном оскорблении» на женской страничке явилась публикация о немецком психологе, утверждавшем, что безобразные мужчины часто пользуются успехом у хорошеньких женщин, потому что они более внимательны. «Эта информация, возможно, была бы небесполезна в убежище Салмана Рушди», — предположила газета.

Он поговорил с Фрэнсис Д'Соуса о том, чтобы сколотить для защиты его дела группу симпатизирующих ему депутатов парламента, включая, возможно, даже двух-трех дружественных лордов — таких, как Ричард Роджерс. (Депутата, которого он мог бы публично назвать своим, у него не было, поскольку его

домашний адрес нельзя было раскрывать.) Она сочла эту идею здравой. Неделю спустя Марк Фишер, представитель Лейбористской партии по вопросам искусства, пригласил его в палату общин посидеть за рюмкой с Дереком Фатчеттом — заместителем Робина Кука, представителя лейбористов по иностранным делам и вероятного министра иностранных дел в будущем лейбористском правительстве. Фатчетт слушал его с растущим гневом. «Обещаю вам: когда мы придем к власти, решить этот вопрос будет одной из наших первостепенных задач», — сказал он. Марк пообещал уделять внимание всем сторонам этого дела. *Почему,* корил он себя, уходя, *я раньше не додумался до этой маленькой программы «Прими в семью депутата»?*

На ежегодную вечеринку подразделения «А» он отправился недовольный высшими чинами и уехал так рано, как только можно было уехать, не нарушая приличий. После этого ему *позволили* поужинать в ресторане с Кэролайн и Сьюзен Сонтаг. Он сказал Сьюзен, что у них с Элизабет будет ребенок, и она спросила, не собираются ли они пожениться. Э-мм, промычал он, у нас и так все прекрасно, множество людей в наши дни без этого обходятся. «Женись на ней, подлюга! — заорала Сьюзен. — Она — лучшее, что у тебя было и есть в жизни!» Кэролайн была с ней согласна: «Конечно! Чего ты ждешь?» Элизабет, похоже, очень интересовало, как он ответит на этот вопрос. Вернувшись домой, он постоял на кухне, прислонясь к плите «Ага», и с кривой усмешкой произнес: «Ну, раз так, нам и правда, пожалуй, лучше пожениться». Наутро Элизабет, едва он проснулся, спросила его: «Помнишь, что ты сказал вчера вечером?» Он обнаружил, что рад, как это ни поразительно. После катастрофы с Мэриан Уиггинс он думал, что больше не отважится вступить в брак. Но вот, как поется в песне, он снова идет вперед, рискуя отдаться любви[219].

Она не хотела выходить замуж до рождения ребенка, пока заметна была беременность. Поэтому решили, что поженятся, вероятно, летом в Америке. Несколькими неделями раньше им сделали своего рода рождественский подарок: *позволили* принять приглашение Ричарда Эйра в Национальный театр на его постановку мюзикла «Парни и куколки», и теперь Элизабет могла провести несколько месяцев в роли Аделаиды — «всем известной невесты». Едва он выговорил эту шутку, невеста простудилась[220].

Телевидение Би-би-си хотело снять на основе «Детей полуночи» пятисерийный фильм, но проект застопорился из-за трудностей со сценарием. Для Кена Тейлора, написавшего очень

хороший сценарий по «Жемчужине в короне» Пола Скотта, совсем непохожие на этот роман «Дети полуночи» оказались крепким орешком. Позвонил Алан Йентоб: «Если ты хочешь, чтобы фильм был снят, боюсь, тебе придется взяться за дело самому». Продюсер сериала Кевин Лоудер пообещал, что сам сообщит Кену Тейлору плохую новость, но не сделал этого, и Кен, естественно, рассердился, когда узнал со стороны. Так или иначе, новый сценарий был написан, и режиссер Тристрам Пауэлл сказал ему, что новый исполнительный директор Би-би-си-2 Марк Томпсон пришел от него в восторг и теперь «поддерживает проект на сто процентов». Это радовало. Но главные трудности с этим проектом были впереди, и исходили они не от Би-би-си.

Поговорить с ним приехал Рэб Конноли, настроенный примирительно. Он отрицал, что парламентарии-лейбористы оказывают на Скотленд-Ярд какое-либо давление, но похоже было, что это так. «Я думаю, мы можем обещать, что проблем с такими поездками, как та, к Макьюэну, больше не будет», — сказал Конноли.

На той неделе исполнялась очередная годовщина фетвы, и «сверхсекретная» информация, которую ему сообщили мистер Утро и мистер День, была во всех газетах. Вокруг него «усилены меры безопасности», писала «Гардиан», что было неправдой, — усилены, «поскольку МИ-5 стало известно о конкретной угрозе», что было правдой. Между тем Санеи с «Баунти» повысил вознаграждение еще на полмиллиона долларов. «Таймс» сделала эту новость главным сюжетом номера и в редакционной статье потребовала от британского правительства побудить ЕС вести новую, более жесткую линию в отношениях с Ираном. А он написал статью, которая широко публиковалась по всему миру, и дал, чтобы усилить ее эффект, интервью Си-эн-эн и Би-би-си. Если бы, заявил он, такой атаке подверглась какая-нибудь «важная персона» — Маргарет Тэтчер, Руперт Мердок, Джеффри Арчер, — мировое сообщество не сидело бы восемь лет сложа руки, не мямлило бы так бессильно. То, что проблема до сих пор не решена, отражает, таким образом, широко распространенную убежденность, что есть жизни менее ценные — к примеру, жизни писателей, сочиняющих острые романы, — а есть более ценные.

Но еще сильней, чем Иран, его беспокоил Зафар. Он сдал экзамен по автовождению, и ему купили маленькую машину, но купили, похоже, рановато. Восторг, вызванный машиной, дал толчок необузданному поведению. У него была девушка — ее звали Иви Долтон, — и Зафар решил прогулять школу. Ушел из дому рано, сказав, что весь класс должен явиться на

дополнительные занятия по английскому, — как складно он научился лгать! Это были косвенные последствия фетвы, которые могли стать невыносимыми, окажись они долгосрочными. Его девушка позвонила в школу, назвалась Клариссой и сказала, что Зафар придет на занятия позже, потому что ему надо к врачу. Из школы, почуяв неладное, позвонили для проверки Клариссе, и ложь была раскрыта. Кларисса поговорила с Мехрой, матерью Иви, и эта милая женщина индийского происхождения конечно же была шокирована.

Зафар приехал в школу к обеденному перерыву, и ему здорово досталось. Родители заставили его сидеть дома и запретили пользоваться машиной. То, что он посмел просто так взять и исчезнуть, зная, в какую панику это может ввергнуть отца, показывало, как далеко он зашел в своем сумасбродстве. Он всегда был добрым и внимательным мальчиком. Но тинейджер есть тинейджер…

Он поужинал с Зафаром в ресторане — только они двое, с глазу на глаз, — и это помогло. Он понял, как важно делать это регулярно, и отругал себя за то, что не видел этого раньше. Зафар сказал, что его беспокоит судьба будущего брата. *Ты уже немолодой, папа, и, когда он подрастет, у него будет очень странная жизнь, как у меня.* Он очень хотел привести свою Иви в дом на Бишопс-авеню. Но прошло две недели — и она разбила ему сердце. Девушка, к которой он чувствовал особую близость еще и потому, что она тоже была наполовину индианка, бросила его ради его лучшего друга Тома. «Но я ни на кого не могу долго сердиться, самое большее — несколько часов», — сказал он, и это было трогательно. Он хотел остаться друзьями и с ней, и с ним (и это у него подучилось: он сохранил близкую дружбу с обоими). Но ситуация мучила его и серьезно повлияла на его учебу. Ему надо было собраться. До выпускных экзаменов оставалось совсем немного времени.

Через две недели Зафару опять разрешили ездить на своей машине, и почти сразу же он попал в аварию. Он позвонил четверть десятого утра; авария случилась на Уиннингтон-роуд, совсем рядом с Бишопс-авеню, но его отцу-арестанту не было *позволено* поступить так, как поступил бы любой отец, — броситься на место происшествия, чтобы убедиться, что с сыном все в порядке. Ему пришлось остаться в своей тюрьме — сидеть и тревожиться, а к Зафару отправилась Элизабет. Парню повезло: расквашенный нос и рассеченная губа, но обошлось без переломов и без хлыстовой травмы позвоночника. Случилось все по его вине. Он попытался обогнать машину, которая показала, что будет поворачивать направо, и сначала ударил эту машину, а

потом повредил невысокий садовый забор. Полицейские, приехавшие на место, сказали Зафару, что он мог и убить кого-нибудь и что за опасную езду он может попасть под суд (без этого в итоге обошлось). Тем временем в доме на Бишопс-авеню охранники говорили его отцу — видимо, с целью утешить: «Ну еще бы, он слишком быстро ездил, рано или поздно это должно было произойти».

Он позвонил Клариссе, а она позвонила в школу. Потом он позвонил потрясенному Зафару и постарался поддержать его по телефону, сказал все обычные слова о том, что это будет полезным уроком, что он станет в результате более аккуратным водителем, и так далее. «Когда я доберусь до школы, там уже все, наверно, будут знать, — мрачно проговорил Зафар. — Несколько парней проехали мимо и видели меня». В тот уик-энд он был тише воды ниже травы и написал покаянное письмо хозяйке забора, который он своротил и за ремонт которого придется платить его папе.

Пришли результаты важных пробных экзаменационных работ Зафара, и они оказались очень плохими. Две оценки C, а по английскому — D. Придя в ярость, он сказал Зафару: «Если не примешь меры прямо сейчас — ты не идешь ни в какой университет. Ты отправляешься на свалку».

Индийская антология была составлена. Он написал предисловие, совершенно неполиткорректное, с которым, он знал, в Индии будут спорить: самое интересное, утверждал он, что пишется сейчас индийскими авторами, пишется по-английски. Некоторое время назад он провел вечер с Анитой и Киран Десаи[221] и спросил их мнение на этот счет. Они сказали, что искали современный текст на хинди для перевода на английский и не нашли ничего стоящего. Другие, кого он спрашивал, говорили, что, конечно, есть кое-какие имена — Нирмал Верма, Махасвета Деви, на юге, вероятно, О. В. Виджаян и Ананта Мурти, но в целом сейчас литература на индийских национальных языках переживает не очень урожайное время. Так что, скорее всего, его утверждение было справедливо или, по крайней мере, достойно рассмотрения, но он подозревал, что оно даст повод для резких падок; так оно и вышло.

Через два дня после того, как они с Элизабет сдали антологию, полицейские едва не совершили убийство.

Он работал у себя в кабинете над «Землей под ее ногами» и вдруг услышал оглушительный грохот. Сбежав вниз, он увидел всю охранную команду в прихожей; вид у парней был

потрясенный и, надо сказать, виноватый. Один из самых симпатичных в нынешнем составе охраны — седоватый, с хорошо подвешенным языком, долговязый Майк Меррил — случайно выстрелил из своего пистолета. Он чистил оружие и не заметил, что в обойме есть патрон. Пуля пролетела через «полицейскую комнату», пробила закрытую дверь, миновали прихожую и изрядно попортила ее дальнюю стену. По чистейшей случайности на ее пути никого не оказалось. Одобренная Особым отделом уборщица Берил (которая, как он обнаружил, была вдобавок возлюбленной Дика Старка — женатого человека, разумеется) в тот день не работала. Элизабет вышла из дому, Зафар был в школе. Так что все остались невредимы. Но инцидент произвел на него впечатление. Что, если кто-нибудь — Элизабет, Зафар — шел бы мимо? Через несколько месяцев в доме появится новорожденный — а тут летают пули. Сюда приходят в гости его друзья. Это могло произойти в любой момент.

— Огнестрельному оружию, — произнес он во всеуслышание, — не место в моем доме.

Майк был очень расстроен и извинялся без устали. Его исключили из команды, и больше он не появлялся, о чем оставалось только пожалеть. Марк Эдвардс, тоже из числа новых охранников, попытался его успокоить:

— В будущем чистка и проверка будут происходить у дальней стены дома, ни в коем случае не у внутренней двери. То, что делалось, было нарушением правил.

Понятно, сказал он, значит, в следующий раз будет дырка во внешней стене и, может быть, труп у соседей? Нет уж, благодарю покорно. Он был настолько доверчив, что и думать не мог о возможности такой ошибки, но теперь, когда это случилось, его доверие нелегко будет вернуть.

— Усвойте простую вещь, — сказал он. — Вооруженных людей у меня дома больше быть не должно.

В Скотленд-Ярде его дело теперь курировал новый крупный начальник — детектив-суперинтендант Фрэнк Армстронг (который впоследствии станет личным охранником Тони Блэра, а затем исполняющим обязанности помощника комиссара, «ответственным за весь круг операций», те есть, по сути дела, возглавит лондонскую полицию). Встреча с Армстронгом по плану должна была произойти через месяц.

— Я не могу ждать так долго, — объявил он пристыженной охране. — Хочу встретиться с ним немедленно.

Он получил Рэба Конноли, который приехал к нему домой, чтобы подготовить официальный рапорт. Он сказал Рэбу, что не хочет жаловаться ни на Майка, ни на кого-либо другого, но

событие влечет за собой категорическое требование с его стороны. Огнестрельное оружие надо убрать из его дома, и безотлагательно. Рэб завел обычную шарманку насчет того, что́ случится, если его местожительство станет известно: «очень масштабная операция силами полиции в форме», закрытая для транспорта улица и прекращение личной охраны, «потому что не найдется охотников». Потом Рэб сказал: «Если бы с самого начала операцию возглавляли другие люди и приняли верные решения, вам вообще не надо было бы скрываться и вы сейчас были бы совсем в иной ситуации». М-да, утешил. Так полиция разговаривала с ним постоянно. Если он хочет этого, ему не будет того. Если он хочет того, они упрутся насчет этого. И кстати, если бы к делу сразу подошли правильно, то сейчас все было бы нормально, но, поскольку сейчас все ненормально, правильно сделать уже ничего не удастся.

Он был шокирован. Выстрел из пистолета у него дома! Скоро должна вернуться Элизабет. Надо успокоиться до ее прихода, чтобы поговорить с ней об этом так, как нужно. Если они оба будут в истерике, делу это не поможет. Ему необходимо взять себя в руки.

Фрэнк Армстронг, человек с густыми бровями и бодрой профессиональной улыбкой, этакий крепыш, привыкший командовать, приехал с Рэбом и Диком Старком.

Армстронг был кое-чем обеспокоен. Друг мистера Антона Ронни Харвуд, старый приятель министра внутренних дел Майкла Хауарда, попросил министра о встрече, чтобы поговорить об охране Рушди. «С чем это связано?» — хотел знать Фрэнк Армстронг. «Могу предположить, это связано с тем, что надо дать мне возможность жить, мало-мальски сохраняя достоинство, — ответил он. — И с тем, что у нас должна быть стратегия на случай, если об этом доме станет известно. Это должно быть не только техническое, но и политическое решение. Я хочу, чтобы все сосредоточились на этом вопросе и продумали его. Я говорил это руководству Лейбористской партии, а теперь Ронни намерен сказать это Майклу Хауарду».

Политика была всюду и везде. Увидев, что у мистера Антона есть кое-какой политический «вес», Армстронг проявил готовность к сотрудничеству, его тон даже стал почтительным. Отдел, сказал он, с пониманием относится к его требованию удалить из дома вооруженный персонал. И у него, Армстронга, есть предложение. *Если бы вы согласились нанять уходящего на пенсию охранника или шофера из отдела, может быть даже одного из тех, кого вы уже знаете, то мы, возможно, ушли бы из вашего*

дома, позволили бы этому человеку охранять вас при всех ваших личных передвижениях и предоставляли бы вам свою охрану, только когда вы будете появляться в общественных местах.

Да! — подумал он мгновенно. *Сделайте так, будьте добры.* «Хорошо, — сказал Армстронг. — Мы проработаем этот вариант».

Он поговорил с Фрэнком Бишопом — с Фрэнком Шептуном, добродушным любителем крикета, с которым из всех охранников у него и Элизабет завязались самые тесные отношения. Фрэнк вот-вот должен был выйти на пенсию и вполне подходил для этой новой работы. Конь Деннис, который тоже почти уже достиг пенсионного возраста, мог бы подменять Фрэнка, если он заболеет или у него будет выходной. «Мне надо будет, конечно, обсудить это с женой», — сказал Фрэнк, и это было вполне резонно.

У Фрэнсис Д'Соуса был «приятель в МИ-6», и он сказал ей, что сотрудникам разведки хорошо известно о беременности Элизабет и они понимают: это дает им «три года максимум, чтобы решить проблему». Мысль, что их будущий младенец определяет политику, заставила его улыбнуться. Люди из МИ-6, сказал Фрэнсис ее приятель, предоставили Форин-офису данные о размахе иранского терроризма — «в десять раз активней, чем кто-либо другой: чем саудовцы, чем нигерийцы, чем любая страна», — и в результате британское правительство теперь согласно, что нет смысла быть добрыми по отношению к Ирану, что «критический диалог» — чушь собачья, что все инвестиции в эту страну и всю торговлю с ней надо прекратить. Камнями преткновения были Франция и Германия, но в МИ-6 полагали, что новая «жесткая линия» способна «года за два поставить мулл на колени». *Когда увижу, тогда поверю,* подумал он.

И постоянно где-то рядом — взмахи крыльев огромной черной птицы, ангела-губителя. Позвонил Эндрю: у Аллена Гинзберга неоперабельный рак печени, ему осталось жить всего месяц. Потом — еще более тяжелая новость. Позвонила Найджела. У Джона Дайамонда рак горла. Врачи старались внушить оптимизм: это «излечимая вещь, вроде рака кожи, только внутри», лучевая терапия должна помочь. Семь лет назад от такого же рака успешно вылечили Шона Коннери. «Сплошная незащищенность», — печально проговорила Найджела.

Незащищенность. С ней он был очень хорошо знаком.

Исабель Фонсека предложила Элизабет устроить свадьбу в Истгемптоне в красивом саду ее матери, за которым начиналось яркое поле, поросшее розовой сиренью, пурпурными и белыми

космеями, и это звучало очень заманчиво. Но через несколько дней Элизабет сделала то, что люди частенько делают, — заглянула, когда его не было дома, в его дневник и прочла про тот день в Париже с Каролин Ланг, после чего у них был тяжелый разговор, какие бывают в таких случаях, и Элизабет чувствовала себя несчастной, испытывала *незащищенность* — по его вине.

Два дня они говорили, и мало-помалу, с рецидивами, она обрела способность отодвинуть это в сторону.

— Когда-то я чувствовала себя с тобой так уверенно, — сказала она. — Мне казалось, ничто не может между нами вклиниться.

В другой момент:

— Я не хочу больше никаких осложнений в наших отношениях. Если что-нибудь еще будет, мне кажется, это убьет меня.

Еще позже:

— Мне по-настоящему теперь важно, чтобы мы поженились, потому что тогда получится, что ты мне не изменял.

— В смысле, в браке?

— Да.

Ей снилась его измена, а ему приснилось, что он встретил Мэриан в магазине органических продуктов и спросил ее, когда она вернет его вещи.

— Я никогда их тебе не отдам, — ответила она и ушла, катя свою тележку.

Потрясение, боль, плач, гнев шли волнами, то охватывали ее, то утихали. До родов оставался всего месяц. И она решила: будущее важнее, чем прошлое. И простила его — по крайней мере согласилась забыть.

— Как, ты говоришь, твоя мама называла то, что помогало ей уживаться с твоим отцом? Не память, а…

— Беспамять.

— Мне тоже она нужна.

Назначили всеобщие выборы, и, если не считать одного жульнического опроса, лейбористы опережали консерваторов на 20 %. После долгой унылой эпохи тори запахло обновлением, чем-то волнующим. В последние дни перед победой Блэра Зафар начал сдавать выпускные экзамены, его родители держали пальцы скрещенными, а Рэб Конноли объявил, что переходит в охрану миссис Тэтчер и его заменит Пол Топпер. Топпер производил хорошее впечатление: сообразительный, приятный, энергичный и чуть менее раздражительный, чем Рэб. Между тем Евросоюз предлагал снова направить в Иран послов, даже не озаботившись

тем, чтобы получить хоть какие-нибудь заверения по поводу фетвы. Иран, все более циничный и умелый игрок, ответил тем, что *не* направил в эти страны своих послов и «временно» запретил немецкому посланнику въезд — просто потому, что руководству страны так захотелось. А он, отвлекшись от политики, отправился на Би-би-си на первую — и прошедшую очень успешно — читку его сценария по «Детям полуночи».

Журналисты пытались что-нибудь разнюхать про ребенка — многие были уверены, что он уже родился. Мартину Эмису позвонили из «Ивнинг стандард»: «Вы уже там были? Вы его видели?» Ему казалось нелепым, что его просят хранить это в секрете, но в данном случае Элизабет была согласна с полицией. Между тем вырисовывалось имя. Милан — как у Кундеры, да, но, кроме того, от индийского глагола *милана*, что означает смешивать, соединять, сочетать; итак, *Милан*, в котором сошлись, слились воедино разные начала. Не самое неподходящее имя для сына англичанки и индийца.

А потом настал день выборов, и об их ребенке никто уже не думал. Он сидел дома и не мог голосовать, потому что по-прежнему нельзя было зарегистрироваться, не указывая домашнего адреса. В газетах писали, что есть особая процедура, по которой бюллетень может получить даже бездомный; но для него особой процедуры не существовало. Он отодвинул эти горькие мысли в сторону и отправился к друзьям на вечеринки по случаю выборов. Его опять пригласили Мелвин Брэгг и Майкл Фут, но на сей раз обошлось без ужасного разочарования. Другую вечеринку устроили Хелена Кеннеди и ее муж хирург Иэн Хатчисон. Объявили результаты: грандиозная победа «новых лейбористов» под руководством Блэра. Радости не было конца. На вечеринках рассказывали, что незнакомые люди делятся ею в метро — и это в Англии! — что таксисты принимаются петь. *Вновь небеса чисты над нами*[222]. Возрождался оптимизм, возрождалось ощущение безграничных возможностей. Теперь открыт путь для столь необходимой реформы социального обеспечения, теперь будут выделены пять миллиардов фунтов на новое муниципальное жилье взамен жилого фонда, распроданного в частные руки за годы правления Тэтчер, теперь Европейская конвенция о защите прав человека будет наконец включена в британское законодательство. За несколько месяцев до выборов на художественной выставке, где вручались премии, он призвал Блэра, который, по слухам, не интересовался искусством и, по его собственным словам, читал только книги по экономике и биографии политиков, признать значение искусства для британского общества, понять, что искусство — это

«воображение нации». Блэр, присутствовавший на церемонии, ответил, что задача «новых лейбористов» — воспламенить нацию силой *своего* воображения, и в тот вечер после выборов, озаренный сиянием победы, легко было закрыть глаза на уклончивость этого ответа. Тот вечер был праздничным. Реальность могла подождать до утра. Годы спустя, вечером после избрания Барака Обамы президентом Соединенных Штатов, он испытывал те же чувства.

Через два дня наступил трехтысячный день после фетвы. Элизабет выглядела необыкновенно красивой, до родов оставалось совсем немного. Кто-то залез в машину Клариссы и забрал сумку со всеми кредитными картами, а заодно солнечные очки Зафара, которые, видимо, приглянулись вору. Вечером они отправились на вечеринку, которую по случаю победы устроила для Тони Блэра газета «Обсервер» в называемой Крипте кровоточащего сердца, — на вечеринку, которую колумнист газеты Уилл Хаттон назвал «актом рукоположения». На ней новая блэровская элита — Гордон Браун, Питер Мандельсон, Маргарет Беккет, обе Тессы (Блыкстоун и Джауэлл) — радушно встретила его и приняла как друга. Были там и Ричард и Рути Роджерс, Нил и Глинис Киннок. Нил притянул его к себе и прошептал на ухо: «Теперь мы заставим сволочей это сделать». Да, конечно! «Его» сторона снова у власти. Как любила говорить Маргарет Тэтчер: *Радуйтесь*.

По пути на победную вечеринку Дик Старк дал ему письмо от Фрэнка Армстронга, где тот просил его «пересмотреть» все свои планы. Армстронг не хотел, чтобы существование новорожденного было признано публично, он считал, что свадьбу устраивать не следует, он не хотел, чтобы имяЭ лизабет значилось на антологии, которую они составили вместе. То, что полицейский чин считал возможным писать ему такое, было постыдной стороной его жизни. Он ответил Армстронгу сдержанно. Полицейская стратегия, написал он, должна основываться на том, что по-человечески возможно и не унижает людей.

Он допустил ошибку, согласившись участвовать в «Вопросах и ответах с Ризом Ханом» на Си-эн-эн: вопросы были неизменно враждебными. Из Тегерана его в миллионный раз спросили, «понимал ли он, что делает»; мужчина из Швейцарии задал вопрос: «Оскорбив британцев, Тэтчер и королеву, как вы можете оставаться в Англии?» Позвонила женщина из Саудовской Аравии: «Никто не должен обращать на вас внимания, потому что мы все знаем, кто есть Бог», и она же раз за разом спрашивала: «Но чего вы добились своей книгой? Чего вы добились?» Он

старался отвечать на все вопросы легко, с юмором. Такова была его судьба — встречать враждебность улыбкой.

Позвонили ему домой. Женщина из «Дейли экспресс» сказала: «Я слышала, вас скоро можно будет поздравить, ваша подруга ждет ребенка». Из «Санди таймс» пришел факс: «Мы слыхали, что у Вас родился ребенок! Поздравляем! Примечательное событие! Разумеется, мы не назовем имен матери и ребенка из соображений безопасности, но а) как Вы намерены справляться с ролью родителя? б) усилятся ли теперь меры безопасности?» Желание Армстронга, чтобы рождение ребенка держали в тайне, было нелепым и ему не хотелось, чтобы Элизабет разводила вокруг этого секретность. К чертям, думал он, не надо ничего особенно скрывать, и будет меньше шума. Когда пресса чувствует, что от нее что-то прячут, ее аппетит растет. На следующий день появилась публикация в «Экспресс» на эту тему, где Элизабет не была названа по имени. Он подумал: и что в этом плохого? Он был рад, что это предано гласности, и статья была написана в очень приятном, доброжелательном тоне. Одним секретом меньше. *Вот и хорошо.* Но Элизабет рассердилась, напряжение между ними снова выросло. Они неверно истолковывали фразы друг друга, интонации друг друга, пререкались из-за мелочей. Один раз он проснулся в четыре утра и увидел, что она плачет. Она тревожилась о здоровы Кэрол. Боялась, что в газетах появится ее имя. Была огорчена его изменой. Ее беспокоило все на свете.

И тут, как по заказу, Хелен Хэммингтон все с той же старой песней. Если дом будет засвечен, сказала она, стоимость охраны утроится. «Но по окончательном рассмотрении, имея в виду, что это была ваша просьба, Джо, и исходя из того, что вы понимаете необратимость такого решения, мы готовы согласиться на ваше предложение отозвать группу охраны, и кандидатура Фрэнка Бишопа нами одобрена. Пусть он будет вашим охранником». По крайней мере эта часть была более или менее конструктивной. Но дальше пошло хуже. «Мы не хотим, чтобы на этой вашей антологии стояло имя Элизабет, — сказала она. — Это нас, честно говоря, ужасает. Может быть, еще не поздно это исправить? Убрать ее имя?» Если вам хочется публичного скандала, ответил он, таким способом вы его получите. «За ней могут проследить, — сказал Пол Топпер, новый человек в его охране. — Если бы мне сообщили, что Элизабет живет с вами, я нашел бы вас за одну-две недели, пользуясь услугами одного-двух помощников». Он старался оставаться спокойным. Указал им на то, что, когда его только начали охранять, у него была жена, чье имя все прекрасно знали, чья фотография была на первых

страницах всех газет, и тем не менее она свободно приходила в его разнообразные убежища и уходила оттуда, и полиция не видела в этом проблемы. А теперь с ним живет невеста, чье имя не так хорошо известно, чьи фотографии никогда не публиковались. Делать из ее существования проблему нет никакого резона.

После этого он еще много чего сказал. Он сказал: «Я прошу одного — чтобы этой британской семье позволили жить своей жизнью и растить своего ребенка». И он заявил: «Вы не можете требовать от людей, чтобы они перестали быть теми, кто они есть, и делать ту работу, какую делают. Вы не можете рассчитывать на то, что Элизабет уберет свое имя со своей работы, и вы должны примириться с тем, что наш ребенок родится на свет, будет расти, заводить друзей, учиться в школе; он имеет право на сносную жизнь».

«Все это, — сказала Хелен, — обсуждается в министерстве внутренних дел на очень высоких уровнях».

24 мая 1997 года Али Акбар Натек-Нури, «официальный кандидат» на президентских выборах в Иране, потерпел тяжелое поражение от «умеренного», «реформистского» кандидата Мохаммада Хатами. По Си-эн-эн показывали молодых иранских женщин, требующих права на свободную мысль и лучшего будущего для своих детей. Получат ли они это? А он? Решат ли наконец между собой проблему новые лидеры в Иране и Англии? Похоже было на то, что Хатами позиционирует себя как руководителя, подобного Горбачеву, берущегося за реформирование системы изнутри. Это вполне могло свестись к чему-то недостаточному, вроде «гласности» и «перестройки». Ему трудно было возлагать большие надежды на Хатами. Слишком много уже было ложных рассветов.

Во вторник 27 мая в четыре часа дня Элизабет отправилась к своему гинекологу мистеру Смиту. И как только она вернулась домой — примерно в четверть седьмого вечера, — начались очень частые схватки. Он тут же дал знать охранникам, схватил сумку, уже неделю с лишним как собранную и стоявшую наготове у них в спальне, и их отвезли в родильное отделение в крыле Линдо больницы Сент-Мэри в Паддингтоне, где поместили в пустую угловую палату 407, в которой, как им сказали, родила обоих детей принцесса Диана. События развивались быстро. Элизабет хотела обойтись без медикаментов, и, проявляя обычную свою силу воли, обошлась без них — правда, из-за болей временами капризничала, что было на нее не похоже. В затишьях между схватками приказывала ему массировать ей спину, но, едва они

начинались, не позволяла до себя дотрагиваться и требовала, чтобы он ушел с глаз долой. В какой-то момент комически воскликнула, обращаясь к акушерке Эйлин: «Меня тошнит от ваших духов, как я их ненавижу!» Милая безропотная Эйлин пошла мыться и переодеваться.

Он посмотрел на часы и вдруг подумал: *Он родится в полночь.* Но мальчик появился на свет на восемь минут раньше. Милан Лука Уэст Рушди родился за восемь минут до полуночи, вес — семь фунтов девять унций[223], с огромными ступнями и ладонями и с полноценной шевелюрой. Роды от начала до конца продлились всего пять с половиной часов. Этот мальчик хотел наружу, и вот он лежал снаружи, скользкий, на материнском животе, длинная сероватая пуповина свободно обвивалась вокруг его шеи и плеч. Его отец снял рубашку и прижал его к груди.

Добро пожаловать, Милан, сказал он сыну. *Вот он перед тобой, мир, со всеми его радостями и ужасами, он ждет тебя. Будь в нем. Удачи тебе. Ты — наша новая любовь.*

Элизабет позвонила Кэрол, он позвонил Зафару. На следующий день, в первый день жизни Милана, у младенца побывал брат и побывали «названые дядюшки»: Алан Йентоб (изменивший, чтобы приехать в больницу, свой рабочий график на Би-би-си) и Мартин Эмис, который пришел с Исабель, их дочерью Фернандой и своим сыном Джейкобом. День был солнечный.

Сотрудники Особого отдела тоже были взволнованны. «Это наш первый младенец», — сказали они. Никто из тех, кого они охраняли, не становился в это время родителем. Это было первое, в чем Милан оказался первым: он стал Ребенком подразделения «А».

Он помогал Биллу Бьюфорду работать над особым «индийским номером» журнала «Нью-Йоркер», и было решено сделать специальную групповую фотографию индийских писателей. И вот он оказался в студии в Излингтоне в обществе Викрама Сета, Викрама Чандры, Аниты Десаи, Киран Десаи, Арундати Рой, Ардашира Вакиля, Рохинтона Мистри, Амита Чаудхури, Амитава Гоша и Ромеша Гунесекеры. (Никто не мог толком объяснить, почему включили автора со Шри-Ланки — но что в этом было плохого? Ромеш — милый человек и хороший писатель.) Фотографировал Макс Вадукул, и делать это ему было нелегко. Как писал потом Билл, Вадукул «отчаянно пытался затолкать нестройную, непослушную в свою рамку. Результат очень показателен. В стопке фотоснимков мы видим вариации на тему пригашенной паники. В ком-то чувствуется смущение, в ком-

то — любопытство, в ком-то — дурашливость». Ему же компания запомнилась как довольно добродушное в целом сборище, хотя Рохинтон Мистри (мягко) и Арду Вакиль (пожестче) критиковали Амита Чаудхури за стереотипный взгляд на парсское сообщество, который Амит выразил в рецензии на одну из книг Рохинтона. Амит один из одиннадцати писателей не пошел потом на обед в ресторан «Гранита» на Аппер-стрит — в тот самый, где Блэр и Браун заключили свой легендарный пакт о лидерстве в Лейбористской партии. Амит сказал потом Биллу: «Я понял, что не вписываюсь в эту группу. Не моя компания». Годы спустя Арундати Рой в интервью Амитаве Кумару призналась, что это была и не ее компания. Вспоминая о том дне, сказала она Кумару, она «посмеивается»: «По-моему, все со всеми были чуточку на ножах. Тут приглушенный спор, там кто-то дуется или бормочет сквозь зубы. Вежливость — прохладная, напускная. Все были немножко не в своей тарелке… Так или иначе, я не думаю, что хоть кто-нибудь на этой фотографии искренне считал себя принадлежащим к одной „группе“ с остальными». Ему, однако, помнилось, что Арундати была настроена весьма дружелюбно и радовалась обществу, в котором оказалась. Может быть, он чего-то не увидел.

Через несколько дней после фотосессии он поехал на презентацию ее романа «Бог Мелочей», потому что получил удовольствие от встречи с автором и хотел помочь ей отпраздновать большой момент в ее жизни. На сей раз мисс Рой была в более колючем настроении. Тем утром в «Нью-Йоркере» появилась рецензия на ее роман, написанная Джоном Апдайком, — рецензия в целом положительная, ну, не десять из десяти, но, наверно, восемь с половиной. Так или иначе, отличная рецензия для первого романа, которую напечатал престижный журнал, а написал гигант американской литературы. «Вы ее видели? — спросил он ее. — Вам, думаю, очень приятно». Мисс Рой изящно пожала плечами. «Да, видела, — подтвердила она. — И что такого?» Это было неожиданно и по-своему впечатляюще. «Ну что вы, Арундати, вы слишком невозмутимы, — сказал он ей. — С вами настоящее чудо происходит. Ваш первый роман имеет грандиозный успех. Первый успех — ни с чем не сравнимая вещь. Насладитесь им как следует. Не будьте такой невозмутимой». Она посмотрела на него в упор. «А я вообще довольно невозмутимая», — сказала она и отвернулась.

После экспансивного вступительного слова ее издателя Стюарта Проффита она долго, сумрачно читала отрывок из романа, и Роберт Маккрам, очень успешно оправлявшийся от инсульта, прошептал ему: «Пять из десяти». В машине по дороге

домой Пол Топпер из службы охраны заметил: «После речи издателя я решил было купить книгу, но после чтения подумал, что, пожалуй, не куплю».

Элизабет вернулась из больницы с Миланом, и пришла Кэролайн Мичел — она принесла ей «второго ребенка»: готовый экземпляр «Антологии индийской литературы», изданной под брендом «Винтидж» (позднее в Америке книгу опубликовали под названием «Зеркала»). А вне пузыря охраны прокладывала себе путь новость о рождении Милана. Про это написала «Ивнинг стандард», назвав имя мальчика. Полицейские по-прежнему были очень озабочены тем, что в газеты может просочиться имя Элизабет, и усиленно старались это предотвратить. И пока что оно не просачивалось. Его снова привезли в шпионскую крепость, где мистер День и мистер Утро тоже были обеспокоены из-за Элизабет и Милана. Но «конкретная угроза», сказали они, отведена, планы злоумышленников «сорваны». Подробностей никаких. Он вспомнил про «большой тяжелый кулак», питая надежду, что этот кулак поработал как следует. Означает ли это, что ему уже не надо волноваться из-за планов убийства? «Этого мы вам не говорили», — заметил в ответ мистер День. «По-прежнему имеются серьезные причины для беспокойства», — подтвердил мистер Утро. *А нельзя ли узнать, что это за причины?* «Нет» — сказал мистер День. *Понятно. Нет — значит нет.* «Вот именно», — заметил мистер Утро. «Но конкретная угроза, о которой нам стало известно перед вашей поездкой в Данию, — сказал мистер День, — эта угроза нейтрализована». *Вы хотите сказать, что в Копенгагене* действительно *была конкретная угроза?* «Да», — подтвердил мистер День. *Тогда почему вы мне не сообщили?* «Защита источников, — объяснил мистер Утро. — Мы не могли допустить, чтобы вы говорили прессе, что знаете про это». Выбирая, кого защищать — его или источник, — спецслужбы предпочли источник.

Между тем клеветники из «Ежедневного оскорбления» готовили публикации о том, что после рождения Милана расходы страны на него возрастут (на самом деле они не возросли). Он ожидал заголовка РЕБЕНОК РУШДИ ДОРОГО ОБХОДИТСЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ. Но появился другой заголовок: РУШДИ ТРЕБУЕТ У БИ-БИ-СИ ВЫКУПА. Он якобы ставит под удар проект фильма по «Детям полуночи», предъявляя несусветные финансовые требования. Приведенные цифры превышали реальные более чем вдвое. Он поручил свои адвокатам подать иск, и несколько недель спустя боссы «Оскорбления» пошли на попятный и извинились на страницах газеты.

Они с Элизабет отправились в Марилебонское бюро записи актов гражданского состояния, и, едва дата рождения, имя и фамилия ребенка были зарегистрированы, Элизабет вдруг сорвалась, огорченная тем, что нет дефиса: не Уэст-Рушди, а просто Рушди. Не далее как накануне она сказала ему, что очень приятно будет говорить всем, что ее сына зовут Милан Рушди; поэтому ее срыв был для него совершенно неожиданным. Фамилию ребенка они обсуждали много раз и пришли к согласию, казалось ему, месяцы назад. Но теперь она сказала, что подавляла свои подлинные ощущения, потому что «тебе это не понравилось бы». И весь оставшийся день была сама не своя. Назавтра — в пятницу, тринадцатого числа — она все еще злилась, хандрила, обвиняла его. «Как успешно мы разрушаем великое счастье, которое нам даровано!» — написал он в дневнике. Он был потрясен и расстроен до глубины души. То, что такая рассудительная женщина испытала полный эмоциональный коллапс, означало одно: здесь куда больше, чем кажется. Эта Элизабет на грани истерики была не той, кого он знал семь лет. Вся неуверенность в будущем, весь страх, все тревоги, что она копила в себе, выплеснулись наружу. Отсутствующий дефис был просто-напросто макгаффином[224] — поводом, высвободившим подлинную, скрытую повесть о ее переживаниях.

У нее защемило нерв, и внезапно она почувствовала сильнейшую боль. Но, несмотря на все его уговоры, не хотела ехать к врачу, пока боль не довела ее до того, что она буквально не могла шевельнуться. Напряжение между ними было велико, воздух потрескивал, и он сказал — слишком резко:

— Ты всегда так себя ведешь, когда тебе больно. Всякому, кто хочет помочь, велишь заткнуться и не попадаться тебе на глаза.

В ответ она яростно закричала:

— Критикуешь то, как я рожала? Да как ты смеешь!

Нет, нет, нет, подумал он. *Нет, мы не должны так себя вести.* Именно в тот момент, когда им следовало быть ближе друг к другу, чем когда-либо, между ними возникла серьезная трещина.

В День отца он получил в подарок карточку: контур ладони восемнадцатилетнего Зафара, а внутри — контур ладони восемнадцатидневного Милана. Она стала для него одной из самых дорогих памяток. И после этого они с Элизабет помирились.

Зафару исполнилось восемнадцать. «Я горжусь этим юношей безоговорочно, — писал он в дневнике. — Мальчик вырос в прекрасного, честного, отважного молодого человека. Обаяние, присущее ему от рождения, доброта, мягкость, спокойствие — все

это при нем и нисколько не повреждено. Он наделен подлинным даром жизни. Рождение Милана он встретил живо, радушно и, кажется, с искренним интересом. И наши с ним отношения по-прежнему таковы, что он делится со мной интимными переживаниями, — у меня с моим отцом этого не было. Поступит ли он в университет? Его будущее — в его руках. Так или иначе, он знает, как знал всегда, что его горячо любят. Мой взрослый сын».

Именинник, приехав утром, получил от отца подарок — радио для автомобиля — и письмо, где говорилось, что отец гордится им, гордится его храбростью, красотой его поведения. Он прочел и растроганно сказал: «Это *очень* мило».

Он писал и говорил, спорил и боролся. Ничего не менялось. Хотя нет — правительство изменилось. Он встретился с Дереком Фатчеттом, который был теперь заместителем Робина Кука в Форин-офисе, и встреча прошла прекрасно: настроение сильно отличалось от того, что было в эпоху тори. «Мы нажмем как следует», — пообещал Фатчетт и сказал, что поможет добиться снятия запрета на поездки в Индию, поможет с «Бритиш эйруэйз» — словом, вообще поможет. Вдруг он почувствовал, что правительство на его стороне. Кто может сказать, какие перемены это вызовет? Новые иранские власти никаких подающих надежды звуков не издавали. Новый «умеренный» президент Хатами так поздравил его с днем рождения: «Салман Рушди скоро умрет».

Позвонила Лори Андерсон[225] с вопросом, нет ли у него текста о пожаре. Она организовывала вечер выступлений в пользу благотворительной организации «Дитя войны» для сбора денег на постройку детской больницы. У нее было поразительное видео с картинами пожара, и к нему нужны были слова. Он склеил воедино фрагменты о горящем Лондоне из «Шайтанских аятов». Лори уговорила Брайана Ино[226] записать несколько звуковых «петель», которые намеревалась по ходу его чтения микшировать с маленького пульта за кулисами. Репетировать что-либо было некогда, так что он просто вышел на сцену и начал читать, в то время как на экране позади него полыхал пожар, а Лори микшировала «ино-музыку», заставляя звук неожиданно вздыматься и опадать, и ему надо было катиться на этих волнах, подобно серферу или отчаянному скейтбордисту, его собственный голос взлетал и падал, достигая пределов возможного. За всю жизнь он редко получал такое удовольствие. Зафар пришел послушать его со своей девушкой Мелиссой, это был первый раз, когда сын присутствовал на его публичном чтении, и потом он сказал: «Ты пару раз запнулся, и ты слишком

много двигаешься — это отвлекает». Но в целом ему, кажется, понравилось.

Они ужинали у Антонии Фрейзер и Гарольда Пинтера, и Гарольд долго держал Милана на коленях. Наконец вернул его Элизабет со словами: «Скажите ему, когда он вырастет, что дяде Гарольду понравилось, как он ласкается».

У Зафара в школе выступал Роберт Эйлинг, глава «Бритиш эйруэйз», и Зафар спросил его, почему авиакомпания отказывается перевозить его отца, а потом несколько минут критиковал и ругал его. Впоследствии, когда «БЭ» наконец изменила свою политику, Эйлинг сказал, что вмешательство Зафара сильно на него подействовало. Не кто иной, как Зафар, смягчил сердце авиационного босса.

Лето в Америке! Как только Милан достаточно подрос, чтобы ему можно было лететь, они отправились за океан проводить свои ежегодные недели летней свободы… на сей раз на британском самолете, прямым рейсом, все втроем! Авиакомпания «Верджин Атлантик» согласилась доставить его в Соединенные Штаты напрямую. Никаких больше кружных маршрутов через Осло, Вену или Париж. Из тюремной стены выпал еще один кирпич.

Дом Гробоу принял их с распростертыми объятиями, вокруг были друзья — Мартин и Исабель жили в Истгемптоне, Иэн Макьюэн и Анналина Макафи[227] сняли дом в Саг-Харборе, из Нью-Йорка к ним приезжало много других приятных людей, — а у них был младенец и планировалась свадьба. Тут они получали ежегодную подпитку, дававшую силы жить остальной год. На деревьях щебетали птицы, в лесу гуляли олени, море было теплое, Милану было два месяца — невозможно милый, улыбчивый ребенок с проказливым лицом. Все было прекрасно — кроме одного. Через четыре для после приезда он узнал от Тристрама Пауэлла, что индийское правительство запретило Би-би-си снимать в Индии фильм по «Детям полуночи». «Это будет благоразумно — во избежание ложного представления, будто мы каким-либо образом поддержали автора», — гласило правительственное заявление. Оно впечаталось ему в сердце. «Продюсер Крис Холл едет на Шри-Ланку посмотреть, нельзя ли будет снимать там, — сказал Тристрам в своей мягкой манере. — У нас на Би-би-си все считают, что столько усилий было вложено в этот сценарий и он так хорош, что надо попытаться его спасти». Но он чувствовал себя оплеванным. Индия, великая любовь его жизни, велела ему катиться ко всем чертям, ибо она никоим

образом не желает его поддерживать. Роман «Дети полуночи», его любовное послание Индии, сочли недостойным того, чтобы по нему в этой стране снимали фильм. Тем летом он работал над «Землей под ее ногами» — романом о людях без чувства принадлежности, о людях, мечтающих об отъезде, а не о возвращении домой. Тогдашние переживания — этот ужас отторгнутости, отверженности — пригодились ему как топливо для новой книги.

Эта история попала в британскую прессу, но он не следил за ней. Его окружали друзья, он писал книгу, и совсем скоро ему предстояло жениться на той, кого он любил семь лет. К ним приехал погостить Билл Бьюфорд со своей подругой Мэри Джонсон из Теннесси, живой, веселой и напоминающей Бетти Буп[228], и на колоссальное барбекю, приготовленное Биллом, который стал подлинным мастером кулинарии, явились супруги Уайли и Мартин с Исабель. Он съездил с Элизабет в Саг-Харбор, и у них там было «предсвадебное свидание» в Американ-отеле. Режиссер-авангардист Роберт Уилсон пригласил его на репетиции своей новой постановки и хотел, чтобы он написал для нее текст. Он полчаса с лишним слушал, как Боб объясняет свой замысел, и потом вынужден был признать, что не понял ни слова из сказанного великим человеком. Приехал Роберт Маккрам и переночевал у них. Элизабет заказала свадебное угощение и напитки в безумно дорогой кулинарии под названием «Хлебы и рыбки»[229]. Они побывали в Истгемптоне и получили в мэрии разрешение на брак. Он купил себе новый костюм. Из Лондона позвонил Зафар и сообщил великую новость: его экзаменационные результаты позволяют ему поступить в Эксетерский университет! Радость и свадебные планы смягчили удар, который нанесла Индия.

Следом она, однако, нанесла второй. Билла Бьюфорда пригласили в Нью-Йорк на большой прием в индийском консульстве на Манхэттене, который должен был состояться 15 августа 1997 года — в пятидесятую годовщину независимости Индии. Билл сказал сотрудникам консульства, что близ Нью-Йорка находится мистер Рушди, но они отшатнулись как от гремучей змеи. Женщина, запинаясь, объясняла Биллу по телефону: «В свете всего, что происходит вокруг него… мы считаем… не в его интересах… очень большое событие… огромное внимание прессы… генеральный консул не может… не в наших интересах…» Итак, в день, когда Индии — и Салиму Синаю — исполнится пятьдесят, создатель Салима, подобно Золушке, на бал приглашен не будет. Он пообещал себе, что не позволит Официальной Индии разрушить его любовь к стране и к

живущим в ней людям. Даже если Официальная Индия никогда не позволит ему ступить на родную землю.

И вновь он нашел убежище в том хорошем, что было под рукой. Съездил на несколько дней в Нью-Йорк и купил Элизабет свадебный подарок в ювелирном магазине «Тиффани». Дал интервью по поводу антологии «Зеркала», послушал в зале «Роузленд», как Дэвид Берн[230] поет *Psycho Killer*. Поужинал с Полом Остером и Сири Хустведт. Пол, работавший тогда над фильмом «Лулу на мосту» как сценарист и режиссер, предложил ему сыграть злого следователя, который с пристрастием допрашивает Харви Кейтеля[231]. (Сначала — лекарь зловещего вида у Роб-Грийе, теперь — злой следователь; это что, уже амплуа?) Из Лондона к нему прилетел Зафар, и они вместе в неимоверную жару поехали в Бриджгемптон на маршрутке. Вернувшись на Литтл-Нойак-Пат, он застал Элизабет в подозрительном, недоверчивом настроении. Чем он занимался в Нью-Йорке? С кем виделся? Вред, нанесенный его мимолетной изменой, по-прежнему давал о себе знать. Он не понимал, что делать, — мог только повторять, что любит ее. Он почувствовал тревогу за их брак. Но прошло пять минут, и она отмахнулась от своих подозрений, сказала, что все в полном порядке.

Он поехал с Иэном Макьюэном в тайский ресторан за ужином, отпускаемым на дом. В ресторане «У Чинды» сотрудница-тайка сказала ему:

— Знаете, на кто вы похож? На черовека, который написар эту книжку.

— Это я и есть, — признался он.

— Замечатерьно! — обрадовалась она. — Я ее читар, она мне нравится, а потом вы написар другую, ее я не читар. Когда вы звонир, вы заказар говядину, и мы подумар, это, наверно, Бирри Джоэр[232], но нет, Бирри Джоэр бывать по вторникам.

За ужином Мартин рассказывал, как он побывал у Сола Беллоу. Он позавидовал Мартину, которого удостоил дружбы величайший американский писатель тех лет. Но у него было на уме и кое-что поважнее. Через четыре дня ему предстояла женитьба, а чуть позже — конец света (по версии Арнольда Шварценеггера). Следующий день после их свадьбы — 29 августа 1997 года — был в «Терминаторе-2» назван «Судным днем», когда ракетно-ядерная техника, управляемая суперкомпьютером «Скайнет», должна была устроить человечеству Холокост. Так что их брак был назначен на последний день в истории того мира, какой они знали.

Погода была великолепная, и в поле за садом сияли синевой космеи, словно отражая небо. Друзья собрались у фамильного

дома Исабель, и он отправился за судьей. А потом все расположились в кружок: Пол и Сири с маленькой Софи Остер, Билл и Мэри, Мартин с Исабель, двумя сыновьями, дочерью Делайлой Сил и с Куиной, сестрой Исабель, Иэн с Анналиной и двумя младшими Макьюэнами, Эндрю с Кейми и их дочерью Эрикой Уайли, Хитч с Кэрол и дочерью Лорой Антонией Блю Хитченс (чьим «некрестно-неполумесячным отцом» он был), Бетти Фонсека (мать Исабель), ее муж Дик Корнуэлл, в чьем саду они стояли, Милан (на руках у Сири), Зафар, Элизабет с розами и лилиями в волосах. Звучали стихи. Билл прочел сонет Шекспира, какой читают обычно, а Пол, что было необычно, но очень уместно, прочел стихотворение Уильяма Карлоса Уильямса «Корона из плюща» — о любви, приходящей в зрелом возрасте[233]:

В нашем возрасте воображенье
нас возносит над прискорбием
фактов,
и розы
теперь важнее шипов.
Разумеется,
любовь жестока,
себялюбива
и решительно бестолкова —
во всяком случае, ослепленная светом,
такова молодая любовь.
Но мы старше,
мне — любить,
тебе — быть любимой,
и мы,
не важно как,
одной волей выжили,
и драгоценная
награда
всегда наша —
лишь протяни руку.
Мы сами так сделали,
и потому ей
не грозят катастрофы.

Они праздновали в тот вечер свои семь лет невероятного счастья — эти двое, которые нашли друг друга посреди урагана и

соединились не в страхе перед бурей, а в восторге обретения. Ее улыбка освещала его дни, ее любовь — ночи, ее отвага и заботливость придавали ему сил, и конечно же, как он признался ей и всем их друзьям в свадебной речи, это он в первый вечер на нее спикировал, а не она на него. (Когда он заявил об этом, после того как семь лет утверждал обратное, она громко изумленно рассмеялась.) И конец света не наступил, за днем свадьбы пришел следующий, свежий, обновленный, которому не грозили катастрофы. *Мы всего лишь люди,* сказал поэт, *но, поскольку мы смертны / мы умеем бороться с судьбой.*

Дела любви — это
Жестокость, и вот ее
волей своей
мы преображаем,
чтобы быть вместе.

А в день, когда мир продолжил существовать, в истгемптонской мэрии поженились Иэн и Анналина. Собирались устроить празднество на берегу, но помешала погода, поэтому все приехали к ним на Литтл-Нойак-Пат и веселились с середины дня до позднего вечера. Погода улучшилась, и они бестолково, как истые неамериканцы, играли в бейсбол на поляне за домом, а потом они с Иэном снова поехали к «Чинде» за тайской едой, и он по-прежнему не был Бирри Джоэром.

Британские газеты прознали о его женитьбе мгновенно (сотрудники истгемптонской мэрии дали утечку сразу же, едва прошла церемония) и все как одна сообщили о ней, назвав Элизабет по имени и фамилии. Так что она наконец стала видима. Это ее сильно поколебало, но ненадолго: она оправилась и привыкла к новому положению, будучи по натуре волевой и оптимистичной. Что до него — он испытал облегчение. Он очень устал от игры в прятки.

Вечером, после барбекю на пляже Гибсон-Бич, они поехали к журналисту Джону Аведону, и позвонил Дэвид Рифф: в Париже, сказал он, произошла автокатастрофа, принцесса Диана тяжело ранена, а ее любовник Доди аль-Файед погиб. Это было на всех телеканалах, но о принцессе не говорилось ничего существенного. Позднее, ложась спать, он скажет Элизабет: «Будь она жива, они бы так и сказали. Раз не сообщают о ее состоянии — ее нет в живых». Утром на первой странице «Нью-Йорк таймс» они

увидели подтверждение, и Элизабет заплакала. История разматывалась весь день. Папарацци гнались за ней на мотоциклах. Машина ехала очень быстро, пьяный шофер разогнался до 120 миль в час. *Не повезло бедняжке,* подумал он. Ее несчастливый конец случился как раз тогда, когда стали возможны новые, более счастливые начала. Но погибнуть из-за своего нежелания быть сфотографированной — это была глупость. Если бы они немного помедлили на ступеньках отеля «Риц» и позволили папарацци сделать то, что те хотели, их, может быть, не стали бы преследовать, не было бы нужды нестись с такой дикой скоростью и они избежали бы бессмысленной смерти в бетонном туннеле.

Ему вспомнился великий роман Дж. Г. Балларда «Автокатастрофа» — об адской смеси любви, смерти и автомобилей, и он подумал: может быть, мы все за это в ответе, ведь это наш голод по ее образу погубил ее, и последним, что она видела, умирая, может быть, были фаллообразные морды фотоаппаратов, надвигающиеся на нее сквозь разбитые окна машины, щелкающие, щелкающие… «Нью-Йоркер» попросил его написать об этом событии, и он послал им нечто в подобном духе, после чего в Англии «Ежедневное оскорбление» назвало публикацию «шайтанской версией», свидетельством дурного вкуса автора, как будто само «Оскорбление» не готово было платить бешеные деньги за фотографии, ради которых папарацци преследовали принцессу, как будто «Оскорблению» хватило вкуса не публиковать снимки катастрофы.

Милтон и Патриция Гробоу уже знали, кто у них живет: они прочли о свадьбе в местных газетах. Они были в восторге, заявили, что испытывают гордость и будут рады принимать их и в последующие годы. Патриция сказала, что была няней у детей Кеннеди и «умеет держать язык за зубами». Милтон, почти восьмидесятилетний, был очень слаб. Супруги Гробоу, по их словам, могли бы подумать о том, чтоб продать дом дом семейству Рушди.

Через несколько дней после возвращения в Лондон он полетел в Италию, чтобы принять участие в литературном фестивале в Мантуе, но никто, судя по всему, не согласовал этот визит с местной полицией: она забаррикадировала его в отеле и отказалась разрешить ему участвовать в мероприятиях фестиваля. В конце концов, сопровождаемый своего рода почетной охраной из многих писателей, — он попробовал повторить свой чилийский фокус — просто взять и выйти на улицу, — но не тут-

то было: его отвели в полицейский участок и несколько часов продержали в «комнате ожидания», пока мэр и шеф полиции не решили избежать скандала и не дали ему возможность заняться тем, ради чего он приехал в их город. После недель обыкновенной жизни в Соединенных Штатах пугливые европейцы привели его в уныние.

В Лондоне министр внутренних дел Джек Стро, вечно стремившийся снискать симпатию избирателей-мусульман, предложил распространить архаичный, устарелый закон о кощунстве, который следовало отменить вовсе, на иные религии, помимо англиканской, что позволило бы, среди прочего, вновь подать в суд на «Шайтанские аяты» и, возможно, запретить эту книгу. Вот вам и дружественное ко мне правительство, подумал он. Попытка Стро в итоге не удалась, но правительство Блэра несколько лет искало способы сделать критику религии — конкретно говоря, ислама — незаконной. Протестуя против этого, он однажды побывал в министерстве внутренних дел в компании Роуэна Аткинсона[234] (можно было бы снять серию «Мистер Бин отправляется на Уайтхолл»). Роуэн, в жизни вдумчивый человек с негромким голосом, спросил безликих чиновников и заместителя министра о сатире. Они все, разумеется, были его почитателями и хотели, чтобы и он думал о них хорошо, поэтому они сказали ему: *О, комедия — это прекрасно, сатира — с ней нет никаких проблем.* Роуэн сумрачно кивнул и заметил, что недавно в одной телевизионной сценке использовал кадры, показывающие коленопреклоненных мусульман на пятничной молитве, кажется, в Тегеране; голос диктора при этом сообщил: «Продолжаются поиски контактной линзы аятоллы». Дозволяет ли такое новый закон, или ему будет грозить тюрьма? Нет-нет, это *нормально*, заверили его, *совершенно* нормально, никаких проблем. Гм-м, сказал Роуэн, но как можно быть в этом уверенным? Очень просто, ответили ему, вам надо всего-на-всего представить сценарий в правительственный орган на одобрение, и, *конечно, вы его получите,* вот и будете уверены. «Странно, — мягко удивился Роуэн, — почему-то меня это не убеждает». В день окончательного голосования в палате общин по этому устрашающему законопроекту лейбористские парламентские организаторы, уверенные, что из-за мощных протестов он точно не пройдет, сказали Тони Блэру, что ему можно уйти раньше. Премьер отправился домой, и его законопроекту не хватило *одного голоса*. Если бы он остался, голоса разделились бы поровну, спикер отдал бы свой голос за правительственный проект, как он обязан был поступить, и закон бы приняли. Все было на грани.

Жизнь мелкими шажками двигалась вперед. Барри Мосс, чальник Особого отдела, приехал к нему и сказал, что одобрен новый порядок, по которому с ним будут работать Фрэнк Бишоп и, в качестве сменщика, Конь Деннис, при этом полиция полностью покинет дом на Бишопс-авеню. С 1 января 1998 года дом будет целиком в его распоряжении, и все свои «личные передвижения» он будет осуществлять самостоятельно при поддержке Фрэнка. Он почувствовал, что с плеч свалился огромный груз. Наконец-то у них с Элизабет и Миланом будет в Англии личная жизнь.

Позвонила Фрэнсис Д'Соуса: в Иране министра разведки Фаллахиана, которого так боялись, заменил некий господин Наджаф-Абади — будто бы «либерал, прагматик». Что ж, посмотрим, ответил он.

Гейл Рибак согласилась, чтобы британский филиал «Рэндом хаус» немедленно принял к себе на склад экземпляры «Шайтанских аятов» в мягкой обложке, изданных консорциумом, и снабдил очередной тираж, который, вероятно, понадобится к Рождеству, эмблемой «Винтидж». Это был, если вдуматься, очень большой шаг: давно ожидавшаяся «нормализация» статуса романа в Соединенном Королевстве спустя долгие девять лет после его первой публикации.

Мисс Арундати Рой получила, как и предполагали, Букеровскую премию — она была признанной фавориткой — и на следующий день сказала «Таймс», что его книги — всего лишь «экзотика», тогда как она пишет правду. Это было, гм, интересно, но он решил не отвечать. Потом из Германии сообщили, что она заявила там журналисту примерно то же. Он позвонил ее агенту Дэвиду Годвину: он не видит, сказал он, ничего хорошего в публичной перепалке между двумя букеровскими лауреатами из Индии. Он никогда не говорил во всеуслышание, что́ он думает о ее «Боге Мелочей», но если она хочет драки, она, безусловно, ее получит. Нет-нет, сказал Дэвид, я уверен, что ее неверно процитировали. Вскоре он получил примирительное послание от мисс Рой, где говорилось то же самое. *Ладно, оставим это,* подумал он и перешел к другим делам.

Гюнтеру Грассу исполнилось семьдесят, и гамбургский театр «Талия» устроил большое празднество, посвященное его жизни и работе. Он полетел в Гамбург на «Люфтганзе», с которой они с некоторых пор были лучшими друзьями, и принял участие в событии, наряду с Надин Гордимер и практически всеми видными немецкими писателями. После торжественной части была музыка и танцы, и он обнаружил, что Грасс — замечательный танцор. Все молодые женщины хотели, чтобы он их кружил, и Гюнтер весь

вечер без устали вальсировал, танцевал гавот, польку и фокстрот. Так что теперь у него было уже две причины, чтобы завидовать великому человеку. У него всегда вызывал зависть художественный дар Грасса. Какую свободу, должно быть, чувствуешь, когда, окончив дневные литературные труды, переходишь в мастерскую и начинаешь работу над теми же темами, но в совершенно другом материале! Как это здорово — самому рисовать суперобложки для своих книг! Бронзовые изделия Грасса, его офорты, изображающие крыс, жаб, плоских рыб и мальчиков с жестяными барабанами, — вещи поистине прекрасные. А теперь он вызвал восторг и своим танцевальным мастерством. Нет, это чересчур.

Власти Шри-Ланки как будто не возражали против съемок фильма по «Детям полуночи», но, по словам Рут Кейлеб — одного из продюсеров Би-би-си, — они собирались выдвинуть условие, что он на съемках присутствовать не должен. Ладно, сказал он, приятно быть таким популярным, и через несколько дней Тристрам прислал ему факс со Шри-Ланки: «Я держу в руках письменное разрешение». Это был счастливый момент. Но, как выяснилось позже, это был один из длинной вереницы ложных рассветов.

Милан начал чрезвычайно приподнятым тоном говорить «Ха! *Ха!* ХА». Когда родители повторяли за ним, он приходил в восторг и произносил это снова. Было ли это его первым словом — словом, обозначающим смех, а не смехом как таковым? Он выглядел так, словно силился заговорить. Но конечно, это было слишком, слишком рано.

Элизабет собиралась на несколько дней поехать к Кэрол, а они еще ни разу не были телесно близки после свадьбы, не были уже много-много месяцев. «Я устала», — сказала она, но потом до двух ночи клеила в альбом свадебные фотографии. И все же в целом между ними дела складывались хорошо, по большей части даже очень хорошо, и с этим у них тоже вскоре наладилось. *Дела любви — это жестокость, и вот ее волей своей мы преображаем, чтобы быть вместе.*

Просматривая записи, которые он сделал о своей жизни, он понял, что пишется скорее о неприятном, чем о счастливых минутах, что ссора скорее будет отражена в дневнике, чем нежное слово. Правда состоит в том, что много лет они с Элизабет почти все время прекрасно ладили и любили друг друга. Но спустя недолгое время после женитьбы непринужденный лад и счастье начали убывать, и появились трещины. «Супружеские неприятности, — писал он позднее, — это как вода от муссонных

дождей, скапливающаяся на плоской крыше. Ты ее не чувствуешь, но ее все больше, больше, и однажды вся крыша с грохотом рушится тебе на голову».

Флора Ботсфорд была всего-навсего корреспондентом Би-би-си в Коломбо, но именно она, по мнению продюсера Криса Холла, «заварила кашу, из-за которой мы остались ни с чем». Порой невольно думаешь, что сотрудники СМИ предпочитают, чтобы дела шли плохо, ибо заголовок ВСЕ ИДЕТ ХОРОШО не назовешь особенно броским. Стремление Ботсфорд — сотрудницы Би-би-си — создать проблемы для крупного проекта Би-би-си было удивительным — или, что удручает еще сильней, неудивительным. Она взяла на себя труд обзвонить ряд шриланкийских парламентариев-мусульман в надежде получить враждебные комментарии — и один получила-таки. Одного оказалось достаточно. Статью в «Гардиан» Ботсфорд начала так: «Рискуя оскорбить местных мусульман, Би-би-си будет снимать в Шри-Ланке вызывающий острые дискуссии пятисерийный сериал по книге Салмана Рушди „Дети полуночи“. Это подтвердили на прошлой неделе официальные лица». А затем депутат парламента, которого она с таким рвением откопала, получил свою минуту славы: «По крайней мере один мусульманский политик на Шри-Ланке прилагает все силы, чтобы остановить этот проект, поднимая вопрос о нем в парламенте. „Салман Рушди — очень спорная фигура, — говорит А. Х. М. Азвар, парламентарий от оппозиции. — Он очернил и оклеветал святого Пророка, а это непростительное деяние. Мусульманам всего мира отвратительно само его имя. Индия, запретив снимать этот фильм, несомненно имела на то веские причины, и нам здесь следует остерегаться разжигания межобщинной розни“».

Волны пошли быстро. В Индии многие колумнисты назвали отказ своих властей скандальным, в Тегеране посла Шри-Ланки вызвали в министерство иностранных дел, чтобы выразить протест Ирана. У Криса Холла имелось на руках разрешение снимать фильм, подписанное лично президентом Чандрикой Бандеранаике Кумаратунгой, и какое-то время казалось, что президент, возможно, сдержит слово. Но затем группа шриланкийских парламентариев-мусульман потребовала, чтобы она отменила свое решение. В СМИ Шри-Ланки появились весьма злобные нападки на автора «Детей полуночи». Его назвали трусом и предателем собственного народа, «Детей полуночи» — книгой, где он оскорбил и высмеял своих сородичей. Один младший министр заявил, что разрешение на съемки отменено, но его опровергли более высокопоставленные члены правительства.

Заместитель министра иностранных дел сказал «Действуйте». Заместитель министра обороны гарантировал «полную поддержку со стороны военных». Тем не менее начала раскручиваться нисходящая спираль. Он чуял приближение катастрофы — даже несмотря на то, что министерство иностранных дел Шри-Ланки и совет по кинематографии подтвердили: съемки разрешены. В офис Би-би-си пригласили местных интеллектуалов, и произошла, как выразился Крис Холл, совместная попойка, во время которой все они выразили свою поддержку. Шри-ланкийская пресса тоже почти целиком была за съемки. Но ощущение надвигающейся беды сохранялось. Неделю спустя — и всего через шесть недель после того, как президент дала письменное разрешение, оно было отменено без объяснений. Правительство проталкивало политически щекотливый закон о деволюции, и ему нужна была поддержка горстки парламентариев-мусульман. За кулисами Иран и Саудовская Аравия угрожали, если начнутся съемки, изгнать шри-ланкийских гастарбайтеров.

Громких общественных протестов против фильма ни в Индии, ни в Шри-Ланке не было. Но в обеих странах проект угробили. Он чувствовал себя так, словно кто-то очень сильно его ударил. «Я не должен падать», — думал он, но был потрясен.

Крис Холл по-прежнему был уверен, что искрой, от которой вспыхнул пожар, стала статья Флоры Ботсфорд. «Би-би-си плохо с вами обошлась», — сказал он. Президент Кумаратунга написала ему письмо, где лично извинилась за отмену съемок. «Я читала книгу „Дети полуночи“, и она мне очень понравилась. Я была бы рада посмотреть снятый фильм. Однако иногда политические соображения превалируют над, возможно, более возвышенными мотивами. Я надеюсь, скоро придет время, когда в Шри-Ланке люди вновь начнут мыслить рационально и верх возьмут подлинные, глубинные жизненные ценности. Тогда моя страна опять станет тем сказочным „Серендипом“, каким она по праву должна быть». В 1999 году на нее совершили покушение «тамильские тигры»; она осталась жива, но ей выбило глаз.

Последний акт пьесы о съемках фильма по «Детям полуночи» — пьесы со счастливым концом — начался через одиннадцать лет. Осенью 2008 года он был в Торонто на презентации своего романа «Флорентийская чародейка» и в свободный вечер ужинал с давней хорошей знакомой — кинорежиссером Дипой Мехтой. «Знаешь, какую твою книгу мне очень хочется экранизировать? — сказала Дипа. — „Детей полуночи“. У кого права?» — «У меня», — ответил он. «Тогда можно я это сделаю?» — «Да», — сказал он. Он

продал ей право на экранизацию за один доллар, и два года они вместе занимались сбором денег и работали над сценарием. То, что он написал для Би-би-си, теперь казалось деревянным и выспренним, и он, честно говоря, был рад, что тот фильм так и не сняли. Новый сценарий выглядел по-настоящему кинематографичным, и во всем, что касалось этого фильма, их с Дипой ощущения были очень близки. В январе 2011 года «Детей полуночи», теперь уже не телесериал, а художественный фильм, начали снимать в Индии и на Шри-Ланке, и через тридцать лет после выхода романа, через четырнадцать лет после провала проекта Би-би-си картина была наконец сделана. В тот день, когда в Коломбо окончились основные съемки, он почувствовал, что снято некое заклятие. Еще на одну гору удалось забраться.

В самый разгар съемок иранцы опять попытались их остановить. Посла Шри-Ланки заставили прийти в министерство иностранных дел в Тегеране, чтобы выразить ему неудовольствие. На два дня разрешение на фильм было снова отменено. У них опять-таки была бумага от президента, но он боялся, что и этот президент уступит давлению. Но на сей раз вышло по-другому. Президент сказал Дипе: «Продолжайте снимать ваш фильм».

Фильм был снят и должен выйти на экраны в 2012 году. Какую бурю эмоций таит в себе эта сухая фраза! *Per ardua ad astra*[235], подумал он. Это дело сделано.

В середине ноября 1997 года Джон Ле Карре, один из немногих писателей, высказавшихся против него, когда начались нападки на «Шайтанские аяты», пожаловался в «Гардиан», что Норман Раш в «Нью-Йорк таймс бук ревью» несправедливо его, Ле Карре, «очернил» и «заклеймил как антисемита»; он посетовал на «тяжкий гнет политкорректности», назвав его «маккартизмом наоборот».

Свои ощущения, вызванные этой публикацией, ему, конечно, следовало оставить при себе, но он не удержался и высказался по ее поводу. «Сочувствовать ему было бы легче, — писал он в письме в газету, — не включись он в прошлом так рьяно в кампанию поношений, направленную против собрата по перу. В 1989 году, в худшие дни исламских атак на „Шайтанские аяты“, Ле Карре в довольно высокомерной манере примкнул к моим хулителям. Было бы благородно с его стороны, если бы он признал, что сейчас, когда он сам — по крайней мере, по его собственному мнению — находится под огнем, он стал несколько лучше понимать природу полиции мыслей[236]».

Карре взял наживку, и взял ее мощно. «Рушди, как всегда, искажает истину в свою пользу, — отозвался он. — Я никогда не

примыкал к его хулителям. Но я и не шел по такому легкому пути, как объявить его невинным ангелом. Моя позиция была в том, что ни в жизни, ни в природе нет такого закона, который позволял бы безнаказанно оскорблять великие религии. Я писал, что никакое общество не обладает абсолютным критерием свободы слова. Я писал, что терпимость не приходит ко всем религиям и культурам в одно время и в одной форме, что и христианское общество до совсем недавних пор проводило границу свободы там, где начиналось священное. Я писал, и готов написать сегодня еще раз, что, когда встал вопрос о дальнейшей эксплуатации книги Рушди — об издании ее в мягкой обложке, — меня больше, чем авторские отчисления ему, волновало, как бы той или иной девушке из „Пенгуин букс“ не оторвало руки при вскрытии бандероли. Всякий, кто хотел прочесть его книгу, имел к тому времени для этого все возможности. Моей целью было не оправдать преследование Рушди, о котором я, как всякий порядочный человек, сожалею, а произнести менее высокомерные, менее колониалистские, менее самоуверенные слова, нежели те, что мы слышали из надежно защищенного лагеря его почитателей».

К тому времени перепалка так увлекла и обрадовала «Гардиан», что она помещала письма на первой странице. Его ответ Ле Карре появился на следующий день: «Джон Ле Карре… заявляет, что не присоединялся к нападкам на меня, но вместе с тем утверждает, что „ни в жизни, ни в природе нет такого закона, который позволял бы безнаказанно оскорблять великие религии“. Беглое исследование этой высокопарной формулировки показывает, что она 1) соответствует тому филистерскому, редукционистскому, радикально-исламистскому взгляду, согласно которому „Шайтанские аяты“ — не более чем „оскорбление“, и 2) подразумевает, что всякий, кто рассердит публику, придерживающуюся филистерских, редукционистских, радикально-исламистских взглядов, теряет право на безопасное существование… Он пишет, что его больше волнует безопасность издательского персонала, чем мои доходы. Но именно эти люди — издатели моего романа в трех десятках стран и персонал книжных магазинов — поддерживали и защищали мое право на публикацию наиболее страстно. Неблагородно со стороны Ле Карре использовать их, так храбро стоявших за свободу, для аргументации в пользу цензуры. Джон Ле Карре прав в том, что свобода слова не абсолютна. Мы обладаем теми свободами, за какие боремся, и теряем те, какие не защищаем. Я всегда полагал, что Джордж Смайли знал это. Его создатель, похоже, забыл».

В этот момент в драку без приглашения ввязался Кристофер

Хитченс, и его реплика вполне могла довести автора шпионских романов до апоплексии. «То, как Джон Ле Карре ведет себя на ваших страницах, больше всего похоже на поведение человека, облегчившегося в собственную шляпу и затем торопящегося нахлобучить полный до краев головной убор себе на голову, — заметил Хитч с характерной для себя сдержанностью. — В прошлом, рассуждая об открытом подстрекательстве к убийству за денежное вознаграждение, он использовал уклончивые, эвфемистические обороты: ведь у аятолл тоже есть чувства. Теперь он говорит нам, что его главная забота — судьба девушек из издательской экспедиции. Вдобавок он произвольно противопоставляет их безопасность авторским отчислениям Рушди. Можем ли мы считать в таком случае, что его все полностью устраивало бы, если бы „Шайтанские аяты“ были написаны и опубликованы бесплатно и распространялись даром, выложенные на лотки без продавцов? Это, возможно, по крайней мере удовлетворило бы тех, кто считает, что нельзя защищать свободу выражения мнений, если не обеспечена свобода от затрат и свобода от риска. В действительности за восемь лет, прошедших с тех пор, как был брошен вызов фетвы, не пострадала ни одна девушка из экспедиции. А когда книжные сети Северной Америки, занервничав, ненадолго изъяли „Шайтанские аяты“ из продажи по сомнительным соображениям „безопасности“, протест выразили как раз профсоюзы их сотрудников: люди по своей инициативе встали у витрин, демонстрируя поддержку человеческого права купить и прочесть любую книгу. По мнению Ле Карре, это храброе решение приняли обитатели некоего „надежно защищенного лагеря“ и оно, кроме того, кощунственно по отношению к великой религии! Нельзя ли было избавить от этого знакомства с содержимым его шляпы — пардон, хотел сказать: головы?»

На другой день пришел черед Ле Карре: «Всякий, кто прочел вчерашние письма от Салмана Рушди и Кристофера Хитченса, вполне может спросить себя: в чьи руки попало великое дело свободы слова? Откуда бы ни исходило послание — с трона ли, где восседает Рушди, из канавы ли, где валяется Хитченс, — смысл его один: „Наше дело абсолютно правое, оно не допускает ни несогласия, ни оговорок; любой, кто в чем-то подвергает его сомнению, — по определению невежественный, высокомерный, полуграмотный недочеловек“. Рушди высмеивает мой язык и смешивает с грязью продуманную и хорошо принятую речь, которую я произнес в Англо-израильской ассоциации и которую „Гардиан“ сочла нужным перепечатать. Хитченс изображает меня шутом, льющим себе на голову собственную мочу. Они могли бы

достойно соперничать с любыми двумя аятоллами-фанатиками. Но долговечна ли их дружба? Рушди сам себя канонизировал, и я поражен, что Хитченс так долго с этим мирится. Рушди, насколько я понимаю, не отрицает, что оскорбил великую религию. Но обвиняет он не себя, а меня, обвиняет — возьмите, между прочим, на заметку его птичий язык — в филистерских, редукционистских, радикально-исламистских взглядах. Я и не знал, что я такой умный. Но я знаю вот что: Рушди ополчился на знакомого противника и, когда тот отреагировал обычным для себя образом, завопил: „Нарушение правил!“ Тяготы, которые ему довелось перенести, ужасны, но это не делает его мучеником и — как бы он того ни хотел — не исключает споров о неоднозначном характере его причастности к своей собственной катастрофе».

Назвался груздем — полезай в кузов, подумал он. «Да, я действительно назвал [Ле Карре] высокомерным, считая эту характеристику довольно мягкой в сложившихся обстоятельствах. „Невежественный“ и „полуграмотный“ — это шутовские колпаки, которые он сам очень ловко напялил на свою собственную голову… Привычка Ле Карре писать положительные отзывы на свои выступления („продуманную и хорошо принятую речь, которую я произнес…“), несомненно, развилась потому, что кто-то ведь должен их писать, в конце концов… Я не намерен в очередной раз повторять свои подробные пояснения по поводу „Шайтанских аятов“ — романа, которым я по-прежнему чрезвычайно горд. Романа, мистер Ле Карре, а не насмешки. Вы ведь знаете, что такое роман, не правда ли, Джон?»

И так далее, и тому подобное. Его письма, заявил Ле Карре, должны стать обязательным чтением для всех британских старшеклассников как пример «культурной нетерпимости, маскирующейся под свободу слова». Он не хотел продолжать перепалку с Ле Карре, но чувствовал себя обязанным ответить на обвинение в том, что *ополчился на знакомого противника и, когда тот отреагировал обычным для себя образом, завопил: «Нарушение правил!»* «Предполагаю, что наш хэмпстедский горой готов сказать то же самое многим писателям, журналистам и интеллектуалам из Ирана, Алжира, Египта, Турции и других стран, которые на родине или в эмиграции ведут такую же борьбу против исламизма и за светское общество — короче говоря, за свободу от гнета Великих Мировых Религий. Я, со своей стороны, пытался в эти скверные годы привлечь внимание к их трудной судьбе. Иные из них, которые были в числе лучших — Фараг Фауда, Тахар Джаут, Угур Мумку, — поплатились жизнью за свою готовность „ополчиться на знакомого противника“… Я, честно говоря, не считаю священников и мулл, не говоря уж о

террористах и убийцах, самыми подходящими арбитрами, чтобы определять, как можно мыслить, а как нельзя».

Ле Карре замолчал, но теперь на ринг выскочил его друг Уильям Шоукросс[237]. «Притязания Рушди возмутительны… от них несет триумфаторским самодовольством». Это было неуклюже, ибо Шоукросс в прошлом был председателем «Статьи 19», так что организация сочла необходимым написать письмо, которым отмежевывалась от его обвинений. «Гардиан» не хотелось, чтобы эта история сошла на нет, и редактор газеты Алан Расбриджер, позвонив ему, спросил, не собирается ли он ответить Шоукроссу. «Нет, — сказал он Расбриджеру. — Если Ле Карре хочет от своих друзей, чтобы они ему подвывали, это его дело. То, что мне надо было высказать, я высказал».

Некоторые журналисты объясняли враждебность Ле Карре обидой из-за его старой отрицательной рецензии на «Русский дом» — а его вдруг охватила печаль из-за случившегося. Тем Ле Карре, что написал романы «Шпион, выйди вон!» и «Шпион, пришедший с холода», он издавна восхищался. В более счастливые времена они даже выступали с одной сцены, участвуя в кампании солидарности с Никарагуа. Он подумал: не откликнется ли Ле Карре положительно, если он предложит ему оливковую ветвь? Но Шарлотта Корнуэлл, сестра Ле Карре, случайно встретив на улице Северного Лондона Полин Мелвилл, выразила ей свое негодование: «Ну и ну! Этот ваш приятель!» — так что, похоже, страсти в их лагере кипели слишком сильно, чтобы мирная инициатива могла в тот момент иметь успех. Но он жалел о перебранке и чувствовал, что «победителя» в ней нет. Проиграли оба.

Вскоре после этого выяснения отношений его пригласили в «Шпионский центр» выступить перед группой начальников британских разведывательных резидентур, и устрашающая Элайза Маннингем-Буллер из МИ-5, чей облик (наполовину тетя Далия из романов Вудхауза, наполовину королева Елизавета II) полностью соответствовал фамилии, высказалась о Ле Карре с негодованием:

— Он понимает, что делает? — вопрошала она. — Неужели он ничего не соображает? Он что, полный идиот?

— Но разве в прошлом, — спросил он Элайзу, — он не был одним из вас?

Элайза Маннингем-Буллер оказалась из малочисленной и драгоценной категории женщин, которые могут по-настоящему фыркнуть.

— Ха! — фыркнула она, как самая что ни на есть вудхаузовская тетушка. — Он, кажется, проработал у нас минут

пять на какой-то малюсенькой должности, но он никогда, милый вы мой, не был на одном уровне с теми, перед кем вы сегодня выступали, и заверяю вас, что после *этого* никогда на нем не будет.

Одиннадцать лет спустя, в 2008 году, он прочел интервью с Ле Карре, в котором его бывший противник сказал об их старой распре: «Возможно, я был не прав. Если так, я был не прав из хороших побуждений».

Он написал почти двести страниц «Земли под ее ногами», когда разбились надежды Пола Остера на то, чтобы снять его в своем фильме «Лулу на мосту». Профсоюз водителей грузового транспорта («Ты можешь себе это представить? Водилы, эти крепкие мужики», — сокрушался Пол) заявил, что боится участия мистера Рушди в картине. Они, конечно, хотели денег, хотели платы за риск, но платить было нечем: денег хватало в обрез. Пол и его продюсер Питер Ньюмен сражались изо всех сил, но в конце концов признали поражение. «Когда я понял, что у нас это не выйдет, — сказал ему Пол, — я закрылся у себя в комнате и заплакал».

Его роль в спешном порядке передали Уиллему Дефо. Что все-таки было лестно.

Он отправился послушать Эдварда Саида, который выступал в Журнале «Лондон ревью оф букс», и там к нему подошел молодой человек по имени Асад и признался, что в 1989 году был руководителем Исламского общества в Ковентри и «ответственным по графству Уэст-Мидлендс» за организацию демонстраций против «Шайтанских аятов». «Но не бойтесь, — смущенно выпалил Асад, — теперь я атеист». Что ж, это прогресс, отозвался он, но молодой человек еще не все сказал. «А недавно, — воскликнул Асад, — я прочел вашу книгу и не мог понять, из-за чего был весь этот шум!» — «Это хорошо, — заметил он в ответ, — но должен вам указать, что вы, не прочтя книги, организовывали этот шум». Ему вспомнилась старая китайская пословица, которую иногда приписывают Конфуцию: *Если долго сидеть у реки, то когда-нибудь мимо проплывет труп твоего врага.*

Семимесячный Милан улыбался всем подряд, без конца агукал, понятливый, благодушный, красивый. За неделю до Рождества он начал ползать. Полицейские отключали и увозили сигнализационное оборудование. В день Нового года работать с ним приехал Фрэнк Бишоп, через несколько «промежуточных» недель дом должен был перейти в их с Элизабет полное

распоряжение, и благодаря этому они, несмотря на все разочарования года, чувствовали, что кончается он хорошо.

В начале года — года начала конца, — когда в последний раз закрылась дверь за четырьмя полицейскими, девять лет жившими с ним под многими именами и во многих местах и когда, таким образом, завершился период круглосуточной охраны, которую Уилл Уилсон и Уилл Уилтон предложили ему на Лонсдейл-сквер в конце предыдущей жизни, он спросил себя, что происходит: он вновь обретает свободу для себя и своей семьи — или подписывает всем смертный приговор? Кто он — самый безответственный из людей или реалист с верными инстинктами, желающий в тиши воссоздать подлинно частную жизнь? Ответ можно будет дать только ретроспективно. Через десять или двадцать лет он будет знать, верны его инстинкты или нет. Жизнь живется вперед, но судится назад.

Итак — в начале года начала конца; и не зная будущего; и с младенцем, который был занят тем, чем бывают заняты младенцы, который однажды в первый раз сел без посторонней помощи, который пытался встать, держась за прутья кроватки, терпел неудачу, снова пытался, пока не пришел день, когда он перестал быть ползающим существом и сделался *homo erectus*[238], быстро развивающимся в *sapiens*; и в то время как старший брат младенца, взяв свободный год перед университетом, собирался на поиски приключений в Мексику, где ему предстояло быть арестованным полицией, любоваться играющими китами, плавать в Таско под водопадами, низвергающимися с большой высоты, смотреть на ныряльщиков с факелами, прыгающих со скал в Акапулько, читать Буковски и Керуака, встретиться с матерью, побывать с ней в Чичен-Ице и Оахаке, тревожить, подолгу не выходя на связь, своего отца, который не мог не бояться худшего, который молча постоянно страшился за сына с того самого дня девять лет назад, когда он не мог ему дозвониться и полицейские, перепутав дом, сказали, что входная дверь распахнута, — в Мексику, откуда восемнадцатилетний юноша вернулся таким подтянутым, загорелым, красивым, что, когда раздался звонок и отец увидел его на экране видеодомофона, он его не узнал, удивленно спросил: *Кто там?* — и только потом понял, что этот юный бог — его отпрыск; и в то время как все обыденности обыденной жизни продолжались, как им и надлежало продолжаться даже посреди другого, затопляющего существования, которое по-прежнему было необыденным, исключительным, — они однажды, в понедельник 26 января 1998 года, впервые остались на ночь дома одни, и вместо того чтобы

испугаться тишины вокруг, отсутствия устройств сигнализации, отсутствия дюжих спящих полицейских, они улыбались и улыбались без конца, и легли спать рано, и уснули как убитые — нет, не как убитые, а как живые и ничем не обремененные люди. Но в 3.45 он проснулся и во второй раз уснуть не смог.

Недобрый мир не давал надолго о себе забыть. «О том, чтобы Рушди в обозримом будущем позволили посетить Индию, не может быть и речи», — заявил один индийский правительственный чиновник. Мир превратился в место, где его приезд в страну, которую он любил, *мог вызвать политически кризис*. Он думал о Кае из сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева», которому осколки дьявольского зеркала попали в глаз и сердце. А в его случае таким осколком было уныние, и он боялся, что оно изменит его как личность, заставит видеть мир преисполненным ненависти, а людей — достойными презрения и отвращения. Иногда ему попадались такие люди. Придя на день рождения к своей подруге Найджеле, он только-только услышал невыносимую новость, что у ее мужа Джона обнаружили еще одну опухоль и перспективы, похоже, плохие, как вдруг к нему подошел журналист, чье имя он даже дюжину лет спустя не смог заставить себя написать, и, вероятно, выпив больше, чем следовало, сказал ему такие оскорбительные вещи, что в конце концов ему пришлось уйти с вечеринки. Не один день после того случая он был не в состоянии что-либо делать, не в состоянии писать, не в состоянии бывать там, где к нему мог подойти еще кто-нибудь и обругать последними словами, и он отменял встречи, сидел дома и ощущал у себя в сердце осколок холодного зеркала. Два его друга-журналиста, Джон Сноу и Фрэнсис Уин, сказали ему, что этот журналист и их оскорблял, причем в очень похожих выражениях, и, услышав это, он приободрился: на миру и смерть красна. Но все равно еще целую неделю не мог работать.

Возможно, из-за того, что он терял веру в мир, в котором должен был жить, или в свою способность находить в нем радость, он ввел в свои роман идею параллельного мира — мира, где вымыслы реальны, а их творцов, напротив, не существует, мира, где реален Александр Портной, но не Филип Рот, мира, где некогда жил Дон Кихот, но не Сервантес; и идею такого мира, где из двоих близнецов Пресли умер Элвис, а Джесс остался жив, где Лу Рид — женщина, а Лори Адерсон — мужчина. Когда он работал над романом, существование в вымышленном мире казалось в некоем смысле более благородным, чем безвкусица жизни в мире реальном. Но дальше на этом пути лежало безумие

Дон Кихота. Он никогда не верил в роман как в способ укрыться от чего бы то ни было. И эскапистская литература — совсем не то, что ему сейчас нужно. Нет, он будет писать о сталкивающихся мирах, о враждебных друг другу реальностях, борющихся за один и тот же участок пространства-времени. То была эпоха, когда несовместимые реальности часто сталкивались между собой, о чем говорил Отто Коун в «Шайтанских аятах». Израиль и Палестина, к примеру. Или та реальность, где он был добропорядочным, достойным человеком и хорошим писателем, — и та, где он был дьявольским отродьем и дрянным писакой. Было отнюдь не очевидно, что эти две реальности могут сосуществовать. Не вытеснит ли одна другую напрочь?

На вечеринку подразделения «А» в «Пилерз» — на «бал тайных полицейских» — в том году приехал Тони Блэр, и полицейские их свели. Он поговорил с премьером, изложил ему свою позицию — Блэр держался дружелюбно, но уклончиво. После этого Фрэнсис Уин оказал ему огромную услугу: написал статью в «Гардиан», где раскритиковал Блэра за пассивность в деле Рушди, за отказ встать рядом с писателем и продемонстрировать поддержку. Почти сразу же позвонила Фиона Миллар, правая рука Шери Блэр[239], и весьма виноватым тоном пригласила их с Элизабет ужинать в Чекерс[240] в девятую годовщину фетвы. И — да, можно взять с собой Милана, это будет неформальная семейно-дружеская встреча. Милан по случаю приглашения научился махать ручкой.

Уважаемый мистер Блэр!

Спасибо за ужин. И Чекерс — это сказка! Спасибо, что позволили нам столько всего увидеть. Дневник Нельсона, посмертная маски Кромвеля — мне так все это понравилось, что я превратился в студента-историка. Элизабет — большая любительница садов, и она пришла в восторг от буков и прочего. Для меня все деревья — это «деревья», все цветы — это «цветы», но цветы и деревья мне понравились, скажу честно. И еще мне понравилось, что обстановка чуть тускловата, что она слегка отдает благородной запущенностью, из-за чего дом выглядит как человеческое жилище, а не как маленький загородный отель. И понравилось, что персонал был одет гораздо наряднее, чем сидевшие за столом. Держу пари, что Маргарет Тэтчер никогда не принимала гостей в джинсах.

Вспоминаю, ка к встретился с Вами и Шери за ужином у Джеффри Робертсона вскоре после того, как Вы возглавили партию. Боже мой, до чего Вы были напряжены! Я подумал: этот человек понимает, что, если он провалит ближайшие выборы, от

его партии, вполне возможно, останутся рожки да ножки. Между тем Шери держалась непринужденно, выглядела уверенной в себе, образованной, с головы до пят королевским адвокатом с широкими культурными интересами. (А Вы в тот вечер признались, что не ходите в театры и не читаете для удовольствия.) Но как меняет человека должность! В Чекерс Ваша улыбка была почти естественной, Ваши жесты — успокаивающими, Вы целиком и полностью были в своей тарелке. У Шери же, напротив, нервы, казалось, стали совсем никуда. Когда она водила нас по дому — «а это, конечно, знаменитая Длинная Комната, а здесь, посмотрите, знаменитое ля-ля, а вон на той стене висит знаменитое ля-ля-ля», — возникало чувство, что она скорей повесится, чем будет еще пять или десять лет оставаться второй скрипкой, изображать из себя скромную добропорядочную супругу владельца Чекерс. Вы словно поменялись свойствами личности. Занятно.

За ужином Ваша семья была очаровательна, Гордон Браун и его Сара, Аластер Кэмбл[241] и его Фиона — приятнейшие люди. А Кэмерон Макинтош[242]! А Мик Хакнелл[243]! А знойная подруга Мика — жаль, забыл, как ее зовут! Это превзошло все наши ожидания. Нет слов, как это нас подбодрило, ведь, признаюсь Вам, день у нас с Элизабет был непростой, Иран по случаю годовщины, как всегда, изощрялся в красотах речи. Санеи с «Баунти» посулил доплату, если меня убьют в Соединенных Штатах, «потому что все ненавидят Америку». Генеральный прокурор Мортеза Моктади заявил, что «пролить кровь этого человека — обязанность», государственное тегеранское радио рассуждало о том, что «прекращение никчемной жизни этого человека способно вдохнуть в ислам новую жизнь». Все это слегка огорчает, Вам не кажется? Так что, если я был не в самом приподнятом настроении, я уверен, Вы понимаете почему.

Но должен сказать, что я проникся самыми теплыми чувствами к Робину Куку и Дереку Фатчетту. В эту нежеланную годовщину для меня очень много значили слова министра иностранных дел, публично потребовавшего отменить фетву, потребовавшего от Ирана начать диалог на эту тему. Ведь были, знаете, такие министры иностранных дел… но лучше не поминать прошлого. Просто скажу, что благодарен новому руководству и ценю его стремление бороться с религиозным фанатизмом.

Кстати, слыхал, что и Вы, и Шери — глубоко религиозные люди. Поздравляю с тем, как хорошо вы оба умеете это скрывать.

Был, помню, момент, который меня удивил. Два момента, пожалуй. Помнится, Вы качали маленького Милана на колене. Это было мило. А потом Вы заговорили о свободе, и я подумал: о, интересно, и я отвернулся от знойной подруги Мика Хакнелла,

чтобы послушать Вас, а Вы повели разговор о свободе как о свободе рынка, как будто к этому она для Вас и сводится, чего не может быть, ведь Вы премьер-лейборист, не правда ли? Так что я, наверно, чего-то не понял, или, возможно, это новая концепция в рамках Нового Лейборизма: свобода = свобода рынка. Так или иначе, я этого не ожидал.

А потом мы уходили, и персонал ворковал над Миланом: это так мило, говорили нам, что в доме теперь бывают дети, ведь прежние премьер-министры были люди постарше со взрослыми детьми, но сейчас частенько тут топочут маленькие ножки младших Блэров, и старый дом оживает. Нам с Элизабет это понравилось, и нам понравился огромный плюшевый медведь в прихожей — подарок главы некоего государства, возможно президента Дремучего Перу[244]*. Я спросил, как его зовут, Шери ответила, что имя ему еще не придумали, и я без паузы брякнул: «Вам следовало бы его назвать Тони Бэр»*[245]*. Не выдающаяся шутка, но по крайней мере я выпалил ее быстро, так что, может быть, она заслуживала хоть малюсенькой улыбочки? Но нет, Вы с каменным лицом сказали: «Нет, мне такое имя не нравится», и я ушел, думая: о ужас, у премьер-министра нет чувства юмора.*

Впрочем, не так уж это меня заботило. Ваше правительство было на моей стороне, и это значило, что на отдельные режущие слух нотки можно не обращать внимания, и даже на более поздней стадии Вашего премьерства, когда неблагозвучные ноты сделались громче и резали слух сильнее, когда игнорировать их стало очень трудно, я неизменно питал к Вам слабость, я не мог возненавидеть Вас так, как возненавидели многие, потому что Вы — или, по крайней мере, Ваши мистер Кук и мистер Фатчетт — честно постарались изменить мою жизнь к лучшему. И в конце концов добились в этом успеха. Что вряд ли перевешивает вторжение в Ирак, но на моих личных весах это тянет немало, точно Вам говорю.

Спасибо еще раз за прелестный вечер.

На другой день после ужина в Чекерс — в день, когда о нем сообщили прессе, — Иран заявил, что «удивлен» призывом Робина Кука к отмене фетвы. «Она будет оставаться в силе десять тысяч лет», — гласило заявление Ирана, и он подумал: *Что ж, если я проживу десять тысяч лет, это меня вполне устраивает.*

А еще день спустя они с Робином Куком стояли бок о бок в Посольском зале ожидания в Форин-офисе перед репортерами и фотокорреспондентами, и Кук сделал несколько жестких, бескомпромиссных замечаний, и иранскому правительству Хатами было отправлено еще одно громкое, недвусмысленное

послание. Его охранник Кит Уильямс, когда они выходили из здания, шепнул ему: «Они оказали вам честь, сэр».

Новая, твердая позиция британского правительства, кажется, производила некоторый эффект.

Мэри Робинсон, бывший президент Ирландии и новый комиссар ООН по правам человека, поехала в Тегеран, встретилась там с официальными лицами высокого ранга и после визита заявила, что Иран «никоим образом не поддерживает» осуществление фетвы. Специальному докладчику ООН по Ирану было сказано, что «в отношении фетвы возможен определенный прогресс». А министр иностранных дел Италии Ламберто Дини, встретившись со своим иранским коллегой Камалем Харрази, услышал от него, что Иран «полностью готов сотрудничать с Европой в решении существующих политических проблем».

Теперь у его семьи был дом. Одну бывшую спальню полицейских превратили в комнату Милана, а их «общая комната», где мебель почти пришла в негодность, могла стать комнатой для игр, и оставались еще две свободные спальни. Если дом будет засвечен, постоянно говорили им, это станет огромной проблемой, но истина такова: дом так никогда и не был засвечен. О нем не пронюхали, о нем ничего не просочилось в газеты, он не стал проблемой для сил безопасности, он, вопреки предостережениям, не потребовал «колоссальных» денежных затрат на технические средства безопасности и громадного количества человеко-часов. Этого не случилось, и одной из причин тому, пришел он к убеждению, были человеческие качества рядовых людей. Он по-прежнему не сомневался, что работники, делавшие ремонт, знали, чей это дом, и не верили истории про «Джозефа Антона»; а вскоре после того, как полицейские выехали и работать с ним начал Фрэнк, возникла проблема с дверью гаража — с подозрительно тяжелой «деревянной» дверью со сталью внутри и открывающим-закрывающим механизмом, который из-за этой тяжести часто отказывал, — и механик от компании, установившей дверь, болтая с Фрэнком во время работы, сказал ему: «Вы, конечно, знаете, чей это был дом? Мистера Рушди, того самого. Вот бедолага». Так что иные из тех, кому «не полагалось» знать, знали. Но никто не трепал языком, ничего не попало в газеты. Все понимали: дело серьезное. И помалкивали.

Впервые за девять лет у него появилась «постоянная группа» охранников для появлений «в общественных местах» (для посещений ресторанов, прогулок по Хэмпстед-Хиту, изредка — походов в кино, время от времени — литературных мероприятий:

чтений, надписываний книг, лекций). Боб Лоу и Берни Линдзи, красавцы, ставшие любимцами лондонского литературного мира, чередовались с Чарльзом Ричардсом и Китом Уильямсом, которые таковыми не стали. И ВХИТы: Рассел и Найджел чередовались с Иэном и Полом. Эта группа, занимавшаяся только операцией «Малахит», была не только придана, но и предана ему. Ребята были убежденными его сторонниками, готовыми сражаться за его дело. «Мы все восхищаемся вашей стойкостью, — сказал ему Боб. — Будьте в этом уверены». Нет причин, считали они, чтобы он не вел такую насыщенную жизнь, какую хочет вести, и их работа состояла в том, чтобы делать это возможным. Они убедили ответственных за безопасность нескольких авиалиний, на которые влияло продолжающееся нежелание «Бритиш эйруэйз» его перевозить, не следовать примеру «БЭ». Они хотели, чтобы его жизнь стала лучше, и охотно ему помогали. Он никогда не забудет и никогда не перестанет ценить их дружбу и поддержку.

Он по-прежнему были начеку. Пол Топпер из Ярда, курировавший работу группы, сказал, что в донесениях разведки говорится о некоей «активности». Не время было расслабляться.

Пришла одна печальная новость: Филу Питту — полицейскому, которого сослуживцы прозвали Рэмбо, — пришлось уйти со службы из-за дегенеративного заболевания позвоночника, грозившего впоследствии усадить его в инвалидное кресло. Что-то страшно шокирующее было в том, как подкосил недуг одного из этих рослых, подтянутых, сильных, активных мужчин. И ведь эти мужчины — профессиональные защитники. Их работа — делать так, чтобы у других все было в порядке. Они не должны расклеиваться. Это неправильно.

Элизабет хотела второго ребенка, хотела завести его не откладывая. Сердце у него упало. Милан был колоссальным подарком, доставлявшим огромную радость, но еще раз сыграть в генетическую рулетку у него желания не возникало. Двоих прекрасных сыновей ему было более чем достаточно. Но Элизабет, когда ей чего-то хотелось по-настоящему, проявляла недюжинное упорство — можно, пожалуй, даже сказать, упрямство, — и он боялся, что если откажется, то потеряет ее, а вместе с ней и Милана. Сам же он нуждался не в очередном ребенке. Он нуждался в свободе. И неизвестно было, удастся ли ему когда-нибудь удовлетворить эту потребность.

На этот раз она забеременела быстро — она еще кормила Милана грудью. Но теперь им не повезло. Через две недели после того, как беременность подтвердилась, произошла хромосомная трагедия: ранний выкидыш.

После выкидыша Элизабет отвернулась от него и всецело посвятила себя маленькому Милану. Нашли было няню — ее звали Сьюзен, она была дочерью сотрудника Особого отдела, — но Элизабет отказалась ее нанимать. «Мне нужен кто-то всего на час или два в день, — сказала она. — Просто присмотреть немного за ребенком».

Их жизни стали во многом раздельными. Она даже не желала ездить с ним в одной машине, предпочитая садиться с ребенком в другую. Он почти не видел ее в течение дня, и в большом пустом доме его жизнь, он чувствовал, тоже становится пустой. Иногда часов в десять вечера они вместе ели омлет, а потом она была «слишком уставшая, чтобы бодрствовать», а он был слишком взвинчен, чтобы спать. Она нигде не хотела с ним бывать, ничего не хотела с ним вместе делать, не хотела проводить с ним вечера и обижалась, если он заикался о том, чтобы поехать куда-нибудь без нее. Ребенок стал средством ограничения свободы. «Я хочу родить еще двух», — сказала она без обиняков. Сверх того они мало о чем разговаривали.

Друзья начали замечать, что между ними растет отчуждение. «Она никогда теперь на тебя не смотрит, — обеспокоенно заметила Кэролайн Мичел. — Никогда к тебе не прикасается. В чем дело?» Но он не хотел никому говорить, в чем дело.

Милан начал ходить. Ему было десять с половиной месяцев.

Издательство «Рэндом хаус» приняло «Шайтанские аяты» в мягкой обложке к себе на склад, и сразу же британская пресса начала изо всех сил разжигать страсти. «Гардиан» поместила на первой странице провокационную заметку, где высказывалось предположение, что решение «Рэндом хаус» «возродит» былые неприятности, и в результате они в каком-то смысле не замедлили возродиться. «Ивнинг стандард» пригрозила напечатать сообщение о том, что «Рэндом хаус» так поступило, не посоветовавшись с полицией. Дик Старк, позвонив в газету, уведомил ее, что это неправда, и тогда она пригрозила сообщить, что «Рэндом хаус» берет роман под крыло *вопреки* мнению полиции. Дик Старк связался с людьми из крепости, украшенной рождественскими елками, и они сказали, что риск «минимален»; это успокоило Гейл Рибак. Консорциум в составе Эндрю, Гиллона и его самого уже пять лет допечатывал книгу в дешевом варианте, так что эта смена склада не заслуживала такого внимания прессы. Издание в мягкой обложке уже было «нормализовано» по всей континентальной Европе, в Канаде и даже в Соединенных Штатах, где роман с эмблемой «Аул букс» без всяких проблем распространяла компания «Генри Холт». Но несколько

недоброжелательных газетных публикаций могли сделать ситуацию в Великобритании совсем иной. «Рэндом хаус» и Особый отдел приложили немало усилий, чтобы унять «Стандард», и в итоге газета не стала ничего печатать. А «Телеграф» поместила взвешенную, продуманную, абсолютно разумную статью. Риск уменьшился. Тем не менее «Рэндом хаус» установило в издательской экспедиции аппаратуру обнаружения взрывных устройств и предостерегло персонал. Всех, кто занимал в компании высокие должности, по-прежнему беспокоило, что пресса может спровоцировать острую реакцию исламистов. И все же они, что делает им очень большую честь, готовились переиздать роман с эмблемой «Винтидж». «Я уверен: худшее, как мы могли бы себя повести, — это отступать и откладывать, — сказал Саймон Мастер. — Если уик-энд пройдет без происшествий, мы печатаем». В России издателям, собиравшимся выпустить «Шайтанские аяты», пригрозили местные мусульмане. Это вселяло тревогу. Но в Англии, как показал ход событий, ничего плохого не случилось, и наконец-то публикация «Аятов» в мягкой обложке стала осуществляться под эгидой «Винтидж букс». Восстановилась нормальная издательская практика. Консорциум был распущен.

Кое-что хорошее происходило и в менее крупном масштабе. К нему вновь обратилась Глория Б. Андерсон, глава Нью-Йоркского отделения синдиката «Нью-Йорк таймс», — четыре года после того, как начальство вынудило ее отказаться от своего предложения предоставить ему синдицированную колонку. Теперь, сказала она, все очень хотят, чтобы вы писали для газеты. Припоминать ей былую обиду смысла не было. Это все-таки «Нью-Йорк таймс», и это даст ему ежемесячную мировую трибуну. К тому же, вероятно, возместит расходы на Фрэнка Шептуна, на уборщицу Берил и, может быть, няню.

У его племянницы Мишки, бледной, тоненькой как тростинка шестилетней девочки, обнаружились невероятные музыкальные способности — и это в семье, где почти всем медведь на ухо наступил. Теперь за нее сражались школа Перселла и школа Менухина. Самин выбрала Перселла, потому что Мишка не только виртуозно музицировала, но еще и на годы опережала детей ее возраста по обычным предметам, а школа Перселла давала более качественное общее образование. Школа Менухина считалась этакой музыкальной оранжереей, где детей развивают односторонне. Но за свои необычайные дарования Мишке приходилось платить. Она была слишком умна для сверстников и слишком юна для равных ей по развитию, что гарантировало ей

одинокое детство. Но в школах Перселла и Менухина она сразила всех наповал, и, несмотря на нежный возраст, уже было ясно, что именно этого — жизни в музыке — она для себя хочет. Как-то раз в семейной машине, когда ее родители обсуждали «за» и «против» двух школ, маленькая Мишка пропищала с заднего сиденья: «Разве не мне это решать?»

В школе Перселла Самин сказали, что Мишка исключительно одарена и они будут счастливы ее принять. Начать ее учить школа могла с сентября — раньше не имела права, слишком уж девочка была мала, — и она стала самой младшей, кому школа предоставила полную стипендию. Абсолютный восторг! На семейном небосклоне поднималась новая яркая звезда, которую предстояло оберегать и направлять, пока она не достигнет такого возраста, что сможет сиять без посторонней помощи.

Ему присудили Большую премию Будапешта по литературе, и он поехал ее получить. В Будапеште мэр города Габор Демски, который в советскую эпоху был ведущим публикатором самиздата, открыл перед ним в своем кабинете застекленный шкаф с ценными книгами, некогда изданными нелегально, а теперь составлявшими предмет его великой гордости. Они печатались на переносном печатном станке из Хаддерсфилда[246], который по ночам тайно перевозили с квартиры на квартиру, причем в разговорах конспиративным обозначением этой чрезвычайно нужной машины служило женское имя. «Хаддерсфилд сыграл важную роль в борьбе с коммунизмом», — сказал Демски. Потом они с мэром сели в его моторную лодку и с ветерком прокатились по Дунаю. Большая же премия как таковая оказалась с сюрпризом: ему вручили маленький металлический ящичек с гравировкой, в котором, открыв его, он обнаружил новенькие хрустящие американские доллары. Неплохо!

Зафар поехал во Флоренцию учить итальянский и был на седьмом небе. У него сменилось несколько девушек: была оперная певица, с которой он расстался, «потому что вдруг она стала напоминать мне мою маму», была высокая блондинка на несколько лет старше него. С Иви Долтон они к тому времени сделались лучшими друзьями, и он так сблизился с ее семьей, что его родители порой чуть ли не ревновали его к Долтонам. Сейчас Зафар проводил время в свое удовольствие, собирался на экскурсии в Сиену, Пизу, Фьезоле. У него было не самое легкое детство, и теперь отрадно было видеть, в какого замечательного парня он вырос — полностью уверенного в себе, расправляющего крылья.

Гарольд Пинтер и Антония Фрейзер однажды ужинали у него

на Бишопс-авеню. Другими гостями были Роберт Маккрам, двигавшийся немного медленней прежнего, улыбавшийся милой рассеянной улыбкой, и его жена Сара Лайалл, и Гарольд, узнав, что Роберт работает в «Обсервере», с которым у него в незапамятные времена случилась какая-то политическая ссора, а Сара работает в ненавистной, потому что американской, газете «Нью-Йорк таймс», выдал один из самых своих шумных, долгих и непривлекательных образчиков пинтерования.

Дорогой Гарольд!

Ты знаешь, как я тобой восхищаюсь, и, надеюсь, понимаешь, что я очень высоко ценю нашу дружбу; но я не могу оставить без комментария события прошлого вечера. Роберт, хороший человек, храбро борющийся с последствиями инсульта, просто не может разговаривать и спорить так же раскованно, как раньше, и твоя атака повергла его в удрученное молчание. Сара, которую я очень люблю, была почти в слезах и, что еще хуже, к своему собственному изумлению, оказалась в положении, когда ей надо было защищать американский сионистский империализм, воплощенный в «Нью-Йорк таймс». И я, и Элизабет почувствовали, что нашим гостеприимством злоупотребили и вечер испорчен. В общем, ты прихлопнул всех одним махом. Не могу не сказать, что мне все это отнюдь не безразлично. Такое происходит постоянно, и на правах друга я прошу тебя ПРЕКРАТИТЬ. Насчет Кубы, насчет Восточного Тимора, насчет многого другого ты гораздо более прав, чем не прав, но эти тирады — когда тебе, судя по всему, кажется, что другие не заметили того, что возмущает тебя, — просто-напросто утомительны. Я думаю, ты должен перед всеми извиниться.

С большой любовью, Салман.

Дорогой Салман!

Мне очень больно было читать твое письмо, но я благодарен тебе за него. Ты пишешь как подлинный друг. Сказанное тобой — истинная правда, и в данном случае эта правда горька. Моему поведению нет оправданий, и я не пытаюсь защищаться. Могу только сказать вот что: я слышу себя, слышу, как хамлю и занудствую, но это как пляска святого Витта, это лихорадка, отвратительное, тошнотворное — и, конечно, пьяное — погружение в трясину бессвязности и оскорблений. Прискорбно. Твое письмо оказало на меня колоссальное действие — стало настоящим ушатом холодной воды. Хотелось бы верить, что мне еще не поздно повзрослеть. Тебе и Элизабет — мои искренние извинения. Вы оба мне очень дороги. Маккрамам я уже написал.

С любовью, Гарольд.

Дорогой Гарольд!

Спасибо тебе за письмо. Мы очень тебя любим. Прошло и быльем поросло.

Салман.

Назавтра после дня, когда Милану исполнился год, они отправились в Америку на три месяца — *на три месяца!* Это будет их самый длинный промежуток свободы — в доме на Литтл-Нойак-Пат. Прошел год с тех пор, как в гостях у Джона Аведона они узнали о гибели принцессы Дианы; затем был глобальный феномен реакции на ее смерть, и чудо цветов, и так далее, а теперь он вновь оказался в Бриджгемптоне в обществе Ормуса и Вины — героев своего романа, — и земля под ногами у Вины разверзлась, поглотила ее, и Вина тоже превратилась в глобальное явление. Он уже дописывал роман, заканчивал главу «Под ее ногами» и работал над главой «Вина *Divina*», и конечно же на гибель Вины повлияла гибель Дианы, и казалось уместным, что он пишет про это именно там, где услышал новость. Он сочинил песню, которую написал о ней Ормус, — этот орфический гимн утраченной любви: *То, чему я поклонялся, украло мою любовь — земля под ее ногами*, и он приближался к ленноновскому концу своей нескончаемой книги.

За последующие месяцы он дописал книгу, внес в нее поправки. отшлифовал, перепечатал и дал кое-кому прочесть. В тот день, когда работа над ней была завершена, он, сидя в своем маленьком кабинете, к которому вела отдельная лестница — в этаком летнем «орлином гнезде», — дал себе обещание. «Земля под ее ногами» была, наряду с «Шайтанскими аятами» и «Детьми полуночи», одной из трех его по-настоящему длинных книг. «Монстров на четверть миллиона слов больше быть не должно, — сказал он себе. — Покороче и почаще». Десять лет с лишним он не нарушал этого обещания: с 2000-го по 2009 год написал два коротких и два средней величины романа. А потом принялся за мемуары и понял, что снова, так сказать, уходит в запой.

Стояло Лето Моники, и не ясно было, удастся или нет попытка вынести президенту Клинтону импичмент. Шутили на его счет иной раз ужасающе.

Пятна на платье невозможно точно идентифицировать, потому что у всех арканзасцев одна и та же ДНК.

«Счастье пишет белым по белому, — писал Анри де Монтерлан[247]. — Страница остается чистой». Счастье в то лето было невысоким белым домиком, окруженным зелеными полями

среди холмов и лесов, оно было прогулками с Элизабет и сыновьями к морскому берегу под вечер, когда солнце опускалось в дымке, висевшей над горизонтом. Оно было посещением копировального салона поблизости от Бриджгемптон-Коммонс, где он ждал, пока делались копии его романа. «Вы можете прийти позже», — сказала сотрудница салона, но он решил ждать. Оно было ужином с Элизабет в Американ-отеле в Саг-Харборе в первую годовщину свадьбы. Оно было поездкой с Доном Делилло на бейсбол на «Янки стэдиум», где «Янки» принимали «Ангелов», и не важно, что нью-йоркцы проиграли. И оно было письмом от его нового издателя Михаэля Науманна из «Генри Холта», где тот отозвался о «Земле под ее ногами» в таких восторженных выражениях, что он не мог их никому повторить. Однако всего через шесть дней после того, как он получил это письмо, Михаэль Науманн ушел из «Холта», чтобы занять пост министра культуры Германии. *Ничего, переживем*, подумал он. А письмо, так или иначе, было чудесное.

Из Лондона позвонила Найджела. У Джона совершенно точно рецидив рака. Ему удалят большой кусок языка. Джону Дайамонду, одному из самых речистых, самых остроумных людей, каких он знал в жизни, настоящему мастеру разговора, предстоит лишиться органа речи. Скверно, печально.

И у Сьюзен Сонтаг обнаружили рак.

Они вернулись в Лондон и, как обычно, словно уперлись в закрытую дверь. В Национальном театре репетировали спектакль по «Гаруну и Морю Историй», но полицейские чины сказали, что на премьеру ему идти слишком опасно: «злоумышленники будут ожидать вашего появления», и понадобится огромная по масштабу и стоимости полицейская операция. Так что ему сразу же пришлось снова выйти на тропу войны. Его отвезли в шпионскую крепость с рождественскими елками, и мистер Утро и мистер День сказали ему, что, с одной стороны, данных о какой-либо специфической активности у них нет, с другой — общая оценка уровня опасности остается такой же высокой, как раньше. 22 сентября 1998 года произошла его встреча с преемником Хелен Хэммингтон Бобом Блейком, которая поставила все на свои места: Блейк согласился, что его желание быть на премьере «Гаруна» вполне естественно и что риск не так уж велик.

Босс «Бритиш эйруэйз» Боб Эйлинг наконец согласился с ним увидеться. Эйлинг признался, что на него сильно подействовала критика со стороны Зафара. В закрытой двери появилась трещина. Впервые за долгое время он побывал в доме Клариссы на Берма-роуд. Зафар устроил вечеринку по случаю близкого

начала учебы в Эксетерском университете. Сын был счастлив, когда он передал ему слова Эйлинга: он, выходит, помог отцу. И тут — в этот самый вечер — телевидение, радио и телефон точно сошли с ума.

Первым сообщило Си-эн-эн. Президент Ирана Хатами заявил, что угрозы его жизни «больше нет». После этого он был на телефоне допоздна. Кристиан Аманпур[248] была, по ее словам, «уверена, что это не утка», Хатами в неофициальном порядке сказал ей, что скоро произойдут и другие события, что он якобы достиг «согласия» с Хаменеи по этому вопросу. В 9.30 вечера позвонил Нил Кромптон — с некоторых пор «его человек» в Форин-офисе — и попросил встретиться с ним на следующее утро в 10.30. «Что-то несомненно происходит, — сказал Кромптон. — Вероятно, хорошее. Надо посовещаться».

В Форин-офисе чувствовалось нараставшее возбуждение. «Все это прекрасно, — сказал он, — но мы должны услышать недвусмысленные слова о фетве и денежном вознаграждении. Британское правительство должно иметь возможность сделать ясное заявление, что с этим покончено. Иначе мы позволим Ирану сняться с крючка, и фанатики из „Хезболлы“ смогут нанести удар, к которому режим якобы будет непричастен. Если мы действительно получили хорошую новость, пусть это подтвердит мистер Блэр. Раз высказался их глава государства, должен высказаться и наш». В Нью-Йорке заседала Генеральная Ассамблея ООН. Днем, чтобы обсудить это дело, должны были встретиться британские и иранские представители. На следующее утро была назначена встреча министров иностранных дел — Робина Кука и Камаля Харрази. Похоже было, что Иран и вправду хочет соглашения.

Робин Кук позвонил ему 24 сентября в девять утра — в четыре утра по нью-йоркскому времени! — и сказал, чего, по его мнению, можно будет достичь. «Мы получим гарантию, но формально фетва отменена не будет: они говорят, это невозможно, так как Хомейни умер. Активности сторонников жесткого курса в Иране мы не наблюдаем. Это лучшее, чего мы способны от них добиться. Это самые ясные выражения, какие мы от них слышали на эту тему». Итак, где он в итоге оказался? Между молотом и наковальней? Вознаграждение и фетва останутся, но иранское правительство «отмежуется» от них и не будет «ни поощрять, ни дозволять» исполнение угрозы. Роберт Фиск написал в «Индепендент», что в Иране потеряли к этому делу интерес. Так ли это? При наилучшем сценарии Кук прав, иранцы искренне берут на себя обязательство, действительно хотят покончить с этим делом, подвести под ним черту, и

британское правительство, со своей стороны, готово, идя на это соглашение, рискнуть своим престижем; тогда при любом нарушении соглашения обе стороны будут иметь глупый вид. Главная угроза его жизни всегда исходила от иранского министерства разведки и безопасности (МРБ), и, если тамошних деятелей приструнили, это, можно, могли бы подтвердить мистер День и мистер Утро. А публичное, широко освещаемое соглашение способно заставить всех *почувствовать*, что эта история завершена. Де-факто поведет к де-юре.

А при наихудшем сценарии сторонники жесткого курса продолжат попытки с ним разделаться и, поскольку охраны к него не будет, преуспеют в этом.

В четыре часа дня он встретился с Фрэнсис Д'Соуса и Кармел Бедфорд в помещении «Статьи 19» в Излингтоне, и все трое были очень обеспокоены. Соглашение выглядело неадекватным, предложенного было недостаточно, но, если он отреагирует отрицательно, его можно будет обвинить в обструкции, а если он отреагирует положительно, кампания по его защите лишится возможности выдвигать какие-либо условия. Его единственная надежда, сказал он Фрэнсис и Кармел, связана с тем, что нарушение соглашения будет ударом по доверию обоим правительствам.

Втроем они отправились в Форин-офис, где на 5.20 вечера была назначена встреча с Дереком Фатчеттом. Порядочный, прямой человек, Фатчетт всегда ему нравился, и теперь Фатчетт сказал, глядя ему в глаза: «Сделка настоящая, иранцы готовы выполнить ее условия, все сегменты руководства дали добро. Я прошу вас оказать доверие британскому правительству. Вы должны знать, что Нил Кромптон и другие в нашем министерстве вели об этом переговоры не один месяц, причем вели их максимально жестко. Все они убеждены, что Иран настроен серьезно». — «Почему я должен этому верить? — спросил он Фатчетта. — Если они ничего не аннулируют, почему я не должен думать, что все это брехня?» — «Потому, — ответил Фатчетт, — что в Иране по поводу дела Рушди никто просто так не брешет. Эти политики рискуют карьерой. Они бы молчали, не будь они уверены в поддержке на самом высоком уровне». Хатами только что вернулся в Тегеран с Генеральной Ассамблеи, где заявил, что «вопрос о Салмане Рушди полностью закрыт», и в аэропорту его тепло встретил и обнял личный представитель Хаменеи. Это был значимый сигнал.

Он спросил о брифинге на темы безопасности, который совсем недавно провели для него мистер Утро и мистер День: они

сказали, что угроза его жизни остается на прежнем уровне. «Эти сведения устарели», — ответил Фатчетт. Он спросил про ливанскую «Хезболлу», и Фатчетт сказал: «Они не вовлечены». Какое-то время он продолжал задавать вопросы, но вдруг внутри что-то распахнулось, его захлестнуло могучее чувство, и он промолвил: «Отлично». Он сказал: «В таком случае — ура, и спасибо вам, каждому из вас огромное спасибо от всего сердца». Подступили слезы, и от наплыва чувств он замолчал. Он обнял Фрэнсис и Кармел. Работал телевизор, «Скай ньюс» вел трансляцию в прямом эфире, и на экране Кук и Харрази стояли в Нью-Йорке бок о бок, провозглашая окончание фетвы. Он сидел в кабинете Фатчетта в Форин-офисе и смотрел, как британское правительство делает все возможное, чтобы спасти его жизнь. Потом он вышел с Дереком Фатчеттом туда, где ждали телекамеры, и, подойдя к ним, сказал: «Кажется, с этим кончено». — «Что это означает для вас?» — спросила милая молодая женщина с микрофоном. «Это означает для меня все, — ответил он, глотая слезы. — Означает свободу».

Когда он ехал домой, из Нью-Йорка позвонил Робин Кук, и его он тоже поблагодарил. Даже охранники были растроганы. «Волнующий момент, — сказал Боб Лоу. — Исторический».

Элизабет поверила не сразу, но мало-помалу атмосфера в доме делалась все более радостной. К ним пришел Мартин Бейч, ее старый однокашник по колледжу, и примчалась Полин Мелвилл, так что каждый из них двоих — и это было очень вовремя — видел перед собой одного из самых близких друзей. И Зафар тоже был с ними, зримо взволнованный, — таким он никогда его еще не видел. И телефон, телефон… Столько друзей, столько доброжелателей. Позвонил Вильям Нюгор — пожалуй, это был самый важный звонок. Эндрю плакал в трубку. Он позвонил Гиллону и поблагодарил его. Позвонил Клариссе и сказал ей спасибо за то, что заботилась о Зафаре все эти долгие тяжкие годы. Один за другим шли звонки от друзей. *Ритуалы радости*, подумал он. День, прихода которого он не ждал. И — победа, победа в чем-то более важном, чем спасение его жизни. Это была их общая борьба за значимые вещи, и все вместе, сообща они взяли верх.

Он позвонил Кристиан Аманпур и дал ей краткий комментарий. Всем остальным придется подождать завтрашней пресс-конференции.

И, обитай он в сказке, он лег бы в постель, утром проснулся бы свободным человеком, увидел бы безоблачное небо, и он, его жена и дети счастливо жили бы потом много-много лет.

Но он обитал не в сказке.

Есть те, для кого этот день не может быть прекрасным днем. Я хотел бы особо вспомнить семью профессора Хитоси Игараси, переводчика «Шайтанских аятов» на японский, которого убили. Я хотел бы вспомнить переводчика на итальянский доктора Этторе Каприоло, который был изранен ножом, но, к счастью, благополучно выздоровел; и моего прославленного норвежского издателя Вильяма Нюгора — он, к нашей радости, полностью поправился после покушения, когда ему несколько пуль попало в спину. Не будем забывать, что это было ужасное событие, и еще я хочу сказать, что скорблю о тех, кто погиб во время демонстраций, прежде всего на индийском субконтиненте. Во многих случаях, как выяснилось, они даже не знали, против кого выступают и почему, и об этой шокирующей и ужасной гибели людей я сожалею столь же сильно, как обо всем остальном.

Мы собрались здесь для того, чтобы отметить избавление от террористической угрозы со стороны правительства одной страны гражданам других стран, и мы должны сознавать, что это великий день. Почему мы смогли вести эту кампанию, почему столь многие люди по всему миру создавали комитеты защиты, почему этот вопрос упорно продолжали поднимать? Причина не только в том, что опасности подвергалась жизнь человека — мир полон людей, чья жизнь подвергается опасности, — причина в том, что борьба здесь шла за нечто невероятно важное: за художественную литературу, больше того — за свободу воображения и за всеобъемлющее, всеохватное дело: за свободу слова, а еще — за право людей ходить по улицам своих стран без страха. Многие из нас, отнюдь не склонные в душе к политической активности, сочли своим долгом стать «политическими животными» и вести эту борьбу, потому что ее стоило вести — не только ради меня, не только чтобы спасти мою шкуру, но и потому, что речь шла о многом в этом мире, чему мы придаем огромное значение.

Не думаю, что нам пристало в эту минуту испытывать что-либо помимо серьезного, сдержанного удовлетворения тем, что защищен один из великих принципов существования свободных обществ.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал вести эту борьбу. Существенную роль в ней сыграли Фрэнсис, Кармел и «Статья 19», комитеты защиты в Соединенных Штатах, Скандинавии, Нидерландах, Франции, Германии и других странах. Это была борьба рядовых людей. Ее итогом стали политические переговоры, которые принесли этот счастливый результат. Но

успех стал возможен благодаря обычным людям: читателям, писателям, книготорговцам, издателям, переводчикам и просто гражданам. Это не только мой день, это день всех и каждого. Мне кажется, нам не следует забывать, что, помимо вопросов о терроризме и безопасности, об охране силами спецслужб, о ее стоимости и всем прочем, есть то фундаментальное, что мы старались защитить, и тем, что нам довелось это защищать, мы можем гордиться.

Он говорил без бумажки, экспромтом, выступая перед прессой, наполнившей помещение «Статьи 19», и в конце поблагодарил Элизабет и Зафара за любовь и поддержку. Репортеры сняли на камеру, как он идет по Аппер-стрит в Излингтоне, идет сам по себе — «свободный человек», и он поднял в воздух робкий, неуверенный кулак. За этим последовал день интервью. Он вернулся домой, думая, что день прошел хорошо, — и увидел редакционную статью в «Ивнинг стандард», где его назвали социальным раздражителем и неприятным субъектом. А Би-би-си и И-тэ-эн подали новость под соусом «Он не извинился». Вот в каком освещении представили британские СМИ события дня. Этот социальный раздражитель, этот неприятный субъект отказался после всего произошедшего извиниться за свою жуткую книжку.

В воскресенье он повез Зафара в Эксетерский университет, с ними поехали Элизабет и Кларисса. Войдя в свою комнату в корпусе Лопеса, Зафар помрачнел лицом, сделался несчастный. Они попытались поддержать его, утешить, но вскоре пришло время уезжать. Это была тяжелая минута для Клариссы. «Мы ему больше не нужны», — сказала она, и ей пришлось опустить голову, чтобы скрыть слезы. «Еще как нужны, — возразил он. — Он никуда не уходит. Он любит нас обоих, он по-прежнему будет нашим сыном. Он повзрослел, только и всего».

Вернувшись в Лондон поздно вечером, он узнал, что в Иране, посмотрев британские телесюжеты про «неизвинившегося», заговорили о неких его «оскорбительных замечаниях» — и вот уже новоназначенный иранский посол Мухаммади подтверждает фетву, и вот уже иранские газеты призывают мусульман убить его и замечают, что разделаться с ним будет тем легче, чем более безопасным он будет считать свое положение. Не продали ли его, подумал он, но, задаваясь этим вопросом, он знал, что ему в любом случае надо избавляться от оков охраны, пусть даже это сделает его более уязвимой мишенью.

Два дня спустя он снова был в «Шпионском центре», где на совместном совещании мистер Утро и мистер День представляли

службы безопасности, некий Майкл Аксуэрди представлял министерство иностранных дел, а он представлял себя. К его ужасу, мистер День и мистер Утро сказали, что не могут гарантировать его безопасность ни от безжалостных *пасдаранов* («стражей исламской революции»), ни от «убийц по доверенности» из ливанской «Хезболлы» и что поэтому они отказываются понизить оценку угрозы: по-прежнему уровень два. А ведь об этом он особенно настойчиво спрашивал Дерека Фатчетта, и тот дал ему недвусмысленные гарантии — сказал даже, что сведения, которые сообщили ему службы безопасности, устарели. Стало ясно, что спецслужбы и Скотленд-Ярд в негодовании от той поспешности, с какой Форин-офис проявил готовность к соглашению. Даже только проверить, какова на самом деле позиция Ирана, можно будет, сказали ему, только к Рождеству, и нет никаких гарантий, что результат окажется положительным.

В этот-то момент он и заорал на Майкла Аксуэрди, который, слушая его, начал потеть и дрожать. Ему врали, кричал он, ему врали в глаза, Форин-офис — гнездо обманщиков и двуличных сволочей. Аксуэрди вышел из комнаты сделать звонок и, вернувшись, сказал, сохраняя похвальное самообладание, что Робин Кук позвонит ему завтра ровно в 11.40 утра.

Затем — встреча в Скотленд-Ярде, где полиция отнеслась к его гневу с пониманием. Ричард Боунз из Особого отдела, который был на совещании в «Шпионском центре» (он молча сидел там на заднем плане), сказал: «С вами обошлись ужасающе. Ваш анализ — в самую точку. Я буду свидетельствовать в вашу пользу, если вам когда-нибудь понадобится». Полицейские решили, что, пока ситуация не прояснится, будут охранять его в прежнем режиме. Постепенно он успокаивался, и ему пришло в голову, что после первоначального шока, вызванного сделкой, ситуация в Иране может стать более спокойной. Высшее духовенство пока еще не осудило соглашение. Может быть, надо просто-напросто подождать и к Рождеству он будет свободен.

Утром позвонил Робин Кук и постарался убедить его, что правительство делает все для решения проблемы. «Я разочарован анализом, с которым вас ознакомили службы безопасности, — сказал Кук. — Я запросил информацию от SIS к концу недели». Кук согласился с ним, что положительный результат может и должен быть достигнут к Рождеству — то есть за три месяца.

Пройдет более трех лет, прежде чем мистер Утро и мистер День почувствуют, что достигнут положительный результат.

Реакция в Иране на декларацию Кука — Харрази становилась

все более жесткой. Половина иранского меджлиса подписала петицию с призывом привести фетву в исполнение. Загадочная новая группа «студентов-радикалов» посулила за его убийство дополнительное вознаграждение в 190 тысяч фунтов (это оказалось ошибкой; правильная цифра — 19 тысяч). Со своей стороны, боньяд (фонд), возглавляемый Санеи с «Баунти», повысил вознаграждение еще примерно на 300 тысяч долларов. Иранский поверенный в делах Ансари, которого вызвали в Форин-офис, чтобы выразить ему протест Великобритании, взвалил вину на освещение событий в британской прессе, на заявления британских министров и самого Рушди: все это «породило колоссальное давление на министерство иностранных дел в Тегеране, оно не ожидало, что новость окажется такой громкой». Однако Ансари подтвердил приверженность Ирана нью-йоркскому соглашению. Что бы это ни означало.

Кларисса была обеспокоена. К ее дому подошли двое «мужчин мусульманского вида» и стали выкликать Зафара по имени, но он, конечно, был в Эксетере. Возможно, подумала она, это из-за того, что теперь он внесен в список избирателей.

Позвонил Алан Эванс, сотрудник «Бритиш эйруэйз», которому поручили иметь с ним дело и который был во многом «на его стороне». Эванс сказал, что «БЭ», по его мнению, «движется к изменению позиции», и, когда будут устранены несколько «сравнительно мелких» проблем, компания сможет принять положительное решение. «Через несколько недель». Он не ошибся. Через несколько недель, после девяти с половиной лет запрета на полеты самолетами национальной авиакомпании, его пригласили обратно.

Состоялась премьера спектакля по «Гаруну и Морю Историй» — это была великолепная постановка, где атмосфера волшебства создавалась с помощью минимума средств. Море изображали реющие полосы шелковой ткани, все актеры по ходу спектакля делали небольшие фокусы, а в кульминационный момент, когда Гарун обнаружил источник всех историй, на лицах зрителей заиграл свет, показывая, что драгоценный источник этот — они сами. И снова, как и во время встречи с читателями в Хэмпстеде, из-за которой так разволновался коммандер Хаули, не было ни демонстраций, ни проблем с безопасностью. Был просто хороший вечер в театре.

Он послал экземпляр рукописи «Земли под ее ногами» Боно, чтобы узнать его мнение и исправить с его помощью ляпы, касающиеся мира рок-музыки. Но произошло совершенно неожиданное. Боно позвонил и сказал, что взял из романа кое-какие стихотворные тексты и написал к ним «пару мелодий».

«Одна из них очень красивая, — добавил Боно. — Из заглавного трека к роману. Одна из самых красивых вещей, какие мы сделали». Он ухмыльнулся. Он не знал, сказал он, что у романов бывают заглавные треки, но — да, он понял, какую песню имеет в виду Боно. *All my life I worshipped her, / Her golden voice, her beauty's beat*[249]. Боно звал его в Дублин послушать эту песню. Он написал роман о проницаемой границе между миром вымысла и реальным миром, и вот теперь одна из его вымышленных песен пересекла эту границу и стала реальной песней. Несколько недель спустя он действительно полетел в Ирландию, и у Пола Макгиннеса[250] в Аннамо, графство Уиклоу, Боно отвел его в свою машину и поставил пробный диск. Звуковая система в машине Боно была не такая, как у других. Это была всем системам система. Он послушал песню трижды. Она понравилась ему с первого же раза. Мелодия была совершенно не похожа на ту, что звучала у него в голове до того, это была крепко западающая в память баллада — то, в чем сильна группа *U2*. Он сказал, что ему нравится, но Боно повторил песню еще и еще раз, чтобы убедиться, что он не врет, и, когда наконец убедился, сказал: «Пошли в дом, дадим послушать всем остальным».

Индия заявила, что снимает запрет на его приезды. Новость прозвучала в шестичасовых новостях Би-би-си. Виджай Шанкардасс торжествовал. «Очень скоро, — сказал он, — ты получишь визу». Когда он об этом узнал, первое время ему было скорее грустно, чем радостно. «Я и предположить не мог, — писал он в дневнике, — что буду думать о предстоящей поездке в Индию без приятного предвкушения, но сейчас это так. Она меня чуть ли не пугает. И тем в нее я поеду. Поеду, чтобы утвердить свое право на такие поездки. Я должен поддерживать эту связь ради сыновей. Ради возможности показать им то, что я любил и что принадлежит им тоже». Да, впустить его решило индуистское националистическое правительство, которое сформировала БДП (Бхаратия джаната парти — Индийская национальная партия), и неизбежно будут говорить, что предоставление ему визы — антимусульманский акт, но он отказывался играть ту демоническую роль, которую ему пытались навязать. Он по-прежнему любил родину, несмотря на долгую эмиграцию и на запрещение его книги. Как для писателя Индия была для него глубочайшим источником вдохновения, и он намеревался взять пятилетнюю визу, когда ее предложат.

Его первая меланхолическая реакция сходила на нет. Он радостно, с волнением заговорил о поездке в Индию за писательским ужином после благотворительных чтений, устроенных Джулианом Барнсом. И тут Луи де Берньер взялся

наставлять радостно взволнованного собрата по перу: ехать нельзя ни при каких обстоятельствах, его появление там станет новым тяжелым ударом по чувствам индийских мусульман. А затем де Берньер прочел ему небольшую лекцию по истории индуистско-мусульманских отношений — ему, писателю, вся творческая и интеллектуальная жизнь которого была связана с этой темой и который, может быть, знал об этом чуть больше, чем автор романа, где была грубо искажена история сопротивления греческих коммунистов во время Второй мировой войны итальянскому вторжению на остров Кефалония. Никогда в жизни его так не подмывало заехать коллеге-писателю по носу. Хелен Филдинг, которая там была, увидела, что его глаза наливаются кровью, и вскочила на ноги, улыбаясь так весело, как только могла. «Друзья! *Восхитительный* вечер. Просто *восхитительный*. Но я убегаю!» — воскликнула она, и это разрядило обстановку, позволило ему тоже встать, распрощаться и уйти, и нос мистера де Берньера остался в неприкосновенности.

В частном порядке он встретился с Дереком Фатчеттом, который снова сказал ему: *Окажите мне доверие*. Разведданные, приходящие из Ирана, все без исключения позитивны. Все партии поддержали соглашение, все псы посажены на цепь. Санеи, конечно, унять трудно, но денег, так или иначе, у него нет. «Мы продолжим работу по всем направлениям, — сказал Фатчетт. — Сейчас важно сохранять самообладание». По словам дипломата, его, Фатчетта, заявление, в котором он назвал соглашение «дипломатическим успехом Великобритании», вызвало проблемы в Иране. «Как и ваше заявление: „Это означает свободу“».

Фатчетт обратился к нему с просьбой, исполнить которую было нелегко: придержать язык. Если он это сделает, злые голоса постепенно будут умолкать и фетва сойдет на нет.

Между тем в Тегеране тысяча студентов из «Хезболлы» прошли маршем, заявляя, что готовы атаковать автора и его издателей, готовы надеть пояса со взрывчаткой, и так далее: старая мерзкая террористическая песня.

Он встретился с Робином Куком в палате общин. Кук, по его словам, получил подтверждение, что Хаменеи и весь иранский Совет целесообразности «поддержали нью-йоркское соглашение». Отсюда должно следовать, что всех убийц держат на привязи. Насчет МРБ и ливанской «Хезболлы», сказал Кук, он уверен. Их боевики приструнены. Что же касается «стражей исламской революции», тут разведданные носят «отрицательный характер»: признаков, что готовится какая-либо атака с этой стороны, не обнаружено, «Иранское правительство гарантировало нам, что

будет пресекать любые исходящие из Ирана попытки напасть на вас. Они понимают, что речь идет об их престиже». Символическое значение телевизионной картинки, на которой Кук и Харрази стояли бок о бок, было оценено в полной мере, ее показали во всех мусульманских странах мира, «и если вас, говоря напрямик, убьют, доверие к ним резко уменьшится». Кук добавил: «Мы не считаем, что это дело завершено. Будем и дальше оказывать давление, будем ждать новых результатов».

И затем министр иностранных дел Соединенного Королевства задал ему вопрос, на который нелегко было дать ответ.

— Зачем вам нужна кампания защиты, направленная против меня? — спросил Робин Кук. — Я готов предоставить вам прямой доступ ко мне плюс регулярные брифинги. Я борюсь за вас.

Он ответил:

— Потому что многие думают, что вы меня предали, что слабое соглашение выдается за сильное и что мной жертвуют ради коммерческих и геополитических выгод.

— О-о, — презрительно протянул Кук. — Они думают, что мной командует Питер Мандельсон. (Мандельсон занимал пост министра торговли и промышленности.) — Это не так, — продолжил он и, по существу, повторил сказанное Дереком Фатчеттом: — Вы должны мне доверять.

Он молчал, молчал долго, Кук не торопил его. Не дурачат ли меня, задавался он вопросом. С тех пор как он кричал Майклу Аксуэрди, что его предали, прошло всего несколько дней. Но два политика, которые ему нравились, которые боролись за него активнее, чем кто-либо другой за десятилетие, попросили его верить им, хранить самообладание и, самое главное, на какое-то время умолкнуть.

— Если вы помянете недобрым словом фонд «15 хордада», это будет для фонда большим подарком, потому что тогда некое правительство не сможет ничего против него предпринять: побоится создать впечатление, будто оно действует по вашей указке.

Он думал и думал. Кампания защиты была начата для того, кебы побороть инертность правительств. Но теперь правительство его собственной страны обещает принимать ради него энергичные меры. Может быть, назрел переход к новой стадии: действовать не против правительства, а заодно с ним?

— Хорошо, — сказал он, — я согласен.

Он поехал в «Статью 19» к Фрэнсис Д'Соуса и попросил ее прекратить кампанию. Кармел Бедфорд была в Осло на встрече представителей нескольких комитетов защиты, и, когда он ей позвонил сообщить о своем решении, она взорвалась и обвинила

в этом решении Фрэнсис: «Она проходит конкурс на должность в Форин-офисе! Вышла в последний тур! В ее интересах поставить на этом крест!» С некоторых пор Фрэнсис и Кармел плохо ладили между собой. Он уверился, что принял правильное решение.

Итак, кампания защиты Рушди прекратилась. «Будем надеяться, — писал он в дневнике. — Мое решение обоснованно. Так или иначе, оно мое. Я не могу винить никого другого».

ИРАНСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ ПРЕДЛАГАЮТ НАГРАДУ ЗА ГОЛОВУ РУШДИ. Жители одной иранской деревни близ Каспийского моря пообещали вознаградить того, кто убьет Салмана Рушди, землей, домом и коврами. «Деревня Кийапай даст в награду 4500 квадратных метров земли, пригодной для ведения хозяйства, плодовый сад в 1500 квадратных метров, дом и десять коров», — сказал местный представитель. Кроме того, две тысячи жителей деревни открыли банковский счет для сбора пожертвований.

Не всегда легко было хранить спокойствие, хранить молчание и хранить самообладание.

Он поехал в Нью-Йорк на съемки французского телефильма о «Земле под ее ногами». И тут же мир для него открылся. Он ходил по улицам в одиночку и не чувствовал никакой опасности. В Лондоне осторожность британских разведслужб сковывала его, но тут, в Нью-Йорке, его жизнь была всецело в его руках; он сам мог решать, что разумно, а что опасно. В Америке он мог вновь обретать утраченную свободу до того, как британцы сочтут, что пора ее ему возвратить. Свобода не дается, а берется. Он знал это. И ему надлежало действовать в соответствии с этим знанием.

Билл Бьюфорд в головном уборе под марсианина из фильма «Марс атакует!» повез его на Верхний Манхэттен на хэллоуинский ужин. А у него на голове была *куфия*, в одной руке он держал детскую погремушку, в другой — хрустящую булочку; он был, таким образом, един в трех лицах: Шейх, Погремушка и Булочка из детской рождественской пьесы.

В Лондоне праздновали семидесятилетие Жанны Моро[251], и, вернувшись, он получил приглашение в резиденцию французского посла на обед в ее честь. Он сидел между Моро, по-прежнему ослепительной и даже соблазнительной в свои семьдесят, и великой балериной Сильви Гиллем, которая сказала, что хочет посмотреть спектакль по «Гаруну». А Моро оказалась потрясающей *raconteuse*[252]. За столом сидел еще некий сотрудник посольства, чьей задачей было подбрасывать ей

удобные вопросы:

— А теперь мы просим вас говорить, как вы познакомились с нашим великим французским кинорежиссером Франсуа Трюффо.

Она подхватывала на лету:

— Ах, Франсуа… Вы знаете, это было в Каннах, я была там с Луи…

— Это наш еще великий французский режиссер Луи Маль…

— Да, Луи, и мы с ним в *Palais du Cinéma*[253], и Франсуа, он идет к нам и здоровался с Луи, а потом некоторое время они вместе, а я иду позади с другим мужчиной, а потом я уже шла с Франсуа, и это очень странно, потому что он не смотрит мне в лицо, всегда в пол, только иногда быстро вверх, а потом опять вниз, но наконец он глядит на меня и сказал: «Могу ли я узнать ваш номер телефона?»

— И вы, — подытожил сотрудник, — давали ему номер.

Тут он перехватил инициативу и спросил ее про работу с Луисом Бунюэлем в фильме «Дневник горничной».

— Ах, дон Луис… — начала она своим глубоким, гортанным голосом курильщицы. — Он моя любовь. Я говорю ему однажды: «Ох, дон Луис, если бы я была вашей дочерью!» А он мне: «Нет, моя дорогая, вам не надо этого желать, будь вы моя дочь, я бы вас запер и не позволял сниматься в кино!»

— Я с давних пор люблю песню, которую вы поете в «Жюле и Джиме», — сказал он ей за бокалом «шато бешвель». — *Le Tourbillon*[254]. Это старая песня или ее написали для фильма?

— Ни то ни другое, — ответила она. — Ее написали для меня. Это был, вы знаете, мой старый возлюбленный, и, когда мы расстались, он пишет эту песню. А потом, когда Франсуа говорит, что я должна петь, я предлагаю эту песню ему, и он согласен.

— А теперь, — спросил он, — когда это такая знаменитая кинематографическая сцена, вы как о ней думаете? В ней по-прежнему звучит песня, которую написал для вас бывший возлюбленный, или это для вас песня из «Жюля и Джима»?

— О, ну… — пожала она плечами, — теперь это песня из фильма.

Перед тем как он покинул резиденцию, посол отвел его в сторонку и сообщил, что ему присуждена высшая степень — степень командора — французского Ордена искусств и литературы. Огромная честь. Решение, сказал посол, было принято еще несколько лет назад, но предыдущее французское правительство положило его под сукно. Теперь, однако, тут, в резиденции, будет устроен вечер в его честь, и он получит орденский знак и ленту. Это чудесная новость, сказал он послу, но несколько дней спустя французские власти дали задний ход.

Женщина из посольства, ответственная за рассылку приглашений, сказала, что «ждет отмашки из Парижа», а потом — странное дело — ни с послом, ни с атташе по культуре Оливье Пуавром д'Арвором никак не удавалось связаться. После нескольких дней саботажа он позвонил Жаку Лангу, и тот объяснил ему, что через десять дней во Францию приедет с визитом президент Ирана и потому французский МИД тянет с награждением. Ланг сделал несколько звонков, и они решили дело. Ему позвонил Оливье. Не согласится ли он немного подождать, чтобы месье Ланг смог сам приехать в Лондон и вручить ему орден? Да, сказал он. Конечно.

Зафар пригласил его на вечеринку. Люди из группы охраны сопроводили его в ночной клуб, а затем старательно закрывали глаза на обычные для таких клубов вещи. Он оказался за одним столиком с Деймоном Олберном и Алексом Джеймсом из группы *Blur*; они знали о его сотрудничестве с *U2* и тоже были не прочь записать песню на его слова. Вдруг возник спрос на его услуги по стихотворной части. Алекс выпил бóльшую часть бутылки абсента, что, пожалуй, было опрометчиво. «У меня охрененная идея, — сказал он. — Я пишу слова, ты пишешь музыку». Но, Алекс, мягко возразил он, я не умею сочинять музыку и ни на чем не играю. «Фигня, — настаивал Алекс. — Я тебя научу лабать на гитаре. За полчаса научу. Это фигня полная. А потом ты пишешь музыку, я пишу слова. Охрененно выйдет». Сотрудничества с *Blur* у него не вышло.

Он встретился в Скотленд-Ярде с Бобом Блейком, возглавлявшим теперь подразделение «А», чтобы поговорить о будущем. Новый роман, сказал он, выйдет в новом году, и он должен иметь возможность представить его публике как следует, нормально объявлять заранее обо всех мероприятиях, о встречах с читателями. Подобных встреч к тому времени уже прошло достаточно, чтобы полиция не видела в них проблемы. Кроме того, он хотел еще снизить уровень защиты. Он понимал, что авиакомпаниям по-прежнему спокойнее, когда его доставляет к самолету группа охраны, и что организаторы публичных мероприятий тоже предпочитают, чтобы его сопровождала полиция, но в остальном ему почти всегда хватало помощи Фрэнка. Блейк, что интересно, отнесся ко всем его предложениям благосклонно, и это могло означать, что оценка угрозы меняется, пусть даже ему пока не сообщали об этом изменении. «Хорошо, — сказал Блейк, — посмотрим, что мы сможем сделать». Блейка, однако, беспокоила Индия. По мнению мистера Утро и мистера День, ехать в Индию в январе или начале февраля ему не

следовало: возможна атака иранцев. Он спросил, может ли он узнать, на чем основаны их опасения. «Нет». — «В любом случае я и не собирался ехать в Индию в это время». Его слова вызвали у полицейского начальника заметное облегчение.

Войдя в кабинет министра иностранных дел в палате общин, он увидел там генерального директора МИ-5 Стивена Ландера и Робина Кука, у которого была для него плохая новость. Получены разведданные, сказал Кук, о заседании иранского Высшего совета национальной безопасности (Ландер, когда Кук начал произносить это название, посмотрел на него укоризненно), на котором Хатами и Харрази не сумели унять сторонников жесткого курса. Что же касается Хаменеи, он «не имеет возможности» приструнить «стражей революции» и «Хезболлу». Так что опасность для его жизни сохраняется. Однако, продолжил Кук, лично он и Форин-офис прилагают все усилия к тому, чтобы решить проблему, и данных, что планируется атака, нет, если не считать беспокойства по поводу Индии. Покушение на него в какой-либо из западных стран маловероятно, сказал Ландер. *Маловероятно* было слабоватым утешением, но что делать. «Я сообщил Харрази, — сказал Кук, — что мы знаем про заседание ВСНБ, и Харрази был изрядно шокирован. Он попытался нас убедить, что сделка остается в силе. Он знает, что на кону его репутация и репутация Хатами».

Сохранять самообладание.

Все в мире несовершенно, но такую степень несовершенства непросто было переварить. И все же он по-прежнему был настроен решительно. Ему необходимо было снова стать хозяином своей жизни. Он не мог больше ждать, чтобы «уровень несовершенства» снизился до приемлемого. Но когда он заговаривал с Элизабет об Америке, она не хотела слушать. Она слушала Исабель Фонсеку: «Америка опасная страна, там у всех есть огнестрельное оружие». Она относилась к его нью-йоркской мечте все более враждебно. Иногда неровная линия разрыва между ними делалась для него почти зримой, и разрыв становился все шире, как будто мир был листом бумаги, а они, оказавшись на разных половинах этого разорванного листа, отдалялись друг от друга; как будто рано или поздно их истории, несмотря на годы любви, с неизбежностью должны были продолжиться на разных страницах, потому что, когда жизнь начинает изъясняться в повелительном наклонении, императивами, живущему ничего не остается, как подчиниться. Для него величайшим императивом была свобода, для нее — материнство, и несомненно, отчасти дело было в том,

что ей как матери жизнь в Америке без полицейской охраны казалась жизнью опасной и безответственной, отчасти — в том, что она была англичанка и не хотела, чтобы ее сын вырос американцем, отчасти — в том, что она почти не знала Америки, ее Америка была мало чем помимо Бриджгемптона, и она боялась, что в Нью-Йорке будет изолированна и одинока. Он понимал все ее страхи и сомнения, но его собственные нужды были непререкаемы, как приказы, и он знал, что сделает то, что должно быть сделано.

Иногда любви, одной любви недостаточно.

Его матери исполнилось семьдесят два. Когда он сообщил ей по телефону, что в 1999 году у него выходит новая книга, она сказала ему на урду: *Ис дафа кои аччхи си китаб ликхна.* «На этот раз напиши приятную книгу».

IX. Его милленаристская иллюзия

Иногда любви, одной любви недостаточно. После смерти мужа Негин Рушди узнала, что ее первый муж, красивый юноша, который влюбился в нее, когда она была молоденькой Зохрой Батт, еще жив. У них был подлинный любовный союз, а не брак по указке родителей, и расстались они не потому, что разлюбили друг друга, а потому, что у него не получалось стать отцом, а материнство было императивом. Ее печаль оттого, что она променяла любовь к мужчине на любовь к еще не рожденным детям, была так глубока, что она много лет не произносила его имени, и ее дети росли, даже и не подозревая о его существовании, пока в конце концов она не призналась Самин, старшей дочери. «Его звали Шакил», — сказала она, и покраснела, и заплакала, как будто призналась в супружеской измене. При сыне она никогда о нем не упоминала, не говорила, чем он зарабатывает на жизнь, в каком городе поселился. Он был ее привидением, призраком утраченной любви, и из верности мужу, отцу ее детей, она терпела его призрачное присутствие молча.

Когда Анис Рушди умер, ее брат Махмуд сказал Негин, что Шакил жив, никогда потом не был женат, по-прежнему любит ее и хочет с ней повидаться. Ее дети побуждали ее встретиться с ним. Между постаревшими влюбленными не стояло теперь ничего. Императив материнства, ясное дело, помехой уже не был. И глупо, алогично было бы считать это изменой умершему Анису. Никто не мог требовать от нее, чтобы она провела весь остаток жизни в одиночестве (она пережила Аниса на шестнадцать лет), имея возможность возродить старую любовь и позволить ей осветить ее преклонные годы. Но когда с ней заговаривали об этом, она улыбалась маленькой непослушной улыбочкой и мотала головой как девочка. За годы фетвы она приезжала в Лондон несколько раз и жила у Самин, и он, когда мог, виделся с ней. Ее первый муж Шакил оставался для него всего-навсего именем. Она по-прежнему отказывалась говорить о нем, рассказывать, какой он был человек — забавный или серьезный, какую любил еду, умел ли петь, был ли он высокий, как ее прямой словно палка брат Махмуд, или небольшого роста, как Анис. В «Детях полуночи» ее сын написал про женщину, чей первый муж не мог сделать ее матерью, но этот жалкий поэт-политик Надир Хан был целиком и полностью плодом авторского воображения. От Шакила в нем не было ничего, кроме биологической проблемы. Но теперь реальный человек писал

Негин письма, но она если не улыбалась как глупая девчонка, то поджимала губы, резко мотала головой и отказывалась разговаривать на эту тему. В великом романе Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы» любящие друг друга Фермина Даса и Флорентино Ариса разлучаются, когда они еще очень молоды, но снова соединяются на закате своих дней. Негин Рушди была предложена именно такая закатная любовь, но по причинам, которых она никому не объяснила, она отказалась ее принять. У этого отказа тоже был литературный аналог — в романе Эдит Уортон «Век невинности»: Ньюланд Арчер на склоне лет, сопровождаемый взрослым сыном, сидит в каком-то параличе на маленькой площади во Франции под завешанным маркизой балконом графини Оленской, своей былой возлюбленной, и не может после всех потерянных лет подняться по лестнице, чтобы повидаться с ней. Может быть, не хочет, чтобы она увидела его пожилым. Может быть, не хочет увидеть ее пожилой. Может быть, память о том, чего ему не хватило храбрости удержать, слишком мучительна. Может быть, наоборот, он слишком глубоко похоронил прошлое и, неспособный его извлечь, с ужасом думает, что встретиться с графиней Оленской, не испытывая к ней прежних чувств, будет невыносимо.

Для меня это более реально, чем если бы я поднялся наверх, — внезапно услышал он свой голос, и опасение, что эта последняя тень реальности может внезапно рассеяться, приковало его к месту, а минуты меж тем уходили одна за другой[255].

Негин Рушди не читала ни одной из этих книг, но, если бы прочла, не поверила бы в счастливое воссоединение Фермины и Флорентино — вернее, было в ней что-то, что не позволяло ей верить в такие финалы. Она окаменела, как окаменел Ньюланд Арчер, минувшие годы словно загнали ее в угол, и, хотя при каждом упоминании его имени ее лицо преображала любовь, действовать в соответствии со своими чувствами она не могла. Для нее это было более реально, чем если бы он вернулся. И она за шестнадцать лет не ответила ни на одно его письмо, ни разу ему не позвонила и ни разу с ним не повидалась. Так и умерла вдовой своего мужа и матерью своих детей и не смогла — или не захотела — добавить к своей истории новую, последнюю главу. Иногда любви, одной любви недостаточно.

У Аниса Рушди супружество с Негин тоже было вторым. То, что они оба пережили развод, было необычно для их социального слоя, для того времени и места. Про первую жену Аниса его детям говорили только, что у нее был дурной характер и они постоянно ссорились. (А что у их отца дурной характер, дети и сами видели). И еще они знали про страшную трагедию. У Аниса и его

первой жены была дочь, их единокровная сестра, чьего имени им никогда не говорили. Однажды ночью первая жена позвонила Анису и сказала, что девочка очень больна, что она может умереть, но он ей не поверил, счел это уловкой, с помощью которой она хочет его вернуть, и пренебрег звонком — а девочка умерла. Узнав о смерти дочери, он бросился к дому первой жены, но она его не впустила, хотя он колотил в дверь кулаками и плакал.

Брак Аниса и Негин был и остался для их сына таинственным В глазах подраставших детей это был несчастливый союз, все сильней разочаровывавший отца, что выражалось в ночных приступах его пьяной злости, от которых она старалась оградить детей. Старшие — Самин и Салман — не раз принимались уговаривать родителей разойтись, чтобы они, дети, могли радоваться общению с каждым из них по отдельности, не страдая от побочных эффектов их несчастливого супружества. Но Анис и Негин не вняли этим уговорам. Под мукой этих ночей, считали они оба, есть нечто — то, что они называли любовью, — и, поскольку и он и она в это верили, любовь, следовало признать, существовала. В сердцевине человеческой близости лежит тайна, любовь непостижимым образом выживает посреди безлюбья — вот какие уроки он вынес из жизни с родителями.

И еще: если твои мать и отец были в прошлом разведены и живут теперь несчастливой жизнью «в любви», ты растешь, проникаясь мыслью, что любовь не вечна, что она — более темное, более грубое, менее уютное, менее утешительное чувство, чем поется в песнях и чем показывают в фильмах. И если так, то какие уроки из его жизни в которой браки рушились один за другим, могут извлечь его сыновья? Друг однажды сказал ему, что развод не трагедия, что трагедия — сохранение несчастливого брака. Но боль, которую он причинил матерям своих детей, двум женщинам, любившим его сильней, чем кто-либо, не давала ему покоя. И он не перекладывал вину на родителей, не ссылался мысленно на дурной пример, который они ему подали. Это были его собственные поступки, за которые он сам несет ответственность. Какие бы раны ни нанесла ему жизнь, раны, которые он нанес Клариссе и Элизабет, были тяжелее. Он любил их обеих, но его любовь была недостаточно сильна.

Он любил и сестер, и все они любили его и друг друга, но большей частью эти связи тоже оказались не вечны. Самин и он как были, так и остались очень близки. В детстве он был послушным мальчиком, а она — девчонкой-сорванцом. Он

заступался за нее перед родителями, она дралась с его обидчиками. Как-то раз отец одного из мальчиков, которых она поколотила, некто Мохан Матхан, пришел к ним домой на Виндзор-виллу и стал жаловаться на нее Анису. «Ваша дочь сбила с ног моего сына!» — возмущенно крикнул он. Анис расхохотался: «Я бы на вашем месте так не вопил — побоялся бы, что соседи услышат».

Связь между ними не ослабевала, но постепенно им делалось ясно, что их сестре Банно (Крольчушке) — по-настоящему ее звали Невид, но в семье она всегда была Банно — она не по душе. Банно была на пять лет моложе его и на четыре года моложе Самин, и главным переживанием ее детства было то, что она исключена из спайки старших. В конце концов она страшно поссорилась и с ними, и с родителями и уехала в Калифорнию, чтобы быть как можно дальше от них ото всех. Ему часто становилось больно за отколовшуюся сестру, он делал шаг ей навстречу, но после этого она врывалась в его жизнь так неистово, что он вновь отшатывался. Однажды она прониклась безумной уверенностью, что они с Самин неким обманным путем присвоили ее наследство, и пригрозила разоблачить его публично. Ему пришлось попросить юристов предостеречь ее от этого, и очень долго потом они не разговаривали. Набила, самая младшая из сестер, которую в семье звали Гульджум, начала очень хорошо — она была настоящей красавицей и талантливым инженером-строителем, — но впоследствии стала сказываться психическая неустойчивость, которая разрушила ее карьеру, брак, отношения с родными и в конце концов жизнь, она принялась жевать табак, злоупотреблять медикаментами и безудержно есть, пока ее красота не оказалась погребена под горой жира, — и потом, к потрясению тех, кто ее знал, ее нашли мертвой в ее постели, и вот как вышло, что младшая из них ушла из жизни первой.

Любви, одной любви в его семье очень часто бывало недостаточно.

Настала десятая годовщина сожжения его книги в Брадфорде, затем — десятая годовщина фетвы (*Десять лет!* — подумал он. — *Быстро же время летит, когда идет потеха*), и все те же люди издали все те же звуки. Мистер Шаббир Ахтар, которого «Индепендент» назвала «блестящим» мыслителем, заявил, что теперь они не будут сжигать «Шайтанские аяты», потому что больше не чувствуют себя «исключенными». (В последующие годы многие британские мусульмане, в том числе иные из наиболее фанатично и враждебно настроенных, высказывались в том

смысле, что кампания против романа была ошибкой. Некоторые имели в виду только то, что это была тактическая ошибка, сделавшая автора более популярным и повысившая тиражи, но кое-кто продвинулся настолько далеко, что признал важность свободы слова и ее защиты.) В День святого Валентина «стражи революции» заявили в Тегеране, что фетва «будет исполнена», Санеи с «Баунти» подтвердил, что его «уничтожение» по-прежнему планируется. Но не было ни шествий, ни митингов у мечетей, ни кровожадных проповедей, произносимых аятоллами высокого ранга. Так что эти дни прошли тише, чем он опасался.

Он продолжал добиваться от полиции послаблений. Теперь, когда на него за его деньги работает Фрэнк Бишоп, этот охранник — ведь правда же — мог бы взять на себя еще больше обязанностей, что, между прочим, здорово сэкономило бы государственные средства? Он уже в достаточной мере усвоил разницу между «угрозой» и «риском», чтобы понимать: если он, не трубя об этом заранее, приходит на частную вечеринку, в ресторан, в театр или в кино, риск почти нулевой. И нет необходимости использовать при этом целую группу охраны. Фрэнк вполне может справиться один. Но полицейские чины не захотели здесь уступить. Попросили его ничего не менять до возвращения из летней поездки на Лонг Айленд, и скрепя сердце он согласился.

Первый скандал 1999 года был связан с выдачей индийской визы. В последнюю минуту сотрудник индийского посольства сказал, что он может получить только обычную гостевую шестимесячную визу, и Виджаю Шанкардассу пришлось идти в посольство и встречаться там с высоким комиссаром[256] Лалитом Мансингхом и с оказавшимся в тот момент в Лондоне министром иностранных дел Индии, в результате чего они согласились-таки «поступить как должно» и предоставить ему полноценную пятилетнюю визу, на которую он как уроженец Индии имел право. Было обещано, кроме того, что во время поездки в Индию его будет защищать индийская полиция.

И тут же «вознегодовали» индийские мусульмане. Неистовый старый имам Бухари из делийской мечети Джума Масджид (который десять лет назад по ошибке заклеймил не того Салмана) гневно осудил решение о визе перед трехтысячной толпой во время пятничной молитвы. Он заявил, что «готов умереть», лишь бы не допустить приезда Рушди. Два дня спустя иранская газета «Техран таймс» предсказала, что в Индии его убьют: «Может быть, само Провидение позаботилось о том, чтобы этот бесстыдный человек встретил свой конец там же, где родился». В Индии единственной, помимо БДП, партией, которая устами своего

лидера поддержала выдачу ему визы, была Коммунистическая партия Индии (марксистская) Мани Шанкар Айяр из Индийского национального конгресса сказал, что его партия была «совершенно права», запретив «Шайтанские аяты» и не впуская автора в страну, и что БДП, давшая ему визу, должна будет «отвечать за последствия». Но к этому он, странным образом, добавил, что, если господин Рушди приедет в Индию, «его как гостя надо будет встретить радушно». Имам Бухари заявил, что мусульмане будут «протестовать, оставаясь в рамках конституции», но, если какой-нибудь правоверный мусульманин решит убить святотатца, он получит поддержку всех мусульман. Писательница Гита Харихаран прислала ему серию идеологически-наставительных электронных писем, которые не вызвали у него ничего, кроме досады. Ясно было, что поездку в Индию придется отложить, пока страсти не улягутся.

Позвонила Тереза, помощница Боно:

— Здравствуйте, Салман! У вас есть текст вашей песни — как она называется — «Земля под ее ногами»?

— Есть, конечно.

— Вы не могли бы прямо сейчас переслать его факсом в студию? Они собрались записывать, но Боно потерял словс.

— Могу, разумеется. Само собой. Сейчас перешлю.

Потом некоторое время — одни лишь болезни, врачи и взмахи крыльев ангела-губителя. На несколько дней к ним с Элизабет на Бишопс-авеню приехали ее двоюродная сестра Кэрол Нибб с мужем Брайаном, и поздно вечером он впервые увидел безволосую из-за химиотерапии голову Кэрол. Помимо воли ему вспомнилась сцена из «Ведьм» Роальда Даля, где ведьмы сбрасывают маскирующую их «человеческую» оболочку. Он очень хорошо относился к Кэрол и был зол на себя за эту, мягко говоря, постыдную реакцию. Она побывала в Америке у доктора Канти Раи, и он лечил ее, однако эффект от лечения оказался не таким хорошим, как у Эдварда Саида, и прогноз был не очень благоприятным. Но еще не все потеряно, сказала она, стараясь выглядеть бодро.

Умерла Айрис Мердок. Вскоре после того, как вышел ее последний роман «Дилемма Джексона», который критики разнесли в пух и прах, он побывал на ланче в ее честь в Совете по искусству. Айрис, вспомнилось ему, была в мрачном настроении и сказала ему, что ей, похоже, пора перестать писать. «Несколько плохих рецензий не причина, — отозвался он. — Вы *Айрис Мердок*». — «Да, — печально промолвила она, — но если людям

уже не нравится то, что ты делаешь, и у тебя иссякли идеи, тебе, видимо, надо поставить точку». Всего через несколько месяцев у нее диагностировал болезнь Альцгеймера.

И умер Дерек Фатчетт. Внезапный сердечный приступ в пабе — и его не стало. Никто так упорно, как он, и с такой решимостью не работал над решением проблемы фетвы. Ему было только пятьдесят четыре года.

Он страдал так называемым блефароптозом — опущением верхних век. Чем дальше, тем веки поднимались хуже, особенно правое. Это начинало сказываться на зрении. Если не сделать операцию, придет время, когда он вообще не сможет открыть глаза. Его полуопущенные, как у Сонного Лабифа[257], веки нередко метафорически соотносили с его злодейской натурой, но оказалось, что эта особенность — чисто медицинского свойства.

Лучшим из хирургов, оперировавших блефароптоз, был мистер Ричард Коллин. Его должны были положить в Офицерский госпиталь короля Эдуарда VII, где, по словам мистера Коллина, «оперировалась вся королевская семья», но, когда он уже собирался лечь, ему сказали, что старшая сестра госпиталя отказывается его принять по соображениям безопасности. Полицейские поехали к ней, поговорили и, к счастью, успокоили ее, так что операция могла состояться. Его постоянно угнетало, что он находится в такой зависимости от чужих страхов: словно тебя бьют по лицу, а ты не можешь дать сдачи. Потом — накануне операции — позвонила Кларисса. Зафар вознамерился бросить колледж. Возненавидел его. Это «говнюшник», сказал он. Ему предложили заведовать лондонским ночным клубом, он хотел устраивать концерты, надеялся вместе с другом организовать что-то масштабное на стадионе «Уэмбли» — вот какой жизнью он хотел жить. Ко всему, он превысил кредит в банке, это тоже надо урегулировать. Их обоих очень беспокоило, что он живет, как выразилась Кларисса, «в заоблачном птичьем царстве», и это беспокойство снова их сблизило. Зафару нужны были сильные родители, действующие заодно. Они поговорили с ним, и он отказался от идеи концерта на «Уэмбли». Нехотя, но отказался.

Когда он пришел в сознание после операции, на его глазах была повязка. Он позвал, но никто не откликнулся «Кто-нибудь!» Он позвал еще раз, потом еще раз — никакого ответа. Он не знал, где он, и он был слеп, и никто не подавал голоса. Может быть, случилось что-то очень скверное? Может быть, его похитили? Или он находится в каком-то преддверии ада, дожидаясь, пока у дьявола найдется на него время? *Кто-нибудь, кто-нибудь, кто-*

нибудь! тишина *вы меня слышите?* нет, не слышат *есть тут люди, есть тут люди?* если и есть, то молчат. Прошло несколько минут — или недель — слепой (буквально) паники, пока не раздался голос медсестры. Да, она здесь, она просит прощения, Элизабет только что поехала домой спать, сейчас три часа ночи, и ей просто понадобилось в уборную. *Тютелька в тютельку,* подумал он. *Я выхожу из анестезии именно тогда, когда медсестра отлучилась по малой нужде.*

Утром повязку сняли, и наступил другой диковинный момент: веки поначалу неправильно реагировали на сигналы мозга, бешено и вразнобой трепыхались — но потом все пришло в норму, нож хирурга не лишил его зрения, ему принесли зеркало, и он увидел свои широко открытые глаза. Может быть, правый был открыт даже чуточку широковато. «Да, — сказал мистер Коллин. — Давайте оставим так на недельку, а потом, может быть, слегка подправим».

Его обновленные веки впервые вышли в свет, когда у Рути и Ричарда Роджерс отмечалась десятая годовщина свадьбы Найджелы Лоусон и Джона Дайамонда, — отмечалась нарочито бодро, хотя настроение у всех было подавленное. Медицинские новости о Джоне были хуже некуда, о новой операции вопрос уже не стоял, химиотерапия могла немного отсрочить развязку — и только. Его друзья собрались, чтобы воздать хвалу его жизни, и Джон «произнес речь», которую он писал на бумаге, а проектор тем временем высвечивал на высокой белой стене, — речь, замечательную прежде всего тем, что она заставляла компанию покатываться со смеху.

Между тем его прооперированные веки производили на людей сильное впечатление. *У вас что, новые очки? Вы так хорошо выглядите! Вы где-то загорали? У вас такой… счастливый вид!* Потом, когда история просочилась в прессу, «Санди таймс» опубликовала заметку, где чуть ли не извинялась за то, каким она видела его на протяжении лет. Вдруг газета поняла, что его «отчужденный, высокомерный, зловещий взгляд гангстера» — всего лишь результат прогрессировавшего заболевания век. Он, писал автор заметки, выглядел теперь «ожившим, заново родившимся». В общем, «как обманчив человеческий взгляд!».

Еще до того как Ричард Коллин подправил его чересчур вытаращенный правый глаз, он поехал в Турин получить почетную докторскую степень, и на фотографиях, сделанных по этому случаю, вид у него слегка безумный. Поездка прошла хорошо: полицейские были настроены дружественно, во всем помогали, не чинили никаких помех — не то что их коллеги в Мантуе. Вместе с ним чествовали Джона Боймера-третьего —

медика из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, специалиста по раку полости рта, который произнес малоприятную речь о новых подходах к лечению карциномы полости рта — как языки пришивают к щекам и тому подобное, — а он, слушая, думал: «Ничто из этого не спасло моего друга».

Вышло так, что президент Ирана Хатами в тот же день прилетел с визитом в Рим, и пресса, взволновавшись из-за этого случайного совпадения, обыгрывала его на все лады. Хатами, разумеется, не поверил, что это случайность, и «резко критиковал» Европу за поддержку писателя. «Поддерживать Рушди — значит поддерживать войну между цивилизациями, — заявил он. — Мне очень жаль, что человека, оскорбившего то, что свято для более чем миллиарда мусульман, сейчас чествуют в европейских странах». Этот человек говорил, что не хочет столкновения цивилизаций и вместе с тем называл все, что ему не нравилось, «войной»; он объявлял себя «противником терроризма», но для таких человеконенавистнических актов, как фетва, почему-то делал исключение: это, мол, не терроризм, а справедливость. И это был «умеренный» деятель, на чье слово британское правительство просило его положиться.

Приближалась дата выхода в свет в Америке «Земли под ее ногами», и авторское турне по США порождало проблемы. Большинство европейских авиакомпаний были теперь готовы пускать его в самолет, но американские по-прежнему отказывались. Он мог прилететь в Нью-Йорк, а потом посредством «Эйр Канада» добраться до Тихоокеанского побережья, но, чтобы побывать в остальных частях страны, надо было нанять частный самолет. К тому же — расходы на охранников из фирмы Джерри Глейзбрука. На двухнедельное турне где-то надо было раздобыть 125 тысяч долларов, из которых издатели готовы были заплатить только около сорока тысяч. Он поговорил с Эндрю Уайли и Джерри Глейзбруком, и они сумели уменьшить стоимость охраны на десятки тысяч; организации и компании, предоставлявшие площадки для презентаций, могли в общей сложности вложить примерно 35 тысяч — сюда входили гонорары за выступления и плата за охрану. Если он пожертвует гонораром за отрывок из книги, напечатанный «Нью-Йоркером», и трех- или четырехмесячным доходом от синдицированной колонки в «Нью-Йорк таймс», они смогут заплатить по счетам. Он твердо решил, что турне должно состояться, и сказал Эндрю, что согласен, пусть это и значило, что он сказывается примерно от восьмидесяти тысяч долларов дохода. В Англии рецензии на книгу уже вышли и были большей частью весьма положительными, и он не хотел,

чтобы американское издание страдало.

Подолгу раздумывать об отзывах критиков, хорошими они были или нет, смысла не было, но странный случай Джеймса Вуда, пожалуй, заслуживает короткого замечания. Мистер Вуд отрецензировал «Землю под ее ногами» в «Гардиан», которая, кроме того, первой из британских изданий поместила отрывок из книги, и его оценка была очень лестной: «Его впечатляющий новый роман… немалое достижение, плод изобретательного ума, вещь, сложная по построению… блестящий роман… жизнерадостная, добрая, изобилующая каламбурами, [книга] одаривает читателя творческой радостью — такой щедрости после „Детей полуночи“ мы еще не видели. Подозреваю, что у читателей Рушди эта книга заслуженно станет любимой». *Что ж, спасибо, Джеймс,* подумал он. Но, когда роман вышел в Соединенных Штатах, мистер Вуд высказался о нем куда более критично. Его новая рецензия — в «Нью репаблик» — была новой версией статьи в «Гардиан», версией «заслуженно» неодобрительной. Теперь оказалось, что книга — его «типично постмодернистская неудача», где «соблазнительная скабрезность страдает от недостатка земли под ее ногами». Вторая рецензия была напечатана всего через семь недель после первой. Критику, так противоречащему себе в соответствии с литературными вкусами заказчиков, пожалуй, следовало дать на этот счет кое-какие объяснения.

Он полетел в Нью-Йорк давать интервью и почти сразу же по прибытии почувствовал себя очень больным. Он изо всех сил старался не нарушать напряженного графика, но в конце концов с высокой температурой обратился-таки к врачу. Тот обнаружил серьезный бронхит, грозивший перейти в пневмонию, и, промедли он еще день, ему почти наверняка пришлось бы лечь в больницу. На сильных антибиотиках он каким-то образом сумел выполнить программу интервью. Когда работа была сделана, ему стало лучше, хоть он и чувствовал слабость, и он отправился на прием к Тине Браун[258], где в какой-то момент оказалось, что он стоит в кружке гостей, который составляют Мартин Эмис, Мартин Скорсезе, Дэвид Боуи, Иман[259], Харрисон Форд[260], Калиста Флокхарт[261] и Джерри Сайнфелд[262]. «Мистер Рушди, — нервно обратился к нему Сайнфелд, — вы видели ту серию нашего сериала[263], где мы обыграли ваше имя?» В этой серии Креймер заявляет, будто встретил в бане «Салмана Рушди». Этого человека, как выясняется, зовут Сол Басс (Sal Bass), и они с Джерри сочли это псевдонимом, под которым скрывается Salmon[264]. Когда он заверил мистера Сайнфелда, что от души посмеялся над этой серией, комик испытал заметное облегчение.

Турне по восьми американским городам прошло спокойно, если не считать того, что в Лос-Анджелесе организаторы большой книжной ярмарки «БукЭкспо Америка» отказались пустить его на территорию. Зато его пригласили в этом городе в Плейбой-мэншн[265], чей владелец явно оказался более храбрым человеком, чем организаторы БЭА. Морган Энтрекин, глава издательства «Гроув / Атлантик», выпустил книгу Хефнера «Столетие секса: история сексуальной революции по версии „Плейбоя“», и за это ему позволили устроить в особняке вечеринку для книжной публики. Книжная публика в назначенное время потянулась в гору по Холмби-Хиллз, а потом взволнованно пила тепловатое шампанское в шатре на лужайке посреди Хефнерландии под презрительными взглядами смертельно скучающих официанток-«крольчушек». Посреди вечера к нему подскочил Морган в обществе молодой блондинки с милой улыбкой и невероятной фигурой. Это была Хедер Козар, новоизбранная Подружка года, очень юная девушка с великолепными манерами, которая с обескураживающим упорством называла его «сэр». «Очень жаль, сэр, но я не читала ни одной вашей книги, — извиняющимся тоном сказала она. — Честно говоря, я мало книг читаю, я от них устаю, и мне спать хочется». Да. согласился он, да, со мной часто бывает ровно то же самое. «Но есть такие книги, сэр, — добавила она, — например, „Вог“, что мне, чувствую, надо их читать, чтобы не отстать от событий».

Он вернулся в Лондон, ему подправили веки, взгляд у него стал нормальным, потом отпраздновали двухлетие Милана, потом — двадцатилетие Зафара, потом ему исполнилось пятьдесят два. В день его рождения к ужину пришли Самин со своими двумя девочками, Полин Мелвилл и Джейн Уэлсли, а через несколько дней он отправился с Зафаром на центральный корт Уимблдона, где в полуфинале Сампрас победил Хенмана. Если бы не полицейские, жизнь можно было бы считать почти нормальной. Старые тучи, возможно, мало-помалу рассеивались, но собирались новые тучи. «Противоречие между Э. и мной из-за вопроса о жизни в Нью-Йорке угрожает нашему браку, — писал он в дневнике. — Выхода я не вижу. Нам придется проводить время раздельно: мне в манхэттенской квартире, ей в Лондоне. Но как вынести разлуку с этим милым малышом, которого я так люблю?»

В середине июля они на девять недель отправились в Бриджгемптон в дом Гробоу, и в эти-то недели он и поддался своей милленаристской иллюзии.

Даже если ты не верил, что приближающийся миллениум —

конец тысячелетия — сулит второе пришествие Христа, тебя могла соблазнить романтическая «милленаристская» идея, что такой день, наступающий раз в тысячу лет, может принести великую перемену и что жизнь — жизнь всего мира, но еще и жизнь конкретного человека в нем — в новом тысячелетии, возможно, станет лучше. *Что ж, надеяться — это не запрещено,* подумал он.

В начале августа 1999 года милленаристская иллюзия, которая возьмет над ним власть и изменит его жизнь, явилась ему в женском обличье — где бы вы думали — на острове Либерти. Ну разве не смешно, что он встретился с ней под статуей Свободы? В художественной литературе символика этой сцены показалась бы избыточной и тяжеловесной. Но жизнь как она есть порой вдалбливает в тебя свое так, чтобы ты уж точно усвоил, и в его жизни как она есть Тина Браун и Харви Уайнстайн[266] устроили на острове Либерти вечеринку на широкую ногу, отмечая рождение своего журнала «Ток», которому не суждено было долголетие, и расцветали фейерверки, и Мейси Грей пела: I try to say goodbye and I choke, I try to walk away and I stumble[267], и список гостей охватывал весь человеческий спектр от Мадонны до него самого. В тот вечер он не встретился с Мадонной лицом к лицу, а то, может быть, спросил бы ее про слова, которые ее помощница Каресс сказала телепродюсеру, пославшему Мадонне экземпляр «Земли под ее ногами» в надежде на благосклонный отзыв из уст знаменитости — ведь главной героиней книги была пусть вымышленная, но рок-певица, звезда первой величины. «О нет, — заявила Каресс. — Мадонна не *прочла* эту книгу. Она ее *растерзала*». (Несколько лет спустя, когда они с Зэди Смит[268] встретили Мадонну на вечеринке журнала «Вэнити фэр» по случаю вручения «Оскаров», она говорила только о ценах на недвижимость в лондонском районе Марбл-Арч, и он не решился поднять вопрос о растерзанной книге — не решился еще и потому, что они с Зэди из последних сил сдерживали смех, глядя на высокого, породистого молодого итальянского жеребца, который, похоже, сумел произвести впечатление на госпожу Чикконе. «Вы ведь итальянка? — соблазнительно шептал он ей, низко наклонив голову. — Мне это сразу видно…»)

Элизабет осталась в Бриджгемптоне с Миланом, а он поехал в город с Зафаром, Мартином и Исабель. К деревьям на острове Либерти были подвешены лампочки, от воды налетал освежающий летний ветерок, они никого здесь не знали, да и попробуй разгляди в густеющих сумерках, кто есть кто, но в этом не было ничего плохого. И вот под китайским фонариком у пьедестала, на котором высилась огромная медная дама, он

лицом к лицу встретился с Падмой Лакшми и сразу понял, что уже видел ее — вернее, видел ее фотографию в итальянском журнале, где поместили и его снимок, — и ему вспомнилось, что он тогда подумал: «Если когда-нибудь с ней познакомлюсь — все, моя песенка спета». Теперь он сказал: «Вы — та красивая индианка, которая вела программу на итальянском телевидении, а потом вернулась в Америку, чтобы стать актрисой». Она не верила, что ему могло быть о ней известно, и поэтому начала сомневаться, что он — тот, кем она его сочла, и заставила произнести его имя и фамилию, после чего лед был сломан. Нескольких минут разговора им хватило, чтобы обменяться телефонами, и на следующий день, когда он ей позвонил, номер был занят, потому что она в этот момент звонила ему. Он сидел в своей машине у бухты Микокс-Бэй на Лонг-Айленде, смотрел на сверкающую воду и чувствовал, что его песенка спета.

Он был женатый человек. Дома его ждали жена и двухлетний сын, и, не будь обстановка в семье такой, какой она была, до него дошла бы очевидная истина, что видение, в котором, казалось, воплотились все его чаяния — мисс Свобода из плоти и крови, — не что иное, как мираж, и что броситься к ней, словно она существует на самом деле, значит навлечь беду на себя, причинить немыслимую боль жене и взвалить непомерную ношу на плечи самой Иллюзии — американки индийского происхождения, у которой были честолюбивые замыслы и тайные планы, не имевшие ничего общего с исполнением его глубинных желаний.

Ее имя и фамилия были диковинкой — именем, рассеченным надвое матерью после развода. Она родилась в Дели (хотя бóльшая часть ее семьи, принадлежавшей к тамильским брахманам, жила в Мадрасе), и поначалу ее звали Падмалакшми Вайдьянатхан, но Вайдьянатхан, ее отец, бросил ее и ее мать Виджаялакшми, когда девочке был всего год. Виджаялакшми немедленно избавилась от фамилии бывшего мужа, превратив свое имя, как и имя дочери, в имя и фамилию. Вскоре она эмигрировала с дочкой в Америку, получила ответственную должность медсестры в онкологическом центре Слоуна и Кеттеринга в Нью-Йорке, затем переехала в Лос-Анджелес и снова вышла замуж. Падма впервые встретила отца, когда ей было без малого тридцать лет. Еще одна женщина, рано лишившаяся одного из родителей. Его любовная жизнь раз за разом повторяла один и тот же образец.

«Ты погнался за иллюзией и ради нее принес в жертву свою семью», — сказала ему потом Элизабет, и была права. Призрак Свободы был миражом, мечтой об оазисе. Эта женщина, казалось,

соединяла в себе его индийское прошлое и его американское будущее. Она была свободна от мучивших их с Элизабет опасений и забот, от которых Элизабет никак не могла отрешиться. Она была его мечтой о том, чтобы отрешиться от всего этого и начать сызнова, — американской мечтой, грезой о корабле «Мэйфлауэр», на котором прибыли в Америку первые колонисты, фантазией еще более манящей, чем ее красота, а красотой она затмевала солнце.

Дома — очередная крупная ссора из-за того, из-за чего они ссорились теперь постоянно. Желание Элизабет в ближайшем будущем завести еще детей, которое он не разделял, вступало в конфликт с его недоосуществленной мечтой обрести в Америке свободу, которой она боялась, и этот конфликт неделю спустя погнал его в Нью-Йорк, где в его номере в «Марк-отеле» Падма сказала ему: «У меня внутри сидит другая „я“, плохая, и когда она выходит наружу, она просто берет то, чего ей хочется», — но даже это предостережение не заставило его со всех ног ринуться домой, в свою супружескую постель. Его Иллюзия стала слишком могущественна, чтобы ее могли рассеять какие бы то ни было доводы, выдвигаемые действительностью. Нет, она не могла быть той мечтой, с которой он ее отождествлял. Ее чувство к нему — он в этом убедится — было настоящим, но оно было перемежающимся. Честолюбие то и дело овладевало ею настолько, что для чувства не оставалось места. У них была некая совместная жизнь — восемь лет с первой встречи до развода, поставившего точку, немаленький промежуток времени, — и под конец, что было неизбежно, она разбила его сердце, как он разбил сердце Элизабет. Под конец она стала лучшим орудием мести, какое только могла пожелать Элизабет.

Тогда у них была лишь одна ночь. Она вернулась в Лос-Анджелес, он — на Литтл-Нойак-Пат, а потом в Лондон. Он работал над восьмидесятистраничной заявкой, куда входили планы четырех романов и сборника эссе, — над заявкой, которая, он надеялся, принесет ему достаточно денег, чтобы купить жилье на Манхэттене, — а отношения с Элизабет у него по-прежнему были натянутые; он встречался с друзьями, получил почетную докторскую степень в Льеже, порадовался тому, что Гюнтеру Грассу наконец дали Нобелевскую, а не слишком огорчаться из-за того, что его (наряду с удостоенными больших похвал Викрамом Сетом и Родди Дойлом) не включили в шорт-лист Букеровской премии, ему помогали поздние звонки Падме в ее квартиру в Уэст-Голливуде, благодаря которым ему становилось так хорошо, как не было очень давно. Потом он поехал в Париж на презентацию французского перевода «Земли под ее ногами», она

прилетела к нему, и это была неделя опьяняющей радости, прерываемой чувством вины, которое било по нему точно молотком.

Зафар не вернулся в Эксетер, но переживания его родителей по этому поводу вдруг стали несущественны, потому что Клариссу положили в больницу: из-за серьезной инфекции в области ребер у нее в легких оказалось более литра жидкости. Она еще некоторое время назад начала жаловаться своему терапевту на сильный дискомфорт, но тот не послал ее ни на какие анализы — сказал, что все это ее воображение. Теперь она хотела подать на него в суд за врачебную халатность, но за ее сердитыми словами чувствовалась паника. С тех пор как ей объявили, что рака у нее больше нет, прошло почти ровно пять лет, и ей показалось было, что можно успокоиться, но сейчас ею овладел великий страх: неужели то, страшное, вернулось? Она сказала ему по телефону: «Я не говорила Зафару, но может быть вторичный рак в легком или на кости. Рентген на следующей неделе, и, если есть хотя бы маленькая тень, вероятно, я неоперабельна». Ее голос дрожал и прерывался, но потом она взяла себя в руки. Она держалась мужественно, но после уик-энда позвонил ее брат Тим и подтвердил: рак дал рецидив. В жидкости, выкачанной из легких, обнаружили раковые клетки. «Вы скажете Зафару?» Да, он скажет.

Это было самое тягостное, что ему приходилось сообщать сыну. Зафар этого совершенно не ждал — или отгонял мысль, что такое может случиться, — и был страшно потрясен. Во многом он больше походил на мать, чем на отца. У него был ее затаенный темперамент, ее зеленые глаза, и, как она, он любил приключения; вдвоем они путешествовали на внедорожнике по валлийским холмам, неделями колесили на велосипедах по Франции. В годы кризиса, случившегося в жизни отца, она не оставляла Зафара ни на один день, она сохранила ему детство и помогла вырасти и не сойти с ума. Трудно было себе представить, что из родителей Зафар первой потеряет ее.

«О мой милый любящий сын, — писал он в дневнике, — с какой болью я должен помочь тебе справиться!» Рентген показал, что рак затронул кость, и об этом тоже Зафару мог сообщить только его отец. Глаза юноши наполнились слезами, он задрожал, и когда отец ненадолго его обнял, он не воспротивился. Врачи сказали: если лечение подействует, Кларисса, может быть, проживет еще несколько лет. Он этому не поверил и решил обрисовать сыну положение как оно есть. «Зафар, — промолвил он, — о раке я знаю вот что: если он завладел организмом, он

развивается очень быстро». Он вспоминал про своего отца, про то, как стремительно расправилась с ним миелома. «Да, — проговорил Зафар умоляющим голосом, — но у нее по крайней мере еще месяцы и месяцы, правда же?» Он покачал головой. «Боюсь, — сказал он, — что это будут недели, если не дни. В конце это иногда похоже на падение с обрыва». У Зафара был такой вид, словно его со всей силы ударили по лицу. «О… — вырвалось у него, а потом опять: — О…»

Она лежала в Хаммерсмитской больнице, и день ото дня ей становилось все хуже. Тим сказал, что рак, как выяснилось, затронул и легкие, что она дышит через кислородную маску и не может есть твердую пищу. Быстрота ее угасания приводила в ужас. Врачи из-за ее слабости не знали как с ней быть.

Они не могли ни оперировать ее, ни начинать химиотерапию, пока не решат проблему жидкости, наполняющей легкие, а Кларисса тем временем все слабела.

Да, она умирает, понял он. Жить ей осталось совсем недолго.

Зафар позвонил мистеру Уаксману, старшему консультанту Хаммерсмитской больницы; Уаксман отказался обсуждать ее состояние по телефону, но согласился поговорить с Зафаром, если он приедет в больницу. «Это значит — ничего хорошего», — заключил Зафар, и оказался прав. Потом Зафар побывал у терапевта Клариссы, и тот признал, что совершил «две крупные ошибки». Он не принял всерьез боли в груди, когда она впервые о них упомянула, и не изменил мнения о них позже, хотя она жаловалась на боли неоднократно. «В восьмидесяти пяти процентах случаев боли в груди вызываются стрессом, — сказал врач, — и я руководствовался статистикой». К тому же еще двух месяцев не прошло, как она сделала маммограмму, и там все было чисто. Но рак рецидивировал не в молочных железах. Она начала жаловаться на боли еще в июне или начале июля, напомнил Зафар врачу, а он ничего не предпринял. И тут черствый человек сказал сыну умирающей глупые и жестокие слова: «Вы же знаете, у нее до этого был очень серьезный рак, но я не уверен, что она это осознала как следует. Теперь ее дни сочтены».

«Я доберусь до этого гада, — написал он в дневнике. — Я до него доберусь».

2 ноября 1999 года, во вторник, он поехал с Зафаром к Клариссе. Она исхудала, пожелтела, была очень слаба и очень напугана. Она с трудом смогла расписаться на чеках, которые попросила его послать. Не хотела подписывать завещание, но в конце концов подписала. Уаксман сказал, что химиотерапию надо начинать немедленно — это ее единственный шанс, вероятность

успеха, сказал он, шестьдесят процентов, но звучало неубедительно. Лицо Зафара окаменело от отчаяния, и хотя его отец пытался говорить что-то оптимистичное, это не помогало.

На следующее утро Уаксман сказал, что надежды нет и счет идет на дни. Начали химиотерапию, но реакция на нее неблагоприятная и пришлось прекратить. Больше ничего сделать нельзя. «Можно», — возразил Зафар, который всю ночь прочесывал интернет и нашел «чудодейственное» лекарство. Мистер Уаксман мягко объяснил ему, что все это бесполезно: слишком поздно.

Интернет. К этому слову они тогда начинали привыкать. В том году кто-то впервые произнес при нем слово Google. *Открывались новые электронные горизонты — возникала новая страна приключений, «terra incognita, которая простирается перед тобой, куда ни взгляни», если вспомнить слова Оги из романа Беллоу. Если бы этот «Google» существовал в 1989 году, кампания против него распространилась бы так быстро и широко, что он бы не уцелел. Ему повезло, что на него ополчились еще до начала информационной эпохи. Однако в тот день не ему выпало умирать.*

Ему сказали — ей осталось меньше суток, он сидел у ее постели, держа ее руку и руку Зафара, а Зафар держал ее другую руку. Рядом были Тим, его жена Элисон и лучшие подруги Клариссы — Розанна и Эврил. В какой-то момент ее сон перешел во что-то худшее, и тогда Зафар отвел его в сторону и спросил: «Ты сказал, в конце все происходит очень быстро, — это оно самое? Из лица как будто вся жизнь ушла». Он подумал — да, может быть, и подошел к ней попрощаться. Наклонился и три раза поцеловал ее в висок — и вдруг она села и открыла глаза. *Ничего себе поцелуй,* подумалось ему, а она повернулась к нему, посмотрела в упор и спросила — в ее взгляде читался ужас: «Я не умираю, нет?» — «Нет, — солгал он, — ты просто отдыхаешь», — и все последующие годы он спрашивал себя, имел ли он право на эту ложь. Он надеялся, что, если он сам задаст такой вопрос на смертном одре, ему ответят правду, но он видел, в каком она ужасе, и не в состоянии был сказать все как есть. После этого ей как будто стало получше, и он допустил еще одну ужасную ошибку. Поехал с Зафаром домой немного отдохнуть. Но пока они спали, она опять впала в забытье, и никакие орфические силы любви уже не могли здесь помочь. На этот раз она не очнулась. В 12.50 ночи позвонил телефон, он услышал голос Тима и понял, какую совершил глупость. Зафар, высокий, крупный молодой человек, всю дорогу, пока полицейские со скоростью ветра мчали их в Хаммерсмитскую больницу, проплакал у него в объятиях.

Кларисса умерла. Она умерла. Тим и Розанна были с ней до

конца. Ее покрытое простыней тело лежало в палате. Рот был слегка приоткрыт, словно она пыталась что-то сказать. Она была прохладна на ощупь, но еще не совсем остыла. Зафар не мог с ней оставаться. «Это не мама», — сказал он и вышел, не стал смотреть, не стал встречаться с мертвой. А он, наоборот, очень долго не мог уйти. Просидел около нее и проговорил с ней всю ночь. Говорил об их долгой любви, о своей благодарности за сына. Снова сказал ей спасибо за то, что была Зафару матерью в эти трудные времена. Годы, минувшие после их расставания, точно растаяли, и в ту самую ночь, когда его прежнее «я», его былая любовь были утрачены навсегда, его чувствам открылся в прошлое полный доступ. Охваченный горем, он не мог справиться с рыданиями и винил себя за многое.

Его беспокоило, что Зафар может замкнуться в своем горе, как могла бы замкнуться Кларисса, но нет — сын говорил целыми днями, вспоминал все, что они делали вместе, — велосипедные поездки, прогулки на яхтах, время, проведенное в Мексике. Он проявил замечательную зрелость и мужество. «Я очень горжусь моим мальчиком, — писал в дневнике его отец, — и окружу его любовью».

Клариссу кремировали 13 ноября 1999 года, в субботу, в крематории на Голдерз-Грин. Ехать за катафалком было невыносимо. Ее мать Лавиния, когда дочь отправилась в последний путь, совсем потеряла самообладание, и он обнял ее, плачущую. Они двигались через Лондон Клариссы, через Лондон, в котором они жили вместе и раздельно, — через Хайбери, Хайгейт, Хэмпстед. «О… О…» — стонал он про себя. У крематория ждали двести с лишним человек, и у всех на лицах было горе. Он говорил у ее гроба, как у них все начиналось, как он впервые увидел ее на благотворительном вечере несущей «Маме» Касс Эллиот[269] на сцену чай, как их друзья Конни Картер и Питер Хейзелл-Смит устроили ужин вчетвером, чтобы их познакомить, как он ждал ее два года. «Я влюбился быстро, она медленно», — сказал он. Как в июньское воскресенье у них родился сын, их самое большое сокровище. После родов акушерка выставила его за дверь на то время, пока они все убирали и одевали молодую мать, и он бродил по пустым воскресным улицам, искал цветы и дал продавцу газет за «Санди экспресс» десятифунтовую бумажку просто ради возможности сказать: «Сдачи не надо, у меня сын родился». *Мы никогда не расходились из-за тебя во мнениях, Зафар, и теперь она живет в тебе. Я гляжу на твое лицо — и вижу ее глаза.*

Последующие месяцы были для Зафара, пожалуй, самым тяжелым временем. Он горевал по матери, а между тем его дом

на Берма-роуд был продан, и ему надо было искать себе новое жилье. Вдобавок из музыкального турне с диджеями Фэтсом и Смоллом, которое он рекламировал, ничего не вышло, его деловой партнер Тони испарился, оставив ему на прощание немалые долги, и его отец, выручая его, изрядно потратился, так что на какое-то время — ненадолго — Зафаром овладело чувство, что он лишился всего: матери, работы, дома, веры в себя, надежды, а тут еще отец сообщает ему, что, вероятно, расстанется с Элизабет и уедет жить в Америку. Чудненько!

И приятно спустя дюжину лет иметь возможность сказать: Зафар доказал, что правильно выбрал путь, он поразительно упорным трудом пробил себе дорогу, с успехом сделал карьеру в мире развлечений, паблик рилейшнз и организации публичных мероприятий, его повсюду любят и уважают, и пришло время, когда уже не ему говорят: «О, вы сын Салмана», а говорят его отцу: «О, вы папа Зафара».

Дорогой я в 52 года!

Это что такое? Твой старший сын лежит на полу, сам не свой от горя из-за смерти матери и из-за экзистенциального страха перед будущим, твоему младшему всего два года, а ты присматриваешь себе квартиру в Нью-Йорке, то гоняешься в Лос-Анджелесе за своей опиумной грезой, которая в Хэллоуин всегда наряжается в костюм Покахонтас и которая сулит тебе крах? Вот, значит, ты каков? Ну и рад же я, что ты повзрослел и стал мной!

Искренне твой
я в 65 лет.

Дорогой 65!
Повзрослел? Ты уверен?
Искренне твой
52.

«Мы с тобой один человек, — сказала она ему, — мы хотим одного и того же». Он начал знакомить ее со своими нью-йоркскими друзьями, начал знакомиться с ее друзьями, и, когда он был с ней в Нью-Йорке, он знал, чего хочет: новой жизни в Новом Свете, жизни с ней. Но был вопрос, который возник и не уходил: насколько жестоким он готов быть в этом стремлении к счастью для себя?

Был и другой вопрос. Те, у кого он мог бы купить жилье, — не испугаются ли они попросту, черт бы их драл, висящей у него над головой тучи? Он-то считал, что туча рассеивается, но другие

могли думать иначе. Были квартиры, которые ему понравились — в Трайбеке, в Челси[270], — но с ними ничего не вышло, потому что запаниковали застройщики: никто, сказали они, не захочет жить с ним в одном доме. Риэлторы говорили, что понимают застройщиков. Но он твердо решил добиться своего вопреки их нежеланию.

Он полетел в Лос-Анджелес к Падме, и в первый же вечер она спровоцировала дикую ссору. Мир яснее ясного давал ему понять, что он находится не в том месте, не с той женщиной, не в том городе, не на том континенте и не в то время. Он переехал из ее квартиры в отель «Бель-Эйр», забронировал более ранний рейс в Лондон и позвонил Падме: сказал, что чары рассеялись, он пришел в чувство и возвращается к жене. Потом сказал по телефону Элизабет, что его планы изменились, но спустя считаные часы Падма стучала в дверь его номера и умоляла простить ее. К концу недели она вернула его себе.

Эти месяцы нерешительности причинили Элизабет более тяжкие страдания, чем что бы то ни было, — он отчетливо видел это и тогда и позже. Он пытался попрощаться — и осекался. Он пытался уйти — и спотыкался. Эти его метания взад-вперед ранили ее все больнее. Он возвращался в Лондон, и Падма слала ему электронные письма, полные обжигающей страсти. *Погоди же у меня. Я одного хочу — твоего блаженства. Жду не дождусь, чтобы я смогла уморить тебя счастьем.*

А тем временем за несколько дней до Рождества дом на Бишопс-авеню был ограблен.

Берил, помогавшая им по хозяйству, придя утром, увидела, что входная дверь распахнута и что один из их чемоданов и ящик Зафара с инструментами вынесены во двор. На первом этаже все внутренние двери были открыты, что тоже было необычно. Они привыкли запирать их на ночь. Ей послышалось какое-то движение наверху, она подала голос, не получила ответа, испугалась, решила не входить и позвонила Фрэнку Бишопу. Фрэнк позвонил ему по мобильному, но он спал, и звонок приняла голосовая почта. Потом Фрэнк позвонил по обычному телефону, разбудил Элизабет, и она бросилась к нему: «Вылезай из постели!» Окна верхнего этажа были открыты, шторы подняты, занавески отдернуты. Он заметался по дому. Разбудил Зафара, который ничего не слышал. Увидел еще одно распахнутое окно. Из его кабинета пропал орденский знак французского Ордена искусств и литературы и пропал фотоаппарат. Ноутбуки, паспорт, видеокамера были на месте. Забрали наручные часы и американские доллары, но карту «Американ экспресс», лежавшую

там же, где валюта, не взяли. Все драгоценности Элизабет были в сохранности, в том числе кольцо с бриллиантами, лежащее на видном месте. Унесли стереосистему Зафара и кое-какие вещи, украшавшие гостиную: фигурку Ганеши из белого сплава, резной слоновий бивень, купленный в Индии в начале семидесятых, серебряную шкатулку, старинное увеличительное стекло и маленький восьмиугольный иллюминированный Коран, который подарила ему перед свадьбой Мэй Джуэлл, бабушка Клариссы. Из столовой взяли деревянный ящичек со столовым серебром. И все.

Окно их спальни было распахнуто. Тут явно поработал искусный домушник. Влез в окно спальни, оставил грязные следы на полу — и никого не разбудил. От этой мысли бросило в холод. Вор пробрался мимо, но ни один из троих не открыл глаз. Понял ли злоумышленник, в чей дом он проник, чей орден украл? Узнал ли по лицу, что за человек спит в постели? Сообразил ли, что страшно рискует? Если бы в доме по-прежнему ночевали полицейские, они, вполне возможно, застрелили бы его.

Никто не пострадал. Это было главное. Но не засвечен ли дом? Приехал Фрэнк Бишоп, Берил решилась войти, потом явились люди из Скотленд-Ярда, чтобы оценить ситуацию. Если это был простой рождественский воришка, что представлялось наиболее вероятным, можно было рассчитывать, что он не передаст информацию исламским террористам и не поделится ею с прессой: этим он выдал бы себя. Так что — сидим на месте и надеемся на лучшее. Да. Так они и порешили.

Элизабет взяла Милана и поехала навестить Кэрол, а он остался со своими мучительными вопросами к самому себе. Приближались празднества по случаю третьего тысячелетия, и он разрывался на части. А из Ирана, между прочим, сообщили: пятьсот фанатиков заявили, что готовы продать каждый по почке, чтобы собрать деньги на его устранение. И это могло избавить его от душевных терзаний. *Верное средство от всех болезней* — так Томас Мор назвал топор палача.

Умер Джозеф Хеллер и унес с собой великое добродушие. Умерла Джилл Крейги, и с ней ушла великая доброта.

Накануне Нового года гуру пиара Мэтью Фрейд и его невеста Элизабет, дочь Руперта Мердока, пригласили их в зал «Миллениум доум». Он взял с собой Элизабет, Зафара, Мартина и Исабель, дома с Миланом осталась новая няня Сьюзен. В зале Тони Блэр, остановившись пожать руки Мэтью и Элизабет, пожал заодно и ему руку. Когда пришло время спеть *Auld Lang Syne*[271], королеве пришлось взять Блэра за руку? и на лице ее возникло чуть заметное неудовольствие. Элизабет взяла за руку его, и ее

лицо выражало ужасную смесь любви и страдания. Забыть ли старую любовь и не грустить о ней? — пели они, а потом наступила полночь, и по всей Англии зазвонили церковные колокола, «проблема 2000» не вывела из строя компьютеры, не было террористических атак, и рассвет новой эпохи не ознаменовался ничем необычным. В моментах времени нет никакого волшебства. Только люди могут вызывать перемены, величественные или дьявольские. Их судьба — в их собственных руках.

Дорогое Тысячелетие!

Что бы ни говорили, ты — фальшивка. Переход от 1999-го к 2000 году был бы началом нового тысячелетия лишь в том случае, если бы перед первым годом от Рождества Христова шел нулевой, но, поскольку такового не было, два тысячелетия миновали к концу двухтысячного года, а не к его началу. Колокола, фейерверки, уличные празднества — все это опередило события на год. Подлинный переходный момент нам еще предстояло пережить. И, поскольку я шлю тебе это послание со своего места в будущем — с места этакого всезнайки, — могу сказать со всей ответственностью: если принять во внимание выборы в США в ноябре 2000 года и последующие известные сентябрьские события 2001 года, становится ясно, что настоящая перемена произошла через год после той фальшивой даты.

В крещенский сочельник, всего через две недели после того, как Элизабет возила Милана «к бабушке», Кэрол Нибб совершила попытку самоубийства, оставив записки, адресованные нескольким людям, включая Элизабет. Она писала, что не верит в лечение и предпочитает «со всем покончить». Она осталась жива: доза морфия оказалась недостаточной. Ее муж Брайан разбудил ее, и, хотя она сказала, что он напрасно это сделал, она, вероятно, очнулась бы в любом случае. Теперь из-за своего состояния, в котором ее могла убить малейшая инфекция, она лежала в изоляторе. Уровень лейкоцитов у нее опустился до двух (при норме двенадцать), эритроцитов в крови тоже было очень мало. Химиотерапия имела очень тяжелые последствия. Брайан позвонил Канти Раи, лечившему Эдварда Саида, и тот подтвердил, что в Америке есть другие методы лечения, но сказал, что не может поручиться за их более высокую эффективность в ее случае. Попытка Кэрол покончить с собой потрясла Элизабет. «Она была для меня такой прочной опорой, — сказала она и потом добавила: — Но в каком-то смысле я после смерти матери сама была для себя главной опорой». Он обнял ее,

чтобы утешить, и она начала: «А ты все еще…» — но оборвала фразу и вышла из комнаты. Его как ножом резануло по сердцу.

Потом был день ее рождения, и он устроил для нее, Зафара и пятерых ее ближайших друзей ужин в «Плюще». Но, когда вернулись домой, она устроила выяснение отношений и потребовала, чтобы он сказал, что собирается делать. Он заговорил о борьбе между ее желанием иметь еще детей и его желанием жить в Нью-Йорке, о разрушительном воздействии этой борьбы и впервые произнес слово *развод*.

Конец их брака не был оригинальным. Тот, кто вел дело к разрыву, медленно отдалялся, та, которая не хотела этого разрыва, металась между горькой любовью и мстительной яростью. Бывали дни, когда они вспоминали, какими они всегда были, и находили в себе силы проявлять великодушие и понимание, но такие дни случались все реже. Потом в игру вступили юристы, и после этого оба сделались злы, и тот, кто вел дело к разрыву, перестал чувствовать себя виноватым: ты въехала в мою жизнь на велосипеде, работая младшим редактором и снимая чью-то мансарду, а выехать хочешь мультимиллионершей, а та, которая не хотела этого разрыва, поступала так, как в жизни не считала себя способной поступать, и не давала тому, кто вел к нему дело, видеться с сыном: я никогда тебя не прощу, ты разрушил его жизнь, я думаю о нем, а не о тебе, и дошло до суда, и судье пришлось сказать им, что им не следовало быть в этом зале, что они не исполнили своего долга перед ребенком — решить все миром между собой. Их обоих словно подменили. Потом это прошло, со временем они снова стали теми, кем были на самом деле; когда отзвучала брань, когда сошли на нет алчность и желание все разрушить, после того как оставляемая, встретившись в Нью-Йорке лицом к лицу с его Иллюзией, обрушила на нее такие слова, каких, казалось, и быть-то не могло в ее лексиконе, после того как они наконец решили, как им быть с сыном, на каком-то отрезке будущего, когда война была кончена и боль стала отступать, они вновь обрели самих себя и вспомнили, что хорошо относятся друг к другу и что, помимо этого, должны быть хорошими родителями своего сына, и тогда к ним тихо приблизился добрый бесенок сердечности, и вскоре они начали обсуждать свои дела по-взрослому, по-прежнему часто — очень часто — расходясь во мнениях и порой, как раньше, сердясь и срываясь, но находя в себе силы разговаривать и даже встречаться, отыскивая путь не столько, может быть, друг к другу, сколько к самим себе и изредка даже решаясь улыбаться.

А в конце концов, хоть на это и потребовалось еще больше

времени, вернулась дружба, которая позволила им многое делать по-семейному: бывать друг у друга дома, приглашать друг друга за стол, ходить с мальчиками в ресторан или в кино, даже отдыхать вместе во Франции, в Индии и — правда, правда! — в Америке. В конце концов возникли отношения, которыми можно гордиться, отношения, которые были сломаны, растоптаны и еще раз сломаны, но потом восстановлены — не без труда, не без разрушительных срывов, медленно, серьезно восстановлены людьми, которыми они были на самом деле, людьми, избавившимися от жутких доспехов развода, похожих на те, в какие облачаются непримиримые бойцы из научно-фантастических фильмов.

Чтобы это произошло, понадобились годы, и понадобилось, чтобы его Иллюзия пырнула его ножом в сердце и исчезла из его жизни, исчезла не в зеленом облаке дыма, как Злая Ведьма Запада, а на частном самолете некоего престарелого Скруджа Макдака, направляясь в его частный мир — в Унылые Дюны и другие места, преисполненные подлости и денег. После восьми лет, когда она в среднем раз в неделю говорила ему, что он слишком для нее стар, она связалась с селезнем на двести лет старше — возможно, потому, что Скрудж Макдак мог открыть перед ней заколдованную дверь, за которой лежал ее приватный тайный мир грез о безграничных возможностях, о жизни, где нет слова «нет», на Большой Леденцовой Горе из песни — «там, где солнце и вечное лето, где на деревьях растут сигареты»; потому что в приватном зале приватного дворца в Даксбурге, США, имелся бассейн, полный золотых дублонов, и они могли прыгать в него с низкого трамплина, а потом часами плескаться, как любил плескаться дядя Скрудж, в блаженно-жидкой денежной стихии; а то, что он был близкий друг Дака Чейни и Джон Макдак (не родственник) обещал ему после поражения Барака Обамы пост посла США в любой стране по его выбору, не имело особого значения, ибо в подвале его приватного замка хранился Алмаз величиной с отель «Риц», а в пещере в самом сердце Утиной Горы, которую он давным-давно, в юрский период, будучи еще юным утенком семидесяти с чем-то лет, купил, сделав ловкий венчурно-капиталистический ход, его ручные тираннозавры и верные велоцерапторы охраняли от любых грабителей его сказочную драконью казну, его приватный тайник с неисчислимым богатством.

И когда она улетела в этот фантастический мир, вернулась реальность. Они с Элизабет не поженились вторично и не стали опять любовниками — это было бы нереалистично, — но сумели стать более ответственными родителями и очень близкими

друзьями, и подлинные их характеры раскрыла не война, которую они вели, а мир, который они заключили.

В 2000 году фетва — эта старая история — хоть изредка, но всплывала. Однажды он, посмотрев сдававшуюся квартиру на Манхэттене, стоял на тротуаре на Бэрроу-стрит, и друг ему на мобильный позвонил британский министр иностранных дел. *Диковинные дела,* подумал он. *Я без всякой охраны стою, хожу, езжу по своим житейским надобностям — а между тем Робин Кук мне сообщает: его иранский коллега Харрази подтвердил, что все в Иране поддерживают соглашение, но британская разведка по-прежнему не уверена, и, между прочим, Харрази говорит, что история про людей, готовых продать свои почки, — выдумка, и так далее, и так далее.* Он к тому времени уже перевел стрелку у себя в голове и больше не ждал разрешений на что бы то ни было ни от британского правительств, ни от Ирана, он сам строил свою свободу прямо здесь, на тротуарах Нью-Йорка, и если он найдет себе постоянное жилье, это будет очень-очень полезно.

Была одна квартира на углу Шестьдесят шестой улицы и Мэдисон-авеню напротив магазина Армани. Потолки там были низковаты, и квартира не сказать чтоб блистала красотой, но цена была приемлемая, и хозяин соглашался продать квартиру ему. Дом был кооперативный, поэтому требовалось согласие правления, но хозяин оказался председателем правления и пообещал, что здесь проблемы не будет, чем доказал одно: даже председатели правлений жилищных кооперативов Верхнего Истсайда могут неверно представлять себе, как люди в действительности к ним относятся. Дело в том, что, когда пришло время для собеседования, враждебность правления к кандидату оказалась такова, что ее нельзя было объяснить одной лишь тучей над его головой. Он пришел в квартиру, которая вся блестела, полную лакированных дам с лишенными мимики, точно маски в греческих трагедиях, лицами, и ему приказали разуться, чтобы не повредить пушистый белый ковер. Собеседование было до того поверхностным, что это могло значить одно из двух: либо богини в масках уже решили сказать «да», либо они решили сказать «нет». В конце разговора он заметил, что был бы благодарен за быстрое решение, на что самая величественная из величественных дам, красноречиво пожав плечами, ответила сквозь античную неподвижность лица, что решение состоится, когда оно состоится, и затем добавила: «Нью-Йорк — очень жесткий город, мистер Рушди, и вы, я уверена, понимаете почему». — «Нет, — хотелось ему сказать. — Нет, честно говоря, я этого не понимаю, миссис Софокл, не могли бы вы объяснить?»

Но он знал, что́ она сказала ему на самом деле: «Нет. Только через мой наботоксированный, липосакцированный, прошедший гидроколонотерапию и операцию по удалению ребер труп. Тысячу раз нет».

В последующие годы он порой жалел, что не запомнил имени и фамилии этой дамы: она заслужила его большую-пребольшую благодарность. Если бы правление его одобрило, пришлось бы купить квартиру, которая не нравилась ему по-настоящему. Но сделка не состоялась, и в тот же день он нашел себе новое жилье. Иной раз трудно было не поверить в Судьбу.

Песня группы *U2* — «его» песня — звучала по радио и как будто нравилась диджеям. «В фильме, — сказала ему Падма, — я хочу сыграть Вину Апсару. Я идеально подхожу на эту роль. Ясно как день». *How she made me feel, how she made me real*[272]. «Но ты не певица», — возразил он, и она рассердилась. «Я беру уроки пения, — сказала она. — Мой преподаватель говорит, у меня большие возможности». Права на экранизацию романа незадолго до того купил португальский продюсер Паулу Бранку, похожий на удалого пирата, а режиссером фильма должен был стать Рауль Руис. Он встретился с Бранку и предложил Падму на главную женскую роль. «Конечно! — отозвался Бранку. — Это будет замечательно». В те дни он еще не умел переводить с языка продюсеров на английский и не понял, что на самом деле Бранку сказал: «Ни под каким видом».

Он пообедал в Лондоне с Ли Холлом, автором получившего хвалебные отзывы и номинированного на «Оскара» сценария фильма «Билли Эллиот»; Холлу очень понравилась «Земля под ее ногами», и он с большой охотой взялся бы за сценарий. Но Руис отказался даже встречаться с Холлом, и проект начал стремительно разваливаться. Руис нанял испаноязычного сценариста-аргентинца Сантьяго Амигорену, который собирался написать сценарий по-французски, с тем чтобы его потом перевели на английский. Первый вариант этого составного монстра, этого сценария-тянитолкая был, что неудивительно, ужасен. «Жизнь — это ковер, — изрекал один из персонажей, — полный его узор нам открывается только в сновидениях». Причем это еще была одна из наиболее удачных реплик. Он пожаловался Бранку, и тот упросил его, не согласится ли он поработать с Амигореной над новым вариантом. Он согласился и полетел в Париж, где встретился с Сантьяго — очень милым человеком и, несомненно, прекрасным писателем, когда он писал на родном языке. Однако после того, как они все обсудили, Амигорена прислал ему второй вариант, который был таким же туманно-мистическим, как первый. Он собрался с духом и сказал Бранку,

что хотел бы сам написать сценарий. Когда он послал его Бранку, ему стало известно, что Рауль Руис отказался его читать. Он позвонил Бранку:

— Не захотел даже прочесть? Почему?

— Вы должны понять, — ответил Бранку, — что мы находимся во вселенной Рауля Руиса.

— Вот как, — сказал он. — Я, честно говоря, думал, что мы находимся во вселенной моего романа.

После этого проект за несколько дней окончательно рассыпался, и мечту Падмы о том, чтобы сыграть Вину Апсару, постигла ранняя гибель.

«Нью-Йорк — жесткий город, мистер Рушди». Проснувшись однажды утром, он увидел на первой странице «Пост» снимок Падмы во весь рост, а рядом, под маленькой врезкой, представлявшей собой его собственное фото, — заголовок аршинными буквами: ЕСТЬ ЗА ЧТО УМЕРЕТЬ.

На другой день та же газета напечатала карикатуру: его лицо, увиденное сквозь оптический прицел снайперской винтовки. Подпись гласила: НЕ ГОВОРИ ГЛУПОСТЕЙ, ПАДМА, В НЬЮ-ЙОРКЕ ЭТИМ ЧОКНУТЫМ ИРАНЦАМ МЕНЯ НЕ ДОСТАТЬ. Несколько недель спустя в той же «Пост» — еще одна фотография, они вдвоем идут по улице на Манхэттене, и подпись: ЗА ЧТО СТОИТ УМЕРЕТЬ. История разошлась очень широко, и в Лондоне редактор одной газеты заявил, что его редакция «завалена» письмами с требованиями конфисковать у Рушди авторские отчисления, потому что он-де «смеется над Британией», открыто живя в Нью-Йорке.

И теперь ей стало страшно. Ее фотоснимки были во всех газетах мира, и она сказала, что чувствует себя уязвимой. В офисе Эндрю Уайли он встретился с сотрудниками разведывательного отдела нью-йоркской полиции, которые, к его удивлению, не находили причин для беспокойства. В определенном смысле, сказали они, «Пост» сделала для него доброе дело. О его появлении в городе было объявлено так громко, что, если бы кто-нибудь из «плохих парней», за которыми они следили, питал к нему интерес, он немедленно зашевелился бы и обратил бы на себя внимание. Но Мировая Сила пребывала в покое. Все было тихо. «Мы не думаем, что кто-нибудь интересуется вами в данный момент, — сказали они. Так что мы не видим проблем с реализацией ваших планов».

Эти планы включали в себя сознательную линию на то, чтобы его часто видели в общественных местах. Никакой больше игры в прятки. Он будет есть в ресторанах «Балтазар», «Да Сильвано» и

«Нобу», ходить на просмотры фильмов и презентации книг, на виду у всех проводить время в таких допоздна открытых заведениях, как «Мумба», где Падму хорошо знают. Разумеется, в некоторых кругах на него будут смотреть как на этакого «монстра вечеринок», кое-кто будет над ним насмехаться — но он не знал другого способа показать людям, что его присутствия не надо бояться, что теперь все будет по-другому, что это нормально. Только такая жизнь, открытая, зримая, бесстрашная и привлекающая из-за этого внимание газет, могла изгнать боязнь из окружающей его атмосферы, боязнь, которая, он считал, была теперь более серьезной проблемой, чем какая бы то ни было иранская угроза, если она еще существовала. И Падма, несмотря на свои частые перемены настроения, на свою способность к капризным выходкам «образцовой модели» и на нередкие периоды холодности по отношению к нему, согласилась — и это делает ей великую честь, — что именно так ему следует жить, и была готова делить с ним эту жизнь, хотя ее дед К. К. Кришнамурти («К. К. К.»), обитатель мадрасского района Безант-Нагар, говорил в интервью различным изданиям, что он «в ужасе» из-за присутствия этого Рушди в жизни внучки.

(За годы, которые они провели вместе, он несколько раз побывал у мадрасских родственников Падмы. К. К. К. вскоре перестал быть противником их отношений: он не может, сказал он, возводить барьер между любимой внучкой и тем, что, по ее словам, делает ее счастливой. «Этот Рушди», в свой черед, стал думать о семье Падмы как о лучшей ее части, как об индийской части, в которую ему так хотелось верить. Он особенно сдружился с Нилой, младшей, причем намного, сестрой ее матери; Нила была Падме не столько тетей, сколько старшей сестрой, и он сам обрел в ее лице почти что новую сестру. Когда Падма оказывалась среди своих мадрасских родных, людей добродушных и в то же время серьезных, она становилась другим человеком, более простым, менее склонным манерничать, и сочетание этой мадрасской безыскусности с ее ошеломляющей красотой было совершенно неотразимо. Порой он думал, что, сумей они с ней построить семейную жизнь, которая давала бы ей такое же ощущение безопасности, как этот маленький безант-нагарский мирок, она, возможно, позволила бы себе раз и навсегда отбросить то, что мешало проявляться ее непритязательному лучшему «я», и, если бы она это смогла, они безусловно были бы счастливы. Но жизнь припасла для них другое.)

В лондонском Национальном театре давали «Орестею», и, подвергаясь бесконечным нападкам СМИ (и в тысячный раз

задумываясь из-за кровожадных голосов, прозвучавших, как обычно, в Иране в годовщину фетвы, разумно ли он ведет себя), он задавался вопросом: неужели его до конца дней будут преследовать три яростные фурии, три богини мести — фурия исламского фанатизма, фурия недоброжелательства прессы и фурия в лице рассерженной брошенной жены? Или для него все же настанет день, когда с его дома, как с дома Ореста, будет снято проклятие, когда его оправдает суд некоей современной Афины и ему будет позволено прожить остаток лет в спокойствии?

Он писал роман под названием «Ярость». Организаторы и нидерландской Книжной недели предложили ему — первому из иностранных авторов — написать книгу для «подарка». Каждый год на протяжении Книжной недели такой подарок вручался всякому, кто покупал в магазине какую-нибудь книгу. Так раздавались сотни тысяч экземпляров. Обычно это были книги небольшого объема, но «Ярость» выросла в полномасштабный роман. Вопреки всему, что происходило в его жизни, эта вещь изливалась из него, требовала выпустить ее наружу, настаивала, чтобы он произвел ее на свет, с почти пугающим упорством. Вообще-то он уже начал работать над другим романом — над книгой, которая в конце концов вышла под названием «Клоун Шалимар», — но «Ярость» вломилась без спроса и на время оттеснила «Шалимара» в сторону.

Идея, лежащая в сердцевине книги, состояла в том, что Манхэттен, когда он там появился, переживал, сам это сознавая, золотой век («город бурлил от избытка денег», писал он), а такие «вершинные моменты», он знал, всегда кратки. И он решил пойти на творческий риск: попробовать, переживая текущий момент, ухватить его, отказаться от исторической перспективы, сунуть нос в настоящее и занести его на бумагу, пока оно еще происходит. Если у него получится, думал он, то сегодняшние читатели, особенно ньюйоркцы, испытают радость узнавания, удовлетворение от возможности сказать себе: *да, так оно и есть*, а в будущем книга оживит этот момент для читателей, родившихся слишком поздно, чтобы его пережить, и они скажут: *да, так оно, видимо, и было; да, так оно было*. Если же у него не получится… ну, там, где не может быть неудачи, не может быть и успеха. Искусство — всегда риск, оно всегда творится на грани возможного, оно всегда ставит автора в уязвимое положение. И ему нравилось, что это так.

По городу перемещался персонаж, которого он сотворил и похожим, и непохожим на себя. Похожим — в том, что он был такого же возраста, индиец по происхождению, человек с

британским прошлым, переживший крушение семьи и недавно переселившийся в Нью-Йорк. Он хотел, чтобы читателю сразу стало ясно: он не имел возможности и не пытался писать об этом городе так, как мог бы о нем написать коренной житель. Он решил сочинить нью-йоркскую историю другого рода, тоже характерную: историю о новоприбывшем. Но он сознательно, чтобы отграничить героя от его создателя, сделал своего Малика Соланку отчужденным, лишившимся внутренних устоев брюзгой. Довольно-таки кислое отношение Соланки к городу, куда он приехал в надежде спастись, его разочарование в этом городе носит нарочито, комически противоречивый характер: его отталкивает то же, что и притягивает, он брюзжит по поводу того самого, ради чего оказался в Нью-Йорке. И Фурия, воплощение ярости, — не какое-то существо, преследующее Малика Соланку извне, когтящее его голову, а то, чего он больше всего боится внутри себя.

Саладин Чамча в «Шайтанских аятах» был другой его попыткой изобразить свое, так сказать, «анти-я», и озадачивает, что в обоих случаях персонажи, которых он специально сделал иными, нежели он сам, были многими восприняты как простые автопортреты. Но Стивен Дедал не был Джойсом, Герцог не был Беллоу, Цукерман не был Ротом, Марсель не был Прустом; писатель всегда, как матадор, работает близко к быку, играет с автобиографией в сложные игры, но его творения интересней, чем он сам. Разумеется, все это хорошо известно. Но известные вещи люди склонны забывать. Ему приходилось уповать на то, что ясность наступит с годами.

«Землю под ее ногами» объявили победительницей по «евразийскому региону» в соперничестве книг, претендовавших на Писательскую премию Содружества. Лауреата по всем странам должны были назвать в апреле на церемонии в Нью-Дели. Он решил поехать. И взять с собой Зафара. После всех потерянных и временами злобных лет он вернет себе Индию. (Запрет в Индии на «Шайтанские аяты», конечно, по-прежнему действовал.)

Перед вылетом из Лондона ему позвонил Виджай Шанкардасс. Полиция Дели из-за его предстоящего приезда очень сильно нервничала. Не мог ли бы он принять посильные меры к тому, чтобы в самолете его не узнали? Его лысина очень узнаваема; не мог ли бы он надеть шляпу? По глазам его личность тоже легко определить; не мог ли бы он надеть темные очки? Бороду тоже, конечно, надо будет прикрыть. Ему придется окутать подбородок шарфом. Жарко? Ну, ведь бывают же легкие хлопчатобумажные шарфы…

— Салман, — аккуратно проговорил Виджай, — здесь все страшно напряжены. Мне и самому довольно тревожно.

Он не знал, чего ждать. Как его встретят — гостеприимно или враждебно? Проверить можно было только одним способом.

Когда он вышел из самолета в Дели, ему захотелось поцеловать землю — точнее, синий ковер, устилавший пол телескопического трапа, — но он постеснялся делать это под бдительными взорами охранников, которых хватило бы на небольшую армию. Знойный день принял их с Зафаром в свои объятия. Они влезли в тесный белый «хиндустан амбассадор». Кондиционер не работал. Да, он был дома.

Индия неслась на него со всех сторон. ПОКУПАЙТЕ ЛОВУШКИ ДЛЯ ТАРАКАНОВ «ЧИЛЛИ»! ПЕЙТЕ МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ «ХЕЛЛО»! КТО ЛИХО ГАЗУЕТ, ТОТ ЖИЗНЬЮ РИСКУЕТ! — вопили придорожные щиты. Были и новые призывы: ЗАПИШИСЬ НА ORACLE 8I. ВЫПУСКНИК, УЧИ JAVA! И, что красноречиво говорило об окончании долгой протекционистской эпохи, кока-кола, вернувшись, брала свое с лихвой. Когда он в прошлый раз приезжал в Индию, она была под запретом, расчищавшим площадку для отвратительных местных имитаций — кампа-кола и тамз-ап. Ныне же красную рекламу коки можно было увидеть через каждую сотню ярдов. Слоганом дня для этого напитка служила транслитерированная латиницей надпись на хинди: *Jo Chaho Ho Jaaye.* Перевод: «Пусть произойдет все, чего ты желаешь». Он решил, что воспримет это как благословение.

ГУДИ ПРИ ОБГОНЕ, требовали надписи на задних бортах миллиона грузовиков, забивших дорогу. Водители всех прочих грузовиков, легковушек, мопедов, мотороллеров, такси и авторикш гудели с энтузиазмом, энергично исполняя по случаю их с Зафаром въезда в город симфонию индийских улиц. *Не спеши обгонять! Пока-пока, мне некогда! Так держать!*

Соблазнить Зафара индийской национальной одеждой было невозможно. Сам-то он, едва приехал, тут же переоделся в прохладную, свободную курту-пайджаму, но За-фар твердил: «Это не мой стиль», предпочитая оставаться в униформе молодого лондонца — в футболке, штанах карго и кроссовках. (К концу поездки он начал-таки носить паджаму — белые штаны, но не курту; что ж, какой-никакой прогресс налицо.)

Афиши у Красного форта приглашали на вечернее светозвуковое шоу. «Если бы мама была здесь, — вдруг сказал Зафар, — она обязательно бы пошла». *Да,* подумал он, *пошла бы.* «А ты знаешь, — ответил он сыну, — ведь она здесь была». И он принялся рассказывать Зафару про ту поездку в 1974 году, вслух вспоминать, как его мама отозвалась о том и об этом — как ей

понравились безмятежность тут, шумная суета там. Их приезд приобрел новое измерение.

Он заранее знал, что первый раз будет самым сложным. Если сейчас все пройдет хорошо, дальше будет легче. Второе посещение? «Рушди снова в Индии» — не такая уж новость. А третье — «Да, кстати, он опять здесь» — вообще, пожалуй, на новость не тянет. В долгой борьбе за возвращение к «нормальности» привычка — и даже скука — была полезным орудием. Он намеревался скукой принудить Индию к покорности.

Его охранники прокручивали в голове кошмарные сценарии с участием беснующихся толп. В Старом Дели, где живет много мусульман, они нервничали сильнее всего, особенно когда кто-нибудь из встречных узнавал его и не догадывался это скрыть. «Сэр, вас узнали! Сэр, они поняли, кто вы! Сэр, они произнесли вашу фамилию, сэр! Произнесли фамилию! Сэр, пожалуйста, шляпу!»

Официальная Великобритания старалась держаться от него подальше. Колин Перчард, глава Британского совета в Индии, отказался предоставить ему помещение Совета для пресс-конференции. Сэру Робу Янгу, высокому комиссару Великобритании, Форин-офис предписал не иметь с ним дела. Он старался не обращать на это внимания, напоминая себе, почему он приехал на самом деле. Писательская премия Содружества — только повод. Сама эта поездка с Зафаром — вот его подлинная победа. Индия — вот его премия.

Они отправились в автомобильную поездку: Джайпур, Фатехпур-Сикри, Агра, Солан. На дорогах было больше грузовиков, чем он помнил по прошлым годам, намного больше, гудящих и смертельно опасных, часто эти машины ехали не по своей полосе прямо на них. Каждые несколько миль виднелись обломки, оставшиеся после лобовых столкновений.

Смотри, Зафар, вот усыпальница знаменитого мусульманского святого; все водители грузовиков тут останавливаются и молятся об удаче на дороге, даже индуисты. Потом садятся обратно в кабины и продолжают дико рисковать своей жизнью, да и нашей тоже. Смотри, Зафар, вот трактор с прицепом, набитым людьми. Перед выборами *сарпанчи* (старосты) всех деревень получают приказы доставлять такие прицепы с людьми на политические митинги. Для митингов в поддержку Сони Ганди норма — десять прицепов с деревни. Люди уже настолько разочаровались в политиках, что по доброй воле никто на митинги больше не ходит. Смотри, вот в поле дымят, отравляют воздух трубы печей для обжига кирпича.

За городом воздух получше, но все равно не очень-то чистый.

А в Бомбее с декабря по февраль самолеты, вдумайся, не могут из-за смога ни садиться, ни взлетать до одиннадцати утра.

Каждую сотню ярдов — знак: STD-ISD-PCO. PCO означает personal call office (персональный переговорный пункт): теперь каждый может войти в любую из этих кабинок, позвонить в любое место Индии и даже земного шара и расплатиться при выходе. Это была первая коммуникационная революция в Индии. Через несколько лет там произошла вторая, и сотни миллионов сотовых телефонов позволили индийцам общаться друг с другом и со всем миром так свободно, как никогда раньше.

Зафару скоро должно было исполниться двадцать один — возраст совершеннолетия. Поездка с ним в Солан, на их отвоеванную виллу, была волнующим событием. Когда-нибудь она перейдет к Зафару и маленькому Милану. Они станут четвертым поколением семьи, приезжающим в эти места. Семью сильно раскидало по свету, и этот маленький участочек преемственности был очень дорог.

Воздух посвежел, на крутизне, клоня вершины, высились большие хвойные деревья. В закатных сумерках наверху показались огни первых горных курортных городков. Проехали узкоколейку, по которой медленно, картинно полз поезд в Симлу. Остановились у *дхаба* (закусочной) около Солана, чтобы поужинать, и владелец был очень рад его увидеть. Кто-то, подбежав, попросил автограф. Он проигнорировал выражение хмурой озабоченности, появившееся на лице Акшея Кумара, который возглавлял группу охраны. В последний раз он был в Солане в двенадцать лет, но сейчас чувствовал себя тут как дома.

К Анис-вилле подъехали уже в темноте. От дороги к ней пришлось спуститься по лестнице из 122 ступеней. У подножия лестницы была калитка, и Виджай официально ввел его в дом, который он отвоевал для семьи. Подбежал *чаукидар* (сторож) Говинд Рам и, к изумлению Зафара, наклонился до земли, чтобы коснуться их ступней. Небо было полно пылающих звезд. Он в одиночку прошел в сад за домом. Ему необходимо было побыть одному.

В пять утра его разбудили усиленные электроникой музыка и пение из индуистского храма на той стороне долины. Он оделся и в рассветной полутьме обошел вокруг дома. С его высокой крутой розовой крышей и маленькими башенками по углам, дом выглядел красивей, чем он помнил, красивей, чем на присланных Виджаем фотографиях, и вид на холмы был ошеломляющим. Он испытывал очень странные ощущения, гуляя вокруг малознакомого ему дома, который тем не менее принадлежал ему.

Они провели бóльшую часть дня, слоняясь по территории, сидя в саду под большими старыми хвойными деревьями, подкрепляясь яичницей, которую Виджай приготовил по особому рецепту. Поездка оправдала себя — он видел это по лицу Зафара.

Индийская земля полнилась слухами о его приезде в страну. Две исламские организации клятвенно пообещали устроить заваруху. Когда он, ужиная в Солане в ресторане «Химани», уплетал китайскую еду в пряном индийском варианте, его увидел репортер телеканала «Дурдаршан» по фамилии Агнихотри, отдыхавший там с семьей. Мигом в ресторане появился репортер местной газеты и задал несколько доброжелательных вопросов. Ничто из произошедшего не было таким уж неожиданным, но из-за этих двух случайных встреч нервозность полицейских достигла новых высот и переросла в полномасштабный скандал. Когда они вернулись на Анис-виллу, Виджаю позвонил из Дели на сотовый телефон полицейский чин по имени Кульбир Кришан. Из-за этого звонка Виджай впервые за все годы их дружбы потерял самообладание. Чуть ли не дрожа, он сказал:

— Нас обвиняют в том, что мы позвали этих журналистов в ресторан. Этот человек говорит, что мы повели себя не по-джентльменски, нарушили слово, что мы — можешь себе представить? — «вели неуместные речи». А под конец он заявил: «Завтра в Дели ожидаются беспорядки, и, если мы начнем стрелять в толпу и будут жертвы, кровь падет на ваши головы».

Он пришел в ужас. Дело шло о жизни и смерти. Если полиция Дели готова убивать и только ждет повода, ее надо остановить, пока не поздно. Не время рассусоливать. На глазах у изумленного Зафара он нарочно обрушился на честного беднягу Акшея Кумара, которого винить было совершенно не в чем. Если, сказал он, Кульбир Кришан немедленно снова не выйдет на связь, не извинится перед Виджаем персонально и не даст заверения, что полиция не намерена завтра никого убивать, он потребует прямо сейчас, ночью, отвезти его обратно в Нью-Дели, где он с рассвета будет дожидаться премьер-министра Ваджпаи у дверей его кабинета, чтобы попросить его разобраться с проблемой лично. В результате этой словесной бомбардировки Кульбир позвонил-таки еще раз, посетовал на «недопонимание» и пообещал, что ни стрельбы, ни жертв не будет. Под конец он произнес запоминающуюся фразу: «Если я говорил вне контекста, то прошу меня извинить».

Он разразился смехом из-за полнейшей нелепости этой формулировки и дал отбой. Но спал он неважно. Значение его поездки в Индию будет определяться тем, как пройдут следующие

два дня, и хотя он надеялся и верил, что полицейские нервничали зря, полной гарантии не было. Дели — их город, думалось ему, а он — этакий Рип ван Винкль.

Назавтра в половине первого дня они вернулись в Дели, и у него произошел разговор наедине с Р. С. Гуптой — специальным помощником комиссара, ведавшим безопасностью всего города, человеком спокойным и волевым. Гупта нарисовал мрачную картину. Мусульманский политик Шоаиб Икбал решил отправиться на пятничную полуденную молитву в мечеть Джума Масджид и там попросить у имама Бухари помощи в организации демонстрации против него и против индийского правительства, впустившего его а страну. Участников может быть так много, что весь город окажется парализован. «Мы ведем с ними переговоры, — сказал Гупта, — добиваемся, чтобы демонстрантов было поменьше и все прошло мирно. Может быть, мы в этом преуспеем». После двух часов напряженнейшего ожидания, когда он фактически был под арестом — «Сэр, просим вас, никаких передвижений», — пришли хорошие новости. В шествии участвовало менее двухсот человек — а двести участников в Индии — это, можно сказать, меньше нуля, — и никаких столкновений не было. Кошмарный сценарий не реализовался. «К счастью, — сказал мистер Гупта, — мы смогли справиться с ситуацией».

Что произошло на самом деле? Трактовка событий органами безопасности всегда впечатляюща и нередко убедительна, но это всего лишь одна из версий. Повсюду в мире органы безопасности норовят представить себя в выгодном свете. Если бы были массовые демонстрации, они сказали бы: «Вот видите, мы не напрасно беспокоились». Но шествие оказалось малочисленным; поэтому: «Мы, благодаря своей прозорливости и профессионализму, сумели предотвратить беспорядки». Может быть, и так, подумал он. Но не исключено, что на самом деле для огромного большинства индийских мусульман конфликт из-за «Шайтанских аятов» был старой, полузабытой историей и никакие заявления политика и имама (оба они произнесли громовые, воинственные речи) не могли заставить людские массы выйти на улицу. Что, к нам в город приехал писатель, его на ужин пригласили? Как его фамилия? Рушди? Ну и что? Такого взгляда, анализируя события дня, придерживалась почти вся индийская пресса. Сообщали о небольшой демонстрации, но отмечали при этом, что ее организаторы преследовали свои личные политические цели. В головах у людей один сценарий уступал место другому. Предрекавшейся катастрофы — беспорядков, убийств — не случилось. То, что произошло вместо нее, было

необычайно и взволновало их с Зафаром до глубины души. Не насилие вспыхнуло в городе, а радость.

Без четверти восемь вечера они с Зафаром вошли в за отеля «Оберой», где должны были вручать Писательскую премию Содружества, и с той минуты до самого их отъезда из Индии празднование не прекращалось. Их окружили журналисты и фотографы, сияя совершенно нежурналистскими улыбками. Сквозь кольцо прессы прорывались друзья, чтобы их обнять. Актер Рошан Сет, у которого недавно были серьезные проблемы с сердцем, сказал, заключив его объятия: «Надо же, *яар*[273], нас обоих к смерти приговорили, а мы живы и сильны». Видная колумнистка Амита Малик, подруга его семьи со старых бомбейских времен, вначале приняла Зафара за телохранителя его отца (к восторгу Зафара), но потом чудесно рассказывала о прошлом, хвалила остроумие Аниса Рушди, его способность дать быстрый, хлесткий ответ, и вспоминала про Хамида, любимого брата Негин, очень давно умершего молодым. Талантливые молодые писатели — Радж Камал Джха, Намита Гокхале, Шона Сингх Болдуин, — подходя, говорили ему приятные слова о значении его книг для их литературной работы. Одна из гранд-дам англоязычной индийской литературы, романистка Наянтара Сахгал, сжала его ладони и прошептала ему: «Добро пожаловать домой». Тем временем Зафар, которого интервьюировали телевизионщики, трогательно говорил, как он рад, что приехал. Сердце его отца было переполнено. Он не осмеливался ожидать такого приема: полиция заразила его своими опасениями, и внутри себя он возвел защиту от многих видов разочарования. Но теперь все защитные сооружения рухнули, и счастье поднялось в нем как тропическое рассветное солнце, стремительное, слепящее, жаркое. Индия вновь стала его страной. Не часто в жизни бывает так, что ты получаешь то, чего желаешь всем сердцем.

Он не получил Писательскую премию Содружества — она досталась Дж. М. Кутзее. Но то, что происходило, было скорее вечером по случаю возвращения изгнанника, чем церемонией награждения. РУШДИ В ИНДИИ: ТОЛЬКО РАДОСТЬ, ОГРОМНАЯ РАДОСТЬ. Как видно по этому безмерно теплому заголовку на первой странице «Индиан экспресс», настроение вечера передалось и СМИ, заглушая единичные голоса недовольных. Во всех своих разговорах с прессой он старался не трогать старых ран, он заверял индийских мусульман, что не является и никогда не был их врагом, подчеркивал, что приехал в Индию восстановить разорванные связи и начать, так сказать, новую главу. Газета «Эйшен эйдж» вторила ему: «Давайте перевернем

страницу». Журнал «Аутлук» порадовался тому, что Индия «в какой-то мере загладила свою вину перед ним — ведь она первой запретила „Шайтанские аяты“ и тем самым дала толчок мучительным преследованиям, которым он подвергся». Газета «Пайонир» выразила удовлетворение тем, что Индия снова поддержала «демократические ценности и право личности на высказывание собственных мнений». Она же — в менее возвышенном ключе — незаслуженно, но восхитительно обвинила его в том, что он «превратил изысканных столичных дам в хихикающих школьниц», говоривших своим мужчинам: «Милый, он даст сотню очков вперед любому смазливому качку Болливуда». Трогательней всех написал Дилип Падгаонкар в «Таймс оф Индиа»: «Он примирился с Индией, а Индия — с ним… С ним произошло нечто возвышенное, благодаря чему он, надо надеяться, сможет продолжать гипнотизировать нас своими историями. Он вернулся туда, где всегда было его сердце. Он вернулся домой». В «Хиндустан таймс» появилась редакционная статья, озаглавленная: ОТМЕНИТЕ ЗАПРЕТ. Этот призыв звучал во многих СМИ. В «Таймс оф Индиа» за отмену запрета в числе ряда интеллектуалов высказался исследователь ислама. 75 % участников опроса, проведенного электронными СМИ, были за то, чтобы наконец-таки разрешить свободное распространение в Индии «Шайтанских аятов».

Виджай устроил для него прощальную вечеринку. На нее пришли две его тети-актрисы, Узра Батт и ее сестра Зохра Сегал с дочерью Зохры Киран Сегал, одним из известнейших в стране мастеров и преподавателей индийского классического танца одисси. Родственников из этой ветви семьи отличал юмор вплоть до шутовства, острый язык и озорной глаз. Узра и Зохра были гранд-дамами индийского театра, а что касается Киран, все были в нее хоть немножко да влюблены — кто раньше, кто позже. В шестидесятые годы Зохра и Киран жили в Лондоне, где занимали квартиру в Хэмпстеде, и во время учебы в Рагби он иногда проводил каникулы, ночуя в их свободной спальне рядом со спальней Киран, на двери которой красовался большой предостерегающий знак: череп и кости. В той же свободной комнате в те же годы порой ночевали Виджай Шанкардасс и Рошан Сет. Каждый из троих с грустью поглядывал на череп и кости, но никто ни разу не посмел ослушаться знака.

— Я много лет не видел, как ты танцуешь, — пожаловался он Киран.

— Приезжай поскорее опять, — сказала Киран. — Тогда увидишь.

Однажды, в давние времена, на берегу волшебной реки жили мальчик Милан и его папа. Поплывешь вверх по течению — и чем ближе к истоку, тем моложе станешь. Поплывешь вниз — станешь старше. А если двинешься вбок, по одному из многих притоков, — смотри в оба! Можешь превратиться в кого-то совсем-совсем другого. Однажды Милан и его папа поплыли вниз по реке в маленькой лодочке, и Милан стал взрослым мужчиной, но, когда он увидел, как состарился папа, он расхотел быть мужчиной, он пожелал снова сделаться мальчиком. И они вернулись обратно, а дома опять стали какими были. Когда Милан рассказал обо всем маме, она не поверила — она думала, что река не волшебная, что это просто река, и ее не интересовало, где она начинается, куда течет и что происходит с теми, кто плывет по ней. Но это была правда. Они-то с папой знали, что это правда, а остальное было не важно. Конец.

— Ты хороший, папа. Я же говорил, ты умеешь укладывать меня спать.

Он по-прежнему, когда бывал в Лондоне, жил в доме на Бишопс-авеню, ночевал в одной из спален, которые освободили полицейские, но это должно было измениться. «Надо с этим кончать. Мне противно жить с тобой под одной крышей», — сказала ему Элизабет, но она же сказала: «Если бы ты захотел, нам легко было бы все наладить». Они ругались, потом ей хотелось подержать его за руку, потом они опять ругались. То было очень плохое время. *Почему ты хочешь быть хозяином положения? Ты создал эту ситуацию и теперь должен отвечать за последствия.* А на другой день: *Я по-прежнему люблю тебя. Не знаю, как мы быть с этим чувством.* Но придет пора — и они будут вместе бродить по пляжу в Гоа, гулять во Франции по тропе Сезанна, она приедет в Нью-Йорк, остановится в его квартире, наденет костюм Мортисии Аддамс из мрачной семейки Аддамсов (Милан нарядится Майклом Джексоном, он — Тони Сопрано), и они отправятся в Гринвич-Виллидж праздновать Хэллоуин.

Кэрол Нибб умерла через десять дней после того, как Милану исполнилось три года, но он запомнил ее навсегда. Его единственная «настоящая» бабушка жила далеко, не хотела больше садиться в самолет, как ее ни просили прилететь, и ему не суждено было с ней встретиться. Кэрол лучше всех остальных, кого он знал, подходила под определение «бабушки», и теперь он ее потерял. Он был слишком мал, чтобы так тесно познакомиться со смертью.

Позвонила Хелен Филдинг: «Привет, Салман! Хочешь выставить себя на посмешище?» Делали фильм по ее роману

«Дневник Бриджит Джонс», и она предложила ему сняться в сцене книжной презентации, когда Бриджит спрашивает писателя, как пройти в уборную. «Согласен, — сказал он, — почему бы и нет?» Актерская игра была его неудовлетворенной потребностью. В школе он с приделанным горбом, в шерстяных чулках играл безумную врачиху фройляйн Матильду фон Цанд в «Физиках» Дюрренматта. В Кембридже он исполнил несколько скромных ролей в студенческих постановках: испуганного судью в «Страхе и отчаянии в Третьей империи» Бертольта Брехта, ожившую статую в пьесе Эжена Ионеско «Будущее в яйцах» и скептика Пертинакса Серли, дружка легковерного сэра Эпикура Маммона, в «Алхимике» Бена Джонсона. Затем, после Кембриджа, были экспериментальные труппы в театре «Овал-Хаус». Порой они с Биллом Бьюфордом мечтали о том, чтобы сбежать, наняться в какую-нибудь малоизвестную летнюю труппу на Среднем Западе и радоваться жизни, играя в нелепых комедиях и жутких мелодрамах, — но сейчас об этом не могло быть и речи. На пару дней выставить себя на посмешище, снимаясь в «Бриджит», — этим приходилось довольствоваться.

Сцену презентации снимали два дня. Рене Зеллвегер даже при выключенных камерах не переставала говорить с британским выговором, поэтому было странное ощущение, что он беседует с самой Бриджит Джонс, а не с играющей ее актрисой. Колин Ферт был забавен и полон дружелюбия: «Я втайне надеюсь, что вы здесь сядете в калошу, потому что я-то не умею книжки писать». А Хью Грант поцеловал его. Это произошло в сцене, где они с Хью, давние друзья, встречаются после долгой разлуки, и перед одним из дублей Хью спросил: «Вы не против, если я поцелую вас вот сюда?» — после чего смачно чмокнул его в ошеломленные губы. В окончательный вариант сцена не вошла. Мой первый поцелуй на экране, думалось ему, — и не с кем-нибудь, а с Хью Грантом! — безжалостно вырезали ножницы монтажера. (Из мужчин, помимо Гранта, его целовал только кинорежиссер Абель Феррара, который, встретившись с ним в нью-йоркском ночном клубе, обнял его и пустил в ход свой мускулистый язык. К счастью, никакие камеры этого не запечатлели.)

Сыграть человека по имени Салман Рушди, чьи реплики написаны кем-то другим, оказалось трудней, чем он думал. Окажись он и вправду на книжной презентации и встреться там с неопытной молодой сотрудницей отдела паблик рилейшнз, которая ведет себя неуклюже и попадает впросак, его инстинктивным побуждением было бы пожалеть ее и подбодрить, и он попробовал сыграть именно так, но получилось не смешно. Чем высокомернее он обходился с Бриджит, тем комичней

выглядело ее смущение. В сцене презентации участвовал и Джеффри Арчер[274], который был очень недоволен тем, что он ничего не должен говорить. «Я согласился прийти, — твердил он продюсерам. — Дать мне реплику-другую — это самое малое, что вы обязаны для меня сделать». Но они не уступили. Есть сценарий Ричарда Кертиса — и точка. Само собой, он тоже попытался сочинить для «Салмана Рушди» кое-какие добавочные слова, но все их в итоге из фильма вырезали, кроме одного еле слышного обмена фразами на заднем плане. Кто-то спрашивает его, насколько автобиографичны его книги, и он отвечает: «Вы знаете, до вас мне никто не задавал этого вопроса».

Теперь им было где жить в Нью-Йорке, и вблизи Иллюзия приобретала реальные черты. Она была способна изрекать слова, преисполненные такого величественного нарциссизма, что он не знал, как ему быть, — хвататься за голову или аплодировать. Например, когда некий глянцевый журнал назвал самой красивой индийской женщиной на свете кинозвезду Айшварию Рай, Падма в комнате, полной людей, заявила, что у нее «есть по этому поводу серьезные вопросы». Ее настроение менялось непредсказуемо и очень резко. На его счет она была осторожна: «Это лето мы вместе, а там посмотрим». Она чередовала жар с холодом, и он начинал сомневаться, что ради жара стоит терпеть такой холод. Несколько дней могла быть мрачна и замкнута, и вдруг наступало утро, когда она сияла как солнце. Его дневник был полон сомнений: «Долго ли я пробуду с этой женщиной, чья главнейшая черта — себялюбие?» Однажды вечером, когда после ужина, прошедшего не слишком мирно, они сидели в парке на Вашингтон-сквер, он сказал ей: «Мне такая жизнь не подходит». После этого несколько дней она была сама нежность, и он забыл, почему произнес эти слова. Он познакомил ее с несколькими женщинами, с которыми дружил, и в большинстве своем они ее одобрили. Когда он повторил ей их отзывы, на то хорошее, что было сказано о ее характере, она обратила куда меньше внимания, чем на похвалы форме ее грудей. Французский «Плейбой» раздобыл ее фотографии в обнаженном виде и поместил одну на обложку, назвав ее его «невестой». До слов ей было мало дела, и она не возражала против снимка на обложке, но хотела получить за него деньги, и ему пришлось нанять ей французского адвоката. Вот, значит, чем я теперь занимаюсь, изумленно думал он. *Моя подруга красуется в голом виде на обложке «Плейбоя», а я выторговываю гонорар.*

Плача, позвонила ее мать: супружеский кризис. Она хотела уйти от мужа, отчима Падмы. «Конечно, — сразу предложил

он, — пусть приезжает и живет с нами». «В этот день я поняла, что люблю тебя, — сказала ему Падма потом. — Когда ты мгновенно согласился позаботиться о моей маме». И это было так: они любили друг друга. Немало лет он думал об этом как о великой любовной истории, как о грандиозной страсти, и так же, он верил, думала она. Да, их союз был неустойчив и, вероятно, обречен: но, пока он не распался окончательно, он не считал его чем-то иллюзорным. Он верил, что это настоящее.

Зафар приехал в Нью-Йорк и познакомился с ней. Сказал, что она ему нравится, но нашел странным, что отец сошелся с женщиной, которая ближе к его, Зафара, поколению, чем к отцовскому, и добавил: «Диковинное сочетание: интеллектуал — и модель». Тем не менее он счел ее «очень симпатичной» и сказал: «Если ты хочешь именно этого, я тебя поддерживаю». Он конечно же видел, как видели все, насколько важна для его отца эта новая вольная нью-йоркская жизнь без охраны, и понимал, что отец от нее не откажется.

Летом он не хотел возвращаться на Литтл-Нойак-Пат, но Валери, вдова Джозефа Хеллера, предложила ему их дом на Скимгемптон-роуд, на границе между Истгемптоном и Амагансеттом. Ее пригласили в Италию, и ей нужно было сменить обстановку. «Я ничего не убирала, одежда Джо по-прежнему в шкафах, так что мне хочется, чтобы за этим присмотрел кто-нибудь знакомый». Мысль, что он будет писать за столом Джозефа Хеллера, волновала и в то же время смущала. «Его рубашки вам подойдут, — добавила Валери. — Берите и носите что вам захочется». *Нет,* подумал он. *Это уже будет слишком. Нет, спасибо.*

Он много времени проводил один, потому что Падма снималась в Торонто в фильме с Мэрайей Кэри, и к концу лета он дописал черновой вариант «Ярости». Вернувшись в Нью-Йорк, дал его прочесть женщине, с которой пытался построить новую жизнь, и ей было почти нечего ему сказать о прочитанном — ее заинтересовала только героиня, похожая на нее внешне. Ладно, сказал он себе, все на свете ни от кого нельзя получить. Он отложил рукопись в сторону, и они отправились в город проводить вечер. Поздней ночью ему подумалось: «А ведь мне по-настоящему хорошо». «И я, ребята, — написал он в дневнике, — имею на это право».

Поразительная новость: британские разведслужбы наконец-таки снизили оценку опасности. Уже не уровень два, а всего-навсего уровень три — большой шаг к нормальной жизни, и если,

сказали ему, все и дальше будет идти хорошо, через полгода он вполне может оказаться на четвертом уровне. Никто на четвертом уровне не охраняется силами Особого отдела, так что дело тогда можно будет считать сделанным. Он спросил: «Не слишком ли вы осторожничаете уже сейчас? В Америке я беру такси, езжу на метро, хожу на бейсбол, устраиваю пикники в парке. Потом возвращаюсь в Лондон — и мне опять надо садиться в пуленепробиваемую машину». Мы считаем, что так надо, ответили ему. Двигаться неуклонно, но медленно. Мы слишком долго вами занимались, чтобы позволить себе ошибку на этом этапе.

Уровень три! Возникло чувство, что интуиция его не подвела. Он долго пытался всем доказать, что способен снова стать хозяином своей жизни, и некоторые из друзей считали эти его устремления глупыми; Исабель Фонсека писала ему длинные тревожные электронные письма, где утверждала, что если он не «одумается» и не наймет телохранителей, то «очевидное» произойдет «с неизбежностью». И вот теперь, очень медленно, гораздо медленней, чем ему хотелось бы, мир спецслужб начинал убирать опутывавшую его страховочную сеть. Он будет и дальше доказывать свою правоту и неправоту тех, кто пророчил беду. Он отвоюет свободу. Но поскорее бы, поскорее бы четвертый уровень!

Вскоре после этой новости спецслужбы пошли на новую громадную уступку. Обсуждались, сказали ему в Особом отделе, его супружеские дела, и создалось впечатление, что в какой-то момент ему захочется, а вполне вероятно и придется, выехать из своего семейного дома. Начальство Скотленд-Ярда, поговорив с мистером Утро и мистером День, согласилось на его «открытую» охрану по новому адресу в течение полугода. После этого, если оценка опасности не изменится в худшую сторону, они подтвердят, что угрозы его жизни больше нет, и снимут охрану. Ну вот, наконец-то. Показалась финишная черта.

Хотя многие из женщин, с которыми он был в дружеских отношениях, поддержали его (многие, но не все; критик Гермиона Ли, встретив его в ресторане, хоть и не без ласковости, но с изрядной долей негодования назвала его мерзавцем), он продолжал тревожиться из-за Милана. А потом — очередной приступ безумного поведения у реальной женщины, скрывавшейся за Иллюзией, ссора, возникшая из ничего, и он стал думать: *Мне надо вернуться, я вернусь ради Милана,* и он сделал глупую ошибку, упомянув о такой возможности в разговоре с Элизабет, которая отреагировала враждебно: ее собственная боль заслоняла для нее (и это вполне можно было

понять) его проблемы. Он попытался второй раз, потом третий. Но она была так сильно ранена, так оборонительно настроена, что не могла смягчиться. Тем временем в Нью-Йорке пленившая его красавица умоляла его не уходить и в конце концов признала, что он был прав во всем, что его критика справедлива целиком и полностью, но говорила, что хочет все поправить, и поправит. Он ей поверил. Ничего не мог с собой поделать. Она была его мечтой о будущем, и он не мог отказаться от мечты. И он вновь отвернулся от Элизабет. Это проявление мягкотелого непостоянства было у него последним и самым жестоким. Он с отвращением смотрел на свои дела.

Адвокаты вступили в бой. Десять лет минуло с тех пор, как они с Элизабет ели в квартире у Лиз Колдер ягнятину с листьями настурции. С тех пор как его ударило молнией на острове Либерти, прошел год.

После двух фальстартов (двух квартир, чьих владельцев отпугнули проблемы безопасности) он на год снял маленький дом на Ноттинг-Хилл-Мьюз, принадлежащий поп-звезде Джейсону Доновану, который некогда блистал в мюзикле «Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов». Когда про это узнала пресса, «Ежедневное оскорбление», естественно, пришло в ярость: у дверей «ненавистника Британии» теперь круглые сутки будут дежурить полицейские в форме, поскольку он, видите ли, не хочет больше скрываться. Ну и наглец же вы, мистер Рушди! — прочел он в «Оскорблении». Элизабет не хотела, чтобы Милан бывал у него в том доме. Сказала, это небезопасно. Это ужасно напугает мальчика, выведет его из равновесия. «Ты эгоист, тебе ничего не стоит разрушить чужую жизнь, — сказала она. — Ты сделал счастливым хоть кого-нибудь? Как ты с самим собой живешь, удивляюсь». У него не было достойного ответа. Но в конце концов Милан стал у него бывать. В конце концов у них с Миланом установились тесные отношения любящего отца и любящего сына, и Милан вырос в замечательного, не по годам взрослого парнишку, спокойного, мыслящего, с мягким характером. В конце концов стало ясно, что жизнь Милана не разрушена, что это счастливая, открытая душа. Да, в конце концов, в конце концов… Но концу, увы, должна была предшествовать середина.

Мистер Джозеф Антон, международный издатель американского происхождения, скончался, никем не оплаканный, в тот самый день, когда Салман Рушди, писатель индийского происхождения, всплыл на поверхность после долгих лет подпольного существования и, бывая в Лондоне, стал жить на

Пембридж-Мьюз в Ноттинг-Хилле. По крайней мере один человек отпраздновал это событие: сам мистер Рушди.

X. В отеле «Хэлсион»

Пока не началась его жизнь с Падмой, он очень мало знал о городе Лос-Анджелесе, помимо той избитой истины, что здесь рождаются иллюзии. Долгое время он верил, что логотип компании «Двадцатый век — Фокс» — подлинное здание, не знал, что лев компании «Метро — Голдвин — Майер» не рычит, а зевает, и хотел выяснить, к какой горной цепи принадлежит гора компании «Парамаунт». Иначе говоря, он был так же легковерен, как большинство киноманов, — а ведь он провел детство в кинематографическом городе, по важности мало в чем уступающем Голливуду, и по идее ему бы следовало быть прожженным всезнающим циником, желающим одного: развенчать эту индустрию с ее саморекламой, тщеславием, жестокостью и обманом. Вместо этого он угодил в ее сети, повелся на все это надувательство, впечатанное в бетон перед Китайским кинотеатром[275], и он знал, что формирующее воздействие на его воображение не только Феллини и Бунюэля, но и Джона Форда, Говарда Хоукса и Эррола Флинна, «Семи невест для семи братьев», «Рыцарей Круглого стола» и «Скарамуша» было таким же глубоким, как воздействие Стерна и Джойса; городские названия — бульвар Сансет, Колдуотэр Кэньон, Малибу Колони — заставляли его сердце биться, и вот где жил Натанаэл Уэст, когда писал «День саранчи», и вот где жил Джим Моррисон в ранние дни группы *Doors*. Он не был, конечно, полным деревенщиной; с другим Лос-Анджелесом, более «продвинутым», более политизированным, его познакомили его никарагуанская знакомая Джоконда Белли, жившая в Санта-Монике, и другая знакомая — Роксана Тайнан, которая участвовала в избирательной кампании будущего мэра Антонио Вилларигосы. Однажды в аптеке «Рексолл» на углу бульваров Беверли и Ла Сиенега он встретил литературоведа Захари Лидера, и тот сказал ему, что именно здесь Олдос Хаксли[276] впервые закинулся мескалином, «так что вот они, — провозгласил Лидер, показывая на раздвижные стеклянные двери аптеки, — двери восприятия!»[277].

Семья Падмы (ее мать после двух месяцев жизни врозь вернулась к отчиму) обитала в совершенно нефешенебельном пригороде Уэст-Ковина, и она окончила школу Ла-Пуэнте, расположенную, сказала она, в таком опасном месте, что каждый день, возвращаясь из школы, она всю дорогу бежала без остановки. Так что у него была возможность познакомиться с еще одной стороной Лос-Анджелеса. Даже в Голливуде ему

вспоминались печальные рассказы Ф. Скотта Фицджеральда о неудачливом сценаристе Пате Хобби, и ему хватило извращенности отправиться на поиски Сиело-драйв и духа Шэрон Тейт[278]. Он все еще чувствовал себя бывшим заключенным, лишь недавно выпущенным на волю, и одним из самых больших подарков, какие преподнес ему город, было то, что многие его жители ненавидели: вождение. Он долгие годы не имел возможности сесть за руль и теперь взял напрокат машину и колесил по городу часами, знакомясь с его улицами и лабиринтами каньонов, двигаясь то по шоссе Пасифик-Коуст-хайвей, то к отелю «Миллион долларов», и если магистраль оказывалась забита, он ехал по второстепенным дорогам, и в любом случае он был счастлив, что может перемещаться в общем потоке и напевать себе под нос старую песню *Fire* группы *Pointer Sisters (Я еду с тобой в машине, / ты включаешь радио…)*, которая запомнилась ему, потому что была хитом, когда он молодым автором рекламных текстов приехал сюда сочинять рекламу краски для волос и разъезжал по городу; в сопровождении двух блюстителей порядка из Беверли-Хиллз в темных зеркальных очках, изображавших из себя Старски и Хатча из телебоевика про полицейских («Хочешь, остановлю перед тобой весь транспорт? Не хочешь? Уверен? Потому что я запросто могу остановить весь транспорт, точно тебе говорю!»). Но сейчас никаких полицейских не было, и он жил с красивой женщиной в ее квартире в Уэст-Голливуде на Кингз-роуд, между Беверли и Мелроузом, в то время как в их нью-йоркской квартире шел ремонт, и в иные дни жизнь чрезвычайно его радовала.

Квартира была маленькая, поэтому он, наслаждаясь анонимностью, часто работал в библиотеке в Беверли-Хиллз; любя местную историю, он погружался в городское прошлое и выяснил, что ангелы пришли в название города от Порциунколы — первой крохотной церкви Св. Франциска Ассизского. Он узнал про легендарных «людей-ящериц», живших в туннелях под городом тысячи или сотни лет назад — а может быть, буквально вчера. Ненадолго его посетила мысль: не написать ли про Дж. Уоррена Шуфелта, который в 1934 году изобрел некую колебательную установку и с ее помощью *нашел эти туннели*, куда можно было попасть из подвала центральной библиотеки? Туннели шли до самого стадиона «Доджер» — но гениальный Шуфелт после своего великого открытия, не успев никому показать туннели, *таинственным образом бесследно исчез! И его никогда не видели! И что же все-таки с ним произошло?* Одумавшись, он хмыкнул. Может быть, все-таки не стоит писать про несчастного старого Дж. Уоррена.

Голливуд — маленький городок внутри огромного города, и на пять минут он, новоприбывший, сделался там модной персоной. Кинорежиссер Майкл Манн пригласил его на ужин, и они обсудили проект фильма о мексиканской границе. Знаменитый киноактер Уилл Смит рассказал ему, как боксер Мухаммед Али учил его своей фирменной шаркающей манере перемещаться. Продюсер Брайан Грейзер пригласил его к себе в кабинет и спросил, не хочет ли он написать сценарий фильма о своей жизни. Несколькими годами раньше он слышал от Кристофера Хитченса, что, по мнению Милоша Формана, фильм о Рушди и другой его фильм, поднимающий тему свободы слова — «Народ против Ларри Флинта», — могли бы составить замечательную дилогию; но и тогда, и теперь он чувствовал, что соглашаться не стоит. Если, сказал он Грейзеру, он захочет рассказать свою историю, он сначала сделает это с помощью книги. (Ему, кроме того, нравилось бывать в Голливуде и не иметь отношения к кинематографическому бизнесу. Это было, если хотите, *круче*. Подписав договор на сценарии, он в ту же секунду превратился бы в наемного работника, одного из многих.)

Он обедал в отеле «Беверли-Хиллз» с Кристофером Хитченсом и Уорреном Битти, большим поклонником Кристофера.

— Должен признаться, — сказал ему Уоррен Битти, — что на днях, когда я увидел вас за ужином в «Мистере Чау», с вами была женщина такой красоты, что я чуть не упал в обморок.

В те дни он доверял ей безоговорочно, поэтому ответил:

— Я ей позвоню. Может быть, она к нам присоединится.

— Скажите ей, будьте добры, — попросил его Битти, — что здесь Уоррен Битти и что на днях он чуть не упал в обморок, сраженный ее красотой.

Когда он позвонил, она ехала в машине и злилась (она терпеть не могла сидеть за рулем).

— Я тут обедаю с Уорреном Битти, — сказал он, — и он попросил меня сообщить тебе, что чуть не упал в обморок, сраженный твоей красотой.

— Заткнись, — отозвалась она. — Мне сейчас не до твоих шуточек.

Но он все-таки убедил ее, что говорит правду, и она присоединилась-таки к ним, причем нарочно не стала наряжаться: явилась в трениках и маечке и, конечно, выглядела при этом вполне способной повергнуть Уоррена Битти в обморок.

— Прошу вас, не пеняйте мне, — сказал ему легендарный любовник, — если я на пять минут потеряю голову из-за вашей

дамы. Потом можно будет продолжать обедать.

Он порадовался про себя, что существует Аннет Бенинг[279], а то ведь… ладно, лучше это оставить. Они продолжили обедать, и вопрос был исчерпан.

Теснее всего он сдружился в Голливуде с Кэрри Фишер[280], проницательной и острой на язык, и она высказала ему свои сомнения по поводу Падмы. Она устроила вечеринку, чтобы он мог познакомиться с другими женщинами, и прежде всего с Мег Райан[281], которая ему очень понравилась — даже несмотря на то, что три раза повторила: «Вы знаете, люди *так ошибаются* на ваш счет!» Но потом разговор зашел о духовной жизни, и Мег рассказала про свои многие посещения индийских ашрамов, призналась, что восхищается Свами Муктанандой и Гурумайи. Это их не сблизило — тем более что он сказал ей в ответ, что скептически относится к индустрии гуру, и посоветовал прочесть книгу Гиты Мехты «Карма-кола».

— Ну почему вы такой циник? — спросила она так, словно действительно хотела знать ответ, и он сказал, что, если растешь в Индии, легко понять, что эти люди обманщики.

— Да, конечно, шарлатанов очень много, — резонно согласилась она, — но ведь можно распознать честных?

Он печально покачал головой.

— Нет, — сказал он. — У меня это не получается.

И на этом их беседа окончилась.

Бесконечные перемещения между Уэст-Голливудом и Пембридж-Мьюз были дьявольски тяжелы, и с разводом, который стал слишком отвратителен, чтобы его описывать, с огромными помехами его общению с маленьким сыном, приводившими его в бешенство, с растущими расходами на ремонт нью-йоркской квартиры, которая оказалась в гораздо худшем состоянии, чем он думал, с переменами в настроении Падмы, столь частыми, что он был счастлив, если между ними все было ладно два дня подряд, — со всем этим ему приходилось иметь дело сквозь тусклую пелену синдрома смены часовых поясов. И однажды в Лос-Анджелесе он услышал весть, которой со страхом ждал не один год. Умер Джон Дайамонд. Он закрыл лицо руками, и когда женщина, говорившая, что любит его, узнала от него, в чем дело, она сказала: «Я тебе сочувствую, но ты переживешь это, я думаю». В такие моменты ему казалось, что он и двух секунд больше не сможет с ней пробыть.

Но он не уходил. Он оставался с ней еще шесть лет. Потом, глядя на те дни лишенными иллюзий глазами человека, пережившего очередной развод, он не вполне понимал свое поведение. Возможно, это был род упрямства; или отказ

разрушить связь, ради которой он разрушил брак; или нежелание пробудиться от грезы о счастливом будущем с ней, пусть даже это будущее было миражом. Или, может быть, она, черт возьми, была просто-напросто слишком красива, чтобы уйти.

В то время, однако, у него был более простой ответ. Он остается с ней, потому что любит ее. Потому что они любят друг друга. Потому что у них любовь.

Несколько раз за эти годы они расставались — ненадолго, — причем чаще по его инициативе; но в конце концов он предложил ей выйти за него замуж, и вскоре после свадьбы ушла именно она. Это побудило Милана, который на бракосочетании нес подушечку с кольцами, спросить его: «Как же так, папа? Такой замечательный день ничего не значил?» У него не было ответа. Он чувствовал то же, что и сын.

Были, конечно, и хорошие моменты. Они обустроили себе жилище, любовно украсили его и обставили, как нормальная пара. «Я делала это с тобой любя и чистосердечно», — сказала она ему годы спустя, когда они опять разговаривали, и он ей поверил. Между ними была любовь и вспыхивала страсть, и, когда все было хорошо, все было очень хорошо. Вместе они поехали на Книжный бал в Амстердам, где прошла презентация «Ярости» на нидерландском, и она сразила всех наповал; все были ослеплены ее красотой, в национальной программе новостей кадры ее прилета сопроводили песней Шарля Азнавура «Она прелестна», а затем четверо истекающих слюной критиков обсуждали ее невероятную красоту за «круглым столом». И она лучилась счастьем, обращалась с ним любовно и была ему изумительной подругой. Но такие полосы сменялись другими, мрачными и низменными, которых становилось все больше. Постепенно до него доходило: она проникается по отношению к нему духом соперничества, думает, что он заслоняет собой ее свет. Она не любила играть вторую скрипку. «Не ходи со мной, — сказала она ему незадолго до конца их совместной жизни, когда их пригласили на церемонию вручения кинематографических премий, на которой должны были чествовать его давнюю подругу Дипу Мехту. — Когда мы вместе, люди хотят разговаривать только с тобой». Он заметил ей, что она не может выбирать, по каким дням она замужем, а по каким нет. «Я всегда гордился, что могу быть на людях рядом с тобой, — сказал он, — и мне горько, что ты не чувствуешь того же по отношению ко мне». Но она была полна решимости выйти из его тени, начать самостоятельную игру; и в конце концов она в этом преуспела.

В эпоху ускорения всего и вся газетную колонку невозможно

написать даже за два дня до публикации. В тот день, когда ему надо было представить очередную ежемесячную статью для синдиката «Нью-Йорк таймс», он должен был, проснувшись, прочесть свежие новости, понять, что́ сегодня волнует людей сильнее всего, подумать, что́ он по праву может сказать на ту или иную из этих тем, и написать тысячу слов самое позднее к пяти вечера. Злободневная журналистика — совсем другое ремесло, нежели писательство, и он освоил это ремесло не сразу. С какого-то момента необходимость думать так быстро начала бодрить его, веселить. К тому же он стал ощущать себя привилегированным человеком, членом комментаторской элиты — узкой группы колумнистов, которой дано право формировать мировое общественное мнение. К тому времени он уже понял, как это трудно — иметь мнения, особенно такие, которые «идут в дело» в таких колонках: резко очерченные мнения, подкрепленные сильными доводами. Он не без труда «выдавал на-гора» одно такое мнение в месяц и испытывал поэтому священный трепет перед коллегами — Томасом Фридманом, Морин Дауд, Чальзом Краутхаммером и другими, — у которых могло возникать по два подобных мнения каждую неделю. Он сочинял колонки третий год и уже написал об антиамериканизме, о Чарлтоне Хестоне[282] и Национальной стрелковой ассоциации, которую он возглавлял, о Кашмире, о Северной Ирландии, о Косово, о нападках на преподавание теории эволюции в Канзасе, о Йорге Хайдере, об Элиане Гонсалесе[283] и о Фиджи. У него создалось впечатление, что запас тем, рождающих у него сильные чувства, иссякает, и он сказал Глории Б. Андерсон из синдиката «Нью-Йорк таймс», что, возможно, в скором времени откажется от колонки. Она энергично его уговаривала. Некоторые его колонки, сказала она, произвели сильное впечатление. В начале 2000 года он написал, что «борьба, которая определит лицо новой эпохи, будет идти между Терроризмом и Безопасностью». Он из тех людей, заметила она ему, кто может говорить об этом со знанием дела, и если он был прав — а она в этом уверена, — то, по ее словам, «новости на темы, по которым вам есть что сказать, будут появляться, и людей будет интересовать ваше мнение».

Ни Глория, ни он не догадывались, каким внезапным и резким будет сдвиг в тематике новостей, который она предсказала. Никто не выглядывал в окно классной комнаты, никто не замечал начатков крылатой бури на пришкольной площадке. Ни он, ни Глория не знали, что птицы уже собрались на каркасе для лазанья и почти готовы нанести удар.

Его внимание было направлено в другую сторону. В Англии выходил его новый роман. На обложке — черно-бела картинка:

Эмпайр-стейт-билдинг, а прямо над ним маленькая черная тучка со светящимися краями. Это была книгп о ярости, но автор понятия не имел, какую ярость принесет ближайшее будущее.

Этот его роман хуже всех, не считая «Гримуса», приняла критика. С сочувствием и пониманием о нем написали буквально два-три человека. Многие британские рецензенты восприняли его как плохо замаскированную автобиографию, и не одна статья о романе была проиллюстрирована его фотографией в обществе «соблазнительной новой подруги». Да, это было неприятно, но в итоге он благодаря этому обрел некую новую свободу. Он всегда беспокоился — порой излишне — о том, чтобы отзывы на его книги были хорошими. Теперь он увидел, что это очередная разновидность той ловушки, в какую попадаешь, желая непременно быть любимым, — ловушки, в которую он с катастрофическими последствиями угодил несколько лет назад. Что ни говорили про его новую книгу, он оставался ею горд, он знал, почему она написана именно так, и по-прежнему чувствовал, что его писательские решения имеют под собой доброкачественную художественную основу. Вдруг он оказался способен не придавать ругательным отзывам серьезного значения. Как все писатели, он хотел, чтобы его работу оценили по достоинству, это по-прежнему было так. Как все писатели, он, встав на литературную стезю, отправился в интеллектуальное, лингвистическое, эмоциональное путешествие, пустился на поиски новых форм; книги были путевыми заметками, которые он посылал читателям, надеясь, что им захочется и понравится ему сопутствовать. Но сейчас он понял: если в какой-то момент они оказываются не способны дальше двигаться с ним по дороге, которую он выбрал, это печально, но это не причина, чтобы он свернул с дороги. Не можете со мной идти — очень жаль, мысленно сказал он критикам, но я по-прежнему иду этим путем.

В Тельюрайде, штат Колорадо, ему надо было следить за тем, как быстро он ходит, насколько поспешно поднимается по лестницам, не слишком ли много пьет алкогольных напитков. Воздух там разреженный, а он астматик. Но это место — высокогорный рай. Может быть, в том, библейском Эдеме воздух тоже был разреженный, думалось ему, — но он был уверен, что в той яблочно-змеиной западне где-то к западу от земли Нод столько хороших фильмов не показывали.

Том Ладди и Билл Пенс, руководители кинофестиваля в Тельюрайде, каждый год приглашали в качестве третьего руководителя какого-нибудь гостя, и в 2001 году выбор пал на него. Он составил небольшой список «личных» фильмов для

показа, куда вошли «Золотая крепость» Сатьяджита Рая — о мальчике, который грезит о прошлой жизни в золотой крепости, полной драгоценных камней; «Солярис» Андрея Тарковского — о планете, которая была единым разумом, столь мощным, что она могла исполнять глубинные желания людей; и немой шедевр Фрица Ланга «Метрополис» — мрачная поэма о тирании и свободе, о человеке и машине, восстановленная в первоначальном виде и наконец избавленная от электронного музыкального сопровождения Джорджо Мородера.

Фестиваль прошел в удлиненный по случаю Дня труда сентябрьский уик-энд; то были его последние свободные дни перед мероприятиями, связанными с публикацией «Ярости» в Америке. Он встретился с Падмой в Лос-Анджелесе, и они вылетели в Колорадо, где 1 сентября отметили ее тридцать первый день рождения, смотря кино среди гор, гуляя по улицам прихотливо раскинувшегося городка, где Бутч и Сандэнс[284] ограбили свой первый банк, тут попивая кофе с Вернером Херцогом[285], там болтая с Фэй Данауэй[286]. В Тельюрайде никто никому ничего не продавал, не втюхивал, и все были доступны. Киношные энциклопедисты Леонард Малтин[287] и Роджер Иберт[288], кинодокументалист Кен Бернс и другие хорошо информированные люди из мира кино были к твоим услугам — делились мудростью, отпускали шуточки. О чем в Тельюрайде не было двух мнений — это о том, что Том Ладди знает всех на свете. Великий Ладди, церемониймейстер и повелитель праздничного беспорядка, смотрел на все благосклонным взором. Тельюрайд был веселым местом. Чтобы отправиться на горном подъемнике в кинотеатр имени Чака Джонса[289], надо было оформить *Wabbit Weservation* — «куоличью буоню».

Они посмотрели французский кинохит «Амели», насыщенный чуть переслащенными фантазиями, хорватский фильм Даниса Тановича «Ничья земля» — этакое «В ожидании Годо» в окопах под огнем — и мастерски сделанную на деньги кабельной телесети Эйч-би-о картину Агнешки Холланд «Выстрел в сердце» — экранизацию книги Майкла Гилмора о его брате-убийце Гэри. Смотрели по три фильма в день, на некоторых засыпали, а между просмотрами и после них — гульба, встречи, вечеринки. Спустились с горы 3 сентября, и восемь дней спустя невозможно было не вспомнить то время как пребывание в раю, откуда был изгнан весь мир, а не только они.

Официальной датой выхода в свет «Ярости» в США было 11 сентября 2001 года. События того дня преобразили роман, задуманный как ультрасовременный сатирический портрет Нью-Йорка, в исторический роман о городе, переставшем быть тем

Нью-Йорком, что он описывал, о городе, чей золотой век оборвался в высшей степени резко и ужасающе; в роман, который внушает читателям, помнящим, каким был этот город, не запланированное автором чувство: ностальгию. Один персонаж комиксов Гарри Трюдо «Дунсбери» печально признается: «Знаете, по чему я взаправду тоскую? По десятому сентября». Нечто подобное, он понял, произошло с его романом. События 11 сентября превратили его в портрет предыдущего дня. Превратили его в грезу об утраченной прошлой жизни, о золотой крепости, полной драгоценных камней.

10 сентября 2001 года он был не в Нью-Йорке, а в Хьюстоне, штат Техас. До этого он пятого читал отрывки в книжном магазине «Барнс энд Ноубл» на нью-йоркской Юнион-сквер, потом полетел в Бостон — во второй город его авторского турне — и был там шестого и седьмого. Утром 8 сентября он вылетел из аэропорта Логана всего за трое суток до роковых самолетов и два дня провел в Чикаго. После этого вечером десятого в хьюстонском театре «Элли» был полный зал — в театр, по словам Рича Леви из проводившей вечер литературной организации «Инпринт», пришли девятьсот человек, еще двести не смогли попасть, — а снаружи его ждал сюрприз: небольшая, человек на двести, демонстрация мусульман против его присутствия. Это казалось каким-то приветом из прошлого. На следующее утро он вспоминал бородачей с плакатами и задавался вопросом: не жалеют ли они о том, что выбрали из всех дней, когда могли продемонстрировать свой фанатизм, именно этот?

Он только-только проснулся, когда ему в номер позвонил радиожурналист. Он согласился перед вылетом в Миннеаполис поговорить с его радиостанцией, но для этого было слишком рано.

— Мне очень жаль, — прозвучало в трубке, — но мы все отменяем. Мы переходим на непрерывное освещение событий в Нью-Йорке.

— А что за события в Нью-Йорке? — спросил он. Он так и не приобрел американскую привычку, едва проснувшись, браться за пульт телевизора. После паузы собеседник произнес:

— Включите телевизор.

Он включил — и меньше чем через минуту увидел второй самолет.

Он не мог сидеть. Смотреть на это сидя казалось неподобающим. Он стоял перед телевизором с пультом в руке, и в мозгу крутилась цифра: пятьдесят тысяч. Пятьдесят тысяч человек работало в Башнях-близнецах. Сколько из них погибло? Страшно даже подумать. Он вспомнил, как в свой первый вечер в Нью-

Йорке побывал в баре «Окна мира» на верху одной из башен. Вспомнил, как Пол Остер рассказывал про переход Филиппа Пети между башнями по канату. Но по большей части просто стоял и смотрел на горящие здания, а потом — одновременно с тысячами людей по всему свету — завопил в мучительной судороге, не веря своим глазам: «Ее нет! Ее больше нет!»

Это рухнула южная башня.

В небе кричали птицы.

Он не знал, что делать; поехал было в аэропорт, но вернулся с полпути, услышав по радио, что по всей стране запрещены вылеты. В отеле «Четыре сезона» номера у него уже не было, в вестибюле толпились люди, попавшие в такое же положение. Он нашел свободное кресло в углу и взялся за телефон. Помог Рич Леви из «Инпринта». Он связался с поэтом Эдом Хиршем и его женой Джанет, застрявшими в Вашингтоне, и они предложили ему свой дом поблизости от здания Мениловской коллекции в Музейном районе, если он согласен кормить их собаку. Это принесло ему некое утешение: побыть одному в доме писателя, в окружении книг, в мире мысли — в то время как в большом мире царит безумие.

Среди тысяч погибших его знакомых не оказалось. Элисон Саммерс, жена Питера Кэри, стояла у банкомата под северной башней, когда в небоскреб врезался первый самолет, но осталась жива. Кэрил Филлипс видела случившееся с Гудзон-стрит, Роберт Хьюз — с Принс-стрит. Юная Софи Остер, которая в свой первый день в школе для старшеклассников впервые в жизни спустилась в метро одна, проезжала под Башнями-близнецами, когда наверху совершалось зверство. 12 сентября стало вторым днем ужаса и горя. *Наш прекрасный разбитый город,* думал он, плача и чувствуя, как глубоко уже успел сродниться с Нью-Йорком. Он прошел от дома Хиршей к экуменическому молитвенному дому Ротко. Даже его, неверующего, потянуло в такое место. Там были и другие — немногие, с печалью на лицах. Все молчали. Разговаривать было не о чем. Каждый пребывал наедине со своей скорбью.

Авторское турне, разумеется, прекратили. Книги перестали кого-либо интересовать. Из книг в последующие недели люди покупали только Библию, Коран и книги об Аль-Каиде и Талибане. Психолог, выступая по телевизору, сказал, что ньюйоркцам, которые 11 сентября были не там, где их семьи, надо приехать к родным, чтобы те воочию убедились: с ними все в порядке. Телефонных звонков недостаточно. Людям нужны зримые свидетельства. *Да,* подумал он, *я должен полететь в Лондон.* Но пока это было невозможно, хотя запрет на полеты

сняли и аэропорты начали открываться. Заработал хьюстонский, за ним лос-анджелесский но нью-йоркские аэропорты по-прежнему были закрыты и международные рейсы не возобновлялись. Ему пришлось подождать еще несколько дней.

Он позвонил Падме в Лос-Анджелес — сообщить, что едет к ней. Она сказала, что снимается в рекламе нижнего белья.

Через десять дней после теракта, в свой последний день в Лос-Анджелесе перед вылетом в Лондон, он ужинал у Эрика и Тани Айдл[290] вместе со Стивом Мартином, Гарри Шандлингом[291] и другими. За столом сидели как минимум трое из самых смешных людей в Америке, но повод для смеха отыскать было трудно. Наконец Гарри Шандлинг, чей голос, как и все тело, был полон свирепой мрачности, произнес: «Просто ужас. Кажется, нет человека, который бы не потерял кого-нибудь из знакомых или из знакомых знакомых… Я, честно говоря, знал кое-кого из террористов…» Чернейший юмор, первая шутка по поводу 11 сентября, и смех немного облегчил скорбь, которую все они испытывали, но он подумал, что вряд ли Шандлинг в ближайшее время захочет повторить этот гэг на широкую публику.

Роберт Хьюз, художественный критик журнала «Тайм», сказал ему по телефону, что, после того как он увидел самолеты над нью-йоркским Сохо, он ходил по городу потрясенный. По пути домой зашел в булочную и увидел пустые полки. Все было раскуплено до последнего бублика, и старый булочник, стоя среди этой пустоты, картинно развел руками. «Вот бы каждый день такое!» — сказал он.

В Лондоне его супружеские проблемы выглядели теперь малозначительными. Элизабет ненадолго смягчилась и позволила Милану пожить на Пембридж-Мьюз. Он забирал сына из подготовительной школы, кормил, мыл ему голову, укладывал спать и потом целый час стоял над ним и смотрел, как он спит. Когда он вернулся из Америки, Милан долго, крепко обнимал его, и Зафар тоже был физически менее сдержанным, чем обычно. Прав был психолог: хоть они знали «знающей» частью мозга, что он даже не был в Нью-Йорке и потому, ясное дело, цел и невредим, им нужно было зримое свидетельство.

Французский еженедельник «Нувель обсерватёр» и лондонская «Гардиан» назвали его роман предвосхитившим события, даже пророческим. Но он не был пророком — он так и сказал одному журналисту. В свое время у него возникли кое-какие проблемы с пророками, и никакого желания наниматься на эту работу он не испытывал. И все же странно: почему эта книга

так настойчиво требовала, чтобы он ее написал, и написал *немедленно*? И откуда они взялись, эти яростные фурии, то парящие над Нью-Йорком, то орудующие в сердце героя книги?

Его просили что-нибудь написать — новостей на темы, по которым он мог высказаться, и правда было достаточно, права оказалась Глория Андерсон, — но он молчал две недели после теракта. Многое, что говорилось и писалось по горячим следам, казалось ему излишним. Ужас видели все, и людям можно было не рассказывать, что им следует чувствовать по поводу случившегося. Потом, медленно, его мысли сплавились в нечто единое. «Фундаменталисты стремятся разрушить куда больше, чем просто здания, — писал он. — Такие люди — противники, если ограничиться самым кратким перечнем, свободы слова, многопартийной политической системы, всеобщего избирательного права для взрослых, ответственности правительства перед народом, евреев, гомосексуалистов, равноправия женщин, плюрализма, секуляризма, коротких юбок, танцев, бритья бород, теории эволюции секса… Фундаменталист убежден, что мы ни во что не верим. Согласно его видению мира, он располагает непреложными истинами, тогда как мы погрязли в сибаритстве, в потворстве своим прихотям. Чтобы доказать ему, что он ошибается, мы должны прежде всего знать, что он ошибается. Мы должны прийти к согласию по значимым вопросам: по поводу поцелуев в общественных местах, сэндвичей с беконом, несогласия, переднего края моды, литературы, великодушия, воды, более справедливого распределения мировых ресурсов, кино, музыки, свободомыслия, красоты, любви. Все это будет нашим оружием. Чтобы их победить, мы должны не развязывать войну, а бесстрашно жить своей жизнью. Как победить терроризм? Не давать себя запугать. Не позволять страху управлять своей жизнью. Даже если тебе страшно».

(Пока он это писал, в прессу просочилась история о том, как Федеральное управление по гражданской авиации запретило американским авиакомпаниям его перевозить. «Бритиш эйруэйз» и европейцы сохраняли спокойствие, а вот в Америке из-за общей паники перед ним снова возникла транспортная проблема. «Понимаю, — думал он не без сарказма. — Сперва вы свободно пускаете террористов в самолеты, а потом запрещаете летать антитеррористически настроенным писателям. Вот каков ваш план поддержания безопасности в Америке». Когда в стране стало поспокойней, авиационное начальство тоже успокоилось и отменило ограничения; его проблемы мигом исчезли, хотя две американские авиакомпании отказывались иметь с ним дело еще десять лет.)

Он поехал во Францию на презентацию «Ярости», которую в новом, только что возникшем мире принимали куда лучше, чем принимали англоязычный вариант в прежнем мире, который перестал существовать. Вернувшись в Лондон, он ужинал у друга, и один гость, некий мистер Прауди, завел ставшую уже обычной шарманку: «Америка сама на это напросилась, Америка это заслужила». Он энергично возразил: британский антиамериканизм такого рода, сказал он, сейчас совершенно неуместен, говорить так — значит проявлять неуважение к невинным жертвам, объявлять их преступниками. На что мистер Прауди отреагировал чрезвычайно агрессивно: «Не мы ли вас защищали?» Как будто это доказывало его правоту. Спор продолжился, и дело едва не дошло до кулаков.

Он написал вторую статью, кончавшуюся так: «Чтобы терроризм был побежден, исламский мир должен усвоить секуляристско-гуманистические принципы, на которых основано современное сознание и без которых свобода в исламских странах будет оставаться несбыточной мечтой». Многие в то время расценили это в лучшем случае как пустое фантазерство, а в худшем — как глупое нежелание упертого либерала примириться с живучестью исламского взгляда на мир. Но десять лет спустя молодые люди в арабском мире — в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и других местах — попытались преобразовать свои общества в соответствии именно с этими принципами. Они требовали рабочих мест и свободы, а не религии. Получат ли они то, чего им хочется, было не ясно, но в том, что им этого хочется, нельзя было сомневаться.

В Нью-Йорке стояла красивая осень, но город не был собой. Он ходил по улицам и в глазах каждого встречного читал один и тот же страх. Каждый громкий звук казался вестником проклятья, налетающего с новой силой. Каждый разговор был траурным ритуалом, в каждой дружеской встрече было что-то от поминок. Но потом, мало-помалу, город начал оправляться. Однажды, опасаясь теракта, власти ненадолго закрыли Бруклинский мост, и вместо того чтобы пережить прилив боязни, люди злились на помеху их перемещениям. Такой Нью-Йорк, словно говоривший «Посторонись, я иду!», он любил. Город возвращался в свою колею. Ограничения на движение транспорта южнее Четырнадцатой улицы еще действовали, но смягчались. К статуе Свободы по-прежнему не пускали, но вскоре начнут пускать. Страшная дыра в земле и наводящая не меньшую тоску пустота в небе никуда не делись, и под землей еще догорали пожары, но даже этот ужас можно было перенести. Жизнь одержит победу

над смертью. Она не останется такой же, как прежде, но она будет. День благодарения в том году он отметил у Пола, Сири и Софи Остер, пришли еще Питер Кэри и Элисон Саммерс, и все они испытывали благодарность за то, что Софи и Элисон уцелели, и за все хорошее на свете, чем надо было теперь дорожить как никогда.

История его маленькой битвы тоже подходила к концу. Пролог остался позади, и теперь мир имел дело с главными событиями пьесы. Очень легко было после всего, что произошло с ним, и после чудовищного преступления против города поддаться искушению и возненавидеть религию, во имя которой совершались эти дела, и ее приверженцев. Всякий, кто хоть отдаленно походил на араба, в эти недели и месяцы в какой-то мере ощутил на себе эту реакцию. Молодые люди надевали футболки с надписями типа: Я НИ ПРИ ЧЕМ, Я ИНДУС. Шоферы такси, многие из которых носили мусульманские имена, боясь гнева пассажиров, заботились о том, чтобы в салонах машин были американские флажки и патриотические наклейки. Но в целом город и в гневе проявил сдержанность. Вину за преступления небольшой группы людей не возложили на многих. И он тоже не позволял себе злиться. Злясь, ты становишься творением тех, кто тебя злит, даешь им слишком большую власть над собой. Злость убивает мысль — а мысль теперь была нужна как никогда, она должна была жить, искать пути, чтобы возвыситься над безумием.

Его выбор состоял в том, чтобы верить в человеческую природу и в универсальность человеческих прав, этических норм и свобод, противостоять релятивистским заблуждениям, на которых основывались в своих нападках религиозные фанатики (мы ненавидим вас, потому что мы не такие, как вы) и их защитники на Западе, зачастую, как это ни удивительно, принадлежавшие к числу левых. Если художественная литература чему-нибудь учит, она учит тому, что человеческая природа — великая постоянная, в какой бы культуре, в каком бы месте и в какое бы время ты ни жил, и что *этос* человека — способ его бытия в мире — и есть, как две тысячи лет назад сказал Гераклит, его *даймон*, руководящее начало, которое формирует его жизнь; или, в более сжатой и привычной формулировке: характер — это судьба. Нелегко было оставаться верным этой идее в то время, когда в небо над Граунд Зеро поднимался гибельный дым, когда у каждого на уме было убийство тысяч людей, чья судьба не вытекала из их характеров: какими бы усердными тружениками, верными друзьями, любящими родителями или великими романтиками они ни были, самолетам не было дела до их *этоса;* и теперь, увы, судьбой может стать терроризм, судьбой может

стать война, наши жизни уже не только в нашей власти. И тем не менее настаивать на верховенстве нашей природы было, пожалуй, еще важнее именно сейчас, среди ужаса; необходимо было говорить о личной ответственности человека, о том, что убийцы морально ответственны за свои преступления, что их нисколько не извиняют ни вера, ни гнев на Америку; в эпоху чудовищно раздутых идеологий необходимо было помнить о человеческом измерении, об отдельном человеке, по-прежнему настаивать на нашей глубинной человечности, продолжать, образно говоря, заниматься любовью в зоне боевых действий.

Романы открывают нам ту истину, что наше «я» неоднородно, многолико, что человеческая личность сложна раздроблена, противоречива. Со своими родителями ты не тот человек, что с детьми, твое трудовое «я» отличается от любовного, и в зависимости от времени суток и настроения ты можешь думать о себе как о человеке высокорослом, или тощем, или нездоровом, или как о спортивном болельщике, или как о консерваторе, или как о человеке, испытывающем страх, или как о человеке, страдающем от жары. Все писатели и читатели знают: человек широк, и не что иное, как широта его натуры, позволяет читателям находить точки соприкосновения с госпожой Бовари, Леопольдом Блумом, полковником Аурелиано Буэндиа, Раскольниковым, Гэндальфом Серым, Оскаром Мацератом, сестрами Макиока, сотрудником детективного агентства «Континентал», графом Эмсуортом, мисс Марпл, бароном на дереве и механическим посланцем Сэло с планеты Тральфамадор из романа Курта Воннегута «Сирены Титана». Читатели и писатели могут переносить это знание о широте человеческой натуры в мир за пределами книжных страниц и находить с помощью этого знания точки соприкосновения с другими людьми. Можно болеть за разные футбольные команды — но голосовать за одну партию. Можно голосовать за разные партии — но соглашаться в том, как лучше всего растить детей. Можно расходиться в вопросах воспитания — но одинаково бояться темноты. Можно бояться разного — но любить одну и ту же музыку. Можно с отвращением относиться к музыкальным вкусам друг друга — но молиться одному Богу. Можно не иметь ничего общего в религиозном плане — но болеть за одну футбольную команду.

Литература знала это, всегда знала. Литература пыталась *открыть Вселенную*, увеличить, пусть ненамного, общую сумму того, что человек может воспринять, понять, чем в конечном итоге он может быть. Великая литература доходила до границ известного и своим напором стремилась расширить рубежи языка

и формы, повысить возможности, сделать мир более просторным. Но стояла эпоха, которая толкала людей обратно, ко все более узкому самоопределению, к тому, чтобы называть себя всего лишь одним словом: сербом, хорватом, израильтянином, палестинцем, индуистом, мусульманином, христианином, бахаи или евреем; и чем уже становилось самоопределение, тем выше была вероятность конфликта. Взгляд литературы на человеческую природу поощрял понимание, сочувствие, способность отождествить себя с теми, кто отличается от тебя, но мир толкал всех в другую сторону — к узости, к фанатизму, к межплеменным и межрелигиозным распрям, к войне. Многие, очень многие не хотели, чтобы Вселенная открывалась, предпочитали, наоборот, прикрыть ее поплотнее, и когда художники приближались к границе и пытались на нее надавить, они зачастую чувствовали мощный обратный напор. И тем не менее они делали то, что должны были делать, — даже ценой своего благополучия, а порой и жизни.

Поэта Овидия император Август сослал в чертову дыру на Черном море под названием Томы. До конца дней поэт умолял властителя позволить ему вернуться в Рим, но безрезультатно. Жизнь Овидия была отравлена; но его поэзия пережила Римскую империю. Поэт Мандельштам умер в одном из сталинских лагерей, но его поэзия пережила Советский Союз. Испанского поэта Лорку убили головорезы-фалангисты генералиссимуса Франко, но поэзия Лорки пережила диктатуру Франко. Искусство сильно, художник не столь силен. Искусство способно, пожалуй, само за себя постоять. Но художнику нужна защита. Собратья-художники предоставляли ему защиту, когда он в ней нуждался. С этих пор он будет стараться, в свой черед, предоставлять ее тем, кому она понадобится, тем, кто пытается расширить границы, переходит их и — да, да! — кощунствует; всем художникам, не желающим смириться с тем, что светский или духовный властитель проводит на песке черту и не велит через нее переступать.

Он прочел Таннеровские лекции в Йельском университете. Они назывались «Шаг за черту».

Что же касается битвы из-за «Шайтанских аятов», по-прежнему трудно было сказать, чем она кончается: победой или поражением. Распространению книги не удалось помешать, ее автора не удалось заставить замолчать, но погибшие остались погибшими и возникла атмосфера страха, в которой подобные книги стало трудней публиковать и, пожалуй, даже трудней писать. Примеру ислама быстро последовали другие религии. В Индии индуистские экстремисты подвергали нападкам фильмы,

кинозвезд (известнейший актер Шах Рух Хан стал мишенью яростных протестов только потому, что высказался за участие пакистанских крикетистов в турнире в Индии) и научные труды (в частности, написанную Джеймсом Лэйном биографию маратхского правителя-воина Шиваджи, которая так «оскорбила» современных почитателей этого монарха, что они атаковали научную библиотеку в Пуне, где Лэйн занимался некоторыми из своих изысканий, и уничтожили много невосстановимых старинных документов и других памятников). В Великобритании сикхи подвергли нападкам сикха — автора пьесы «Бесчестье», которую они не одобрили. А исламисты совершали новые акты насилия. В датском городе Орхусе в дом карикатуриста Курта Вестергора после публикации так называемых «датских карикатур», вызвавших гнев исламских экстремистов, ворвался сомалиец, связанный с радикальной группировкой «Аль-Шабаб» и вооруженный топором и ножом. В Америке издательство Йельского университета, опубликовавшее книгу, где обсуждалась ситуация с «датскими карикатурами», побоялось включить в книгу сами эти карикатуры. В Великобритании издателю книги о младшей жене пророка Мухаммада пришло на домашний адрес письмо со взрывчаткой. Понадобится куда более долгая борьба, чтобы можно было говорить о том, что эпоха угроз и страхов осталась позади.

В конце 2001 года Королевская шекспировская компания повезла постановку по «Детям полуночи» в Америку, где ее намеревались показывать в Анн-Арборе, штат Мичиган, а затем в театре «Аполло» в Гарлеме; после одного из нью-йоркских спектаклей его должны были проинтервьюировать на сцене, а ведь это была его мечта, одна из самых сумасшедших: сыграть в «Аполло». Одновременно он работал над романом «Клоун Шалимар». Ведь кто он такой, в сущности? Рассказчик сказок, создатель образов, творец того, чего нет на самом деле. Самое умное — отдалиться от мира комментариев и полемики и вновь посвятить себя тому, что он больше всего любит, искусству, с молодых лет завладевшему его сердцем, умом и духом, опять поселиться в краю «давным-давно, в незапамятные времена», в краю «кан ма ка» — «то ли было, то ли не было» — и пуститься в пешее путешествие к истине по водам выдумки.

Со своего места в будущем, позволяющего на диккенсовский манер подчистить хвосты, ему видно, как расцвел музыкальный талант его племянницы Мишки, с каким удовлетворением учит маленьких детей его племянница Майя, как вышла замуж его

племянница Мина, дочь его отколовшейся от родных сестры Банно. Ему видно, с каким успехом трудится Зафар и как он доволен жизнью, видно, в какого отличного юношу обещает вырасти Милан. Они с Элизабет снова в хороших отношениях. Билл Бьюфорд развелся, вступил в новый, более счастливый брак и с успехом публикует свои книги о кулинарии. Найджела Лоусон стала невероятно популярным автором книг о кулинарии и вышла замуж за коллекционера произведений искусства Чарльза Саатчи. Фрэнсис Д'Соуса получила титул баронессы, а затем, в 2011 году, стала первой женщиной-спикером в палате лордов. Вильям Нюгор отошел от дел, и руководить издательством «Аскехауг» начал его сын Мадс. Мэриан Уиггинс стала преподавать литературу в Университете Южной Калифорнии. Джеймс Фентон и Даррил Пинкни покинули Лонг-Лиз-Фарм и перебрались в Нью-Йорк. На Полин Мелвилл, проникнув в ее дом на Хайбери-Хилл, напал опасный преступник, но ей удалось вырваться и вылезти в окно. Напавшего поймали и посадили в тюрьму. Жизнь продолжалась. Дела шли настолько хорошо, насколько они идут обычно, и намного лучше, чем он мог надеяться в тот мрачный День святого Валентина в 1989 году.

Не все, однако, кончилось хорошо. В августе 2005 года с Робином Куком случился сердечный приступ во время прогулки по шотландским горам, и он умер.

А что же его Иллюзия, его призрак Свободы? 24 марта 2002 года он взял Падму с собой на ужин и вечеринку в Голливуде, устроенные журналом «Вэнити фэр» по случаю вручения «Оскаров». Они пришли в ресторан «Мортон», и, глядя, как она позирует и делает пируэты перед живой стеной крикливых фотографов, как она горит ярким пламенем молодости и красоты, он увидел выражение ее лица и подумал: *А ведь она сейчас занимается сексом с сотнями мужчин одновременно, и им не надо даже до нее дотрагиваться, разве может какой-нибудь реальный мужчина с этим соперничать?* И в конце концов он потерял ее, да, но лучше так, лучше потерять иллюзии и жить, зная, что мир реален и никакая женщина не может сделать его таким, каким он хотел бы его видеть. Если кто-нибудь это и может, то лишь он сам.

Через два дня после «Оскаров» он вылетел в Лондон, и в аэропорту его встретил Ник Коттедж, добродушный сотрудник Особого отдела со старомодными усами. Ник сказал ему, что на следующее утро к нему хочет приехать для разговора полицейский более высокого ранга — Боб Сейт, у которого тоже, кстати, верхнюю губу покрывала пышная растительность на

манер лорда Китченера.

— Я бы вам посоветовал, — заговорщически добавил Ник, — перенести все утренние дела на более позднее время.

Он отказался объяснить, что это значит, и только улыбался загадочной улыбкой сотрудника тайной полиции.

Его отвезли в отель «Хэлсион» в Холланд-парке — в элегантное розовое здание, где он забронировал номер. После года аренды ему пришлось освободить дом Джейсона Донована на Пембридж-Мьюз. Перед вылетом в Лос-Анджелес на вручение «Оскаров» он снял другой дом в Ноттинг-Хилле — на Колвилл-Мьюз, напротив стремительно пошедшего в гору ателье мод молодого дизайнера Элис Темперли. Туда можно было вселиться через две недели, поэтому он сдал имущество на хранение и забронировал номер в «Хэлсион» — вначале всего на двое суток. На следующий день у Милана начинались пасхальные каникулы, и он собирался провести неделю во Франции с обоими сыновьями. Сначала — к друзьям в Куртуэн (Бургундия), на обратном пути — в Париж и Евродиснейленд.

В среду 27 марта 2002 года ровно в десять утра к нему в отель «Хэлсион» явились Боб Сейт и Ник Коттедж.

— Итак, Джо… — начал Сейт и тут же поправился: — Простите, не Джо, а Салман. Как вы знаете, мы охраняем вас по рекомендации разведслужб, и для того чтобы мы сняли охрану, необходимо, чтобы они понизили оценку опасности для вашей жизни.

— Все это довольно странно, Боб, — сказал он, — ведь в Америке я уже не один год живу как обыкновенный гражданин. Но возвращаюсь сюда — и вы настаиваете на продолжении…

— Тогда, я думаю, вас обрадует, — сказал Боб Сейт, — что уровень опасности теперь понижен, причем существенно, и на этом уровне мы обычно не предлагаем человеку никакой охраны.

Его сердце забилось, но он постарался оставаться внешне спокойным.

— Понимаю, — проговорил он. — Значит, вы снимаете охрану.

— Я просто хотел дать вам такую возможность, — сказал Боб Сейт, — если это для вас приемлемо. Я правильно понимаю, что именно этого вы и добивались?

— Да, — подтвердил он, — вы понимаете правильно. Да, это для меня приемлемо.

— Мы бы хотели устроить для вас вечеринку в Ярде, когда это будет удобно, — сказал Ник Коттедж. — Постараемся, чтобы пришло как можно больше ребят, которые с вами работали в эти годы. Эта операция была одной из самых долгих у нас, и мы очень

гордимся тем, как мы сработали. И мы очень высоко ценим вашу выдержку, понимаем, сколько вы перенесли, многие из ребят говорили, что не смогли бы перетерпеть то, что вы перетерпели, так что было бы здорово это отпраздновать, если вы не против.

— Это было бы прекрасно, — сказал он, чувствуя, что кровь приливает к лицу.

— И мы бы хотели пригласить кое-кого из ваших близких друзей, — продолжил Ник. — Тех, кто вам помогал в эти годы.

Говорить уже особенно было не о чем.

— И что теперь? — спросил он. — Как мы будем действовать?

Боб и Ник встали.

— Это была для нас большая честь, Джо… Простите — Салман, — произнес Боб Сейт, протягивая ему руку.

— Всего вам доброго, дружище, — сказал Ник. Он пожал им руки, и они отбыли. Всё. Через тринадцать с лишним лет после того, как полиция вошла в его жизнь, они повернулись и удалились. Это произошло так резко, что он засмеялся в голос.

Вечеринка Особого отдела состоялась вскоре. Одним из присутствующих был Рэб Конноли, который успешно защитил диплом по постколониальной литературе.

— У меня есть кое-что для вас, — прошептал он шепотом театрального злоумышленника и вложил ему в руку маленький металлический предмет.

— Что это такое? — спросил он Рэба.

— Пуля, — ответил Рэб, и так оно и было. Пуля, которую несчастный Майк Меррил случайно всадил в стену дома на Бишопс-авеню, когда чистил пистолет.

— Все-таки прямо у вас дома, — сказал Рэб. — Я подумал, может, захотите сохранить как сувенир.

Он стоял в дверях отеля «Хэлсион» и смотрел, как отъезжают полицейские «ягуары». Потом вспомнил, что ему надо отправляться к риэлторам на Уэстборн-гроув подписывать договор аренды на дом на Колвилл-Мьюз, а потом надо еще раз взглянуть на дом. «Что ж, — подумал он, — вперед». Вышел из отеля на Холланд-парк-авеню и протянул руку, останавливая проезжающее такси.

От автора

Я благодарен всем, чья помощь и советы способствовали написанию этих мемуаров: сотрудникам архива MARBL университета Эмори, которые последние несколько лет упорядочивали и каталогизировали мои бумаги, без чего они пребывали бы в таком беспорядке, что мне нечего было бы и думать об этой работе; Ванессе Манко за ее неоценимые разыскания в СМИ; моим редакторам в издательстве «Рэндом хаус» — Луизе Деннис, Дэну Франклину, Уиллу Мерфи и Сьюзен Камил — за их замечания к черновому варианту; и другим ранним читателям книги — Эндрю Уайли, Самин Рушди, Элизабет Уэст, Эме Маллинз, Тарин Саймон, Ханану аль-Шейху, Биллу Бьюфорду, Иэну Макьюэну, Полин Мелвилл, Реджи Нейделсону, Мин Катрине Лисковски, Франческо Клементе, Дипе Мехте и Кристоферу Хитченсу за полезные отклики. Фрагменты мемуаров в несколько ином виде — как эссе и статьи — ранее публиковались в различных газетах и журналах, главным образом в «Нью-Йоркере» и «Нью-Йорк таймс». Я благодарю киностудию «Юниверсал стьюдиоз» за разрешение привести цитаты из написанного Эваном Хантером сценария фильма Альфреда Хичкока «Птицы»; издательство «Харвилл — Секкер» — за разрешение процитировать отрывок из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в переводе Миши Гленни; издательство «Нью дайрекшнз» — за разрешение процитировать отрывки из стихотворения Уильяма Карлоса Уильямса «Корона из плюща»; издательство «Джордж Брэзиллер» — за разрешение привести цитаты из сборника «За Рушди»; составителей книги *The Rushdie File* («Дело Рушди») Лису Аппиньянези и Сару Мейтленд, редактора книги *Fiction, Fact, and the Fatwa* («Вымыслы, факты и фетва») Кармел Бедфорд и многих других комментаторов, чьи мысли и суждения цитируются в этих мемуарах.

Имена некоторых людей были изменены — большей частью это относится к членам охранявших меня групп, по-прежнему находящимся на службе; всем им я хотел бы в завершение книги выразить особую, горячую благодарность. Если бы не усилия сотрудников подразделения «А» Особого отдела лондонской полиции и их коллег из разведывательной службы Соединенного Королевства (SIS), я вряд ли имел бы возможность написать эту — да и какую-либо другую — книгу.

С. Р.

Примечания к электронной версии

Перечень ошибок набора, обнаруженных и исправленных верстальщиком:

Стр. 55: …гостеприимный ангел, отворивший ему врата в будущее и на волне шумного дружелюбия увлекший его к новой [жизнь] = > жизни.

Стр. 62—63: Одно из них, далеко не самое почитаемое, изображало божество по [имении] = > имени ал-Лах, означающем *бог*…

Стр. 68: Что до идеи, о [который] = > которой ведется речь, то уже в ее младенчестве женскость исключала всякую претензию на величие.

Стр. 82: Создатель Салима появился на свет в «Родильном доме доктора Широдкара» — гинеколога В. Н. Широдкара, именем которого названа операция, проводимая беременным при [приистмико] = > истмико-цервикальной недостаточности.

Стр. 98: Странно было бы, если бы Кларисса не винила его за [крушением] = > крушение мечты, в которой она видела себя в окружении множества детей, составляющих весь смысл ее жизни.

Стр. 105: Реально существующие лондонские районы, где много эмигрантов из Азии — Саутхолл, расположенный на западе города, и Брик-Лейн, расположенный на востоке, — он [с мешал] = > смешал с южнобережным Брикстоном и получил район Центрального Лондона под названием Брикхол.

Стр. 175: А он тем временем вместе с Клариссой повел Зафара в Хайбери-Филдз смотреть фейерверк в [четь] = > честь Ночи Гая Фокса.

Стр. 175: Дома она устроила ему сцену, кричала, что ее совсем не видно в его тени и что это для нее [выносимо] = > невыносимо.

Стр. 179: Одиннадцать лет спустя оно сыграло определенную роль в [разрешения] = > разрешении международного кризиса вокруг «Шайтанских аятов».

Стр. 180: До него дошли слухи о том, что затевалось в Брадфорде, и какая-то часть его «я» бурно против [это] = > этого протестовала.

Стр. 181: Особы королевских кровей в уборах чистых основных цветов стояли в [окружения] = > окружении обступивших их толпами гостей — как у скаковых лошадей, у каждой особы был свой огороженный загон.

Стр. 282: Синтаксис писем Майера становился все запутаннее, что [свидетельстовало] = > свидетельствовало о его

непростом внутреннем состоянии.

Стр. 297: Он играл в шахматы с шахматным [копьютером] => компьютером и дошел до пятого уровня, но, узнав, что обнаружили «Глобус», и пешки не мог переставить.

Стр. 421: Это была поразительно составленная фраза: *представляется, посредством,* [*саомовозвеличению*] => *самовозвеличению…*

Стр. 492: Мы все должны иметь возможность требовать великие повествования к ответу, спорить с ними, высмеивать их, настаивать, чтобы они изменялись, отражая [меняющеесе] => меняющееся время.

Стр. 502-503: Три [для] => дня спустя в «Гардиан» двадцатку разделал под орех Джеймс Вуд, этот злобный Прокруст от литературной критики, укладывающий свои жертвы на узкое и короткое ложе своих литературных догм, а затем раздирающий их на части или обрубающий им ноги по колено.

Стр. 528: *Я видел Хаттона в [рацвете] => расцвете сил, / Когда моложе был, / Когда моложе был.*

Стр. 749: Он позвонил Кристиан [Аманпур дал] => Аманпур и дал ей краткий комментарий.

Стр. 778: Он поговорил с Эндрю Уайли и Джерри Глейзбруком, и они сумели уменьшить стоимость охраны на [десяти] => десятки тысяч; организации и компании, предоставлявшие площадки для презентаций, могли в общей сложности вложить примерно 35 тысяч — сюда входили гонорары за выступления и плата за охрану.

notes

Примечания

1

Перевод М. Кузмина. (Здесь и далее — *прим. перев.*)

2

Брюс Чатвин (1940—1989) — английский писатель.

3

Имеется в виду фильм «Птицы» (1963).

4

В российских СМИ укоренился неверный перевод английского названия романа *The Satanic Verses:* «Сатанинские стихи». В романе речь идет не о стихах как поэтических произведениях, а об аятах — мельчайших структурных единицах Корана (аналог аята в Библии называется стихом).

5

Имеется в виду судебный процесс в Австралии в начале 1980-х: родителей Азарии Чемберлен обвиняли в убийстве собственного ребенка, а они утверждали, что девочку утащила из туристского лагеря собака динго.

6

Мартин Эмис (род. в 1949 г.) — английский писатель.

7

Сортир *(сленг)*.

8

Здесь обыграна примета — держать пальцы скрещенными в надежде на благополучный исход чего-либо.

9

«Сущий ад в школе Святого Триниана» — эксцентрическая британская кинокомедия 1960 года об ученицах вымышленной частной школы.

10

Персонажи произведений П. Г. Вудхауза.

11

Псевдоним, под которым английский писатель Чарльз Гамильтон (1876—1961) публиковал длиннейшую серию детских рассказов из жизни вымышленной закрытой школы Грейфрайерз.

12

Доктор Томас Арнольд, директор Рагби в 1828—1841 гг., отец викторианского поэта и теоретика искусства Мэтью Арнольда.

13

Капелла в Рагби построена видным и очень плодовитым архитектором Уильямом Баттерфилдом (1814—1900), который, видимо, сконтаминировался у автора с британским историографом и историком науки Гербертом Баттерфилдом (1900—1979).

14

«Придите, придите в Вифлеем» *(лат.)*.

15

Слова из песен соответственно «Роллинг стоунз» (1965), Боба Дилана (1962), «Битлз» (1965, We Can Work It Out) и «Кристалз» (1963).

16

Отсылка к финальным строкам стихотворения М. Арнольда «Дуврский берег» (перевод М. Донского).

17

Поэт Руперт Брук (1887—1915), как и М. Арнольд, выпускник Рагби, умер по пути на Ближневосточный театр военных действий от сепсиса, вызванного укусом комара; похоронен на острове Скирос в Эгейском море. Слова о чужбине, которая стала навеки Англией, восходят к стихотворению Брука «Солдат».

18

Джон Тенниел (1820—1914), первый иллюстратор книг Л. Кэрролла.

19

«Омаровая / морская кадриль» из «Приключений Алисы в Стране чудес», пер. Ю. Нестеренко.

20

«Моя вина, моя величайшая вина» *(лат.)* — католическая формула покаяния.

21

Э. М. Форстер (1879—1970) — английский писатель, почетный профессор кембриджского Кингз-колледжа.

22

Любительский театральный клуб в Кембридже, в котором начинали карьеру многие знаменитости театра, кино и телевидения.

23

Капитан Бифхарт, «Капитан Бычье Сердце», наст. имя Дон ван Влиет (1941—2010) — американский музыкант-экспериментатор, друг Фрэнка Заппы.

24

Франсуаза Арди (род. в 1944 г.) — французская певица и актриса, эталонная красавица 1960-х, в разное время «лицо» модных домов «Шанель», «Ив Сен-Лоран» и «Пако Рабан».

25

Край Света, *World's End* — часть лондонского района Кенсингтон, унаследовавшая название от некогда знаменитого паба; в эпоху хиппи здесь обосновалось много магазинов, торговавших соответствующими одеждой и музыкой, украшениями, благовониями, специями и т. п.

26

Здесь и далее цитаты из Корана приводятся в переводе И. Ю. Крачковского.

27

«Я марксист-граучианец» *(фр.)*. Граффити обыгрывает сценическое имя великого американского комика Граучо Маркса (1890—1977).

Событий *(фр.)*.

29

Вице-канцлер в британских университетах фактически исполняет обязанности ректора, тогда как «канцлер» — обычно фигура декоративно-представительская.

30

Одно из ведущих издательств, специализирующихся на «качественной литературе»; первым в Британии напечатало Г. Гарсиа Маркеса, И. Макьюэна, Дж. Хеллера, публиковало книги Э. Хемингуэя, Р. Даля, Я. Флеминга, Дж. Леннона и др.

31

Арнольд Уэсклер (род. в 1932 г.) — британский драматург, видный представитель писательского поколения «рассерженных молодых людей».

32

Джон Баньян (1628—1688), — протестантский проповедник, автор мистической аллегории «Путь паломника», важнейшего произведения английской религиозной литературы.

33

Дулут — город на севере штата Миннесота с населением около 80 тысяч человек.

34

Бхулабхай Десай (1877—1946) — юрист, видный участник борьбы за независимость Индии.

35

13 апреля 1919 года военный комендант города Амритсар генерал Реджинальд Дайер приказал расстрелять незаконное, с его точки зрения, сборище индийцев. Около 1000 человек были убиты и около 1500 ранены.

36

Автоцитата из романа «Стыд», перевод И. Багрова.

37

В 1971 году Восточный Пакистан стал независимым государством Бангладеш.

38

Анита Десай (род. в 1937 г.) — влиятельнейшая индийская писательница.

39

Стивен Сондхайм (род. в 1930 г.) — американский композитор, автор музыки к множеству кинофильмов и театральных постановок, в 1973—1981 гг. президент Гильдии драматургов.

40

«Джибрил» — одна из множества возможных огласовок арабского имени «Джабраил». Слово «фаришта» во многих индоарийских языках (фарси, дари, урду, хинди и др.) означает «ангел».

41

Памелой звали героиню романа английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1689—1761) «Памела, или Награжденная добродетель» (1740), Клариссой — героиню его же «Клариссы, или Истории юной барышни» (1748), соблазненную светским негодяем Робертом Лавлейсом (Ловеласом), фамилией которого Рушди наградил Памелу.

42

Имение с большой животноводческой фермой в Латинской Америке *(исп.)*.

Torture — пытка, истязание *(англ.)*.

44

Грейси-Мэншн — официальная резиденция мэра Нью-Йорка.

45

Эллинистический Дендерский храм был эвакуирован из зоны затопления Асуанской плотины и в 1965 г. подарен Египтом США в знак благодарности за помощь в спасении множества памятников, которым грозила опасность оказаться под водой.

«Гранта» — авторитетный британский литературный журнал.

47

В мае 1987 г. в городе Мирут (ныне Мератх) неподалеку от Дели военизированная полиция арестовала за участие в межобщинных волнениях несколько десятков мусульман, из них 40—50 человек были расстреляны полицейскими без суда и следствия.

48

Обретенная любовь *(фр.)*.

49

Исмаилизм — ветвь ислама шиитского толка; международный университет в Карачи и, соответственно, университетская клиника основаны в 1983 г. на деньги исмаилитов и лично их духовного лидера принца Карима Ага-хана IV (род. в 1936 г.).

50

Геодезический купол — собранное из балок сферическое архитектурное сооружение особой конструкции, разработанной американским архитектором и дизайнером Ричардом Бакминстером Фуллером (1895—1983).

51

Мухаммад Али Джинна (1876—1948), первый генерал-губернатор Пакистана, один из отцов-основателей пакистанской государственности.

52

У Рушди цитата из песни *Something* слегка изменена: вместо харрисоновского *attracts* («привлекает») стоит *excites* («волнует»).

53

Полин Мелвилл (род. в 1947 г.) — британская писательница и актриса, близкая приятельница Рушди.

54

«Повелитель мух» (1954) — классический роман Уильяма Голдинга (1911—1993) о детях, заброшенных на необитаемый остров.

55

Остров Маврикий *(фр.)*.

56

«Бессвязным и напыщенным чудовищем» американский писатель Генри Джеймс (1843—1916) назвал в предисловии к своему роману «Трагическая муза» (1890) «Войну и мир» Л. Толстого.

Закуска *(фр.)*.

58

Термин «революционный ислам» получил широкое распространение после выхода в 2003 г. автобиографической книги *L'islam révolutionnaire* международного террориста Ильича Рамиреса Санчеса (род. в 1949 г.), с 1994 г. отбывающего пожизненное заключение во французской тюрьме.

59

Desert Island Discs, одна из старейших в Англии радиопрограмм (идет с января 1942 г.), по ходу ее, среди прочего, проигрываются восемь музыкальных композиций, которые приглашенный гость «хотел бы иметь с собой, окажись он на необитаемом острове».

60

Робертсон Дэвис (1913—1995) — известнейший канадский литератор — прозаик, драматург, критик.

61

Элмор Леонард (род. в 1925 г.) — американский писатель, автор вестернов, детективов и триллеров.

62

Уильям Хэзлитт (1778—1830) — классик английской эссеистики, популяризатор Шекспира, биограф Наполеона и т. д.

63

Консервативная протестантская группа.

Издательство «Вайкинг» с 1975 г. входит в состав издательской корпорации «Пенгуин».

65

Дар уль-Улюм, «Обитель знания» — крупнейший исламский культурно-образовательный центр Индостана, расположен в городе Девабанд в 150 км от Дели.

66

«Вечные муки» (*Perdition*) — пьеса английского сценариста и драматурга Джима Аллена, в 1987 г. запрещенная к показу на лондонской сцене из-за того, что в ней затрагивается тема предполагаемого сотрудничества сионистов с нацистами на территории Венгрии во время Второй мировой войны.

У. Шекспир, «Макбет», перевод Ю. Корнеева.

68

Котсуолдс — холмистый район в западной части Центральной Англии.

69

По-французски *cheval* означает «конь».

70

Карлос Фуэнтес (1928—2012) — мексиканский писатель.

71

Иэн Пейсли (род. в 1926 г.) — североирландский политик и протестантский религиозный деятель.

72

Гарольд Пинтер (1930—2008) — английский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (2005 г.). Антония Фрейзер (род. в 1932 г.) — английская писательница, жена Г. Пинтера.

73

«Кембриджская четверка» (или пятерка) — советская шпионская сеть в Великобритании в 40-е годы.

Green означает «зеленый», *up* — «вверх»; с другой стороны, *brown* — «коричневый», *down* — «вниз».

Дж. Оруэлл, «1984», перевод В. Голышева.

76

В предисловии к своему поэтическому фрагменту «Кубла Хан, или Видение во сне» английский поэт С. Т. Кольридж (1772—1834) пишет, что перенести на бумагу видение полностью ему помешал «некий человек, прибывший по делу из Порлока».

77

Блумсбери — район Лондона, который ассоциируется с культурной жизнью столицы, прежде всего — с кружком «блумсберийцев», чей расцвет пришелся на 20-е годы.

78

Имеется в виду песня «*Hotel California*» рок-группы «*Eagles*» (1976 г.).

79

Филип Блейк Моррисон (род. в 1950 г.) — английский поэт и прозаик.

80

Из песни *Blackbird* группы *The Beatles*.

81

Перевод Р. Облонской.

82

Перевод А. Миролюбовой.

83

Бхарати Мукерджи (род. в 1940 г.) — американская писательница индийского происхождения. Кларк Блез (род. в 1940 г.) — канадский писатель, ее муж.

84

Гита Мехта (род. в 1943 г.) — индийская писательница, жена издателя Сонни Мехты.

85

Тарик Али (род. в 1943 г.) — британско-пакистанский писатель, журналист, историк, публицист и левый общественный деятель.

86

Говард Брентон (род. в 1942 г.) — английский драматург и киносценарист.

87

Корнел Рональд Уэст (род. в 1953 г.) — американский философ. Его работы главным образом посвящены расовым проблемам.

88

«Рампол из Бейли» — британский телесериал на судебные темы (1975—1992 гг.).

89

Дик Трейси — персонаж американских комиксов, полицейский детектив.

90

Найджела Лоусон (род. в 1960 г.) — английская журналистка, автор книг на кулинарные темы.

«Джеки Браун», (1997).

92

Из песни в стиле кантри *Stand by your man*, авторы — Тэмми Уайнетт и Билли Шеррил.

93

Валлийская марка — историческое название пограничной территории между Англией и Уэльсом.

Вал Оффы — остатки земляного укрепления VIII в.

Товарками, боевыми подругами *(исп.)*.

96

Анита Десаи (род. в 1937 г.) — индийская писательница.

«Статья 19» *(нем.)*.

98

Ханиф Курейши (род. в 1954 г.) — английский писатель, драматург, сценарист.

99

«Житие Брайана но Монти Пайтону» — английская кинокомедия 1979 года, где сатирически обыгран евангельский сюжет. Фильм создан авторами телесериала «Летющий цирк Монти Пайтона».

100

Берти Вустер — персонаж юмористических романов английского писателя П. Г. Вудхауза (1881—1975).

101

«Дохлый попугай» (1969) — один из самых популярных фильмов сериала «Летающий цирк».

102

Слова из песни, завершающей фильм «Житие Брайана».

103

Исабель Фонсека (род. в 1963 г.) — американская писательница и журналистка.

Так всегда будет с тиранами *(лат.)*.

105

Хьюго Янг (1938—2003) — английский журналист.

Пингвин — символ издательства «Пенгуин».

107

Анализ текста *(фр.)*.

108

Джузеппе Арчимбольдо (1527—1593) — итальянский художник, представитель маньеризма.

109

Здесь и ниже стихи из «Гаруна и Моря Историй» даны в переводе В. Топорова.

110

Отсылает к песне *Jeanie with the Light Brown Hair* американского композитора Стивена Фостера (1826—1864).

111

Эдвард Морган Форстер (1879—1970) — английский писатель.

112

Имеется в виду режим секретности после теракта 11 сентября 2001 г.

113

Аллюзия на название книги английского писателя Артура Кёстлера (1905—1983) «Дух в машине» (1967).

114

Имеются в виду роман Кальвино «Несуществующий рыцарь» и рассказ Уиллса «Человек-невидимка».

115

Тед Хьюз (1930—1998) — английский поэт и детский писатель.

В русском переводе В. Тублина — Ноо.

117

У. Шекспир, «Король Лир», акт IV, сцена 7 (пер. Б. Пастернака).

118

Гнома (от древнегреческого γνωμη) — краткое изречение, чаще стихотворное.

119

Au pair (по-французски означает «на равных») — молодой человек или, чаще, девушка, живущая за границей в семье и помогающая по хозяйству или присматривать за детьми в обмен на возможность учиться языку.

120

«Флинтстоуны» — американский комедийный мультсериал 1960-х гг.

121

«Там, где чудовища живут» американского детского писателя Мориса Сендака (род. в 1928 г.).

122

Питер Селлерс (наст. имя Ричард Генри Селлерс, 1925—1980) — английский комический актер. Славился разнообразием сыгранных ролей.

123

Фэй Уэлдон (род. в 1931 г.) — английская писательница.

124

Имеется в виду огромная коллекция туфель Имельды Маркос, вдовы филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса.

125

Хай-Уиком — город недалеко от Лондона.

126

Патриция Херст (род. в 1954 г.), дочь американского газетного магната Рандольфа Херста, в 1974 г. была похищена леворадикальной группировкой. Спустя некоторое время вступила в группировку и совершила в ее составе ряд уголовных преступлений. Ее случай считается классическим примером стокгольмского синдрома.

127

Рип ван Винкль — персонаж новеллы американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783—1859), проспавший двадцать лет.

128

Рональд Харвуд (род. в 1934 г.) — английский писатель, драматург и сценарист.

129

Кристофер Хитченс (1949—2011) — американский журналист, публицист и писатель британского происхождения.

130

Ленни Кравиц (род. в 1964 г.) — американский эстрадный певец и автор песен.

131

Анри Картье-Брессон (1908—2004) — выдающийся французский фотограф.

132

Джон Клиз (род. в 1939 г.) — английский актер.

Скотоводческом имении *(исп.)*.

Independent означает «независимая».

135

Сэмюэл Хантингтон (1927—2008) — американский политолог, автор книги «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка».

Эта поправка запрещает, в частности, любые посягательства на свободу слова.

137

В романе-антиутопии Дж. Оруэлла «1984» нелицами (unpersons) называются люди, уничтоженные и стертые из общественной памяти.

138

Эндрю Марвелл (1621—1678) — английский поэт-метафизик.

139

Джон Кеннета Гэлбрейт (1908—2006) — видный американский экономист.

140

Чарли Роуз (род. в 1942 г.) — американский тележурналист.

141

Джон Хокенберри (род. в 1956 г.) — американский журналист.

142

Боб Вудвард (род. в 1943 г.) — американский журналист, расследовавший, в частности, «Уотергейтское дело».

143

Артур Окс Сульцбергер-старший (род. в 1926 г.) — издатель газеты «Нью-Йорк таймс» с 1963 г. В 1992 г. он передал бразды правления своему сыну Артуру Оксу Сульцбергеру-младшему (род. в 1951 г.).

144

«Доу Джонс и компания» — американская издательская компания, издает, в частности, газету «Уолл-стрит джорнэл».

145

«Ганнет компани» — крупнейший американский медиахолдинг.

146

Ива Файджес (род. в 1932 г.) — английская писательница.

147

Лорна Сейдж (1943—2001) — английский литературовед и литературный критик.

Alcofribas Nasier — анаграмма от *François Rabelais*.

149

Фрэнк Раймонд Ливис (1895—1978) — английский литературовед, автор книги «Великая традиция» (1948).

150

Эдмунд Берк (1729—1797) — англо-ирландский государственный деятель, оратор.

151

Перевод Н. Демуровой.

152

Перевод Г. Киселева.

153

Образ из аллегорического романа «Путь паломника» английского писателя Джона Беньяна (1628—1688).

154

Джейн Мэнсфилд (1933—1967) — американская актриса.

155

Джон Дайамонд (1953—2001) — английский журналист.

156

Биглз — герой приключенческих книг для юношества, написанных английским летчиком и писателем У. Э. Джонсом(1893—1968).

157

Одно из значений английского слова *bounty* — «вознаграждение»; с другой стороны. «Баунти» — название британского военного корабля, где в 1789 г. произошел мятеж. Капитана корабля Уильяма Блая и верных ему членов команды посадили в шлюпку, и после долгого плавания они достигли острова Тимор.

158

Бетт Бао Лорд (род. в 1938 г.) — американская писательница китайского происхождения.

159

Орландо Эрнандес Педросо по прозвищу Эль Дуке (род. в 1965 г.) — кубинский (впоследствии американский) бейсболист.

160

Ральф Лорен (род. и 1939 г.) — американский модельер и дизайнер.

161

Филип Майкл Ондатже (род. и 1943 г.) — канадский писатель. Линда Сполдинг (род. в 1943 г.) — канадская писательница, его жена.

162

Hello, Young Lovers («Привет вам, юные и любящие») — песня из мюзикла Р. Роджерса о О. Хаммерстайна «Король и я».

163

Здесь я стою. И не могу иначе *(нем.)*.

Список составляется журналом «Гранта» раз в десять лет.

165

Антония Сьюзен Байетт (род. в 1936 г.) — английская писательница.

166

Люсьен Фрейд (1922—2011) — британский художник немецко-еврейского происхождения.

167

Настоящее имя Боно — Пол Дэвид Хьюсон.

168

«Шинн Фейн» — ирландская политическая организация левой ориентации, выступающая за единую Ирландию.

169

И подойду к жертвеннику Божию *(лат.)*. Эта фраза звучит в самом начале романа Дж. Джойса «Улисс».

170

Джон Ленард (1939—2008) — американский литературный критик и кинокритик.

171

Peeler — полицейский *(сленг)*; британскую полицию учредил в XIX в. премьер-министр Роберт Пиль.

172

Инок Пауэлл (1912—1998) — британский политический деятель консервативного направления.

173

Бернар-Анри Леви (род. в 1949 г.) — французский политический журналист, философ, писатель.

174

Колетт (Сидония-Габриэль Колетт, 1873—1954) — французская писательница.

175

Антон Корбайн (род. в 1955 г.) — нидерландский фотограф и режиссер.

176

Дэвид Мэмет (род. в 1947 г.) — американский драматург, эссеист, киносценарист и кинорежиссер. «Олеанна» — его пьеса.

177

Китайский синдром — шуточное название гипотетического сценария ядерной катастрофы, при которой ядерное топливо прожигает Землю насквозь и доходит до Китая.

178

Эл Альварес (род. в 1929 г.) — английский поэт, эссеист и писатель.

179

Элизабет Джейн Хауард (род. в 1923 г.) — английская писательница.

180

Сибил Бедфорд (1911—2006) — английская писательница немецко-еврейского происхождения.

181

Я в вас немного разочарована *(фр.)*.

182

Норрис Черч Мейлер (урожденная Барбара Джин Дейвис, 1949—2010) — писательница, жена американского писателя Нормана Мейлера.

183

Анна-Лу («Энни») Лейбовиц (род. в 1949 г.) — американский фотограф. Находилась в близких отношениях со Сьюзен Сонтаг.

184

Генри Дейвид Торо (1817—1862) — американский писатель и публицист. Два года прожил в лесной хижине.

185

«Орел прилунился» — фраза, которую произнес американский астронавт Нил Армстронг после посадки на Луне. Лысый орел — символ США. Фразу после этого стали употреблять в значении «Дело сделано».

186

Дэвид Фрост (род. в 1939 г.) — английский тележурналист.

187

Эдвин Лаченс (1869—1944) — английский архитектор.

188

Патрик Джозеф («Пат») Бьюкенен (род. в 1938 г.) — ультраконсервативный американский политик и публицист.

189

«За Рушди» *(фр.)*.

190

Синдицированная колонка — колонка популярного автора, распространяемая газетным синдикатом в периодических изданиях, входящих в него.

191

Фредерик Ричард Димблби (1913—1965) — английский радио- и тележурналист.

192

Уильям Кляйн (род. в 1928 г.) — американский фотограф.

193

Фрида Кало (1907—1954) — мексиканская художница, жена художника Диего Риверы (1886—1957), разделявшая его коммунистические убеждения.

194

Фраза в кавычках слышится герою романа Сола Беллоу «Декабрь декана» и жалобном лае собаки.

195

Имеется в виду стихотворение американского поэта Роберта Фроста «Остановка у леса снежным вечером».

196

Последняя строка стихотворения Р. Фроста в переводе В. Бетаки.

197

Обычная в Великобритании юридическая формула, означающая пожизненное заключение.

198

Такие характеристики, вплетая их в паутину, дает в детской книге «Паутинка Шарлотты» американского писателя Э. Б. Уайта (1899—1985) паучиха Шарлоттта своему другу хряку, чтобы убедить фермера сохранить ему жизнь.

199

Чеви Чейз (Корнелиус Крейн Чейз, род. в 1943 г.) — американский актер-комик.

200

«Кистоунские полицейские» — горе-полицейские из немых американских кинокомедий 1912—1917 гг.

201

Requiescat in pace (лат.) — покойся в мире.

202

Кэрил («Кэз») Филлипс (род. в 1958 г.) — английский писатель карибского происхождения.

203

Otter (выдра) звучит примерно так же, как вспомогательный *ought to*. После замены получается фраза на не вполне правильном английском, означающая: «Тебе не следовало этого делать».

Несуществующий рыцарь *(итал.)*.

205

Роберт Фиск (род. в 1946 г.) — английский журналист.

206

Ян Элиассон (род. в 1940 г.) — шведский политик и дипломат. С 1994-го по 1999 г. занимал пост статс-секретаря шведского МИДа.

207

Дорис Локхарт-Саатчи — американская журналистка, бывшая жена британца Чарльза Саатчи, владельца крупнейшего рекламного агентства и коллекционера современного искусства.

Северное сияние *(лат.)*.

209

Сыскная полиция *(исп.)*.

210

Имеется в виду мюзикл английского композитора Эндрю Ллойд-Уэббера (род. в 1948 г.) «Эвита» об Эве Перон со знаменитой песней «Не плачь обо мне, Аргентина».

211

Каса-Росада («Розовый дом») — официальная резиденция президента Аргентины.

212

Диджериду — духовой инструмент австралийских аборигенов.

213

Карл Хайасен (род. в 1953 г.) — американский журналист и писатель, автор триллеров.

Господа из RAID *(фр.)*.

215

Весьма зловещего вида лекарь *(фр.)*.

P. M. означает «после полудня», *A. M.* — «до полудня».

217

Перевод Б. Пастернака.

То есть о соглашении между будущими супругами о разделе имущества в случае развода.

219

Имеется в виду песня «*Taking a Chance on Love*» (1940 г., композитор Вернон Дюк, авторы слов Джон Латуш и Тед Феттер).

220

У героини мюзикла Аделаиды из-за затянувшейся на много лет помолвки возникла простуда на нервной почве.

221

Анита Десаи (род. в 1937 г.) и Киран Десаи (род. в 1971 г.) — индийские писательницы, мать и дочь.

222

Из песни «*Happy Days are Here Again*» Милтона Эйджера и Джека Йеллена (1929), которая ассоциируется с победой Ф. Д. Рузвельта на выборах в США в 1932 г.

223

То есть примерно 3 кг 400 г.

224

Макгаффин — предмет (зачастую малозначительный сам по себе), вокруг которого строится фабула книги или фильма (термин ввел в употребление А. Хичкок).

225

Лори Андерсен (род. в 1947 г.) — американская актриса, музыкант, композитор. Работает в жанрах экспериментальной музыки и перформанса.

226

Брайан Ино (род. в 1948 г.) — английский музыкант и композитор. Считается основоположником музыкального жанра эмбиент.

227

Анналина Макафи (род. в 1948 г.) — английская писательница и жена писателя Иэна Макьюэна.

228

Бетти Буп — персонаж американских мультфильмов 30-х годов XX века.

229

Намек на евангельский сюжет о том, как Иисус накормил голодных.

230

Дэвид Берн (род. в 1952 г.) — американский рок-музыкант, основатель группы Talking Heads.

231

Харви Кейтель (род. в 1939 г.) — американский актер.

232

Билли Джоэл (род. в 1949 г.) — американский пианист, композитор, автор и исполнитель песен.

233

Фрагменты этого стихотворения здесь даются в переводе А. Грызуновой.

234

Роуэн Аткинсон (род. в 1955 г.) — английский актер-комик, сыгравший мистера Бина в одноименном телесериале.

235

Через тернии к звездам *(лат.)*.

236

Полиция мыслей — репрессивный орган из романа-антиутопии Дж. Оруэлла «1984».

237

Уильям Шоукросс (род. в 1946 г.) — английский журналист и политический комментатор.

Человек прямоходящий *(лат.)*.

239

Шери Блэр (род. в 1954 г.) — английский юрист, жена бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

240

Чекерс — загородная резиденция премьер-министра Великобритании.

241

Аластер Кэмбл (род. в 1957 г.) — английский журналист, пресс-секретарь Тони Блэра с 1997-го по 2000 г.

242

Кэмерон Макинтош (род. в 1946 г.) — английский продюсер театральных мюзиклов.

243

Мик Хакнелл (род. в 1960 г.) — английский певец и автор песен.

244

Из Дремучего Перу приехал медвежонок Паддингтон — герой английской детской книги и мультсериала.

Bear (англ.) — медведь.

246

Хаддерсфилд — город в Великобритании.

247

Анри де Монтерлан (1895—1972) — французский писатель, драматург, эссеист.

248

Кристиан Аманпур (род. в 1958 г.) — тележурналистка англо-иранского происхождения, работает в компании Си-эн-эн.

249

Всю жизнь я поклонялся ей, / Ее золотому голосу, ритму ее красоты *(англ.)*.

250

Пол Макгиннес (род. в 1951 г.) — ирландский музыкальный менеджер, работающий, в частности, с группой *U2*.

251

Жанна Моро (род. в 1928 г.) — французская актриса.

Рассказчицей *(фр.)*.

253

Дворце кинематографии *(фр.)*.

Водоворот *(фр.)*.

255

Перевод М. Беккер.

256

Высокий комиссар — посол, глава диппредставительства одной страны в другой.

257

Томас Лабефф по прозвищу Сонный Лабиф (род. в 1935 г.) — американский музыкант, исполнитель песен в стиле рокабилли.

258

Тина Браун (род. в 1953 г.) — американский журналист. В разное время руководила рядом крупнейших журналов («Вэнити фэр», «Нью-Йоркер», «Ньюсуик»).

259

Иман (род. в 1955 г.) — топ-модель сомалийского происхождения, жена Дэвида Боуи.

260

Харрисон Форд (род. в 1942 г.) — американский киноактер и продюсер.

261

Калиста Флокхарт (род. в 1964 г.) — американская актриса.

262

Джерри Сайнфелд (род. в 1954 г.) — американский комический актер.

263

Имеется в виду телесериал «Сайнфелд». Креймер, Джерри — его постоянные персонажи.

Bass по-английски означает «окунь», *salmon* — «лосось».

265

Плейбой-мэншн — особняк основателя журнала «Плейбой» Хью Хефнера в Лос-Анджелесе.

266

Харви Уайнстайн (род. в 1952 г.) — американский кинопродюсер.

267

Пытаюсь попрощаться — и осекаюсь, пытаюсь уйти — и спотыкаюсь *(англ.)*.

268

Зэди Смит (род. в 1975 г.) — английская писательница.

269

«Мама» Касс Эллиот (1941—1974) — американская эстрадная певица.

Трайбека, Челси — районы Нью-Йорка.

271

«Старое доброе время» — шотландская песня на стихи Р. Бернса. На русском языке известна в переводе С. Маршака («Старая дружба»).

Она пробудила мои чувства, она сделала меня настоящим *(англ.)*.

Друг *(хинди)*.

27 4

Джеффри Арчер (род. в 1940 г.) — английский писатель и политик-консерватор.

275

Перед Китайским кинотеатром Граумана в Лос-Анджелесе в бетонных плитах сохраняются отпечатки ступней, ладоней и автографы голливудских знаменитостей.

Олдос Хаксли (1894—1963) — английский писатель.

277

«Двери восприятия» — эссе Олдоса Хаксли, где он описывает свой опыт употребления наркотика мескалина.

278

Шэрон Тейт (1943—1969) — американская актриса. Убита в своем доме на улице Сиело-драйв в Лос-Анджелесе членами банды Чарльза Мэнсона.

279

Аннет Бенинг (род. в 1958 г.) — американская актриса, жена Уоррена Битти.

280

Кэрри Фишер (род. в 1956 г.) — американская актриса.

281

Мег Райан (род. в 1961 г.) — американская актриса.

282

Чарлтон Хестон (1923—2008) — американский актер.

283

Кубинский мальчик Элиан Гонсалес (род. в 1993 г.) в 1999 г. нелегально оказался в США. Судебный процесс о возвращении его на Кубу к отцу вызвал бурные споры.

284

Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид — американские преступники, чья судьба послужила основой для знаменитого вестерна 1969 года.

285

Вернер Херцог (род. в 1942 г.) — немецкий кинорежиссер.

286

Фэй Данауэй (род. в 1941 г.) — американская актриса.

287

Леонард Малтин (род. в 1950 г.) — американский кинокритик и историк кино.

288

Роджер Иберт (род. в 1942 г.) — американский кинокритик.

289

Чак Джонс (1912—2002) — американский художник-мультипликатор и режиссер, работавший, в частности, над мультфильмами из цикла Looney Tunes.

290

Эрик Айдл (род. в 1943 г.) — английский комический актер, певец, композитор. Таня Косевич — его жена, американская актриса.

291

Стив Мартин (род. в 1945 г.), Гарри Шандлинг (род. в 1949 г.) — американские комические актеры.